

УИЛЪЯМ СОМЕРСЕТ

МОЭМ

1

УИЛЪЯМ
СОМЕРСЕТ

МОЭМ

1.

УИЛЪЯМ
СОМЕРСЕТ
МОЭМ



УИЛЬЯМ
СОМЕРСЕТ

МОЭМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

Редколлегия:

Н. ДЕМУРОВА,

М. КЛИМОВА,

Н. МИХАЛЬСКАЯ,

В. СКОРОДЕНКО



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1997

УИЛЬЯМ
СОМЕРСЕТ
МОЭМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РОМАН

Перевод с английского



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1997

ББК 84 (4 Вл)
М87

W. Somerset Maugham

1874—1965

Вступительная статья

В. СКОРОДЕНКО

Оформление художника

С. КУЗЯКОВА

ISBN 5-280-03203-4 (Т. I)

ISBN 5-280-03204-2

© Вступительная статья. Скороденко В., 1991 г.

© Оформление. Кузяков С., 1991 г.

ДОСТИГНУТАЯ ГАРМОНИЯ

«Я замыслил тогда прожить такую жизнь, в которой писательство, не исключая других форм деятельности, играло бы самую существенную роль и которую гармонично завершала бы смерть.

Гармония в моем случае уже достигнута».

*(У. Сомерсет Моэм.
В девяностолетний юбилей)*

В 1897 году рецензент английского журнала «Литературный мир» с похвалой отозвался о дебюте молодого автора — романе «Лиза из Ламбета»: «Поставленную перед собой задачу он исполнил с примечательным умением». В 1964 году маститый английский писатель Уильям Сомерсет Моэм (1874—1965) подвел черту: «Я давно уже перенес на бумагу все, что у меня было, и отложил перо в сторону». Однако же старый мэтр, более полувека отслуживший английской изящной словесности, не удержался и посетовал: «Меня, правда, взяла досада, что я не успел закончить новую книгу...»

Между этими двумя всхами умещается впечатляющий литературный труд — множество романов, рассказов, эссе, пьес, очерковых книг, критических выступлений и т. п. — и долгая человеческая жизнь: в целом благополучная, отмеченная бесконечными путешествиями, поездками, встречами, жадным вниманием к многообразию мира и людей.

Сам мастер сказал на закате лет:

«Жизнь у меня была полная, интересная».

Здесь необходимо уточнение. При том, что Моэм отнюдь не был аскетом и понимал толк в чувственных радостях существования, жизнь его была отдана творчеству, слову, о чем сам он писал с присущей ему определенностью в книге «Подводя итоги» (1938), этом необычном для английской литературы соединении автобиографии, свободного эссе об искусстве, осторожной исповеди и эстетического трактата. «В каждом человеке я вижу не самоцель, а материал, который может пригодиться мне как писателю». Такой материал видел он и в собственной жизни.

Один из самых пронизательных в английской литературе XX столетия авторов, писавших о трагикомедии жизни, Моэм делал упор на комедии, но, когда полагал нужным, с не меньшим мастерством и пронзительной силой изображал трагические развязки судеб, пагубу заблуждений и самообманов, роковое торжество «общественного мнения» над естественными стремлениями личности. С первого же произведения, которое он опубликовал еще студентом медицинского института при лондонской больнице святого Фомы, Моэм предпочитал говорить своим соотечественникам вещи нелестные, малоприятные, а то и вовсе, с их точки зрения, недопустимые и даже оскорбительные.

Дело заключалось не в том, о чем он писал,— писал о многом и разном: о лондонских трущобах и литературных салонах, об английской провинции и столичной аристократии, о культурных центрах Европы и об экзотических уголках планеты. И даже не в том, что он издевался над официально провозглашенными установлениями, клеймил общественные язвы и смеялся над индивидуальными пороками: этим занимались и до него, и занимались успешно, так что обличение социальных несправедливостей и критика нравов есть неотъемлемая часть британской литературной традиции — Джон Беньян, Свифт, Филдинг, Смоллетт, Джейн Остен, Диккенс, Теккерей, Джордж Элиот, Сэмюэл Батлер. Все заключалось в том, *как* это делал Моэм.

Сдержанно. Невозмутимо. Непринужденно. Тонко. С убийственной иронией. Не давая при этом поблажки и себе самому, кем бы ни выступал его alter ego, главным ли действующим лицом или просто рассказчиком, и какое бы имя ни носил — Филипа Кэри («Бремя страстей человеческих», 1915), Уильяма Эшендена («Луна и грош», 1919; одноименный сборник рассказов, 1928; «Пирог и пиво», 1930) или, просто и откровенно, мистера Моэма («Острие бритвы», 1944).

Он говорил современникам то, что о них думал, и заставлял их увидеть себя такими, какими они доподлинно смотрелись на «ярмарке житейской суеты» (метафора Д. Беньяна). Автор и себя числил среди участников этой ярмарки и не только не стремился приобрести за счет ближних моральный капитал в глазах читателя, но сам себя подчас судил более неліцеприятно, чем действующих лиц.

Такая позиция невольно провоцировала даже читателей, не говоря о критиках. Если уж сам автор, скрываясь за фигурой повествователя, подчеркивает, что отказывается выносить нравственный суд над жизнью, что он не выше и не ниже, не лучше и не хуже своих персонажей, то, стало быть, все люди таковы. Неутешительный вывод, особенно для тех, кто считает, что уж к его-то

персоне рассказанное в книге не может иметь никакого отношения. Моэма требовалось уличить в предвзятости, еще лучше — в очернительстве, чтобы объяснить такую его творческую установку. На помощь пришла нормативная эстетика.

Она сложилась в Великобритании в XIX веке при королеве Виктории и все еще пыталась диктовать художникам свои законы, когда Моэм был уже посредине своего творческого пути. Эта эстетика с ее твердым кодом «нравственного» и «подобающего» в искусстве и литературе не только указывала, что прилично (то есть можно), а что неприлично (то есть нельзя) изображать, но и требовала неукоснительного разграничения и противопоставления добра и зла, добродетели и порока, причем порок надлежало заклеить и наказать, а добродетели дать продемонстрировать свое торжество и схлопотать награду. Моэм эти требования постоянно нарушал, как нарушает их сама жизнь, а критика делала вывод, что он не различает добро и зло, что для него не существует святынь, что он способен лишь охаивать да осмеивать. Иными словами, что автор — циник.

Он сам, впрочем, понимал, что дразнит гусей, и устами эстета Элроя Кира, персонажа романа «Пирог и пиво», признал, что по-иному и быть не могло: «И потом вы ведь знаете критиков. Если напишешь правду, они назовут тебя циником, а такая репутация не идет на пользу писателю». Не шли на пользу Моэму и весьма здравые его суждения о материальной стороне творчества, приносящего автору средства к существованию. Допустим, такое: «Рискуя оскорбить чувство читателя, исповедующего недоступность писательского вдохновения практическим расчетам, должен сказать, что писатели, естественно, предпочитают писать то, на что имеется спрос». Позволительно, однако, задаться вопросом — что цинического в том, если писатель, ставящий свободу первейшим условием творчества, резонно считает деньги необходимой в человеческом обществе предпосылкой такой свободы, ибо такова природа общества? В девяносто лет он подытожил это в блистательном афоризме: «...деньги можно сравнить разве что с шестым чувством, которое помогает пользоваться остальными пятью».

Желание самому сказать о себе правду, развеять домыслы, клубившиеся вокруг его имени, было, возможно, одним из стимулов, подвигнувших Моэма на книгу «Подводя итоги», в которой он с предельной — для ставшего притчей во языцех сдержанного английского характера вообще и скрытного собственного в частности — откровенностью поведал о себе и своих взглядах на жизнь, искусство и писательское ремесло. Облик автора, встающий со страниц этой книги, отнюдь не прост; самоуважение и культ мастерства не позволили Моэму пускаться в оправдания или подниматься на котурны. Из книги явствует — и

это подтверждают эссе Моэма и косвенно его романы и новеллы, — что по своим философским взглядам он был агностик, по натуре — скептик, в литературе же тяготел к реалистическому письму. И еще эта книга неоспоримо свидетельствует о демократизме Моэма.

Об английском, конечно, демократизме, который отличается от популистского его варианта, распространенного в Америке, и проявляется не столько в житейских обстоятельствах, сколько в сфере миропонимания. С каждым человеком Моэм умел разговаривать на его языке, но общение с народом, тем паче «хождение в народ» его не привлекало. Его демократизм выражался, во-первых, в признании и отстаивании принципов социальной справедливости для всех, что привело его, человека, консервативного во всем, что касалось революций, переворотов и прочих пертурбаций общества, к апологии революции: «Трудно примириться с тем, что у людей нет работы; что самая работа так уныла; что они, а с ними их жены и дети, живут впроголодь и впереди их не ждет ничего, кроме нищеты. Если помочь этому может только революция, тогда пусть будет революция, и поскорее». Во-вторых, последовательные и твердые демократические убеждения Моэма, претворившись у него, писателя, в эстетические установки, обернулись требованием культуры для всех, то есть общедоступности всех культурных ценностей, включая литературу. Художественная сторона культуры, полагал Моэм, важна не сама по себе, она подчинена нравственной сверхзадаче. В «Итогах» он писал о культуре: «Она должна служить жизни. Цель ее — не красота, а добро». Поэтому позиция тех, кто сознательно творит для узкого круга посвященных, зашифровывая свои произведения, с тем чтобы они заведомо не были понятны массовому читателю и, следовательно, до него не дошли, в лучшем случае, на взгляд Моэма, граничила с самообманом, в худшем — с шарлатанством. Кичившуюся своей рафинированностью и эрудицией и не подпускавшую к ней «непосвященных» элиту он обозначил зло и метко: «спесь культуры». Поясним на всякий случай: это определение он никоим образом не распространял на великих экспериментаторов XX века, открывавших, нередко ценой гениальных ошибок, новые горизонты в искусстве и литературе, таких, например, как Пруст или Джойс.

После смерти Моэма, как всегда после кончины литературных патриархов, в Англии и за рубежом начали появляться критические монографии, авторы которых стремились переоценить его наследие и хотя бы задним числом отдать долг писателю, чьи лучшие книги пользуются любовью читателей во всем мире вот уже на протяжении нескольких поколений. Они не пытаются канонизировать Моэма, выпрямив и «причесав» его жизненный и творческий путь, как то намерен сделать в романе «Пирог и пиво»

вездесущий критик Элрой Кир с писателем Дрифилдом. Впрочем, и пожелай они — едва ли в этом бы преуспели: словно предвидя такую возможность, Моэм с достаточной обстоятельностью сам рассказал о себе еще при жизни.

Он был мудр. В «великие» не рвался, но не страдал и от ложной скромности. Трезвость его суждений, суждений человека без иллюзий, самоочевидна, и когда он заявляет, что лучше любого критика понимает пределы, поставленные его таланту, ему можно поверить на слово. Он не обольщался на собственный счет, размышляя над тем, что именно делает художника не просто мастером, но великим художником, мастером на все времена: «Мне кажется, что гениальность — это сочетание природного творческого дара и особой способности художника видеть мир совершенно по-своему и в то же время с такой широтой, что он находит отклик не у людей того или иного типа, но у всех людей. Его личный мир — это мир обыкновенных людей, только обширнее и богаче. Он обращается ко всему человечеству, и даже когда люди не вполне понимают его слово, они чувствуют, что оно полно значения».

Сам Моэм был готов удовлетвориться званием профессионального писателя без претензий: «...в произведениях моих нет и не может быть той теплоты, широкой человечности и душевной ясности, которую мы находим лишь у самых великих писателей». При всем том Моэм остается фигурой значительной, если мерить его не тем, чего нет в его книгах, а тем, что в них есть.

Есть же правда жизни и правда характеров — тех областей жизни и тех характеров, с которыми писатель был знаком и за верность изображения которых ручался. Говорить правду о том, что знаешь, было для Моэма главной творческой заповедью. Есть острая критика всевозможных форм нормативной и корпоративной морали, от мелкобуржуазной (госпожа Стрикленд в романе «Луна и грош») до архиреволюционной (Саймон Фенимор в «Рождественских каникулах», 1939). Перо Моэма обретало особенно злое ехидство, когда речь заходила о социальной кастовой системе в британском, прежде всего — имперском ее варианте. Есть философско-художественный анализ в контексте исторического времени и социальной среды таких «вечных» вопросов, как смысл жизни, любовь, смерть, деяние, природа и предназначение искусства.

К этому надлежит добавить взыскательное мастерство формы — тщательно взвешенный и крепко сбитый сюжет, строгий отбор жизненного материала, емкость художественной детали, естественный как дыхание диалог, виртуозное подчинение своим целям смысловых и звуковых богатств родного языка, интонация повествования — доверительная, раскованная и одновременно отстраненная, лукаво смущающая читателя открытостью авторского

суждения, но ограждающая самое личность автора от неподобающего любопытства. И, разумеется, знаменитый «моэмовский» стиль — соединение этой интонации с прозрачностью мысли и слова. Выразительный в своей прицельной точности и экономной простоте, его стиль — дань уважения читателю, тем более примечательная, что Моэм верил: даже заведомо равняясь на читателя, художник творит не для других — для себя. Он избавляется в процессе творчества от давления материала, замысла, видения, обретает свободу самоврачевателя и демиурга в одном лице:

«Все свои грехи и безумства, несчастья, выпавшие на его долю, любовь без ответа, физические недостатки, болезни, нужду, разбитые надежды, горести, унижения — все это он волен обратить в материал и преодолеть, написав об этом... Все недоброе, что с ним может случиться, он властен изжить, переплавив в строфу, в песню или в повесть. Из всех людей только художнику дана свобода».

Что еще есть в книгах Моэма? Неброская гордость британца, подразумевающая уважение к другим народам и весям. В ее основе лежит то, без чего не может состояться настоящий писатель, — любовь к родной стране и соотечественникам; любовь, окрашенная терпкой горечью недовольства, здраво учитывающая все «накладки» на историческом пути государства и нации, далекая от квасного (в данном случае, видимо, уместней было бы сказать — замешенного на эле) патриотизма; любовь, опирающаяся на органическое чувство родной речи, великого языка Шекспира.

Всего этого, если подумать, вполне хватает, чтобы Моэму было обеспечено его законное место среди старших и младших современников, мастеров английской прозы нынешнего завершающегося столетия, — Д. Голсуорси, Г.-Д. Уэллса, Р. Киплинга, Г.-К. Честертона, А. Беннетта, Д.-Г. Лоуренса, Вирджинии Вулф, Р. Олдингтона, О. Хаксли, Д. Кэри, И. Во, Л.-П. Хартли. Очень разные художники, державшиеся подчас диаметрально противоположных точек зрения на назначение и природу искусства, все они в конечном счете служили одному и тому же: родной стране, ее культуре, приумножению английской литературы.

Это следует подчеркнуть, потому что разговоры о французских «корнях» творчества Моэма в критике не редкость. Они носят комплиментарный характер, когда его именуют, скажем, «английским Мопассаном», или, напротив, уничижительный, когда его представляют эдаким эпигоном французского натурализма. Моэм сам подал пищу для подобных толков. Он не скрывал, что прошел «школу» французского художественного письма, Вольтера называл любимым писателем, а в «Итогах» признавался: «Французских романистов я изучал больше, чем английских, — взяв все, что мог, у Мопассана, я обратился к Стендалю, Бальзаку, Гонкурам, Флоберу и Анатолю Франсу».

Однако «школа» совсем не то, что подражание, и чем автор талантливей, тем дальше он отходит от учителей, тем самостоятельней и самобытнее то, что выходит из-под его пера. Взгляд Моэма, его метафора (в широком смысле), его подходы были специфически английскими и сугубо моэмовскими. Вести его литературную генеалогию от Франции так же бессмысленно, как, допустим, вести ее от России на том основании, что он многожды писал с восхищением о Достоевском, Толстом, Чехове, и если его в свое время не произвели в «английские Чеховы», то, вероятно, лишь потому, что Кэтрин Мэнсфилд успела удостоиться этого титула раньше, чем Моэм прославился своими рассказами.

Патриотизм парадоксальным образом сосуществовал в нем с качествами, присущими тем, кого называют «гражданином мира», — тягой к перемене мест, способностью проникать в «земли чужой язык и нравы», любовью к Средиземноморью. Он вообще жаловал Старый Свет, особенно Испанию и Италию. После успеха «Лизы» он первым делом отправился на лето в Андалузию. Став преуспевающим драматургом, регулярно ездил по Европе, навещал Париж. С началом первой мировой войны отправился переводчиком при автоколонне Красного Креста в ту же Францию, а уж оттуда обстоятельства забросили его в США.

В 1916 году Моэм предпринял свое первое масштабное путешествие — плавание к островам южной части Тихого океана. Вернувшись в Америку, он женился на Сейре Уэлкам, которая родила ему дочь и с которой он разошелся в конце 1920-х годов. До конца войны ему выпало еще одно дальнейшее путешествие (по тайной казенной надобности), о котором пойдет речь в свое время. Вернувшись в Англию, он прожил в Лондоне десять лет (1918—1928). В 1928 году писатель приобрел на французском Лазурном берегу виллу «Мориск», ставшую его постоянной резиденцией и местом паломничества друзей и литераторов.

До второй мировой войны Моэм побывал в Малайе, Вест-Индии, Индии, Южной Америке, многих европейских странах; часто наезжал в Англию. Война застала его во Франции, и, прежде чем бежать морем из оккупированной немцами страны после разгрома союзников в Дюнкерке, он выпустил книгу очерков «Сражающаяся Франция» (1940), привлекшую внимание читателей даже в то трудное время. Работал он над этой книгой по предложению британского военного ведомства; оно же попросило Моэма отправиться в США рассказать американцам о сражающейся Англии. В октябре 1940 года писатель прилетел в Нью-Йорк. Он прожил в США в Калифорнии до 1946 года, когда возвратился на свою потрепанную, однако уцелевшую виллу.

На Лазурном берегу он оставался до конца своих дней. По-прежнему много путешествовал, в частности, бывал в США, Индо-

Китае, Японии; каждое лето проводил в Англии, в Дорчестере. Принимал на вилле «Мориск» гостей, занимался популяризацией классического наследия, публиковал материалы автобиографического и литературно-критического характера. После войны увидели свет такие известные книги Моэма, как «Великие романисты и их романы» (1948), «Записная книжка писателя» (1949), «Вкус к странствиям» (1952), «Точки зрения» (1958). Одним словом, эти годы его жизни показали, что вполне можно оставаться английским писателем, живя во Франции.

И все же Франция была особенно близка Моэму: в этой стране он родился, в ней он и умер. Ближе Франции ему была только Англия: жил и умер он подданным Британской короны, служил своей стране пером и умом и вернулся туда после смерти — прах Моэма, согласно его воле, был захоронен у библиотеки его имени в школе для мальчиков «Кингз Скул», той самой, куда он поступил десяти лет и откуда, недоучившись, с радостью уехал в старинный немецкий университетский город Гейдельберг шестнадцатилетним юнцом пополнять образование.

Моэм родился в Париже в семье юрисконсульта Британского посольства. Рано осиротев (в 1882 году умерла мать, через два года — отец), он был отправлен на воспитание в Англию к дяде со стороны отца, священнику в городке Уитстебл, графство Кентербери. Из дядюшкиного дома его и отдали в «Кингз Скул». Об этом периоде его жизни можно получить представление по романам «Бремя страстей человеческих» и «Пирог и пиво». В первом воссозданы переживания ранимого увечного мальчика, одинокого среди грубоватых здоровых сверстников и в доме родственников-пуритан. Во втором выведен самоуверенный и самодовольный подросток, неглупый, наблюдательный, зараженный всеми предрассудками своих провинциальных родных — викария и его жены, чванливый и робкий одновременно.

Два взгляда на собственное прошлое.

«Бремя страстей человеческих» во многом повторяет поэтику «Лизы из Ламбета» через дистанцию почти в двадцать лет. Конечно, в «Бремении» меньше натурализма, фактографичность и наблюдения над социальной средой, свойственные «физиологическому очерку», смягчены и почти сведены на нет, тоньше и непроявленной психологические состояния персонажей, но в целом оба романа — добротные образцы самого что ни на есть критического социально-психологического письма, разве что в «Лизе» мастерство рисунка еще не так совершенно, тогда как в «Бремении» уже ощутима рука мастера. Показательно, что на этот роман восторженно откликнулся Т. Драйзер, почувствовав в нем близкую его собственной трактовку жизненного материала. От того горько-проницательного и мудро-ехидного Моэма, романиста и рассказ-

чика, звезда которого взошла на литературном небосклоне после второй мировой войны вместе с выходом в свет «Луны и гроша», в «Бремени», пожалуй, только бесконечная терпимость, рассеянные вспышки ироничности да отдельные сатирические мазки. Вместе с тем «Бремя страстей человеческих» остается одним из лучших романов о «воспитании чувств» во всей английской литературе и в этом смысле, безусловно, произведение классического ряда. Оно совершенно в своем жанровом «ключе», его появление было подготовлено предшествующим творчеством Моэма. Не случайно за годы, отделяющие эту книгу от самой первой, «Лизы из Ламбета», он опубликовал шесть романов (один исторический, пять социально-психологических на материале жизни английской провинции), а написал еще больше. «Бремя» подводит черту под определенным периодом — назовем его периодом близкого следования традиции — в писательской биографии Моэма, знаменует собой его вершину и завершение. Многие критики и читатели, приверженные эстетике великого английского романа XVIII—XIX веков, считают «Бремя страстей человеческих» лучшей книгой Моэма, и писатель с ними соглашался — возможно, из ностальгических чувств.

Появление «Луны и гроша» также было подготовлено работой Моэма, однако уже в другом жанре — драматургии. После скромного, но все же успеха у рецензентов «Лизы из Ламбета» Моэм сделал не столько даже решительный, сколько рискованный шаг, изменивший всю его жизненную планиду: поставил крест на карьере врача, к которой упорно готовился в институте пять лет (1892—1897), и стал профессиональным литератором. Но последовавшие за «Лизой» романы — «Становление святого» (1898), «Герой» (1901), «Миссис Крэддок» (1902) — денег не принесли, и молодой автор попробовал силы в драматургии.

Его пьесы не сразу попали на сцену, но, попав, прочно на ней обосновались. Самая первая, «Муж и жена» (1903), особого успеха не имела, но когда светская комедия «Леди Фредерик», написанная в 1904 году, а поставленная в 1907-м, целый год продержалась с аншлагом, судьба Моэма определилась твердо и окончательно. Другие его пьесы, в том числе созданные ранее, тоже нашли постановщиков, и в 1908 году в четырех лондонских театрах одновременно шли четыре разные пьесы Моэма. На одной из карикатур тех лет изображен Шекспир, изнывающий перед набором афиш о спектаклях по пьесам Моэма.

Биограф Моэма Энтони Кертис довольно сдержан в оценке его драматургического наследия: «Моэм... превратил себя в своеобразный компьютер по производству пьес, заложив в программу все элементы, необходимые для того, чтобы обеспечить пьесе спрос и успех: остроты, искательницу приключений с сердцем из чистого

золота, шантаж и легкий ирландский акцент»¹. Ясно, что критик держит перед глазами «Леди Фредерик». Ясно и другое — для «хорошо сделанной пьесы», в каноне которой писал Моэм-драматург, этого мало; тут требуется еще абсолютный слух на живую речь в диалогах и столь же абсолютное чувство соразмерности в сюжете. Все это имеется в «Леди Фредерик», изящной мелодраматической комедии о нравах эдвардианской эпохи² и образце не просто хорошо, но блестяще сделанной пьесы.

За тридцать лет (1903—1933) свет рампы увидели двадцать три пьесы Моэма, большей частью комедии, самая смешная из которых, по мнению критики, — «Круг» (1921), а также драмы, причем трагические. Одна из последних, повествующая о преступлении матери, убившей из сострадания любимого сына-инвалида («Священный огонь», 1929), воспринимается как аналог античной трагедии рока в XX веке. Перед тем как оставить драматургию, Моэм создал две пьесы, относящиеся к числу его самых сильных. Это драма «За заслуги» (1932) о кризисе традиционных мировоззренческих и духовных ценностей Великобритании после первой мировой войны, об искажении и иссушении души страданием — и гротескная комедия «Шеппи» (1933), построенная на обыгрывании абсурдных положений, возникающих из несоответствия между психологией рабочего человека и требованиями внезапно привалившего ему богатства.

Рассуждая о «хорошо сделанной пьесе», обычно ссылаются на А. Пинеро, Д.-М. Барри, Г.-А. Джонса, Н. Коуарда, как будто пьесы О. Уайльда или Б. Шоу «сделаны» плохо. Моэм-драматург, как правило, рассматривается в кругу А. Пинеро и других, а между тем по складу своей иронии, по вкусу к положениям парадоксальным, по неприятию культа видимости, внешнего благообразия, которое выдается за внутреннюю порядочность, он был ближе к Уайльду. Что до его последних пьес (с конца 1920-х годов), то свойственная им запечатленность исторического времени, социальная подоплека конфликтов и гротескная заостренность мизансцен приводят на память Б. Шоу. Комедии Моэма никогда не были только комедиями; это были в прямом и переносном смысле комедии характеров, и на этом уровне содержащаяся в них издевка над социальной мифологией бывала довольно злой.

Пьесы Моэма, таким образом, — неотъемлемая страница английской драматургии XX века, звено в цепочке, соединяющей драматургию О. Уайльда, Д.-Б. Пристли и Д. Осборна, автора послевоенных трагикомедий о жизни «среднего» англичанина.

¹ Curtis Anthony. The pattern of Maugham.— L., N. Hamilton, 1974, p. 62.

² Так именуют годы правления (1901—1910) английского короля Эдуарда VII.

Они нисколько не устарели: в хорошей постановке динамика действия и сценичность мизансцен обеспечат им успех и у современного зрителя. Они ценны сами по себе — и все же в перспективе времени значение драматургии для творчества Моэма видится в другом. Пьесы принесли ему независимость и веру в правильность сделанного шага, это во-первых. Они стали своего рода полигоном стиля, это во-вторых. Работая над ними, писатель учился устраняться из повествования, уводить смысл и свою оценку изображенного в характеры и положения, комментировать жизнь не от первого лица (напомним, что в книгах Моэма рассказчик отказывается быть судьей), а через сюжет, говорить сжато, емко, по существу. Все эти приобретения мастерства в полной мере проявились в романе «Луна и грош».

Вместе с двумя другими, «Пирог и пиво» и «Театр» (1937), он образует нечто вроде трилогии о художниках-творцах и творчестве. Центральные персонажи этих книг, к кому так или иначе стянуты все нити повествования, — живописец Чарлз Стрикленд («Луна и грош»), писатель Эдуард Дрифилд («Пирог и пиво»), актриса Джулия Лэмберт («Театр»). Современники усматривали в них сходство с реальными лицами, упрекали писателя в искажениях, окарикатуривании, даже клевете. Писатель как мог опровергал такие обвинения, указывая в тех случаях, когда сходство было очевидным (например, между влиятельным критиком Хью Уолполом и действующим лицом «Пирогов и пива» Элроем Киром), что образ чисто собирательный, а в тех, когда совсем небольшим, как Дрифилда с английским писателем Томасом Гарди, что оно случайно и автор, всего лишь раз встречавшийся с «прототипом» в реальной жизни, вообще не понимает, о чем тут можно спорить. Моэм, конечно, лукавил: ему бывало достаточно одной беседы с человеком, чтобы тот возник потом как живой на страницах его прозы. Но он безусловно был прав, утверждая: «Ведь все образы, что мы создаем, — это лишь копии с нас самих». Так что, скажем, не Поль Гоген, человек и художник, интересовал Моэма в романе «Луна и грош» — автору было важно, отталкиваясь от фактов личной и творческой биографии французского мастера кисти, создать самобытное художественное произведение и поставить в нем проблемы творчества, нравственности и социального окружения творца, которые занимали именно его, Моэма. Они исследованы во всех трех романах, однако решены неодинаково.

Возьмем одну из них: творец — и социальное окружение.

В романе «Луна и грош» вселенная Стрикленда-художника — его искусство и служение искусству — представлена как некий замкнутый мир, подчиняющийся собственным законам. Рядом с ним существует другой мир — вселенная буржуа, о которой повествуется уже в другом «ключе».

Если мир Стрикленда прорывается в вечность, если забвение и время не властны над его искусством, то мир госпожи Стрикленд, этой респектабельной буржуазки, обречен на небытие. Бег времени почти физически ощущим там, где жизнь суетна и пошла. Моэм подчеркивает это великолепно найденным композиционным «ходом»: описав интерьер в доме Стриклендов еще тогда, когда его хозяин был добропорядочным гражданином и семьянином (гл. IV), он сопоставляет его с интерьером в особняке госпожи Стрикленд по прошествии двадцати лет (гл. LVIII). Добропорядочный гражданин после многих метаморфоз превратился в великого художника, гордость человечества, а вот госпожа Стрикленд только постарела, в остальном же ничуть не изменилась. В ее доме ткани по узору Морриса уступают место диванным подушечкам по эскизам Бакста, что естественно: моды меняются, время уходит, ускользает. Но пошлость остается неизбывной.

Тут требуется отступление об отношении Моэма к снобизму, явлению весьма распространенному, но по происхождению сугубо британскому. Суть его заключается в оценке человека не по его личным качествам, а по месту, которое он занимает на лестнице общественной иерархии, и в соответствующем поведении: тех, кто хотя бы на ступеньку ниже, уже можно третировать; тех, кто стоит выше, надлежит почитать; смысл жизни — самому подняться на столько ступенек, на сколько получится, для чего, понятно, придется кого-то топтать, а перед кем-то тянуться. Снобизм как холуйское по природе состояние души уничтожил своим пером, выставляя его на осмеяние, еще великий Свифт в «Сказке бочки» и «Путешествиях Гулливера». Ко временам Моэма снобизм пришел обогащенный опытом многовекового колониального владычества, включая сложившийся в имперских условиях и вошедший в плоть и кровь нации социально-психологический стереотип британского офицера и джентльмена.

Ирония Моэма суховата, язвительна и нередко по-свифтовски ригорична, когда он касается пошлой жизни пошлых людей, и это понятно. Но столь же понятно и то, что нравственная и эстетическая критика мира буржуазной посредственности принимает в его книгах форму развенчания снобизма с помощью смеха и едкой иронии. У Моэма было особое чутье на истинные побуждения, лежащие в основании человеческих действий, и он умел эти побуждения обнажать, точнее, заставлять персонажи самораскрываться в характерных фразах, жестах, гримасах, типичных, то есть предсказуемых, реакциях на те или другие жизненные обстоятельства. Из английских писателей XX века, может быть, никто не представил снобов так полно и в таком разнообразии видов, как Моэм, и многие из созданных им гротескных образов вполне могли бы

претендовать на включение в теккереевскую «Книгу снобов», эту художественную энциклопедию явления в первой трети XIX века, но верную и для XX.

Моэм создал впечатляющую галерею — госпожа Стрикленд, помощник губернатора Гонконга Чарлз Таунсенд («Узорный покров», 1925), эстетствующий критик Элрой Кир, юный Уилл Эшенден и его церковная родня и вторая жена Дриффилда («Пирог и пиво»), молодой карьерист Томас Феннел («Театр»), Чарлз Мейсон из «Рождественских каникул», многие герои рассказов («Макинтош», «На окраине империи», «Заводь», «Записка», «Не-что человеческое», «В львиной шкуре» и др.); наконец, американец Эллиот Темплтон в «Острие бритвы» — ходячее вочеловечение снобизма. Он воплощает снобизм с такой же исчерпывающей полнотой, с какой шекспировский Шейлок — скупость, а Диккенсов Пекснифф — лицемерие.

Таковы персонажи первого ряда, но Моэм не упускает возможности выявить и припечатать социальный феномен и в самом незначительном из действующих лиц, причем для саморазоблачения сноба бывает достаточно двух слов, выразительной мины, жеста, ассоциации или сравнения, возникающего у рассказчика. Примеров хватает в каждом произведении, ограничимся поэтому «моментальными фотографиями» офицеров и джентльменов, а также их достойных половин в «трилогии».

«Театр» — полковник Госселин: «В его чертах сквозило несколько подержанное благородство. Он вызывал в памяти профиль на монете, которая слишком долго находилась в обращении». «Пирог и пиво»: майор Гринкорт делит все человечество на «сахибов» (то есть хозяев, соль земли) и всех прочих; при майорше Гринкорт не заговаривают о посуде, поскольку негласный источник ее наследства — торговля этим товаром. «Луна и грош» — явление полковницы: «У миссис Мак-Эндрю, уже изрядно поблекшей, был такой воинственный вид, словно она засунула к себе в карман всю Британскую империю; вид, кстати сказать, характерный для жен старших офицеров и обусловленный горделивым сознанием принадлежности к высшей касте...»

В трактовке Моэма снобизм — это возведенный в абсолют предрассудок. Абсолютизация же любой мнимости, считал писатель, порождает нетерпимость и, как следствие, разнообразные изощренные формы фанатизма. Все это, по Моэму, глубоко противно человеческой натуре, суть насилие над жизнью, а последняя — в этом он был глубоко убежден — не терпит насилия, восстает и заставляет человека жестоко расплачиваться за поругание естества — и биологического, как в сильном рассказе о запретной любви индустриального «Сумка с книгами», и социального, как в случае с преподавателем Дэвидсоном из хрестоматийной новеллы «Дождь».

Как бы там ни было, Моэм свидетельствует: в разгороженном «протокольном» мире, где правят мнимости, человеку-творцу делать нечего — он в него не «вписывается». Стрикленд обретается вне этого мира. Дрифилд от него отталкивается, бежит из этого мира в переносном, а на закате жизни и в прямом смысле слова, когда удирает от второй жены пообщаться с простым человеком в трактире. На свой лад, впрочем, бежит и его молодой коллега по писательскому цеху Эшенден, усвоивший истину: «Очень трудно быть одновременно джентльменом и писателем».

Актеру сложнее — бежать, казалось бы, некуда: «Все люди — наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства, мы создаем из них красоту, их жизненное назначение — быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения». От зрителя и впрямь не убежишь. Однако предрассудок — это предрассудок, о чем Джулии Лэмберт забыть не дают: «Отец (полковник Госселин. — В. С.) говорит, ты — настоящая леди, ни капли не похожа на актрису». Так Джулия находит свой способ бегства, поменяв местами искусство и действительность. «Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности» — вот что для нее значит выход на сцену.

В таком контексте Моэму никак было не обойти «вечного» вопроса, неизменно волнующего людей творческой мысли и творческого темперамента, — об отношении искусства и жизни. Это суть соотношения между красотой и моралью, между личностью художника-творца и плодами его искусства.

В «Мощарте и Сальери» А. С. Пушкин утверждал, что «гений и злодейство две вещи несовместные». Моэм в романе «Луна и грош» показал, что эти «вещи» совмещаются. Убийство (в конечном счете это именно убийство) Стриклендом Бланш Струве своей жестокостью не становится чем-то другим оттого, что убийца — человек гениальный и великий художник, что деяния его лишены ханжества и лицемерия и нет для него в смерти Бланш никакой личной корысти.

Служа искусству, Стрикленд убивает не одну Бланш — он убивает в себе человека. Чтобы реализовать свой гений, он превращается в личность бездушную, безнравственную, причем не с точки зрения нормативной морали, опирающейся на снобизм (тут все ясно: раз гений — значит, богема, и нечего ждать другого), но по большому счету общечеловеческой нравственности. Почему такое превращение необходимо связано с его гениальностью — этот парадокс Моэм оставляет без ответа. «Гений и злодейство» совмещены в Стрикленде статично, ему недостает того, что, в применении к характерам великой литературы, называется диалектикой души. Разумеется, в трактовке Моэма Стрикленд-художник неизмеримо

существенней в любом смысле, чем Стрикленд — плохой человек. Моэм возвеличивает дело жизни творца. И все же... Все же лучшее творение Стрикленда, фреска на стенах деревянной хижины, гибнет в огне. Деталь явно символическая, которую тем более нельзя обойти, что символика у Моэма нечастый гость.

Нет, отнюдь не случайно введен в роман эпизод уничтожения самой гениальной работы Стрикленда — росписи «страшной», «ужасающей». Уже самые эпитеты указывают на то, что могут существовать иные, более высокие формы прекрасного, соединяющие красоту, истину и добро. Другими словами: творческий гений, одержимость вдохновением — с разумной человеческой совестью.

Так оно и происходит в двух других романах «трилогии», где в облике мастеров — Дриффила и Джулии Лэмберт — творческое начало и живой человек не разведены по полюсам, взаимопроникают, и это прослежено автором. Поэтому их характеры не лишены диалектики души.

Видимо, с ходом лет Моэму становилось яснее и то, каким образом в одной душе низменные инстинкты и физиология уживаются с гениальностью, и кое-что в природе самой гениальности. Теперь гениальность для него в первую очередь способность не к феерическому самовыражению, но к неповторимому, отмеченному личностью художника перевоссозданию жизни, успех которого и есть показатель красоты. Не красивости, а именно красоты, как о том недвусмысленно свидетельствует «портрет» лучшей книги Дриффила, романа «Чаша жизни»: «В ней есть какая-то хладнокровная беспощадность, которая резко выделяет ее на фоне сентиментальности, присущей английской литературе. В ней есть свежесть и терпкость. Она как кислое яблоко — от нее сводит скулы, но в то же время в ней чувствуется какой-то едва заметный и очень приятный горьковато-сладкий привкус».

Можно видеть, что высшая свобода художника, о которой писал Моэм, — свобода переплавить собственный опыт, перевоссоздав жизнь, — заложена в самой природе гениальности. Именно с ней связаны творческие взлеты Дриффила. Таково же, под пером Моэма, и существо актерского гения: «У Джулии часто возникал в памяти кто-нибудь из знакомых или даже случайный человек, которого она видела на улице или на приеме. Она сочетала эти воспоминания с собственной индивидуальностью, и так создавался характер, основанный на реальной жизни, но обогащенный ее опытом, ее владением актерской техникой и личным обаянием». Нетрудно убедиться, насколько непохожими на самих себя в жизни предстают художники в своем творчестве — и в то же время насколько их творчество является выражением их личности со всеми ее сторонами, в том числе и малосимпатичными.

В отличие от Стрикленда, Дрифилд и Джулия Лэмберт не злодеи, хотя и ангелами их отнюдь не назовешь; но и неангелические свойства натуры они преобразуют в красоту. В этом — их высший суд и оправдание. То ли потому, что Стрикленд — гений посмертной славы, тогда как книги Дрифилда находят своего читателя при жизни автора, а дару актрисы, помимо самовыражения, требуется сидящий в зале живой человек; то ли потому, что Моэм кое-что пересмотрел в своих взглядах, но в двух последних частях «трилогии» отчетливо проводится мысль, прозвучавшая в подтексте романа «Луна и грош» несколько глухо: конечное оправдание человека-творца — в создании красоты, необходимой другим.

Но что такое — необходимость красоты?

По Ф. М. Достоевскому, красота должна спасти мир. Моэм почитал Достоевского, и, видимо, эта формула великого писателя не вызвала бы у Моэма внутреннего сопротивления. Однако он, с присущей британцам эмпиричностью, захотел бы сузить ее космический характер до обозримых масштабов. Практически именно это он и сделал в своем определении классики: «Классической книга становится не потому, что ее хвалят критики, разбирают профессора и проходят в школе, а потому, что большие массы читателей из поколения в поколение получают, читая ее, удовольствие и духовную пользу».

«Духовная польза» — это в высшей степени важно для Моэма. Под нею он разумел не воспитательные и уж подавно не пропагандистские задачи, но способность побуждать к нравственным переживаниям: «Ценность искусства — не красота, а правильные поступки». Тут нет противоречия, поскольку, как явствует из многих суждений Моэма, искусство приводит к «правильным» (читай: нравственным, добрым) поступкам не напрямую, а через красоту, вызывающую к эстетическому чувству. Красота — необходимый, хотя и недостаточный критерий значимости произведения искусства. Или, как формулировал это Моэм: «Эстетическое переживание имеет ценность лишь в том случае, если оно воздействует на природу человека и таким образом вызывает в нем активное отношение к жизни». Никакого ущемления прав искусства в этом нет. Если вспомнить, что абсолютным искусством было для Моэма искусство жить, то становится ясным, сколь высоко ставил этот скептик и рационалист работу художника-творца.

И все же подчинял творчество жизни. Как ни любил Моэм искусство, как ни был ревнив к своему ремеслу писателя, жизнь для него была выше искусства, важнее. Когда художники в «трилогии» забывают о том, что первично, жизнь восстает и берет реванш. Счеты между художником и жизнью не сводятся только в «Театре», да и то, вероятно, потому, что для великой актрисы

жизнь — это искусство, а искусство — это жизнь. А вот Стрикленда, как уже говорилось, жизнь, на которую ему было плевать, настигает — и гибнет его лучшее творение. Расплачивается жизнь и с Дрифилдом: и за свободу художника (фраза его первой жены Розы о том, что, будь жив их ребенок, она бы не ушла от мужа), и за легкое к себе отношение — сначала оставив без Розы, потом устроив тюрьму с надзирательницей в виде второй жены, наделенной всеми ненавистными Дрифилду мещанскими пороками и снобизмом, а затем, после смерти, отдав на растерзание литературным стервятникам. Велика внутренняя свобода художника, но призрачна свобода человека. По-настоящему свободна только жизнь в своем непрерывном течении, и эту свободную жизнь с ее раскованностью и щедростью открытого чувства олицетворяет в романе Розы, один из самых живых и обаятельных женских характеров у Моэма. Роман — о писателях, живых и мертвых, а последнее слово в нем остается за Розой, которая и книг-то их никогда не читала, просто живет себе — и все.

Если спор о главенстве между искусством и жизнью Моэм однозначно решал в пользу последней, то вопрос вопросов — «что такое вообще жизнь и есть ли в ней какой-то смысл» («Острие бритвы») — занимал Моэма на протяжении всего творческого пути, и ответы на него он давал разные.

В период «Лизы из Ламбета», когда на его взгляды влияли теория Дарвина и спенсерианство (бесподобный портрет мрачного юного детерминиста дан в главе XXI «Итогов»), ответ, естественно, был ясен и прост: человек живет для того, чтобы участвовать в битве за существование, где может выстоять, а может и проиграть. Ранние пьесы не добавили к этой концепции ничего нового, хотя и перенесли арену битвы в светские салоны и буржуазные гостиные (см. «Леди Фредерик»). В «Бремени страстей человеческих» Моэм уже ближе к философии, одушевляющей Мопассана в романе «Жизнь»: жизнь не так уж плоха и не так уж прекрасна, ее смысл в том, чтобы жить.

Иное решение предложено в первом романе «трилогии»: оправдание жизни — в плодах, что деятельность человека приносит людям. Если созданное им становится необходимым другим, значит, это прекрасно и жизнь прожита не зря. В какой-то степени эта точка зрения проведена и в двух других книгах, «Пирогам и пиве» и «Театре», при том что в романе 1929 года прекрасным творением человека становится сама его жизнь, которой он способен одарить других, как одаривает Розы молодого Эшендена. Однако еще раньше, в «Узорном покрове», уже развита мысль о жизни-красоте: «Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса...

И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это — самое высокое произведение искусства».

Преподанный героине романа погибшим в борьбе с эпидемией мужем и скромно-героическими усилиями сестер-монахинь урок «прекрасно прожитой жизни» выводит ее на путь освобождения от «бремени страстей человеческих». Казалось бы, ответ найден: смысл жизни — в подвижничестве, в служении ближнему. Но Моэм на этом не останавливается. Сказав в пьесах «Священный огонь» и «За заслуги» о том, что страдание есть отрицание прекрасного и нравственного, он в романе «Рождественские каникулы» неожиданно пересматривает эту оценку, выступая с трактовкой страдания как очищения и искупления, то есть высшего в жизни деяния, ее «звездного часа». Героиня романа Лидия, русская по рождению, решает после осуждения за убийство мужа-француза стать проституткой, чтобы испить чашу страданий.

«За грех надобно расплачиваться страданием. Откуда вам с вашей холодной английской душой знать, что такое любовь, в которой вся моя жизнь? Я — его, а он — мой. Я сотворила бы такое же гнусное преступление, когда б отказалась разделить с ним муки. Я знаю, что его грех можно искупить только нашим обоюдным страданием», — так прокламирует она смысл своего существования, а поскольку образ этот в сильной степени идеален, можно заключить, что автор почитает идеальной и жизненную установку Лидии.

В обрисовке Лидии очевиднейше сказалось воздействие на Моэма женских образов классического русского романа, в первую очередь героинь Достоевского и Катюши Масловой из «Воскресения» Л. Толстого. Лидия с ее любовью к олитературенной России Чехова, Тургенева, Толстого, Скрябина, с ее странной, на взгляд западного человека, повадкой и загадочной «русской душой» — образ в принципе литературный, и литературные аналогии, как заметит читатель, возникают в связи с этим образом постоянно. Однако заимствования продиктованы явно поисками самого Моэма, стремившегося найти наиболее органичную форму слияния прекрасного с нравственным как образец «прекрасно прожитой жизни».

Нашел он его, как ни парадоксально, еще восточнее России — в философии веданты, включающей в себя понятия судьбы, предназначения и жизненного пути. В том, к чему вслепую идет героиня «Узорного покрова» и приходит осознанно Ларри Даррел, главное действующее лицо романа «Острие бритвы» и, пожалуй, единственный в творчестве Моэма образ, по определению Достоевского, положительно прекрасного человека.

Интерес Моэма к восточным религиозно-философским системам не случаен — они привлекали не одно поколение интеллиген-

ции и молодежи на Западе. Привлекали как возможная альтернатива деляческому прагматизму, политическому цинизму, христианской догматике и пессимизму философии отчаяния от Шопенгауэра до Шпенглера. Однако мудрый скептик Моэм, в отличие, например, от своего соотечественника и крупного писателя Олдоса Хаксли, не принимал восточный мистицизм на веру, то есть не ставил новую религию на место старого христианства. Так и для его героя веданта не символ веры, а своеобразное руководство в повседневной жизни; основательное штудирование веданты под наставничеством учителя — «гуру» — лишь укрепляет Ларри в том, о чем он уже догадывался, помогает сформулировать истины, которые уже перед ним маячили, хотя и не давались в руки.

Принципиальное отличие Ларри Даррела от других персонажей Моэма — в решении проблемы «я и другие». Ему мало быть терпимым и просто помогать людям. Противясь любым попыткам превратить его в чью-либо собственность, он в то же время готов полностью отдать себя и свое участие в распоряжение тех, кому это жизненно необходимо. Об активной милосердии Ларри свидетельствует его отношение к двум «падшим» в глазах уважаемого общества женщинам — Сюзанне Рувье, которую он в прямом смысле спасает от смерти, и сломленной обстоятельствами американке Софи Макдональд.

Повествователь — а он, напомним, носит здесь настоящую фамилию автора — уже не задумывается над тем, являет ли собою жизнь Ларри «самое высокое произведение искусства»: она, эта жизнь, оправдывает самое себя и наполняется смыслом, не нуждаясь в том, чтобы ее ценность отмеривали по эстетической шкале. Знаменательно, что Моэм, неизменно скрывающийся за маской рассказчика, в данном случае, когда грань между автором и повествователем практически стерта, демонстративно нарушает положенный им для себя принцип невмешательства и выступает с прямой оценкой персонажа: «...я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека». Это говорит о том, что в своем итоговом романе Моэм объективно признает: смысл жизни человека — в ее нравственном содержании.

Едва ли случайно, что образ этот возник в романе, создававшемся в разгар второй мировой войны. И в реакции Ларри на первую мировую войну, а он в ней сражался, и в его послевоенных настроениях есть многое, объединяющее его с героями «потерянного поколения», какими их показали Олдингтон, Ремарк, Хемингуэй. Однако история, а с ней вместе и Моэм, пересмотрела к концу 1930-х годов само явление, увидев в «потерянном поколении» не только трагедию веры, но и несостоятельность безверия. Закономерно. Первая мировая война повлекла за собой крах старых ценностей европейской цивилизации, вторая поставила

под угрозу само существование этой цивилизации. Противостоять угрозе и спасти цивилизацию, не имея за душой ценностей, было невозможно. Моэм утверждал необходимость обретения ценностей, построенных на правде и справедливости, и приветствовал их даже в тех случаях, когда лично ему они были бесконечно далеки, как, скажем, ценности, провозглашенные в России двумя революциями. Февральской и Октябрьской.

Здесь он мог судить не совсем понаслышке: он побывал в России как раз между революциями, и привели его туда не совсем обычные обстоятельства. Стремясь принести посильную пользу своей стране, он в годы войны согласился выполнить для британской контрразведки несколько деликатных заданий. О том, как это произошло и что это были за задания, он рассказал в новеллах, составивших книгу «Эшенден, или Британский агент». С секретными миссиями он побывал в Швейцарии, Италии — и в России, где ему было поручено уговорить Временное правительство продолжать военные действия и выяснить, как страны Антанты могут ему помочь удержаться у власти. Миссия окончилась ничем, что и следовало ожидать, но опыт пригодился Моэму как писателю, обогатив его знанием «тайной войны» в ее жестокой, а то и отталкивающей реальности. Это подтверждают новеллы из книги «Эшенден», в частности опереточная и одновременно жутковатая фигура «безволосого мексиканца», этой предтечи многочисленных агентов, заполонивших дурную западную беллетристику после второй мировой войны.

Но не только это. Увидел он тогда в России мало, разобраться в увиденном не смог, что неудивительно, но трагизм и грандиозные масштабы происходящего, его изначальную непохожесть на все, что бывало когда-то в истории западных стран, ощутил каким-то шестым чувством, о чем говорят «российские» страницы «Эшендена», объединенные впоследствии Моэмом в большую новеллу, получившую название по одной из ее «составляющих» — «Рубашки мистера Харрингтона». Это помогло Моэму прочувствовать дух справедливости, поднявший народ на Октябрьскую революцию, и принять послеоктябрьскую действительность как историческую данность — неоспоримую, необратимую и утверждающую собственные идеалы, о чем он и писал в «Итогах».

Вместе с тем извращения послереволюционной практики в Советском Союзе, насколько он мог о них знать и судить о них применительно к западноевропейской действительности, он не принимал и осуждал. Об этом более чем красноречиво свидетельствует одиозная, хотя и не лишенная трагизма фигура Саймона Фенимора в романе «Рождественские каникулы».

В его обрисовке тоже очевидны литературные влияния, в частности романа Достоевского «Бесы» (образ Верховенского-млад-

шего). Саймон — средневропейское воплощение «верховенховщины» на новом историческом этапе. Автор вскрывает социально-психологические «корни» явления: ущербность в детстве, обернувшаяся комплексом неполноценности, переродившимся, в свою очередь, в непомерное властолюбие; прагматизм и цинизм, помноженные на самоотрицание; политическое левачество вкуче с отказом от общечеловеческих ценностей и культом террора. Знакомый набор.

Левацкий максимализм, наложенный на исторический опыт Европы после первой мировой войны и Октября, приводит Саймона к утверждению диктатуры и террора как неперменных форм и условий существования сильной государственности. Достаточно самокритичный, чтобы понимать свою непригодность на роль диктатора, он готов удовлетвориться другой, более скромной, — главы аппарата подавления, организующего террор в общегосударственном масштабе. За образец он берет Дзержинского, вернее тенденциозный, и даже очень, облик этого деятеля. Саймон потому и порывает с героем романа, что видит в этой своей дружеской привязанности последние пути, сковывающие его в преддверии великой карьеры — распорядителя казнями при будущем тиране.

Следует отдать Моэму должное: он не был блестящим политологом, но человеческую натуру знал совсем неплохо. Последнее, вероятно, и помогло ему на примере Саймона Фенимора показать, какую уродливую форму способно принимать в человеке с гипертрофированным властолюбием сочетание ультраревольюционной левизны, доктрины террора и откровенно цинической «здоровой политики». Не нужно забывать, что герой, как и его автор, имел перед глазами наглядный пример успешного (мнилось тогда) функционирования таких разных по происхождению, идеологическому окрасу и пропагандистской терминологии, но очень схожих по методам подавления диктатур, как сложившиеся в Германии и в Советском Союзе.

Роман «Рождественские каникулы» любопытен, помимо прочего, как показатель интереса писателя к «русской» теме, воздействия на него русской литературы, а через нее и культуры в целом и озабоченности Моэма тем, что происходило в социалистической России. Критика новоявленной бесовщины говорит о том, что автор, что бы там ни писали современные ему критики и как бы сам он ни отрекся от политики, отнюдь не был чужд политической злобе дня, не жаловал террора и не оправдывал подавления прав человека. Роман крепко соотнесен с историческими реалиями кануна второй мировой войны и показывает исчерпанность традиционных либерально-буржуазных воззрений и опирающегося на них образа жизни, как, впрочем, и несостоятельность насильственного внедрения новых классовых добродетелей.

Вот так творчество Моэма, при основательном с ним знакомстве, опрокидывает один за другим мифы о писателе, творившиеся при его жизни. С ходом времени значение его вклада в литературу становится все бесспорней, а облик творца, освобождаясь от наслоений, привнесенных страстями эпохи и обидами критиков, проступает все четче. Далекий от хрестоматийного, о чем предусмотрительно позаботился сам Моэм, но отмеченный теми качествами, которые писатель ценил в других, — добротой, терпимостью, верностью избранной стезе, требовательностью в служении своему ремеслу.

Моэм не пролагал новых путей в литературе, но создал свой стиль. Он не претендовал на открытие новых истин, но предложил свою точку зрения на истины известные, заставив их заиграть по-новому. Он жил в свое время и своим временем, не уходя от вопросов, которые оно ставило перед ним — художником слова и англичанином. Он честно свидетельствовал о том, что видел. Он говорил правду, как он ее понимал («Добиться успеха, как подсказывает мне опыт, можно лишь одним способом — говоря правду, как ты ее понимаешь...»). Он писал для того, чтобы его читали, он этого хотел, и он этого добился: с его смерти минуло четверть века, а его читают все так же. Как-то незаметно он перешел из современников — в классики. Вероятно, потому, что никогда не заботился о посмертной судьбе своих книг.

Потому, что жизнь была в его глазах важнее искусства и литературы.

Потому, что демократический читатель его книг был для писателя прежде всего живым существом, чье повседневное существование волновало его не меньше, если не больше эстетических предпочтений этого самого читателя. Недаром эссе к своему восьмидесятилетию он счел нужным закончить именно на этой ноте:

«Богатые сегодня уже не богаты... И бедняки теперь не так уж бедны: они живут в пристойных домах, лучше одеваются, в каждой семье есть приемники, телевизоры, проигрыватели. Наконец-то эти люди получили возможность жить вполне обеспеченно и без страха смотреть в будущее. Мы все должны благодарить за это судьбу».

Судьба воздала и ему по заслугам.

«Что изменилось бы на свете, не существуй меня совсем?» — спрашивал он незадолго до смерти.

Теперь время ответило со всей определенностью: все стали бы беднее на несколько мудрых, интересных и нужных книг, оставленных Уильямом Сомерсетом Моэмом.

Завидный итог.

В. Скороденко

БРЕМЯ СТРАСТЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Перевод Е. Голышевой, Б. Изакова

Of Human Bondage

1915

ГЛАВА 1

День занялся тусклый, серый. Тучи повисли низко, воздух был студеный — вот-вот выпадет снег. В комнату, где спал ребенок, вошла служанка и раздвинула шторы. Она по привычке окинула взглядом фасад дома напротив — оштукатуренный, с портиком — и подошла к детской кроватке.

— Вставай, Филип,— сказала она.

Откинув одеяло, она взяла его на руки и снесла вниз. Он еще не совсем проснулся.

— Тебя зовет мама.

Отворив дверь в комнату на первом этаже, няня поднесла ребенка к постели, на которой лежала женщина. Это была его мать. Она протянула к мальчику руки, и он свернулся калачиком рядом с ней, не спрашивая, почему его разбудили. Женщина поцеловала его зажмуренные глаза и худенькими руками ощупала теплое тельце сквозь белую фланелевую ночную рубашку. Она прижала ребенка к себе.

— Тебе хочется спать, детка? — спросила она.

Голос у нее был такой слабый, что казалось, он доносится откуда-то издалека. Мальчик не ответил и только сладко потянулся. Ему было хорошо в теплой, просторной постели, в нежных объятиях. Он попробовал стать еще меньше, сжался в комочек и сквозь сон ее поцеловал. Глаза его закрылись, и он крепко уснул. Доктор молча подошел к постели.

— Дайте ему побыть со мной хоть немножко,— просто-нала она.

Доктор не ответил и только строго на нее поглядел. Зная, что ей не позволят оставить ребенка, женщина

поцеловала его еще раз, провела рукой по его телу; взяв правую ножку, она перебрала все пять пальчиков, а потом нехотя притронулась к левой ноге. Она заплакала.

— Что с вами? — спросил врач. — Вы устали?

Она покачала головой, и слезы покатались у нее по щекам. Доктор наклонился к ней.

— Дайте его мне.

Она была слишком слаба, чтобы запротестовать. Врач передал ребенка на руки няньке.

— Положите его обратно в постельку.

— Сейчас.

Спящего мальчика унесли. Мать рыдала, уже не сдерживаясь.

— Бедняжка! Что с ним теперь будет!

Сиделка пробовала ее успокоить; выбившись из сил, женщина перестала плакать. Доктор подошел к столу в другом конце комнаты, где лежал прикрытый салфеткой труп новорожденного младенца. Приподняв салфетку, врач поглядел на безжизненное тельце. И хотя кровать была отгорожена ширмой, женщина догадалась, что он делает.

— Мальчик или девочка? — шепотом спросила она у сиделки.

— Тоже мальчик.

Женщина ничего не сказала. В комнату вернулась нянька. Она подошла к больной.

— Филип так и не проснулся, — сказала она.

Воцарилось молчание. Доктор снова пощупал у больной пульс.

— Пожалуй, пока я здесь больше не нужен, — сказал он. — Зайду после завтрака.

— Я вас провожу, — предложила сиделка.

Они молча спустились по лестнице в переднюю. Доктор остановился.

— Вы послали за деверем миссис Кэри?

— Да.

— Как вы думаете, когда он приедет?

— Не знаю, я жду телеграмму.

— А что делать с мальчиком? Не лучше ли его куда-нибудь пока отослать?

— Мисс Уоткин согласилась взять его к себе.

— А кто она такая?

— Его крестная. Как по-вашему, миссис Кэри поправится?

Доктор покачал головой.

Неделю спустя Филип сидел на полу гостиной мисс Уоткин в Онслоу Гарденс. Он рос единственным ребенком в семье и привык играть один. Комната была заставлена громоздкой мебелью, и на каждой оттоманке лежало по три больших подушки. В креслах тоже лежали подушки. Филип стащил их на пол и, сдвинув легкие золоченые парадные стулья, построил затейливую пещеру, где мог прятаться от притаившихся за портьерами краснокожих. Приложив ухо к полу, он прислушивался к дальнему топоту стада бизонов, несущихся по прерии. Дверь отворилась, и он затаил дыхание, чтобы его не нашли, но сердитые руки отодвинули стул, и подушки повалились на пол.

— Ах ты, шалун! Мисс Уоткин рассердится.

— Ку-ку, Эмма! — сказал он.

Няня наклонилась, поцеловала его, а потом стала отряхивать и убирать подушки.

— Мы домой поедem? — спросил он.

— Да, я пришла за тобой.

— У тебя новое платье.

Шел 1885 год, и женщины носили турнюры. Платье было сшито из черного бархата, с узкими рукавами и покатыми плечами; юбку украшали три широкие оборки. Капор тоже был черный и завязывался бархотками. Няня не знала, как ей быть. Вопрос, которого она ждала, не был задан, и ей не на что было дать заранее приготовленный ответ.

— Почему же ты не спрашиваешь, как поживает твоя мама? — не выдержала она наконец.

— Я позабыл. А как поживает мама?

Теперь уже она могла ответить:

— Твоей маме хорошо. Она очень счастлива.

— Да?

— Мама уехала. Ты ее больше не увидишь.

Филип ничего не понимал.

— Почему?

— Твоя мама на небе.

Она заплакала, и Филип, хоть и не знал, в чем дело, заплакал тоже. Эмма — высокая, костистая женщина со светлыми волосами и грубоватыми чертами лица — была родом из Девоншира и, несмотря на многолетнюю службу в Лондоне, так и не отучилась от своего резкого говора. От слез она совсем растрогалась и крепко прижала мальчика к груди. Она понимала, какая беда постигла ребенка, лишенного той единственной любви, в которой не было

и тени корысти. Ей казалось ужасным, что он попадет к чужим людям. Но немного погодя она взяла себя в руки.

— Тебя дожидается дядя Уильям,— сказала она.— Сходи попрощайся с мисс Уоткин, и мы поедем домой.

— Я не хочу с ней прощаться,— ответил он, почему-то стыдясь своих слез.

— Ну ладно, тогда сбегай наверх и надень шляпу.

Он принес шляпу. Эмма ждала его в прихожей. Из кабинета позади гостиной доносились голоса. Филип в нерешительности остановился. Он знал, что мисс Уоткин и ее сестра разговаривают с приятельницами, и подумал— мальчику было всего девять лет,— что, если он к ним зайдет, они его пожалеют.

— Я все-таки пойду попрощаюсь с мисс Уоткин.

— Вот молодец, сходи,— похвалила его Эмма.

— Ты сперва им скажи, что я сейчас приду.

Ему хотелось получше обставить прощание. Эмма постучала в дверь и вошла. Он услышал, как она говорит:

— Филип хочет с вами проститься.

Разговор сразу смолк, и Филип, прихрамывая, вошел в кабинет. Генриетта Уоткин была краснолицая, тучная дама с крашеными волосами. В те дни крашеные волосы были редкостью и привлекали всеобщее внимание; Филип слышал немало пересудов на этот счет у себя дома, когда крестная вдруг изменила свою окраску. Жила она вдвоем со старшей сестрой, которая безропотно смирилась со своими преклонными годами. В гостях у них были две незнакомые Филипу дамы; они с любопытством разглядывали мальчика.

— Бедное мое дитя,— произнесла мисс Уоткин и широко раскрыла Филипу объятия.

Она заплакала. Филип понял, почему она не вышла к обеду и надела черное платье. Ей было трудно говорить.

— Мне надо домой,— прервал наконец молчание мальчик.

Он высвободился из объятий мисс Уоткин, и она поцеловала его на прощание. Потом Филип подошел к ее сестре и простился с ней. Одна из незнакомых дам спросила, можно ли ей тоже его поцеловать, и он степенно разрешил. У него хоть и текли слезы, но ему очень нравилось, что он причина такого переполоха; он с удовольствием побыл бы еще, чтобы его опять приласкали, но почувствовал, что мешает, и сказал, что Эмма, наверно, его дожидается. Мальчик вышел из комнаты. Эмма спустилась в помещение для прислуги поговорить со своей знакомой, и он остался

ждать ее на площадке. До него донесся голос Генриетты Уоткин:

— Его мать была моей самой близкой подругой. Никак не могу примириться с мыслью, что она умерла.

— Не надо было тебе ходить на похороны, Генриетта! — сказала сестра. — Я так и знала, что ты вконец расстроишься.

В беседу вмешалась одна из незнакомых дам:

— Бедный малыш! Остался круглым сиротой — вот ужас! Он, кажется, еще и хромой?

— Да, от рождения. Бедная мать так всегда горевала!

Пришла Эмма. Они сели на извозчика, и Эмма сказала кучеру, куда ехать.

ГЛАВА 3

Когда они подъехали к дому, где умерла миссис Кэри — он стоял на унылой, чинной улице между Ноттинг-хиллгейт и Хай-стрит в Кенсингтоне, — Эмма повела Филипа прямо в гостиную. Дядя писал благодарственные письма за присланные на похороны венки. Один из них, принесенный слишком поздно, лежал в картонной коробке на столе в прихожей.

— Вот и Филип, — сказала Эмма.

Мистер Кэри неторопливо привстал и обменялся с мальчиком рукопожатием. Потом подумал, нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Это был человек невысокого роста, склонный к полноте. Волосы он носил длинные и зачесывал набок, чтобы скрыть лысину, а лицо брил. Черты лица были правильные, и в молодости мистер Кэри, наверно, считался красивым. На часовой цепочке он носил золотой крестик.

— Ну, Филип, ты теперь будешь жить со мной, — сказал мистер Кэри. — Ты рад?

Два года назад, когда Филип перенес оспу, его послали в деревню погостить к дяде-священнику, но в памяти у него сохранились только чердак и большой сад; дядю и тетю он не запомнил.

— Да.

— Мы теперь с тетей Луизой будем тебе вместо отца и матери.

Губы у мальчика задрожали, он покраснел, но ничего не ответил.

— Твоя дорогая мама оставила тебя на мое попечение.

Мистеру Кэри нелегко было разговаривать с детьми. Когда пришла весть, что жена его брата при смерти, он тут же отправился в Лондон, но по дороге только и думал о том, какую возьмет на себя обузу, если будет вынужден заботиться о племяннике. Ему было далеко за пятьдесят, с женой они прожили тридцать лет, но детей у них не было; мысль о появлении в доме мальчишки, который мог оказаться сорванцом, его совсем не радовала. Да и жена брата никогда ему особенно не нравилась.

— Я отвезу тебя завтра же в Блэкстебл,— сказал он.

— И Эмма тоже?

Ребенок положил свою ручонку в руку няни, и Эмма ее сжала.

— Боюсь, что Эмме придется с нами расстаться,— сказал мистер Кэри.

— А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной.

Филип заплакал, и няня тоже не смогла удержаться от слез. Мистер Кэри беспомощно глядел на них обоих.

— Попрошу вас оставить нас с Филипом на минутку одних.

— Пожалуйста, сэр.

Филип цеплялся за нее, но она ласково отвела его руки. Мистер Кэри посадил мальчика на колени и обнял.

— Не плачь,— сказал он.— Ты уже большой — стыдно, чтобы за тобой ходила няня. Скоро все равно придется отправить тебя в школу.

— А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной! — твердил ребенок.

— Это стоит много денег. А твой отец оставил очень мало. Не знаю, куда все девалось. Тебе придется считать каждое пенни.

Накануне мистер Кэри сходил к поверенному, который вел все дела их семьи. Отец Филипа был хирургом с хорошей практикой, и его работа в клинике, казалось, должна была дать ему обеспеченное положение. Но после его скоропостижной смерти от заражения крови, к всеобщему удивлению, выяснилось, что он не оставил вдове ничего, кроме страховой премии и дома на Брутен-стрит. Умер он полгода назад, и миссис Кэри, слабая здоровьем и беременная, совсем потеряла голову, сдала дом за первую предложенную ей цену. Свою мебель она отправила на склад, а для того чтобы не терпеть во время беременности неудобств, сняла на год целый меблированный дом, платя за него, по мнению священника, бешеные деньги. Правда, она никогда не умела экономить и была не способна сократить расходы

в соответствии со своим новым положением. То немного, что ей оставил муж, она растратила, и теперь, когда все издержки будут покрыты, на содержание мальчика до его совершеннолетия останется не больше двух тысяч фунтов. Но все это трудно было объяснить Филипу, и он продолжал горько рыдать.

— Пойди лучше к Эмме, — сказал мистер Кэри, понимая, что няне будет легче утешить ребенка.

Филип молча слез с дядиных колен, но мистер Кэри его удержал.

— Нам надо завтра ехать, в субботу я должен приготовиться к воскресной проповеди. Скажи Эмме, чтобы она сегодня же собрала твои вещи. Можешь взять все свои игрушки. И, если хочешь, выбери по какой-нибудь вещице на память об отце и матери. Все остальное будет продано.

Мальчик выскользнул из комнаты. Мистер Кэри не привык трудиться: он вернулся к своим эпистолярным занятиям с явным неудовольствием. Сбоку на столе лежала пачка счетов, которые очень его злили. Один из них казался ему особенно возмутительным. Сразу же после смерти миссис Кэри Эмма заказала в цветочном магазине целый лес белых цветов, чтобы украсить комнату усопшей. Какая пустая трата денег! Эмма слишком много себе позволяла. Даже если бы в этом не было необходимости, он все равно бы ее уволил.

А Филип подошел к ней, уткнулся головой ей в грудь и зарыдал так, словно у него разрывалось сердце. Она же, чувствуя, что любит его почти как родного сына — Эмму наняли, когда ему не было еще и месяца, — утешала его ласковыми словами. Она обещала часто его навещать, говорила, что никогда его не забудет; рассказывала ему о тех местах, куда он едет, и о своем доме в Девоншире — отец ее взимал пошлину за проезд по дороге, ведущей в Эксетер, у них были свои свиньи и корова, а корова только что отелилась... У Филипа высохли слезы, и завтрашнее путешествие стало казаться ему заманчивым. Эмма поставила мальчика на пол — дел было еще много, — и Филип помог ей вынимать одежду и раскладывать на постели. Эмма послала его в детскую собирать игрушки; скоро он уже весело играл.

Но потом ему надоело играть одному и он прибежал в спальню, где Эмма укладывала его вещи в большой сундук, обитый жестью. Филип вспомнил, что дядя разрешил ему взять что-нибудь на память о папе и маме. Он рассказал об этом Эмме и спросил, что ему лучше взять.

— Сходи в гостиную и погляди, что тебе больше нравится.

— Там дядя Уильям.

— Ну и что же? Вещи-то ведь твои.

Филип нерешительно спустился по лестнице и увидел, что дверь в гостиную отворена. Мистер Кэри куда-то вышел. Филип медленно обошел комнату. Они жили в этом доме так недолго, что в нем было мало вещей, к которым он успел привязаться. Комната казалась ему чужой, и Филипу ничего в ней не приглянулось. Он помнил, какие вещи остались от матери и что принадлежало хозяину дома. Наконец он выбрал небольшие часы — мать говорила, что они ей нравятся. Взяв часы, Филип снова понуро поднялся наверх. Он подошел к двери материнской спальни и прислушался. Никто не запрещал ему туда входить, но он почему-то чувствовал, что это нехорошо. Мальчику стало жутко, и сердце у него испуганно забилося; однако он все-таки повернул ручку. Он сделал это потихоньку, словно боясь, что его кто-то услышит, и медленно отворил дверь. Прежде чем войти, он собрался с духом и немножко постоял на пороге. Страх прошел, но ему по-прежнему было не по себе. Филип тихонько прикрыл за собой дверь. Шторы были опущены, и в холодном свете январского полдня комната казалась очень мрачной. На туалете лежали щетка миссис Кэри и ручное зеркальце, а на подносике — головные шпильки. На каменной доске стояли фотографии отца Филипа и его самого. Мальчик часто бывал в этой комнате, когда мамы здесь не было, но сейчас все здесь выглядело как-то по-другому. Даже у стульев — и у тех был какой-то непривычный вид. Кровать была постелена, словно кто-то собирался лечь спать, а на подушке в конверте лежала ночная рубашка. Филип открыл большой гардероб, битком набитый платьями, влез в него, обхватил столько платьев, сколько смог, и уткнулся в них лицом. Платья пахли духами матери. Потом Филип стал выдвигать ящики с ее вещами; белье было переложено мешочками с сухой лавандой, запах был свежий и очень приятный. Комната перестала быть нежилой, и ему показалось, что мать просто ушла погулять. Она скоро придет и поднимется к нему в детскую, чтобы выпить с ним чая. Ему даже почудилось, что она только что его поцеловала.

Неправда, что он никогда больше ее не увидит. Неправда, потому что этого не может быть. Филип вскарабкался на постель и положил голову на подушку. Он лежал не шевелясь и почти не дыша.

Филип плакал, расставаясь с Эммой, но путешествие в Блэкстебл его развлекало, и, когда они подъезжали, мальчик уже успокоился и был весел. Блэкстебл находился в шестидесяти милях от Лондона. Отдав багаж носильщику, мистер Кэри и Филип отправились домой пешком; идти нужно было всего минут пять. Подойдя к воротам, Филип вдруг вспомнил их. Они были красные, с пятью перекладными и свободно ходили на петлях в обе стороны; на них удобно кататься, хотя ему это и было запрещено. Миновав сад, они подошли к парадной двери. Через эту дверь входили гости; обитатели дома пользовались ею только по воскресеньям и в особенных случаях, — когда священник ездил в Лондон или возвращался оттуда. Обычно же в дом входили через боковую дверь. Был тут и черный ход — для садовника, нищих и бродяг. Дом, довольно просторный, из желтого кирпича, с красной крышей, был построен лет двадцать пять назад в церковном стиле. Парадное крыльцо напоминало паперть, а окна в гостиной были узкие, как в готическом храме.

Миссис Кэри знала, каким поездом они приедут, и дождалась их в гостиной, прислушиваясь к стуку калитки. Когда звякнула щеколда, она вышла на порог.

— Вон тетя Луиза, — сказал мистер Кэри. — Беги поцелуй ее.

Филип неуклюже побежал, волоча хромую ногу. Миссис Кэри была маленькая, высохшая женщина одних лет со своим мужем; лицо ее покрывала частая сеть морщин, голубые глаза выцвели. Седые волосы были завиты колечками по моде ее юности. На черном платье она носила одно-единственное украшение — золотую цепочку с крестиком. Держалась она застенчиво, и голос у нее был слабый.

— Ты шел пешком, Уильям? — спросила она с укором, поцеловав мужа.

— Я не подумал, что для него это далеко, — ответил тот, взглянув на племянника.

— Тебе не трудно было идти, Филип? — спросила миссис Кэри мальчика.

— Нет. Я люблю гулять.

Разговор этот немножко его удивил. Тетя Луиза позвала его в дом, и они вошли в прихожую. Пол был выложен красными и желтыми плитками, на которых чередовались изображения греческого креста и агнца божия. Отсюда наверх вела парадная лестница из полированной сосны

с каким-то особенным запахом; дому священника повезло: когда в церкви делали новые скамьи, леса хватало и на эту лестницу. Резные перила были украшены эмблемами четырех евангелистов.

— Я велела протопить печь, боялась, что вы в дороге замерзнете,— сказала миссис Кэри.

Большая черная печь в прихожей топилась только в очень дурную погоду или когда священник был простужен. Если простужена была миссис Кэри, печь не топили. Уголь стоил дорого, да и прислуга, Мэри-Энн, ворчала, когда приходилось топить все печи. Ежели им приспичило повсюду разводить огонь, пусть наймут вторую прислугу. Зимой мистер и миссис Кэри больше сидели в столовой и обходились одной печью; но и летом привычка брала свое: они все время тоже проводили в столовой; гостиной пользовался один мистер Кэри, да и то по воскресеньям, когда ложился соснуть после обеда. Зато каждую субботу ему протапливали печь в кабинете, чтобы он мог написать воскресную проповедь.

Тетя Луиза отвела Филипа наверх, в крошечную спальню; окно ее выходило на дорогу. Прямо перед окном росло большое дерево. Филип припомнил теперь и его: ветви росли так низко, что на дерево нетрудно было вскарабкаться даже ему.

— Комнатка невелика, да ведь и ты еще маленький,— сказала миссис Кэри.— А тебе не страшно будет спать одному?

— Нет.

В прошлый раз, когда Филип жил в доме священника, он приехал сюда с няней, и у миссис Кэри немного было с ним хлопот. Теперь она поглядывала на мальчика с некоторым беспокойством.

— Ты умеешь мыть руки, не то дай я тебе их вымою...

— Я сам умею мыться,— сказал он гордо.

— Ладно, когда придешь пить чай, я проверю, хорошо ли ты вымыл руки,— заявила миссис Кэри.

Она ничего не понимала в детях. Когда было решено, что Филип приедет жить в Блэкстебл, миссис Кэри много думала о том, как ей лучше обращаться с ребенком: ей хотелось добросовестно выполнить свой долг. А теперь, когда мальчик приехал, она робела перед ним ничуть не меньше, чем он перед ней. Миссис Кэри от души надеялась, что Филип не окажется шаловливым или невоспитанным мальчишкой, ведь муж ее терпеть не мог шаловливых и невоспитанных детей. Извинившись, миссис Кэри оставила

Филипа одного, но минуту спустя вернулась — постучала и спросила за дверью, сумеет ли он сам налить себе в таз воды. Потом она спустилась вниз и позвонила служанке, чтобы та подавала чай.

В просторной, красивой столовой окна выходили на две стороны и были завешены тяжелыми шторами из красного репса. Посредине стоял большой стол, у одной из стен — солидный буфет красного дерева с зеркалом, в углу — фисгармония, а по бокам камина — два кресла, обитые тисненой кожей, с наколотыми на спинки салфеточками; одно из них, с ручками, называлось «супругом», другое, без ручек, — «супругой». Миссис Кэри никогда не сидела в кресле, говоря, что предпочитает стулья, хотя на них и не так удобно: дел всегда много, а в кресло сядешь, облокотишься на ручки, и встать уже не захочется.

Когда Филип вошел, мистер Кэри разжигал огонь в камине; он показал племяннику две кочерги. Одна была большая, до блеска отполированная и совсем новая — ее звали «священником»; другая, поменьше и множество раз побывавшая в огне, звалась «помощником священника».

— Чего мы ждем? — спросил мистер Кэри.

— Я попросила Мэри-Энн сварить тебе яйцо. Ты ведь, наверно, проголодался с дороги.

Миссис Кэри считала путешествие из Лондона в Блэкстебл очень изнурительным. Она сама редко выезжала из дома, потому что жалованья было всего триста фунтов в год, и, когда ее мужу хотелось отдохнуть, а денег на двоих не хватало, он ездил один. Ему очень нравилось посещать церковные конгрессы, и он каждый год умудрялся съездить в Лондон; один раз он даже побывал в Париже на выставке и два или три раза — в Швейцарии.

Мэри-Энн подала яйцо, и они сели за стол. Стул для Филипа был слишком низок, и мистер Кэри с женой растерялись.

— Я подложу ему несколько книг, — предложила Мэри-Энн.

Она взяла с фисгармонии толстую Библию и требник, по которому священник читал молитвы, и положила их Филипу на стул.

— Ах, Уильям, нехорошо, чтобы он сидел на Библии! — ужаснулась миссис Кэри. — Разве нельзя взять какие-нибудь книжки из кабинета?

Мистер Кэри задумался.

— Ну, от одного раза вряд ли будет большой вред, особенно если Мэри-Энн положит требник сверху, — сказал

он.— Молитвенник составлен такими же простыми смертными, как мы. Он ведь и не претендует на то, что его начертала рука всевышнего!

— Я совсем об этом не подумала, Уильям,— сказала тетя Луиза.

Филип вскарабкался на книги, и священник, произнеся молитву, срезал верхушку яйца.

— На,— сказал он Филипу,— можешь съесть.

Филип предпочел бы съесть целое яйцо, но ему никто этого не предложил, и он удовольствовался тем, что ему дали.

— Как тут у вас неслись куры, пока меня не было? — спросил священник.

— Ужасно! Яйца два в день.

— Ну, понравилась тебе верхушка, Филип? — спросил дядя.

— Спасибо, очень.

— Получишь еще одну в воскресенье днем.

Мистеру Кэри подавали к воскресному чаю яйцо, чтобы он мог подкрепиться перед вечерней службой.

ГЛАВА 5

Филип постепенно познакомился с теми, с кем ему пришлось жить, и по отрывочным разговорам, часто не предназначенным для его ушей, узнал многое и о себе и о своих покойных родителях. Отец Филипа был гораздо моложе священника из Блэкстебла. После блестяще пройденного курса медицины при больнице св. Луки он получил там должность и сразу же стал зарабатывать много денег. Тратил он их не считая. Когда священник вздумал отремонтировать свою церковь и послал брату подписной лист, он изумился, получив двести фунтов; мистер Кэри — человек от природы бережливый и по необходимости расчетливый — принял этот дар со смешанным чувством: он завидовал брату, который мог пожертвовать такую сумму, радовался за свою церковь и был слегка смущен щедростью, казавшейся ему почти вызывающей. Потом Генри Кэри женился на своей пациентке — красивой девушке без гроша за душой, сироте, у которой не было даже близкой родни, хотя сама она была из хорошей семьи. На свадьбу, понаехали толпы нарядных гостей. Священник, посещая их дом во время своих поездок в Лондон, держался с невесткой сдержанно. Она его смущала, и в душе он не одобрял ее удивительной

красоты, да и одевалась миссис Кэри куда роскошнее, чем это пристало жене труженика-хирурга. А изящная обстановка дома, обилие цветов, которыми она себя окружала даже зимой, говорили о пагубной расточительности. Священник слушал ее рассказы о приемах, на которые ее приглашали, и, вернувшись домой, говорил жене, что неприлично пользоваться гостеприимством, не оказывая его в свою очередь. На стол подавали виноград, который должен был стоить не меньше восьми шиллингов за фунт; за завтраком ему предложили раннюю спаржу — в приходском саду она должна была поспеть не раньше чем месяца через два. Но вот случилось то, что он предрекал, и священник торжествовал, совсем как тот пророк, который радовался, глядя, как огонь и сера истребляют город, не желавший, несмотря на все его увещевания, сойти со стези порока. Бедный Филип остался почти без гроша, и много ли ему теперь помогут великосветские друзья его матери? Мальчик слышал, как дядя говорил, что расточительность его отца была чуть ли не преступной и что провидение сжалилось над ребенком, прибрав его дорогую мамочку: она не знала цены деньгам, как малое дитя.

Когда Филип прожил в Блэкстебле неделю, произошел случай, возмущивший дядю до глубины души. Однажды утром, завтракая, он нашел на столе небольшой пакет, пересланный ему почтой из Лондона. Пакет был адресован покойной миссис Кэри. Священник распечатал его и нашел дюжину фотографий умершей. На них были сняты только ее голова и плечи; волосы зачесаны глаже, чем всегда, низко на лоб, что придавало ей какой-то необычный вид; лицо худое, изможденное, однако никакая болезнь не могла скрыть прелести ее черт. В больших темных глазах светилась грусть, которой Филип у нее никогда не видел. Увидев лицо покойницы, мистер Кэри даже отпрянул, но испуг тут же сменился недоумением. Фотографии были явно сняты недавно, и священник не понимал, кто их мог заказать.

— Ты что-нибудь об этом знаешь? — спросил он Филипа.

— Я помню, мама говорила, что ее снимали. Мисс Уоткин ее тогда бранила... А мама сказала: мне хочется, чтобы у мальчика что-нибудь осталось от меня на память, когда он вырастет.

Мистер Кэри поглядел на Филипа. Голосок у мальчика дрогнул. Он повторял слова матери, не понимая их смысла.

— Возьми одну фотографию и поставь у себя в комнате, — сказал мистер Кэри. — Остальные я спрячу.

Он послал одну фотографию мисс Уоткин, и та написала ему, как было дело.

Миссис Кэри лежала в постели, но чувствовала себя лучше обычного, и у доктора с утра появилась даже надежда на ее выздоровление; Эмма повела мальчика гулять, а горничные были внизу. И вдруг миссис Кэри почувствовала страшное одиночество. Ее охватил безумный страх, что она умрет от родов, которых ожидали через две недели. Сыну ее было всего девять лет. Разве он может ее запомнить? Мысль о том, что Филип вырастет и забудет ее, забудет совершенно, казалась ей невыносимой: она ведь так любила его, потому что он был слабенький, калека и потому что он был ее сын. Она ни разу не снималась со дня своей свадьбы, а с тех пор прошло уже десять лет. Ей хотелось, чтобы сын знал, как она выглядела перед смертью. Тогда он ее не забудет, не сможет ее забыть безвозвратно. Она знала: если позвать горничную и заявить, что она хочет встать, ей этого не позволят, а то и за доктором пошлют; у нее же не было сил, чтобы спорить. Тогда она поднялась с постели и стала одеваться. От долгого лежания на спине она ужасно ослабела, ноги у нее подкашивались, а подошвы кололо, словно иголками, и ей было страшно ступить на пол. Но она продолжала одеваться. Причесываться сама она не привыкла и, подняв руку с гребнем, почувствовала, что ей дурно. И все равно причесать волосы так, как это делала горничная, ей не удалось. Волосы были очень красивые, тонкие, похожие на старое золото. Брови — прямые и темные. Она надела черную юбку и лиф от любимого вечернего платья — из белого, очень модного в ту пору дамаска. Миссис Кэри поглядела на себя в зеркало. Щеки были без кровинки, но зато кожа очень нежная. Впрочем, румяной ее и прежде нельзя было назвать, но ее розовые губы красиво выделялись на бледном лице. Теперь же, глядя в зеркало, ей стоило большого труда не разрыдаться, но жалеть себя было некогда: она и так чувствовала отчаянную усталость. Закутавшись в меха, которые Генри подарил ей на прошлое рождество — как она ими тогда гордилась и дорожила, — она с бьющимся сердцем спустилась вниз. Выскользнув незамеченной из дому, она поехала к фотографу и заплатила ему за дюжину снимков. Посреди сеанса ей пришлось попросить стакан воды, и помощник фотографа, видя, что она больна, предложил ей приехать в другой раз, но она настояла на том, чтобы ее сфотографировали. Наконец ее отпустили, и она вернулась в убогий домик в Кенсингтоне, который ненавидела всей душой. Тяжело было умирать в таком доме.

Она издали увидела, что парадная дверь открыта, а когда подъехала к дому, со ступенек сбежали Эмма и горничная. Найдя спальню пустой, они очень перепугались. Сначала им пришлось в голову, что больная ушла к мисс Уоткин, и за ней послали кухарку. Но та скоро вернулась вместе с встревоженной мисс Уоткин, которая сейчас дожидалась в гостиной. Она в тревоге вышла навстречу миссис Кэри и осыпала ее упреками, но напряжение, которое перенесла больная, оказалось ей не под силу: теперь, когда не нужно было больше себя превозмогать, миссис Кэри упала на руки Эмме, и ее отнесли наверх. Там она пролежала без сознания так долго, что всем показалось, будто она никогда не очнется, а доктор, за которым послали, все не приходил. Только на другой день, когда ей стало немножко лучше, мисс Уоткин добилась от нее объяснений. Филип играл на полу в спальне, и женщины забыли о его присутствии. Он лишь смутно понимал, о чем они разговаривают, и не смог бы объяснить, почему слова матери навсегда сохранились у него в памяти.

— Я хотела, чтобы мальчик мог вспомнить меня, когда вырастет.

— Непонятно, зачем ей вздумалось заказывать целую дюжину! — сказал мистер Кэри. — И двух фотографий вполне хватило бы.

ГЛАВА 6

В доме священника один день был похож на другой как две капли воды.

Сразу же после завтрака Мэри-Энн приносила «Таймс». Мистер Кэри вместе с двумя своими соседями выписывал одну газету на троих. В его распоряжении она была с десяти до часу; потом садовник относил ее мистеру Эллису, где она оставалась до семи, а затем отправлялась в господский дом к мисс Брукс, та получала газету поздно, но зато могла ее не возвращать. Летом, когда миссис Кэри варила варенье, она часто выпрашивала старую газету у мисс Брукс, чтобы закрыть банки. Стоило священнику приняться за газету, как жена его надевала капор и шла за покупками. Филип ее сопровождал. Блэкстебл был рыбацким поселком. Он состоял из одной главной улицы — где помещались лавки, банк, жил доктор и два-три хозяина угольных барж — и небольшой гавани, от которой тянулись убогие переулки, — где селились рыбаки и беднота, а так

как все они были нонконформистами и церковь не посещали, люди эти были несостоящие. Если миссис Кэри встречала кого-нибудь из священников-сектантов, она переходила на другую сторону, чтобы с ними не здороваться, а столкнувшись невзначай лицом к лицу, принималась разглядывать мостовую у себя под ногами. На главной улице помещалось целых три молитвенных дома сектантов, и это было позором, с которым священник никак не мог примириться: ему казалось, что закон должен вмешаться и воспретить строительство подобных домов. Делать покупки в Блэкстебле было не так просто, ибо сектантов в поселке насчитывалось немало, тем более что приходская церковь стояла в двух милях от городка и ходить туда было слишком далеко. А покупать можно было только у своих прихожан. Миссис Кэри понимала, что поставка продуктов в дом священника сильно влияет на религиозные убеждения торговцев. В поселке было два мясника, и оба ходили в церковь. Они не желали понимать, почему священник не покупает у них обоих одновременно, их не устраивал и распорядок, который тот предложил: полгода покупать у одного, а следующие полгода — у другого. Если мясник не продавал мяса в дом священника, он постоянно грозился, что перестанет ходить в церковь. Мистеру Кэри порой приходилось самому прибегать к угрозе: мясник совершит грех, не посещая церкви; если он будет упорствовать в своем безбожии и посещать молитвенный дом, то как бы превосходен ни был его товар, мистеру Кэри придется навсегда отказаться от его услуг. Миссис Кэри часто заходила в банк, чтобы передать поручение управляющему Джозии Грейвсу, который был одновременно и регентом, и казначеем, и церковным старостой. Этот высокий, тощий и седой человек с землистым лицом и длинным носом казался Филипу ветхим старцем. Он вел счета прихода, устраивал угощения для хора и школьников, и, хотя в приходской церкви не было органа, все в Блэкстебле считали, что хор, которым он руководит, — лучший в графстве Кент. Когда затевалась какая-нибудь церемония — в связи ли с приездом епископа для конфирмации или благочинного для молебна по случаю урожая, — мистер Грейвс брал на себя все приготовления. И он, не колеблясь, принимал решения по всем вопросам, лишь для проформы спрашивая совета мистера Кэри, а священник, хотя и не любивший лишних хлопот, очень обижался на самоуправство церковного старосты. Можно было подумать, что он — самая влиятельная фигура в приходе! Мистер Кэри постоянно говорил жене, что, если мистер Грейвс

не уgomонится, он ему даст по рукам, но миссис Кэри советовала ему не сердиться на Джозию Грейвса: у него добрые намерения и не его вина, что он дурно воспитан. Священнику было удобно проявлять истинно христианское долготерпение по отношению к старосте, но он мстил мистеру Грейвсу, обзывая его за спиной «Бисмарком».

Однажды между ними все же разыгралась ссора, и миссис Кэри до сих пор вспоминала это тяжкое время с содроганием. Кандидат консервативной партии объявил о своем намерении выступить на митинге в Блэкстебле, и Джозия Грейвс, назначив собрание в Миссионерском доме, явился к мистеру Кэри и попросил его сказать несколько слов. Выяснилось, что кандидат просил Джозию Грейвса быть председателем. Этого уж мистер Кэри не смог снести. У него был твердый взгляд на то, каким почетом должно пользоваться духовенство: смешно церковному старосте лезть на председательское место, когда тут же рядом сидит священник! Он напомнил Джозии Грейвсу, что «пастор» означает «пастырь», то есть пастух своих прихожан. Джозия Грейвс ответил, что, мол, кому, как не ему, почитать авторитет церкви, но тут дело политическое, и он должен в свою очередь напомнить священнику, что спаситель внушал им «воздать кесарю кесарево». На что мистер Кэри отвечал, что и диавол умел ссылаться на Святое писание в своих диавольских целях, а что он, один распоряжаясь Миссионерским домом, откажется предоставить этот дом для политического митинга, если его не попросят председательствовать. Джозия Грейвс заявил мистеру Кэри, что тот волен, конечно, поступать, как ему заблагорассудится, но он лично считает, что и молитвенный дом методистов — вполне подходящее место для митинга. Тогда мистер Кэри сказал, что ежели нога Джозии Грейвса ступит на порог этого дома, который, по его, мистера Кэри, мнению, ничем не лучше языческого капища, то ему, Джозии Грейвсу, не пристанет оставаться церковным старостой христианского прихода. После чего Джозия Грейвс отказался от всех своих должностей и в тот же вечер послал в церковь за своей рясой и стихарем. Сестра его, мисс Грейвс, которая вела у него хозяйство, сразу же сняла с себя обязанности секретаря Клуба материнства, снабжавшего неимущих беременных женщин фланелью, пеленками, углем и пособием в пять шиллингов. Мистер Кэри объявил, что наконец-то он стал хозяином в собственном доме. Но скоро обнаружилось, что он вынужден решать вопросы, в которых ничего не смыслит, а Джозия Грейвс, чуть поостыв, понял, что жизнь потеряла

для него всякий интерес. Миссис Кэри и мисс Грейвс очень сокрушались по поводу этой ссоры; обменявшись осторожными письмами, они назначили друг другу свидание и решили уладить конфликт; переговоры одной дамы со своим мужем, а другой — с братом длились с утра до вечера, и, так как они убеждали своих мужчин сделать то, чего те в глубине души жслали сами, мир был заключен. Обе стороны после трех недель таких тревожений были в нем очень заинтересованы, но приписали свою покладистость любви к всевышнему. Митинг в Миссионерском доме состоялся, председательствовать попросили доктора, а мистер Кэри и Джозия Грейвс выступили с речами.

Когда миссис Кэри заканчивала свои дела с управляющим банком, она поднималась наверх поболтать с его сестрой, и, покуда дамы обменивались приходскими новостями — насчет помощника священника или новой шляпки миссис Уилсон (мистер Уилсон был самым богатым человеком в Блэкстебле: по слухам, у него было не меньше пятисот фунтов в год, но он женился на своей кухарке), — Филип чинно сидел в неуютной гостиной, которой пользовались только по торжественным случаям, и наблюдал за неугомонной золотой рыбкой в аквариуме. Окна здесь не открывались — разве что по утрам, на несколько минут, чтобы проветрить комнату, — и пахло чем-то затхлым; Филипу казалось, что у этого запаха есть таинственная связь с банковским делом.

Потом миссис Кэри вспоминала, что ей еще надо зайти в бакалейную лавку, и они продолжали свой поход. Часто покончив с покупками, они спускались по переулку, где дома были маленькие и почти все деревянные и где жили одни рыбаки (на пороге сидел рыбак и чинил свои сети; сети для просушки висели и на дверях), к маленькой бухте, окруженной складами. Оттуда было видно море. Миссис Кэри постоит, бывало, и посмотрит на море, а вода в нем мутная, желтая (кто знает, о чем в это время думала жена священника?); Филип усердно собирал плоские камушки и швырял их в воду. Потом они не торопясь возвращались. Заглядывали на почту, чтобы проверить время, раскланивались с женой доктора, миссис Уигрэм, сидевшей с шитьем у окна, и наконец добивались до дому.

Обед был в час дня; по понедельникам, вторникам и средам подавали говядину — жареную, рубленую или тушеную, а по четвергам, пятницам и субботам — баранину. В воскресенье резали одну из своих кур. После обеда Филип готовил уроки. Латыни и математике его обучал дядя, не

знавший ни того, ни другого; французскому и музыке — тетья. Во французском она была полной невеждой, но на пианино аккомпанировала себе, распевая старомодные романсы, — она пела их вот уже тридцать лет. Дядя Уильям рассказывал Филипу, что, когда он был помощником священника, его жена знала наизусть двенадцать романсов и могла, если попросят, тут же спеть любой из них. Она и теперь пела, когда в доме бывали званые гости. Кэри мало кого приглашали к себе, и поэтому у них бывали всегда одни и те же лица: помощник священника, Джозия Грейвс с сестрой и доктор Уигрэм с женой. После чая мисс Грейвс играла одну или две «Песни без слов» Мендельсона, а миссис Кэри пела «Когда ласточки летят домой» или «Топ, топ, топ, моя лошадка».

Но Кэри редко звали в дом чужих людей: приготовления выбивали их из колеи, и после ухода гостей они чувствовали себя совершенно измученными. Супруги предпочитали выпить чаю в семейном кругу, а потом поиграть в трик-трак. Миссис Кэри заботилась о том, чтобы муж всегда был в выигрыше: проигрывать он не любил. В восемь часов подавали холодный ужин. Ели что бог послал, потому что Мэри-Энн не любила готовить вечером; миссис Кэри помогала ей убирать со стола. Сама она редко ела что-нибудь, кроме хлеба с маслом, запивая его компотом, но мистеру Кэри всегда подавали ломтик холодного мяса. Сразу же после ужина миссис Кэри созывала всех на вечернюю молитву, и Филип отправлялся спать. Он восстал против того, чтобы его раздевала Мэри-Энн, и со временем отвоевал себе право одеваться и раздеваться без посторонней помощи. В девять часов вечера Мэри-Энн вносила яйца и серебро. Миссис Кэри помечала на каждом яйце число и заносила количество яиц в книгу. Взяв на руку корзинку со столовым серебром, она отправлялась наверх. Мистер Кэри продолжал еще читать одну из своих старых книг, но часы били десять, он вставал, гасил лампы и тоже шел спать.

Когда приехал Филип, долго не могли решить, в какой из вечеров лучше его купать. Горячей воды всегда не хватало, потому что кухонный котел был в неисправности, и двоим принять ванну в один и тот же день не удавалось. Единственным обладателем ванной комнаты в Блэкстебле был мистер Уилсон, и, по мнению его земляков, обзавелся он ею для того, чтобы пустить людям пыль в глаза. Мэри-Энн купалась в кухне по понедельникам — она любила начинать новую неделю чистой. Дядя Уильям не мог принимать ванну по субботам: впереди у него был тяжелый день, а купание

его немножко утомляло, поэтому он мылся в пятницу. По этой же причине миссис Кэри выбрала себе четверг. Казалось, сам бог велел, чтобы Филипа купали по субботам, но Мэри-Энн заявила, что не может так поздно топить в канун праздника: и стряпни много в воскресенье, и тесто надо поставить, и мало ли других дел! Нет, не будет она еще и ребенка мыть по субботам! А купаться сам он, конечно, не мог. Миссис Кэри стеснялась купать мальчика, а священник был занят воскресной проповедью. Однако дядя настаивал, чтобы к божьему празднику Филип был чист хотя бы телом; Мэри-Энн заявляла, что пусть ее лучше уволят, но она не допустит подобного измывательства: проработав восемнадцать лет, она могла бы надеяться, что на нее не станут наваливать лишнюю работу и будут хоть немножко с ней считаться; Филип же говорил, что желает мыться сам, без посторонней помощи. Это и решило вопрос. Мэри-Энн сказала, что он ни за что не сумеет помыться как следует и чем ребенку ходить грязному — не потому, что его осудит господь, а потому, что она терпеть не может невымытых детей, — так и быть, пусть уж лучше у нее руки от работы отсохнут, но она вымоет мальчика в субботу!

ГЛАВА 7

Воскресенье было днем, полным событий. Мистер Кэри говаривал, что он — единственный человек в приходе, который трудится все семь дней недели без отдыха.

В доме поднимались на полчаса раньше обычного. Бедный священнослужитель, он и в праздник не может позволить себе поваляться в постели, замечал мистер Кэри, когда Мэри-Энн стучала в дверь спальни ровно в восемь часов. В этот день одевание занимало у миссис Кэри больше времени, и она спускалась к завтраку в девять, слегка запыхавшись и только чуть-чуть опередив своего мужа. Башмаки мистера Кэри грелись возле камина. Молитвы читались более длинные и завтрак был сытнее, чем в другие дни. После завтрака священник нарезал хлеб ломтиками для причастия, и Филипу разрешали брать себе корочку. Его посылали в кабинет за мраморным пресс-папье, которым мистер Кэри давил хлеб, пока ломтики не становились тонкими, как бумага, после чего их вырезали квадратиками. Число кусочков зависело от погоды. В очень дурную погоду народу в церкви бывало мало; в очень хорошую — людей приходило много, но к причастию не оставалось почти

никого. Больше всего молились в такую погоду, когда было достаточно сухо для того, чтобы пойти в церковь, но не настолько солнечно, чтобы спешить из церкви домой.

Миссис Кэри вынимала из сейфа, стоявшего в буфетной, дароносицу, и священник протирал ее замшей. В десять часов подъезжала коляска, и мистер Кэри надевал башмаки. Миссис Кэри задерживала мужа на несколько минут, чтобы надеть капор, а священник, уже облаченный в просторный плащ, терпеливо дожидался ее в прихожей с таким видом, будто он — христианский мученик, которого вот-вот бросят на съедение львам. Трудно поверить, что после тридцати лет замужества его жена так и не научилась поспевать вовремя к воскресной службе! Наконец она выходила, наряженная в черный атлас: священник и вообще-то не терпел цветных нарядов на женах духовных лиц, а уж в воскресенье и подавно требовал, чтобы жена была в черном; время от времени, сговорившись с мисс Грейвс, она пыталась, словно ненароком, приколоть белое перышко или розовый бутон к шляпке, но священник тут же это пресекал: он не появится в церкви в обществе блудницы. И миссис Кэри, будучи женщиной, вздыхала, но повиновалась супружескому долгу. Они уже влезали в коляску, но тут священник вспоминал, что ему не дали яйца. Ведь они знают, что ему полагается съесть яйцо, чтобы лучше звучал голос. Две женщины в доме, а позаботиться о нем некому! Миссис Кэри бранила Мэри-Энн, а та огрызалась, что всего не упомнишь, но убегала в дом и приносила яйцо: миссис Кэри взбивала его в стакане хереса. Священник залпом проглатывал его; дароносицу ставили в карету, и они пускались в путь.

Карету заказывали в трактире «Красный лев», и в экипаже всегда пахло гнилой соломой. Ехали с закрытыми окнами, чтобы священник не простудился. Пономарь ждал их у входа, чтобы взять дароносицу, и, когда священник удалялся в ризницу, миссис Кэри с Филипом занимали свои места на скамьях. Миссис Кэри клала перед собой монетку в шесть пенсов, чтобы пожертвовать на церковь, и давала три пенса Филипу для той же цели. Церковь постепенно наполнялась верующими, и служба начиналась.

Филип очень скучал во время проповеди, но, если он вертелся, миссис Кэри тихонько клала ему руку на плечо и смотрела на него с укором. Он оживлялся, когда запевали последний псалом и мистер Грейвс с блюдом для жертвований обходил прихожан.

Когда церковь начинала пустеть, миссис Кэри подходила к скамье мисс Грейвс, чтобы поболтать с ней, пока не

освободятся их мужчины, а Филип отправлялся в ризницу. Дядя, его помощник и мистер Грейвс еще не успели снять облачение. Мистер Кэри отдавал Филипу остаток освященного хлеба и разрешал его съесть. Раньше он съедал хлеб сам — ему казалось богохульством его выбрасывать, но здоровый аппетит племянника избавил дядю от этой обязанности. Потом подсчитывали пожертвования. Они состояли из пенсов, шестипенсовиков и монеток в три пенса. На блюде всегда лежали две монеты по шиллингу — одну клал священник, другую мистер Грейвс, — а иногда и чей-нибудь флорин. Мистер Грейвс неизменно докладывал священнику, кто его положил. Это всегда был какой-нибудь приезжий, и мистер Кэри недоумевал, кем же он мог быть. Мисс Грейвс, живая свидетельница этого безрассудства, рассказывала миссис Кэри, что незнакомец приехал из Лондона и был отцом семейства. По дороге домой миссис Кэри пересказывала эти подробности мужу, и священник решал навестить приезжего и попросить его пожертвовать в фонд «Общества лиц духовного звания». Мистер Кэри спрашивал, хорошо ли вел себя Филип, а миссис Кэри сообщала, что на миссис Уигрэм было новое пальто, мистер Кокс не пришел в церковь и люди поговаривают, будто мисс Филлипс помолвлена. Когда коляска подъезжала к дому, у всех было чувство, что они честно заслужили свой сытный обед.

После обеда миссис Кэри уходила отдохнуть к себе, а мистер Кэри укладывался подремать на кушетке в гостиной.

Чай пили в пять, и священник съедал яйцо, чтобы подкрепиться перед вечерней. Миссис Кэри не ездила вечером в церковь, чтобы Мэри-Энн могла послушать службу, но дома читала все положенные молитвы и псалмы. По вечерам мистер Кэри ходил в церковь пешком, и Филип ковылял с ним рядом. Прогулка в темноте по проселочной дороге как-то странно его впечатляла, а дальние огни церкви, которые все приближались, были милы его сердцу. Сначала он стеснялся дяди, но постепенно к нему привык и, держа его за руку, шагал куда спокойнее, чувствуя себя под его защитой.

Вернувшись домой, они ужинали. На табуреточке возле камина грелись комнатные туфли мистера Кэри, а рядом с ними — туфли Филипа: одна из них такая, как у всех детей, а другая — странной формы, ни на что не похожая. Мальчик едва добирался до кровати от усталости и тут уж не протестовал, если Мэри-Энн его раздевала. Подоткнув одеяло, она целовала его; Филип все больше и больше к ней привязывался.

Филип рос единственным ребенком в семье и привык к одиночеству, поэтому тут, в доме священника, он страдал от него не больше, чем при жизни матери. Он подружился с Мэри-Энн. Это была пухлая низенькая особа лет тридцати пяти, дочь рыбака; она поступила в услужение к священнику восемнадцати лет от роду и не собиралась бросать это место, но вечно держала своих робких хозяина и хозяйку в страхе, грозя им, что выйдет замуж. Родители Мэри-Энн жили в маленьком домике возле гавани, и она ходила к ним в гости по вечерам в свои выходные дни. Ее рассказы о море будили воображение Филипа, и узенькие переулки вокруг гавани дышали романтикой, которой наделяла их его юная фантазия. Как-то раз вечером он попросил разрешения сходить с Мэри-Энн к ней домой, но тетя побоялась, как бы он там чем-нибудь не заразился, а дядя заявил, что дурное общество портит хорошие манеры. Он не любил рыбаков, которые были неотесанны, грубоваты и ходили в молитвенный дом, а не в церковь. Но Филип чувствовал себя куда привольнее в кухне, чем в столовой, и, если мог, убегал туда со своими игрушками. Тетю это не огорчало. Она не терпела беспорядка и, хотя знала, что мальчишкам полагается быть неряхами, предпочитала, чтобы Филип устраивал кавардак в кухне. Если он не мог усидеть на месте, дядя нервничал и говорил, что пора отдать мальчика в школу. Миссис Кэри считала, что Филип еще маленький, и сердце ее переполнялось нежностью к бедному сиротке; однако все ее попытки привязать его к себе были так неуклюжи, а застенчивый мальчик встречал ее ласки так угрюмо, что она обижалась до слез. Иногда из кухни до нее доносился его веселый визг, но стоило ей туда войти, как он сразу же замолкал и только багрово краснел, если Мэри-Энн начинала объяснять тетке причину их веселья. Миссис Кэри не находила в том, что ей рассказывали, ничего смешного и только натянуто улыбалась.

— Ему куда интереснее с Мэри-Энн, чем с нами,— пожаловалась она мужу, вернувшись к своему шитью.

— Сразу видно, как он плохо воспитан. Пора его привести в надлежащий вид.

В следующее воскресенье после приезда Филипа произошел неприятный случай. Мистер Кэри, как всегда после обеда, прилег подремать в гостиной, но был взбудоражен и не мог уснуть. Утром Джозия Грейвс весьма резко

высказался против подсвечников, которыми священник украсил алтарь. Он купил эти подсвечники по случаю в Теркенбери и считал, что у них очень хороший вид. Но Джозия Грейвс заявил, что в подсвечниках есть что-то папистское. Подобные намеки всегда больно задевали мистера Кэри. Он учился в Оксфорде, когда там ширилось движение, которое привело Эдуарда Мэннинга к отступничеству от англиканской церкви¹, и чувствовал некоторую склонность к римско-католической вере. Мистер Кэри с радостью придал бы церковной службе большую пышность, чем это было принято в приходе Блэкстебла, и в тайниках души томился по крестному ходу и зажженным свечам. Правда, ладан даже он считал излишеством, но ненавидел самое слово «протестант» и называл себя католиком. Он любил говорить, что папизм не зря зовется «римской католической» религией; что же касается англиканской церкви, то и она католическая, но в наиболее глубоком и благородном смысле этого слова. Его тешила мысль, что бритое лицо делает его похожим на патера, а в молодые годы во внешности его было даже нечто аскетическое, что еще больше углубляло это сходство. Он частенько рассказывал, как во время одной из своих поездок в Булонь, куда из соображений экономии ездил отдыхать один, без жены, он зашел как-то в церковь и заметивший его там кюре попросил мистера Кэри произнести проповедь. Придерживаясь строгих взглядов насчет безбрачия духовных лиц, не имеющих собственного прихода, он увольнял своих помощников, если те вступали в брак. Но, когда во время выборов либералы написали у него на ограде большими синими буквами: «Отсюда прямая дорога в Рим!» — он очень рассердился и грозил подать на местных заправил в суд. Лежа на оттоманке, он твердо решил, что никакие разговоры Джозии Грейвса не заставят его убрать подсвечники с алтаря, и с раздражением бормотал себе под нос: «Бисмарк! Бисмарк!»

Вдруг раздался шум. Сняв носовой платок, которым было прикрыто его лицо, священник встал и вышел в столовую. Филип сидел на столе, окруженный своими кубиками. Он построил из них громадный дворец, но какая-то ошибка

¹ В 1833 году в Оксфорде возникло религиозное движение, ставившее целью сближение протестантской церкви с римско-католической; Генри-Эдуард Мэннинг (1808—1892) — английский церковный деятель, кардинал римско-католической церкви.

в конструкции привела к тому, что его сооружение с грохотом рухнуло.

— Что ты тут вытворяешь со своими кубиками? Разве ты не знаешь, что нельзя играть по воскресеньям?

Филип с испугом воззрился на дядю и по привычке густо покраснел.

— Дома я всегда играл,— возразил он.

— Не верю, чтобы твоя дорогая мама позволяла тебе совершать такой грех.

Филип не знал, что это грех, но если так, ему не хотелось, чтобы его маму подозревали в потворстве греху. Понурился, он молчал.

— Разве ты не знаешь, что большой грех — играть по воскресеньям? Отчего, по-твоему, этот день называют днем отдохновения? Вечером ты пойдешь в церковь, как же ты предстанешь перед своим создателем, если в этот день нарушил одну из его заповедей?

Мистер Кэри приказал Филипу немедленно убрать кубики и не ушел, пока мальчик не сделал этого.

— Ты гадкий мальчик,— повторял он.— Подумай, как ты огорчаешь свою бедную мамочку, которую ангелы взяли на небо!

Филипу очень хотелось заплакать, но он с детства не выносил, когда кто-нибудь видел его слезы; сжав зубы, он сдерживал рыдания. Мистер Кэри уселся в кресло и стал перелистывать книгу. Филип прижался к окну. Дом священника стоял в глубине сада, отделявшего его от дороги на Теркенбери; из окна столовой была видна полукруглая полоска газона, а за ней до самого горизонта — зеленые поля. Там паслись овцы. Небо было серенькое и сиротливое. Филип почувствовал себя глубоко несчастным.

Скоро пришла Мэри-Энн, чтобы накрыть на стол к чаю, и сверху спустилась тетя Луиза.

— Ты хорошо вздремнул, Уильям? — спросила она.

— Нет. Филип поднял такой шум, что я не мог сомкнуть глаз.

Священник допустил неточность: спать ему мешали собственные мысли; угрюмо прислушиваясь к разговору, Филип подумал, что шум был слышен только секунду; непонятно, почему дядя не спал до или после того, как рухнула башня. Миссис Кэри спросила, что произошло, и священник, изложив ей все обстоятельства дела, пожаловался:

— Он даже не счел нужным извиниться.

— Ах, Филип, я уверена, что ты жалеешь о своей шалости,— сказала миссис Кэри, боясь, что мальчик покажется дяде большим сорванцом, чем он был на самом деле.

Филип промолчал. Он продолжал жевать хлеб с маслом, сам не понимая, какая сила мешает ему попросить прощения. Уши у него горели, к горлу подступил комок, но он не мог выдать ни слова.

— Напрасно ты дуешься, от этого твой поступок становится только хуже,— сказала миссис Кэри.

Чай допили в гробовом молчании. Миссис Кэри то и дело поглядывала исподтишка на Филипа, но священник намеренно его не замечал. Увидев, что дядя пошел наверх собираться в церковь, Филип тоже взял в прихожей пальто и шляпу, но священник, сойдя вниз, сказал:

— Сегодня ты в церковь не пойдешь. В таком душевном состоянии не входят в дом божий.

Филип не произнес ни слова. Он чувствовал, что его глубоко унизили, и щеки его побагровели. Он молча смотрел, как дядя надевает просторный плащ и широкополую шляпу. Миссис Кэри, как всегда, проводила мужа до двери, а потом сказала Филипу:

— Не огорчайся. В будущее воскресенье ты не станешь больше проказничать, правда? И дядя возьмет тебя вечером в церковь.

Сняв с него пальто и шляпу, она отвела его в столовую.

— Давай прочитаем вместе молитвы и споем псалмы под фисгармонию. Хочешь?

Филип решительно помотал головой. Миссис Кэри была обескуражена. Как же ей с ним быть, если он не хочет читать молитвы?

— Что же нам тогда делать, пока не вернется дядя? — беспомощно спросила она.

Филип наконец-то прервал молчание:

— Оставь меня в покое!

— Филип, как тебе не стыдно так говорить? Ты же знаешь, что мы с дядей хотим тебе только добра! Неужели ты меня совсем не любишь?

— Я тебя ненавижу. Хоть бы ты умерла!

Миссис Кэри задохнулась. Мальчик произнес эти слова с такой яростью, что ей стало просто страшно. Она не нашлась, что сказать. Присев на кресло мужа и думая о том, как хотелось ей приглубить этого одинокого, хроменького ребенка, как недоставало любви ей самой — она ведь была бесплодной, и хотя, видно, на то воля божья, ей иногда просто невольно смотреть на чужих детей,— миссис Кэри

почувствовала, как к глазам у нее подступили слезы и стали медленно скатываться по щекам. Филип смотрел на нее с недоумением. Она вынула платок и стала всхлипывать, уже не сдерживаясь. Вдруг Филип понял, что она плачет из-за того, что он ей сказал; ему стало ее жалко. Он молча подошел и поцеловал ее. Это был первый непрошенный поцелуй, который она от него получила. И бедная женщина — такая сухонькая в своем черном атласном платье, такая сморщенная и желтая, с нелепыми завитушками — посадила мальчика на колени, обхватила его руками и заплакала уже навзрыд, так, словно у нее вот-вот разорвется сердце. Но в слезах ее была и отрада: она чувствовала, что между ними больше не было отчуждения. Она любила его теперь совсем по-другому — ведь он заставил ее страдать.

ГЛАВА 9

В следующее воскресенье, когда священник готовился прилечь в гостиной подремать (все, что он делал, подчинялось строгому ритуалу), а миссис Кэри поднималась к себе наверх, Филип спросил:

— А что же мне делать, если нельзя играть?

— Неужели ты не можешь хоть час посидеть спокойно?

— Ну да, сидеть спокойно до самого чая!

Мистер Кэри выглянул в окно, но на дворе было холодно и сыро; он не мог предложить Филипу пойти погулять.

— Ага, знаю, что тебе делать. Выучи-ка наизусть сегодняшнюю молитву.

Он снял с фисгармонии трепник и, полистав, нашел нужное место.

— Молитва короткая. Если сможешь прочесть ее за чаем без запинки, получишь верхушку моего яйца.

Миссис Кэри пододвинула стул Филипа к обеденному столу — ему купили высокий стул — и положила перед ним книгу.

— Дьявол ленивым рукам всегда работу отыщет, — назидательно произнес мистер Кэри.

Он добавил углей в камин, чтобы огонь жарче пылал, когда он выйдет к чаю, и ушел в гостиную. Расстегнув воротник, он поудобнее положил подушки и вытянулся на кушетке. Решив, что в гостиной прохладно, миссис Кэри принесла плед, прикрыла ему ноги и хорошенько подоткнула края вокруг ступней. Она приспустила занавески, чтобы свет не резал ему глаза, и, так как он уже успел их закрыть,

вышла из комнаты на цыпочках. Сегодня в душе у священника было покойно, и ровно через десять минут он уже тихонько похрапывал.

Это было шестое воскресенье после праздника богоявления, и молитва начиналась словами: «Благословен бог и отец господа нашего Иисуса Христа, по великой милости своей поправшего козни диавола и посулившего учинить нас сынами божьими, достойными царствия небесного».

Филип прочел молитву. Смысла ее он понять не мог и стал твердить слова вслух; однако многие из них были ему незнакомы и построение фразы непривычно. Больше двух строк кряду запомнить ему не удавалось. А внимание его все время рассеивалось: к стенам дома были подвязаны фруктовые деревья, и длинная ветка то и дело била по оконному стеклу; в поле за садом степенно паслись овцы. Филипу казалось, что голова его пухнет. Его одолевал страх, что до чая он не выучит молитвы; он стал быстро-быстро бормотать слова себе под нос, даже не пытаясь их понять, а заучивая, как попугай.

Миссис Кэри в этот день не спалось, и в четыре часа она спустилась вниз. Ей хотелось проверить, учит ли Филип молитву, чтобы он мог прочесть ее дяде без ошибок. Уильям будет доволен: он поймет, что у Филипа — доброе сердце. Но, когда миссис Кэри подошла к двери столовой, она услышала звуки, которые заставили ее замереть на месте. Сердце у нее сжалось. Она отошла и тихонько выскользнула в сад. Обойдя дом, она подкралась к окну столовой и тихонько в него заглянула. Филип по-прежнему сидел на стуле, который она ему подвинула, но голову он уронил на стол, закрыл лицо руками и отчаянно всхлипывал. Она видела, как дергаются у него плечи. Миссис Кэри испугалась. Ее всегда поражала выдержка этого ребенка. Она ни разу не видела его плачущим. А теперь она поняла, что спокойствие его было только внешним, ему было просто стыдно показывать свои чувства — он плакал тайком от всех.

Забыв, что муж не любит, когда его будят, она ворвалась в гостиную.

Мистер Кэри поднялся и скинул с ног плед.

— Почему? О чем он плачет?

— Не знаю... Ах, Уильям, ужасно, что мальчик так горюет! А что, если это наша вина? Будь у нас свои дети, мы бы, наверно, знали, как с ним обращаться.

Мистер Кэри растерянно на нее глядел. Он чувствовал себя совершенно беспомощным.

— Не может ведь он плакать оттого, что я велел ему выучить молитву! Там всего каких-нибудь десять строк...

— Как ты думаешь, можно мне отнести ему какую-нибудь книжку с картинками? У нас ведь есть книжки о святой земле. В этом же нет ничего дурного!

— Пожалуйста, я не возражаю.

Миссис Кэри пошла в кабинет. Книги были единственной страстью мистера Кэри — он ни разу не съездил в Теркенбери без того, чтобы часок-другой не провести у букиниста, и всегда привозил домой четыре или пять пожелтевших томов. Читать он их не читал — охота к этому занятию была давно потеряна, но с удовольствием листал страницы, рассматривал картинки, если книга была иллюстрирована, и приводил в порядок переплет. Больше всего он любил дождливые дни: можно было со спокойным сердцем никуда не выходить и, вооружившись банкой клея и сырым белком, подклеивать телячью кожу какого-нибудь выдавшего виды фолианта. У священника было множество старых книг, украшенных гравюрами, с описаниями путешествий; миссис Кэри быстро отыскивала среди них те, где рассказывалось про Палестину. Она нарочно покашляла за дверью, чтобы Филип успел вытереть слезы, понимая, что ему будет стыдно, если его застигнут плачущим, и с шумом подергала дверную ручку. Когда она вошла, Филип сидел, уставившись в молитвенник и заслонив глаза руками, чтобы скрыть следы слез.

— Ну как, выучил молитву? — спросила она.

Он ответил не сразу, и она поняла, что мальчик боится, как бы голос у него не дрогнул. Миссис Кэри почему-то страшно смутилась.

— Я не могу выучить ее наизусть, — произнес он наконец не очень твердо.

— Ну и бог с ней, — весело сказала она. — И не надо. Вот, я тебе принесла книжек с картинками. Поди сюда, сядь ко мне на колени, давай посмотрим вместе.

Филип соскользнул со стула и, хромяя, подошел к ней. Глаза у него были опущены, чтобы она не видела, какие они красные. Миссис Кэри его обняла.

— Погляди, — сказала она. — Вот здесь родился наш Спаситель.

Она показала ему восточный город с плоскими крышами, куполами и минаретами. Впереди росло несколько пальм, а в тени их отдыхали два араба с верблюдами. Филип провел рукой по картинке, словно хотел пощупать стены домов и широкие одежды кочевников.

— Прочти, что тут написано, — попросил он.

Миссис Кэри своим тусклым голосом прочла ему текст на противоположной странице — романтические впечатления какого-то путешественника по Востоку в тридцатые годы девятнадцатого века. Манера рассказа, может, и была слегка напыщенной, но он был проникнут тем искренним восхищением, которое Восток вызывал у поколения, жившего после Байрона и Шатобриана. Минуты через две Филип прервал ее:

— Я хочу посмотреть другую картинку.

Когда вошла Мэри-Энн и миссис Кэри поднялась, чтобы помочь ей расстелить скатерть, Филип взял книгу и поспешно просмотрел все картинки. Тетя Луиза с трудом уговорила его отложить книгу, пока они пили чай. Он позабыл о своих отчаянных усилиях выучить молитву, позабыл свои слезы. На другой день шел дождь, и он снова попросил дать ему книжку. Миссис Кэри принесла ее с радостью. Обсуждая с мужем будущее мальчика, они оба мечтали, что племянник примет духовный сан, и его интерес к книге, где описывались места, освященные именем Христовым, казался ей добрым предзнаменованием. У ребенка, видно, была врожденная тяга к религии. Через день-другой он попросил дать ему еще книг. Мистер Кэри отвел его в свой кабинет, показал полку, на которой стояли иллюстрированные издания, и выбрал ему книжку о Риме. Филип схватил ее с жадностью. Картинки стали для него новым развлечением. Он прочитывал страницу перед каждой гравюрой и страницу после нее, чтобы узнать о том, что изображено, и вскоре потерял всякий интерес к своим игрушкам.

Он стал сам доставать с полок книги, когда никого не было поблизости, и, может, потому, что первое и наиболее сильное впечатление на него произвел восточный город, больше всего нравились ему книги с описаниями Леванта. Сердце его взволнованно билось, когда он глядел на мечети и затейливые дворцы, но среди всех картинок была одна в книжке о Константинополе, которая особенно волновала его воображение. Она называлась «Зал тысячи колонн» — это был византийский водоем, который народная молва наделила фантастическими размерами; в легенде, которую он прочел, рассказывалось, что, соблазняя неосторожных, у ворот водоема всегда причалена лодка, но ни один путешественник, отважившийся уйти на ней в темноту, не вернулся назад. И Филип представлял себе, как лодка плывет и плывет между колоннами то по одному протоку, то по другому, и вот она наконец причаливает к какому-то таинственному дворцу...

Однажды ему повезло: он попал на «Тысячу и одну ночь» в переводе Лейна. Сначала его заинтересовали иллюстрации, а потом он начал читать, и его увлекли сказки, сперва только волшебные, а потом и другие; сказки, которые ему нравились, он перечитывал снова и снова. Теперь он больше ни о чем не мог думать. Он забыл об окружающем мире. Его не могли дозваться обедать. Сам того не понимая, он приобрел прекраснейшую привычку на свете — привычку читать; он и не подозревал, что нашел самое надежное убежище от всяческих зол; не знал он, правда, и того, что создаст для себя вымышленный мир, рядом с которым подлинный мир может принести ему только жестокие разочарования. Вскоре он стал читать и другие книги. Ум у него был любознательный. Увидев, что мальчик нашел себе занятие, больше не пристаёт к взрослым и не шумит, дядя и тетя перестали обращать на него внимание. У мистера Кэри было столько книг, что он не мог все их упомянуть, а так как читал он мало, то не знал и того, какие именно книги он привез в той или иной пачке, купленной по дешевке у букиниста. Вперемежку с проповедями, нравоучениями, путешествиями, житиями святых, историей религии и писаниями отцов церкви стояли старомодные романы — их-то и открыл для себя Филип. Он отыскивал их по заголовкам, и первое, на что он попал, были «Ланкаширские ведьмы», потом «Незаменимый Кричтон» и множество других. Стоило ему, раскрыв книгу, прочесть, как два одиноких путника едут по краю бездны, — и он уже предвкушал, сколько радостей ждет его впереди.

Настало лето, и садовник, бывший матрос, смастерил для него гамак и привязал к ветвям плакучей ивы. Филип лежал в нем часами, укрытый от всех, кто мог ненароком зайти к священнику, и читал, читал самозабвенно. Шло время, наступил июль, а за ним и август; по воскресеньям церковь была полна приезжих, и пожертвования часто доходили до двух фунтов. В дачный сезон ни священник, ни миссис Кэри не выходили из сада надолго: они не любили посторонних и смотрели на заезжих лондонцев с неприязнью. Дом напротив снял на полтора месяца какой-то господин, у которого было два мальчика; он послал спросить, не захочет ли Филип прийти поиграть с его сыновьями, но миссис Кэри ответила вежливым отказом. Она боялась, что столичные мальчики испортят Филипа. Он ведь будет духовным лицом, и его надо оберегать от дурных влияний. Ей хотелось видеть в нем отрока Самуила.

Мистер и миссис Кэри решили отдать Филипа в Королевскую школу в Теркенбери. Все окрестное духовенство посылало туда своих сыновей. Школа была связана давними узами с кафедральным собором: ее директор был почетным каноником, а бывший директор — архидиаконом. Учеников поощряли стремиться к духовной карьере, а преподавание велось с таким уклоном, чтобы каждый добронравный юноша мог посвятить себя служению богу. У школы были свои подготовительные классы; туда-то и было решено отдать Филипа. В один из четвергов в конце сентября священник повез племянника в Теркенбери. Весь день Филип волновался. Он знал о школьной жизни только по рассказам в «Юношеской газете». Прочел он также «Эрик, или Мало-помалу».

Когда поезд подошел к Теркенбери, Филип был полумертв от страха и по дороге в город сидел бледный, не произнося ни слова. Высокая кирпичная стена перед зданием школы делала ее похожей на тюрьму. В стене была дверца, она открылась, когда приезжие позвонили; оттуда вышел неопрятный увалень и внес сундучок Филипа и его ящик с игрушками за ограду. Их провели в гостиную, заставленную тяжелой, безобразной мебелью; стулья, словно солдаты, вытянулись вдоль стен. Мистер Кэри и Филип стали дожидаться директора.

— А он какой, этот мистер Уотсон? — спросил, не выдержав, Филип.

— погоди, сам увидишь.

Снова наступило молчание. Мистер Кэри недоумевал, почему директор так долго не приходит. Филип с трудом выдавил из себя:

— Ты им скажи, что у меня хромая нога.

Мистер Кэри не успел ответить: дверь распахнулась и в комнату величественно вошел мистер Уотсон. Филипу он показался гигантом. Это был могучий человек двухметрового роста, с огромными ручищами и большой рыжей бородой; говорил он зычным, веселым голосом, но его бьющая через край жизнерадостность вселяла в Филипа панический страх. Мистер Уотсон пожал руку мистеру Кэри, а потом схватил в свою лапу худенькую руку мальчика.

— Ну, как, молодой человек, рад, что поступаешь в школу? — зарычал он.

Филип покраснел и не нашелся, что ответить.

— Сколько тебе лет?

— Девять,— сказал Филип.

— Надо говорить: «Девять лет, сэр»,— поправил его дядя.

— Да, тебе еще многому надо подучиться!— весело прогудел директор.

Желая приободрить мальчика, он стал щекотать его шершавыми пальцами. Филип робел и корчился от этих неприятных прикосновений.

— Я пока что поместил его в маленький дортуар... Тебе ведь это больше понравится, правда?— спросил он Филиппа.— Вы там будете восьмером. Скорее привыкнешь.

Дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Уотсон— смуглая женщина с черными волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. У нее были чрезвычайно толстые губы, нос пуговкой и большие черные глаза. Весь ее вид выражал какую-то особенную холодность. Она редко разговаривала и еще реже улыбалась. Муж представил ей мистера Кэри, а потом приветливо подтолкнул к ней Филиппа.

— Это— новенький, Элен. Его фамилия Кэри.

Она молча пожала Филиппу руку и села, не говоря ни слова. А директор в это время спрашивал мистера Кэри, много ли Филип знает и по каким учебникам он готовился. Священник из Блэкстебла был несколько обескуражен шумливым благодушием мистера Уотсона и очень быстро ретировался.

— Пожалуй, мне лучше оставить Филиппа с вами.

— Как хотите,— сказал мистер Уотсон.— Со мной он не пропадет. Поднимется, как на дрожжах. Верно, молодой человек?

Не ожидая от Филиппа ответа, великан разразился громовым хохотом. Мистер Кэри поцеловал мальчика в лоб и откланялся.

— За мной, молодой человек!— пророкотал мистер Уотсон.— Я тебе покажу классную комнату.

Он двинулся из гостиной гигантскими шагами, и Филип поспешно заковылял за ним следом. Его привели в большую комнату с голыми стенами и двумя столами, тянувшимися во всю ее длину; по обе стороны столов стояли деревянные скамьи.

— Пока что здесь не очень людно,— сказал мистер Уотсон.— Я покажу тебе площадку для игр, а потом уж привыкай сам.

Мистер Уотсон шел впереди. Филип очутился на просторной площадке, с трех сторон окруженной высокой кирпичной оградой. Вдоль четвертой стороны шла железная

решетка, сквозь которую была видна большая поляна, а за ней — здания Королевской школы. По поляне понуро бродил маленький мальчик, подкидывая носком ботинка гравий.

— Привет, Веннинг! — закричал мистер Уотсон. — Ты когда это здесь появился?

Мальчик подошел к ним и поздоровался за руку.

— Вот наш новенький. Он старше и выше тебя, поэтому ты его не задирай.

Директор дружелюбно сверкнул глазами и раскатисто захохотал. У обоих мальчишек сердце ушло в пятки. Потом он оставил их одних.

— Как тебя зовут?

— Кэри.

— Кто твой отец?

— Он умер.

— Ага... А мать твоя любит поесть?

— Мама тоже умерла. — Филип надеялся, что ответ смутит мальчика, но Веннинга не так легко было унять.

— Но раньше любила? — настаивал он.

— Наверно, — с возмущением сказал Филип.

— Значит, она была обжора?

— Нет, не была.

— Значит, она померла с голоду.

Мальчишка загоготал от восторга перед собственной железной логикой. Вдруг он обратил внимание на ногу Филипа.

— А что у тебя с ногой?

Филип сделал инстинктивное движение, чтобы убраться с ноги. Он отставил ее назад, за здоровую.

— У меня больная нога, — сказал он.

— А что ты с ней сделал?

— Она всегда была такая.

— Дашь посмотреть?

— Не дам.

— Ну и не надо.

Мальчишка вдруг изо всех сил лягнул Филипа в голень. Филип этого не ожидал и не успел увернуться. Боль была так сильна, что он вскрикнул, но еще сильнее боли было недоумение. Он не понимал, почему Веннинг его лягнул. Филип так растерялся, что даже его не стукнул. К тому же мальчик был меньше его, а он прочитал в «Юношеской газете», что подло бить тех, кто меньше или слабее тебя. Филип стал тереть ушибленную ногу, и в это время появился еще один мальчишка. Веннинг сразу же оставил Филипа в покое. Скоро Филип заметил, что те двое говорят о нем

и разглядывают его ногу. Он вспыхнул, и ему стало не по себе.

Но тут появились другие мальчики; их стало уже больше десятка, все они затараторили о том, что делали во время каникул и как здорово играли в крикет. Подошло еще несколько новеньких, с ними разговорился и Филип. Он был робок и очень застенчив. Ему хотелось расположить к себе товарищей, но он не знал, как это сделать. Его забрасывали вопросами, и он охотно на них отвечал. Один из мальчиков спросил, умеет ли он играть в крикет.

— Нет,— ответил Филип.— У меня хромая нога.

Мальчик сразу же взглянул на его ногу и покраснел. Филип понял, что он раскаивается в том, что задал бестактный вопрос, но слишком застенчив, чтобы извиниться. Мальчик растерянно смотрел на Филипа и молчал.

ГЛАВА 11

На следующее утро Филипа разбудили удары колокола, и он с удивлением оглядел свою спальню. Но кто-то запел и сразу напомнил ему, где он находится.

— Ты проснулся, Певун?

Дортуар был разделен на спальни перегородками из полированной сосны, а вместо дверей висели зеленые занавески. В те годы не слишком заботились о вентиляции, и окна открывались только по утрам, чтобы проветрить спальни.

Филип встал с постели и опустился на колени помолиться. Утро было холодное, и его слегка знобило, но дядя внушил ему, что молитва скорее доходит до бога, если ее читать не одетым, в ночной рубашке. Это его несколько не удивляло: он уже понимал, что бог, который его сотворил, любит, чтобы верующие терпели лишения. Филип умылся. На пятьдесят воспитанников было всего две ванны, и каждый мог принять ванну только раз в неделю. Умывались в тазике на умывальнике, который вместе с кроватью и стулом составлял всю обстановку спальни. Одеваясь, мальчики весело болтали. Филип весь превратился в слух. Потом снова прозвонил колокол, и все побежали вниз. Они заняли свои места на скамьях, стоявших возле длинных столов в классной комнате. Вошел мистер Уотсон в сопровождении жены и слуг. Мистер Уотсон сел и прочел молитву. Читал он ее внушительно: обращение к богу, произнесенное его громовым голосом, воспринималось как угроза, направлен-

ная каждому из мальчиков лично. Филип слушал его со страхом. Потом мистер Уотсон прочитал главу из Библии, и слуги покинули класс. Минуту спустя встрепанный паренек внес сначала два больших чайника, а потом огромные блюда с хлебом, намазанным маслом.

Филип был разборчив в еде, толстый слой не очень свежего масла сразу же вызвал у него тошноту; увидев, как другие мальчики соскребают это масло с хлеба, он последовал их примеру. У всех школьников, кроме казенной, была и своя еда — копчености и соленья, которые они вместе с игрушками привезли из дома; кое-кому дополнительно подавались яйца или сало, на чем неплохо зарабатывал мистер Уотсон. Он спросил у мистера Кэри, должен ли такую добавку получать и Филип, но священник ответил, что, по его мнению, мальчиков не следует баловать. Мистер Уотсон с готовностью согласился: он тоже считает, что хлеб с маслом — лучшая пища для юношества и что некоторые родители зря балуют своих детей, настаивая на особом питании.

Филип заметил, что эти «добавки» подчеркивали привилегированность тех, кто их получал, и решил попросить тетю Луизу, чтобы и ему давали дополнительное кушанье.

После завтрака дети отправились на площадку для игр. Сюда постепенно собрались и приходящие ученики — дети местного духовенства, офицеров расквартированного здесь полка, промышленников и торговцев этого старинного города. Скоро опять прозвонил колокол, и все пошли на занятия. Они происходили в большой длинной комнате; два младших преподавателя в разных ее концах обучали учеников второго и третьего классов. В отдельной комнате рядом мистер Уотсон занимался с учениками первого класса. В официальных отчетах и речах, для того чтобы объединить эту начальную школу с Королевской, ее три класса именовали «высшим, средним и низшим приготовительными классами». Филипа поместили в низший. Учитель — краснощекий человек с приятным голосом, по фамилии Райс, — умел заинтересовать учеников, и время шло незаметно. Филип был удивлен, когда оказалось, что уже без четверти одиннадцать, и учеников отпустили на десятиминутную перемену.

Школа с шумом высыпала во двор. Новичкам было приказано встать посредине; остальные выстроились у стен по сторонам. Началась игра в «свинью посередке». Мальчишки постарше перебегали от одной стенки к другой; новички должны были их ловить; когда кто-нибудь из старших попадался и произносил заветные слова: «Раз,

два, три, свинью бери!» — он становился пленником, переходил на сторону врага и помогал ловить тех, кто еще был на свободе. Филип заметил бегущего мимо него мальчишку и попытался его поймать, но хромота ему мешала, и те, кого ловили, пользуясь этим, старались пробежать мимо него. Одному из школьников пришла в голову блестящая идея передразнить неуклюжую походку Филипа. Другие засмеялись, а потом и сами стали подражать товарищу; они бегали вокруг Филипа, смешно прихрамывая, вопили высокими ломающимися голосами и визгливо хохотали. Восторг, который они испытывали от этой новой забавы, заставил их совсем потерять голову — они давились от смеха. Один из них подставил Филипу ногу; тот упал, как всегда тяжело, и рассек коленку. Кругом захохотали еще громче. Когда он поднялся, один из мальчиков толкнул его сзади, и Филип упал бы снова, если бы другой его не подхватил. Игра была забыта, физическое уродство Филипа развлекало их куда больше. Один из ребят придумал странную прихрамывающую походку и стал раскачиваться всем туловищем; это показалось удивительно забавным, и несколько мальчишек повалились на землю, катаясь от смеха. Филип был напуган до немоты. Он не мог понять, почему над ним смеются. Сердце у него билось так, что ему трудно было дышать, — такого страха он не испытывал никогда в жизни. Он стоял как вкопанный, а мальчишки бегали вокруг него, кривляясь и хохоча; они кричали ему, чтобы он их ловил, но он словно окаменел. Ему не хотелось, чтобы снова видели, как он бегаёт. Он напрягал все силы, стараясь не заплакать.

Внезапно зазвонил колокол, и все толпой ринулись в школу. У Филипа из колена текла кровь; он был растрепан и весь в пыли. Мистеру Райсу не сразу удалось навести порядок в классе. Его ученики все еще были возбуждены новой забавой, и Филип заметил, что двое или трое из них смотрят вниз, на его ноги. Он поджал их подальше под парту.

После обеда, когда школьники отправлялись играть в футбол, мистер Уотсон остановил Филипа.

— Кэри, ты, наверно, не можешь играть в футбол?

Филип стыдливо вспыхнул.

— Нет, сэр...

— Не огорчайся. Но ты все-таки ступай на поле... Ты можешь туда дойти? Для тебя это не далеко?

Филип представления не имел, где это поле, но все же ответил:

— Нет, сэр.

Мальчики отправились под командой мистера Райса. Увидев, что Филип не переоделся в спортивный костюм, учитель спросил, почему он не хочет играть.

— Мистер Уотсон сказал, что мне можно не играть, сэр.

— Почему?

Филип чувствовал, что со всех сторон на него обращены любопытные взгляды; его мучил стыд. Он молчал, опустив глаза. За него ответили другие:

— У него хромая нога, сэр.

— Ах, вот как...

Мистер Райс был очень молод, диплом он получил только в прошлом году, и он вдруг растерялся. Учителя так и подмывало извиниться перед Филипом, но что-то ему мешало. Он вдруг сердито прикрикнул:

— А ну-ка, мальчики, чего вы ждете? Марш!

Кое-кто зашагал вперед; за ними двинулись и остальные группами по двое и по трое.

— А вы, Кэри, лучше идите со мной. Вы же не знаете дороги.

Филип понял, что учитель пожалел его, и к горлу у него подступил комок.

— Я не могу ходить очень быстро, сэр.

— Тогда я пойду очень медленно,— с улыбкой сказал учитель.

С этой минуты сердце Филипа было отдано краснощекому и самому что ни на есть заурядному молодому человеку, у которого нашлось для него ласковое слово. Он вдруг почувствовал себя не таким несчастным.

Ночью, когда все укладывались спать, мальчик, по прозвищу Певун, вышел из своей спальни и заглянул к Филипу.

— Послушай-ка, дай посмотреть на твою ногу,— попросил он.

— Не дам,— сказал Филип и быстро прыгнул в кровать.

— Нет, дашь,— сказал Певун.— А ну-ка, хватай его, Мейсон!

Мальчик из соседней спальни выглянул из-за перегородки и, услышав приглашение, проскользнул за занавеску. Вдвоем они накинулись на Филипа и стали сдирать с него одеяло, но тот крепко держал его обеими руками.

— Оставьте меня в покое!— закричал он.

Певун схватил головную щетку и стал оборотной стороной бить Филипа по пальцам. Филип вскрикнул от боли.

— А ты почему не показываешь нам ногу?

— Не хочу!

В отчаянии Филип стукнул своего мучителя кулаком, но сила была не на его стороне, и мальчишка, ухватив его за руку, начал ее вывертывать.

— Не надо, не надо! — взмолился Филип. — Ты мне руку сломаешь.

— А ты молчи и покажи ногу.

Филип всхлипнул, потом разрыдался. Мальчик вывертывал ему руку все сильнее. Боль стала невыносимой.

— Ладно, покажу! — сказал он.

Он высунул ногу из-под одеяла. Певун крепко держал руку Филипа и с любопытством разглядывал его уродливую ступню.

— Ужасная гадость, правда? — сказал Мейсон.

Вошел еще один мальчик и принял участие в осмотре.

— Фу! — сказал он с отвращением.

— Вот уродина, — скривившись, сказал Певун. — А она твердая?

Он пощупал ногу кончиком пальца так опасно, словно она была чем-то одушевленным. Вдруг на лестнице послышались тяжелые шаги мистера Уотсона. Мальчишки накинули на Филипа одеяло и, как мыши, бросились врассыпную по своим спальням. В дортуар вошел мистер Уотсон. Встав на цыпочки, он мог заглянуть поверх зеленой занавески и проверить, что за ней делается. Окинув взором три кровати, он убедился, что мальчики спокойно спят, погасил свет и вышел.

Певун окликнул Филипа, но тот молчал. Вцепившись зубами в подушку, он беззвучно плакал. Он плакал не от боли, не от унижения, которое испытал, когда рассматривали его ногу, а от ненависти к себе самому, не выдержавшему пытки, к своему слабодушию.

И тут он почувствовал, как он несчастен. Его детской душе казалось, что страдания — удел всей его жизни. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил то холодное утро, когда Эмма вынула его из кровати и положила рядом с матерью. С тех пор он ни разу об этом не думал, но сейчас живо припомнил теплоту материнского тела и прикосновение ее рук. Вдруг ему почудилось, что все это сон — и смерть матери, и жизнь у дяди, и эти два горьких дня в школе, утром он проснется и очутится снова дома. От этой мысли слезы высохли. Ему слишком горько, так бывает только во сне, и мама его жива, и Эмма скоро придет и ляжет спать... Он забылся.

Но наутро его разбудил звон колокола, и, открыв глаза, он увидел зеленую занавеску своей спальни.

Время шло, и хромота Филипа перестала вызывать интерес. Ее уже не замечали, как рыжие волосы другого мальчика или противоестественную тучность третьего. Но Филип стал чудовищно мнительным. Он по возможности старался не бегать, зная, что тогда его увечье заметнее, и выработал особую походку. Он привык стоять неподвижно, пряча уродливую ногу позади здоровой, чтобы не привлекать к ней внимания, и вечно с тревогой ожидал насмешек. Не участвуя в играх других ребят, он был выключен из их жизни. На все, что волновало их, он мог смотреть только со стороны; ему казалось, что между ним и его товарищами — непреодолимая стена. Иногда им казалось, будто он сам виноват в том, что не играет в футбол, а он не мог им ничего объяснить. Он часто бывал предоставлен самому себе. От природы общительный, Филип постепенно сделался молчаливым. Он начал задумываться над тем, что отличает его от других ребят.

Самый рослый мальчик в дортуаре, Певун, его невзлюбил, и щуплому для своих лет Филипу пришлось немало от него вытерпеть. Посреди семестра всю школу охватила мания игры в «перышки». Играли двое, сидя за столом или за партой, стальными перьями. Один ногтем толкал свое перо так, чтобы кончиком его покрыть кончик пера противника, а тот должен был помешать этому и в свою очередь добиваться того, чтобы его перо оказалось сверху; победитель, подышав на подушечку большого пальца, с силой прижимал оба перышка и, если ему удавалось поднять их в воздух и не уронить, становился обладателем обоих перьев. Скоро вся школа была целиком поглощена этой игрой, и наиболее искусные стали владельцами множества перышек. Мистер Уотсон, решив, что это — разновидность азартной игры, запретил ее и отнял у мальчиков перья. Филип, проявивший в этой игре большую ловкость, отдал свой выигрыш с тяжелым сердцем; пальцы его так и тянулись к перышкам, и спустя несколько дней по дороге на футбольное поле он зашел в магазин и купил перьев рондо на целое пенни. Он таскал их в кармане и радовался, чувствуя их под рукой. Певун дознался, что у Филипа есть перья. Ему тоже пришлось отдать свои запасы, но он утаил одно, самое большое перо, по прозвищу Слон, которое никто не мог победить. Трудно было избежать соблазна и не постараться выиграть у Филипа все его перья! И хотя

Филип понимал слабость своих маленьких перышек, он от природы любил рисковать; к тому же он знал, что Певун все равно не даст ему покоя. Филип не играл уже целую неделю и сел за стол, предвкушая удовольствие. Он быстро потерял два своих перышка, и Певун уже ликовал, но в третий раз Слон каким-то образом промазал, и Филип сумел прикрыть его своим рондо. Он даже застонал от торжества. В этот миг в комнату вошел мистер Уотсон.

— Что вы тут делаете? — спросил он, переводя взгляд с Филипа на Певуна, но оба молчали.

— Разве вы не знаете, что я запретил эту идиотскую игру?

Сердце у Филипа отчаянно билось. Он знал, что им грозит, и был страшно испуган, но к страху у него примешивалось какое-то приятное волнение. Филипа никогда еще не порол. Конечно, это больно, зато будет чем похвастаться потом!

— Ступайте ко мне в кабинет.

Директор повернулся, и они пошли за ним. Певун прошептал Филипу:

— Ну, влетит!

Мистер Уотсон показал пальцем на Певуна:

— Нагнись.

Белый как мел Филип смотрел, как мальчик вздрагивает от каждого удара; после третьего он вскрикнул. За этим ударом последовало еще три.

— Хватит. Поднимайся.

Певун выпрямился. По его лицу катились слезы. Филип сделал шаг вперед. Мистер Уотсон посмотрел на него.

— Тебя я пороть не буду. Ты — новенький. И не могу я бить калеку. Ступайте оба и в следующий раз извольте слушаться.

Когда они вернулись в класс, их окружила толпа ребят, откуда-то пронюхавших о том, что с ними стряслось. Мальчишки жадно накинулись на Певуна с расспросами. Лицо у Певуна покраснело от боли, на щеках еще были следы слез. Он мотнул головой на Филипа, стоявшего позади.

— Ему сошло с рук, потому что он калека, — сказал он зло.

Филип сжал зубы, сгорая от стыда. Он чувствовал, что мальчишки смотрят на него с презрением.

— Сколько тебе дали? — спросил один из них Певуна.

Но тот не ответил. Он был зол: ведь ему сделали больно.

— Ты меня больше не проси с тобой играть, слышишь? Тебе-то что! Ты ничем не рискуешь.

— Я тебя и не просил!

— Врешь!

Он быстро дал ему подножку. Филип всегда неустойчиво держался на ногах, он больно грохнулся об пол.

— Калека! — крикнул Певун.

Он жестоко терзал Филипа до самого конца семестра, и хотя тот старался не попадаться ему на глаза, школа была так мала, что скрыться не удавалось. Филип пробовал заговорить со своим учителем по-товарищески; он унился даже до того, что купил ему нож; хотя Певун и взял нож, но не утихомирился. Раза два, доведенный до отчаяния, Филип попытался ударить или лягнуть Певуна, но тот был намного его выше и настолько сильнее, что Филип не мог с ним справиться и, натерпевшись мук, всегда был вынужден просить пощады. Филипа угнетала развязка: унижительные извинения, которые вымогали у него при помощи нестерпимых пыток. Но хуже всего было то, что страданиям его, казалось, не будет конца: Певуну исполнилось всего одиннадцать лет, а в подготовительных классах он пробудет до тринадцати. Филип знал, что ему суждено целых два года прожить с палачом, от которого не было спасения. Он был счастлив только во время уроков и когда ложился в постель. И по вечерам к нему часто возвращалось странное чувство, что жизнь его со всеми ее бедами — только сон и утром он проснется в своей кровати в Лондоне.

ГЛАВА 13

Прошло два года, и Филипу было уже около двенадцати лет. Учился он в первом классе, шел вторым или третьим учеником, и после рождества, когда несколько мальчиков перейдут из его класса в Королевскую школу, он станет первым. У него уже скопилось целая коллекция наград (никому не нужные книги на скверной бумаге, хотя и в роскошных переплетах, украшенных гербом школы). Завоеванное положение спасало его от издевательств, и жизнь больше не казалась такой уж тяжелой. Товарищи прощали ему успехи за его хромоту.

— Подумаешь! Кэри сам бог велел получать награды, — говорили они. — Что ему еще делать, как не зубрить?..

Страх его перед мистером Уотсоном пропал. Он привык к его львиному рыку, и, когда на плечо его опускалась тяжелая рука директора, Филип угадывал в этом прикосновении ласку. У него была отличная память, что куда важнее для хорошего ученика, нежели умственные способности, и он знал, что мистер Уотсон рассчитывает выпустить его из пригготовительной школы со стипендией.

Но Филип постоянно чувствовал себя настороже. Младенец не отдает себе отчета в том, что тело его принадлежит ему больше, чем окружающие предметы; он играет пальцами ноги, не чувствуя, что они — часть его самого и чем-то отличаются от висящей рядом погремушки; лишь постепенно, испытав боль, ребенок начинает ощущать самостоятельное существование своего тела. Индивидууму, чтобы осознать свое «я», необходим такой же опыт; однако разница заключается в том, что всякий человек ощущает свое тело как особый и самостоятельный организм, но отнюдь не каждый осознает свое «я» как самостоятельную и независимую личность. Ощущение отчужденности от других приходит обычно с половой зрелостью, но не всегда развивается до такой степени, чтобы отличие индивидуума от окружающих стало заметно ему самому. И вот людям, так же мало осознающим свое «я», как пчелы в улье, суждена в жизни удача: им куда чаще выпадает счастье, ведь их бытие делит с ними все общество, их радости только потому и становятся радостями, что ими тешатся сообща; такие люди пляшут в духов день на Хэмстед-хид, орут на футбольном матче, машут из окон клубов на Пелл-Мелл королевскому кортежу. Это благодаря им человека прозвали общественным животным.

Филип шагнул от простодушия младенчества к горькому ощущению своего «я», подгоняемый насмешками, которым подвергалась его хромота. Условия его существования были необычны; к ним нельзя было применить ходячие правила, и ему волей-неволей приходилось думать самостоятельно.

Он прочел множество книг, и в голове его роились мысли, которые он еще и сам не вполне понимал; может, поэтому они так будоражили его воображение. Болезненная застенчивость делала его замкнутым, но в душе у него что-то созревало. И он смутно начинал отдавать себе отчет в том, что он — личность. По временам эта личность самого его удивляла: он совершал безотчетные поступки и, раздумывая о них потом, так и не мог их себе объяснить.

Он подружился с мальчиком по фамилии Люард, и однажды, когда они вдвоем играли в классе, Люард стал показывать какой-то фокус с ручкой из черного дерева, принадлежавшей Филипу.

— Брось валять дурака,— сказал Филип.— Ты ее сломаешь.

— Не сломаю.

Но не успел он договорить, как ручка переломилась пополам. Люард с испугом посмотрел на Филипа.

— Прости, пожалуйста. Мне ужасно жалко, что она сломалась.

По щекам Филипа катились слезы; он не произнес ни слова.

— Послушай, что с тобой? — с изумлением спросил Люард.— Я куплю тебе точно такую же ручку.

— Мне не ручки жалко,— сказал Филип дрожащим голосом,— но ее подарила мне мама перед смертью...

— Послушай, Кэри, извини меня, пожалуйста...

— Да что там. Чем же ты виноват...

Филип взял обломки ручки и, глядя на них, старался сдерживать рыдания. Он чувствовал себя ужасно несчастным и сам не знал почему: ведь он-то отлично помнил, что купил эту ручку за шиллинг и два пенса в Блэкстебле, во время каникул. Филип сам не мог понять, что заставило его выдумать эту трогательную историю, но так горевал, словно все это была правда. Набожная атмосфера в семье священника и религиозная обстановка в школе сделали Филипа очень совестливым; он привык верить в то, что искуситель не дремлет, охотясь за его бессмертной душой, и, хотя он не был правдивее других ребят, всякая ложь заставляла его потом горько раскаиваться. Думая об этом происшествии, он очень каялся и наконец решил пойти к Люарду и сознаться в том, что все выдумал. И, пуще всего на свете боясь унижения, он целых три дня тешился мыслью о том, какую горькую радость испытает, унизив себя во славу Божию. Однако дальше этой мысли он не пошел. Он облегчил свою совесть более легким способом — покаявшись только перед всевышним. Но Филип так и не понял, почему его взволновала история, которую он сам же выдумал. Ведь слезы текли по его грязным щекам, и это были неподдельные слезы! И тогда по какой-то ассоциации он вспомнил, как Эмма сообщила ему о смерти матери, а он, обливаясь слезами, все же настоял на том, чтобы проститься с мисс Уоткин и ее сестрой. Ему хотелось, чтобы они видели, как он горюет, чтобы его пожалели.

Потом всю школу захлестнула волна религиозного чувства. Не слышно стало ругани, и мелкие пакости малышей вызывали искреннее возмущение; старшие мальчишки, словно средневековые рыцари-тамплиеры, пользовались мощью своей длани для того, чтобы направить слабых духом на стезю добродетели.

Филип со своим беспокойным умом, жадным до всего нового, стал очень набожным. Прослышав, что можно вступить в Библейскую лигу, он написал в Лондон, желая разузнать о ней поподробнее. Ему прислали опросный лист, в котором надлежало сообщить имя, возраст и учебное заведение; он должен был также дать торжественное обещание в том, что каждый вечер в течение года будет читать отрывок из Священного писания; в конце его просили выслать полкроны. Деньги, как ему разъясняли, нужны для того, чтобы убедиться в серьезности его намерений и покрыть канцелярские расходы. Филип, не откладывая, выслал то, что у него просили, в ответ он получил календарь стоимостью в пенни, на котором были размечены для чтения главы из Библии, и лист бумаги; на одной стороне его изображался божественный пастырь с ягненком, а на другой была напечатана молитва в красивой красной рамке. Ее полагалось произносить перед чтением Священного писания.

Теперь каждый вечер Филип спешил поскорее раздеться, чтобы прочесть побольше, прежде чем погасят газ. Читал он, как всегда, прилежно, не допуская в душу сомнений, рассказы о жестокостях, коварстве, бесчестии, неблагодарности и низком обмане. Поступки, которые непременно возбудили бы в нем ужас, случись они в жизни, не вызывали у него осуждения, ибо совершались по прямому внушению божьему. Лига предлагала чередовать главу из Ветхого завета с главой из Нового, и как-то ночью Филипу попались такие слова Христа:

«Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но, если и горé сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», — будет;

И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите».

Слова эти не произвели на него особого впечатления, но случилось так, что дня через два, в воскресенье, соборный каноник выбрал этот же текст для своей проповеди. Если бы Филип и захотел ее слушать, ему бы это все равно не удалось: ученики Королевской школы сидели на хорах,

а кафедра помещалась в углу бокового нефа, так что проповедник стоял к ним почти спиной. Да и расстояние было так велико, что на хорах можно было услышать только человека с хорошим голосом и дикцией, а по давней традиции каноников Теркенбери выбирают скорее за образованность, чем за умение служить у алтаря. Однако евангельский текст, взятый для проповеди, Филип все же расслышал — может быть, потому, что он так недавно его прочел, — и мальчику вдруг показалось, что он касается его лично. Он раздумывал об этих словах чуть не всю проповедь и вечером, улегшись в постель, перелистал Новый завет и снова отыскивал нужное место. И, хотя он неукоснительно верил всему, что напечатано в книгах, в Библии, как он уже убедился, часто говорилось одно, а подразумевалось, неизвестно почему, совсем другое. В школе не было человека, к которому он мог бы пойти за советом, поэтому он решил отложить волновавший его вопрос до рождественских каникул, и тут ему представился подходящий случай. Дело было после ужина, вечерние молитвы были уже прочитаны. Миссис Кэри считала яйца, которые, как всегда, принесла Мэри-Энн, и писала на них дату. Филип стоял у окна и с безразличным видом перелистывал Библию.

— Послушай, дядя, вот это место... Как по-твоему, что оно означает?

Он показал пальцем абзац так, словно напал на него случайно.

Мистер Кэри взглянул на племянника поверх очков. Он сидел возле камина, держа у огня «Блэкстебл таймс». В тот вечер газета пришла из типографии еще сыроватая, и священник всегда в таких случаях подсушивал ее минут десять, прежде чем приняться за чтение.

— Какое место? — спросил он.

— Да вот тут написано, что, если у тебя есть вера, ты можешь сдвинуть с места горы.

— Если это сказано в Библии, значит, так оно и есть, — мягко заметила миссис Кэри, унося корзину со столовым серебром.

Филип молча смотрел на дядю, ожидая ответа.

— Все дело в вере.

— Неужели правда, что стоит поверить, будто ты можешь сдвинуть с места гору, и ты ее в самом деле сдвинешь?

— С божьей помощью, — сказал священник.

— Ну, Филип, пожелай дяде «спокойной ночи», — вмешалась тетя Луиза. — Ты ведь сегодня ночью не собираешься двигать гору?

Филип подставил дяде лоб для поцелуя и пошел наверх с тетей Луизой. Он получил ответ. В его комнате воздух был ледяной, и Филип дрожал, надевая ночную рубашку. Но он всегда верил, что молитвы угоднее богу, если ты читаешь их, терпя неудобства. Окоченевшие руки и ноги были жертвой на алтарь всевышнего. И сегодня он упал на колени, закрыл лицо руками и стал пламенно молиться богу, чтобы тот сделал его уродливую ногу такой, как у всех. Ведь это же мелочь, разве можно сравнить какую-то ногу с горой? Он знал, что, если бог захочет, он может это сделать, и его вера была несокрушима. На следующее утро, кончая молитву все той же просьбой, он назначил день, когда должно было совершиться чудо.

— О господи всеблагий и всемилостивый! Если будет на то воля твоя, прошу тебя, сделай мою ногу здоровой в ночь накануне моего возвращения в школу!

Ему было приятно, что он сумел выразить свою просьбу в такой складной форме, и он повторил ее в столовой, перед тем как подняться с колен после утренней молитвы, во время краткого молчания, которого требовал священник. Он снова произнес ее вечером, а потом еще раз, дрожа от холода, перед сном. И он верил. В первый раз он ждал с нетерпением конца каникул. Он смеялся в душе, представляя удивление дяди, когда тот увидит, как он бежит вприпрыжку с лестницы, перескакивая через три ступеньки... А после завтрака им с тетей Луизой придется спешно покупать новую пару ботинок. В школе будут поражены.

— Эй, Кэри, что ты сделал со своей ногой?

— Она у меня теперь в порядке,— скажет он небрежно, как будто произошла самая обычная вещь на свете.

Он сможет играть в футбол. Сердце его дрогнуло, когда он представил себе, как он бежит, бежит быстрее других ребят. В конце пасхального семестра будут спортивные состязания, и он сможет участвовать в беге; ему очень хотелось участвовать в беге с препятствиями. Какое счастье быть таким, как все, чтобы на тебя не пялили глаза новички, которые еще не знают о твоём увечье, чтобы летом, во время купания, тебе не нужно было принимать самые невероятные предосторожности, пока ты раздеваешься и еще не успел спрятать ногу в воде...

Он молился от всей души. Сомнения его не тревожили. Он полагался на слово божие. И в ночь накануне отъезда в школу он отправился спать, дрожа от волнения. Выпал снег, и тетя Луиза позволила себе непривычную роскошь — она затопила камин в своей спальне. Но в комнатухе

Филипа было так холодно, что у него совсем онемели пальцы, и ему было трудно расстегнуть воротник. Зубы его стучали. Он решил, что сегодня ему надо совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы заслужить милость бога, и он отвернул коврик у кровати и встал коленями на голые доски; тогда ему показалось, что ночная рубашка — это тоже баловство и может рассердить создателя; он снял ее и стал молиться голый. Когда он лег в постель, ему было ужасно холодно, и он долго не мог заснуть, но сон наконец пришел, и такой крепкий, что Мэри-Энн наутро с трудом его разбудила. Она принесла горячую воду и что-то ему говорила, раздвигая занавески, но Филип ей не отвечал: он сразу же вспомнил, что в это утро должно было совершиться чудо. Сердце его было полно благодарности и восторга. Он инстинктивно вытянул руку, чтобы пощупать ступню, которая была теперь такой, как у всех, но тут же отдернул ее, боясь, что это будет означать сомнение в благости божьей. Он ведь знает, что нога его здорова. Но в конце концов он все-таки решился и пальцем правой ноги легонько дотронулся до левой. Потом он провел по ней рукой.

Хромая, Филип спустился вниз, когда Мэри-Энн входила в столовую на молитву. Потом он сел завтракать.

— Ты сегодня какой-то тихий, — немного погодя сказала ему тетя Луиза.

— Он мечтает о вкусном завтраке, который ему завтра подадут в школе, — сказал священник.

Помолчав, Филип ответил, но по всегдашней своей манере совсем не на то, о чем шла речь, — дядя злился и называл это дурацкой привычкой витать в облаках.

— Предположим, ты просил о чем-то бога, — сказал Филип, — и верил по-настоящему, что он это сделает, вот, например, передвинет гору на другое место или что-нибудь еще, понимаешь? И у тебя есть вера, а ничего не случилось. Что бы это могло значить?

— Какой странный мальчик! — сказала тетя Луиза. — Ты две недели назад уже спрашивал, можно ли передвинуть гору.

— Это значит, что у тебя не хватает веры, — ответил дядя Уильям.

Филип принял это объяснение. Если бог его не исцелил, значит, он верил не так, как нужно. Но в то же время он не понимал, как можно было верить сильнее. А что, если он дал богу слишком мало времени? Он молил его всего каких-то девятнадцать дней. Через день-другой он стал снова повторять свою молитву и назначил богу новый срок — пасху.

В этот светлый день воскрес из мертвых сын божий, и бог на радостях должен быть настроен милостиво. Но на этот раз Филип принял и другие меры, чтобы его заветное желание было исполнено: он загадывал его, глядя на молодой месяц или на коня в яблоках; ждал, не упадет ли звезда; во время короткой побывки дома им как-то подали курицу, и он ломал дужку с тетей Луизой, загадывая снова и снова, чтобы его нога стала здоровой, как у других. Бессознательно он зывал к богам куда более древним, чем бог Израилев. Он засыпал всевышнего своими молитвами во всякое время дня, когда бы он об этом ни вспомнил, но всегда в одних и тех же выражениях: ему почему-то казалось, что точность слов тут очень важна. Однако скоро он стал чувствовать, что и теперь его веры не хватит. Он уже не мог подавить в себе сомнения. И дело кончилось тем, что свой личный опыт он возвел в общее правило.

— Видно, ни у кого не хватает веры, — говорил он себе.

Все это было похоже на басни его няньки: та его уверяла, что можно поймать любую птицу, насыпав ей соли на хвост; как-то раз маленький Филип взял с собой в Кенсингтонский парк мешочек с солью. Но ему ни разу не удалось подобраться к птице так близко, чтобы можно было насыпать ей соли на хвост. Перед пасхой Филип прекратил всякую борьбу. К дяде, который его обманул, он почувствовал глухую злобу. Текст, где говорилось, что вера движет горами, был лишним примером того, что в книгах пишется одно, а на деле выходит совсем другое. Дядя, наверно, просто подшутил над ним.

ГЛАВА 15

Королевская школа в Теркенбери, куда Филип поступил в тринадцать лет, гордилась своим древним происхождением. Основанная еще до завоевания Англии норманнами, она сперва была школой при аббатстве — начатки наук преподавались там монахами-августинцами; с уничтожением монастырей школа, как и многие подобные ей заведения, была реорганизована чиновниками короля Генриха VIII, откуда и получила свое название. С тех пор она занимала подобающее ей место и давала образование детям дворян и лиц свободных профессий Кента. Из ее питомцев вышло несколько знаменитых литераторов, начиная с того поэта, чей гений уступал лишь блистательному гению Шекспира, и кончая прозаиком, чьи взгляды на жизнь глубоко повлияли на поколение Филипа; она воспитала и двух-трех известных адвокатов — положим,

известные адвокаты совсем не редкость — и столько же видных военных. Но все три столетия, с тех пор как она отделилась от монашеского ордена, школа готовила главным образом мужей церкви: епископов, настоятелей, каноников и больше всего сельских священников; в школе были мальчики, отцы, деды и прадеды которых учились в ее же стенах, а затем становились приходскими священниками в Теркенберийской епархии; такие мальчики поступали в школу с готовым решением сделать духовную карьеру. Впрочем, даже тут заметны были признаки надвигающихся перемен: кое-кто из учеников, вторя пересудам взрослых, поговаривал, будто церковь уже не та, что прежде. Дело было даже не в ее доходах — изменился класс людей, которые желали принять духовный сан; мальчики знали священников, чьи отцы были простыми лавочниками. Лучше уж отправиться в колонии (в те дни колонии все еще были последней надеждой тех, кому нечего было делать в Англии), чем стать помощником какого-нибудь типа, который не был джентльменом. В Королевской школе, как и в доме блэкстеблского священника, лавочником считали всякого, кто не сподобился владеть землею (хотя и здесь проводилось тонкое различие между помещиком из дворян и простым землевладельцем) или не принадлежал к одной из четырех профессий, достойных джентльмена. Среди приходящих учеников — их было около ста пятидесяти — сыновья местных дворян и офицеров презирали тех, чьи отцы занимались коммерцией.

Учителя не признавали модных взглядов на воспитание, о которых иногда почитывали в «Таймсе» или «Манчестер гардиан»; они от души надеялись, что Королевская школа останется верна своим старым традициям. Древние языки преподавались с таким усердием, что бывший ученик всю жизнь не мог подумать о Гомере или Вергилии без отвращения; хотя в учительской иной смельчак за обедом и утверждал подчас, что роль математики нынче возрастает, большинство стояло на том, что изучать классические языки куда благороднее. Ни немецкому, ни химии не учили, а французский преподавали лишь классные наставники; они могли блюсти порядок в классе лучше какого-нибудь иностранца, а грамматику знали не хуже любого француза — что за беда, если ни один из них не смог бы заказать чашку кофе в ресторане в Булони, если бы официант хоть чуть-чуть не понимал по-английски? Обучение географии сводилось к тому, что ребят заставляли чертить карты, в особенности если изучаемая страна была гористой: можно

убить уйму времени, вычерчивая Анды или Апеннины. Учителя были выпускниками Оксфорда или Кембриджа, посвящены в духовный сан и все как один — холостяки: если кто-нибудь из них вдруг решал жениться, ему оставалось лишь принять от капитула менее доходную должность; но за много лет никто из них не пожелал променять изысканное теркенберийское общество — благодаря кавалерийскому гарнизону здесь была не только духовная, но и военная знать — на однообразную жизнь в сельском приходе; во времена Филипа все учителя были людьми пожилыми.

Зато директору полагалось быть человеком женатым, и он руководил школой, пока у него хватало сил. Когда он выходил в отставку, его награждали пенсией, куда большей, чем та, на какую могли рассчитывать учителя, и саном почетного каноника в придачу.

Но за год до поступления Филипа в школе произошли серьезные события. Давно было ясно, что доктор Флеминг, пробывший директором уже четверть века, стал чересчур глух, чтобы продолжать свою деятельность во славу господню; когда на одной из окраин города освободился приход с окладом в шестьсот фунтов, доктору предложили принять его в весьма недвусмысленных выражениях, подразумевавших, что ему давно пора на покой. На такое жалованье нетрудно было врачевать свои недуги. Младшие священники, надеявшиеся на повышение, говорили своим женам, что обидно отдавать приход, нуждавшийся в молодом, крепком и энергичном человеке, старикану, который понятия не имеет о приходских делах и уже скопил денег на черный день; но жалобы необеспеченного духовенства не достигали ушей членов капитула. Что касается прихожан, то их дело было сторона и никто их мнения не спрашивал. К тому же у них был выбор: в приходе имели свои молитвенные дома как методисты, так и баптисты.

Когда избавились от доктора Флеминга, пришлось подыскать ему заместителя. Избрание одного из младших учителей нарушило бы школьные традиции. Учительская была единодушно настроена в пользу мистера Уотсона, директора приготовительных классов; его никак нельзя было считать преподавателем Королевской школы; все знали его добрых двадцать лет и не боялись с его стороны подвоха. Но капитул преподнес им сюрприз. Он назначил некоего Перкинса. Сперва никто не знал, кто такой Перкинс, и это простонародное имя само по себе вызывало кривотолки; но, прежде чем улеглось первое потрясение, выяснилось, что это сын Перкинса, торговца полотном. Доктор Флеминг

с нескрываемым ужасом сообщил об этом классным наставникам как раз перед обедом. Все, кто сидел за столом, ели в молчании, не касаясь этой темы, пока слуги не покинули комнату. Зато потом они отвели душу. Имена присутствовавших не имеют значения, но целые поколения школьников звали их Занудой, Дегтем, Соней, Ирлашкой и Выскочкой.

Все они знали Тома Перкинса. Во-первых, он был плебеєм. Они его отлично помнили. Это был маленький, смуглый, глазастый мальчик с всклокоченными черными волосами. Вылитый цыганенок. В школе он был приходящим учеником и получал наивысшую стипендию, так что образование не стоило ему ни гроша. Конечно, у него были блестящие способности. Ежегодно школьный акт приносил ему награды. Учителя выставляли его напоказ, и теперь они с горечью вспоминали, как в свое время боялись, что он попытается получить стипендию в какой-нибудь из более привилегированных школ и таким образом ускользнет у них из рук. Доктор Флеминг даже посетил его отца, торговца полотном — все они помнят лавку Перкинса и Купера на Сент-Кэтрин-стрит — и выразил надежду, что Том останется у них в школе до поступления в Оксфорд. Школа была самым выгодным покупателем Перкинса и Купера, и мистер Перкинс с радостью заверил директора, что все будет в порядке. Слава Тома Перкинса не меркла, по древним языкам он был лучшим учеником из всех, кого помнил доктор Флеминг, и по окончании школы получил самую большую стипендию, какую она могла предложить. В колледже святой Магдалины он получил еще одну стипендию, с чего и началась его блестящая университетская карьера. Школьный журнал каждый год отмечал достигнутые им успехи, и, когда по окончании университета он получил диплом первой степени по двум специальностям, доктор Флеминг собственноручно начертил в передовице несколько похвальных слов. Его успехи радовали всех еще и потому, что для Перкинса и Купера настали тяжелые времена. Купер пил горькую, и фирме пришлось заявить о банкротстве, как раз накануне получения Томом Перкинсом ученой степени.

В положенный срок Том Перкинс принял духовный сан и вступил на ту стезю, для которой подходил как нельзя более. Он служил младшим преподавателем в Веллингтоне, а потом в Регби.

Но между признанием его успехов в других школах и службой под его началом в их собственной была большая разница. Деготь часто заставлял его переписывать латин-

ские и греческие стихи, а Выскочка драл его за уши. Они были поражены, как это капитул допустил такую ошибку. Разве можно забыть, что Перкинс — сын обанкротившегося торговца полотном, а пьянство Купера еще усугубляло этот позор. Разнесся слух, что настоятель усердно поддерживал его кандидатуру, так что, вероятно, Перкинса будут приглашать к нему ужинать; но останутся ли эти интимные трапезы такими же приятными, как прежде, если за стол посадят Тома Перкинса? А как насчет гарнизона? Не мог же Перкинс ожидать, что офицеры и все прочие джентльмены примут его как равного. Все это нанесет школе неизмеримый урон. Родители будут недовольны, и, чего доброго, ученики начнут толпами переходить в другие школы. И вдобавок какое унижение — называть его «мистер Перкинс»! Учителя собирались в знак протеста коллективно подать в отставку, но их удерживал страх, что отставка будет принята.

— Да, новшеств нам не миновать,— промолвил Зануда, который уже двадцать пять лет с поразительной бездарностью вел пятый класс.

Встреча с Перкинсом не внесла успокоения в их души. Доктор Флеминг пригласил их для этой встречи на обед. Новому директору было уже года тридцать два, он был высок и худощав, но сохранил все тот же диковатый и растрепанный вид, который они помнили с его мальчишеских лет. Одевался он небрежно, костюм был дурно сшит и изрядно поношен. Волосы были по-прежнему черные и длинные, но расчесывать их он, по-видимому, так и не научился; при каждом движении они падали ему на лоб, и он привычным жестом отбрасывал их назад. Рот был закрыт черными усами, лицо заросло бородой до самых скул. Беседовал он с учителями совершенно свободно, словно расстался с ними каких-нибудь две недели назад; казалось, он был в восторге, что видит их снова. Он явно не чувствовал неловкости положения и не видел ничего странного в том, что его называют мистером Перкинсом.

Прощаясь, один из учителей заметил из вежливости, что у Перкинса еще много времени до отхода поезда.

— Я хочу побродить по городу и взглянуть на лавку,— весело ответил тот.

Наступило замешательство. Учителя подивились его бестактности, в довершение доктор Флеминг не расслышал его слов. Миссис Флеминг пришлось крикнуть ему в самое ухо:

— Он хочет побродить по городу и поглядеть на отцовскую лавку.

Один лишь Том Перкинс не чувствовал унижения, которое испытывало все общество. Он спросил миссис Флеминг:

— Вы случайно не знаете, кому она сейчас принадлежит?

Она чуть было не лишилась дара речи. Ее охватила ярость.

— Там все еще торгуют полотном,— резко сказала она.— Хозяина зовут Гров. Мы там больше не покупаем.

— Любопытно, позволит ли он мне походить по дому.

— Наверно, позволит, если вы ему скажете, кто вы такой.

Только вечером после ужина в учительской заговорили о том, что занимало всех. Зануда спросил:

— Ну, что вы думаете о нашем новом начальстве?

Они вспомнили разговор за обедом. Впрочем, вряд ли назовешь его разговором — скорее это был монолог. Перкинс говорил не умолкая, очень быстро, речь его лилась плавным потоком, а голос был глубоким и звучным. Смеялся он странным коротким смешком, показывая ослепительно белые зубы. Им с трудом удавалось следить за ходом его речи, мысли его перескакивали с одного предмета на другой, и связь между ними часто от них ускользала. Он говорил о педагогике, и в этом еще не было ничего удивительного, но его волновали модные немецкие теории, о которых они никогда и не слышали, да и слышать не хотели! Он говорил об античности, коснулся и археологии; мистер Перкинс побывал в Греции — однажды он провел на раскопках целую зиму, им было непонятно, зачем все это учителю. Для того, чтобы готовить детей к экзаменам?.. Он говорил о политике. Странно было слышать, что он сравнивает лорда Биконсфилда с Алкивиадом. Он говорил о мистере Гладстоне и самоуправлении для Ирландии. Да он просто либерал! Сердце у них упало. Он говорил о немецкой философии и о французской литературе. Разве у серьезного человека могут быть такие разнородные интересы?

Соне удалось выразить общее впечатление, и в такой форме, которая в их устах означала самый суровый приговор. Соня — наставник старшего третьего класса — был человек слабовольный; веки его были всегда полуприкрыты. Недостаточно крепкий для своего высокого роста, он двигался медленно, вяло и выглядел ужасно утомленным; прозвище было очень метким.

— Уж больно он увлекается,— сказал Соня.

Увлекаться было непристойно. Джентльменам увлекаться не подобало. Это напоминало об Армии спасения с ее

пронзительными трубами и барабаном. Увлечения вели ко всяким новшествам. Мороз подирал по коже от одной мысли, что любезным их сердцу традициям угрожает неминуемая опасность. Они с дрожью взирали на будущее.

— Он еще больше похож на цыгана, чем прежде,— изрек кто-то, помолчав.

— Интересно, знали настоятель и капитул, что он радикал? — горько спросил другой.

Но разговор не клеился. Они были взволнованы.

Когда неделю спустя Деготь и Зануда шли в здание капитула на торжественный акт, Деготь заметил с обычной своей язвительностью:

— Мы с вами присутствуем на таких торжествах уже много лет. Любопытно, доживем ли мы до следующего?

Зануда был настроен еще более меланхолично, чем всегда.

— Если мне попадется теплое местечко,— сказал он,— я согласен и в отставку.

ГЛАВА 16

Прошел год, как Филип поступил в школу, но все старые учителя по-прежнему оставались на своих местах. Однако, несмотря на сопротивление педагогов, которое отнюдь не было менее упорным оттого, что скрывалось под мнимой готовностью поддерживать затеи нового начальства, в школе замечалось немало перемен. Классные наставники все еще обучали французскому языку в низших классах, но был приглашен новый учитель со степенью доктора филологии, полученной в Гейдельбергском университете, и свидетельством о трехлетнем пребывании во французском лицее; он преподавал французский в старших классах и немецкий — тем, кто предпочел этот язык греческому. Другого учителя пригласили преподавать математику более основательно, чем было принято до сих пор. Ни тот, ни другой не принадлежали к духовному званию. Это была настоящая революция, и, когда они появились, старые учителя встретили их враждебно. Была оборудована лаборатория, стали проводить военные занятия; все утверждали, что самый характер школы менялся на глазах. Одному только богу было известно, какие еще проекты витали в вихрастой голове мистера Перкинса! Школа была невелика по сравнению с другими закрытыми учебными заведениями; ее интернат мог вместить не больше двухсот учеников. Она

примыкала к собору, и ей трудно было расширяться; за исключением одного дома, в котором жили учителя, все соседние здания были заняты соборным причтом; свободных участков для новых построек не было. Но мистер Перкинс разработал подробный план, который позволял школе удвоить свои размеры. Ему хотелось привлечь учеников из Лондона. Им пойдет на пользу общение с ребятами из Кента, а те в свою очередь поднаберутся у них городского лоска.

— Но это идет вразрез со всеми нашими традициями,— сказал Зануда, когда мистер Перкинс поделился с ним своими проектами.— Мы всегда старались избежать этой заразы — лондонских мальчишек.

— А, вздор! — сказал мистер Перкинс.

Никто еще не говорил классному наставнику, что он болтает вздор; Зануда уже обдумывал едкий ответ с намеком на торговлю нижним бельем, но тут мистер Перкинс со свойственной ему горячностью напал на него самым оскорбительным образом:

— Что касается соседнего дома... вот если бы вы женились, я бы убедил капитул надстроить несколько этажей — мы бы оборудовали там дортуары и классные комнаты, а ваша жена помогала бы вам следить за порядком.

Пожилой священник просто ахнул. Зачем ему жениться? Ему стукнуло пятьдесят семь лет, разве можно жениться в пятьдесят семь лет! Да не способен он в свои годы присматривать за целым домом. Он не хочет жениться. Если уж надо выбирать между женитьбой и сельским приходом, он лучше подаст в отставку. Все, чего он теперь хочет, — это тишины и покоя.

— Да я и думать не желаю о браке,— заявил он.

Мистер Перкинс уставился на него своими черными горящими глазами, а если в них и были веселые искорки, бедный Зануда этого не заметил.

— Жаль! А вы бы не могли жениться, чтобы сделать мне одолжение? Это бы мне сильно помогло убедить настоятеля и капитул перестроить ваш дом...

Но самым ненавистным новшеством мистера Перкинса была его манера время от времени проводить занятия в чужом классе. Каждый раз он просил об этом как об одолжении, отлично понимая, что отказать ему нельзя. Выражаясь словами Дегтя, то бишь мистера Тернера, новый порядок был унизителен для обеих сторон. Не предупредив заранее, директор, бывало, говорил после утренней молитвы одному из преподавателей:

— Вы ведь не откажетесь взять сегодня с одиннадцати часов шестой класс? Поменяемся классами, ладно?

Они не знали, было ли это принято в других школах, но, во всяком случае, в Теркенбери так никогда не поступали. И последствия были самые неожиданные. Мистер Тернер — он стал первой жертвой — сообщил своему классу, что сегодня урок латыни будет вести директор, и под тем предлогом, что ученики, быть может, пожелают выяснить какие-нибудь вопросы, чтобы не попасть впросак перед директором, посвятил последние четверть часа урока истории синтаксическому разбору заданного на этот день отрывка из Ливия. Но когда он вернулся в свой класс и заглянул в журнал, где мистер Перкинс ставил отметки, его ждал сюрприз: двум лучшим ученикам не повезло, тогда как другие, никогда прежде не отличавшиеся успехами, получили отличные отметки. Когда он спросил своего любимчика Эддриджа, как это надо понимать, тот угрюмо ответил:

— Мистер Перкинс вовсе и не спрашивал синтаксического разбора. Он спросил меня, что я знаю о генерале Гордоне.

Мистер Тернер уставился на него с изумлением. Ученики явно считали, что с ними поступили несправедливо, и он не мог не разделять их молчаливого недовольства. Как и они, он не понимал, что может быть общего между Ливием и генералом Гордоном. В конце концов он рискнул осведомиться об этом у директора.

— Эддридж был совсем сбит с толку, когда вы спросили его о генерале Гордоне, — сказал он директору, отваживаясь при этом хихикнуть.

Мистер Перкинс засмеялся.

— Я увидел, что они дошли до аграрных законов Гая Гракха, и поинтересовался, знают ли они что-нибудь об аграрных беспорядках в Ирландии. Но об Ирландии они знают только, что Дублин стоит на реке Лиффи. Вот мне и захотелось спросить, слышали ли они о генерале Гордоне.

И тут обнаружился ужасающий факт: новый директор был просто одержимый, его интересовало общее развитие учащихся. Проверку зазубренных уроков он считал делом бесполезным и требовал сообразительности.

С каждым месяцем Зануда мрачнел все больше: его мучила мысль, что мистер Перкинс вот-вот потребует от него назначить срок женитьбы; к тому же его злило отношение директора к античной литературе. Без сомнения, тот был ее блестящим знатоком, к тому же он писал труд в лучших традициях классического образования —

диссертацию о деревьях, упоминавшихся у латинских авторов. Но говорил он об этом легкомысленно, словно о пустячном занятии, вроде игры на бильярде, которой он увлекался в свободное время. А руководитель среднего третьего класса, Выскочка, становился с каждым днем все раздражительнее.

В его-то класс и попал Филип при поступлении в Королевскую школу. Преподобный Б.-Б. Гордон был человеком, плохо приспособленным к учительской профессии: он отличался нетерпимостью и вспыльчивым характером. Не зная над собой никакой управы, имея дело с безответными малышами, он давно разучился сдерживаться. Он начинал трудовой день сердясь, а кончал его в бешенстве. Это был тучный человек среднего роста, с коротко подстриженными бесцветными и уже начавшими сесть волосами и маленькими щетинистыми усами. Его широкое одутловатое лицо с крошечными голубыми глазками было от природы красное, а во время частых приступов гнева оно темнело и становилось багровым. Ногти его были обкусаны до самого мяса: пока какой-нибудь мальчик, дрожа, разбирал предложение, он, сидя за столом, трясся от бешенства и грыз ногти. О его рукоприкладстве ходили, быть может, и преувеличенные слухи, но два года назад вся школа была встревожена, узнав, что отец одного из учеников, по фамилии Уолтерс, угрожает подать на Гордона в суд: он так сильно стукнул книгой мальчика по голове, что тот оглох и его пришлось взять из школы. Родители Уолтера жили в Теркенбери, и город был ужасно возмущен этим происшествием — о нем даже упомянула местная газета. Но мистер Уолтерс был всего-навсего пивоваром, поэтому кое-кто сочувствовал и учителю. Остальные ученики хоть и ненавидели классного наставника, но по причинам, известным только им самим, встали на его сторону: в отместку за то, что школьные дела были преданы гласности, они, как могли, отравляли существование младшему брату Уолтерса, который еще оставался в школе. Но мистер Гордон был на волосок от того, чтобы приобщиться к прелестям сельской жизни, и, испугавшись этого, никогда больше не бил учеников. Классные наставники лишились права бить мальчиков тростью по рукам, и Выскочка больше не мог отводить душу, колотя палкой по столу. Теперь он позволял себе только хватать мальчика за плечи и трясти его. Но он все еще наказывал шалунов и непокорных, заставляя их стоять с вытянутой рукой от десяти минут до получаса, и оставался все так же невоздержан на язык, как прежде.

Вряд ли можно вообразить менее подходящего преподавателя для такого робкого подростка, каким был Филип. Когда он поступал в среднюю школу, у него уже не было тех страхов, которые одолевали его, когда он впервые попал к мистеру Уотсону. Он знал многих ребят, учившихся вместе с ним в подготовительных классах. Теперь он был куда взрослее и инстинктивно понимал, что в большой толпе учеников его физический недостаток не так будет бросаться в глаза. Но с первого же дня мистер Гордон вселил в его сердце ужас: учитель быстро распознавал тех, кто его боится, и, казалось, поэтому у него возникла особая неприязнь к Филипу. Прежде Филип любил заниматься, но теперь он со страхом ожидал часов, которые надо было проводить в классе. Боясь неверно ответить и навлечь на себя бурю оскорблений, он предпочитал тупо молчать; когда приходила его очередь разбирать предложение, он бледнел и его начинало мутить от страха. Он был счастлив только в те часы, когда класс вел мистер Перкинс. Ему легко было удовлетворить требования директора, которого больше всего занимало общее развитие учеников,—ведь Филип не по возрасту много читал; часто мистер Перкинс, не получая ответа на поставленный им вопрос, останавливался возле Филипа и обращался к нему с улыбкой, от которой тот чувствовал себя на седьмом небе:

— Ну-ка, Кэри, расскажи им.

Хорошие отметки, которые ставил мальчику директор, еще больше разжигали неприязнь мистера Гордона. Как-то раз подошла очередь Филипа переводить; учитель сидел, пожирая его глазами и яростно грызя большой палец. Он кипел от ярости. Филип заговорил едва слышным голосом.

— Не бубни себе под нос! — крикнул учитель.

Филипу показалось, что слова застревают у него в горле.

— Давай! Давай! Давай!

С каждым разом учитель выкрикивал это слово все громче. Из головы Филипа улетучилось все, что он знал, и мальчик тупо уставился в книгу. Мистер Гордон захрипел:

— Если ты ничего не знаешь, так и скажи! Знаешь ты или нет? Слышал ты в прошлый раз разбор или нет? Чего ты молчишь? Говори, болван, говори!

Учитель изо всех сил ухватился за ручки кресла, словно для того, чтобы не броситься на Филипа. Ученики знали, что в прежние времена он нередко хватал учеников за горло и душил, пока они не посинеют. На лбу у него вздулись жилы, лицо потемнело и стало страшным. Он был в бешенстве.

Накануне Филип отлично знал весь отрывок, но теперь ничего не мог вспомнить.

— Я не знаю,— еле выговорил он.

— Как это ты не знаешь? Давай разберем каждое слово в отдельности. Тогда мы увидим, знаешь ты или нет.

Филип стоял бледный как смерть, весь дрожа, молча уставившись в книгу. Дыхание с хрипом вырывалось из груди учителя.

— А директор говорит, будто ты способный ученик. Не знаю, с чего он это взял. Вот вам его хваленое общее развитие!— Учитель дико захохотал.— Не понимаю, зачем тебя посадили в этот класс. Болван!

Ему нравилось это слово, и он прокричал:

— Болван! Болван! Колченогий болван!

Тут у него немного отлегло от сердца. Он заметил, что Филип густо покраснел. Он приказал ему принести «Черную книгу». Филип отложил своего Цезаря и молча вышел. «Черная книга» была зловещим фолиантом, куда заносились имена учеников и их прегрешения, и, если какое-нибудь имя попадало туда в третий раз, виновному грозила порка. Филип отправился к директору. Мистер Перкинс сидел за письменным столом.

— Пожалуйста, сэр, дайте мне «Черную книгу».

— Вон она,— ответил мистер Перкинс, кивнул головой в сторону.— Что ты там натворил?

— Не знаю, сэр.

Мистер Перкинс бросил на него быстрый взгляд и, не добавив ни слова, продолжал работать. Филип взял книгу и пошел в класс. Через несколько минут после окончания урока он принес ее назад.

— Дай-ка мне взглянуть,— сказал директор.— Я вижу, мистер Гордон занес тебя в «Черную книгу» за «грубую дерзость». В чем дело?

— Не знаю, сэр. Мистер Гордон сказал, что я колченогий болван.

Мистер Перкинс поглядел на него снова. У него мелькнула мысль, не скрывается ли в словах мальчика насмешка, но тот был для этого слишком взволнован. Филип был бледен, в глазах его застыл отчаянный страх. Мистер Перкинс встал и положил на место «Черную книгу». Он взял пачку фотографий.

— Один из моих друзей прислал мне сегодня снимки Афин,— сказал он, словно ничего не случилось.— Посмотри, вот Акрополь.

Он принялся объяснять Филипу, что было на фотографиях. Он говорил, и Филипу казалось, что руины оживают у него на глазах. Мистер Перкинс показал ему театр Диониса и объяснил, как сидели зрители: прямо перед ними расстилалось синее Эгейское море. А потом директор вдруг сказал:

— Помню, когда я учился у него в классе, мистер Гордон называл меня «цыганским приказчиком».

И, прежде чем до поглощенного фотографиями Филипа дошел смысл его замечания, мистер Перкинс уже показывал вид Саламина и, водя по фотографии пальцем, ноготь которого был обведен черной каемкой, объяснял, где стояли греческие, а где — персидские корабли.

ГЛАВА 17

Следующие два года прошли для Филипа без всяких тревожений. Его изводили не больше, чем других, а физический недостаток, мешавший ему участвовать в играх, позволял оставаться в тени, и это его вполне устраивало. Его недолюбливали, он чувствовал себя очень одиноким. В старшем третьем классе целых два триместра его наставником был Соня. Вялые манеры и полуприкрытые веки придавали ему такой вид, словно ему наскучило все на свете. Свои обязанности он выполнял, но делал это с величайшей рассеянностью. Это был добряк, человек мягкий и недалекий. Он безгранично верил в честность своих учеников; для того чтобы они были правдивыми, нужно было, по его мнению, не допускать даже мысли, будто они могут солгать. «Просите, и дано будет вам», — цитировал он. В старшем третьем классе жилось легко. Было точно известно, какие вам достанутся стихи для разбора, и по шпаргалке, передававшейся из рук в руки, можно было за две минуты приготовить любой ответ; когда задавали вопрос, можно было держать на коленях раскрытую латинскую грамматику; Соня не видел ничего странного в том, что одна и та же несуразная ошибка попадалась в добром десятке ученических упражнений. Он не слишком верил в экзамены, так как заметил, что его ученики никогда не достигали на экзаменах таких успехов, как на классных занятиях; это было досадно, но в общем ничего не доказывало. В положенный срок ученики переходили в следующий класс, не научившись ровно ничему, кроме беспардонного обращения с правдой, что, пожалуй, могло пригодиться им в последующей жизни больше, чем умение бегло читать по-латыни.

Потом они попадали в руки Дегтя. Его настоящее имя было Тернер; этот коротышка с огромным брюхом, черной, с проседью бородой и смуглой кожей был самым жизнерадостным из всех старых учителей. В своем облачении Тернер действительно напоминал нечто вроде бочки с дегтем; и хотя из принципа он наказывал всякого, с чьих уст срывалась эта кличка, заставляя переписывать по пятьсот строк греческих или латинских стихов, частенько на учительских вечеринках сам подшучивал над своим прозвищем. Он был наиболее светским человеком из учителей: вращался не только среди духовенства и чаще других обедал в чужой компании. Ученики считали его своим парнем. На каникулах он снимал черное облачение священника, и его встречали в Швейцарии в коротких спортивных штанах в клетку. Он любил распить бутылку вина и вкусно пообедать; однажды его видели в кафе «Ройал» с какой-то дамой — возможно, это была его родственница, — но с тех пор целые поколения школьников не сомневались, что он страшный повеса, и сообщали подробности, которые свидетельствовали об их безграничной вере в испорченность человеческой природы.

По заверению мистера Тернера, целый триместр уходил у него на то, чтобы подтянуть учеников после их пребывания в старшем третьем классе; время от времени он позволял себе ехидный намек, показывавший полную осведомленность во всем, что творится в классе его коллеги. К обязанностям своим он относился добродушно. Учеников он считал малолетними преступниками, которые говорят правду лишь тогда, когда нет сомнений, что ложь будет разоблачена; у них свои понятия о чести, не распространяющиеся на их отношения с учителями, и меньше всего хлопот они вам причиняют, если уверены, что им это невыгодно. Он гордился своим классом и в пятьдесят пять лет с такой же настойчивостью добивался, чтобы его ученики занимали первые места на экзаменах, как и в начале школьной карьеры. Подобно многим тучным людям, он не умел сердиться подолгу, был вспыльчив, но отходчив, и его ученики вскоре поняли, что, несмотря на всю его воркотню, у него доброе сердце. Тупиц он не терпел, но не жалел сил на шалуна, если подозревал, что тот обладает живым умом. Он любил приглашать учеников к чаю, и они с неподдельным удовольствием принимали его приглашения, хоть и клялись, что, сидя с ним за столом, нельзя дорваться до сдобы и пирожных: существовало убеждение, что его тучность — результат прожорливости, а прожорливость — следствие глистов.

Филипу жилось теперь куда привольнее: в школе было туго с помещениями, и отдельные комнаты для занятий предоставлялись только ученикам старших классов. Спал он по-прежнему в большом зале, который служил одновременно столовой и помещением, где младшие ученики готовили уроки; правда, близкое соседство других учеников было ему не очень приятно. Временами ему надоедало вечно быть на людях и хотелось остаться одному. Тогда он отправлялся в дальнюю прогулку. Невдалеке среди зеленых полей бежала речка; по обе стороны ее росли подстриженные деревья; сам не понимая почему, Филип испытывал радость, бродя по ее берегам. Устав, он ложился ничком в траву и наблюдал за возней пескарей и головастиков. Странное удовольствие доставляли ему и прогулки в школьном парке. Летом на лужайке происходили спортивные игры, но в другие времена года там было тихо; лишь изредка встретишь гуляющих мальчиков да какого-нибудь прилежного ученика, который с отсутствующим взглядом на ходу заучивает что-нибудь наизусть. На больших вязах жили грачи; они оглашали воздух печальными криками. По одну сторону стоял собор со своей огромной башней, и Филип, который еще понятия не имел о красоте, испытывал, глядя на него, безотчетный восторг. Когда ему и еще трем ученикам отвели комнату для занятий (это была крошечная квадратная комнатка, откуда были видны городские трущобы), он купил фотографию собора и прибил ее над своим столом. С новым интересом стал он глядеть на вид, открывавшийся из окна четвертого класса: на тщательно подстриженный газон и высокие деревья с пышными густыми кронами. Пейзаж пробуждал у него в сердце незнакомое чувство — он сам не знал, была ли то печаль или радость. Это рождалось в нем чувство прекрасного. Происходили с Филипом и другие перемены. Голос его ломался, стал непослушным, и порой из его горла вырывались какие-то странные звуки.

Он стал готовиться к конфирмации; занятия происходили в кабинете директора сразу же после чая. Набожность Филипа не выдержала испытания временем, и он уже давно перестал читать по вечерам Библию; но теперь под влиянием мистера Перкинса и какого-то нового беспокойства в крови старые чувства вернулись вновь, и он горько упрекал себя в отступничестве. Перед его мысленным взором пылала геенна огненная. Ведь если бы смерть настигла его в те дни, когда он был ничем не лучше язычника, его душу ожидала бы неминуемая гибель; он непреложно верил в вечные муки,

верил в них куда больше, чем в вечное блаженство; содрогаюсь, он думал об опасностях, которым он себя подвергал.

С того дня, когда мистер Перкинс так ласково заговорил с ним и заставил забыть о нанесенной ему жгучей обиде, Филип стал питать к директору собачью преданность. Он постоянно ломал себе голову, как бы ему угодить. Он дорожил малейшим знаком одобрения, который тот ненароком выказывал. И, когда он стал посещать малолюдные собрания в директорском доме, он был готов душу отдать своему кумиру. Взор его был прикован к горящим глазам мистера Перкинса, рот полуоткрыт, шея вытянута — он старался не упустить ни единого слова. Будничность обстановки придавала беседе еще бóльшую значительность. Нередко наставник, сам охваченный молитвенным восторгом, отстранял лежавшую перед ним книгу и, прижав руку к сердцу, словно для того, чтобы умерить его биение, говорил о тайнах религии. Филип не всегда его понимал, но он и не старался понять — ему почему-то казалось, что тут довольно одного чувства. Ему чудилось, что директор с его черной лохматой головой и бледным лицом похож на одного из пророков Израиля, которые не боялись бросать вызов царям; а когда он думал о Христе, тот представлялся ему таким же темноглазым, с таким же изможденным лицом.

Мистер Перкинс относился к этой своей обязанности с величайшим рвением. Тут он не допускал метких острот, побуждавших других учителей подозревать его в легкомыслии. Несмотря на свою занятость, он для всего находил время и успевал побеседовать с каждым из учеников, готовившихся к конфирмации, хотя бы по пятнадцать — двадцать минут.

Ему хотелось заставить их почувствовать, что они совершают первый важный, сознательный шаг в своей жизни; он пытался проникнуть в их души, мечтал внушить им свою собственную пламенную веру. Несмотря на робость Филипа, он чувствовал, что в нем может загореться такая же страстная вера, как у него. Ему казалось, что в мальчике сильно религиозное чувство. Как-то раз он неожиданно отвлекся от предмета их беседы.

— А ты задумывался над тем, кем ты будешь, когда вырастешь? — спросил он.

— Дядя хочет, чтобы я стал священником, — сказал Филип.

— А ты сам?

Филип отвел глаза. Ему стыдно было в этом сознаться, но он считал себя недостойным.

— Никакая другая жизнь не принесет тебе столько радости,— продолжал директор.— Хотел бы я, чтобы ты это понял. Богу может служить всякий, но мы, духовенство, ближе к нему, чем другие. Я не хочу тебя понуждать, но, если ты примешь такое решение— вот тут, сию же минуту,— ты сразу же испытаешь блаженство, и это чувство уже никогда тебя не покинет.

Филип ничего не ответил, но директор прочел в глазах мальчика, что слова его упали на благодатную почву.

— Если ты будешь прилежно работать и дальше, ты скоро станешь лучшим нашим учеником и можешь рассчитывать на стипендию по окончании школы. У тебя есть собственные средства?

— Дядя говорит, что, когда мне исполнится двадцать один год, у меня будет ежегодно сто фунтов.

— Да, ты богат. У меня не было ни гроша.

Директор помедлил; он машинально чертил карандашом на лежавшей перед ним промокательной бумаге; потом он продолжал:

— Боюсь, что у тебя не будет большого выбора. Тебе ведь не годится профессия, требующая физического напряжения.

Как и всегда, когда заходила речь о его хромоте, Филип покраснел до корней волос. Мистер Перкинс глядел на него в раздумье.

— А ты не слишком ли чувствителен к своему несчастью? Тебе ни разу не приходило в голову поблагодарить за него бога?

Филип быстро взглянул на него. Губы его сжались. Он вспомнил, как месяцами, веря тому, что ему говорили, молил бога об исцелении,— ведь исцелил же он прокаженного и сделал слепого зрячим.

— Пока дух твой мятежен, ты будешь испытывать лишь чувство стыда. Но если ты поймешь, что отмечен господом, что крест твой возложен на тебя только потому, что у тебя сильные плечи, тогда твое увечье станет для тебя источником не горести, а утешения.

Он увидел, что этот разговор тяготит мальчика, и отпустил его.

Но Филип долго думал о том, что сказал ему директор; мысль о предстоящей церемонии наполняла его мистическим восторгом. Дух его, казалось, освободился от плотских уз, и он вступает в новую жизнь. Он стремился к совершенству со всей страстностью своей души. Ему хотелось целиком посвятить себя служению богу, и он твердо решил принять духовный сан. Когда великий день настал, Филип

едва владел собой от страха и радости: он был взволнован до глубины души всеми приготовлениями, книгами, которые прочел, и, главное, тем, что так пылко внушал ему директор. Мучила его только одна мысль. Он знал, что ему на глазах у всех придется пройти через алтарь, и не только вся школа, собранная на богослужение, но и посторонние — прихожане и родители тех мальчиков, которые вместе с ним впервые шли к причастию, — увидят, что он хромой. Но когда наступила решающая минута, Филип вдруг почувствовал, что с радостью примет любое унижение; ковыляя по проходу, такой маленький и ничтожный под этими величественными сводами, он в мыслях приносил свое уродство на алтарь всевышнего, который его возлюбил.

ГЛАВА 18

Однако Филип не мог долго жить в разреженном воздухе горных вершин. То, что случилось с ним, когда он впервые был охвачен религиозным экстазом, повторилось снова. Именно потому, что он так остро ощущал всю красоту христианства, а в сердце у него горела ослепительным алмазом жажда самопожертвования, силы его не выдержали такого духовного подъема. Неистовая страсть изнурила и опустошила его душу. Он стал забывать, что находится в присутствии бога, недавно всемогущего и вездесущего, и религиозные обряды, которые он все еще аккуратно выполнял, стали пустой формальностью. Сперва он упрекал себя за это новое отступничество, и страх перед геенной огненной доводил его до исступления, но пламенная вера умерла, и постепенно им завладели совсем другие интересы.

Друзей у Филипа было мало. Привычка к чтению отдаляла его от людей; одиночество стало для него такой потребностью, что, побыв некоторое время в обществе других ребят, он чувствовал усталость и скуку. Он гордился знаниями, почерпнутыми из множества книг, мысль его не дремала, и он не умел скрывать презрения к глупости своих товарищей. А те обвиняли его в зазнайстве; поскольку его превосходство проявлялось только в таких областях, которые казались им никому не нужными, они ядовито спрашивали, чего это он задирает нос. У Филипа проснулось чувство юмора, и он обнаружил, что умеет сказать колкость, задеть за живое собеседника; он говорил колкости, поскольку его это забавляло, не задумываясь о том, как больно они ранят, и очень обижался, когда видел, что его жертвы

платят ему активной неприязнью. Унижения, которым он подвергался, когда пришел в школу, научили его чуждаться своих одноклассников; от этого он уже никогда не мог отвыкнуть и так и остался застенчивым и молчаливым. Но, хотя он и делал все, чтобы оттолкнуть от себя товарищей, он всей душой хотел привлечь к себе их сердца, мечтал о популярности, которая другим дается легко. Такими счастливыми Филипп втихомолку восхищался, и, хотя охотно над ними подшучивал и отпускал в их адрес язвительные замечания, он отдал бы все на свете, чтобы быть на их месте. Впрочем, он с радостью поменялся бы местами с самым тупым учеником в школе, лишь бы у него были здоровые ноги. У Филиппа возникла странная привычка. Он представлял себя одним из тех мальчиков, которые ему особенно нравились; он как бы переселял свою душу в чужое тело, говорил чужим голосом и смеялся чужим смехом; воображал, что делает все то, что в действительности делал другой. Фантазия его работала так живо, что на какой-то миг он и в самом деле переставал быть самим собой. Таким способом он отвоевывал себе минуты воображаемого счастья.

В начале рождественского триместра, сразу же после конфирмации, Филиппа перевели в другую комнату для занятий. Одного из мальчиков, сидевших с ним рядом, звали Роз. Он учился в одном классе с Филиппом, и тот всегда смотрел на него с завистливым восхищением. Никто не назвал бы его красивым: ширококостный и большерукий, он был неуклюж и обещал стать очень высоким, но у него были прелестные глаза, и, когда он смеялся (а смеялся он беспрестанно), вокруг них появлялись забавные морщинки. Он не был ни умен и ни глуп, но занимался неплохо, особенно охотно — спортом. Любимец учителей и учеников, он в свою очередь относился одинаково хорошо ко всем.

Перейдя в новую комнату, Филипп поневоле заметил, что другие ученики, занимавшиеся тут почти уже год, встретили его с прохладцей. Он нервничал, чувствуя себя нежеланным гостем, но уже научился скрывать свои чувства, и мальчики сочли его тихоней и бирюком. С Розом Филипп был особенно скрытен и немногословен — он, как и другие, не мог не поддаться его обаянию. То ли потому, что Роз, сам того не сознавая, любил привлекать к себе людей, то ли просто по доброте сердечной, но он втянул Филиппа в свою компанию. Как-то раз он неожиданно предложил Филиппу пройтись с ним на футбольное поле. Филипп вспыхнул.

— Я не могу так быстро ходить, как ты, — сказал он.

— Ерунда. Пошли.

Когда они собрались идти, какой-то мальчик просунул в комнату голову и позвал Роза погулять.

— Не могу,— ответил тот.— Я уже обещал Кэри.

— Не обращай на меня внимания,— поспешно сказал Филип.— Иди, я не возражаю.

— Ерунда,— сказал Роз.

Он посмотрел на Филипа своим добродушным взглядом и рассмеялся. Филип почувствовал, как у него дрогнуло сердце.

Дружба их росла с той быстротой, с какой она растет только у мальчишек, и скоро они стали неразлучны. Их товарищи удивлялись этой внезапной близости и спрашивали Роза, что он нашел в Филипе.

— Сам не знаю,— отвечал тот.— Да он вовсе уж не такой противный.

Вскоре все привыкли к тому, что они входят в часовню под руку или, болтая, бродят по парку; там, где был один из них, всегда можно было найти и другого; словно признав его право собственности, ребята, искавшие Роза, обращались к Кэри. Сперва Филип вел себя сдержанно. Он не позволял себе целиком отдаться переполнявшему его чувству восторженной гордости, но постепенно недоверие к судьбе уступило место необузданной радости. Он считал, что Роз — самый замечательный парень на свете. Теперь он уже ни во что не ставил свои книги: можно ли было корпеть над ними, когда его занимало нечто куда более важное! Приятели Роза заходили к ним на чашку чаю или просто посидеть от нечего делать — Роз любил общество и любил подурочиться,— и все сошлись на том, что с Филипом можно ладить. Филип был счастлив.

Перед разездом на каникулы в конце триместра они с Розом условились, какими поездами вернуться в Теркенбери, чтобы встретиться на вокзале и выпить в городе чашку чаю, прежде чем отправиться в школу. Филип ехал домой с тяжелым сердцем. Мысль о Розе ни на минуту не оставляла его во время каникул, и он не переставал придумывать, что они будут делать в следующем триместре. Дома он скучал; в последний день дядя задал ему привычным шутивным тоном привычный вопрос:

— Ну, ты рад, что возвращаешься в школу?

И Филип весело ответил:

— Еще как!

Чтобы не разминуться с Розом на вокзале, он выехал раньше, чем обычно, и целый час ждал его на платформе. Когда пришел поезд из Февершема, где, как он знал, у Роза была пересадка, он со всех ног бросился его встречать. Но

Роза не было. Филип узнал у носильщика, когда приходит следующий поезд, и снова стал ждать, но его опять постигло разочарование; продрогнув и проголодавшись, он поплелся в школу кратчайшим путем — переулками, мимо городских трущоб. Он нашел Роза в комнате для занятий: ноги его были задраны на каминную полку, и он весело болтал с десятком приятелей, рассевшихся как попало. Роз шумно поздоровался с Филипом, но у того вытянулось лицо: ему стало ясно, что Роз совсем забыл об условленной встрече.

— Послушай, отчего ты так поздно? — спросил Роз. — Я уже боялся, что ты никогда не приедешь.

— Ведь ты же был на станции в половине пятого, — сказал Филипу один из мальчиков. — Я тебя видел, когда приехал.

Филип слегка покраснел. Ему не хотелось, чтобы Роз узнал, какого он сваял дурака, дожидаясь его на вокзале.

— Мне надо было подождать одну нашу знакомую, — тут же выдумал он. — Меня попросили ее проводить.

Но он немножко надулся, сидел молча и односложно отвечал, когда к нему обращались. В душе он решил объясниться с Розом, как только они останутся одни. Но, когда гости разошлись, Роз сразу же подошел к нему и присел на ручку его кресла.

— Послушай, вот здорово, что мы и в этом триместре будем заниматься в одной комнате, — сказал Роз. — Правда, хорошо?

Казалось, он неподдельно рад их встрече, и досада Филипа улетучилась. Они принялись горячо обсуждать тысячу занимавших их предметов, словно расстались пять минут назад.

ГЛАВА 19

Поначалу Филип был слишком благодарен Розу за его дружбу, чтобы предъявлять к нему какие-нибудь требования. Он был всем доволен и радовался жизни. Но вскоре его начали возмущать приятельские отношения Роза со всеми без разбору: он не хотел делить его дружбу ни с кем и стал считать своим законным правом то, что раньше принимал как дар. Он ревниво следил за Розом и его приятелями и, хотя понимал, как это глупо, делал ему порой язвительные замечания. Если Роз, дурачась, проводил часок в другой комнате, Филип встречал его с надутым видом и дулся весь день, еще пуще страдая оттого, что Роз либо не

замечал его дурного настроения, либо намеренно не обращал на это внимания. Нередко Филип, сознавая собственную глупость, нарочно затевал ссору, и они не разговаривали друг с другом целыми днями. Но Филип не мог долго сердиться на друга и, даже будучи уверен, что прав, смиренно просил у него прощения. После этого они опять на неделю становились такими друзьями, что водой не разольешь. Но безоблачное счастье было уже позади, и Филип видел, что Роз часто гуляет с ним лишь по старой привычке или не желая его сердить; у них уже не находилось так много тем для разговоров, как прежде, и Роз все чаще скучал. Филип чувствовал, что друга стала раздражать его хромота.

К концу триместра несколько мальчиков заболело скарлатиной, поднялись разговоры о том, чтобы распустить школу во избежание эпидемии, но больных изолировали, а новых случаев не было; решили, что вспышку удалось погасить. Одним из тех, кто заболел, был Филип. Пасхальные каникулы он провел в больнице, а в начале лета его отправили домой подышать свежим воздухом. Несмотря на заверения врачей, что мальчик больше не заразен, священник встретил его недоверчиво: он считал, что доктор поступил весьма неделикатно, послав племянника поправляться к родным, и впустил его в дом только потому, что мальчику некуда было деваться.

Филип вернулся в школу в середине триместра. Он позабыл о ссорах с Розом и помнил только, что это его закадычный друг. Он знал, что вел себя глупо, и впредь решил быть умнее. Пока он болел, Роз присылал ему записочки, которые неизменно заканчивались словами: «Возвращайся скорее». Филип думал, что Роз ждет его возвращения с таким же нетерпением, с каким сам он ждал встречи с Розом.

Выяснилось, что смерть от скарлатины одного из шестиклассников вызвала перемещения из одной комнаты для занятий в другую, и Филип уже не попал в одну комнату с Розом. Для него это было жестоким разочарованием. Все же тотчас по приезде Филип ураганом ворвался к своему другу. Тот сидел за столом — он готовил уроки с мальчиком по фамилии Хантер — и сердито огрызнулся на вошедшего:

— Кого там черт несет? — Увидев Филипа, он сказал: — А, это ты...

Филип остановился в смущении.

— Я хотел узнать, как ты поживаешь.

— Мы сейчас занимаемся.

В разговор вмешался Хантер:

— Когда ты вернулся?

— Пять минут назад.

Они сидели и глядели на него, всем своим видом показывая, что он им мешает. И с явным нетерпением ждали его ухода. Кровь бросилась в лицо Филипу.

— Я пойду,— сказал он Розу.— Загляни ко мне, когда освободишься.

— Ладно.

Филип закрыл за собой дверь и заковылял в свою комнату. Он был страшно обижен. Роз ни капли не обрадовался встрече с ним — напротив, он как будто даже был раздосадован. Можно подумать, что их связывает только то, что они одноклассники. Филип стал ждать в своей комнате, не выходя оттуда ни на минуту, но его друг так и не появился; на следующее утро, когда Филип шел на молитву, он встретил Роза и Хантера — они бежали, держась за руки. То, чего он не увидел своими глазами, ему рассказали другие. Он не подумал о том, что три месяца — немалый срок в жизни школьника и если сам он провел их в одиночестве, то Роз жил среди других ребят. Хантер занял его место. Филип заметил, что Роз молча его избегает. Но Филип был не из тех, кто мирится со своим положением молча: ему надо было объясниться; выбрав минуту, когда Роз был один, он зашел к нему.

— Можно к тебе? — спросил он.

Роз растерялся, и это настроило его против Филипа.

— Заходи, если хочешь,— ответил он.

— Очень любезно с твоей стороны,— насмешливо заметил Филип.

— Чего тебе надо?

— Почему ты себя так подло ведешь?

— Не будь идиотом,— сказал Роз.

— Удивляюсь, что ты нашел в Хантере?

— Это уж мое дело.

Филип опустил глаза. Он не мог заставить себя сказать то, что было у него на сердце. Он боялся унижения. Роз встал со стула.

— Мне пора в спортивный зал,— сказал он.

Когда Роз подошел к двери, Филип все-таки заставил себя сказать:

— Послушай, Роз, не будь такой скотиной.

— А пошел ты к черту!

Роз хлопнул дверью, и Филип остался один. Он дрожал от бешенства. Вернувшись в свою комнату,

он стал перебирать в памяти каждое слово их разговора. Теперь он ненавидел Роза, мечтал отомстить ему побольнее; Филипу приходили в голову язвительные слова, которые он мог бы бросить ему в лицо. Угрюмо размышляя о крушении их дружбы, он воображал, что другие только об этом и говорят. Со своей обостренной чувствительностью он читал насмешку и любопытство в глазах сверстников, хотя тем и дела до него не было. Ему казалось, что он слышит, как они перешептываются: «В конце концов, чего ж тут удивляться? Странно, как он только терпел этого Кэри. Такое ничтожество!»

Желая показать свое безразличие, он завязал горячую дружбу с неким Шарпом, которого он видеть не мог. Это был мальчишка из Лондона, неотесанный и неуклюжий, с пробивающимися усиками и сросшимися на переносице бровями. У него были мягкие руки и чересчур учтивые для его лет манеры. В речи его слышался уличный жаргон. Он был слишком ленив, чтобы заниматься спортом, и проявлял недюжинную изобретательность, выдумывая, как бы увильнуть от тех спортивных занятий, которые считались обязательными. Как ученики, так и учителя относились к нему с какой-то неприязнью, но Филип теперь из упрямства искал его общества. Через полгода Шарп собирался уехать на год в Германию. Он ненавидел школу и считал пребывание в ней злом, которое приходилось терпеть, пока он не вырастет и не начнет настоящую жизнь. Целью его вожделений был Лондон, и он рассказывал немало историй о своих похождениях во время каникул. В том, что он говорил — вкрадчивым, низким голосом, — слышался неясный гул ночных улиц Лондона. Филип слушал его с увлечением, но и с гадливостью. Его живое воображение рисовало ему толпу у театральных подъездов, яркие огни дешевых ресторанов, ночные бары, где полупьяные мужчины, сидя на высоких табуретах, болтают с официантками, темный лондонский поток, таинственно катящийся под уличными фонарями в погоне за развлечениями. Шарп снабжал Филипа бульварными романами, которыми тот с дрожью зачитывался в своей спальне.

Однажды Роз сделал попытку к примирению. Его добродушной натуре претила всякая вражда.

— Послушай, Кэри, — сказал он, — не будь же идиотом. Почему ты со мной не здороваешься?

— Чего ты от меня хочешь? — спросил Филип.

— Не понимаю, почему ты не желаешь со мной разговаривать?

— Ты мне просто надоел,— сказал Филип.

— Ну и пожалуйста!

Роз передернул плечами и отошел. Как и всегда в минуты волнения, Филип смертельно побледнел, и сердце его бешено заколотилось. Когда Роз ушел, он почувствовал себя глубоко несчастным. Филип и сам не знал, зачем он так ответил. Ведь за дружбу с Розом он отдал бы все на свете. Ему было так тяжело, что они поссорились, и теперь, причинив другу боль, Филип страшно об этом жалел. Но в ту минуту он не владел собой. Казалось, его толкал какой-то демон, понуждавший его против воли говорить колкости, хотя в душе ему хотелось пожать Розу руку и сделать все, чтобы с ним помириться. Но желание причинить боль было слишком велико. Ему так хотелось отомстить за перенесенные страдания и унижения! Победила гордыня, а может, и безрассудство: ведь он знал, что для Роза все это глубоко безразлично, а себя самого он обрек на жестокие мучения. У него мелькнула мысль пойти к Розу и сказать: «Послушай, мне жаль, что я держал себя как скотина. Я ничего не мог с собой поделать. Давай помиримся».

Но он знал, что никогда не сможет на это решиться. Он боялся, что Роз станет над ним издеваться. Филип злился на самого себя, и, когда немного погодя к нему пришел Шарп, он воспользовался первым попавшимся поводом, чтобы с ним поссориться. Филип обладал дьявольской способностью найти у ближнего больное место и сказать ему то, что заденет его за живое. Но последнее слово осталось за Шарпом.

— Я слышал, как Роз только что говорил о тебе с Меллором,— сказал он.— Меллор его спросил: «Почему же ты не двинул его как следует? Он бы живо научился, как себя вести». А Роз ответил: «Не хотелось. Ну его, калеку проклятого».

Филип побагровел. Он ничего не смог ответить: что-то подступило к его горлу, и он чуть не задохнулся.

ГЛАВА 20

Филип перешел в шестой класс, но теперь он ненавидел школу всей душой; его больше не подгоняло честолюбие, и ему стало все равно, хорошо или плохо он учится. По утрам он просыпался с тяжелым сердцем; впереди был еще один безрадостный день. Ему надоело делать все по указке;

запреты раздражали его не потому, что были неразумны, а потому, что это были запреты. Он жаждал свободы. Он устал от бесконечных повторений того, что уже знал, ему надоело долбить из-за непонятливости какого-нибудь тупицы то, что сам он понимал с полуслова.

У мистера Перкинса можно было и заниматься и нет — как угодно. Он был в одно и то же время усердным педагогом и человеком рассеянным. Шестой класс помещался в реставрированной части старого аббатства, там было большое готическое окно; пытаясь скоротать время, Филип рисовал его снова и снова; иногда он набрасывал по памяти высокую башню собора или ворота парка. У него обнаружили способности к рисованию. В молодости тетушка Луиза писала акварелью; у нее сохранилось несколько альбомов с эскизами церквей, старинных мостов и живописных коттеджей. Их часто показывали гостям, приглашенным к священнику на чашку чаю. Однажды на рождество тетушка Луиза подарила Филипу ящик с красками, и он стал копировать ее акварели. У него это получалось лучше, чем можно было ожидать, и постепенно он стал делать собственные наброски. Миссис Кэри его поощряла. Это был верный способ отвлечь его от шалостей, а к тому же его рисунки могли пригодиться для благотворительных базаров. Две или три его акварели вставили в рамки и повесили в спальне.

Как-то раз по окончании утренних уроков мистер Перкинс остановил Филипа, когда тот выходил из класса.

— Я хочу поговорить с тобой, Кэри.

Филип ждал. Мистер Перкинс молча теребил бороду тонкими пальцами и глядел на него. Казалось, он обдумывал, что сказать.

— Что с тобой, Кэри? — неожиданно спросил он.

Филип, вспыхнув, кинул на него взгляд. Но теперь он знал его хорошо и поэтому молчал, ожидая, что будет дальше.

— Последнее время я тобою недоволен. Ты стал ленив и невнимателен. И как будто потерял всякий интерес к занятиям. Учишься ты из рук вон плохо.

— Извините, сэр, — сказал Филип.

— И больше ты ничего не скажешь в свое оправдание?

Филип угрюмо потупил глаза. Как объяснить, что все ему до смерти надоело?

— Знаешь, в этом триместре дела твои пошли хуже. Я не смогу выставить тебе в табель хороших отметок.

Филип подумал: если бы директор знал, как отнесутся

дома к его табелю! Почта обычно доставляла табель к завтраку, мистер Кэри бросал на него безразличный взгляд и передавал Филипу.

— Вот твой табель. Почитай-ка, что там написано,— говорил он, перелистывая каталог букиниста.

Филип принимался читать.

— Ну как, табель у тебя хороший?— спрашивала тетушка Луиза.

— Не такой хороший, какого я заслуживаю,— с улыбкой отвечал Филип.

— Посмотрю потом, вот возьму только очки,— говорила тетушка.

Но после завтрака появлялась Мэри-Энн; она сообщала, что пришел мясник, и тетушка забывала о табеле...

А мистер Перкинс продолжал:

— Ты меня огорчаешь. И я ничего не понимаю. Я ведь знаю, на что ты способен, если захочешь, но ты, кажется, ничего больше не хочешь. Я думал назначить тебя в следующий триместр старостой, но, пожалуй, придется воздержаться.

Филип вспыхнул. Мысль, что его обойдут, была ему неприятна. Он сжал губы.

— И вот еще что. Пора тебе подумать о стипендии. Ты ничего не получишь, если не начнешь заниматься всерьез.

Нотация разозлила Филипа. Он сердился на директора и на самого себя.

— Да я и не собираюсь в Оксфорд,— сказал он.

— Почему? Мне казалось, что ты решил принять сан.

— Я передумал.

— Почему?

Филип не отвечал. Мистер Перкинс стоял в своей всегдашней чуть-чуть нелепой позе, словно фигура с картины Перуджино, задумчиво расчесывая пальцами бороду. Он вглядывался в Филипа, будто стараясь его понять, а потом внезапно отпустил.

Но директора явно не удовлетворил этот разговор; как-то вечером, неделю спустя, когда Филип зашел к нему в кабинет с какими-то бумагами, он его возобновил. Но теперь он принял другой тон: он беседовал с Филипом не как с учеником, а как с равным. Казалось, ему безразлично, что Филип плохо учится и что у него мало шансов превзойти своих прилежных соперников и добиться стипендии для поступления в Оксфорд: куда важнее, что он изменил свои жизненные планы. Мистер Перкинс поставил себе задачей снова пробудить в нем желание принять сан. С великим искусством он постарался разбередить его душу; ему это

было нетрудно, потому что он и сам был по-настоящему взволнован. Его глубоко огорчало, что Филип изменил свое решение, он и в самом деле полагал, что тот неизвестно ради чего отказывается от своего счастья. Голос его звучал очень убедительно. Филип быстро заражался чужим волнением: несмотря на внешнее спокойствие, он был легко возбудим; лицо отчасти от природы, а отчасти в силу выработанной в школе привычки редко выдавало его чувства, разве только краснело, но слова учителя не на шутку его растрогали. Он был благодарен мистеру Перкинсу за интерес к его судьбе и каялся, что доставил ему огорчение. Ему льстило, что мистер Перкинс заботится о нем: директору ведь приходится думать о целой школе. В то же время что-то внутри его — словно какой-то другой человек, стоявший с ним рядом, — отчаянно твердило: «Не хочу! Не хочу! Не хочу!»

Он чувствовал, что сдается, и уже не мог совладать с нараставшей слабостью — она поднималась, как вода в пустой бутылке, которую держат над полной миской. Сжав зубы, он в душе повторял снова и снова: «Не хочу! Не хочу! Не хочу!»

Наконец мистер Перкинс положил ему руку на плечо.

— Я не желаю тебя принуждать, — сказал он. — Ты должен решать сам. Молись, чтобы господь всемогущий помог и наставил тебя.

Когда Филип вышел из директорского дома, моросил дождь. Под аркадой, которая вела на школьный двор, не было ни души, молчали даже грачи на старых вязах. Филип медленно обошел двор. Он разгорячился, и дождь приятно освежал ему лицо. Обдумав все, что сказал мистер Перкинс — теперь, когда он не чувствовал над собой власти этой страстной натуры, он мог размышлять спокойно, — Филип радовался, что не уступил.

В темноте он едва различал огромную махину собора; он возненавидел его за томительно долгие богослужения, на которых его заставляли присутствовать. Хорал длился бесконечно, и, пока его пели, приходилось стоять до изнеможения; во время монотонной проповеди, слов которой все равно нельзя было разобрать, ноги затекали до судорог — полагалось сидеть не шевелясь, когда так хотелось двигаться. Филип вспомнил два воскресных богослужения в Блэкстебле. Церковь была холодная и голая, от прихожан пахло помадой и крахмальным бельем. Утреннюю проповедь произносил дядя, вечернюю — его помощник. С годами Филип все лучше узнавал дядю; в голове прямого и нетерпимого мальчика не укладывалось, как можно искренне проповедовать людям одно, а самому поступать совсем по-другому. Обман

его возмущал. Дядя был слабовольный эгоист; главная его цель в жизни — избежать какого бы то ни было беспокойства.

Мистер Перкинс говорил о том, как прекрасна жизнь, посвященная служению всевышнему. Филип знал жизнь духовенства в том уголке Восточной Англии, где он рос. Взять, например, священника из Уайтстона (этот приход лежал неподалеку от Блэкстебла): он был холостяком и, чтобы скоротать свой досуг, занялся сельским хозяйством. Местная газета постоянно сообщала о его тяжбах — то он судился с батраками, которым не хотел платить, то с торговцами, которых обвинял в мошенничестве; о его скупости ходили скандальные слухи — говорили, что он морит голодом собственных коров; собирались принимать против него какие-то меры. Или взять священника из Ферна — представительного мужчину с окладистой бородой: от него ушла жена, обвинив его в жестокости, она взбудоражила всю округу рассказами о его пороках. Священника из Сарля — маленького местечка у самого моря — можно было каждый вечер застать в трактире в двух шагах от дома; церковные старосты обратились к мистеру Кэри за советом, как с ним быть. Ни у одного из этих служителей господних не было никого, с кем бы можно было перемолвиться словом, кроме местных крестьян и рыбаков; в долгие зимние вечера, когда дул ветер, тоскливо завывая в голых ветвях деревьев, их окружало лишь пустынное однообразие вспаханных полей; уделом их были бедность и бессмысленный труд; любой изъян характера развивался без всякой помехи, и в конце концов они становились провинциальными чудаками. Филип знал все это, но со свойственной молодым нетерпимостью не находил оправдания для этих людей. Он содрогался при одной мысли о подобном существовании. Ему хотелось вырваться в необъятный мир.

ГЛАВА 21

Мистер Перкинс вскоре убедился, что слова его не подействовали, и до поры до времени махнул на Филипа рукой. Он дал ему в табеле уничтожающий отзыв. Когда табель пришел по почте и тетя Луиза спросила, хорошие ли в нем отметки, Филип весело ответил:

— Хуже некуда.

— Вот как? — откликнулся священник. — Надо бы взглянуть, что там написано.

— Стоит ли мне дальше оставаться в Теркенбери? Лучше, пожалуй, я съезжу в Германию.

— Что это тебе пришло в голову? — спросила тетя Луиза.

— А разве это не отличная мысль?

Шарп уже бросил Королевскую школу и писал Филипу из Ганновера. Он зажил настоящей жизнью, и мысль об этом вносила еще больше смятения в душу Филипа. Он чувствовал, что не вынесет еще одного года взаперти.

— Но тогда ты не получишь стипендии.

— У меня все равно нет никаких шансов. Да мне и не особенно хочется поступать в Оксфорд.

— А как же ты станешь священником? — с огорчением воскликнула тетя Луиза.

— Я уже давно отказался от этой мысли.

Миссис Кэри испуганно на него взглянула, а потом, привычно взяв себя в руки, налила мужу еще чашку чаю. Наступила тишина. Минуту спустя Филип увидел, как по ее щекам медленно покатались слезы. Сердце его сжалось при мысли, что он причинил ей боль. В узком черном платье, сшитом местной портнихой, с морщинистым личиком и усталыми выцветшими глазами, с седыми волосами, завитыми в легкомысленные кудряшки по моде ее молодости, она казалась немножко курьезной, но такой трогательной. Филип заметил это впервые.

Позже, когда священник со своим помощником удалились в кабинет, Филип обнял ее за талию.

— Мне очень жалко, что я тебя огорчил, — сказал он ей. — Но зачем мне быть священником, если у меня к этому нет настоящего призвания?

— Я ужасно огорчена, Филип, — простонала она. — Я ведь так об этом мечтала. Надеялась, что ты будешь помощником дяди, а потом, когда придет наш час — в конце концов не можем ведь мы жить вечно! — ты бы занял его место.

Филип задрожал при одной мысли об этом. Его охватил ужас. Сердце у него забилося, как птица, попавшая в силок. Тетя тихо плакала, положив к нему на плечо голову.

— Уговори дядю Уильяма позволить мне уйти из Теркенбери! Если бы ты знала, как мне там опротивело!

Но священник из Блэкстебла не так-то легко менял свои планы; давно предполагалось, что Филип пробудет в Королевской школе до восемнадцати лет, а потом поступит в Оксфорд. Во всяком случае, дядя и слышать не хотел, чтобы Филип бросил школу немедленно, — ведь они не предупредили об этом директора заранее и, следовательно, все равно придется платить за будущий триместр.

— Значит, ты сообщишь, что я уйду на рождество? — спросил Филип к концу длинного и крайне неприятного разговора.

— Я напишу мистеру Перкинсу и посмотрю, что он ответит.

— Ах, хоть бы мне скорей исполнился двадцать один год. Ужасно, когда ты во всем от кого-то зависишь.

— Филип, нельзя так говорить с дядей, — мягко упрекнула его миссис Кэри.

— Но как же ты не понимаешь — ведь Перкинс захочет, чтобы я остался. Каждый ученик — это для них лишние деньги.

— Почему ты не хочешь поступать в Оксфорд?

— Зачем мне это надо, если я не собираюсь посвящать свою жизнь религии?

— Ты уже посвятил себя ей, — возразил священник.

— Речь идет о том, что я не желаю становиться священником, — нетерпеливо ответил Филип.

— А кем ты хочешь стать? — спросила миссис Кэри.

— Не знаю. Я еще не решил. Но кем бы я ни был, мне пригодятся иностранные языки. Провести год в Германии для меня куда полезнее, чем торчать в этой дыре.

Он не договорил, что, по его мнению, учение в Оксфорде было бы немногим лучше его школьной жизни. Ему так хотелось стать самостоятельным. И потом, в Оксфорде он непременно встретит кого-нибудь из школьных товарищей, а ему не терпелось расстаться с ними навсегда. Он чувствовал, что его школьная жизнь не удалась, и мечтал начать все заново.

Его желание поехать в Германию случайно совпало с кое-какими новыми веяниями, проникшими даже в Блэкстебл. К доктору иногда приезжали друзья, а с ними приходили и вести из внешнего мира, да и дачники, проводившие август на море, порой высказывали свои собственные взгляды на жизнь. Священник прослышал, что некоторые люди больше не считают старомодную систему образования такой уж полезной, а новые языки приобретают значение, какого не имели в дни его молодости. Сам он не знал, что и думать; одного из его братьев отправили в Германию, когда он провалился на каких-то экзаменах, и тем самым, казалось, в семье уже был создан прецедент, но, поскольку брат его умер там от брюшного тифа, этот опыт явно следовало считать опасным. В результате бесконечных обсуждений было решено, что Филип вернется в школу еще на один триместр, а потом оттуда уйдет. Филип был доволен

таким решением. Но уже через несколько дней после возвращения в школу директор ему сказал:

— Я получил письмо от твоего дяди. Оказывается, ты хочешь ехать в Германию, и он спрашивает у меня, что я об этом думаю.

Филип был поражен. Он отчаянно разозлился на опекуна за то, что тот нарушил свое слово.

— Я считал это делом решенным,— сказал он.

— Как бы не так! Я написал, что твой уход был бы величайшей ошибкой.

Филип немедленно сел за стол и сочинил крайне резкое письмо дяде. Он не стеснялся в выражениях. Он был так зол, что долго не мог заснуть и рано утром проснулся в мрачном настроении. Он едва дождался ответа. Ответ пришел через два или три дня. Это было краткое, грустное письмо от тети Луизы; по ее словам, ему не следовало так писать дяде: он причинил ему большое горе. Он поступил жестоко и не по-христиански. Надо ему понять, что они стараются для его же блага; они куда старше его, и им виднее, что для него лучше. Филип сжал кулаки. Он часто слышал такие доводы, но не понимал, почему их надо принимать на веру; дядя и тетя не знают современных условий; почему они так уверены, что раз старше его, значит, и умнее?.. Письмо заканчивалось сообщением, что мистер Кэри взял обратно заявление об уходе племянника из школы.

Филип кипел негодованием до следующего вторника: во вторник и четверг после обеда их освобождали от уроков, потому что по субботам они вечером ходили в собор.

Филип задержался в классе позже других.

— Прошу вас, сэръ, разрешите мне после обеда поехать в Блэкстебл,— попросил он.

— Нет,— отрезал директор.

— Мне нужно поговорить с дядей по важному делу.

— Разве ты не слышал, что я сказал «нет»?

Филип не стал возражать. Он вышел из класса. Его душила ярость от перенесенного унижения — унижительного отказа. Он ненавидел директора. Филип приходил в бешенство от всякого проявления деспотизма, особенно когда человек даже не считал нужным объяснить причины совершенного им насилия. Он был слишком зол, чтобы обдумывать свои поступки; после обеда он пошел знакомыми закоулками прямо на станцию и как раз поспел к поезду в Блэкстебл. Дядя и тетя были в гостинной.

— Ба! Откуда ты взялся? — спросил священник.

Он не мог скрыть, что совсем не рад приезду Филипа, и был слегка смущен.

— Я решил приехать и поговорить с тобой. Я хочу знать, почему ты обещал мне одно, когда я был здесь, а через неделю сделал совершенно другое.

Филип был немножко испуган своей храбростью, но он заранее обдумал все, что скажет, и, как ни билось его сердце, заставил себя произнести эти слова.

— Тебе разрешили сегодня приехать?

— Нет. Я просил Перкинса, но он отказал. Если ты хочешь донести ему, что я был здесь, ты можешь причинить мне целую кучу неприятностей.

Миссис Кэри дрожащими руками продолжала вязать. Она не привыкла к скандалам, они ее крайне волновали.

— Ты этого заслуживаешь,— сказал мистер Кэри.

— Если хочешь быть ябедой, пожалуйста. После твоего письма Перкинсу от тебя всего можно ожидать.

Со стороны Филипа было глупо так говорить — священник дождался нужного ему предложения.

— Я не желаю выслушивать твои дерзости,— произнес он с достоинством.

Он встал и поспешно ушел к себе в кабинет. Филип услышал, как он захлопнул за собой дверь и запер ее на ключ.

— О господи, хоть бы мне скорей исполнился двадцать один год! Какой ужас быть связанным по рукам и ногам!

Тетя Луиза тихонько заплакала.

— Ах, Филип, как ты мог так говорить с дядей! Прошу тебя, пойди и извинись.

— И не подумаю. А с его стороны красиво пользоваться тем, что он опекун? Ведь это просто перевод денег — платить за меня в школу; но ему до этого и дела нет. Деньги-то не его. Зачем только меня отдали на попечение людям, которые ни черта в этом не смыслят.

— Филип...

Услышав ее голос, Филип сразу прервал свою яростную тираду — такое в нем было отчаяние. Он только теперь почувствовал всю резкость своих слов.

— Как ты можешь быть таким жестоким? Ты ведь знаешь, что мы стараемся для твоей же пользы. Конечно, у нас нет опыта... Будь у нас дети, все было бы иначе. Вот почему мы посоветовались с мистером Перкинсом.— Голос ее задрожал.— Я старалась быть тебе матерью. Я всегда любила тебя, как собственного сына.

Она была такая маленькая и хрупкая, во всем ее облике старой девы было что-то донельзя грустное. Филип был

растроган. Он почувствовал, как горло его сжалось и на глазах выступили слезы.

— Прости меня,— сказал он.— Я вел себя как последняя скотина.

Он встал перед ней на колени, обнял ее и стал целовать увядшие мокрые щеки. Она горько рыдала, и он вдруг ощутил острую жалость к этой зря прожитой жизни. Никогда еще она себе не позволяла так открыто проявлять свои чувства.

— Я вижу, что не стала для тебя тем, кем хотела стать, но, ей-богу же, я не знала, как это сделать. Я ведь так же страдаю, оттого что у меня нет детей, как и ты, что у тебя нет матери.

Филип позабыл свой гнев и свои огорчения: он думал только о том, как бы утешить ее, бормоча отрывистые слова и неуклюже, по-ребячьи, стараясь ее приласкать. Но вскоре пробили часы, и он бросился бежать, чтобы успеть на последний поезд, приходивший в Теркенбери к вечерней переключке. Забившись в угол вагона, он думал о том, что ничего не достиг, и злился на собственную слабость. Противно, что высокомерный тон священника и слезы тетки отвлекли его от цели. Но в результате каких-то переговоров между супругами, о которых Филип так и не узнал, директор получил еще одно письмо. Прочитав его, мистер Перкинс нетерпеливо передернул плечами. Он показал его Филипу.

Оно гласило:

«Дорогой мистер Перкинс!

Простите, что я снова тревожу Вас по поводу моего племянника, но и моя жена и я о нем беспокоимся. Судя по всему, он рвется из школы, и моя жена думает, что ему там очень тяжело. Нам трудно принять какое-нибудь решение — ведь мы не его родители. Сам он считает, что успехи у него посредственные и что оставаться в школе будет лишь тратой денег. Очень прошу Вас потолковать с ним, и, если он не передумает, ему, пожалуй, и в самом деле лучше уйти перед рождеством, как я сперва и предполагал.

Искренне Ваш

Уильям Кэри».

Филип отдал директору письмо. Он ликовал. Желание его исполнилось, он добился своего. Воля его пересилила волю других.

— Вряд ли мне стоит тратить полчаса на письмо твоему дяде, ведь он снова передумает, если вслед за этим получит письмо от тебя,— с раздражением сказал директор.

Филип ничего не ответил; ни один мускул не дрогнул на его лице, только глаза лукаво блеснули. Мистер Перкинс заметил это и рассмеялся.

— Да, видно, твоя взяла,— сказал он.

Филип широко улыбнулся. Он не мог скрыть своего торжества.

— Это правда, что тебе невтерпеж в школе?

— Да, сэр.

— Тебе здесь плохо?

Филип покраснел. Он злился, когда люди пытались залезть к нему в душу.

— Не знаю, сэр.

Мистер Перкинс задумчиво глядел на него, медленно теребя бороду. Потом он заговорил, словно сам с собой:

— Конечно, школы предназначены для заурядных детей. Дыры всегда круглые, и, какова бы ни была форма затычки, ее надо загнать в эту дыру. Нет времени заниматься незаурядным ребенком.— Внезапно он обратился к Филипу: — Послушай, я хочу тебе кое-что предложить. Дело идет к концу триместра. Ты не умрешь, если пробудешь здесь еще один триместр, а если ты хочешь ехать в Германию, лучше это сделать не после рождества, а после пасхи. Весной там куда приятнее, чем в разгар зимы. Если к концу следующего триместра ты не передумаешь, я не стану чинить тебе препятствий. Что ты на это скажешь?

— Большое спасибо, сэр.

На радостях, что он все-таки выиграл три месяца, Филип не стал возражать против еще одного триместра. Школа уже не казалась ему такой тюрьмой, как прежде: он знал, что навсегда избавится от нее еще до пасхи. Сердце его прыгало в груди. В тот вечер в часовне он оглядел своих товарищей — они стояли, выстроившись по классам, каждый на своем месте — и усмехнулся от удовольствия при мысли, что скоро никогда их больше не увидит. Теперь он мог смотреть на них почти дружелюбно. Глаза его остановились на Розе. Тот очень серьезно относился к своим обязанностям старосты: он тешил себя мыслью, что служит примером всей школе; в этот вечер была его очередь читать молитву, и он прочел ее отлично. Филип улыбнулся, подумав, что наконец избавится от него навсегда; не пройдет и полугодя, как Филип забудет, что Роз — высокий и стройный, что у него прямые, длинные ноги, что он староста и капитан спортивной команды. Филип поглядел на учителей в мантиях. Гордон умер (он скончался два года назад от удара), но все остальные были на месте. Теперь Филип

знал, какие это ничтожные люди, за исключением разве что Тернера, в котором было что-то человеческое; Филипа передернуло при мысли о том, в каком рабстве они его держали. Через полгода и они станут ему безразличны. Их похвала его не обрадует, а хула заставит только презрительно пожать плечами.

Филип научился скрывать свои чувства, к тому же он все еще страдал от застенчивости, но теперь он часто бывал весел; и, хотя он по-прежнему ковылял по школе с притворной скромностью, молчаливый и сдержанный, душа его ликовала. Даже ходить он стал как будто легче. В голове у него проносились разные мысли, мечты так стремительно обгоняли друг друга, что он не мог их удержать, но их веселый хоровод переполнял его сердце радостью. Теперь, когда у него было легко на душе, он мог опять заниматься, и в последние недели триместра принялся наверстывать упущенное. Голова его работала без всякого напряжения, и самый процесс мышления доставлял ему подлинное удовольствие. Он отлично выдержал экзамены. Мистер Перкинс только раз вернулся к их разговору: разбирая его сочинение, он, как обычно, указал ему на недостатки, а потом заметил:

— Стало быть, ты решил на время перестать валять дурака?

Он улыбнулся ему, сверкнув своими белоснежными зубами, и Филип, опустив глаза, смущенно улыбнулся в ответ.

Подюжины учеников, собиравшихся поделить между собой различные награды в конце летнего триместра, давно перестали считать Филипа серьезным соперником; но теперь они стали наблюдать за ним с беспокойством. Он никому не говорил, что на пасху уходит из школы и таким образом не может быть для них конкурентом,— он не разубеждал их в этом. Он знал, что Роз гордится своим французским произношением — раза два он провел каникулы во Франции; к тому же Роз рассчитывал получить награду настоятеля собора за сочинение по английской литературе; Филип обрадовался, увидев, с какой растерянностью Роз почувствовал, насколько он сильнее его по этим предметам. Другой парень, Нортон, не мог поступить в Оксфорд, не получив одной из стипендий, которыми располагала школа. Нортон спросил Филипа, будет ли он ее добиваться.

— А тебе какое дело? — спросил Филип.

Ему льстило, что от него зависит что-то будущее. Было нечто романтическое в том, чтобы захватить все эти награ-

ды, а потом с презрением уступить их другим. Наконец занятия кончились, и он отправился прощаться к мистеру Перкинсу.

— Неужели ты и в самом деле хочешь уйти? — спросил тот с искренним удивлением.

Лицо у Филипа вытянулось.

— Вы же обещали, что не станете возражать, — сказал он.

— Я думал, что на тебя нашла блажь, которой покуда лучше потакать. Я же знаю, как ты упрям. Скажи на милость, зачем тебе теперь уходить? Ведь тебе остался всего один триместр. Ты легко получишь стипендию святой Марии-Магдалины и половину всех наших наград.

Филип угрюмо молчал. Он понимал, что его обманули. Но ведь Перкинс дал обещание, и ему придется его сдерживать.

— В Оксфорде тебе будет хорошо. Тебе не надо сейчас решать, чем ты займешься потом. Ты, видно, не понимаешь, как там чудесно живет всякому, у кого есть голова на плечах.

— У меня все готово для поездки в Германию, — сказал Филип.

— Что же это за приготовления, которых при желании нельзя отменить? — спросил мистер Перкинс с насмешливой улыбкой. — Я буду очень огорчен, если тебя потеряю. Тупицы, которые работают не покладая рук, всегда успевают в школе больше, чем способные ученики, но лентяи; если же способный ученик хочет заниматься — ну, тогда он достигнет того, чего ты добился в этот триместр.

Филип густо покраснел. Он не привык к похвалам, и никто еще не говорил ему о его способностях. Директор положил ему руку на плечо.

— Если бы ты знал, как скучно вдалбливать что-нибудь в головы тупицам; но когда попадается ученик, который понимает тебя с полуслова, тогда преподавание становится самым увлекательным занятием на свете.

Филип таял от ласковых слов; ему прежде и в голову не приходило, что мистеру Перкинсу действительно не безразлично, уйдет он или останется. Он был и тронут и необычайно польщен. Было бы приятно кончить школу с триумфом, а потом отправиться в Оксфорд: перед ним мелькали картины той жизни, о которой он знал понаслышке от выпускников, приезжавших в школу для участия в спортивных состязаниях, или по письмам студентов, переходившим из рук в руки в комнатах для занятий. Но ему было стыдно:

каким же он окажется дураком в собственных глазах, если уступит; да и дядя посмеется над тем, как его перехитрил директор. А драматический отказ от всех наград, потому что он их презрел, превратится в простую будничную борьбу за них. В общем, прояви мистер Перкинс еще совсем немного настойчивости — ровно столько, чтобы он мог сохранить самоуважение, — и Филип пошел бы на все, чего хотел директор. Но лицо его никак не отражало борющихся в нем чувств, оно оставалось спокойным и угрюмым.

— Я бы все-таки предпочел уйти, — сказал он.

Как и многие люди, привыкшие добиваться своего с помощью личного обаяния, мистер Перкинс становился нетерпелив, когда ему не удавалось сразу же настоять на своем. У него было много работы, и он больше не мог тратить драгоценное время на мальчишку, который так глупо упрямился.

— Ладно, — сказал он, — я обещал, что отпущу тебя, если ты этого действительно хочешь, и я сдержу обещание. Когда ты едешь в Германию?

Сердце Филипа екнуло. Бой был выигран, но он не был уверен, что это победа, а не поражение.

— В начале мая, — ответил он.

— Что ж, приезжай навестить нас, когда вернешься.

Директор протянул руку. Еще немножко, и Филип передумал бы, но мистер Перкинс, по-видимому, считал дело решенным. Филип вышел. Со школой покончено, он свободен; но неистовой радости, которой он ждал, Филип почему-то не ощутил. Он медленно обошел школьный двор, и его охватило глубокое уныние. Теперь он жалел, что не вел себя умнее. Ему уже не хотелось уходить из школы, но он знал, что не сможет заставить себя пойти к директору и сказать, что остается. Это было бы таким унижением, какого он не мог вынести. Он сомневался, правильно ли поступил, был недоволен собой и всем на свете. И мрачно спрашивал себя: неужели всегда, когда тебе удастся поставить на своем, ты потом об этом жалеешь?

ГЛАВА 22

В Берлине жила старая приятельница мистера Кэри, некая мисс Уилкинсон; отец ее был священником. Когда-то мистер Кэри был его помощником в одной из деревень Линкольншира; после смерти отца мисс Уилкинсон была

вынуждена искать заработка и служила гувернанткой во Франции и в Германии. Она переписывалась с мистером Кэри и два раза проводила отпуск у него в доме в Блэкстебле, платя небольшую сумму за свое содержание, как это обычно делали редкие гости семейства Кэри. Когда выяснилось, что легче уступить желанию Филипа, чем ему противиться, миссис Кэри написала ей и попросила совета. Мисс Уилкинсон рекомендовала Гейдельберг как самое подходящее место для изучения немецкого языка и дом фрау профессорши Эрлин — как самое удобное пристанище. Филип сможет жить там на всем готовом за тридцать марок в неделю, а учить его будет сам профессор, преподаватель местной гимназии.

Филип приехал в Гейдельберг майским утром. На вокзале его вещи погрузили на ручную тележку, и он последовал за носильщиком. Над ним сияло ярко-голубое небо, а деревья на улице, по которой они шли, были покрыты густой листвой; в самом воздухе было что-то новое для Филипа, и к робости, которую он испытывал, вступая в новую жизнь среди чужих людей, примешивалось радостное возбуждение. Он был несколько огорчен тем, что никто его не встретил, и совсем смутился, подойдя к подъезду большого белого дома, куда его довел носильщик. Какой-то растрепанный парень впустил его в дом и проводил в гостиную. Она была заставлена массивной мебелью, обитой зеленым бархатом, посередине стоял круглый стол. На нем красовался в вазе с водой букет цветов, туго обернутый в нарезанную бахромой бумагу, как кость от бараньей котлетки; вокруг вазы были аккуратно разложены книги в кожаных переплетах. Воздух в комнате был затхлый.

В гостиную, принеся с собой запах кухни, вошла фрау профессорша — низенькая, толстая, чрезмерно приветливая женщина с туго завитым шиньоном; на ее красном лице, как бусинки, блестели маленькие глазки. Взяв Филипа за руки, она принялась расспрашивать его о мисс Уилкинсон, которая дважды прожила по нескольку недель в доме профессорши. Говорила она на ломаном английском языке, примешивая немецкие слова. Филипу так и не удалось ей объяснить, что он незнаком с мисс Уилкинсон. Потом появились две дочки фрау профессорши. Филипу девицы показались перезрелыми, хотя им было, наверно, лет по двадцать пять. Старшая, Текла, была такая же коротышка, как мать, с такой же фальшивой манерой держаться, но у нее было

хорошенькое личико и густые темные волосы; младшая, Анна, была долговязой и невзрачной, но улыбка ее показалась Филипу приятной, и он сразу предпочел ее сестре. После нескольких минут вежливой беседы фрау профессорша отвела Филипа в его комнату и оставила одного. Комната помещалась в башенке, из окна виднелись верхушки деревьев парка; кровать стояла в алькове, и, сидя за столом, можно было совсем забыть, что находишься в спальне. Филип распаковал свои вещи и расставил книги. Наконец-то он начинал самостоятельную жизнь.

В час дня звонок позвал его к обеду; в гостиной собрались все жильцы фрау профессорши. Филипа представили ее супругу — высокому человеку средних лет с кроткими голубыми глазами и большой светловолосой головой, которую тронула седина. Он заговорил с Филипом на правильном, но довольно старомодном английском языке, усвоенном из английских классиков; странно было слышать в разговоре слова, которые Филип встречал лишь в пьесах Шекспира. Фрау профессорша Эрлин звала свое заведение не пансионом, а «семейным домом»; но нужно было хитроумие метафизики, чтобы установить, в чем заключалось различие. Когда они уселись обедать в длинной темной комнате рядом с гостиной, Филип, который очень робел, насчитал за столом шестнадцать человек. Фрау профессорша сидела во главе стола и раскладывала порции. Прислуживал, нещадно стуча тарелками, все тот же неотесанный увалень, который открыл Филипу дверь; как он ни суетился, первые кончали есть, прежде чем получали свою еду последние. Фрау профессорша настаивала на том, чтобы говорили только по-немецки, так что, если бы Филип и пересилил свою застенчивость, ему все равно пришлось бы молчать. Он приглядывался к людям, с которыми ему предстояло жить. Возле фрау профессорши сидело несколько старух, но Филип не обратил на них внимания. Были тут и две молодые девушки, обе белокурые, и одна из них очень хорошенькая; Филип услышал, что одну звали фрейлейн Гедвига, а другую — фрейлейн Цецилия. У фрейлейн Цецилии была длинная коса. Девушки сидели рядом и болтали друг с другом, сдержанно хихикая; они то и дело посматривали на Филипа; одна из них что-то шептала другой, и та фыркала, а Филип краснел как рак, чувствуя, что они над ним потешаются. Рядом с ними сидел китаец с желтым лицом и широкой улыбкой — он изучал жизнь Запада. Китаец говорил скороговоркой, с таким странным акцентом, что девушки не всегда могли его понять и покатывались со

смеху. Он тоже добродушно посмеивался, жмуря свои миндалевидные глаза. Было тут и несколько американцев в черных пиджаках, с пергаментным, нездоровым цветом лица — студенты-теологи; в их плохой немецкой речи Филипу слышалось гнусавое американское произношение; он поглядывал на них подозрительно — ведь его учили смотреть на американцев как на необузданных дикарей.

Позже они посидели немного в гостиной на жестких стульях, обитых зеленым бархатом, и фрейлейн Анна спросила Филипа, не хочет ли он с ними прогуляться.

Филип согласился. Собралась целая компания: дочери фрау профессорши, две другие девушки, один из американских студентов и Филип. Филип шел с Анной и фрейлейн Гедвигой и немножко волновался. Он никогда еще не был знаком ни с одной девушкой. В Блэкстебле не было никого, кроме дочерей крестьян и местных лавочников. Филип знал их по именам и в лицо, но был робок, и ему казалось, что они смеются над его хромотой. Он охотно соглашался со священником и миссис Кэри, которые проводили границу между собственным высоким положением и положением крестьян. У доктора было две дочери, но обе значительно старше Филипа; они вышли замуж за ассистентов отца еще тогда, когда Филип был совсем маленьким. В Теркенбери были девицы не слишком скромного поведения, с которыми встречался кое-кто из учеников; об интрижках с ними рассказывали скабрзные истории — плод воспаленного мальчишеского воображения. Слушая их, Филип скрывал свой ужас под личиной гордого презрения. Его фантазия и прочитанные книги воспитали в нем склонность к байронической позе; в нем боролись два чувства — болезненная застенчивость и уверенность, что он обязан быть галантным. Сейчас он понимал, что ему нужно казаться веселым и занимательным. Но в голове у него не было ни единой мысли, и он мучительно придумывал, что бы ему сказать. Дочь фрау профессорши, фрейлейн Анна, то и дело обращалась к нему из чувства долга; другая же девушка говорила мало, зато поглядывала на него насмешливыми глазами, а иногда, к его великому смущению, откровенно заливалась смехом. Филип был уверен, что выглядит чулом гороховым. Они шли по склону холма, среди сосен, и Филип с наслаждением вдыхал их аромат. Стоял теплый и безоблачный день. Наконец они взобрались на холм и увидели внизу перед собой долину Рейна, залитую солнцем. Просторные дали словно искрились в золотых лучах;

змеилась серебристая лента реки, а по берегам ее были разбросаны города. В том уголке Кента, где жил Филип, не было таких просторов, одно только море открывало глазу дальние горизонты; неоглядная ширь, лежавшая перед Филипом, приводила его в какой-то неизъяснимый восторг. Он вдруг ощутил себя словно окрыленным. Сам того не понимая, он впервые испытал чистое, ни с чем другим не смешанное чувство красоты. Они сели втроем на скамейку — остальные ушли дальше, и, пока девушки болтали по-немецки, Филип, забыв о их присутствии, наслаждался открывшимся ему видом.

— Видит бог, я счастлив, — бессознательно произнес он вслух.

ГЛАВА 23

Иногда Филип вспоминал о Королевской школе в Теркенбери и посмеивался, гадая, чем там заняты в эту минуту. Иногда ему снилось, что он все еще в школе, и, просыпаясь в своей башенке, он испытывал необычайное удовлетворение. Лежа в постели, он видел огромные кучевые облака, висевшие в синем небе. Он наслаждался свободой. Он мог лечь, когда хотел, и встать, когда ему нравилось. Никто им не командовал. Его радовало, что ему не приходится больше лгать.

Они договорились с профессором Эрлином, что тот станет учить его латыни и немецкому; каждый день к нему приходил француз и давал уроки французского; а в качестве учителя математики фрау профессорша рекомендовала англичанина, изучавшего филологию в университете. Это был некий Уортон. Он снимал комнату в верхнем этаже запущенного дома. Дом был грязный, неопрятный, в нем воняло на все лады. В десять часов утра, когда появлялся Филип, Уортон обычно был еще в постели; вскочив, он натягивал грязный халат, совал ноги в войлочные туфли и, пока давал урок, поглощал свой скудный завтрак. Это был приземистый человек, растолстевший от неумеренного потребления пива, с густыми усами и длинными, растрепанными волосами. Он прожил в Германии уже пять лет и совсем онемечился. Он с презрением говорил о Кембриджском университете, где получил диплом, и с горечью — о возвращении в Англию, где его после защиты диссертации в Гейдельберге ожидала педагогическая карьера. Он обожал университетскую жизнь в Германии с ее независимостью и веселым компанейством. Он был членом

Burschenschaft¹ и обещал сводить Филипа в Кнеире². Не имея ни гроша за душой, он не скрывал, что уроки, которые он дает Филипу, позволяли ему есть за обедом мясо вместо хлеба с сыром. Иногда после бурно проведенной ночи у него так трещала голова, что он не мог даже выпить кофе и давал урок с большим трудом. Для таких случаев он хранил под кроватью несколько бутылок пива; кружка пива, а за нею трубка помогали ему переносить житейские невзгоды.

— Клин клином вышибай,— изрекал он, осторожно наливая себе пиво, чтобы пена не мешала ему поскорее добраться до влаги.

Потом он рассказывал Филипу об университете, о ссорах между соперничавшими корпорациями, о дуэлях, о достоинствах того или иного профессора. Филип больше учился у него жизни, чем математике. Иногда Уортон со смехом откидывался на спинку стула и говорил:

— Послушайте, а мы ведь сегодня бездельничали. Вам не за что мне платить.

— Какая ерунда! — отвечал Филип.

Тут было что-то новое, очень интересное, куда более важное, чем тригонометрия, которой он все равно не понимал. Перед ним словно распахнулось окно в жизнь, он глядел на нее — и душа его замирала.

— Нет уж, оставьте ваши грязные деньги себе,— говорил Уортон.

— Ну, а как вы намерены обедать? — с улыбкой спрашивал Филип; он отлично знал денежные дела своего учителя: Уортон даже попросил его выплачивать по два шиллинга за урок еженедельно, а не ежемесячно — это облегчало дело.

— Черт с ним, с обедом. Не впервой мне обедать бутылкой пива — это прочищает мозги.

Нырнув под кровать (простыни посерели, так давно они были не стираны), он выудил оттуда новую бутылку. Филип был еще молод и, не разбираясь в прелестях жизни, отказался разделить ее с ним; Уортон выпил пиво в одиночку.

— И долго вы собираетесь тут жить? — спросил как-то раз Уортон.

Оба они с облегчением перестали делать вид, будто занимаются математикой.

¹ Студенческой корпорации (нем.).

² Пивную (нем.).

— Не знаю. Наверно, около года. Родные хотят, чтобы потом я поступил в Оксфорд.

Уортон пренебрежительно пожал плечами. Филип, к удивлению своему, узнал, что есть люди, которые не чувствуют благоговения перед этим оплотом науки.

— Зачем вам туда поступать? Вы ведь так и останетесь школяром, только более почтенным. А почему бы вам не пойти в здешний университет? Один год в Германии ничего вам не даст. Проведите здесь пять лет. Знаете, в жизни есть две хорошие вещи: свобода мысли и свобода действия. Во Франции вы пользуетесь свободой действия: вы можете поступать как вам угодно, никто не обращает на это внимания, но думать вы должны как все. В Германии вы должны вести себя как все, но думать можете как вам угодно. Кому что нравится. Лично я предпочитаю свободу мысли. Но в Англии вы лишены и того, и другого: вы придавлены грузом условностей. Вы не вправе ни думать, ни вести себя, как вам нравится. А все потому, что у нас демократическая страна. Наверно, в Америке еще хуже.

Он осторожно откинулся на стуле — одна из ножек расшаталась, и было бы жаль, если бы такая пышная тирада закончилась падением на пол.

— Мне нужно в этом году вернуться в Англию, но, если я смогу наскрести денег, чтобы не протянуть ноги, я задержусь здесь еще на год. А потом уж придется уехать. И покинуть все это... — Широким жестом он обвел грязную мансарду с неубранной постелью, разбросанную на полу одежду, шеренгу пустых пивных бутылок у стены, кипы растрепанных книг без переплетов во всех углах. — ...Покинуть все это ради какого-нибудь провинциального университета, где я попытаюсь получить кафедру германской филологии. И начну играть в теннис и ходить в гости на чашку чаю. — Прервав свой монолог, он иронически оглядел с ног до головы Филипа — опрятно одетого, с чистым воротничком, с аккуратно зачесанными волосами. — И, боже мой, — закончил он, — мне придется умыться!

Филип покраснел: он почувствовал в своем щегольстве какое-то неприличие. С недавних пор он стал уделять внимание своей внешности и вывез из Англии изрядную коллекцию галстуков.

А лето победно вступало в свои права. Один день был прекраснее другого. Небо стало таким дерзко синим, что подстегивало, как удар хлыста. Зелень деревьев в парке была до крикливости яркой, а белизна освещенных солн-

цем домов слепила чуть не до боли. Возвращаясь от Уортона, Филип иногда садился в тень на одну из скамеек парка, радуясь прохладе и наблюдая за узорами, которые солнечные лучи рисовали на земле, пробиваясь сквозь листву. И душа его дрожала от восторга, как солнечный луч. Он наслаждался этими минутами безделья, украденными у занятий. Иногда он бродил по улицам старого города. Филип с благоговением глядел на студентов-корпорантов с багровыми шрамами на щеках, щеголявших в своих разноцветных фуражках. После обеда он бродил по холмам с девушками из дома фрау профессорши, а иногда они отправлялись вверх по реке и пили чай в тенистом садике возле какого-нибудь трактира. По вечерам они кружили по городскому саду, слушая, как играет оркестр.

Вскоре Филип изучил склонности обитателей пансиона. Старшая дочь профессора, фрейлейн Текла, была обручена с англичанином, который прожил двенадцать месяцев в их доме, обучаясь немецкому языку; свадьба была назначена на конец года. Но молодой человек писал, что его отец, оптовый торговец каучуком из Слау, не одобряет этого брака, и фрейлейн Теклу часто заставляли в слезах. Не раз видели, как она, неумолимо сдвинув брови и решительно сжав губы, перечитывает вместе с матерью письма неподатливого жениха. Текла рисовала акварелью, и порой они с Филипом отправлялись писать этюды, пригласив одну из девушек для компании. У хорошенькой фрейлейн Гедвиги тоже были свои любовные неурядицы. Она была дочерью берлинского коммерсанта, а в нее влюбился лихой гусар, чье имя, представьте, писалось с аристократической приставкой «фон»; его родители возражали против брака с девицей из торгового сословия, и ее отправили в Гейдельберг, чтобы она о нем позабыла. Но она никогда, никогда его не забудет. Фрейлейн Гедвига продолжала с ним переписываться, он же предпринимал отчаянные попытки убедить непреклонного отца изменить свое решение. Все это она поведала Филипу, премило вздыхая и нежно краснея, показав ему фотографию неунывающего лейтенанта. Филипу она нравилась больше других девушек в доме фрау профессорши, и на прогулках он всегда старался держаться с ней рядом. Он заливался краской, когда остальные подтрунивали над явным предпочтением, которое он ей оказывал. Он даже объяснился фрейлейн Гедвиге — первый раз в жизни, но — увы! — это случилось нечаянно. В те вечера, когда они не гуляли, девушки пели песенки в зеленой гостиной,

а услужливая фрейлейн Анна прилежно аккомпанировала. Любимая песня фрейлейн Гедвиги называлась «Ich liebe dich» — «Люблю тебя». Однажды вечером она ее спела, и они с Филипом вышли на балкон полюбоваться звездами; ему вдруг захотелось сказать ей что-нибудь приятное о ее пении. Он начал:

— «Ich liebe dich»...

Говорил он по-немецки с запинкой, с трудом подбирая нужные слова. На этот раз он сделал совсем маленькую паузу, но, прежде чем он успел окончить фразу, фрейлейн Гедвига сказала:

— Ach, Herr Cary, Sie müssen mir nicht du sagen¹.

Филипа бросило в жар — разве он посмел бы позволить себе такую фамильярность? Он совсем потерял дар речи. С его стороны было бы неделикатно доказывать, что он вовсе и не думал объясняться, а просто упомянул название песни.

— Entschuldigen Sie², — сказал он.

— Ничего, — прошептала она.

Она мило улыбнулась, тихонько пожала его руку, а потом вернулась в гостиную.

На другой день он чувствовал себя так неловко, что не мог вымолвить ни слова, и, сгорая от смущения, всячески избегал с ней встречи. Когда его, как всегда, позвали на прогулку, он отказался, сославшись на то, что ему надо заниматься. Но фрейлейн Гедвига нашла возможность поговорить с ним с глаза на глаз.

— Почему вы себя так ведете? — ласково спросила она. — Знаете, я нисколько на вас не в обиде за вчерашнее. Что же вы можете поделать, если меня полюбили? Мне это даже лестно. Но, хотя официально я и не обручена с Германом, я считаю себя его невестой и никогда не полюблю никого другого.

Филип снова вспыхнул, но ему удалось принять вид отвергнутого влюбленного.

— Надеюсь, вы будете очень счастливы, — сказал он.

ГЛАВА 24

Профессор Эрлин занимался с Филипом ежедневно. Он составил список книг, которые надлежало прочесть, прежде чем приступить к самому трудному — к «Фаусту», а пока что

¹ Ах, герр Кэри, вам не следует говорить мне ты (нем.).

² Извините меня (нем.).

довольно умно предложил ему начать с немецкого перевода одной из пьес Шекспира, которую Филип проходил в школе. В те времена слава Гете достигла в Германии своего апогея. Несмотря на то что Гете относился к ура-патриотизму свысока, его признали величайшим национальным поэтом, а после войны семидесятого года — одним из самых ярких символов национального единства. Энтузиастам казалось, что в неистовствах Walpurgisnacht¹ слышится грохот артиллерии под Гравелоттом². Один из признаков писательского гения заключался в том, что люди различных убеждений находят в нем свои собственные источники вдохновения; профессор Эрлин, ненавидевший пруссаков, восторженно поклонялся Гете за то, что его дышавшие олимпийским спокойствием творения давали здравомыслящему человеку прибежище от тревожений современного общества. Появился драматург, чье имя все чаще повторяли в Гейдельберге последнее время, — прошлой зимой одна из его пьес шла в театре под восторженные овации поклонников и свистки добропорядочных людей. Филип слышал споры о ней за длинным столом фрау профессорши, и в этих спорах профессор Эрлин терял обычное спокойствие: он стучал кулаком по столу и заглушал инакомыслящих раскатами своего великолепного баса. По его словам, это был вздор, и вздор непристойный. Он заставил себя высидеть спектакль до конца, но затруднялся теперь сказать, чего испытал больше — скуки или отвращения. Если театр докатился до такого падения, пора вмешаться полиции и запретить подобные зрелища. Он вовсе не ханжа и готов посмеяться, как и всякий другой, над остроумным и безнравственным фарсом в «Пале-Рояль», но тут нет ничего, кроме грязи. Он красноречиво зажал нос и свистнул сквозь зубы. Это ведет к разложению семьи, гибели морали, распаду Германии.

— Aber, Adolf³, — зывала фрау профессорша с другого конца стола, — не волнуйся!

Профессор погрозил ей кулаком. Он был самым кротким существом на свете и ни разу в жизни не отважился предпринять что-нибудь без ее совета.

— Нет, Елена, — вопил он, — говорю тебе, пусть лучше я увижу трупы наших дочерей у своих ног, чем узнаю, что они слушали бред этого бесстыдника.

¹ Вальпургиевой ночи (нем.).

² Под Гравелоттом (недалеко от Меца) произошла решающая битва франко-прусской войны 1870 года, закончившаяся победой немцев.

³ Послушай, Адольф (нем.).

Пьеса называлась «Кукольный дом», автором ее был Генрик Ибсен.

Профессор Эрлин ставил его на одну доску с Рихардом Вагнером, но имя последнего он произносил не с гневом, а с добродушным смехом. Это был шарлатан, но шарлатан удачливый, и тут было над чем посмеяться.

— Verrückter Kerl! ¹ — говорил он.

Он видел «Лоэнгрина», и это было еще терпимо. Скучно, но не более того. А вот «Зигфрид»! Тут профессор Эрлин подпирал ладонью голову и раздражался хохотом. Ни одной мелодии с самого начала и до самого конца! Представляю себе, как Рихард Вагнер сидит в своей ложе и до колик смеется над теми, кто принимает его музыку всерьез. Это — величайшая мистификация девятнадцатого века! Профессор поднес к губам стакан пива, запрокинул голову и выпил до дна. Потом, утирая рот тыльной стороной руки, произнес:

— Поверьте, молодые люди, еще не кончится девятнадцатый век, а о Вагнере никто и не вспомнит. Вагнер! Да я отдам все, что он написал, за одну оперу Доницетти.

ГЛАВА 25

Самым странным из всех учителей Филипа был преподаватель французского языка мосье Дюкро — гражданин города Женева. Это был высокий старик с болезненным цветом лица и впалыми щеками; длинные седые волосы его сильно поредели. Он ходил в поношенном черном пиджаке с протертыми локтями и брюках с бахромой. Рубашка его давно нуждалась в стирке. Филип ни разу не видал на нем чистого воротничка. Мосье Дюкро мало говорил, уроки давал добросовестно, хоть и без особого интереса, появляясь и уходя минута в минуту. Получал он гроши. Человек он был необщительный, и то, что Филип о нем знал, он услышал от других; говорили, что мосье Дюкро сражался с Гарибальди против папы, но с возмущением покинул Италию, выяснив, что все его усилия добиться свободы — под нею он подразумевал создание республики — привели к замене одного ярма другим. Из Женева его выслали за какие-то политические прегрешения. Филип с любопытством разглядывал мосье Дюкро — уж очень он не подходил к его представлению о революционере: швейцарец говорил

¹ Безумец! (нем.)

тихим голосом и был изысканно вежлив, никогда не садился, пока его об этом не просили, а в тех редких случаях, когда встречал Филипа на улице, изящным жестом снимал шляпу. Он никогда не смеялся и даже не улыбался. Более зрелое воображение нарисовало бы подающего блестящие надежды юношу, вступившего в жизнь в 1848 году, когда у королей при одной мысли об их французском собрате пренеприятно ломило шею; быть может, пламенная жажда свободы, которая охватила всю Европу и смела все пережитки абсолютизма и тирании, воскресшие в годы реакции, последовавшей за революцией 1789 года, ни в одной другой груди не зажгла более яркого огня. Легко было себе представить его — страстного поклонника учения о всеобщем равенстве и правах человека — в пылу горячих споров, сражающимся на баррикадах в Париже, спасающимся от австрийских кавалеристов в Милане, брошенным в тюрьму здесь, высланным оттуда, черпающим надежду и вдохновение в магическом слове — Свобода... Но вот, постарев, сломленный болезнями и лишениями, не имея других средств к существованию, кроме грошовых уроков, которые он с трудом находил, он очутился здесь, в этом опрятном городке, под пятой тирании, более деспотической, чем любая другая в Европе. Быть может, его замкнутость скрывала презрение к человечеству — ведь оно отреклось от великой мечты его молодости и погрязло в ленивой праздности; а может, тридцать лет революций привели его к выводу, что люди недостойны свободы, и он решил, что растратил жизнь в бесплодной погоне за призраками. А может, он просто до изнеможения устал и теперь равнодушно ожидает избавления в смерти.

Однажды Филип со свойственной его возрасту прямоотой спросил мосье Дюкро, правда ли, что он сражался под знаменами Гарибальди. Казалось, старик не придал этому вопросу никакого значения. Он ответил невозмутимо, как всегда тихим голосом:

— Oui, monsieur¹.

— Говорят, вы были коммунаром?

— Вот как? Что же, будем продолжать заниматься?

Он раскрыл книгу, и оробевший Филип принялся переводить приготовленный урок.

Как-то раз мосье Дюкро пришел на занятие совсем больным. Он едва осилил высокую лестницу, которая вела в комнату Филипа, а войдя, тяжело опустился на стул,

¹ Да, мосье (фр.).

бледное лицо его осунулось, на лбу блестели капельки пота, он с трудом переводил дыхание.

— Мне кажется, вы нездоровы,— сказал Филип.

— Ничего.

Но Филип видел, как ему плохо, и в конце урока спросил, не хочет ли он повременить с занятиями, пока ему не станет лучше.

— Нет,— сказал старик своим ровным, тихим голосом.— Лучше продолжать, раз я еще в силах.

Филип, болезненно стеснявшийся всяких разговоров о деньгах, покраснел.

— Но для вас это не составит никакой разницы,— сказал он.— Я все равно буду платить за уроки. Если позволите, я дам вам денег за неделю вперед.

Мосье Дюкро брал полтора шиллинга за час. Филип вынул из кармана монету в десять марок и смущенно положил ее на стол. Он не мог заставить себя протянуть ее старику, точно нищему.

— В таком случае я, пожалуй, не приду, пока не поправлюсь.— Мосье Дюкро взял монету и, как всегда молча, отвесил церемонный поклон.— *Bonjour, monsieur*¹.

Филип был немножко разочарован. Ему казалось, что он вел себя благородно и что мосье Дюкро следовало бы выказать ему признательность. Его озадачило, что старый учитель принял дар как нечто должное. Филип был еще так молод, что не понимал, насколько меньше чувствуют обязательства те, кому оказывают услугу, чем те, кто ее оказывает. Мосье Дюкро снова появился дней через шесть. Походка его была еще менее твердой, чем всегда, и он, по-видимому, очень ослабел, но, судя по всему, приступ болезни прошел. Он был по-прежнему молчалив, все так же скрытен, загадочен и неопрятен. Только по окончании урока мосье Дюкро упомянул о своей болезни; уходя, он задержался возле двери, помешкал и с трудом произнес:

— Если бы не деньги, которые вы дали, мне бы пришлось голодать. Мне ведь больше не на что жить.

Он с достоинством отвесил свой низкий поклон и вышел из комнаты. У Филипа сжалось горло. Он смутно почувствовал всю безнадежную горечь борьбы этого одинокого старика, понял, как сурово обошлась с ним жизнь, которая сейчас так ласково улыбалась ему, Филипу.

¹ Всего хорошего, мосье (*фр.*).

Филип пробыв в Гейдельберге три месяца, когда однажды утром фрау профессорша сообщила ему, что к ним приезжает англичанин по фамилии Хейуорд, и в тот же вечер за ужином он увидел новое лицо. Уже несколько дней семейство Эрлин пребывало в большом возбуждении. Прежде всего в результате бог знает каких интриг, униженных просьб и скрытых угроз родители молодого англичанина, с которым была помолвлена фрейлейн Текла, пригласили ее погостить у них в Англии; она пустилась в путь, вооружившись альбомом акварелей (наглядным свидетельством ее совершенств) и пачкой писем (неопровержимым доказательством того, как далеко зашел молодой человек). Неделю спустя сияющая фрейлейн Гедвига объявила о предстоящем приезде в Гейдельберг своего возлюбленного лейтенанта и его родителей. Измученные приставаниями сына и тронутые до глубины души размерами приданого, обещанного отцом фрейлейн Гедвиги, они согласились проездом остановиться в Гейдельберге, чтобы познакомиться с молодой девушкой. Встреча прошла благополучно, и фрейлейн Гедвига смогла похвастаться своим возлюбленным в городском саду перед всеми домоладцами фрау профессорши. Молчаливые старушки, сидевшие во главе стола, возле фрау профессорши, были вне себя от волнения, а когда фрейлейн Гедвига объявила, что возвращается домой, где состоится официальная помолвка, фрау профессорша решила, не считаясь с затратами, пригласить всех на майский пунш. Профессор Эрлин гордился своим умением готовить этот не слишком крепкий напиток, и после ужина на круглый стол в гостиную торжественно водрузили большую чашу рейнвейна с содовой водой, в которой плавали ароматные травы и земляника. Фрейлейн Анна поддразнивала Филипа, что дама его сердца уезжает; ему было не по себе, он испытывал легкую меланхолию. Фрейлейн Гедвига спела несколько романсов, фрейлейн Анна сыграла «Свадебный марш», а профессор Эрлин исполнил «Die Wacht am Rein»¹.

В разгаре праздника Филип уделял мало внимания приезжему англичанину. За ужином они сидели друг против друга, но Филип был занят болтовней с фрейлейн Гедвигой, а незнакомец, не зная немецкого языка, молча поглощал пищу. Заметив на нем голубой галстук, Филип

¹ «Стража на Рейне» (нем.).

сразу же почувствовал к нему неприязнь. Это был светлый блондин с длинными вьющимися волосами,— он часто проводил по ним небрежной рукой. Его большие голубые глаза казались слишком светлыми, в них уже проглядывала какая-то усталость, хотя незнакомцу было лет двадцать шесть. Лицо бритое, рот хорошо очерчен, но губы чересчур тонки. Фрейлейн Анна считала себя хорошей физиогномисткой и обратила внимание Филипа на изящные линии его лба и бесхарактерный подбородок. По ее словам, у него была голова мыслителя, но челюсть указывала на слабование. Фрейлейн Анне с ее выдающимися скулами и большим неправильным носом суждено было остаться старой девой, поэтому она придавала большое значение характеру. Пока они обсуждали Хейуорда, тот стоял немного в стороне от других, наблюдая за их шумным весельем с добродушным, чуть-чуть надменным выражением лица. Он был высок, строен и умел держать себя в обществе. Один из американских студентов, по фамилии Уикс, заметив его одиночество, подошел и завязал с ним беседу. Они представляли собой любопытный контраст: аккуратный американец в черном пиджаке и темно-серых брюках, тощий и словно высохший, с уже сквозящей в его манерах елейностью церковника, и англичанин в свободном грубошерстном костюме, с длинными руками и ногами и медлительными жестами.

Филип заговорил с приезжим только на следующий день. Перед обедом они оказались вдвоем на балконе.

— Вы англичанин? — обратился к Филипу Хейуорд.

— Да.

— Здесь всегда так плохо кормят, как вчера вечером?

— Кормят всегда одинаково.

— Отвратительно, не правда ли?

— Да, отвратительно.

До сих пор пища вполне удовлетворяла Филипа, и он поглощал ее с аппетитом и в немалом количестве, но ему не хотелось показать себя невзыскательным и признать хорошим обед, который кто-то другой счел отвратительным.

Поездка фрейлейн Теклы в Англию заставила ее сестру куда больше хлопотать по дому, и у нее теперь редко находилось время для прогулок, а фрейлейн Цецилия с длинной белокурой косой и маленьким вздернутым носиком последнее время заметно сторонилась общества. Фрейлейн Гедвиги не было, Уикс — тот американец, который обычно сопровождал их на прогулках, — отправился путешествовать по Южной Германии, и Филип теперь часто

оставался в одиночестве. Хейуорд явно искал с ним близости, но у Филипа была злосчастная черта: от застенчивости, а может, из инстинкта, передавшегося ему от людей пещерного века, он всегда испытывал к людям сперва неприязнь; только привыкнув к ним, он избавлялся от первоначального ощущения. Это делало его малообщительным. К попыткам Хейуорда завязать с ним дружеские отношения он относился сдержанно, а когда тот однажды пригласил его погулять, согласился только потому, что не смог придумать вежливой отговорки. Он, как всегда, рассердился на себя за то, что покорснел, и попытался скрыть смущение смехом:

— Простите, я хожу не слишком быстро.

— Боже мой, да и я не собираюсь бежать бегом. Я тоже предпочитаю ходить медленно. Разве вы не помните то место из «Мариуса»¹, где Патер говорит, что спокойный моцион — лучший стимул для беседы?

Филип умел слушать: ему нередко приходили в голову умные мысли, но чаще всего задним числом. Хейуорд же был разговорчив; человек с более богатым жизненным опытом, чем Филип, понял бы, что ему нравится слушать себя. Но на Филипа его высокомерие производило неотразимое впечатление. Он не мог не восхищаться человеком, который свысока относится ко всему, что сам Филип считает чуть ли не священным. Хейуорд высмеивал увлечение спортом, с презрением приклеивая ярлык охотника за кубками ко всем, кто им занимался, а Филип не замечал, что он попросту заменяет этот фетиш фетишем культуры.

Они поднялись к замку и посидели на террасе, откуда был виден весь город. Раскинутый в долине, на берегах живописного Неккара, Гейдельберг выглядел уютно и приветливо. Над ним, словно голубое марево, висел дымок из труб, высокие крыши и шпили церквей придавали городу живописный средневековый вид. Во всем этом была какая-то безыскусственность, которая согревает сердце. Хейуорд говорил о «Ричарде Февереле»² и «Мадам Бовари», о Верлене, Данте и Мэтью Арнольде. В те дни переводы Фицджеральда из Омара Хайяма были известны только избранным, и Хейуорд декламировал их Филипу. Хейуорд любил читать стихи — и свои собственные, и чужие; читал он их монотонным голосом, нараспев. Когда они возвращались

¹ «Мариус-эпикурец» — произведение английского критика и искусствоведа Уолтера Патера (1839—1894).

² «Ричард Феверел» — роман английского писателя Джорджа Мередита (1828—1909).

домой, недоверие Филипа к Хейуорду сменилось восторженным восхищением.

Они взяли за правило гулять каждый день после обеда, и вскоре Филип узнал всю несложную биографию Хейуорда. Он был сыном сельского судьи и унаследовал после смерти отца триста фунтов годового дохода. Хейуорд кончил школу с отличием, и при его поступлении в Кембриджский университет ректор лично выразил удовольствие, что факультет получит такого студента. Его ждала блестящая карьера. Он вращался в самых избранных кругах интеллигенции, с энтузиазмом читал Броунинга и воротил свой точеный нос от Тенниссона; он знал все подробности интимной жизни Шелли, слегка интересовался историей искусства (стены его комнаты были украшены репродукциями с картин Уоттса, Берн-Джонса и Боттичелли), не без изящества сочинял стихи, полные пессимизма. Друзья его говорили, что у него выдающиеся способности, и он охотно прислушивался, когда ему предсказывали громкую славу. Постепенно в своем кругу он стал авторитетом в области искусства и литературы. Большое влияние оказала на него «Апология» Ньюмена;¹ пышность римско-католической религии отвечала его эстетическому чувству; перейти в эту религию мешал ему только страх перед отцом (грубоватым, ограниченным человеком, читавшим Маколея). Друзья его были поражены, когда он окончил университет без всяких отличий, но он только пожал плечами и тонко намекнул, что экзаменаторам не удалось его провести. Ведь быть всюду первым—это так пошло! С мягким юмором он описывал одного из экзаменаторов—этакого педанта в ужасном воротничке, задававшего вопросы по логике; стояла невыносимая скучища, и вдруг Хейуорд заметил на экзаменаторе старомодные ботинки с резинками по бокам—это было так уродливо и смешно; он решил отвлечься от этого зрелища и стал думать о красоте готической часовни в Королевском колледже. Впрочем, он провел в Кембридже немало прелестных дней, давал превосходные обеды (ни у кого так не кормили!), а беседы, которые у него велись частенько, бывали очень интересными. Он процитировал Филипу изысканную эпиграмму: «Мне говорили, Гераклит, мне говорили, будто тебя уже нет на свете».

¹ «Apologia pro Vita Sua» («Апология, или Оправдание моей жизни») — произведение английского религиозного деятеля кардинала Ньюмена (1801—1890).

Рассказывая теперь — в который раз — забавную историю об экзаменаторе и его ботинках, он весело смеялся.

— Конечно, с моей стороны это было безрассудством, — говорил он, — но каким великолепным безрассудством!

Филип в восторге решил, что это было бесподобно.

После университета Хейуорд отправился в Лондон готовиться к адвокатуре. Он снял очаровательную квартирку в Клементс Инн — стены ее были отделаны панелью — и постарался обставить ее по образцу своих прежних комнат в Кембридже. Он подумывал о политической карьере, называл себя вигом и вступил в клуб с либеральным, но вполне аристократическим оттенком. Он намеревался стать адвокатом (правда, лишь по гражданским делам: они были не такие грубые) и получить в парламенте место от какого-нибудь тихого округа (как только его влиятельные друзья выполнят свои обещания); а пока что он прилежно посещал оперу и свел знакомство с избранным кругом очаровательных людей, любивших все то, что любил он. Он обедал в клубе, который провозгласил своим девизом: «Здоровье, польза, красота». У него завязалась платоническая дружба с дамой, бывшей на несколько лет старше его; она жила в аристократическом районе на Кенсингтон-сквер, и Хейуорд чуть не каждый вечер пил у нее чай при свечах; они беседовали о Джордже Мередите и Уолтере Патере. Как известно, каждый дурак может стать адвокатом; вот Хейуорд и не утруждал себя науками. Когда же его провалили на экзаменах, он воспринял это как личное оскорбление. Как раз в это время дама с Кенсингтон-сквер сообщила ему, что ее супруг приезжает в отпуск из Индии и, будучи человеком хоть и достойным во всех отношениях, но весьма пошлых взглядов, может превратно понять частые посещения ее молодого друга. Жизнь показалась Хейуорду отвратительной, душа его бунтовала при одной мысли о новой встрече с циничными экзаменаторами, и он решил гордо отместить то, что лежало у его ног. К тому же он был в долгу как в шелку: джентльмену нелегко было жить в Лондоне на триста фунтов в год; сердце влекло его в Венецию и Флоренцию — их так волшебным образом описал Джон Рескин. Поняв, что мало повесить на дверь дощечку с именем, чтобы обзавестись обширной практикой, Хейуорд решил, что он не создан для низменной суеты судейской профессии, а политике нынче не хватало благородства. Душой ведь он был поэт. Он уступил кому-то свою квартирку в Клементс Инн и отправился в Италию. Прожив зиму во Флоренции и еще одну зиму в Риме, он проводил второе лето за границей, на

этот раз в Германии, чтобы научиться читать Гёте в подлиннике.

Хейуорд обладал редкостным даром. Он по-настоящему любил литературу и с удивительным красноречием умел заражать других своей страстью. Он мог увлечься каким-нибудь писателем, увидев все его лучшие стороны, и говорить о нем проникновенно. Филип много читал, но читал без разбору — все, что попадалось под руку, и теперь ему было полезно встретить человека, который мог развить его вкус. Он стал брать книги из маленькой городской библиотеки и читать все замечательные произведения, о которых говорил ему Хейуорд. Не всегда они доставляли ему удовольствие, но Филип читал с упорством. Он стремился к самоусовершенствованию и чувствовал себя невежественным и малоразвитым. К концу августа, когда Уикс вернулся из Южной Германии, Филип уже целиком подпал под влияние Хейуорда. Тому не нравился Уикс. Его шокировали черный пиджак и темно-серые брюки американца, и он презрительно пожимал плечами, говоря о его пуританской закваске. Филип спокойно слушал, как поносят человека, который отнесся к нему с редкой сердечностью; когда же Уикс в свою очередь отпускал неприязненные замечания по адресу Хейуорда, Филип выходил из себя.

— Уж больно ваш новый приятель смахивает на поэта, — сказал Уикс, насмешливо кривя рот, запавший от забот и огорчений.

— Он и есть поэт.

— Это он вам сказал? У нас в Америке его называли бы ярко выраженным бездельником.

— Ну, мы не в Америке, — холодно заметил Филип.

— Сколько ему лет? Двадцать пять? А у него только и дела, что переезжать из одного пансиона в другой и кропать стишки.

— Вы же его не знаете, — гневно возразил Филип.

— Нет, знаю: я уже видел сто сорок семь таких, как он.

Глаза Уикса смеялись, но Филип, не понимавший американского юмора, недовольно надул губы. Уикс казался ему пожилым, хотя на самом деле американцу лишь недавно исполнилось тридцать. Он был высок, очень худ и сутулился, как человек, привыкший сидеть над книгами; большая и некрасивая голова с редкими соломенными волосами и землистым цветом лица, тонкие губы, длинный острый нос и выпуклый лоб придавали ему нескладный вид. Холодный и педантичный, словно в жилах у него текла не кровь, а вода, и чуждый страстей, он иногда проявлял удивитель-

ное озорство, приводившее в замешательство серьезных людей, среди которых он постоянно вращался. В Гейдельберге он изучал теологию, но остальные студенты-теологи его национальности относились к нему с опаской. Их пугало его свободомыслие, а его прихотливый юмор вызывал их осуждение.

— Где же вы могли видеть сто сорок семь таких, как он? — серьезно спросил Филип.

— Я встречал их в Латинском квартале в Париже и в пансионах Берлина и Мюнхена. Они живут в маленьких гостиницах в Перуджии и Ассизи. Их то и дело видишь у картин Боттичелли во Флоренции; они сидят на всех скамьях Сикстинской капеллы в Риме. В Италии они пьют слишком много вина, а в Германии — чересчур много пива. Они всегда восхищаются тем, чем принято восхищаться — что бы это ни было, — и на днях собираются написать великое произведение. Подумать только — сто сорок семь великих произведений покоятся в душе ста сорока семи великих мужей, но трагедия заключается в том, что ни одно из этих ста сорока семи великих произведений никогда не будет написано. И на свете от этого ничего не меняется.

Уикс говорил серьезно, но к концу этой длинной речи его серые глаза смеялись; Филип понял, что американец над ним потешается, и покраснел.

— Вы мелете ужасный вздор, — сказал он сердито.

ГЛАВА 27

Уикс занимал две маленькие комнаты в задней части дома фрау Эрлин; одна из них служила гостиной и годилась для приема посетителей. После ужина он нередко приглашал к себе поболтать Филипа и Хейурда; его толкало на это озорство, приводившее в отчаяние его друзей в Кембридже (штат Массачусетс). Он принимал обоих молодых людей с изысканной любезностью и усаживал их в самые удобные кресла. Сам он не пил, но с предупредительностью, в которой Филип чувствовал иронию, ставил возле Хейурда парочку бутылок пива и упорно зажигал ему спички всякий раз, когда у того в пылу спора гасла трубка. В начале знакомства Хейурд — воспитанник знаменитого университета в Кембридже — относился к Уиксу, окончившему всего-навсего Гарвардский университет, покровительственно; однажды, когда разговор коснулся греческой трагедии — предмета, в котором Хейурд считал

себя знатоком, — он принял важный вид и заговорил поучающим тоном. Уикс скромно его выслушал, всжливво улыбаясь; потом задал один или два безобидных на первый взгляд, но коварных вопроса; Хейуорд ответил с маху, не заметив расставленной ловушки; Уикс учтиво возразил, потом внес фактическую поправку, привел цитату из малоизвестного латинского комментария, сослался на один из немецких авторитетов — и выяснилось, что он человек глубоко сведущий в этом вопросе. Со спокойной улыбкой, словно извиняясь, он не оставил камня на камне от рассуждений Хейуорда и с утонченной вежливостью доказал его дилетантизм. Он издевался над своим собеседником с мягкой иронией, и Филипу поневоле пришлось признать, что Хейуорд остался в дураках, а у того не хватило здравого смысла молчать: выйдя из себя, но не утратив самонадеянности, он пытался продолжать спор и понес страшную дичь, Уикс дружелюбно стал его поправлять; Хейуорд цеплялся за ошибочные суждения, а Уикс доказывал их бессмысленность. Наконец Уикс признался, что преподавал в Гарварде греческую литературу. Хейуорд презрительно рассмеялся.

— Так я и думал, — сказал он. — Поэтому вы и читаете греков, как школяр. А я — как поэт.

— И вы считаете, что греческая литература становится более поэтичной, если не понимать ее смысла? А я-то думал, что только в Апокалипсисе неточное толкование подчас улучшает смысл.

В конце концов, допив пиво, Хейуорд покинул комнату Уикса разгоряченный и растрепанный; сердито махнув рукой, он сказал Филипу:

— Этот тип — просто педант. Он ничего не смыслит в прекрасном. Точность украшает только конторщика. Важно постичь дух древних греков. Уикс похож на оболтуса, который пошел на концерт Рубинштейна, а потом жаловался, что тот берет фальшивые ноты. Фальшивые ноты! Какое это имеет значение, если он играет божественно?

Филипу, не знавшему, сколько невежд утешало себя этими фальшивыми нотами, слова Хейуорда показались вполне убедительными.

Хейуорд никак не мог удержаться от попытки вернуть потерянные позиции, и Уикс без труда вовлек его в спор. И, хотя Хейуорд не мог не видеть, как ничтожны его знания по сравнению с ученостью американца, его английская твердолобость и болезненное тщеславие (что, может быть, одно и то же) не позволяли ему отказаться от борьбы. Хейуорду будто нравилось демонстрировать свою безгра-

мотность, самомнение и упрямство. Когда он изрекал какую-нибудь несуразность, Уикс кратко доказывал ошибочность его рассуждений, делал небольшую паузу, чтобы насладиться победой, а затем спешил перейти к другой теме, словно христианское милосердие повелевало ему щадить поверженного противника. Иногда Филип пытался вставить словечко, чтобы выручить друга; Уикс легко его сбивал, но отвечал очень мягко, совсем не так, как Хейуорду, — даже Филип со своей болезненной обидчивостью не мог почувствовать себя задетым. Временами Хейуорд, сознавая, что все чаще и чаще остается в дураках, терял спокойствие; тогда он говорил грубости, и только неизменная вежливость американца не давала превратить спор в открытую ссору. Покинув комнату Уикса, Хейуорд ворчал сквозь зубы:

— Проклятый янки!

Он верил, что последнее слово осталось за ним. Это был лучший ответ на все неопровержимые доводы противника.

Хотя беседы в маленькой комнате Уикса начинались с самых разнообразных предметов, в конечном счете они всегда переходили на религию: для студента-теолога она представляла профессиональный интерес, а Хейуорд был рад всякой теме, которая не требовала знания грубых фактов; когда мерилом служит чувство, вам наплевать на логику, и это очень удобно, если вы не в ладах с логикой. Хейуорду трудно было изложить Филипу свой символ веры без помощи целого потока слов; выяснилось, однако, что он воспитан в духе законной англиканской церкви (так же как, впрочем, и Филип). Правда, Хейуорда все еще привлекал католицизм, хотя он и отказался от мысли перейти в эту веру. Он не переставал его восхвалять, сравнивая пышные католические обряды с простыми богослужениями протестантов. Он дал прочесть Филипу «Апологию» Ньюмена, и хотя Филип нашел ее прескучной, но все-таки дочитал до конца.

— Читайте эту книгу ради стиля, а не ради содержания, — сказал Хейуорд.

Он восторгался музыкой ораторианцев¹ и высказывал остроумные догадки о связи между набожностью и ладном. Уикс слушал его с ледяной улыбкой.

— Вы думаете, если Джон-Генри Ньюмен хорошо писал по-английски, а кардинал Мэннинг обладал представительной внешностью, это доказывает правоту католической религии? — спросил он.

¹ Одна из католических конгрегаций, основанная в Англии в XVI веке.

Хейуорд намекнул, что вопросы веры стоили ему немало душевных мук. Целый год он блуждал в беспросветном мраке. Проведя рукой по своим светлым вьющимся волосам, он заявил, что даже за пятьсот фунтов стерлингов не согласился бы снова пережить такую моральную пытку. К счастью, он наконец обрел покой.

— Но во что же вы верите? — спросил Филип, которого никогда не удовлетворяли туманные намеки.

— Я верю в Здоровье, Пользу и Красоту, — с важным видом изрек Хейуорд; его крупное, ладное тело и гордо посаженная голова выглядели очень картинно.

— Так вы и определили бы вашу религию во время переписи? — мягко осведомился Уикс.

— Ненавижу точные определения: они так безобразно прямолинейны. Если хотите, я могу сказать, что моя религия — это религия герцога Веллингтона и мистера Гладстона.

— Но это же и есть англиканская церковь, — вставил Филип.

— О мудрый юноша! — возразил Хейуорд с улыбкой, заставившей Филипа покраснеть: тот почувствовал, что сказал пошлость, выразив обыденными словами сложную метафору собеседника. — Да, я принадлежу к англиканской церкви. Но я люблю золото и шелка, в которые облачен католический священник, меня привлекают обет безбрачия, исповедальня и чистилище; в таинственном полумраке итальянского собора, пропитанном ладаном, я всей душой верю в таинство пресуществления. В Венеции я видел одну рыбачку — она босиком вошла в церковь и упала на колени перед мадонной; бросив корзину с рыбой, она стала молиться; да, вот это была подлинная вера, и я молился и верил вместе с этой женщиной. Но я верю также и в Афродиту, и в Аполлона, и в великого бога Пана.

У Хейуорда был бархатный голос; он говорил, выбирая слова и словно скандируя. Он бы говорил еще, но Уикс откупорил вторую бутылку пива.

— Выпейте лучше, — сказал он.

Хейуорд обратился к Филипу с тем слегка снисходительным жестом, который производил неотразимое впечатление на юношу.

— Теперь вы удовлетворены? — спросил он.

Сбитый с толку, Филип признал, что он удовлетворен.

— Жаль, что вы не добавили сюда немножечко буддизма, — сказал Уикс. — Сам я, сознаюсь, испытываю некую склонность к Магомету; обидно, что вы его обошли.

Хейуорд рассмеялся; в тот вечер он был настроен благодушно, отзвук округлых фраз все еще приятно отдавался у него в ушах. Он опорожнил свой стакан.

— Я и не ожидал, что вы меня поймете, — ответил он. — Вы с вашим холодным американским рассудком можете меня только осудить. Вы ведь бредите Эмерсоном и тому подобное. Но что такое осуждение? Это чисто разрушительное начало; разрушать может каждый, но не каждый может созидать. Вы, дорогой мой, педант. Созидание — вот что важнее всего, а я — созидатель, я — поэт.

Уикс глядел на Хейуорда как будто серьезно, но глаза его весело смеялись.

— Не обижайтесь, но мне кажется, что вы чуть-чуть опьянели.

— Самую малость, — бодро ответил Хейуорд. — Далеко не достаточно для того, чтобы вы могли победить меня в споре. Но, послушайте, я раскрыл вам свое сердце; теперь скажите, в чем ваша вера.

Уикс склонил голову набок, словно воробей на жердочке.

— Я раздумываю об этом уже много лет. Кажется, я — унитарий¹.

— Но ведь они же сектанты, — сказал Филип.

Он так и не понял, почему оба они расхохотались — Хейуорд раскатисто, а Уикс, потешно пофыркивая.

— А в Англии сектантов не считают джентльменами? — спросил Уикс.

— Что же, если вы спросите моего мнения, они и в самом деле не джентльмены, — сердито ответил Филип.

Он терпеть не мог, когда над ним смеялись, а они засмеялись снова.

— А вы мне объясните, пожалуйста, что такое джентльмен, — сказал Уикс.

— Ну, как вам сказать... кто же этого не знает?

— Ну, вот вы — джентльмен?

На этот счет у Филипа никогда не было сомнений, но он знал, что о себе так говорить не полагается.

— Если кто-нибудь сам называет себя джентльменом, можно держать пари, что он им никогда не был, — возразил он.

— А я джентльмен?

¹ Унитарии — протестантская секта, исповедующая бога в одном, а не в трех лицах.

Правдивость мешала Филипу прямо ответить на этот вопрос, но он был от природы вежлив.

— Вы совсем другое дело,— сказал он.— Вы же американец.

— Значит, мы пришли к выводу, что джентльменами могут быть только англичане? — совершенно серьезно произнес Уикс.

Филип не стал возражать.

— А вы не можете мне назвать еще какие-нибудь отличительные признаки джентльменства? — спросил Уикс.

Филип покраснел, но, все больше сердясь, уже не думал о том, что выставяет себя на посмешище.

— Могу назвать их сколько угодно. «Нужно три поколения, чтобы создать одного джентльмена», — говорил его дядя; это было его любимой поговоркой, так же как и «не суйся с суконным рылом в калашный ряд». Во-первых, для этого надо быть сыном джентльмена, затем надо окончить одно из закрытых учебных заведений, а потом Оксфорд или Кембридж...

— Эдинбургский университет, верно, не подойдет? — ввернул Уикс.

— И еще для этого надо говорить по-английски, как джентльмен, и одеваться как следует, и уметь отличать джентльмена от неджентльмена...

Чем дальше Филип говорил, тем менее убедительным все это казалось ему самому, но ничего не поделаешь: именно это он и подразумевал под словом «джентльмен», да и все, кого он знал, подразумевали под этим словом то же самое.

— Теперь мне ясно, что я неджентльмен,— сказал Уикс.— Непонятно, почему же вы так удивились, что я сектант.

— Я плохо себе представляю, что такое унитарий,— сказал Филип.

Уикс по привычке снова склонил голову набок: казалось, он вот-вот зачирикает.

— Унитарий совсем не верит в то, во что верят другие, зато он горячо верит неизвестно во что.

— Зачем вы надо мной смеетесь? — спросил Филип.— Мне в самом деле хотелось бы знать, что такое унитарий.

— Дорогой друг, я вовсе над вами не смеюсь. Я пришел к этому определению после долгих лет упорного труда и напряженных, мучительных раздумий.

Когда Филип и Хейуорд встали, чтобы разойтись по своим комнатам, Уикс протянул Филипу небольшую книгу в бумажной обложке.

— Вы, кажется, уже бегло читаете по-французски. Надеюсь, это вам доставит удовольствие.

Филип поблагодарил и, взяв книгу, посмотрел на ее заглавие. Это была «Жизнь Иисуса» Ренана.

ГЛАВА 28

Ни Хейуорду, ни Уиксу и в голову не приходило, что беседы, помогавшие им скоротать вечер, служили потом Филипу пищей для бесконечных размышлений. Он раньше и не подозревал, что религия может стать предметом обсуждения. Для него религия — это англиканская церковь, а неверие в ее догматы свидетельствовало о непокорности, за которую полагалась неизбежная кара — либо здесь, либо на том свете. Он, правда, питал кое-какие сомнения насчет наказания неверных. Не исключена была возможность, что всевышний судья, свергнув в геенну огненную язычников — магометан, буддистов и прочих, — смилостивится над сектантами и католиками (зато как они будут унижены, поняв свои заблуждения!); допустимо было, что он окажет милосердие и тем, кто не имел возможности познать истину, хотя миссионерские общества развернули такую деятельность, что мало кто мог сослаться на свое невежество. Но, если у человека была возможность приобщиться к истинной вере и он ею пренебрег (а к этой категории все же принадлежали и католики и сектанты), — тогда кара была неизбежной и заслуженной. Еретик явно был в незавидном положении. Может быть, Филипа и не учили всему этому дословно, но ему внушили убеждение, что только последователи англиканской церкви могут питать твердую надежду на вечное блаженство.

И уж во всяком случае, Филипу говорили не таясь, что всякий неверующий — человек злой и порочный. А Уикс, хотя и вряд ли верил в то, во что верил Филип, вел непорочную жизнь истинного христианина. Филип редко чувствовал к себе участие, и его трогала готовность американца протянуть ему руку помощи; однажды, когда Филип простудился и три дня пролежал в постели, Уикс ухаживал за ним, как родная мать. В нем не было ни злобы, ни пороков, а одна лишь душевность и доброта сердечная. Значит, можно было быть добродетельным и в то же время неверующим.

Филипу внушали, что люди исповедуют другие религии из чистого упрямства или же из корысти: в душе своей они знают, что вера их — ложная, но умышленно пытаются

совратить других. Изучая немецкий язык, он в воскресные дни посещал лютеранские богослужения, а после приезда Хейурда стал ходить вместе с ним к обедне. Филип заметил, что протестантская церковь всегда пустовала и ее прихожане слушали богослужение с рассеянным видом, зато католический храм был переполнен и паства, казалось, молилась от всей души. И она вовсе не походила на сборище лицемеров. Это его удивляло: ведь он твердо знал, что лютеране, чья религия сродни англиканской, были ближе к истине, чем католики. Большинство католиков — среди них преобладали мужчины — были уроженцами Южной Германии; Филип вынужден был признать, что, родись он сам в Южной Германии, он тоже, наверное, был бы католиком. А ведь он легко мог родиться в католической стране, а не в Англии, он мог бы появиться на свет в баптистской или методистской семье, а не в семействе, которое, к счастью, принадлежало к государственной церкви. У него даже дух захватывало, когда он думал об опасности, которой так счастливо избежал. Филип сдружился с маленьким китайцем, с которым дважды в день сидел за столом. Его звали Сун. Он постоянно улыбался, был приветлив и вежлив. Странно было подумать, что ему суждено жариться в аду только потому, что он китаец. Если же спасение было возможно независимо от того, к какой религии человек принадлежит, в чем тогда преимущество англиканской церкви?

Совершенно запутавшись, Филип обратился к Уиксу. С ним надо было соблюдать осторожность — Филип так боялся насмешек; к тому же едкая ирония, с которой американец относился к англиканской церкви, приводила его в замешательство. Но Уикс только озадачил его еще больше. Он заставил Филипа признать, что немцы из Южной Германии были столь же твердо убеждены в истинности римско-католической веры, как сам он — в англиканской; отсюда Уикс логически привел Филипа к мысли, что магометане и буддисты тоже искренне верят по-своему. Следовательно, убеждение в своей правоте еще ничего не доказывает: все убеждены в своей правоте. Уикс не имел намерения подрывать веру юноши, но он питал глубокий интерес к религии и считал ее увлекательной темой для беседы. Он говорил правду, утверждая, что самым искренним образом не верят почти ничему, во что верят другие. Однажды Филип задал ему вопрос, который слышал от дяди, когда в доме священника зашла речь об одной умеренно рационалистической книге, о которой тогда спорили в газетах:

— Но почему же правы именно вы, а не такие люди, как святой Ансельм или святой Августин?

— Вы намекаете на то, что они были люди мудрые и ученые, тогда как обо мне вы бы этого не могли сказать?

— Да,— подтвердил Филип неуверенно, поскольку поставленный таким образом вопрос звучал дерзко.

— Святой Августин полагал, что Земля плоская и что Солнце вертится вокруг Земли.

— Ну, и что же это доказывает?

— А то, что каждый верит вместе со своим поколением. Ваши святые жили в религиозный век, когда люди верили даже тому, что сейчас нам кажется совершенно неправдоподобным.

— Тогда откуда же вы знаете, что теперь мы постигли истину?

— Я этого не знаю.

Филип подумал, а потом сказал:

— Может, то, во что мы твердо верим сейчас, так же ошибочно, как и то, во что они верили в свое время?

— Вполне возможно.

— Тогда как же можно верить во что бы то ни было?

— Не знаю.

Филип спросил Уикса, что он думает о религии Хейворда.

— Люди всегда создавали себе богов по собственному образу и подобию,— ответил Уикс.— Хейворд верит в красивенькое.

Наступило молчание.

— Не знаю, почему вообще нужно верить в бога,— вдруг сказал Филип.

Едва успел он это произнести, как понял, что больше не верит. У него захватило дух, как будто он прыгнул в холодную воду. Он испуганно посмотрел на Уикса. Им овладел страх. Он поторопился уйти. Ему захотелось побыть одному. Это было самое сильное потрясение, какое он когда-либо пережил. Он старался додумать все до конца; он был очень взволнован — ведь на карту поставлена вся его жизнь (ему казалось, от этого зависит его будущее), а ошибка могла навеки отдать его во власть дьявола. Но, чем больше он размышлял, тем глубже становилось его неверие; в последние недели он с жадностью набросился на книги, укреплявшие его сомнения, но они лишь повторяли то, что он уже и сам почувствовал. Собственно говоря, он перестал верить не по какой-то определенной причине, а просто потому, что склад характера у него не был религиозный.

Веру ему навязали извне. Она была внушена ему окружающей обстановкой и людьми. Новая обстановка и новые люди помогли ему обрести самого себя. Он расстался с верой своего детства совсем просто, сбросил ее с плеч, как сбрасывают ненужный больше плащ. Без веры, которая, хотя он и не отдавал себе в этом отчета, все же служила ему постоянной опорой, жизнь сперва показалась ему неприятной и одинокой. Он чувствовал себя как привыкший опираться на палку человек, у которого ее вдруг отняли. Даже дни стали как будто холоднее, а ночи тоскливее. Но душевный подъем придавал ему силы; жизнь стала теперь куда более интересной, а скоро и отнятая палка и скинутый плащ показали ему невыносимым бременем. Религиозные обряды, которые он столько лет выполнял, были для него неотделимы от религии. Он вспоминал, сколько молитв и посланий ему приходилось зубрить наизусть; томительные богослужения в соборе, во время которых каждый мускул ныл от желания встать и размяться; грязную ночную дорогу в приходскую церковь Блэкстебла и стужу, стоявшую в этом унылом здании, — у него коченели ноги и немели от холода пальцы, а кругом стоял тошнотворный запах помады. Ох, как ему было скучно! Сердце его колотилось от радости при мысли о том, что он свободен от всего этого навсегда.

Его удивляло, с какою легкостью он простился с верой, и, не зная, что это было лишь проявлением его «я», приписывал происшедшую в нем перемену своему здравому смыслу. Он возгордился не в меру. С юношеской нетерпимостью он презирал Уикса и Хейурда за то, что те цеплялись за туманное ощущение чего-то, что они звали богом, и не могли решиться на последний шаг, казавшийся ему теперь таким простым. Однажды он в одиночестве взобрался на один из окрестных холмов, чтобы полюбоваться знакомым видом, который, неизвестно почему, всегда наполнял его восторгом. Наступила осень, но дни еще стояли безоблачные, и небо сияло ослепительным светом — словно природа хотела излить всю свою страсть сполна в последние погожие дни. Он глядел вниз, на простертую под ним, мерцающую в лучах солнца долину: вдалеке видны были крыши Маннгейма, а совсем на горизонте, как в тумане, — Вормс. То там, то тут жарко вспыхивали воды Рейна. Весь бескрайний простор сверкал чистым золотом. Стоя на холме, с бьющимся от радости сердцем, Филип подумал о том, как искуситель стоял на вершине рядом с Иисусом и показывал ему царства земные. Опьяневшему от красоты Филипу чудилось, что перед ним раскинулся весь мир, и он жаждал

сойти к нему и насладиться им. Он был свободен от унижительной боязни божьего суда и от предрассудков. Он мог идти своей дорогой, не страшась геенны огненной. И вдруг он понял, что сбросил с себя тяжкое бремя ответственности, придававшей значительность каждому его поступку. Ему дышалось свободнее, да и самый воздух стал легче. За все свои поступки он отвечал теперь только перед самим собой. Свобода! Наконец-то он действительно стал сам себе хозяином. И по старой привычке он возблагодарил бога за то, что перестал в него верить.

Охмелев от сознания собственной зрелости и бесстрашия, Филип решил начать новую жизнь. Но утрата веры меньше отразилась на его поступках, чем он ожидал. Хоть он и отбросил христианские догматы, но и не думал отрицать христианскую мораль: ему были по душе христианские добродетели, и он хотел следовать им, не помышляя о награде или наказании. В доме фрау профессорши трудно было найти повод для проявления героизма, но он стал еще правдивее, чем прежде, и заставлял себя быть особенно внимательным к скучным, перезрелым дамам, порою затевавшим с ним беседу. Он тщательно избегал крепких словечек и даже вполне цензурной и принятой в Англии ругани, которой прежде злоупотреблял, чтобы показать, какой он взрослый.

Разрешив этот мучительный вопрос к полному своему удовольствию, он решил выбросить его из головы, что легче было сказать, чем сделать; порой его терзали сожаления, которые он не в силах был подавить, и страхи, от которых трудно было отделаться. Он был так молод и у него было так мало друзей, что бессмертие не очень его манило, и он мог расстаться с верой в него без сожалений; но одна мысль делала его глубоко несчастным: он ругал себя за безрассудство, смеялся над своей сентиментальностью, но слезы и впрямь выступали у него на глазах, когда он думал о том, какая красивая была у него мать, а он ее никогда уже больше не увидит, хотя любовь ее становилась для него с каждым годом все дороже и нужнее. Иногда в нем просыпался голос множества набожных и богобоязненных предков, и его охватывал панический страх: а что, если все, чему его учили, все-таки правда и где-то там, в синих небесах, сидит ревнивый бог, карающий вечным пламенем безбожников? В такие минуты рассудок был бессилен ему помочь: он живо представлял себе весь ужас физических страданий, которым не будет конца; он слабел от страха и покрывался холодным потом. Тогда он твердил себе в полном отчаянии:

«В конце концов я не виноват. Не могу же я насильно заставить себя верить! Если бог все-таки есть и он накажет меня за то, что я искренне перестал в него верить,— тут уж ничего не поделаешь».

ГЛАВА 29

Настала зима. Уикс уехал в Берлин слушать лекции Паульсена, а Хейуорд стал подумывать об отъезде на юг. Местный театр начал давать представления. Филип и Хейуорд посещали их два-три раза в неделю с похвальным намерением усовершенствоваться в немецком языке; Филип нашел, что это куда более приятный способ изучать язык, чем слушая проповеди. Начинался расцвет новой драмы. В репертуаре было несколько пьес Ибсена; «Честь» Зудермана — тогда еще новинка — взбудоражила тихий университетский городок; одни ее непомерно хвалили, другие ожесточенно ругали; прочие драматурги тоже писали в новом духе, и Филип увидел ряд спектаклей, разоблачавших человеческую низость. До сих пор Филип никогда не бывал в театре (в Блэкстебл иногда заглядывали жалкие странствующие труппы, но священник не посещал спектаклей, боясь осквернить свой сан и считая театр зрелищем для черни); теперь юноша страстно увлекся сценой. Переступая порог маленького, убогого, плохо освещенного театрала, он испытывал трепет. Вскоре он уже хорошо знал небольшую труппу и по распределению ролей мог заранее угадать характеры действующих лиц, но это его не смущало. Для него на сцене шла подлинная жизнь. Жизнь странная, мрачная и мучительная, в которой мужчины и женщины показывали безжалостному взору зрителя все зло, которое таилось у них в душе: за красивой внешностью гнезился разврат; добродетель служила маской для тайных пороков; люди, казалось бы, мужественные трепетали от малодушия; честные были продажными, целомудренные — похотливыми. Вас словно приводили в комнату, где прошлой ночью шла оргия; окна с утра еще не открывались, воздух был пропитан запахом прокисшего пива, табака и светильного газа. Тут было не до смеха. Разве изредка усмехнешься над участью глупца или лицемера. Герои изъяснялись жестокими словами,— казалось, они исторгнуты из их сердец стыдом и страданиями.

Филипа увлекали эти низменные страсти. Он словно видел мир заново, по-другому, и ему не терпелось познать этот мир. После спектаклей они заходили с Хейуордом

в пивную, где были свет и тепло, они съедали по бутерброду, запивая его стаканом пива. Кругом сидели, болтая и смеясь, компании студентов, а за некоторыми столиками — целые семьи: отец, мать, сыновья и дочь; порою дочь отпускала острое словцо, и отец откидывался на стуле, хохоча от души. Все тут выглядело мило и безобидно, дышало каким-то домашним уютom, но Филип не замечал ничего вокруг. Мысли его все еще были поглощены спектаклем.

— Ведь это и есть жизнь, правда? — говорил он возбужденно. — Знаете, я, кажется, не смогу здесь дольше оставаться. Хочется уехать в Лондон и жить по-настоящему. Хочется испытать все. Мне так надоело готовиться к жизни — пора наконец начать жить.

Иногда Хейуорд предоставлял Филипу добираться до дому одному. Он никогда толком не отвечал на жадные расспросы Филипа, отделяваясь глуповатым смешком и намекая на какую-то любовную интрижку; цитировал строчки Россетти и как-то показал Филипу сонет, в котором упоминались страсть и багрец, меланхолия и пафос, — и все это посвящалось некой молодой даме по имени Труда. Хейуорд любил окружать свои пошлые, незамысловатые похождения ореолом поэзии, воображая, будто ничем не уступает Периклу и Фидию, раз называет свою подружку греческим «*hetaira*»¹, а не более грубым и точным английским словом. Однажды днем любопытство привело Филипа в переулок возле старого моста, застроенный опрятными белыми домиками с зелеными ставнями, где, по словам Хейуорда, жила его Труда; но из дверей выглядывали женщины с хищными лицами и накрашенными щеками и зывали его. Филипа охватил страх, и он в ужасе бежал от их грубых и цепких объятий. Ему так хотелось познать жизнь, что он чувствовал себя смешным, не испытав еще в свои годы того, что, как писали в книгах, было самым важным в человеческой жизни; но, обладая злосчастным даром видеть вещи такими, какие они есть, он отступал перед действительностью, которая так резко отличалась от его идеала.

Он еще не знал, какую бескрайнюю, каменистую, полную опасности пустыню приходится преодолеть путешественнику по жизни, прежде чем он придет к примирению с действительностью. Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива, — иллюзия тех, кто давно расстался с юностью; молодые знают, сколько им приходится испытывать

¹ Гетера.

горя, ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства, а придя в столкновение с реальностью, они чувствуют, как она бьет их и ранит. Молодежи начинает казаться, что она стала жертвой какого-то заговора: книги, подобранные для них взрослыми, где все так идеализировано, разговоры со старшими, которые видят прошлое сквозь розовую дымку забвения,— все это готовит их к жизни, совсем не похожей на действительность. Молодым приходится открывать самим, что все, о чем они читали и о чем им твердили,— ложь, ложь и ложь; а каждое такое открытие — еще один гвоздь, пронзающий юное тело, распятое на кресте человеческого существования. Удивительнее всего, что тот, кто сам пережил горькое разочарование, в свою очередь, помимо воли, поддерживает лживые иллюзии у других. Для Филипа не могло быть ничего вреднее дружбы с Хейуордом. Это был человек, который не видел жизни своими глазами, а постигал ее только через книги и был вдвойне опасен тем, что убедил себя в своей искренности. Он непритворно принимал свою похоть за возвышенные чувства, слабодушие — за непостоянство артистической натуры, лень — за философское спокойствие. Ум его, пошлый в своих потугах на тонченность, воспринимал все в чуть-чуть преувеличенном виде, расплывчато, сквозь позолоченный туман сентиментальности. Он лгал, не зная, что лжет, а когда другие в этом его упрекали, говорил, что ложь прекрасна. Словом, он был идеалист.

ГЛАВА 30

Филип потерял покой. Намеки Хейуорда смутили его воображение; душа его жаждала романтики.

Так он по крайней мере себя уверял.

К тому же в доме фрау Эрлин произошло событие, которое еще больше разожгло его интерес к женщине. Бродя по холмам в окрестностях города, он несколько раз встречал фрейлейн Цецилию — она гуляла в одиночестве. Поклонившись, он шел дальше и в нескольких шагах от нее встречал китайца. Филип не придавал этому значения, но однажды вечером, когда уже стемнело, он обогнал по пути домой две фигуры, которые шли, тесно прижавшись друг к другу. Услышав его шаги, они быстро отпрянули в разные стороны, и, хотя в темноте нельзя было их разглядеть, он узнал Цецилию и Суна. Их поспешное движение говорило о том, что раньше они шли под руку. Филип был озадачен.

Он никогда не обращал внимания на фрейлейн Цецилию. Это была невзрачная девушка с грубыми чертами лица. Ей не могло быть больше шестнадцати, ее длинные светлые волосы все еще были заплетены в косу. В тот вечер за ужином он посмотрел на нее с любопытством; последнее время фрейлейн Цецилия была не очень разговорчива за столом, но на этот раз обратилась к нему с вопросом:

— Где вы сегодня гуляли, герр Кэри?

— Я поднимался на Кенигсштуль.

— А я вот никуда не выходила,— почему-то сообщила она.— У меня болела голова.

Сидевший рядом с ней китаец повернул голову.

— Какая жалость,— сказал он.— Надеюсь, вам сейчас лучше?

Фрейлейн Цецилии было явно не по себе, она снова заговорила с Филипом.

— А по дороге вы встречали много народу?

Как и всегда, когда ему приходилось лгать, Филип густо покраснел.

— Нет, я не встретил ни души.

Ему показалось, что она вздохнула с облегчением.

Вскоре, однако, всем стало ясно, что между этими двумя существует какая-то близость: обитатели дома фрау профессорши стали замечать, как они шепчутся в темных углах. Престарелые дамы, сидевшие во главе стола, принялись обсуждать назревающий скандал. Фрау профессорша сердилась и нервничала. Она изо всех сил делала вид, что ничего не замечает. Близилась зима, и найти пансионеров было не так легко, как летом. Герр Сун был хорошим жильцом: он занимал две комнаты в первом этаже и за обедом выпивал бутылку мозельского. Профессорша брала с него по три марки за бутылку и неплохо на этом зарабатывала. Никто из других гостей не пил вина, а многие не пили даже пива. Не хотелось ей терять и фрейлейн Цецилию, чьи родители имели торговое дело в Южной Америке и хорошо оплачивали материнские заботы фрау профессорши; стоит ей написать о том, что происходит, дяде девушки, живущему в Берлине, и он немедленно увезет Цецилию. Фрау профессорша ограничилась тем, что за столом бросала на парочку суровые взгляды и, не смея грубить китайцу, отводила душу, грубя Цецилии. Но трем престарелым дамам этого было мало. Две из них были вдовами, а третья, голландка по национальности,— мужеподобной старой де-вой; они платили за пансион гроши, а хлопот доставляли хоть отбавляй, но зато были постоянными жилищками,

и с ними приходилось считаться. Они явились к фрау профессорше и заявили, что необходимы какие-то меры; дело принимало неприличный оборот, и пансион мог приобрести дурную славу. Фрау профессорша пыталась упрямствовать, сердиться, пустила в ход слезы, но три старые дамы одержали верх; почувствовав наконец прилив благородного негодования, фрау профессорша заявила, что сумеет положить этому конец.

После обеда она увела Цецилию к себе в спальню, чтобы серьезно с ней поговорить; к ее удивлению, девушка держалась вызывающе; она намерена вести себя так, как ей вздумается, и, если ей угодно ходить на прогулки с китайцем, кому какое дело? Фрау профессорша пригрозила написать дяде.

— Ну что ж, Onkel Heinrich¹ поместит меня на зиму в какой-нибудь семейный дом в Берлине, для меня это будет даже лучше. А герр Сун тоже переедет в Берлин.

Фрау профессорша расплакалась; слезы катились по ее шершавым, красным жирным щекам, а Цецилия только смеялась.

— Это значит, что зимой у вас будут пустовать три комнаты,— сказала она.

Тогда фрау профессорша решила применить другой метод. Она воззвала к лучшим чувствам фрейлейн Цецилии; она стала доброй, рассудительной, терпимой; она говорила с девушкой не как с ребенком, а как со взрослой женщиной. Она сказала, что все это не выглядело бы так страшно, если бы он не был китайцем — подумать только, мужчина с желтой кожей, плоским носом и маленькими пороссячьими глазками! Вот что ужасно. Даже подумать противно!

— Bitte, bitte²,— сказала Цецилия, немножко задыхаясь.— Я не желаю слушать о нем гадости.

— Но это же не серьезно? — ахнула фрау Эрлин.

— Я люблю его. Люблю его. Люблю его.

— Gott im Himmel!³

Фрау профессорша растерянно на нее уставилась; она то думала, что это детский каприз, невинное увлечение, но страсть, звучавшая в голосе девушки, выдавала ее с головой. Цецилия поглядела на нее пылающим взором, а потом, передернув плечами, вышла из комнаты.

¹ Дядя Генрих (нем.).

² Прошу вас, прошу вас (нем.).

³ Владыка небесный! (нем.).

Фрау Эрлин никому не обмолвилась ни словом о подробностях этой беседы, но спустя день или два пересаживала всех за столом. Герра Суна она попросила сесть рядом с собой, и тот сразу же согласился со свойственной ему вежливостью. Цецилия приняла этот новый распорядок равнодушно. Но, убедившись, что их отношения все равно известны, они словно совсем лишились стыда: перестали держать в секрете свои прогулки и каждый день после обеда открыто отправлялись в горы. Им было безразлично, что о них говорят. В конце концов даже профессор Эрлин потерял свою невозмутимость и настоял на том, чтобы его жена поговорила с китайцем. Она увела его к себе и принялась увещевать: он-де губит репутацию девушки, наносит урон всему дому, он и сам должен видеть, как предосудительно себя ведет. Но китаец улыбался и все отрицал; герр Сун ведать не ведал, о чем она толкует, он и не думал ухаживать за фрейлейн Цецилией, он никогда не ходил с ней гулять; все, что она рассказывает,— неправда, все до последнего слова.

— Ах, герр Сун, как вы можете так говорить? Вас столько раз видели вместе.

— Нет, вы ошибаетесь. Это неправда.

Он глядел на нее, не переставая улыбаться, показывая ровные белые зубки. Он был безмятежно спокоен. И продолжал все отрицать, отрицать с вежливым бесстыдством. В конце концов фрау профессорша вышла из себя и сказала, что девушка призналась, что любит его. Это на него нисколько не подействовало. Он по-прежнему улыбался!

— Чепуха! Чепуха! Все это неправда.

Фрау профессорша так ничего и не добилась. Тем временем испортилась погода: выпал снег, начались заморозки, а потом наступила оттепель и потянулась вереница безрадостных дней — прогулки перестали доставлять удовольствие. Однажды вечером после немецкого урока с профессором Филип задержался на минуту в гостиной, болтая с фрау Эрлин; в комнату торопливо вошла Анна.

— Мама, где Цецилия? — спросила она.

— Наверное, в своей комнате.

— Там темно.

Фрау профессорша вскрикнула и с тревогой поглядела на дочь. Ей пришла в голову та же мысль, что и Анне.

— Позвони Эмилию, — произнесла она охрипшим от волнения голосом.

Эмиль был тот увалень, который прислуживал за столом и выполнял почти всю работу по дому. Он явился.

— Эмиль, ступай в комнату герра Суна, войди туда без стука. Если там кто-нибудь есть, скажи, что ты пришел затопить печку.

Флегматичное лицо Эмиля не выразило удивления.

Не спеша, он спустился по лестнице. Фрау профессорша и Анна оставили двери открытыми и стали ждать. Вскоре они услышали, что Эмиль возвращается наверх, и позвали его.

— Там кто-нибудь есть? — спросила фрау профессорша.

— Да, герр Сун у себя.

— А он один?

Рот слуги растянулся в плутоватой улыбке.

— Нет, у него фрейлейн Цецилия.

— Какой срам! — вскричала фрау профессорша.

Эмиль широко осклабился.

— Фрейлейн Цецилия каждый вечер там. Она не выходит от него часами.

Фрау профессорша принялась ломать руки.

— Какой ужас! Почему же ты мне ничего не сказал?

— А мне-то какое дело? — ответил он, спокойно пожимая плечами.

— Наверно, они хорошо тебе заплатили. Пошел вон. Ступай.

Он неуклюже затопал к двери.

— Мама, они должны уехать, — сказала Анна.

— А кто будет платить аренду? Скоро надо вносить налоги. Легко говорить: они должны уехать. Если они уедут, я не знаю, чем расплачиваться по счетам. — Она повернулась к Филипу, заливаясь слезами. — Ах, герр Кэри, не говорите никому ни слова. Если фрейлейн Фёрстер, — это была голландка, старая дева, — если фрейлейн Фёрстер об этом узнает, она немедленно съедет. А если все разъедутся, придется закрыть дом. Мне не на что будет его содержать.

— Разумеется, я ничего не скажу.

— Если она останется, я не буду с ней разговаривать, — заявила Анна.

Фрейлейн Цецилия вовремя пришла ужинать, но щеки ее были румянее обычного, а лицо выражало упрямство; герр Сун, однако, долго не показывался, и Филип уже решил, что он струсил. Наконец он пришел и, широко улыбаясь, извинился за опоздание. Как всегда, он заставил фрау профессоршу выпить бокал своего мозельского; он предложил вина и фрейлейн Фёрстер. Было жарко: печь топилась целый день, а окна открывали редко. Эмиль дви-

гался по комнате, как медведь, но ухитрялся прислуживать быстро и аккуратно. Три старые дамы сидели молча, всем своим видом выражая осуждение; фрау профессорша еще не успела прийти в себя, супруг ее был молчалив и озабочен. Беседа не клеилась. Знакомые лица показались сегодня Филипу какими-то зловеждими, все словно преобразилось при свете двух висячих ламп; на душе у него была тревога. Встретившись взглядом с Цецилией, он прочел в ее глазах ненависть и вызов. Духота становилась невыносимой. Казалось, что плотская страсть этой пары волнует всех присутствующих, что самый воздух дышит похотью Востока, благовонными курениями, тайными пороками. Филип ощущал, как кровь пульсирует у него в висках. Он не мог понять охватившего его чувства: в нем было что-то томящее, но в то же время отталкивающее и страшное.

Так продолжалось несколько дней. Атмосфера была отравлена противоестественной страстью, нервы у всех были напряжены до предела. Один только герр Сун оставался невозмутимым; он так же улыбался и был таким же вежливым, как всегда; трудно было сказать, что означало его поведение: торжество более высокой цивилизации или презрение Востока к побежденному Западу. Цецилия вела себя дерзко. В конце концов даже фрау профессорша не смогла этого долгие вынести. Профессор Эрлин с грубой прямоотой объяснил ей возможные последствия этой связи, протекавшей у всех на глазах; фрау профессорша пришла в ужас: она увидела, что неминуемый скандал погубит ее доброе имя и репутацию пансиона. Слепленная погоней за наживой, она почему-то никогда не задумывалась над такой возможностью; теперь она совсем потеряла голову от страха, и ее с трудом удержали от того, чтобы она тут же не выбросила девушку на улицу. Только благодаря здравому смыслу Анны удалось предотвратить открытый скандал; было написано осторожное письмо берлинскому дядюшке: ему предлагали взять Цецилию к себе.

Но, решившись расстаться с двумя жильцами, фрау профессорша не смогла устоять перед искушением дать волю своему бешенству, которое она так долго сдерживала. Теперь-то она могла выложить Цецилии все, что у нее накопело.

— Я написала твоему дяде, Цецилия, чтобы он тебя забрал,— сказала она.— Я больше не могу держать тебя у себя в доме.

Ее маленькие круглые глаза засверкали, когда она заметила, как побледнела девушка.

— Стыда у тебя нет. Бесстыдница,— сказала она и стала осыпать девушку ругательствами.

— Что вы написали дяде Генриху? — спросила та, сразу же потеряв всю свою невозмутимость.

— Ну, знаешь, об этом он скажет тебе сам. Завтра я жду от него ответа.

На следующий день она объявила Цецилии за ужином, чтобы унижить ее перед всеми:

— Я получила от твоего дяди письмо. Ты сегодня же уложишь вещи, и наутро мы посадим тебя в поезд. Дядя встретит тебя в Берлине на Центральном вокзале.

— Хорошо.

Герр Сун улыбался госпоже профессорше, глядя ей прямо в глаза, и, невзирая на ее протесты, налил ей бокал вина. Фрау профессорша ела в тот вечер с завидным аппетитом. Но ее торжество было преждевременным. Ложась спать, она позвала слугу.

— Эмиль, если сундук фрейлейн Цецилии уложен, ты сейчас же снесешь его вниз. Носильщик придет за ним перед завтраком.

Слуга ушел, но сразу же вернулся.

— Фрейлейн Цецилии нет в комнате и ее чемодана тоже.

Фрау профессорша с воплем кинулась в комнату девушки: на полу стоял запертый и стянутый ремнями сундук, но чемодан исчез; исчезли также пальто и шляпа фрейлейн Цецилии. На туалете было пусто. Тяжело дыша, фрау профессорша бросилась вниз, в комнаты китайца; лет двадцать ей не доводилось бегать так проворно; Эмиль кричал ей вдогонку, чтобы она поостереглась и не свалилась с лестницы. Она ворвалась к герру Суну без стука. Комнаты были пусты. Вещей его тоже не было, и раскрытая дверь в сад позволяла догадаться, как их вынесли. В конверте на столе лежали деньги за пансион и на оплату дополнительных расходов. Внезапно лишившись сил, фрау профессорша со стоном плюхнулась на диван. Сомнений не было. Парочка сбежала. Эмиль был бесстрастен и равнодушен, как всегда.

ГЛАВА 31

Хейурд уже целый месяц твердил, что завтра уезжает на юг, но откладывал отъезд с недели на неделю: ему было лень собирать вещи, и его страшила дорожная скука; наконец под самое рождество его выжили приготовления к празднику. Самая мысль об увеселениях этих тевтонов была ему невыносима. Мороз подирал по коже, когда

он думал об их шумном, горластом празднестве, и, стремясь от него улизнуть, он решил пуститься в путь в самый сочельник.

Его отъезд не опечалил Филипа: он был человек последовательный, и его раздражало, когда кто-нибудь не знал, чего он хочет. Хотя он и находился под сильным влиянием Хейурда, он никак не мог согласиться с ним, что нерешительность — свидетельство тонкой душевной организации; его злила усмешка, с которой Хейурд взирал на его прямолинейность. Они стали переписываться. Хейурд отлично писал письма и, зная за собой этот дар, не жалел на них сил. Он был восприимчив к красоте и в своих письмах из Рима умел передать тонкий аромат Италии. По его мнению, столица древних римлян была чуть-чуть вульгарна — эпоха упадка Римской империи была куда благороднее; но особенно близок был ему папский Рим, и в его изощренно-отточенных фразах оживала изысканная прелесть стиля рококо. Он писал о старинной церковной музыке и об Альбанских горах, о томящем запахе ладана и о прелести ночных улиц в дождливую пору, когда мостовая блестит в таинственном свете уличных фонарей. Может быть, он переписывал свои изящные письма по нескольку раз, адресуя их разным приятелям. Он не представлял себе, как волновали эти письма Филипа; жизнь стала казаться ему такой унылой. С наступлением весны Хейурд стал изливаться в дифирамбах Италии. Он звал туда Филипа. Оставаться в Гейдельберге было пустой тратой времени. Немцы — люди грубые, а жизнь в Германии так тривиальна; можно ли обрести величие духа, глядя на чопорный ландшафт? В Тоскане весна пригоршнями рассыпала цветы, а Филипу всего девятнадцать лет; пусть он приедет — они пойдут бродить по горным селениям Умбрии. Звучные итальянские слова отзывались в сердце Филипа. Цецилия и ее любовник тоже поехали в Италию. Вспоминая о них, Филип испытывал непонятное беспокойство. Он проклинал судьбу за то, что у него не было денег на путешествие: он знал, что дядя ни за что не пошлет ему больше пятнадцати фунтов в месяц, о которых они договорились. Да и эти деньги он тратил не слишком-то разумно. Плата за пансион и за уроки поглощала их почти целиком, а общество Хейурда обходилось ему недешево. Хейурд часто подбивал его отправиться куда-нибудь подальше на прогулку, сходить в театр или предлагал распить бутылочку винца, когда деньги Филипа уже были истрачены; юношеское легкомыслие не позволяло ему признаться приятелю, что он не может разрешить себе такую роскошь.

К счастью, письма Хейурда приходили довольно редко, и в промежутках между ними Филип продолжал трудолюбиво заниматься. Он был принят в университет и ходил на лекции. Куно Фишер находился на вершине славы и читал в ту зиму блестящий курс о Шопенгауэре. Лекции Куно Фишера стали для Филипа введением в философию. Обладая практическим умом, он с трудом разбирался в абстракциях, но неожиданно почувствовал интерес к метафизике; порой у него захватывало дух: эти упражнения напоминали ему канатоходца, показывающего опасные трюки над пропастью,—так это было увлекательно. Пессимизм шопенгауэровской философии покорял его молодой ум; он поверил, что мир, в который он готов вступить, был юдолью безысходной скорби и мрака. Тем не менее он горел желанием вступить в этот мир, и, когда миссис Кэри написала ему по поручению опекуна, что пора возвращаться в Англию, он с радостью согласился. Теперь ему предстояло решить, кем он хочет стать. Если он уедет из Гейдельберга в конце июля, они смогут в августе обсудить его дела, а осенью он начнет устраиваться на новом поприще.

День его отъезда был уже назначен, когда он получил новое письмо от миссис Кэри. Она напомнила ему о мисс Уилкинсон, благодаря которой он попал в дом фрау Эрлин; мисс Уилкинсон собиралась погостить несколько недель в Блэкстебле. Она должна сесть на пароход во Флашинге в такой-то день, и если он тронется в путь одновременно с нею, то поможет ей в дороге и они приедут в Блэкстебл вместе. Застенчивость заставила Филипа сразу же написать, что он выедет не раньше чем через два дня после мисс Уилкинсон. Он представлял себе, как он будет ее разыскивать, как неловко ему будет подойти к незнакомой женщине и спросить, она это или не она (так легко было ошибиться и услышать в ответ грубость), как трудно будет решить в поезде, надо ли поддерживать с ней разговор или можно не обращать на нее внимания и читать книгу.

Наконец он простился с Гейдельбергом. Последние три месяца он думал только о будущем, а потому уезжал без сожаления. Он так и не понял, что был там счастлив. Фрейлейн Анна подарила ему «Der Trompeter von Säckingen»¹, а он оставил ей на память томик Уильяма Морриса. Но оба они были люди разумные и так и не попытались прочесть эти книги.

¹ «Зекингенский трубач» (нем.).

Увидев дядю и тетю, Филип был удивлен. Раньше он не замечал, что они такие старые. Священник встретил его с обычным — впрочем, в меру дружелюбным — равнодушием. Он еще больше потолстел, полысел и поседел. Филип теперь знал, что дядя — человек ничтожный. Черты его лица говорили о безволии и самовлюбленности. Тетя Луиза нежно обняла Филипа и расцеловала его со слезами радости. Филип был тронут и смущен; прежде он не сознавал, как горячо она его любит.

— Время тянулось без тебя так медленно,— сказала она сквозь слезы.

Она гладила его руки и заглядывала ему в лицо счастливыми глазами.

— Ты вырос. Ты теперь настоящий мужчина.

На его верхней губе чуть пробивались усы. Он купил бритву и время от времени очень осторожно сбрасывал пушок с гладкого подбородка.

— Мы так по тебе скучали,— сказала тетя. А потом робко, прерывающимся голосом спросила: — Ты рад, что вернулся домой?

— Да, конечно.

Она была так худа, что выглядела почти прозрачной; руки, которыми она обвила его шею, были хрупки, как косточки цыпленка, а ее увядшее личико покрыто густой сетью морщин. Серые кудряшки, которые она все еще носила по моде своей юности, придавали ей странный, трогательный вид; ее маленькое высохшее тело было как осенний лист — казалось, его унесет первый резкий порыв ветра. Филип понял, что эти два маленьких, незаметных человека уже отошли от всего; они принадлежали к прежнему поколению и теперь терпеливо, с какой-то тупой покорностью ожидали смерти; и он, в расцвете молодости и сил, стораю от жажды необыкновенных приключений, с ужасом глядел на эти зря прожитые жизни. Эти люди ничего не свершили, и, когда уйдут, от них не останется и следа. Филип почувствовал острую жалость к тете Луизе и внезапно понял, что любит ее за то, что она любит его.

В комнату вошла мисс Уилкинсон, которая сперва из деликатности не показывалась, чтобы дать мистеру и миссис Кэри возможность поздороваться с племянником наедине.

— Познакомься с мисс Уилкинсон, Филип,— сказала миссис Кэри.

— Блудный сын вернулся под отчий кров,— произнесла та, протягивая руку.— Я принесла блудному сыну розу в петлицу.

С веселой улыбкой она приколола к лацкану Филипа цветок, сорванный ею в саду. Филип покраснел и почувствовал себя неловко. Он знал, что мисс Уилкинсон — дочь священника, у которого когда-то был помощником дядя Уильям. Дочерей священников он повидал на своем веку немало; все они носили плохо сшитые платья и грубую обувь. Одевались они, как правило, во все черное (в детские годы Филипа жены и дочери священнослужителей избегали ярких нарядов), волосы причесывали кое-как и распространяли вызывающий запах туго накрахмаленного белья. Женственность считалась у них чем-то неприличным; все они, старые и молодые, были похожи друг на друга и воинственно религиозны. Близость к церкви побуждала их смотреть на все остальное человечество властно и несколько высоко.

Мисс Уилкинсон выглядела совсем иначе. На ней было платье из белого муслина с узором из серых цветов, на ногах ажурные чулки и остроносые туфли на высоких каблуках. Неопытному Филипу показалось, что одета она очень нарядно,— он не понимал, что ее платье отдает дешевым шиком. Волосы ее были тщательно причесаны, и посреди лба красовался туго закрученный локон — черный как смоль, жесткий и блестящий; казалось, ничто не может привести его в беспорядок. Глаза у нее были большие и черные, а нос слегка орлиный; в профиль она напоминала хищную птицу, однако, если смотреть на нее спереди, казалась даже привлекательной. Она часто улыбалась, но рот у нее был большой, и ей приходилось прятать слишком крупные и желтые зубы. Но больше всего Филипа смутило то, что мисс Уилкинсон была густо напудрена: он придерживался весьма строгих взглядов на то, как должна вести себя женщина, и считал, что даме неприлично пудриться; однако мисс Уилкинсон, безусловно, была леди: ведь отец ее принадлежал к духовному званию, а всякий священник — джентльмен.

Филип решил, что мисс Уилкинсон ему определенно не нравится. Говорила она, неизвестно почему, с легким французским акцентом, хотя родилась и воспитывалась в самом сердце Англии. Ее улыбка показалась ему жеманной, ее кокетливые манеры его раздражали. Дня три он держался с ней сдержанно и враждебно, но мисс Уилкинсон этого как будто не замечала. Она была сама приветливость. Все ее

речи были обращены почти к одному Филипу, и ему льстило, что она постоянно спрашивала его мнение. Она умела его рассмешить, а Филип был равнодушен к людям, которые его забавляли; он и сам иногда любил сострить и радовался, встретив благодарного слушателя. А у священника и у миссис Кэри доставало чувства юмора; они не смеялись, когда он шутил. Постепенно Филип привык к мисс Уилкинсон, перестал ее стесняться, и она начала ему нравиться; он уже находил ее французский акцент пикантным; к тому же на вечеринке у доктора она была одета куда лучше других. Ее синее фуляровое платье в крупную белую горошину произвело фурор, и Филипу это было приятно.

— Я уверен, что они вас осуждают,— сказал он ей со смехом.

— Всю жизнь мечтала, чтобы меня принимали за падшую женщину,— ответила она.

Как-то раз, когда мисс Уилкинсон была в своей комнате, Филип спросил тетю Луизу, сколько их гостей лет.

— Милый, никогда не спрашивай о возрасте дамы. Во всяком случае, она слишком стара, чтобы ты мог на ней жениться.

Священник вяло усмехнулся.

— Она, конечно, не девочка,— сказал он.— Была почти взрослой, когда мы жили в Линкольншире, а с тех пор лет двадцать прошло! Она тогда уже заплетала косу.

— Ей могло быть каких-нибудь десять лет,— заметил Филип.

— Ну, нет, куда больше,— сказала тетя Луиза.

— Пожалуй, ей было около двадцати,— настаивал священник.

— Нет, Уильям, шестнадцать, от силы — семнадцать.

— Значит, теперь ей уже за тридцать,— заключил Филип.

В эту минуту мисс Уилкинсон вприпрыжку сбежала по лестнице, напевая модную песенку; на ней была шляпка. Молодые люди собирались на прогулку, и мисс Уилкинсон протянула ему руку, чтобы он застегнул ей перчатку. Он это сделал довольно неуклюже. Ему было неловко, хотя и хотелось быть галантным. Теперь они уже разговаривали непринужденно и, гуляя, болтали обо всем на свете. Она рассказывала Филипу о Берлине, он ей — о годе, проведенном в Гейдельберге. Он говорил, и подробности, которым он прежде не придавал значения, приобретали новый смысл: он описал всех жильцов фрау Эрлин, а споры Хейворда с Уиксом, которые в свое время казались ему такими

интересными, чуть-чуть извратил, придав им какую-то нелепость. Смех мисс Уилкинсон льстил ему.

— А вас надо бояться, — сказала она. — Вы такой насмешник.

Потом она шутливо спросила, не было ли у него в Гейдельберге романов. Не задумываясь, он честно ответил, что не было, но она не хотела ему верить.

— Какой вы скрытный! — сказала она. — Кто же не заводит романов в ваши годы?

Он покраснел и рассмеялся.

— Вы слишком любопытны, — сказал он.

— Видите, я так и думала, — с торжеством засмеялась она. — Смотрите, как вы покраснели!

Ему было приятно, что она считает его донжуаном; он перевел разговор на другую тему, намекая тем самым, что ему есть что скрывать. Он сердился на себя за то, что у него не было любовных походов. Просто не представилось подходящего случая.

Мисс Уилкинсон была недовольна своей участью. Ее возмущало, что приходится зарабатывать себе на хлеб, и она рассказала Филипу длинную повесть о каком-то дяде по материнской линии, который должен был оставить ей наследство, но вместо этого женился на своей кухарке и изменил завещание. В родительском доме ее будто бы окружала роскошь, и она сравнивала свое нынешнее зависимое положение с былой жизнью в Линкольншире, где к ее услугам были лошади для верховой езды и карета. Филип был несколько озадачен, когда, упомянув об этом тете Луизе, услышал, что, когда она познакомилась с Уилкинсонами, у них были всего-навсего маленькая тележка и пони; тетя Луиза слышала и о богатом родственнике, но, поскольку он был женат и стал отцом семейства задолго до рождения Эмили, вряд ли та могла возлагать большие надежды на его наследство. О Берлине, где она сейчас служила, мисс Уилкинсон не могла сказать ничего хорошего. Жалуясь на пошлую жизнь в Германии, она сравнивала ее с блеском Парижа, где провела несколько лет. Она не уточняла, сколько именно. Там она служила гувернанткой в семье молодого портретиста, женатого на богатой еврейке, и в их доме встречала немало знаменитостей. Филип был потрясен громкими именами, которые она называла. В доме частенько бывали актеры «Комеди Франсез», и Коклен, сидя рядом с ней за обедом, говорил, что никогда не встречал иностранцев, которые так хорошо говорили бы по-французски. Бывал у них и Альфонс Доде, который подарил ей экземпляр

«Сафо»; он обещал надписать ей книгу, но она позабыла ему об этом напомнить. Тем не менее книга ей дорога, и она даст прочесть ее Филипу. Бывал у них и Мопассан. Мисс Уилкинсон залилась серебристым смехом и многозначительно взглянула на Филипа. Какой мужчина и какой писатель! О Мопассане Филипу рассказывал и Хейуорд, так что его репутация была Филипу известна.

— Он за вами ухаживал? — спросил Филип.

Слова эти как-то странно застревали у него в горле, но он их все же выговорил. Мисс Уилкинсон ему все больше нравилась, и разговор с ней его занимал, но он все-таки не мог себе представить, чтобы за ней кто-нибудь ухаживал.

— Что за вопрос! — воскликнула она. — Бедненький Ги не пропускал ни одной юбки. Это вошло у него в привычку, он не мог с собою сладить.

Она вздохнула, будто с нежностью вспоминала прошлое.

— Ах, какой это был обаятельный человек, — прошептала она.

Будь у Филипа больше жизненного опыта, он бы представил себе истинные обстоятельства этой встречи: знаменитого писателя пригласили на семейный обед; чинно входит гувернантка с двумя рослыми воспитанницами; ее представляют:

— Notre Miss Anglaise ¹.

— Mademoiselle... ²

А затем следовал обед, за которым «мисс» сидела, не произнося ни слова, в то время как знаменитый писатель болтал с хозяином и хозяйкой.

Но воображение молодого человека рисовало куда более романтическую картину.

— Расскажите мне о нем, — попросил Филип.

— Мне нечего рассказывать, — призналась она чисто-сердечно, но сказала это таким тоном, словно ей не хватило бы и трех томов, чтобы поведать все трагические подробности. — Много будете знать, скоро состаритесь.

Она стала описывать ему Париж. Ах, как она любила Большие бульвары и Булонский лес! У каждой улицы там своя прелесть, а деревья на Елисейских полях изящнее всех деревьев на свете. Они уселись на камне у живой изгороди, и мисс Уилкинсон с презрением поглядывала на статные вязы, росшие по краям дороги. А парижские театры! Какие пьесы, как играют артисты!.. Она часто

¹ Наша англичанка (*фр.*).

² Мадемуазель... (*фр.*)

сопровождала мадам Фойо, мать своих воспитанниц, когда та ездила примерять новые туалеты.

— Вот несчастье быть бедной! — воскликнула она. — Видеть прекрасные вещи — только в Париже умеют одеваться — и не быть в состоянии их купить! Бедная мадам Фойо, у нее такая отвратительная фигура. Портниха мне часто шептала: «Ах, мадемуазель, если бы у нас была ваша фигура...»

Филип заметил, что мисс Уилкинсон обладает пышными формами и очень этим гордится.

— Мужчины в Англии ужасное дурачье, — продолжала она. — Им важно только лицо. Французы — у них умение любить в крови — отлично знают, насколько важнее фигура.

Филип прежде никогда не думал о таких вещах, но теперь обратил внимание, что лодыжки у мисс Уилкинсон толстые и некрасивые. Он быстро отвел глаза.

— Вам надо поехать во Францию. Почему бы вам не провести годик в Париже? Вы бы выучили французский язык, и там вас сумели бы *déniaiser*¹.

— Что? — спросил Филип.

Она лукаво засмеялась.

— Загляните в словарь. Англичане не умеют обходиться с женщинами. Они слишком робеют. Робость в мужчине ужасно комична. И ухаживать они тоже не умеют. Даже комплимента толком женщине не сделают.

Филип чувствовал себя дурак дураком. Мисс Уилкинсон явно ждала, что он станет вести себя по-другому; он и сам был бы рад сказать что-нибудь приятное и остроумное, но ему ничего не приходило в голову, а если и приходило, он так боялся показаться смешным, что не решался открыть рот.

— Люблю Париж! — вздохнула мисс Уилкинсон. — Но — увы! — пришлось переехать в Берлин. Я жила у Фойо, пока девочки не вышли замуж, а потом не могла найти другого места; тут подвернулась служба в Берлине, у родственников мадам Фойо, вот я и согласилась. В Париже у меня была маленькая квартирка на улице Бредá на пятом этаже; нельзя сказать, что это приличный район, — знаете, там живут *ces dames*².

Филип кивнул головой: он лишь смутно догадывался, на что намекает мисс Уилкинсон, но боялся, что она сочтет его совсем простаком.

¹ Научить уму-разуму (*фр.*).

² Такие дамы (*фр.*).

— Но мне было все равно. *Je suis libre, n'est-ce pas?*¹— Она очень любила говорить по-французски и действительно говорила хорошо.— Как-то раз у меня там случилось забавное приключение...

Мисс Уилкинсон замолчала, и Филип стал упрашивать, чтобы она рассказала ему эту историю.

— Вы же скрываете от меня ваши приключения в Гейдельберге,— упрекнула его она.

— Они такие неинтересные,— возразил он.

— Что сказала бы миссис Кэри, если бы знала, о чем мы с вами болтаем?

— Уж не думаете ли вы, что я стану ей докладывать?

— Честное слово?

Когда он дал честное слово, она рассказала ему, как один начинающий художник, снимавший комнату этажом выше... Тут она прервала себя.

— Почему бы вам не заняться живописью? Вы так мило рисуете.

— Довольно посредственно.

— Предоставьте об этом судить другим. *Je m'y connais*² и думаю, что из вас выйдет большой художник.

— А вы представляете себе, какое лицо сделает дядя Уильям, когда я вдруг заявлю, что хочу поехать в Париж учиться живописи?

— Но вы же сами себе хозяин?

— Вы хотите заговорить мне зубы. Пожалуйста, рассказывайте, что сделал ваш художник.

Рассмеявшись, мисс Уилкинсон продолжала свой рассказ. Молодой художник встречался ей на лестнице, но она не обращала на него внимания. Она только заметила, что у него красивые глаза и что он очень вежливо снимает перед ней шляпу. Но в один прекрасный день она нашла под дверью письмо. Оно было от «него». Он писал, что влюблен в нее уже давно и нарочно поджидает ее на лестнице. Ах, какое это было очаровательное письмо! Разумеется, она не ответила, но какая женщина не была бы польщена? А на следующий день пришло новое письмо. Изумительное, полное страсти, трогательное. Когда она снова встретила его на лестнице, она не знала, куда девать глаза. Письма приходили каждый день — теперь он просил свидания. Он писал, что придет *vers neuf heures*³, и она не знала, что делать.

¹ Я ведь свободна, правда? (*фр.*).

² Я в этом кое-что смыслю (*фр.*).

³ Часам к девяти (*фр.*).

Разумеется, это было невозможно, пусть он звонит сколько угодно, она ему все равно не откроет; но, когда она в смятении ждала звонка, он вдруг очутился перед нею. Она позабыла запереть за собой дверь.

— *C'était une fatalité...*¹

— А что было потом? — спросил Филип.

— На этом кончается мой рассказ, — ответила она, заливаясь смехом.

Филип помолчал. Сердце его стучало, в груди теснились незнакомые раньше чувства. Он представил себе эти случайные встречи на темной лестнице, восхищался смелостью писем — нет, он никогда бы на это не решился, — а потом увидел безмолвное, загадочное появление незнакомца. Вот это настоящая романтика!

— Какой у него был вид?

— Он был красив. *Charmant garçon*².

— Вы с ним все еще поддерживаете знакомство?

Задавая вопрос, Филип вдруг почувствовал легкое раздражение.

— Он обошелся со мной очень гадко. Все мужчины одинаковы. Все вы бессердечны, все как один!

— Право, не знаю, — смущенно пробормотал Филип.

— Пора домой, — сказала мисс Уилкинсон.

ГЛАВА 33

Филип никак не мог забыть рассказа мисс Уилкинсон. Правда, она оборвала его на половине, но то, чего она не досказала, было и так ясно, и Филип почувствовал, что он шокирован. Это могла себе позволить замужняя женщина — Филип прочел немало французских романов и знал, что во Франции такое поведение казалось делом обычным, — но мисс Уилкинсон была не замужем, англичанка и к тому же дочь священника. Потом его осенила мысль, что молодой художник, по-видимому, не первый и не последний ее любовник, и у него даже дух захватило; никогда еще он не пробовал взглянуть на мисс Уилкинсон с этой стороны; он и не представлял себе, что с ней можно завести роман. По своей наивности он так же мало сомневался в правдоподобии ее рассказа, как и во всем, что прочел в книгах; он злился, что с ним никогда не случалось таких удивительных

¹ Это был рок... (*фр.*)

² Прелестный мальчик (*фр.*).

приключений. Стыдно было подумать, что, если мисс Уилкинсон снова потребует отчета о его похождениях в Гейдельберге, ему нечего будет ей рассказать. Правда, Филип обладал некоторым воображением, но все же он не надеялся убедить ее, будто погряз в пороках: женщины обладали такой дьявольской интуицией — он читал и об этом! — и она с легкостью обнаружит, что он привирает. Он краснел как рак при мысли о том, что она станет посмеиваться над ним исподтишка.

Мисс Уилкинсон играла на пианино и пела слегка надтреснутым голосом романсы Массне, Бенжамена Годара и Огюсты Ольмес; Филип их слышал впервые; вдвоем они проводили за пианино долгие часы. Как-то раз она спросила, есть ли у него голос, и пожелала это проверить. Сказав, что у него приятный баритон, она предложила давать ему уроки. Сначала, застеснявшись, он было отказался, но она настояла на своем и стала заниматься с ним каждое утро после завтрака. Мисс Уилкинсон была врожденным педагогом, и он почувствовал, какая она отличная гувернантка. В ее преподавании были система и настойчивость. Хотя она так привыкла говорить с французским акцентом, что никогда уже об этом не забывала, с нее сходила вся ее слащавость, как только начинался урок. Тут ей было не до глупостей. У нее появлялся повелительный тон, она пресекала малейшее невнимание и корила за неаккуратность. Она знала свое дело и заставляла Филипа петь гаммы и вокализы.

Когда кончался урок, она без всякого усилия снова принималась зазывно улыбаться, голос ее опять становился мягким и вкрадчивым, но Филипу не так легко было перестать чувствовать себя учеником, как ей — учительницей. Новое обличье мисс Уилкинсон не совпадало с тем образом, который создали ее рассказы. Он стал приглядываться к ней внимательнее. Она куда больше нравилась ему по вечерам. Утром на ее лице отчетливо видны были морщины, да и кожа на шее казалась дряблой. Ему бы хотелось, чтобы она не выставляла свою шею напоказ, но погода стояла жаркая, и она носила блузки с большим вырезом. Ей нравилось одеваться в белые платья, но по утрам этот цвет был ей не к лицу. Вечером, надев нарядное платье и гранатовое ожерелье на шею, она казалась почти хорошенькой, кружева на груди и у локтей придавали ей мягкую женственность, а запах духов был волнующим и напоминал о дальних странах (в Блэкстебле никто не употреблял ничего, кроме одеколона, да и то лишь по воскресеньям или разве еще от

головной боли). Мисс Уилкинсон тогда и в самом деле выглядела совсем молодой.

Филипа очень занимал ее возраст. Он складывал двадцать и семнадцать и никак не мог удовлетвориться итогом. Не раз он допрашивал тетю Луизу, почему она думает, что мисс Уилкинсон уже тридцать семь лет: на вид ей не дашь больше тридцати; к тому же иностранки, как известно, стареют быстрее англичанок, а мисс Уилкинсон так долго жила за границей, что может сойти за иностранку. Лично он не дал бы ей больше двадцати шести.

— Нет, ей куда больше,— отвечала тетя Луиза.

Филип не верил своим дяде и тете. Им помнилось отчетливо лишь то, что мисс Уилкинсон носила косу, когда они жили в Линкольншире. Но ей могло быть тогда лет двенадцать: дело было так давно, а на память священника вообще нельзя было полагаться. Они утверждают, что с тех пор прошло двадцать лет, но люди любят округлять; может быть, прошло всего лет восемнадцать, а то и семнадцать. Семнадцать плюс двенадцать — всего-навсего двадцать девять, а это, черт возьми, еще не старость. Клеопатре было сорок восемь, когда Антоний ради нее отрекся от власти над миром.

Лето было чудесное. Изю дня в день стояла жаркая, безоблачная погода, но зной смягчался близостью моря; от него шла бодрящая свежесть, и августовское солнце совсем не утомляло. В саду был бассейн, в нем журчал фонтан и росли лилии, а у самой поверхности воды грелись на солнце золотые рыбки. После обеда Филип и мисс Уилкинсон, захватив из дому пледы и подушки, устраивались на лужайке в тени высокой изгороди из роз. Там они читали, болтали и курили — священник не выносил табачного дыма; он считал курение отвратительной привычкой и часто повторял к месту и не к месту, что стыдно быть рабом своих привычек. При этом он забывал, что сам был рабом своего пристрастия к чаю.

Однажды мисс Уилкинсон дала Филипу «*La vie de Bohème*»¹. Она нашла книгу случайно, роясь в шкафу священника: мистер Кэри купил ее у букиниста заодно с другими книгами и целых десять лет не открывал.

Филип принялся читать увлекательный, плохо написанный и нелепый шедевр Мюрже и сразу почувствовал его обаяние. Его покорила пестрая картина беззаботного недоедания, живописной нужды, не слишком целомудренной, но

¹ «Жизнь богемы» (фр.).

такой романтической любви и трогательная смесь высоких чувств и обиденного. Родольф и Мими, Мюзетта и Шонар! Одеты в причудливые костюмы времен Луи-Филиппа, они бродят по узким улицам Латинского квартала, находя убежище то в одной, то в другой мансарде, улыбаясь и проливая слезы, беспечные и безрассудные. Кто перед ними устоит? Лишь перечтя эту книгу в зрелости, вы увидите, как грубы их развлечения и пошлы их души, тогда вы почувствуете, как никчемн этот веселый хоровод, поймете, до чего ничтожны они как художники и как люди.

Филип бредил этой книгой.

— Разве вы не хотели бы поселиться в Париже вместо Лондона? — спросила мисс Уилкинсон, посмеиваясь над его восхищением.

— Сейчас уже поздно, даже если бы я и хотел, — ответил он.

Целые две недели после того, как он вернулся из Германии, они с дядей обсуждали его будущее. Он окончательно отказался поступать в Оксфорд, и сейчас, когда исчезли все виды на получение стипендии, даже мистер Кэри пришел к выводу, что Филипу это не по средствам. Ему досталось от родителей всего две тысячи фунтов, и, хотя они были помещены в закладные, приносившие пять процентов годовых, не мог свести концы с концами, не трогая основного капитала. Теперь его состояние немного уменьшилось. Было бы глупо целых три года тратить по двести фунтов — университетская жизнь в Оксфорде обошлась бы ему не дешевле — и в конце концов по-прежнему не иметь доходной профессии. Он горел нетерпением отправиться в Лондон. Миссис Кэри считала, что для джентльмена были возможны только четыре профессии: армия, флот, суд и церковь. К этому списку она соглашалась добавить медицину, поскольку ее зять был врачом, но не могла забыть, что в дни ее молодости никто не считал врача джентльменом. Первые две профессии для Филипа были закрыты, а священником он сам наотрез отказывался стать. Оставалась профессия юриста. Местный врач заметил, что многие джентльмены идут теперь в инженеры, но миссис Кэри решительно воспротивилась.

— Мне не хотелось бы, чтобы Филип стал ремесленником, — сказала она.

— Нет, он должен получить настоящую профессию, — откликнулся и священник.

— Почему бы ему не сделаться врачом, как его отец?

— Ни за что, — сказал Филип.

Миссис Кэри этот отказ не огорчил. Адвокатура тоже как будто отпадала, поскольку он не собирался поступать в Оксфорд, а семейство Кэри было убеждено, что для успеха в этой области требовался диплом. В конце концов возникла мысль отдать его в учение к юристу. Было послано письмо Альберту Никсону — поверенному, который вел дела их семьи; вместе с блэкстеблским священником он был душеприказчиком покойного Генри Кэри; в письме спрашивали, не возьмет ли он Филипа в ученье. Через несколько дней пришел ответ, что у мистера Никсона нет вакансий и он решительно возражает против всей затеи в целом: юристов и так слишком много, и без капитала или связей в этой профессии невозможно пробиться выше должности старшего клерка; Филипу имеет смысл стать присяжным бухгалтером. Ни священник, ни его супруга понятия не имели, что это такое, да и Филип никогда не слышал о присяжных бухгалтерах. Но в следующем письме их поверенный объяснил, что рост современной торговли и промышленности и развитие акционерных обществ привели к созданию многочисленных бухгалтерских фирм для проверки расчетных книг и наведения в финансовых делах клиентов порядка, отсутствовавшего в старые времена. Несколько лет назад бухгалтеры получили королевские привилегии, и с тех пор с каждым годом эта профессия становилась все более уважаемой, процветающей и влиятельной. В бухгалтерской фирме, которая вот уже тридцать лет вела финансовые дела Альберта Никсона, как раз освободилась вакансия ученика, и ее готовы были предоставить Филипу за вознаграждение в триста фунтов стерлингов. Половина этой суммы возвращалась ему в течение пятилетнего обучения в виде жалованья. Будущее было не бог весть каким блестящим, но Филип сознавал, что ему надо на что-то решиться, а страстное желание жить в Лондоне побеждало все его сомнения. Священник запросил мистера Никсона, подходящая ли это профессия для джентльмена; мистер Никсон ответил, что после получения привилегий в бухгалтеры пошли люди, учившиеся в закрытых учебных заведениях и даже в университете; больше того, если работа Филипу не понравится и через год ему захочется уйти, Герберт Картер — так звали владельца бухгалтерской фирмы — готов вернуть половину денег, внесенных за учение. Это решило вопрос; условились, что Филип приступит к работе пятнадцатого сентября.

— У меня впереди целый месяц,— сказал Филип.

— И затем вы обретете свободу, а я вернусь к своему рабству,— заметила мисс Уилкинсон.

У нее был полуторамесячный отпуск, и она должна была уехать из Блэкстебла за день или за два до отъезда Филипа.

— Встретимся мы с вами когда-нибудь еще или нет? — добавила она.

— А почему бы нам не встретиться?

— Ах, не говорите об этом так прозаично. Никогда еще не видела более бесчувственного человека.

Филип покраснел: он боялся показаться мисс Уилкинсон молокососом. В конце концов она женщина молодая, иногда даже хорошенькая, а ему уже скоро двадцать лет; глупо только и делать, что беседовать об искусстве и литературе. Ему надо за ней поухаживать. Она столько говорила о любви. Она рассказывала ему о молодом художнике с улицы Бредá и о портретисте, в семье которого так долго жила в Париже: этот попросил ее позировать, но с первого же сеанса стал так назойливо к ней приставать, что ей пришлось придумывать всякие отговорки, чтобы не оставаться с ним наедине. Мисс Уилкинсон, по-видимому, привыкла к вниманию мужчин. Сейчас она выглядела очень мило в соломенной шляпке с большими полями: день был жаркий, самый жаркий за все лето,—и на верхней губе у нее выступили капельки пота. Он вспомнил фрейлейн Цецилию и герра Суна. Филипу никогда не нравилась Цецилия как женщина — уж очень она была некрасива; но задним числом эта история казалась очень романтической. Теперь вот и ему подвернулся случай завести интрижку. Мисс Уилкинсон была почти француженкой, и это придавало флирту с ней особую пикантность. Думая о мисс Уилкинсон по ночам в постели или же в саду над книгой, Филип чувствовал какое-то волнение, но стоило мисс Уилкинсон появиться, и роман с ней уже не казался ему таким заманчивым.

Во всяком случае, после того, что она ему рассказывала, ее вряд ли удивит, если он станет за ней ухаживать. Он подозревал, что она считает его просто чудачком и не понимает, почему он не делает никаких попыток; быть может, ему только кажется, но раза два за последние дни он прочел в ее глазах презрение.

— О чем вы задумались? — с улыбкой спросила мисс Уилкинсон.

— Не скажу,—ответил он.

Он думал, что ему надо тут же ее поцеловать, сразу! Интересно, хочет она этого или нет; и все же он не представлял себе, как можно взять да и поцеловать женщину — просто так, без всяких предисловий. Она еще подумает, что

он взбесился, даст ему пощечину или пожалуется дяде. Интересно, как начинал ухаживать за фрейлейн Цецилией герр Сун. Вот будет номер, если она скажет дяде; он знал дядюшку и не сомневался, что тот сразу же поделится новостью с доктором и Джозией Грейвсом — ну и болваном же будет тогда выглядеть Филип! Тетя Луиза не переставала твердить, что мисс Уилкинсон не меньше тридцати семи лет; он дрожал при мысли о том, что станет посмешищем всей округи, — чего доброго, еще скажут, будто она ему в матери годится!

— А все-таки о чем вы задумались? — улыбнулась мисс Уилкинсон.

— О вас, — храбро ответил он.

Во всяком случае, эти слова его ни к чему не обязывали.

— Что же вы обо мне думали?

— Вот и не скажу.

— Ах, негодник! — воскликнула мисс Уилкинсон.

Вот всегда так! Стоит ему собраться с духом, как она произносит слово, сразу напоминающее ему, что она — гувернантка. Когда он фальшиво поет гаммы, она тоже, шутя, зовет его негодником.

На этот раз он даже надулся.

— Прошу вас, — произнес он, — не обращайтесь со мной как с ребенком.

— Вы сердитесь?

— Очень.

— Я вовсе не хотела вас обидеть.

Она протянула руку, и он ее пожал. Несколько раз за последнее время, когда они прощались перед сном, ему чудилось, что она слегка пожимает его руку; сейчас в этом не могло быть сомнений.

Он не знал, как быть дальше. Наконец-то ему подвернулся удобный случай; он будет последним дураком, если не воспользуется им; но все было не так, как он себе представлял, — проще, прозаичнее. В книгах он часто встречал описания любовных сцен, в себе же он не ощущал ничего похожего на половодье чувств, изображаемое авторами романов; страсть не кружила ему голову, да и мисс Уилкинсон не была его идеалом: он часто представлял себе огромные синие глаза и белоснежную кожу неведомой красавицы; воображал, как погружает лицо в густые, волнистые пряди ее каштановых волос. Но разве можно было погрузить лицо в волосы мисс Уилкинсон — они всегда казались ему какими-то липкими. И все же хорошо было бы завести интрижку; он уже заранее ощущал законную гордость,

которую принесет ему эта победа. Он был обязан ее соблазнить. И он решил непременно поцеловать мисс Уилкинсон, правда не сейчас, а вечером: в темноте будет легче; ну а дальше все пойдет как по маслу. Решено: он ее сегодня же поцелует. Филип дал себе клятву, что он ее поцелует.

Филип выработал план кампании. После ужина он предложил ей пройтись по саду. Мисс Уилкинсон согласилась, и они стали прогуливаться. Филип нервничал. Неизвестно почему, разговор никак не принимал нужного направления; он решил раньше всего обнять ее за талию; но как это сделать, если она говорит о парусных состязаниях, назначенных на будущую неделю? Он коварно привел ее в самый темный уголок сада, но, когда они там очутились, мужество его покинуло. Потом они сели на скамейку, и стоило ему убедить себя, что настала решительная минута, как мисс Уилкинсон заявила, будто тут водятся ухвертки, и они двинулись дальше. Они снова обошли весь сад, и Филип дал себе слово, что перейдет в атаку, прежде чем они дойдут до дальней скамейки, но возле дома их окликнула с порога миссис Кэри:

— Не лучше ли вам, молодые люди, вернуться? Ночью прохладно, вы можете простудиться.

— Может, и в самом деле лучше пойти домой? — сказал Филип. — Я вовсе не хочу, чтобы вы простудились.

У него невольно вырвался вздох облегчения. Все равно сегодня ничего не выйдет. Но позже, в своей комнате, он страшно на себя обозлился. Ну и дурак! Он ничуть не сомневался, что мисс Уилкинсон ждала его поцелуя — зачем бы она пошла с ним в сад? Недаром она всегда повторяла, что только французы умеют ухаживать за женщинами. Филип читал французские романы. Будь он французом, он схватил бы ее в объятия, страстно объяснился в любви и впился губами в ее затылок. Непонятно, почему французы всегда целуют дам в затылок? Лично он не видел в затылках ничего привлекательного. Конечно, французам куда легче вести себя таким образом — один французский язык чего стоит! Филип никак не мог отделаться от ощущения, что на английском языке любовные признания звучат как-то нелепо. Сейчас он уже сожалел, что затеял осаду мисс Уилкинсон и ее добродетели; первые две недели они провели так весело, а теперь его гнетет вся эта история. Но он не намерен сдаваться, не то он потеряет к себе всякое уважение; Филип бесповоротно решил, что завтра вечером поцелует ее во что бы то ни стало.

Проснувшись на другое утро, он увидел, что идет дождь; первая его мысль была о том, что они не смогут вечером пойти в сад. За завтраком он был в отличном настроении. Мисс Уилкинсон передала через Мэри-Энн, что у нее болит голова и она останется в постели. Она спустилась только к вечернему чаю — бледная, в премиленьком капоте; но к ужину совсем поправилась, и за столом было очень весело. После молитвы мисс Уилкинсон заявила, что сразу ляжет спать, и, прощаясь, поцеловала миссис Кэри. Затем она повернулась к Филипу.

— Боже мой! — вскричала она. — Я чуть было не поцеловала и вас тоже.

— Почему же вы этого не сделали? — спросил он.

Она засмеялась и протянула ему руку. Он совершенно отчетливо почувствовал ее пожатие.

На следующий день в небе не было ни облачка, а сад после дождя был полон благоухания и прохлады. Филип пошел на пляж, а вернувшись домой после купания, пообедал за двоих. После обеда ожидали гостей, чтобы поиграть в теннис, и мисс Уилкинсон надела свое лучшее платье. Она в самом деле умела одеваться, и Филип не мог не заметить, как изящно она выглядела рядом с женой помощника священника и замужней дочерью врача. Она приколола две розы к корсажу и сидела в плетеном кресле возле корта, раскрыв красный зонтик, — ее лицо было очень выгодно освещено. Филип любил играть в теннис. Несмотря на хорошую подачу, ему приходилось играть у самой сетки, так как бегал он неуклюже; но там хромота не мешала ему, и он редко пропускал мяч. На этот раз он остался очень доволен тем, что выиграл все партии. Когда принесли чай, Филип, разгоряченный после игры, еще с трудом переводя дух, растянулся у ног мисс Уилкинсон.

— Вам идет спортивный костюм, — сказала она. — Вы сегодня очень мило выглядите.

Филип покраснел от удовольствия.

— Могу от души вернуть вам комплимент. Вы выглядите просто очаровательно.

Она улыбнулась и одарила его долгим взглядом.

После ужина Филип настоял на вечерней прогулке.

— Разве вы мало набегались за день? — спросила она.

— Ночью в саду так чудесно. Все небо в звездах.

Он был в превосходном настроении.

— Знаете, миссис Кэри бранила меня из-за вас, — сказала мисс Уилкинсон, когда они шли по огороду. — Она говорит, что мне не следует с вами флиртовать.

— А разве вы со мной флиртуете? Я и не заметил.

— Она пошутила.

— С вашей стороны было жестоко не поцеловать меня вчера вечером.

— Если бы вы только видели, как на меня взглянул ваш дядюшка!

— Только это вам и помешало?

— Я предпочитаю целоваться без свидетелей.

— Здесь никого нет.

Филип обнял ее за талию и поцеловал в губы. Она тихонько рассмеялась и не сделала попытки вырваться. Все получилось совершенно естественно. Филип был очень горд. Он сказал, что поцелует ее, и поцеловал. Это оказалось совсем просто—проще всего на свете. Жаль, что он не сделал этого раньше. Он поцеловал ее снова.

— Не надо,— сказала мисс Уилкинсон.

— Почему?

— Потому, что мне это нравится,— рассмеялась она.

ГЛАВА 34

На следующий день после обеда они снова вынесли к фонтану пледы, подушки и книги, но читать не стали. Мисс Уилкинсон устроилась поудобнее и раскрыла свой красный зонтик. Филип совсем перестал робеть, но сперва она не позволяла ему себя поцеловать.

— Вчера вечером я плохо себя вела,— сказала она.— Я даже уснуть потом не могла от угрызений совести.

— Какие глупости!— воскликнул он.— Я уверен, что вы спали как убитая.

— А что скажет ваш дядя, если узнает?

— Зачем ему знать?

Он наклонился к ней, и сердце его забилося.

— Почему вам хочется меня поцеловать?

Он знал, что ему следует ответить: «Потому, что я вас люблю». Но он не мог из себя этого выдать.

— А как вы думаете?— спросил он уклончиво.

Глаза у нее улыбались, и она дотронулась пальцами до его лица.

— Какая у вас нежная кожа,— прошептала она.

— Что вы, мне давно пора бриться,— ответил он.

Романтические объяснения давались ему с удивительным трудом. Он обнаружил, что молчание помогает ему

больше слов. Глаза у него умели выражать многое. Мисс Уилкинсон вздохнула.

— А я вам хоть немножко нравлюсь?

— Ужасно нравитесь.

Когда он снова сделал попытку ее поцеловать, она больше не сопротивлялась. Он прикидывался куда более влюбленным, чем был на самом деле, и ему удалось разыграть роль, на его взгляд, вполне успешно.

— Я вас начинаю бояться,— сказала мисс Уилкинсон.

— Вы пойдете гулять после ужина, да?— упрасивал он.

— Если вы пообещаете вести себя как следует.

— Я пообещаю вам все, что хотите.

Он зажигался от огня, который сам же в себе раздувал; за вечерним чаем веселье било в нем через край. Мисс Уилкинсон поглядывала на него с беспокойством.

— Пожалуйста, не смотрите на меня такими сияющими глазами,— сказала она ему позже.— Что подумает ваша тетушка?

— А мне все равно, что она подумает.

Мисс Уилкинсон тихонько рассмеялась от удовольствия. Сразу же после ужина он попросил ее:

— Я пойду выкурить папироску, составьте мне компанию.

— Да не мучай ты мисс Уилкинсон,— сказала миссис Кэри.— Не забудь, что она старше тебя, ей надо отдохнуть.

— Что вы, я с удовольствием пройду,— ледяным тоном отозвалась мисс Уилкинсон.

— После обеда гуляй, после ужина отдыхай,— назидательно произнес священник.

— Тетушка ваша очень мила, но иногда она действует мне на нервы,— сказала мисс Уилкинсон, как только они перешагнули через порог.

Филип тут же бросил зажженную папиросу и обнял ее. Она попыталась его отстранить.

— Вы же обещали вести себя как следует.

— Неужели вы думали, что я сдержу такое обещание?

— Не так близко от дома. Вдруг кто-нибудь выйдет.

Он повел ее на огород, где никто не мог появиться в этот час, и тут мисс Уилкинсон уже не испугалась ухверток. Он целовал ее с жаром. Его всегда удивляло, почему она совсем не нравилась ему по утрам и не слишком нравилась днем, но зато вечером его волновало малейшее прикосновение ее руки. Он произносил слова, которые ему и в голову бы не

пришли при свете солнца: он сам прислушивался к ним с удивлением и не без удовольствия.

— Оказывается, вы мастер ухаживать за дамами,— сказала она.

Он и сам так думал.

— Ах, если бы я мог выразить все, что у меня на сердце,— страстно прошептал он.

Все шло превосходно. Это была самая увлекательная игра, какую он знал, и прелесть ее заключалась в том, что он говорил почти искренне. Он только чуть-чуть преувеличивал. Его чрезвычайно занимало впечатление, которое его слова оказывали на мисс Уилкинсон. Ей явно пришлось сделать над собой усилие, когда она наконец предложила вернуться домой.

— Не уходите,— стал он упрашивать.

— Надо,— проговорила она.— Я боюсь.

Его вдруг осенило: он понял, как ему надо поступить.

— Я не могу идти домой. Посижу немного, приду в себя. У меня горит лицо. Спокойной ночи.

Он печально протянул ей руку, и она пожала ее без слов. Ему почудилось сдавленное рыдание. Это было великолепно! Когда, выждав положенное время и поскучав наедине с самим собой в темном саду, он вернулся в дом, мисс Уилкинсон уже отправилась спать.

После этого между ними возникли новые отношения. В ближайшие два дня Филип вел себя, как нетерпеливый любовник. Ему ужасно льстило, что мисс Уилкинсон в него влюблена: она объяснилась ему в этом и по-английски и по-французски. Она изливалась в комплиментах. Никто еще не говорил ему до нее, что у него прелестные глаза и чувственный рот. Его никогда особенно не интересовало, какая у него внешность, но теперь он при каждом удобном случае с удовлетворением разглядывал себя в зеркале. Когда он ее целовал, было так восхитительно ощущать ответный порыв страсти. А целовал он ее то и дело: это было легче, чем произносить те слова, которых, как подсказывала ему интуиция, она от него ждала. Он все еще чувствовал себя глупо, когда ему приходилось говорить, что он от нее без ума. Он жалел, что не было никого, перед кем он мог бы немножко похвастаться, рассказать подробности. Иногда она говорила загадочные вещи, которые ставили его в тупик. Будь здесь Хейуорд, он спросил бы у него, что она имеет в виду и как ему поступать дальше. Он никак не мог решить, следует ли ему форсировать события или дать им развиваться своим чередом. До отъезда оставалось всего три недели.

— Я и подумать об этом боюсь,— сказала она.— У меня просто разрывается сердце. А вдруг мы больше никогда не увидимся?

— Если бы вы меня хоть капельку любили, вы были бы добрее,— шепнул он.

— Ах, что тебе нужно еще? Все мужчины одинаковы. Им всегда мало.

А когда он становился требовательным, она говорила ему:

— Разве ты не видишь, что это невозможно? Здесь это совершенно невыносимо.

У него рождались разные планы, но она их отвергала один за другим.

— Я боюсь. Какой будет ужас, если тетя узнает.

Наконец у него мелькнула блестящая мысль.

— Послушайте, в воскресенье вечером вы скажете, что у вас разболелась голова и вы побудете дома. Тогда тетя Луиза пойдет в церковь.

По вечерам в воскресенье Мэри-Энн ходила в церковь, и тете Луизе приходилось оставаться дома, но она с удовольствием воспользовалась бы возможностью послушать вечерню.

Филип не считал нужным оповестить своих близких о той перемене, которая произошла в его взглядах на религию, все равно они бы его не поняли; спокойнее было по-прежнему ходить в церковь как ни в чем не бывало. Но он ходил туда только по утрам, считая это уступкой общественным предрассудкам, а свой отказ от вечернего посещения церкви — достойным проявлением свободомыслия.

Выслушав его предложение, мисс Уилкинсон секунду помедлила, но потом покачала головой.

— Нет, не могу,— ответила она.

Однако в воскресенье за чаем она удивила Филипа.

— Я не пойду в церковь вечером,— вдруг объявила она.— У меня страшно болит голова.

Миссис Кэри очень встревожилась и дала ей какие-то капли, которые сама принимала в подобных случаях. Мисс Уилкинсон поблагодарила ее и сразу же после чая сказала, что пойдет к себе и ляжет.

— Вы уверены, что вам ничего не понадобится? — спросила миссис Кэри.

— Совершенно уверена, спасибо.

— Тогда я, пожалуй, схожу в церковь. Мне не часто удается бывать там по вечерам.

— Конечно, идите.

— Я буду дома,— сказал Филип.— Если мисс Уилкинсон что-нибудь понадобится, она всегда сможет меня позвать.

— Тогда оставь дверь в гостиную открытой,— если мисс Уилкинсон позвонит, ты услышишь.

— Хорошо,— сказал Филип.

Итак, в шесть часов вечера Филип остался в доме наедине с мисс Уилкинсон. Он чуть не заболел от страха и жалел, что затеял всю эту историю, но было уже поздно: теперь ему придется действовать,— ведь он сам развязал себе руки. Что подумает о нем мисс Уилкинсон, если он сбежит в последнюю минуту? Он пробрался в переднюю и прислушался. Сверху не доносилось ни звука. Он даже подумал, не разболелась ли у мисс Уилкинсон голова на самом деле. Может быть, она все забыла? Сердце его замирало. Он стал тихонько подниматься по лестнице, испуганно останавливаясь всякий раз, когда скрипела ступенька. Подойдя к комнате мисс Уилкинсон, он остановился и прислушался снова; пальцы его прикоснулись к дверной ручке. Он помешкал. Ему показалось, что он простоял в нерешительности не меньше пяти минут; рука его дрожала. Охотнее всего он бы удрал, если бы не боялся, что потом его замучат угрызения совести. Он словно готовился к прыжку в воду с самой высокой вышки купальни; снизу эта вышка выглядит совсем не страшной, но стоит взобраться наверх и посмотреть вниз на воду, как душа уходит в пятки; единственное, что может заставить вас прыгнуть,— это стыд: стыдно робко спускаться по тем же ступенькам, по которым только что гордо взбирался вверх. Филип собрал все свое мужество. Он тихонько повернул дверную ручку и переступил порог. Ему казалось, что он дрожит, как лист.

Мисс Уилкинсон стояла у туалета, спиной к Филипу, и поспешно обернулась, когда услышала, как отворилась дверь.

— Ах, это ты? Чего тебе надо?

Она сняла юбку и блузку и стояла в одном белье. Нижняя юбка была короткая, едва доходила до икр, сверху черная, из какой-то блестящей материи, с красной оборкой внизу. Белая коленкоровая рубашка оставляла руки обнаженными. Вид у нее был самый нелепый. Филип глядел на нее, похолодев от испуга; никогда еще она не казалась ему такой безобразной. Но делать было нечего. Он закрыл за собой дверь и запер ее на ключ.

Наутро Филип проснулся чуть свет. Спал он беспокойно, но, потянувшись в постели и взглянув на солнечные лучи, которые, пробиваясь сквозь жалюзи, чертили на полу веселые узоры, он удовлетворенно вздохнул. Филип был очень доволен собой. Он подумал о мисс Уилкинсон. Она просила, чтобы он звал ее Эмили, но он почему-то не мог; для него она всегда была мисс Уилкинсон. Она бранила его за то, что он ее так зовет, и Филип вообще перестал называть ее как бы то ни было. В детстве он часто слышал рассказы о тете Эмили — одной из сестер тетушки Луизы, вдове морского офицера. Ему было как-то неловко называть так мисс Уилкинсон, но он не мог придумать какое-нибудь более подходящее имя. С самого начала она была для него мисс Уилкинсон, — это было безраздельно связано со всеми его представлениями о ней. Он нахмурился: почему-то она виделась ему сейчас в самом непривлекательном свете; он не мог забыть своей растерянности, когда она предстала перед ним в рубашке и нижней юбке; он вспомнил ее шершавую кожу и глубокие морщины на шее под ухом. Чувство торжества пропало. Он снова принялся высчитывать, сколько ей лет; получалось, что ей было никак не меньше сорока. Это делало его интрижку просто комичной. Она была некрасива и стара. Его живое воображение тут же нарисовало ее портрет — в морщинах, с дряблыми щеками, накрашенную, в чересчур кричащих платьях, которые были ей не по возрасту. Он содрогнулся; внезапно ему захотелось никогда больше ее не видеть; самая мысль о ее поцелуях стала ему отвратительна. Он сам себе был противен. Неужели это и есть любовь?

Он одевался как можно медленнее, чтобы оттянуть минуту их встречи, и с тяжелым сердцем спустился в столовую. Молитва была прочитана, и все уже сидели за столом.

— Ну и соня! — весело закричала мисс Уилкинсон.

Он посмотрел на нее и вздохнул с облегчением. Она сидела спиной к окну. Право же, она совсем недурна. И что это ему только в голову взбрело? К нему вернулось прежнее самодовольство.

Филипа поразила перемена, происшедшая с мисс Уилкинсон. Тут же после завтрака она сообщила ему дрожащим от волнения голосом, что любит его, а когда чуть позже они ушли в гостиную, где она занималась с ним пением, мисс Уилкинсон, сидя на табурете перед пианино, вдруг посреди гаммы подняла к нему лицо и сказала:

— Embrasse-moi¹.

Он наклонился, и она обвила руками его шею. В такой позе ему было не очень удобно — он даже стал задыхаться.

— Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime², — повторяла она, утрируя французское произношение.

Филип предпочел бы, чтобы она говорила по-английски.

— Послушай, — сказал он, — ты же знаешь, каждую минуту мимо окна может пройти садовник.

— Ah, je m'en fiche du jardinier. Je m'en refiche et je m'en contrefiche³.

Филип подумал, что все это слишком похоже на французский роман, и, неизвестно почему, разозлился.

Наконец он сказал:

— Ну, я, пожалуй, сбегаю на пляж, окунусь разок-другой.

— Неужели ты хочешь оставить меня одну в это утро... в это незабываемое утро?

Филип не понимал, почему ему нельзя пойти выкупаться, но в общем это было не так уж важно.

— Хочешь, я останусь? — улыбнулся он.

— Ah, милый ты мой. Нет, нет, ступай. Ступай. Я буду думать о том, как ты борешься с бурными волнами, как твои руки рассекают воды морские.

Он взял шляпу и пошел на пляж. «Что за чушь порют эти женщины!» — подумал он про себя.

Но он был доволен, весел и очень горд. Она явно влюблена в него по уши. Он шел, припадая на хромую ногу, по главной улице Блэкстебла и чуть-чуть свысока поглядывал на прохожих. Со многими из них он раскланивался и, улыбаясь им, думал: если бы вы только знали! Ему до смерти хотелось поделиться с кем-нибудь своей тайной. Он решил написать Хейурду и принялся сочинять в уме письмо. Он опишет и сад, и розы, и среди них — маленькую французскую гувернантку, такую надушенную и порочную, как экзотический цветок; он скажет, что она француженка — в конце концов, мисс Уилкинсон так долго жила во Франции, что почти совсем превратилась во француженку, да и было бы непорядочно ее выдавать; он расскажет Хейурду, как увидел ее первый раз в изящном муслиновом платье и как она подарила ему цветок. Он сочинил прелестную идиллию; солнце и море вдохнули

¹ Поцелуй меня (*фр.*).

² Ah, я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя (*фр.*).

³ Наплевать мне на садовника. Наплевать с высокого дерева (*фр.*).

в нее страсть и очарование, а звезды — поэзию; старый сад при доме священника служил ей достойным фоном.

В его сочинении чувствовалось влияние Мередита; героиня была не совсем похожа на Люси Феверел и на Клару Миддлтон, но все равно очаровательна. Филип был приятно возбужден. Его так захватила собственная фантазия, что он снова отдался ей, как только вылез из воды и мокрый и озябший вернулся в купальную кабину. Он живо представил себе предмет своего увлечения. У нее огромные карие глаза, и очаровательный носик (он непременно опишет ее Хейурду!), и целая копна шелковистых каштановых волос — как чудесно погружать в них лицо; ее кожа, матовая, как слоновая кость, словно позолочена солнцем, а щеки — совсем как алые розы. Сколько ей лет? Наверно, восемнадцать, и зовут ее Мюзетта. Смех ее похож на журчащий ручеек, а голос — нежный и глубокий — сладчайшая музыка, какую он когда-либо слышал.

— О чем ты так задумался?

Филип остановился как вкопанный. Он медленно шел домой.

— Я машу тебе рукой уже бог знает сколько времени. Ну и рассеянный же ты.

Перед ним стояла мисс Уилкинсон, она смеялась над его озадаченным видом.

— Я решила пойти тебе навстречу.

— Очень мило с твоей стороны, — произнес он.

— Я тебя напугала?

— Немножко, — признался Филип.

И все-таки письмо Хейурду было отослано. Целых восемь страниц.

Последние две недели промелькнули незаметно, и, хотя каждый вечер, когда они после ужина гуляли по саду, мисс Уилкинсон замечала, что вот прошел еще один день, радужное настроение Филипа от этого нисколько не портилось. Как-то вечером мисс Уилкинсон намекнула, что было бы чудесно переменить службу и переехать в Лондон. Тогда они могли бы встречаться постоянно. Филип сказал, что это и в самом деле было бы замечательно, но идея мисс Уилкинсон не вызвала в нем никакого восторга: он предвкушал прелести лондонской жизни и предпочитал, чтобы ничто его не связывало. Он чересчур уж откровенно заговорил о своих планах, и мисс Уилкинсон почувствовала, что он ждет не дождется отъезда.

— Ты бы не стал так говорить, если бы любил меня! — воскликнула она.

Застигнутый врасплох, он промолчал.

— Ну и дура же я была,— пробормотала она сквозь зубы.

К своему удивлению, он заметил у нее на глазах слезы, Филип был человек мягкосердечный и не мог видеть человеческого горя.

— Прости, пожалуйста,— сказал он.— Ну что я такого сделал? Не плачь.

— Ах, Филип, не бросай меня. Ты себе не представляешь, что ты для меня значишь. У меня так неудачно сложилась жизнь, а ты принес мне столько радости...

Он молча ее поцеловал. В ее голосе звучало подлинное страдание, и он испугался. До сих пор ему и в голову не приходило, что она всерьез думает все, что говорит.

— Прости меня. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Я бы очень хотел, чтобы ты переехала в Лондон!

— Но разве я смогу? Место найти почти невозможно, да и жить в Англии так противно.

Тронутый ее горем и едва ли сознавая, что разыгрывает роль, он продолжал ее упрашивать. Ему льстили ее слезы, и он целовал ее с подлинным жаром.

Но через день она закатила ему настоящую сцену. У них снова собралась компания поиграть в теннис; пришли две девушки, дочери отставного майора индийской службы, поселившегося не так давно в Блэкстебле. Обе были прехорошенькие, одна из них — сверстница Филипа, другая — года на два моложе. Привыкшие к обществу молодых людей, они без конца болтали о светской жизни в горных гарнизонах Индии (а в то время поголовно все зачитывались рассказами Редьярда Киплинга) и шутливо поддразнивали Филипа. Ему это было внове — молодые дамы Блэкстебла обычно боялись прослыть легкомысленными перед племянником священника. Ему стало очень весело, в нем словно проснулся какой-то бесенок и заставил его затеять отчаянный флирт с обеими девушками сразу, а так как он был единственным кавалером, они охотно кокетничали с ним напропалую. К тому же они довольно хорошо играли в теннис, а Филипу надоело перебрасываться мячами с мисс Уилкинсон (она начала играть только тут, в Блэкстебле); после чая он предложил, чтобы мисс Уилкинсон сыграла с помощником священника против его жены, а затем он сыграет партию с девушками. Филип подсел к старшей мисс О'Коннор и сказал вполголоса:

— Избавимся от мазил, а потом сыграем настоящую партию.

Мисс Уилкинсон, видно, это услышала: она бросила ракетку и ушла, сославшись на головную боль. Все поняли, что

она обиделась. Филип рассердился, что она не потрудилась скрыть свою досаду от других. Партия началась без нее, но вскоре появилась миссис Кэри и отозвала Филипа в сторону.

— Ты обидел Эмили,— сказала тетя Луиза.— Она ушла в свою комнату и плачет.

— Почему?

— Ты что-то сказал насчет мазил. Сходи к ней и объясни, что не хотел ее обидеть, будь хорошим мальчиком.

— Ладно.

Он постучался в дверь ее комнаты и, не услышав ответа, вошел. Мисс Уилкинсон лежала ничком на постели и плакала. Он дотронулся до ее плеча.

— Послушай, что случилось?

— Оставь меня в покое. Я не желаю с тобой разговаривать.

— Что я сделал? Прости, пожалуйста, если я тебя обидел. Я, право же, не хотел. Ну пойдем.

— Ах, какая я несчастная! А ты ужасно бессердечный. Ты же знаешь, что я терпеть не могу эту дурацкую игру. Я играю в нее только для того, чтобы побыть с тобой.

Она поднялась и подошла к туалету, но, взглянув на себя в зеркало, опустилась на стул. Скомкав носовой платок, она приложила его к глазам.

— Я дала тебе все, что может дать женщина... Ну и дура... А тебе хоть бы что. У тебя такое черствое сердце. Мучаешь меня, флиртуя с первыми попавшимися девчонками. У нас и так осталась одна-единственная неделя. Неужели ты не можешь потерпеть и побыть со мной?

Филип угрюмо стоял перед ней. Ее поведение казалось ему ребяческим. Он сердился, что она выставляет напоказ перед посторонними свой дурной характер.

— Ты же знаешь, что мне наплевать на этих О'Коннор. Что тебе взбрело в голову?

Мисс Уилкинсон отложила носовой платок. По ее напудренным щекам тянулись подтеки от слез, а волосы растрепались. Белое платье было ей сейчас вовсе не к лицу. Она смотрела на Филипа горящими голодными глазами.

— Тебе двадцать лет, и им тоже,— хрипло прошептала она.— А я стара.

Филип покраснел и отвернулся. Он услышал в ее голосе боль, и ему стало как-то не по себе. Сейчас ему от души хотелось, чтобы между ними никогда ничего не было.

— Я вовсе не хочу тебя огорчать,— пробормотал он.— Лучше бы ты спустилась вниз к гостям. Не то они будут удивлены, куда ты девалась.

— Хорошо.

Он рад был от нее уйти.

За ссорой быстро последовало примирение, однако в последние дни она часто была ему в тягость. Ему не хотелось говорить ни о чем, кроме будущего, а это неизменно доводило мисс Уилкинсон до слез. Поначалу ее слезы его трогали: он чувствовал себя извергом и заверял ее в любви до гроба; но потом они стали его раздражать: будь она молоденькой девушкой — куда ни шло, но со стороны взрослой женщины было просто глупо без конца проливать слезы. Она не переставала напоминать ему, что он перед нею в неоплатном долгу. Поскольку она на этом настаивала, он не возражал, но в глубине души никак не мог понять, почему он должен быть благодарен ей больше, чем она ему. К тому же она требовала, чтобы он выказывал свою благодарность самым тягостным для него образом; он привык к одиночеству и иногда испытывал острую потребность в нем; она же считала его бессердечным, если он не находился все время рядом с ней. Девушки О'Коннор пригласили их обоих на чашку чаю, и Филип с удовольствием принял бы приглашение, но мисс Уилкинсон заявила, что у них осталось всего пять дней и она ни с кем не желает его делить. Все это льстило его самолюбию, но очень надоедало. Мисс Уилкинсон рассказывала Филипу о душевной чуткости французов, когда они находились в таких же отношениях со своей прекрасной дамой, в каких Филип находился с ней. Она восторгалась их галантностью, их готовностью к самопожертвованию, исключительным тактом. Выяснилось, что у мисс Уилкинсон поистине непомерные требования.

Филип, слушая, как она перечисляет все то, чем должен обладать безупречный любовник, радовался в душе, что она живет в Берлине.

— Ты будешь мне писать? — спрашивала она. — Пиши каждый день. Я хочу знать все, что ты делаешь. Ты ничего не смеешь от меня скрывать.

— Я буду страшно занят, — отвечал он. — Но постараюсь писать как можно чаще.

Она страстно обвила его шею руками. Такие проявления чувств порой смущали его не на шутку. Он предпочел бы, чтобы она вела себя менее активно. Ему было стыдно, что инициатива в их отношениях так откровенно принадлежит ей: это как-то не вязалось с его представлениями о женской скромности.

Наконец настал день отъезда мисс Уилкинсон; она спустилась к завтраку бледная, подавленная, на ней было клетчатое

немаркое дорожное платье, и в этом наряде она выглядела настоящей гувернанткой. Филип молчал — он не знал, что полагается говорить в таких случаях, и страшно боялся сказать что-нибудь легкомысленное: мисс Уилкинсон тогда не сдержалась бы и устроила ему сцену в присутствии дяди. Они простились друг с другом в саду, накануне вечером, и Филип обрадовался, что им больше не придется остаться наедине. После завтрака он нарочно задержался в столовой, чтобы мисс Уилкинсон не вздумала поцеловать его на лестнице. Меньше всего на свете он хотел попасться Мэри-Энн — теперь уже женщине средних лет с весьма острым язычком. Мэри-Энн не любила мисс Уилкинсон и звала ее драной кошкой.

Тете Луизе нездоровилось, и она не смогла пойти на вокзал; мисс Уилкинсон провожали священник и Филип. Перед самым отходом поезда она высунулась из окна и поцеловала мистера Кэри.

— Я должна поцеловать и вас тоже, Филип,— сказала она.

— Пожалуйста,— ответил он, покраснев.

Он встал на ступеньку, и она торопливо его чмокнула. Поезд тронулся, мисс Уилкинсон забилась в угол купе и безутешно зарыдала. На обратном пути с вокзала Филип почувствовал явное облегчение.

— Ну как, уехала благополучно? — спросила тетя Луиза, когда они вернулись домой.

— Да, но глаза у нее были на мокром месте,— ответил священник.— Ей непременно захотелось поцеловать меня и Филипа.

— Ну, в ее возрасте это не опасно. Филип, тут тебе письмо.— Миссис Кэри показала на буфет.— Его только что принесли.

Письмо было от Хейуорда; оно гласило:

«Мой милый мальчик!

Я сразу же отвечаю на твое письмо. Я решил его прочитать моему близкому другу, очаровательной женщине, поддержка и сочувствие которой мне несказанно дороги, женщине, одаренной тонким пониманием литературы и искусства; мы оба сошлись на том, что твое письмо прелестно. Ты писал его от чистого сердца и даже не представляешь себе, сколько очаровательной наивности в каждой его строке. Любовь сделала тебя поэтом. Ах, милый мальчик, вот оно, настоящее чувство. Я ощутил пыл твоей юной страсти; твоя повесть, пронизанная искренним волнением, звучит как

музыка. Будь же счастлив. Мне хотелось бы незримо присутствовать в этом зачарованном саду, где вы бродите среди цветов, держась за руки, словно Дафнис и Хлоя. Я вижу тебя, мой Дафнис,—нежный, восторженный и пылкий,—с огнем юной любви в глазах; я вижу в твоих объятиях Хлою—такую молодую, свежую и покорную,—она твердила «нет», но сказала «да». Розы, фиалки и жимолость... Ах, мой друг, как я тебе завидую. Отрадно думать, что твоей первой любви удалось остаться чистой поэзией. Цени каждое ее мгновение, ибо бессмертные боги одарили тебя величайшим даром; ты сохранишь его в памяти до последнего смертного часа, как самое сладкое и томительное из воспоминаний. Никогда больше не испытываешь ты столь безмятежного блаженства. Первая любовь—неповторимая любовь; твоя подруга прекрасна, ты молод, и весь мир у ваших ног. Сердце мое забилося быстрее, когда я прочел простодушные восхитительные слова о том, как ты погружаешь лицо в волны ее кудрей. Я убежден—они того редкостного каштанового цвета, который чуть-чуть отликает золотом. Так и вижу: вот вы сидите рядом под тенистым деревом, читая «Ромео и Джульетту», и вдруг ты падаешь перед ней на колени и целуешь ту землю, на которой оставила след ее ножка. Мысленно я припадаю к этой земле вместе с тобой; скажи ей, что это дань преклонения поэта перед ее сияющей юностью и перед твоей любовью.

Навеки твой

Дж. Этеридж Хейуорд».

— Ужасный вздор,—сказал Филип, дочитав письмо.

Странно, мисс Уилкинсон тоже предлагала им читать вместе «Ромео и Джульетту», но Филип наотрез отказался. И, пряча письмо в карман, он почувствовал легкую горечь: как мало похожа действительность на то, о чем мы мечтаем.

ГЛАВА 36

Через несколько дней Филип уехал в Лондон. Помощник приходского священника рекомендовал ему меблированные комнаты в Барнсе, и Филип, списавшись с хозяйкой, снял квартиру за четырнадцать шиллингов в неделю. Он приехал вечером, и хозяйка—комичная тощая старушка с морщинистым личиком—подала ему чай со множеством всяких закусок. Большая часть гостиной была заставлена буфетом и четырехугольным столом; у стены красовалась

кушетка, набитая волосом, а у камина — такое же кресло; спинка его была прикрыта салфеточкой, а продавленное сиденье — жесткой подушкой.

Выпив чаю, Филип разложил свои вещи, расставил книги, сел и попытался читать, но настроение у него было подавленное. Тишина на улице почему-то угнетала его, и он почувствовал себя очень одиноким.

Наутро Филип встал очень рано. Он надел визитку и цилиндр, но цилиндр был старенький — он носил его еще в школе, и Филип решил зайти по дороге в универсальный магазин и купить новый. Сделав это, он обнаружил, что у него еще уйма времени, и пошел прогуляться по Стренду. Контора Герберта Картера и К^о помещалась на узенькой улочке возле Чансери-лейн, и ему пришлось раза два спросить дорогу. Он заметил, что на него оглядываются прохожие, и даже снял шляпу, чтобы проверить, не забыли ли в магазине снять с нее ярлык с ценой. Подойдя к конторе, Филип постучал, но никто ему не открыл, и, взглянув на часы, он обнаружил, что еще нет половины десятого. Повидимому, он пришел слишком рано. Филип отошел, а вернувшись через десять минут, застал рассыльного — прыщавого юношу с длинным носом, говорившего с шотландским акцентом, — он отпирал дверь. Филип спросил, может ли он видеть мистера Герберта Картера. Но тот еще не приходил.

— Когда он будет?

— В десять или в половине одиннадцатого.

— Я, пожалуй, обожду, — сказал Филип.

— А что вам угодно? — спросил рассыльный.

Филип нервничал, но старался скрыть это под шутивным тоном.

— Да видите ли, я, собственно, собираюсь здесь работать, если вы, конечно, не возражаете.

— А-а, значит, вы — новый конторщик. Что ж, тогда входите. Мистер Гудуорти скоро придет.

Филип, войдя, заметил, что рассыльный — он был моложе Филипа и звал себя младшим конторщиком — уставился на его ногу. Покраснев, Филип сел и спрятал ногу подальше под стул. Он оглядел комнату. В ней было темно и грязно. Тусклый свет пробивался сверху, сквозь стеклянную крышу. В три ряда стояли конторки, а перед ними высокие табуреты. Над камином висела закопченная гравюра с изображением боксеров на ринге. Вскоре вошел еще один служащий, за ним другой; они поглядели на Филипа и вполголоса осведомились у рассыльного (Филип услышал, что фамилия его Макдугал), кто он такой. Послышался свисток, и Макдугал вскочил.

— Пришел мистер Гудуорти. Это наш управляющий. Сказать ему, что вы здесь?

— Да, пожалуйста.

Рассыльный вышел и тотчас же вернулся.

— Прошу вас.

Филип последовал за ним по коридору и вошел в почти пустую комнату, где спиной к камину стоял невысокий худощавый человек. Огромная голова, болтавшаяся на тонкой шее, придавала ему какой-то нелепый вид. Лицо у него было крупное, с приплюснутым носом и голубыми глазами сильно навывкате; редкие волосы казались совсем бесцветными, а бакенбарды росли как-то неравномерно: в тех местах, где обычно волосы гуще всего, их у этого человека вовсе не было. Цвет лица был нездорово-желтый. Он протянул Филипу руку и улыбнулся, показав гнилые зубы. Разговаривал он покровительственно и в то же время неуверенно, так, словно хотел придать себе значительность, которой не обладал. Он выразил надежду на то, что работа Филипу понравится; она, конечно, во многом кропотливая, скучная, но когда в нее втянешься, становится интересно; к тому же она дает заработок, а это ведь самое главное. И он осклабился все с той же странной смесью заносчивости и малодушия.

— Мистер Картер скоро будет,— сказал он.— По понедельникам он иногда чуточку запаздывает. Я вызову вас, когда он придет. А пока мне надо дать вам какое-нибудь задание. Вы имеете представление о бухгалтерии и счетоводстве?

— Нет,— признался Филип.

— Да я так и думал. В школах, увы, совсем не учат тому, что надо знать в деловом мире.— Он помолчал.— Кажется, я нашел для вас подходящее занятие.

Он вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся оттуда, неся большую картонку. В ней лежало множество писем в полнейшем беспорядке, и он попросил Филипа разложить их по алфавиту—по фамилиям корреспондентов.

— Я проведу вас в комнату, где обычно сидят наши ученики. Вашим соседом будет очень милый юноша. Его фамилия—Уотсон. Он наследник «Уотсона, Крега и Томсона»,—вы, наверно, слышали: пивовары. Он пробудет у нас год, чтобы обучиться коммерции.

Мистер Гудуорти провел Филипа через грязное помещение, где трудились шесть или восемь конторщиков, в узкую комнатку за стеклянной перегородкой. Тут сидел Уотсон;

откинувшись на стуле, он изучал газету «Спортсмен». Это был одетый по моде, крупный, упитанный молодой человек. Он молча поднял глаза на вошедшего мистера Гудурти. Напоминая о своем независимом положении, он звал управляющего просто Гудурти. Управляющему такая фамильярность не нравилась, и он подчеркнуто вежливо звал конторщика мистером Уотсоном, однако этот молодой джентльмен не желал ничего замечать и принимал это обращение как должное.

— Понимаете, взяли да и вычеркнули «Риголетто», — сообщил он Филипу, как только они остались вдвоем.

— Да ну? — отозвался Филип, ничего не понимавший в скачках.

Он благоговейно взирал на элегантный костюм Уотсона. Визитка сидела на нем безукоризненно, и в самую сердцевину пышнейшего галстука была воткнута драгоценная булавка. На камине покоился его цилиндр, он был наряжен, похож на колокол и ослепительно сверкал. Филип почувствовал себя оборванцем. Уотсон заговорил об охоте: чертовски обидно терять золотое время в этой паршивой конторе, он сможет теперь охотиться только по субботам, а у него было столько заманчивых приглашений во все концы страны, увы! — пришлось от них отказаться. Чертовски не повезло, но он долго корпеть здесь не собирается: в этой чертовой дыре он пробудет только год, а потом вступит в дело и будет охотиться верхом четыре дня в неделю.

— А вам придется торчать здесь целых пять лет? — спросил он, плавно обводя рукой каморку.

— По-видимому, — вздохнул Филип.

— Ну, тогда мы с вами будем встречаться. Ведь Картер ведет наши счета.

Филип был сражен величием молодого джентльмена. В Блэкстебле к пивоварению относились несколько свысока; священник любил подшучивать над «пивной знатью», и Филипа удивило, что Уотсон оказался такой важной персоной. Он учился в Винчестере и в Оксфорде, о чем частенько поминал в разговоре. Когда он узнал, какое образование получил Филип, он стал держать себя еще более покровительственно.

— Ну, конечно, если уж человек не попал в одну из наших привилегированных школ, заведение, вроде вашего, — наименьшее зло.

Филип спросил его, что представляют остальные служащие конторы.

— Да, по правде сказать, не интересовался,— бросил Уотсон.— Картер — человек приличный. Мы иногда даже приглашаем его обедать. Ну а все остальные, кажется, порядочные хамы.

Вскоре Уотсон занялся каким-то делом, а Филип стал разбирать письма. Потом заглянул мистер Гудурти и сообщил, что приехал мистер Картер. Филипа привели в просторный кабинет рядом с комнатой мистера Гудурти. В нем стояли большой письменный стол и несколько больших кресел; пол был покрыт турецким ковром, а стены украшены гравюрами на спортивные сюжеты. Мистер Картер сидел за столом и привстал, чтобы пожать Филипу руку. На нем был длиннополый фрак, но выправка у мистера Картера была военная, усы нафабрены, седые волосы аккуратно подстрижены бобриком, держался он чрезвычайно прямо, говорил бодро, жил в Энфилде, увлекался спортом и пекся о благе отечества, служа офицером в добровольческой кавалерии Хертфоршира и состоя председателем местной ассоциации консерваторов. Когда ему рассказывали, что какой-нибудь тамошний магнат заявил, будто мистер Картер совсем не похож на городского дельца, ему начинало казаться, что жизнь им прожита не зря. С Филипом он беседовал с любезной небрежностью. Мистер Гудурти возьмет его под свою опеку. Уотсон — милейший человек, настоящий джентльмен и отличный спортсмен. А Филип охотится? Жаль, жаль — это наилучший вид спорта для джентльмена. Ему теперь редко удастся ездить на охоту, пришлось уступить эту забаву сыну. Сын у него в Кембридже; окончил Регби, Регби — отличная школа, в ней учатся дети из хороших семейств. Через несколько лет и его сын будет проходить у них стажировку. Филипу сын должен понравиться, — спортсмен до мозга костей. Мистер Картер надеялся, что работа у Филипа пойдет на лад и будет ему по душе; он ни в коем случае не должен пропускать лекций самого мистера Картера: их задача — придать лоск людям их профессии, привлечь в нее настоящих джентльменов. Ну что ж, хорошо, что здесь мистер Гудурти. Если Филипа будет что-нибудь интересовать, лучше всего спросить мистера Гудурти. Какой у него почерк? А впрочем, мистер Гудурти это выяснит.

Филип был обескуражен всей этой светскостью; у них в Восточной Англии точно знали, кто настоящий джентльмен, а кто нет. Но у джентльменов на эту тему не принято было разговаривать.

Сначала новизна работы делала ее интересной. Мистер Картер диктовал ему письма и поручал набело переписывать счета.

Мистер Картер предпочитал вести свое дело в стиле, достойном истого джентльмена: он и слышать не желал о пишущих машинках, а к стенографии относился крайне отрицательно; рассыльный знал стенографию, но только мистер Гудурти позволял себе пользоваться этим его умением. Время от времени Филип отправлялся с одним из опытных конторщиков проверять счета какой-нибудь фирмы; он теперь уже знал, к кому из клиентов нужно было относиться почтительно и кто из них сел на мель. Время от времени ему давали складывать длинные столбцы цифр. Он посещал лекции, готовясь к первому экзамену. Мистер Гудурти твердил, что поначалу работа ему покажется скучной, но что потом он привыкнет. Филип выходил из конторы в шесть и шел через реку к Ватерлоо. Когда он возвращался домой, его ждал ужин; вечера он проводил за книгой. По субботам он ходил в Национальную галерею. Хейуорд рекомендовал ему путеводитель, составленный из статей Рескина, и он прилежно осматривал один зал за другим. Внимательно прочтя, что критик говорит по поводу той или иной картины, он упорно старался увидеть в ней то же самое. Трудней было скоротать воскресенье. Он никого не знал в Лондоне и проводил воскресные дни в одиночестве. Мистер Никсон — их поверенный — пригласил его на одно из воскресений в Хэмстед, и Филип весело провел целый день в шумной компании малознакомых людей; он много ел и пил, гулял по лугу и уехал, получив приглашение приезжать когда вздумается, но ему мешал болезненный страх показаться навязчивым, и он стал ждать более определенного приглашения. Естественно, что оно так и не последовало: у Никсонов было множество друзей, им некогда было думать об одиноком, молчаливом юноше, который, в сущности говоря, и не мог претендовать на их гостеприимство. Поэтому по воскресеньям он поздно вставал и прогуливался по берегу Темзы. В Барнсе река была мутная, засоренная, мелевшая во время отливов; в ней не было ни нежной прелести Темзы выше шлюзов, ни романтики огромного скопища судов за Лондонским мостом. После обеда Филип прохаживался по пустырям; тут было серо и грязно — не то столица, не то деревня, под ногами рос чахлый дрок, а кругом валялись отбросы большого города. В суб-

боту вечером он отпраплялся в театр и охотно простаивал по часу, а то и больше у входа на галерку. Возвращаться в Барнс между закрытием музея и ужином в закусочной было бессмысленно, и он не знал, куда девать эти часы. Он шагал по Бонд-стрит или по Бэрлингтонскому пассажи, а устав, садился на скамейку в Гайд-парке или, если шел дождь, забирался в публичную библиотеку на Сент-Мартинс-лейн. Он разглядывал прохожих и завидовал им — у каждого из них были друзья; порой он даже испытывал к ним ненависть: они были счастливы, а он несчастен. Раньше он не мог себе представить, что в большом городе чувствуешь такое одиночество. Иногда в очереди на галерку кто-нибудь с ним заговаривал, но у Филипа была чисто деревенская подозрительность к незнакомым людям, и своим ответом он отрезал путь к дальнейшему знакомству. Когда спектакль кончался, Филип, огорчаясь, что ему не с кем поделиться впечатлениями, пересекал мост по дороге к Ватерлоо. Входя в холодную комнату, где камина не топили из экономии, он чувствовал, как у него сжимается сердце. Тут было так безрадостно. Постепенно ему опротивели его квартира и одинокие вечера, которые он в ней проводил. Иногда ему бывало так тоскливо, что он не мог даже читать; он сидел, часами глядя в огонь, и чувствовал себя глубоко несчастным.

Он провел в Лондоне уже три месяца и, не считая того воскресенья в Хэмстеде, не обмолвился ни единым словом ни с кем, кроме товарищей по конторе. Как-то вечером Уотсон пригласил его пообедать в ресторане, после чего они вдвоем отправились в мюзик-холл, но Филип робел и чувствовал себя стесненно. Уотсон все время разговаривал о вещах, которые были Филипу неинтересны, и, хотя казался человеком суетным, Филип не мог им не восхищаться. Его злило, что Уотсон ни во что не ставит его знания, и, будучи склонным видеть себя таким, каким его видят другие, он стал презирать те свои достоинства, которыми прежде дорожил. Впервые Филип почувствовал, как унижительна бедность. Дядя посылал ему четырнадцать фунтов в месяц, а ему надо было одеваться. Вечерний костюм обошелся в пять гиней. Он не посмел признаться Уотсону, что купил фрак в магазине готового платья. Уотсон утверждал, что в Лондоне есть только один порядочный портной.

— Вы, конечно, не танцуете,— сказал как-то Уотсон, поглядев на его ногу.

— Нет.

— Жаль. Меня попросили привести на бал людей, которые умеют танцевать. Мог бы познакомить вас с премиленскими девушками.

Как-то раз Филипу уж очень не захотелось возвращаться домой в Барнс; он остался в городе и стал бродить по Вест-энду; поздно вечером он подошел к дому, где в этот день устраивали прием. Филип стоял за спиной лакеев, в толпе оборванных зевак, смотрел, как подъезжают кареты с гостями, и слушал доносившуюся из дома музыку.

На балкон, несмотря на холод, то и дело выходила какая-нибудь парочка подышать свежим воздухом, и Филип, думая, что это — влюбленные, повернулся и с тяжелым сердцем заковылял дальше. Ему не суждено вот так выходить на балкон. Ни одна женщина не захочет глядеть на хромого урода.

Он сразу же подумал о мисс Уилкинсон. Филип вспоминал ее без всякого удовольствия. Расставаясь, они условились, что она будет писать ему до востребования на почтовое отделение в Чэринг-кросс, пока Филип не сообщит ей своего адреса. Сходяв на почту, он получил сразу три письма. Мисс Уилкинсон писала по-французски на голубой бумаге лиловыми чернилами. Филип не понимал, почему она валяет дурака и не пишет по-английски, а ее страстные излияния оставляли его холодным, потому что уж слишком напоминали дешевые французские романы. Она упрекала Филипа в том, что он ей не писал. Отвечая, он оправдывался, что был очень занят. Начать письмо ему было трудно: он не мог заставить себя обратиться к ней «моя дорогая» или «любимая», не решался написать просто «Эмили» и в конце концов удовольствовался коротким «дорогая». Слово это в заголовке письма выглядело как-то нелепо, но ничего лучшего он придумать не мог. Филип писал свое первое любовное письмо и чувствовал, что в нем не хватает пыла; по его представлениям оно должно было дышать безудержной страстью, там, наверно, нужны клятвы, что он думает о ней беспрестанно, мечтает целовать ее прекрасные руки, дрожит, вспоминая об ее алых губах,— однако какое-то необъяснимое целомудрие мешало ему пуститься в декламацию, и вместо этого он писал ей о своем житье-бытье и о конторе, где он работает. Ответ пришел очень скоро — сердитый, безутешный, полный упреков и недоумения, почему он так холоден. Разве он не знает, что в его письмах для нее вся жизнь? Она отдала ему все, что способна дать женщина, и вот как он ее отблагодарил! Неужели она ему надоела? И, когда он ей не сразу ответил, мисс Уилкинсон

засыпала его целым ворохом посланий. Она не в силах снести его черствость, она с замиранием сердца ждет почтальона, а писем от него все нет; каждую ночь она засыпает в слезах, у нее такой страшный вид, что все ее спрашивают, не больна ли она; если он ее больше не любит, пусть скажет прямо. Она добавила ко всему этому, что не может без него жить и единственное, что ей осталось,— покончить с собой. Она писала, что он — бессердечный эгоист, человек неблагодарный. И все это было выражено по-французски. Филип знал, что она пишет на чужом языке из кокетства, но письма его все-таки огорчали. Ему не хотелось причинять ей боль. Немного погодя она написала, что не вынесет долгие разлуки и постарается приехать на рождество в Лондон. Филип ответил, что был бы бесконечно счастлив, но, к сожалению, он уже пообещал провести рождественские праздники у друзей в деревне и не знает, как ему быть. Она написала, что не хочет ему навязываться, тем более что он явно не желает ее видеть; она глубоко оскорблена, она не ждала, что он оплатит ей такой неблагодарностью за все добро, которое она ему сделала. Письмо тронуло Филипа — ему показалось, что на бумаге видны следы слез; он послал ей теплое письмо в ответ, просил прощения и молил приехать; но почувствовал явное облегчение, узнав, что ей нельзя оставить дом на праздники. Постепенно ее письма стали его пугать, он не спешил их распечатывать, зная, что они полны сердитых упреков и жалоб: зачем ему снова чувствовать себя скотиной, раз он не понимает, в чем его вина? Он откладывал ответ со дня на день, пока не приходило новое письмо, где она писала, что больна, одинока и несчастна.

— О господи! Зачем только я с ней связался! — восклицал он.

Его восхищал Уотсон, легко выходящий из подобных затруднений. У этого молодого льва была интрижка с актрисой бродячей труппы, и его рассказы об этой связи наполняли сердце Филипа изумлением и завистью. Через некоторое время Уотсон изменил своей «первой любви» и как-то раз описал Филипу сцену разрыва.

— Я решил, что с ней нечего церемониться, и заявил напрямик: с меня хватит.

— Представляю себе, какую она вам закатила сцену, — сказал Филип.

— Само собой. Но я ей сразу объяснил, что со мной она старается зря.

— Плакала?

— Да, начала было реветь, но я не выношу, когда у женщины глаза на мокром месте. Я ей заявил, чтобы она убиралась.

С годами чувство юмора становилось у Филипа острее.

— Ну и как, убиралась? — спросил он с улыбкой.

— А что ей оставалось делать?

Тем временем приближались рождественские праздники. Миссис Кэри проболела весь ноябрь; врач посоветовал ей съездить со священником на недельку-другую отдохнуть в Корнуэлл. И в конце концов оказалось, что Филипу некуда деваться на Рождество; он провел сочельник у себя в комнате. Под влиянием Хейуорда он себя уговорил, что торжества, происходящие в эти дни,—пошлость и варварство, и решил, что ничем не ознаменует праздничный день; однако, когда этот день настал, всеобщее веселье как-то удивительно на него подействовало. Квартирная хозяйка с хозяином пошли к замужней дочери, и, чтобы избавить их от хлопот, Филип заявил, что не будет обедать дома. Около полудня он направился в Лондон и в одиночестве съел у «Гатти» кусок индейки и рождественский пудинг, а потом—так как делать ему было нечего—зашел в Вестминстерское аббатство послушать вечернюю службу. Улицы были пустынные, и редкие прохожие куда-то спешили с озабоченным видом; все они стремились к определенной цели; почти никто не шел один. Филипу казалось, что на всех лицах написано веселье. Сам же он чувствовал себя еще более одиноким чем когда бы то ни было. Он намеревался убить как-нибудь день, а потом поужинать в ресторане, но мысль о том, что он снова увидит вокруг себя веселых людей—они будут разговаривать, смеяться, шутить друг с другом,—была невыносима, поэтому он снова побрел к Ватерлоо; проходя по Бридж-роуд, он купил ветчины, пирожков с мясом и вернулся в Барнс. Придя в свою комнатку, он поел в полном одиночестве и сел за книгу. Его одолевала нестерпимая тоска.

Когда он пришел в контору, ему было больно слушать рассказы Уотсона о том, как он провел праздники. У них гостили хорошенькие девушки; после обеда молодежь сдвинула мебель в гостиной и устроила танцы.

— Спать я лег часа в три—не знаю, как добрался до постели. Видит бог, я здорово налился.

Наконец Филип, в полном отчаянии, решился у него спросить:

— Скажите, а как у вас в Лондоне знакомятся?

Уотсон поглядел на него с недоумением и ухмыльнулся чуть-чуть презрительно.

— Понятия не имею. У каждого есть знакомые, вот и все. Если ходишь на танцы, знакомых у тебя хоть отбавляй.

Филип презирал Уотсона, но отдал бы все на свете, чтобы быть на его месте. К нему вернулось чувство, которое он испытывал когда-то в школе: ему так хотелось очутиться в чужой шкуре. Интересно, как бы он жил, будь он Уотсоном?

ГЛАВА 38

К концу года скопилось много работы. Филипа посылали то в одно, то в другое место с конторщиком по фамилии Томпсон, и он проводил целые дни, монотонно выкликая суммы расходов, которые его компаньон сверял с книгами; иногда ему поручали выводить итоги под длинными столбцами цифр. Он никогда не был в ладах с арифметикой и считал очень медленно. Томпсона раздражали его постоянные ошибки. Этот товарищ Филипа по работе был черно-волосый длинный и тощий человек лет сорока, с землистым цветом лица и растрепанными усами; у него были впалые щеки и резкие складки возле рта. Филипа он невзлюбил за то, что тот был платным учеником, мог выложить за обучение триста гиней и содержать себя целых пять лет, — таким молодчикам нетрудно сделать карьеру. Он же, Томпсон, несмотря на весь свой опыт и умение, не имел надежды подняться выше должности конторщика с окладом тридцать пять шиллингов в неделю. Человек он был неуживчивый, обремененный большой семьей, и его бесило мнимое высокомерие Филипа. Томпсон издевался над Филипом за то, что тот был образованнее, чем он, насмеялся над его произношением, не мог простить, что тот говорит грамотно, и, обращаясь к Филипу, нарочно утрировал неправильность своей речи. Сначала Томпсон был просто резок и сварлив, но, заметив, что у Филипа нет способностей к счетному делу, стал его всячески поносить; нападки его были грубы и глупы, но они обижали Филипа, и, защищаясь, он изображал превосходство, которого не ощущал.

— Небось утром принимали ванну? — спросил Томпсон Филипа, когда тот опоздал на работу: прилежания первых дней теперь как не бывало.

— Конечно, а вы разве нет?

— Нет. Я — не джентльмен. Я всего-навсего конторщик. Моюсь только по субботам.

— Видно, поэтому у вас по понедельникам характер еще хуже, чем обычно.

— Может, вы удостоите нас такой милости и подытожите несколько чисел при помощи простого сложения? Я понимаю, это — дерзкая просьба по отношению к джентльмену, владеющему латынью и греческим.

— Ваши попытки острить, как всегда, неудачны.

Но Филипу трудно было не замечать, что другие конторщики, малоразвитые и плохо оплачиваемые, приносят куда больше пользы, чем он. Раза два он вывел из терпения даже мистера Гудурти.

— Ей-богу, вам пора уже разбираться в этих делах. А вы соображаете хуже нашего посыльного.

Филип надулся. Он не любил замечаний и почувствовал себя униженным, когда, получив распоряжение снять копии с каких-то счетов, переписал их так, что мистеру Гудурти пришлось поручить это другому конторщику. Сначала работа казалась ему терпимой благодаря своей новизне, но потом она начала его тяготить, а когда он понял, что у него нет к ней способностей, она ему совсем опротивела. Вместо того чтобы выполнять поручения, он теперь часто коротал время, рисуя на конторских бланках. Он изобразил Уотсона в самых разных позах, и тот был восхищен его талантом. Уотсон даже взял эти рисунки домой и на другой день передал Филипу похвалы своих родных.

— Почему же вы не стали художником? — спросил он. — Правда, денег этим не заработаешь...

Случилось так, что дня через два мистер Картер обедал у Уотсонов и ему показали рисунки Филипа. Наутро мистер Картер велел его позвать. Филип видел хозяина редко и немножко побаивался.

— Послушайте, молодой человек, мне безразлично, что вы делаете в свободное время, но я видел ваши рисунки на конторских бланках, а мистер Гудурти жалуется, что вы небрежно относитесь к своим обязанностям. Вы никогда не станете хорошим бухгалтером, если будете работать спустя рукава. Профессия у нас завидная, и мы постепенно вовлекаем в нее людей из хорошего общества, но в нашем деле нельзя... — Он поискал подходящее слово, но, так и не отыскав его, вяло повторил: — ...работать спустя рукава.

Может быть, Филип и втянулся бы в работу, но он помнил пункт в договоре, разрешавший ему бросить ее,

если после первого года обучения профессия придется ему не по душе. При этом ему должны были возратить половину внесенной платы. Подытоживая длинные столбцы цифр, Филип считал, что достоин лучшей участи, чувствовал себя униженным, когда его попрекали неумением сделать работу, казавшуюся ему малопочтенной. Грубые препирательства с Томпсоном действовали на нервы. В марте Уотсон кончил свою годичную стажировку, и, хотя Филип его и недолюбливал, ему стало жалко, что Уотсон ушел. Их роднило то, что другие конторщики относились к ним обоим враждебно: ведь и Филип, и Уотсон были выходцами из несколько иного класса. Стоило Филипу подумать, что придется еще четыре года провести бок о бок с этими безнадежно унылыми людьми, и у него сжималось сердце. Уезжая в Лондон, он ждал чего-то необыкновенного и не получил ничего. Теперь он ненавидел этот город. У него тут не было ни одного знакомого, и он не представлял себе, как люди в Лондоне знакомятся друг с другом. Он больше не в силах был повсюду ходить один. Ему казалось, что он не сможет дольше терпеть такую жизнь. Лежа в постели, он думал о том, какое счастье не видеть больше эту мрачную контору и людей, которые в ней работают, покинуть это унылое жилье.

Весной его постигло большое разочарование. Хейуорд сообщил ему, что собирается в Лондон, и Филип с нетерпением ждал его приезда. Ему так хотелось повидать друга: он столько прочел и передумал за последнее время, у него накопилось столько мыслей, так нужно было ими поделиться, а кругом не интересовались ничем отвлеченным. Его так радовало, что вот он скоро наговорится досыта. Когда же Хейуорд написал, что весна в этом году в Италии пленительнее, чем когда бы то ни было, и он не в силах с ней расстаться, Филип был страшно огорчен. Хейуорд спрашивал, почему бы Филипу не приехать в Италию. Стоит ли тратить свою молодость на какую-то дурацкую контору, когда мир так прекрасен? Он написал:

«Удивляюсь, как вы можете терпеть такую жизнь. Меня дрожь берет, когда я вспоминаю Флит-стрит и Линкольнс Инн. На свете только две вещи оправдывают человеческое существование — любовь и искусство. Не могу представить себе вас корпящим над гроссбухом. Неужели вы ходите в цилиндре, с зонтиком и маленьким саквояжем в руках? Я верю, что жизнь человека должна быть полна самых неожиданных приключений, что надо сгорать в испепеляющем огне, рисковать, смотреть в глаза опасности. Почему

вы не едете в Париж и не учитесь живописи? Мне всегда казалось, что у вас есть к этому талант».

Его совет совпал с тем, что у самого Филипа уже зрело в душе. Сначала идея показалась ему неосуществимой, но он не мог выбросить ее из головы и пришел к выводу, что это — единственный выход из его бедственного положения. Не только Хейуорд считал, что у него есть талант к живописи: в Гейдельберге все восхищались его акварелями, мисс Уилкинсон без конца твердила, что они просто очаровательны, и даже посторонние люди, вроде Уотсонов, хвалили его рисунки. «Жизнь богемы» Мюрже произвела на Филипа глубокое впечатление. Он привез книжку в Лондон и в самые тоскливые минуты, прочтя несколько страниц, мысленно переносился в одну из прелестных мансард, где Родольф и его друзья плясали, любили и пели песенки. Он мечтал теперь о Париже, как когда-то мечтал о Лондоне, но не боялся нового разочарования: он томился по романтике, красоте и любви, а Париж сулил ему все это. У него врожденная страсть к живописи; он сможет писать картины не хуже других. Он спросил у мисс Уилкинсон, сколько ему нужно денег, чтобы прожить в Париже. Она ответила, что ему вполне хватит восьмидесяти фунтов в год, и отнеслась к его замыслу с восторгом. Она писала, что Филип достоин лучшей участи, чем работа в конторе: «Кому захочется быть бухгалтером, если он способен стать великим художником!» — восклицала она с пафосом и убеждала Филипа поверить в свои силы: ведь это — самое главное. Но Филип не был человеком опрометчивым. Хорошо Хейуорду говорить о жизни, полной дерзаний: его деньги были надежно помещены и давали триста фунтов в год; весь же капитал Филипа не превышал тысячи восьмисот фунтов. Он колебался.

Но в один прекрасный день мистер Гудурти вдруг спросил его, не хочет ли он съездить в Париж. Фирма вела счета отеля в предместье Сент-Оноре, который принадлежал английскому акционерному обществу, и дважды в год мистер Гудурти ездил туда с одним из конторщиков. Этот конторщик захворал, а срочная работа мешала отлучиться другим. Мистер Гудурти остановился на Филипе: без него было легче всего обойтись, а его положение давало ему некоторые права на эту поездку. Филип был в восторге.

— Днем нам придется работать, — говорил мистер Гудурти, — но зато по вечерам мы свободны. А Париж — это Париж. — Он многозначительно осклабился. — В отеле нас отлично содержат, кормят как положено, денег нам это не стоит. Лучший способ ездить в Париж — за чужой счет.

Когда они приехали в Кале и Филип увидел толпу темпераментно жестикулирующих носильщиков, сердце его забилось. «Вот оно наконец», — сказал он себе.

Поезд тронулся, и Филип не мог оторвать глаз от окна; его восхищали песчаные дюны — цвет их казался ему самым прекрасным из всего, что он видел в жизни; он приходил в восторг от каналов и нескончаемой вереницы тополей. Когда они вышли из Северного вокзала и покатали по неровно мощенным улицам в стареньком, скрипучем экипаже, Филипу показалось, что он дышит каким-то другим воздухом, таким пьянящим, что он с трудом сдерживался, чтобы не закричать от радости. У входа в отель их встретил управляющий — толстый симпатичный человек, прилично говорящий по-английски; с мистером Гудурти они были старые друзья, и приезжих встретили очень радушно; жена управляющего угостила их обедом у себя дома, и Филипу показалось, что он никогда не ел ничего вкуснее этого *beefsteak aux pommes*¹ и не пил такого нектара, как это *vin ordinaire*².

Почтенному и благонамеренному домовладельцу мистру Гудурти столица Франции казалась развеселым и похабным раем. Наутро он спросил управляющего, что бы им повидать «такого-разэтакого, с клубничкой». Поездки в Париж доставляли ему громадное удовольствие: по его словам, они не дают обрасти мхом. По вечерам, когда с работой было покончено, они обедали, а потом мистер Гудурти водил Филипа в «Мулен Руж» или в «Фоли Бержер». Смакуя непристойности, он хитренько и сластолюбиво жмурился, глазки его так и сверкали. Он посещал все значные места, специально предназначенные для иностранцев, а вернувшись, разглагольствовал о том, что страна, которая позволяет себе подобный разврат, обречена на гибель. Когда в каком-нибудь ревию на сцене появлялась обнаженная женщина, он толкал Филипа локтем в бок и называл ему видных проституток, которые разгуливали по залу. Он показывал Филипу пошлый, вульгарный Париж, но Филип глядел на него глазами, ослепленными восторгом. Ранним утром он выбежал из отеля, шел на Елисейские поля, стоял на площади Согласия. Был июнь, и Париж серебрился в прозрачном воздухе. Сердце Филипа было переполнено любовью к людям. «Вот она, — думал он, — настоящая романтика».

¹ Бифштекса с жареной картошкой (*фр.*).

² Столовое вино (*фр.*).

Они провели в Париже почти неделю и уехали только в воскресенье. Когда поздно ночью Филип вошел в свое убогое жилище в Барнсе, решение было принято: он откажется от бухгалтерского диплома и уедет в Париж учиться живописи; однако, боясь, что его сочтут сумасбродом, он решил остаться в конторе до конца первого года. В середине августа ему полагался отпуск; уезжая, он заявил Герберту Картеру, что не намерен возвращаться. Но, хотя Филип и заставлял себя каждый день ходить в контору, он не мог даже сделать вид, будто работа его интересует. Мысли его были заняты будущим. Во второй половине июля дел стало гораздо меньше, и он часто уходил из конторы под тем предлогом, что ему надо посещать лекции для сдачи первых экзаменов. Все свободное время он проводил в Национальной галерее. Он зачитывался книгами об искусстве и о Париже. Рескина он изучил досконально. Прочел он и жизнеописания итальянских художников, написанные Вазари. Ему нравилась биография Корреджо, и он видел себя стоящим перед огромным полотном и произносящим, подобно итальянцу: «Anch'io son pittore!»¹

Теперь в душе его не было никаких сомнений: он поверил, что у него есть задатки большого художника.

— В конце концов могу же я попытаться,— говорил он себе.— Самое важное в жизни — это уметь рисковать.

Наконец настала середина августа. Мистер Картер проводил свой месячный отпуск в Шотландии, и контору возглавлял управляющий. Со времени их поездки в Париж мистер Гудурти, казалось, благоволил к Филипу, и теперь, когда свобода была так близка, юноша мог относиться к этому забавному человеку терпимо.

— Завтра уезжаете в отпуск, Кэри? — спросил тот однажды вечером.

Весь день Филип твердил себе, что сегодня наконец он последний раз сидит в этой ненавистной конторе.

— Да, год моего учения пришел к концу.

— К сожалению, вам трудно похвастаться успехами. Мистер Картер очень вами недоволен.

— Но не так, как я недоволен мистером Картером,— весело возразил ему Филип.

— Вам не пристало так говорить, Кэри.

— Я больше не вернусь сюда. У нас была договоренность, что, если бухгалтерия мне не понравится, мистер

¹ «И я ведь тоже художник!» (*ит.*) — слова, которые будто бы произнес Корреджо, глядя на «Святую Цецилию» Рафаэля.

Картер через год вернет мне половину денег, внесенных за обучение, и я смогу все это бросить.

— А ваше решение не слишком ли опрометчиво?

— За десять месяцев я все это возненавидел. Возненавидел работу, возненавидел контору, возненавидел Лондон. Лучше подметать улицы, чем тянуть эту лямку.

— Да уж что говорить — не больно-то вы годитесь для нашей профессии.

— Прощайте, — протянул ему руку Филип. — Я хочу поблагодарить вас за вашу доброту. Простите, если я причинял вам неприятности. Но я чуть ли не с самого начала понял, что дело это не по мне.

— Ну что ж, если вы твердо решили, тогда прощайте. Не знаю, что вы намерены делать, но, если будете поблизости, заходите нас повидать.

Филип коротко засмеялся.

— Простите меня за грубость, но я от души надеюсь, что никогда в жизни больше никого из вас не увижу.

ГЛАВА 39

Блэкстеблский священник и слышать не хотел о том, что задумал Филип. У него было твердое убеждение, что всякое начатое дело нужно доводить до конца. Как и все слабохарактерные люди, он настойчиво требовал от других, чтобы они не меняли своих решений.

— Ты ведь сам хотел стать бухгалтером, тебя никто не неволил, — говорил он Филипу.

— Я согласился потому, что не нашел другого способа уехать в Лондон. Теперь я ненавижу его, ненавижу эту работу, и ничто меня не заставит туда вернуться.

Мистер и миссис Кэри были откровенно возмущены намерением Филипа стать художником. Он не должен забывать, говорили они, что его родители были людьми из хорошего общества, а занятие живописью нельзя назвать порядочной профессией, это какая-то богема, неприличие, безнравственность. Да еще Париж!

— Пока я имею право решать твою судьбу, я не позволю тебе жить в Париже, — твердо заявил священник. — Это вертеп. Блудницы вавилонские щеголяют там своими пороками; Содом и Гоморра были менее греховны, чем этот город. Тебя воспитывали как джентльмена и христианина, и я бы не оправдал доверия твоих покойных родителей, если бы позволил тебе поддаться такому соблазну.

— Ну что ж, я знаю, что я не христианин, и начинаю сомневаться в том, что я джентльмен,— заявил Филип.

Спор принимал все более бурный характер. Филип должен был вступить во владение своим маленьким наследством только через год, а пока что мистер Кэри соглашался выдавать ему на расходы лишь при том условии, что он останется в конторе. Филипу же было ясно, что раз он не намерен заниматься бухгалтерией, ему нужно бросить это дело, пока еще можно получить назад хотя бы половину денег, уплаченных за обучение. Священник ничего не желал слушать. Филип, позабыв всякую сдержанность, говорил злые и обидные слова.

— Вы не имеете права транжирить мои деньги! — воскликнул он в конце концов. — Ведь деньги же все-таки мои, а не ваши. Я не ребенок. Как вы можете не пустить меня в Париж, если я решил туда поехать? Сколько бы вы ни настаивали, я не вернусь больше в Лондон.

— Все, что я могу сделать, — это не дать тебе денег, если ты отказываешься поступать так, как я считаю нужным.

— Пожалуйста, воля ваша. Я решил поехать в Париж и, если будет нужно, продам свои костюмы, книги и золотые вещи отца.

Тетя Луиза молча сидела рядом; она была очень расстроена, видя, что Филип вне себя, но понимала, что любое ее возражение рассердит его еще больше. Наконец священник заявил, что не желает ничего слышать, и вышел с высоко поднятой головой. Целых три дня он с Филипом не разговаривал. Филип написал Хейуорду, попросил, чтобы тот сообщил ему поподробнее о Париже, и решил отправиться в путь сразу же, как получит ответ. Ссора между Филипом и дядей терзала миссис Кэри; она чувствовала, что Филип теперь ненавидит и ее тоже, и эта мысль ее просто изводила. Она любила мальчика всем сердцем. Не выдержав, она с ним заговорила первой и внимательно выслушала все его излияния насчет того, как его разочаровал Лондон и какие честолюбивые мечты влекут его в Париж.

— Может, из меня ничего не выйдет, но дайте мне хотя бы попробовать. Я не могу оказаться бездарнее, чем я был в этой проклятой конторе. И у меня такое чувство, что я могу писать картины. Я знаю, во мне что-то есть.

Она не была так уверена, как ее муж, что они поступают правильно, мешая племяннику заниматься искусством, к которому у него такая сильная склонность. Она читала о великих художниках, чьи родители не позволяли им учиться

живописи, и будущее показало всю преступность родительского упрямства. И неужели художник не может вести такую же праведную жизнь, как и присяжный бухгалтер?

— Я так боюсь твоей поездки в Париж,— говорила она Филипу жалобно.— Если бы ты еще учился в Лондоне, куда ни шло.

— Я хочу посвятить себя живописи. Если ею заниматься как следует, то только в Париже можно чему-нибудь научиться по-настоящему.

По просьбе Филипа миссис Кэри написала поверенному, что Филип разочаровался в своей работе в Лондоне, и спросила, как мистер Никсон отнесся бы к возможности переменить ее на какую-нибудь другую. В ответ было получено следующее письмо:

«Уважаемая миссис Кэри!

Я виделся с мистером Гербертом Картером и, к сожалению, должен Вам сообщить, что Филип не сумел проявить себя так, как этого бы хотелось. Если он решительно настроен против своей работы, может быть, лучше воспользоваться случаем и расторгнуть договор. Нечего и говорить, что я очень огорчен тем, как обернулось дело, но Вы сами знаете, что отрезанный ломоть к хлебу не пристанет.

Искренне преданный Вам

Альберт Никсон».

Письмо показали священнику, но, прочтя его, он заупрямился еще больше. Он не возражал, чтобы племянник избрал себе какую-нибудь другую профессию — он даже предложил ему пойти по стопам отца и заняться медициной,— но ничто не заставит его дать Филипу деньги, если он поедет в Париж.

— Все это бредни себялюбца и человека распущенного,— сказал он.

— Любопытно, что себялюбие ты видишь только в других,— колко отпарировал Филип.

В это время пришел ответ от Хейуорда, который сообщал ему адрес отеля, где Филип сможет получить комнату за тридцать франков в месяц, и прилагал рекомендательное письмо к *massière*¹ одной из художественных школ. Филип прочел письмо тете Луизе и сказал ей, что собирается ехать первого сентября.

— Но у тебя же нет денег,— возразила она.

¹ Староста в школе скульптуры или живописи (*фр.*).

— Я сегодня же поеду в Теркенбери и продам отцовские золотые вещи.

Он получил в наследство от отца золотые часы с цепочкой, два-три кольца, запонки и две булавки для галстука. Одна из них была жемчужной и стоила, надо думать, довольно дорого.

— Одно дело — купить вещь, а другое — ее продать, — сказала тетя Луиза.

Филип улыбнулся, потому что это было любимое изречение его дядюшки.

— Знаю, но на самый худой конец я получу за все фунтов сто и проживу на эти деньги, пока мне не исполнится двадцать один год.

Миссис Кэри ничего не ответила. Она поднялась к себе в комнату, надела черную шляпку и отправилась в банк. Через час она вернулась. Подойдя к Филипу, который читал в гостиной, она вручила ему конверт.

— Что это? — спросил он.

— Маленький подарок, — ответила она со смущенной улыбкой.

Он вскрыл конверт и обнаружил там одиннадцать кредитных билетов по пяти фунтов и бумажный мешочек, набитый золотыми.

— Меня ужасно огорчает, что тебе придется продать драгоценности отца. Это мои деньги, они лежали в банке. Тут почти сто фунтов.

Филип покраснел, и на глазах у него почему-то навернулись слезы.

— Дорогая ты моя, разве я могу их взять? Огромное тебе спасибо, но совесть мне этого не позволит.

Когда миссис Кэри выходила замуж, у нее было триста фунтов; деньги эти она тратила очень бережливо, на всякие непредвиденные нужды: неотложную помощь бедным и подарки к рождеству и дню рождения мужу и Филипу. Годы шли, и ее маленький капитал, к сожалению, таял, но по-прежнему служил священнику поводом для шуток. Он звал жену богачкой и постоянно поддразнивал ее тем, что она копит деньги «про черный день».

— Ну, пожалуйста, мальчик, возьми их. Мне ужасно обидно, что я была такой мотовкой и у меня так мало осталось. Но я буду просто счастлива, если тебе они пригодятся.

— Но ведь тебе они самой понадобятся, — сказал Филип.

— Нет, наверно, уже не понадобятся. Я их берегла, боясь, что дядя умрет прежде меня. Мне казалось, что надо иметь про запас хоть немножко денег, если они мне вдруг будут нужны, но мне почему-то кажется, что я долго не проживу.

— Что ты, дорогая, как можно так говорить! Ну конечно же, ты никогда не умрешь. Разве я смогу без тебя?

— Да нет, теперь уж мне не страшно умереть.— Голос ее дрогнул, и она прикрыла рукой глаза, но тут же их вытерла и постаралась улыбнуться.— Сначала я молила бога, чтобы он не взял меня к себе первую,— я так боялась, что Уильям останется один и будет горевать, но теперь я знаю, что для него это не будет такой утратой, как было бы для меня. Ему куда больше хочется жить, чем мне, я не была ему женой, какая ему нужна, и думаю, что, если со мной что-нибудь случится, он женится опять. Поэтому мне и хочется умереть первой. Ты не считаешь меня эгоисткой, а, мальчик? Но я ведь все равно не перенесу, если он умрет.

Филип поцеловал ее худую, морщинистую щеку. Он не понимал, почему ему мучительно стыдно при виде такой самозабвенной любви. Как можно было отдать сердце равнодушному человеку, эгоисту, себялюбцу? Чутьем он угадывал, что она знает, как безразличен к ней муж, как он черств. Знает и все равно его любит, преданно и смиренно.

— Ты возьмешь эти деньги, да, мальчик? — спросила она, нежно поглаживая его руку.— Я знаю, ты можешь без них обойтись, но не лишай меня этой маленькой радости. Мне всегда так хотелось что-нибудь для тебя сделать. Ты пойми, у меня никогда не было своего ребенка, и я люблю тебя, как сына. Когда ты был маленький — я знала, что это очень нехорошо,— но мне иногда даже хотелось, чтобы ты заболел и я могла бы за тобой поухаживать, особенно ночью. Но ты болел только раз, да и то в школе. Мне ужасно нужно хоть чем-нибудь тебе помочь. И другого случая уже никогда не представится. Может, когда-нибудь, когда ты станешь великим художником, ты меня вспомнишь, вспомнишь, что это я помогла твоим первым шагам на жизненном пути.

— Большое спасибо,— сказал Филип.— Я очень тебе благодарен.

Ее усталые глаза осветились улыбкой — улыбкой простой радости.

— Господи, как я счастлива!

Через несколько дней миссис Кэри отправилась на вокзал проводить Филипа. Она стояла у двери вагона, глотая слезы. Филип был оживлен и полон нетерпения. Ему хотелось, чтобы поезд поскорее отошел.

— Поцелуй меня еще разок,— попросила она.

Он высунулся из окна вагона и поцеловал ее. Поезд тронулся, а она все стояла на перроне маленькой станции и махала платком, пока поезд не скрылся из виду. На сердце у нее было тяжело, и дорога до дома показалась ей нескончаемо долгой. Ничего удивительного, что ему не терпелось поскорее уехать, думала она: он ведь еще мальчик и его манит будущее, а вот ей, ей... И она изо всех сил стиснула зубы, чтобы не заплакать. Мысленно она помолилась богу, чтобы он оградил ее мальчика от всякого зла и соблазна, даровал ему счастье и удачу.

Но Филип забыл и думать о ней, как только сел в вагон. Он думал только о будущем. Он написал миссис Оттер — *massière*, к которой Хейуорд дал ему рекомендательное письмо, и в кармане у него лежало ее приглашение на завтра к чаю. Приехав в Париж, Филип велел погрузить свои вещи на извозчика и медленно покати́л по оживленным улицам через мост, по узеньким переулкам Латинского квартала. Он снял комнату в «Отель де дёз эколь» на одной из самых захудалых улочек возле бульвара Монпарнас, откуда ему рукой было подать до школы «Амитрано», где он собирался учиться. Лакей внес его сундук на пятый этаж, и Филипа провели в крошечную комнатушку, очень душную, так как окна не открывались. Большую часть номера занимала громадная деревянная кровать с балдахином из красного репса; на окнах висели засаленные портьеры из той же материи; комод служил и умывальником, а тяжелый гардероб был в стиле, который принято приписывать доброму королю Луи-Филиппу. Обои выцвели от времени; они были темно-серые, и на них можно было различить гирлянды из коричневых листьев. Филипу комната показалась забавной и очень уютной.

Время было позднее, но Филип, слишком возбужденный, чтобы заснуть, спустился вниз и пошел по бульвару, туда, где горели огни. Они привели его на вокзал; площадь перед ним была освещена дуговыми фонарями. Яркий свет, грохот сновавших во все стороны желтых трамваев так обрадовали Филипа, что он громко засмеялся. Повсюду были открыты кафе, и, захотев пить, а главное — получше разглядеть тол-

пу, он уселся за столик перед «Кафе де Версай». Ночь была теплая, и за столиками сидело много народу; Филип жадно разглядывал посетителей: тут были мужья с женами и детьми, компания бородатых мужчин в каких-то странных головных уборах, которые громко разговаривали и размахивали руками; рядом с ним сидели двое мужчин, похожих на художников, с дамами, которые, надо надеяться, не были их законными женами; за спиной какие-то американцы отчаянно спорили об искусстве. Филип был взволнован до глубины души. Он сидел долго, усталый с дороги, но такой счастливый, что с трудом заставил себя подняться с места, а когда наконец лег спать, уснуть все равно не мог и прислушивался к многоголосому шуму Парижа.

На следующий день, часов в пять, он отправился к Бельфорскому Льву и на новой улице, которая шла от бульвара Распай, нашел квартиру миссис Оттер. Это бесцветное существо лет тридцати, провинциального склада, усиленно изображало даму из общества; она познакомила его со своей матерью. Из разговора выяснилось, что миссис Оттер учится в Париже уже три года и не живет со своим мужем. В маленькой гостиной висели два написанных ею портрета; на неопытный взгляд Филипа, сделаны они были мастерски.

— Неужели и я когда-нибудь смогу так хорошо писать! — воскликнул Филип.

— Надеюсь, что да, — сказала она не без самодовольства. — Но сразу всему не научишься.

Она была очень любезна и дала ему адрес магазина, где он мог купить себе папку, бумагу для рисования и уголь.

— Я пойду в «Амитрано» завтра к девяти и, если вы будете там в это время, позабочусь, чтобы вы получили удобное место.

Она спросила, с чего он собирается начать, и Филипу не захотелось показать, как он мало разбирается в этом новом для него деле.

— Да как вам сказать... Прежде всего надо научиться рисовать, как вы, — ответил он.

— Вот молодец! Другие ужасно торопятся. А я не прирагивалась к маслу целых два года, и посмотрите — вот вам результат.

Она взглянула на портрет матери — довольно топорное изображение, висевшее над пианино.

— И на вашем месте я была бы осторожнее в выборе знакомых. Не стала бы, например, водиться со всякими иностранцами. Я лично очень разборчива в своих знакомствах.

Филип поблагодарил ее за совет, но он показался ему странным. Ему не очень-то хотелось быть разборчивым.

— Мы живем так, словно и не уезжали из Англии,— вставила молчавшая до сих пор мать миссис Оттер.— Мы даже перевезли сюда всю нашу обстановку.

Филип оглядел комнату. Она была заставлена громоздкой мебелью, а на окнах висели такие же кружевные гардины, какие тетя Луиза вешала на лето. Пианино было задрапировано блестящим шелком и каминная доска тоже. Миссис Оттер поймала его взгляд.

— Вечером, когда закрываешь ставни, и в самом деле кажется, будто ты не уезжал из Англии.

— И едим мы то же самое, что ели дома,— добавила мать.— На завтрак мясо, обедаем в середине дня...

Выйдя от миссис Оттер, Филип отправился покупать рисовальные принадлежности, а наутро, ровно в девять, явился в школу, изо всех сил стараясь не выдать, как он робеет. Миссис Оттер была там и подошла к нему с приветливой улыбкой. Его тревожило, как его примут другие ученики: Филип не раз читал, какими грубыми шутками встречают новичков в некоторых студиях. Но миссис Оттер его успокоила:

— Ну, у нас не бывает ничего подобного. Чуть не половина наших учеников — дамы. Они-то и задают тон.

Студия была просторной и пустой, на серых стенах были наколоты премированные рисунки. На стуле сидела натурщица в небрежно накинутом халате, а вокруг нее стояло человек десять мужчин и женщин. Кое-кто из них разговаривал, остальные заканчивали свои наброски. Это был перерыв, натурщица отдыхала.

— На первых порах не беритесь за что-нибудь слишком трудное,— сказала миссис Оттер.— Поставьте мольберт сюда. Вы увидите, что с этой точки ее рисовать проще всего.

Филип поставил мольберт, куда она показала, и миссис Оттер познакомила его с молодой женщиной, сидевшей с ним рядом.

— Мистер Кэри, мисс Прайс. Мистер Кэри еще только начинает учиться, будьте добры, помогите ему немножко, пока он не освоится.— Потом она обратилась к натурщице: — *La pose*¹.

Натурщица бросила «Птит републик», которую читала, и, недовольно скинув халат, влезла на помост. Она встала,

¹ В позу (*pose*).

слегка расставив для устойчивости ноги, и закинула руки за голову.

— Дурацкая поза,— сказала мисс Прайс.— Не пойму, зачем они такую выбрали.

Когда Филип вошел в студию, на него посмотрели с любопытством и даже натурщица равнодушно скользнула по нему взглядом, но теперь никто больше не обращал на него внимания. Филип, сидя перед чистым листом бумаги, смущенно поглядывал на натурщицу. Он не знал, с чего начать. Филип никогда не видел обнаженной женщины. Она была уже не молода, с дряблой грудью. Бесцветные русые волосы в беспорядке падали на лоб, кожа была покрыта крупными веснушками. Филип бросил взгляд на рисунок мисс Прайс. Она работала над ним только два дня, и видно было, что ей нелегко: бумага стала шершавой от непрерывного стирания резинкой, и, на взгляд Филипа, фигура казалась как-то странно перекошенной.

«Надо надеяться, что я сделаю не хуже»,— подумал он.

Он начал рисовать голову, собираясь перейти от нее к торсу и ниже, но почему-то рисовать с натуры оказалось бесконечно труднее, чем по памяти. Он запутался и украдкой поглядел на мисс Прайс. Она работала с ожесточением. Брови ее были сдвинуты; глаза горели тревогой. В студии было жарко, и на лбу у нее выступили капельки пота. Это была девушка лет двадцати шести с густыми матово-золотистыми волосами; волосы были красивые, но небрежно причесаны: стянуты со лба назад и кое-как закручены в узел. Лицо широкое, одутловатое, с приплюснутым носом и небольшими глазами; кожа скверная, с какой-то нездоровой бледностью. Выглядела она немойтой, неухоженной—невольно казалось, что она и спит не раздеваясь. Держалась мисс Прайс серьезно и молчаливо. Когда снова объявили перерыв, она отошла, чтобы поглядеть на свою работу.

— Непонятно, зачем я так мучаюсь,— сказала она.— Но мне хочется, чтобы все было правильно.— Она посмотрела на Филипа.— А как ваши дела?

— Да никак,— ответил он невеселой улыбкой.

Она поглядела на его рисунок.

— А на глазок ничего у вас и не выйдет. Надо найти пропорции. И расчертить бумагу.

Она быстро показала ему, как взяться за дело. Филипу понравилось ее серьезное отношение к занятиям, но его отталкивало, что она так некрасива. Он был благодарен ей

за помощь и снова принялся за работу. В это время в студии прибавилось народу (главным образом мужчин, потому что женщины всегда приходили первыми), и для начала сезона учеников набралось довольно много. Вскоре в комнату вошел молодой человек с жидкими черными волосами, громадным носом и длинным лицом, в котором было что-то лошадиное. Он сел по другую руку от Филипа и кивнул издали мисс Прайс.

— Как вы сегодня поздно, — сказала она. — Только что встали?

— День уж очень славный. Захотелось полежать в постели и помечтать о том, как хорошо на улице.

Филип засмеялся, но мисс Прайс отнеслась к словам его соседа совершенно серьезно.

— Странно. По-моему, куда разумнее было бы выйти и погулять на воздухе.

— Путь юмориста усеян терниями, — сказал молодой человек, даже не улыбнувшись.

Ему, видимо, не хотелось работать. Поглядев на свой холст — он писал маслом и вчера уже набросал фигуру натурщицы, — сосед повернулся к Филипу:

— Только что из Англии?

— Да.

— А как вы попали в «Амитрано»?

— Это — единственная школа, о которой я узнал.

— Надеюсь, у вас нет иллюзии, будто здесь вас могут научить чему-нибудь полезному?

— Но это лучшая школа в Париже, — сказала мисс Прайс. — Тут к искусству относятся серьезно.

— А кто сказал, что к искусству надо относиться серьезно? — спросил молодой человек и, так как мисс Прайс презрительно передернула плечами, добавил: — Дело в том, что всякая школа плоха. Она по самой своей природе академична. Эта школа не так вредна, как другие, потому что учат здесь хуже чем где бы то ни было. А раз вы ничему не можете научиться...

— Тогда зачем же вы сюда ходите? — прервал его Филип.

— «Я знаю более прямую дорогу, но не иду по ней». Мисс Прайс — женщина образованная, она скажет, как это по-латыни.

— Прошу вас не впутывать меня в ваши разговоры, мистер Клаттон, — отрезала Прайс.

— Единственный способ научиться писать, — продолжал он невозмутимо, — это снять мастерскую, взять натурщицу и выбиваться в люди самому.

— Разве это так трудно? — спросил Филип.

— На это нужны деньги.

Он принялся рисовать, и Филип стал его искося разглядывать. Клаттон был высок и отчаянно худ; его крупные кости словно торчали из тела; острые локти, казалось, вот-вот прорвут рукава ветхого пиджака. Брюки внизу обтрепались, а на каждом из башмаков красовалась грубая заплата. Мисс Прайс встала и подошла к мольберту Филипа.

— Если мистер Клаттон хотя минуту помолчит, я вам немножко помогу.

— Мисс Прайс не любит меня за то, что у меня есть чувство юмора, — сказал Клаттон, задумчиво рассматривая свой холст. — Но ненавидит она меня за то, что я — гений.

Он произнес эти слова с такой важностью, а лицо его, на котором выделялся огромный уродливый нос, было так комично, что Филип расхохотался. Однако мисс Прайс побагровела от злости.

— Только вы один и подозреваете себя в гениальности.

— Один я хоть в какой-то мере и могу об этом судить.

Мисс Прайс стала разбирать работу Филипа. Она бойко рассуждала об анатомии, композиции, планах, линиях, а также о многом другом, чего Филип не понимал. Мисс Прайс посещала студию уже очень давно и знала, какие требования мастера предъявляют к ученикам; но, хотя она и могла показать, в чем ошибки Филипа, подсказать ему, как их исправить, она не умела.

— Я страшно вам благодарен за то, что вы так со мной возитесь, — сказал ей Филип.

— Чепуха, — ответила она, покраснев от смущения. — Вы или другой — какая разница! И мне помогали, когда я начинала учиться.

— Мисс Прайс желает подчеркнуть, что она делится с вами своими познаниями только из чувства долга, а отнюдь не ради ваших прекрасных глаз, — пояснил Клаттон.

Мисс Прайс кинула на него разъяренный взгляд и вернулась к своему наброску. Часы пробили двенадцать, и натурщица, с облегчением вздохнув, спустилась с помоста. Мисс Прайс собрала свое имущество.

— Кое-кто из наших ходит обедать к «Гравье»,— сказала она Филипу, посмотрев на Клаттона.— Лично я ем дома.

— Если хотите, я свожу вас к «Гравье»,— предложил Клаттон.

Филип поблагодарил и собрался идти с ним. У выхода миссис Оттер осведомилась, как его дела.

— Фанни Прайс вам помогла?— спросила она.— Я посадила вас рядом, понимая, что она может быть полезна— если, конечно, захочет. Она очень неприятная, желчная девица и совсем не умеет рисовать, но знает здешние порядки и может помочь новичку, если на нее найдет такой стих.

На улице Клаттон сказал Филипу:

— Вы покорили сердце Фанни Прайс. Берегитесь!

Филип засмеялся. Он еще не встречал человека, сердце которого ему меньше хотелось бы покорить. Они подошли к дешевенькому ресторанчику, который посещали многие ученики их школы, и сели. За столиком уже обедали трое или четверо молодых людей. Им подали яйцо, мясо, сыр и маленькую бутылку вина, и все это стоило один франк. За кофе платили отдельно. Столики были расставлены прямо на тротуаре, и мимо них по бульвару, без отдыха звеня, сновали маленькие желтые трамваи.

— Кстати, как вас зовут?— спросил Клаттон, усаживаясь.

— Кэри.

— Разрешите, господа, представить вам моего старого, верного друга по фамилии Кэри,— произнес Клаттон.— Мистер Фланаган, мистер Лоусон.

Посмеявшись, молодые люди продолжали свой разговор. Болтали о тысяче разных вещей и все разом. Никто не обращал никакого внимания на собеседников. Рассказывали о том, где побывали летом, о своих мастерских, о различных школах, называли незнакомые Филипу имена: Моне, Мане, Ренуар, Писарро, Дега. Филип слушал затаив дыхание, и, хотя все это было ему еще чуждо, сердце его замирало от восторга. Время летело. Клаттон встал из-за стола и сказал Филипу:

— Если вам захочется, приходите сюда вечером: я, наверно, буду. Для того чтобы обзавестись катаром желудка, лучше места не найдешь. Но зато не найдешь и дешевле во всем Латинском квартале.

Филип прошелся по бульвару Монпарнас. Этот Париж был совсем не похож на тот, что он видел весной, когда приезжал проверять счета отеля «Сент-Джордж», — о том периоде жизни он не мог теперь думать без дрожи. Все здесь скорее напоминало провинцию, дышало каким-то привольем, простотой, нагретый солнцем простор навевал мечтательное настроение. Стройные подстриженные деревья, яркая белизна стен, широкая улица ласкали глаз, и Филип чувствовал себя здесь совсем как дома. Он брел по тротуару, разглядывая прохожих; казалось, что и в самом простом рабочем в широких штанах, подпоясанных красным кушаком, и в щуплых солдатиках, одетых в поношенные, но изящные мундиры, есть какая-то удивительная элегантность. Дойдя до авеню д'Обсерватуар, он даже вздохнул от удовольствия, поглядев на открывшуюся перед ним величественную и все же полную грации панораму. Он вошел в Люксембургский сад; на дорожках играли дети и парочками прогуливались няньки с длинными лентами на чепцах, мимо шли деловые люди с портфелями под мышкой и какие-то странно одетые юноши. Пейзаж был строгий, изысканный, природа причесана и одета, но с таким вкусом, что рядом с ней непричесанная и неодетая природа показалась бы просто варварством. Филип был очарован. Его волновало, что вот он стоит на месте, о котором столько читал, — земля эта была для него священна; он чувствовал такое же благоговение, какое испытывает старый знаток античности, глядя впервые на ласковую долину Спарты.

Гуляя, он увидел мисс Прайс, одиноко сидевшую на скамейке. Он поколебался, подойти ли к ней, — ему в эту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, к тому же ее нескладная внешность не гармонировала с той прелестью, которая была разлита вокруг, — но он чутьем угадал, что она болезненно обидчива, и, так как она его явно заметила, решил, что будет невежливо пройти мимо.

— Что вы здесь делаете? — спросила она, когда он к ней подошел.

— Радуюсь жизни. А вы?

— А я каждый день прихожу сюда от четырех до пяти. Мне кажется, что вредно работать весь день без перерыва.

— Можно присесть с вами рядом?

— Если хотите.

— Не скажу, чтобы вы были очень любезны, — засмеялся он.

— А я не мастерица говорить любезности.

Филип был слегка обескуражен и молча закурил сигарету.

— Говорил вам Клаттон что-нибудь насчет моих работ? — спросила она вдруг.

— Нет, кажется, не говорил.

— Знаете, а он ведь ничтожество. Он думает, что он гений! Но это неправда. Во-первых, он лентяй. А гений — это беспредельная способность трудиться. Единственный путь — работать не покладая рук. И, если ты всерьез решил чего-то достигнуть, ты своего добьешься.

Она говорила со страстной настойчивостью, в которой звучала какая-то сила. На ней была матросская шляпка из черной соломки, белая блузка не первой свежести и коричневая юбка. Руки без перчаток нуждались в мыле и щетке. Вид у нее был такой неприглядный, что Филип пожалел: зачем он с ней заговорил? Да и трудно было понять, хочет она, чтобы он остался или ушел.

— Для вас я сделаю все, что смогу, — сказала она вдруг без какой бы то ни было связи с предыдущим разговором. — Я ведь знаю, как это трудно.

— Большое спасибо, — ответил Филип. И, помолчав немножко, добавил: — Давайте выпьем где-нибудь чаю.

Она метнула на него взгляд и залилась краской. Когда она краснела, ее одутловатое лицо покрывалось некрасивыми пятнами и становилось похоже на мятую землянику со сливками.

— Нет, спасибо. Очень мне нужен ваш чай! Я только что обедала.

— Да просто посидим в кафе, — сказал Филип. — Скоро тает время.

— Если время вам в тягость, зачем вы принуждаете себя со мной сидеть? Я ничуть не огорчусь, если останусь одна.

В эту минуту мимо них прошли два молодых человека в вельветовых куртках, широченных брюках и беретах. Несмотря на молодость, оба были с бородой.

— Как по-вашему, они художники? — спросил Филип. — Можно подумать, что это ожившие герои «Жизни богемы».

— Это американцы, — презрительно сморщилась мисс Прайс. — Французы уж тридцать лет не носят ничего подобного, а вот американцы с Дальнего Запада, как приедут в Париж, нарядятся в такие костюмы и бегут к фотографу. Вот и все, что у них есть общего с искусством! Но им-то что, у них много денег!

Филипу нравилась смелая живописность костюма американцев, ему казалось, что она свидетельствует о романтическом взгляде на жизнь. Мисс Прайс осведомилась, который час.

— Мне пора в студию,— сказала она.— А вы придете на эскизы?

Филип не знал, о чем она говорит, и мисс Прайс объяснила, что по вечерам от пяти до шести в студии сидела натурщица и каждый, кто хотел, мог прийти и рисовать, заплатив пятьдесят сантимов. Ежедневно у них другая модель, и эти уроки очень полезны.

— Думаю, что вам еще рано,— сказала она.— Надо сперва немножко подучиться.

— А почему бы не попробовать? Все равно мне нечего делать.

Они встали и пошли в студию. Мисс Прайс держала себя так, что Филип не мог понять, надо ему идти с ней или она предпочитает побыть одна. Он остался из чистого смущения, не зная, как от нее уйти, но она не пожелала с ним разговаривать и на вопросы отвечала крайне нелюбезно.

У дверей студии стоял человек с большим блюдом, куда каждый входящий клал свои полфранка. В студии было болеелюдно, чем утром, но теперь здесь стало меньше англичан и американцев, да и женщин как будто бы тоже поубавилось. Филипу показалось, что эта публика больше соответствует тому, что он ожидал здесь встретить. В комнате было жарко, скоро стало нечем дышать. На этот раз позировал старик с огромной седой бородой, и Филип старался выполнить то, чему успел научиться утром, но дело шло у него неважно; он понял, что рисует гораздо хуже, чем предполагал. Он с завистью поглядывал на эскизы своих соседей и думал, что вряд ли когда-нибудь сумеет так мастерски владеть углем. Час прошел незаметно. Не желая навязывать свое общество мисс Прайс, он сел от нее поодаль, но в конце урока, когда он шел мимо нее к выходу, она коротко спросила, каковы его успехи.

— Да не слишком хороши,— улыбнулся он.

— Если бы вы удостоили меня вашим обществом и сели поближе, я могла бы вам кое-что подсказать. Но вы, видно, зазнаетесь.

— Да совсем наоборот! Я боялся быть вам в тягость.

— Когда вы мне будете в тягость, я не постесняюсь вам об этом сказать.

Филип понял, что, несмотря на грубоватый тон, она готова оказать ему помощь.

— Тогда я завтра просто не отстану от вас.

— Ну что ж,— сказала она.

Филип вышел, раздумывая, чем бы ему заняться до ужина. Ему захотелось отведать что-нибудь чисто парижское. Absinthe!¹ Конечно, вот что надо бы попробовать. Филип медленно побрел к вокзалу, сел за столик одного из кафе и заказал абсент. Пил он через силу, но зато с чувством удовлетворения. Вкус ему показался противным, но действие оказалось великолепным: каждой клеткой своего существа Филип ощущал себя настоящим художником, а так как пил он на пустой желудок, настроение стало у него просто радужным. Глядя на прохожих, он чувствовал, что все люди — его братья. Он был счастлив. Когда Филип пришел к «Гравье», столик, за которым сидел Клаттон, был занят, но художник, увидев, как Филип, хромя, идет по проходу, подозвал его к себе. Соседи потеснились и освободили для Филипа место. Подали ужин: тарелку супа, мясо, фрукты, сыр и полбутылки вина, но Филип не обращал внимания на то, что ест: он больше разглядывал людей, сидевших за столиком. Тут опять был Фланаган — низенький, курносый молодой американец с открытым лицом и смеющимся ртом. На нем были длинная куртка из довольно пестрой ткани, синее кашне и матерчатая кепка странного фасона.

В ту пору в Латинском квартале царил импрессионизм, но его победа над старой школой была еще совсем недавней, и Каролюса-Дюрана, Бугеро и иже с ними до сих пор противопоставляли Мане, Моне и Дега. Восхищаться этими художниками было до сих пор признаком изысканного вкуса. Влияние Уистлера на англичан и его соплеменников было очень сильно, а люди сведущие коллекционировали японские гравюры. К старым мастерам предъявляли новые требования. То поклонение, которым веками был окружен Рафаэль, теперь вызывало у передовых молодых людей только издевку. Они с легкостью променяли бы все его полотна на портрет Филиппа IV работы Веласкеса, висевший в Национальной галерее.

Вокруг Филипа загорелся горячий спор об искусстве. Напротив него сидел Лоусон, с которым он познакомился за завтраком. Это был худой рыжий юноша с веснушками и ярко-зелеными глазами. Как только Филип уселся за столик, он уставился на него и вдруг произнес:

¹ Абсент! (*фр.*)

— Рафаэль был сносным художником только тогда, когда писал чужие картины. Он очень мил, когда пишет за Перуджино или Пинтуриккьо, но в картинах Рафаэля,— произнес он, презрительно пожимая плечами,— он всего-навсего Рафаэль.

Лоусон говорил так воинственно, что Филипа взяла оторопь, однако ему не пришлось возражать: в разговор нетерпеливо вмешался Фланаган.

— А ну его к дьяволу, это ваше искусство!— закричал он.— Давайте лучше наклюкаемся!

— Да вы ведь и вчера наклюкались, Фланаган,— сказал Лоусон.

— Это ничто по сравнению с тем, как намерен клюкнуть сегодня. Какая глупость: приехать в Париж и думать все время только об искусстве.— Он говорил с резким американским акцентом.— О господи, как хорошо жить!— Он выпрямился и стукнул кулаком по столу.— Говорю вам: к дьяволу ваше искусство!

— Вы это не только говорите, вы это повторяете с утомительной настойчивостью,— строго сказал ему Клаттон.

За столом сидел еще один американец. Он был одет, как те франты, которых Филип видел днем в Люксембургском саду. У него было красивое лицо — тонкое, аскетическое, с темными глазами; свое фантастическое одеяние он носил с дерзким видом морского пирата. На голове у него росла целая копна волос, которые падали ему на глаза, он то и дело театрально откидывал голову назад, чтобы избавиться от назойливой пряди. Он заговорил об «Олимпии» Мане, висевшей тогда в Люксембургском музее.

— Я простоял перед ней сегодня целый час, и вы мне поверьте, картина совсем не так хороша.

Лоусон положил вилку и нож. Его зеленые глаза метали молнии, он задышался от гнева, но видно было, что он старается сохранить спокойствие.

— Любопытно выслушать мнение дикаря,— сказал он.— Может, вы объясните, чем картина нехороша?

Не успел американец ответить, как кто-то другой закричал с жаром:

— Вы смеее утверждать, будто картина нехороша? Да ведь тело-то как написано!

— Я против этого не спорю. Я считаю, что правая грудь написана отлично.

— К черту правую грудь!— заорал Лоусон.— Вся картина — чудо живописи!

Он стал подробно описывать прелести картины, но за столиком у «Гравье» все разговаривали только для собственного просвещения. Никто друг друга не слушал. Американец сердито прервал Лоусона:

— Уж не хотите ли вы сказать, что и голова хорошо написана?

Белый от ярости Лоусон стал защищать голову, но в разговор вмешался молчавший до той поры Клаттон. Лицо его выражало добродушное презрение.

— Уступите ему голову. Нам голова не нужна. Она не играет в картине никакой роли.

— Ладно, отдаю вам голову,— закричал Лоусон.— Возьмите себе голову и будьте неладны!

— А что вы скажете насчет черной черты? — с торжеством прокричал американец, откидывая со лба прядь, которая чуть было не попала ему в суп.— В жизни предметы не бывают обведены черным.

— О господи, испепели небесным огнем этого богохульника! — взмолился Лоусон.— При чем тут жизнь? Никто не знает, какая она, ваша жизнь! Люди познают жизнь такой, какой ее увидел художник. Столетиями художники изображали, как лошадь, перепрыгивая через изгородь, вытягивает все четыре ноги, и, видит бог, господу, она их вытягивала! Люди видели тень черной, пока Моне не открыл, что она многоцветна, и, видит бог, господу, тень была черной. Если мы станем окружать предметы черной чертой, люди будут видеть эту черную черту и, значит, она будет существовать в действительности, а если мы нарисуем траву красной и коров синими, их такими и увидят и, клянусь вам, трава станет красной и коровы — синими!

— К дьяволу искусство,— бормотал Фланаган.— Я хочу наклюкаться.

Лоусон не обращал на него никакого внимания.

— Помните, когда «Олимпию» вывесили в Салоне, Золя, несмотря на издевку меццан, шиканье *rompriers*¹, академиков и толпы, сказал: «Я предвижу тот день, когда картина Мане будет висеть в Лувре напротив «Одалиски» Энгра и от этого соседства выиграет отнюдь не «Одалиска». И она там будет висеть! С каждым днем это время становится все ближе. Через десять лет «Олимпию» повесят в Лувре.

— Никогда! — завопил американец, взмахнув обеими руками в отчаянной попытке раз навсегда избавиться от всех своих волос сразу.— Через десять лет об этой картине

¹ Халтурщиков (*фр.*).

и не вспомнят! Это — мода, и больше ничего! Ни одна картина не может жить, если в ней нет того, чего начисто нет в вашей «Олимпии»!

— Чего?

— Великое искусство немыслимо без морального начала.

— О господи! — в бешенстве закричал Лоусон. — Я знал, что вы до этого дойдете! Ему нужна мораль! — Сжав руки, он молитвенно простер их к небесам. — О Христофор Колумб, Христофор Колумб, что ты наделал, открыв Америку!

— Рескин говорит...

Но, прежде чем ему удалось добавить хоть слово, Клаттон властно постучал рукояткой ножа по столу.

— Господа, — сказал он сурово, и его огромный нос даже сморщился от возмущения. — Тут было произнесено имя, которое я надеялся больше не слышать в порядочном обществе. Свобода слова — дело похвальное, однако следует все же соблюдать хоть какие-то приличия. Можете говорить о Бугеро, если вам так уж хочется, — в самом звуке этого имени есть что-то шутовское, нечто смехотворное, но не будем же грязнить свои уста произнесением таких имен, как Джон Рескин, Уоттс или Берн-Джонс.

— А кто такой этот ваш Рескин? — спросил Фланаган.

— Один из столпов Викторианской эпохи. Великий английский стилист.

— Стил Рескина — это пестрые лоскутья с лиловыми разводами, — заявил Лоусон. — И будь они прокляты, эти столпы Викторианской эпохи. Когда я разворачиваю газету и читаю, что один из этих столпов отправился на тот свет, я благодарю господа, что еще одним из них стало меньше. Единственным их талантом было долголетие, а ни один художник не имеет права жить после сорока: в этом возрасте он уже создал свои лучшие произведения, потом он только повторяется. Разве вам не кажется, что Китсу, Шелли, Боннингтону и Байрону необычайно повезло, что они умерли молодыми? Каким бы гением казался нам Суинбёрн, если бы он погиб в тот день, когда вышла первая книга «Поэм и баллад»!

Идея эта всем понравилась, потому что ни одному из тех, кто сидел за столом, не было больше двадцати четырех, и они принялись с жаром ее обсуждать. Раз в кои-то веки они были единомышленны. Они поочередно развивали эту мысль. Кто-то предложил развести огромный костер из работ сорока академиков и кидать в него живьем всех

великих викторианцев в день их сорокалетия. Предложение было встречено с восторгом. Карлейль и Рескин, Тенниссон, Броунинг, Дж.-Ф. Уоттс, Э.-Б. Джонс, Диккенс, Теккерей — всех их швырнули в огонь; туда же отправились Гладстон, Джон Брайт и Кобден. Немножко поспорили насчет Джорджа Мередита, но с Мэтью Арнольдом и Эмерсоном покончили без сожаления. Наконец настал черед Уолтера Патера.

— Только не Уолтера Патера! — прошептал Филип.

Лоусон вперил в него на минуту свои зеленые глаза, а потом кивнул:

— Да, вы правы: Уолтер Патер — единственное оправдание «Моны Лизы». Вы знаете Кроншоу? Он был знаком с Патером.

— Кроншоу — поэт. Он живет здесь. Пойдем в «Лилá».

«Клозери де лила» было кафе, куда они часто ходили после ужина; там с девяти вечера до двух часов ночи всегда можно было встретить Кроншоу. Но Фланаган пресытился интеллектуальными разговорами и в ответ на предложение Лоусона обратился к Филипу:

— Вот еще! Пойдем лучше к девочкам. Махнем в «Гэтэ Монпарнас» и наклюкаемся.

— Да нет, я предпочитаю поглядеть на Кроншоу и остаться трезвым, — засмеялся Филип.

ГЛАВА 42

Поднялась суматоха. Фланаган и еще двое отправились в мюзик-холл; Филип с Лоусоном и Клаттоном не торопясь пошли в «Клозери де лила».

— Вам надо сходить в «Гэтэ Монпарнас», — сказал Филипу Лоусон. — Это одно из самых прелестных мест в Париже. Я непременно его как-нибудь напишу.

Филип под влиянием Хейурда с презрением относился к мюзик-холлам, но он приехал в Париж как раз в то время, когда открыли их художественные возможности. Своеобразие освещения, грязновато-красные и тускло-золотые цветные пятна, густота теней и броская живописность очертаний увлекали художников своей необычностью, и половина мастерских Латинского квартала могла похвастаться эскизами, сделанными в одном из маленьких варьете. Писатели пошли по стопам художников и, словно сговорившись, стали находить высокий артистизм в мюзик-холльных номерах: красноносые клоуны были превознесены до небес за умение

создавать характер; толстые певицы, которые верещали в полной неизвестности чуть не два десятилетия, вдруг прославились за неподражаемый комический дар; находились любители, получавшие эстетическое наслаждение от ученых собачек, другие изливались в восторгах по поводу таланта фокусников и эквилибристов. Под воздействием новых веяний стала интересной и публика, посещавшая эти увеселительные места. Подражая Хейуорду, Филип презирал людские скопища; он принял позу человека, замкнувшегося в своем одиночестве и брезгливо наблюдавшего за кривляниями черни; однако Клаттон и Лоусон с восхищением говорили о людных сборищах. Они описывали ему бурлящую толпу на парижских ярмарках, море лиц, вырванных из тьмы лучами ацетиленовых фонарей, грохот фанфар, завывание свистулк, гул голосов. То, что они рассказывали, было ново и непривычно для Филипа. Они объяснили ему, кто такой Кроншоу.

— Вы когда-нибудь читали его стихи?

— Нет.

— Они были напечатаны в «Желтой книге».

Оба они относились к Кроншоу так, как художники часто относятся к писателям, презирая их за то, что в живописи они профаны, принимая их за то, что они все-таки люди искусства, и благоговей перед ними, ибо художественные средства, которыми те пользуются, им самим недоступны.

— Кроншоу — удивительный человек, но сначала он вас немножко разочарует: дело в том, что он становится самим собой, только когда пьян.

— И хуже всего,— добавил Клаттон,— что ему нужно дьявольски много времени, чтобы напиться.

Они подошли к кафе, и Лоусон сказал Филипу, что им придется войти внутрь. Стояла мягкая осень, но Кроншоу панически боялся сквозняков и даже в самую теплую погоду никогда не сидел на улице.

— Он знает всех, кого стоит знать,— объяснял Лоусон.— Он был знаком с Патером и Оскаром Уайльдом, знает Малларме и всю его братию.

Тот, кого они искали, сидел в самом дальнем уголке кафе, в шубе с поднятым воротником. Шляпа была низко надвинута на лоб, чтобы уберечься от холодного воздуха. Это был крупный человек, полный, но еще не тучный, с круглым лицом, небольшими усиками и крохотными, довольно невыразительными глазками. Голова его казалась слишком маленькой для такого туловища. Она выглядела

как горошина, ненадежно посаженная на яйцо. Кроншоу играл в домино с каким-то французом и встретил пришедших тихой улыбкой; он промолчал, но, словно для того, чтобы освободить им место, отодвинул стопку блюдец на столе, показывавших, сколько он уже выпил рюмок. Когда ему представили Филипа, он молча кивнул ему, не отрываясь от игры. Филип плохо владел французским языком, но даже и он мог судить, что Кроншоу, живший в Париже уже несколько лет, говорит по-французски отвратительно.

Наконец он откинулся назад с торжествующей улыбкой.

— Je vous ai battu,— сказал он с невыносимым акцентом.— Garçon!¹

Подозвав официанта, он спросил Филипа:

— Только что из Англии? Как там крикет?

Неожиданный вопрос смутил Филипа.

— Кроншоу помнит все рекорды первоклассных игроков в крикет за последние двадцать лет,— улыбаясь, сказал Лоусон.

Француз перешел к другому столику, где сидели его друзья, и Кроншоу, лениво выговаривая слова, что тоже было одной из его особенностей, стал рассуждать о сравнительных достоинствах Кента и Ланкашира. Он рассказал о последнем матче на первенство Англии, который видел, и описал течение игры у каждых ворот.

— Единственное, чего мне недостает в Париже,— сказал он, допивая пиво,— тут не увидишь игры в крикет.

Филип был разочарован, а Лоусон, которого одолевало законное желание показать одну из знаменитостей Латинского квартала во всей его красе, терял терпение. Кроншоу в этот вечер никак не мог расшевелиться, хотя стопка блюдец свидетельствовала о том, что он честно старается напиться. Клаттон весело наблюдал за этой сценой. Повышенный интерес Кроншоу к крикету ему казался просто кокетством: поэт любил мучить людей, разговаривая с ними о том, что им было явно неинтересно. Клаттон задал вопрос:

— Вы видели в последнее время Малларме?

Кроншоу медленно перевел на него взгляд, словно обдумывая то, что у него спросили, и, прежде чем ответить, постучал блюдечком по мрамору столика.

— Принесите мне бутылку виски,— приказал он и снова обратился к Филипу: — У меня здесь своя бутылка виски. Не могу себе позволить платить по пятьдесят сантимов за несколько капель.

¹ Я вас побил. Официант! (искаж. фр.)

Официант принес бутылку, и Кроншоу поглядел ее на свет.

— Отпили. Официант, кто брал мое виски?

— Mais personne, Monsieur Cronshaw ¹.

— Я вчера сделал на ней отметку. Смотрите.

— Мосье сделал отметку, но после этого он пил еще и еще. Мосье зря тратит время, делая отметки, если он ведет себя таким образом.

Официант был парень веселый и давно знал Кроншоу. Тот молча уставился на него.

— Если вы дадите мне честное слово дворянина и джентльмена, что никто, кроме меня, не пил моего виски, я приму ваши заверения.

Подобная фраза, переведенная дословно на самый примитивный французский язык, прозвучала очень комично, и женщина за стойкой не удержалась от смеха.

— Il est imprayable! ² — пробормотала она.

Услышав эти слова, Кроншоу бросил на нее масляный взгляд — женщина была толстая, пожилая, добропорядочная — и важно послал ей воздушный поцелуй. Она только пожала плечами.

— Не бойтесь меня, мадам, — сказал он с тяжеловесной попыткой состричь. — Я вышел из того возраста, когда мужчина отдается из признательности и падок на сорокапятилетних.

Он налил себе виски с содовой, не торопясь выпил и вытер рот тыльной стороной руки.

— Он говорил превосходно.

Лоусон и Клаттон поняли, что речь идет о Малларме. Кроншоу часто посещал его вторники: поэт принимал литераторов и художников, беседа с тонким красноречием на любую предложенную ему тему. По-видимому, Кроншоу недавно у него был.

— Он говорил превосходно, но говорил чепуху. Он высказывался об искусстве так, словно это самая важная вещь на свете.

— Если это не так, кому же мы нужны?

— Кому вы нужны, мне не известно. И меня не касается. А искусство — это роскошь. Главное для людей — это инстинкты самосохранения и продолжения рода. И только тогда, когда эти инстинкты удовлетворены, человек разрешает себе развлекаться с помощью писателей, художников и поэтов.

¹ Уверяю вас, никто, мосье Кроншоу! (*фр.*)

² Он неподражаем! (*фр.*)

Кроншоу замолчал, чтобы отпить еще глоток. Вот уже двадцать лет, как он не мог решить вопрос: любит он алкоголь за то, что он развязывает ему язык, или же любит беседу за то, что она вызывает у него жажду.

Потом он заявил:

— Вчера я написал стихотворение.

И, не дожидаясь, чтобы его попросили, стал медленно читать стихи, отбивая ритм вытянутым указательным пальцем. Стихотворение, возможно, было прекрасное, но в эту минуту в кафе вошла молодая женщина. Губы у нее были яркие, а в огненном румянце на щеках нельзя было обвинить простушку природу; ресницы и брови были подведены черным карандашом, а веки отважно выкрашены синей краской до самой переносицы. Вид у дамы был неправдоподобный, но очень забавный. Темные волосы спускались на уши и были уложены в прическу, вошедшую в моду благодаря мадемуазель Клео де Мерод. Филип то и дело на нее поглядывал, а Кроншоу, окончив читать, снисходительно ему улыбнулся.

— Вы ведь не слушали,— сказал он.

— Нет, что вы, конечно, слушал!

— Да я вас не виню, вы как нельзя лучше подтвердили то, что я только что сказал. Чего стоит искусство по сравнению с любовью? Я уважаю и даже восхищаюсь вашим безразличием к высокой поэзии, раз внимание ваше поглощено продажными прелестями этого юного существа.

Она прошла мимо столика, за которым они сидели, и Кроншоу взял ее за руку.

— Посиди со мной, детка, и давай разыграем божественную комедию любви.

— *Fichez-moi la raix*¹,— сказала она, оттолкнув его, и продолжала свое шествие.

— Искусство,— закончил Кроншоу, взмахнув рукой,— это убежище от жизненной скуки, придуманное изобретательными людьми, пресыщенными едою и женщинами.

Кроншоу снова налил себе виски и продолжал разглагольствовать. Речь у него была плавная. Слова он выбирал очень тщательно. Мудрость и чепуха причудливо смешивались в его высказываниях: вот он потешался над своими слушателями, а через минуту, словно играючи, давал им вполне разумный совет. Говорил он о живописи, о литературе, о жизни и был то набожным, то похабным, веселым

¹ Оставьте меня в покое (*фр.*).

или слезливым. Постепенно он совсем опьянел и тогда принялся читать стихи — свои и Марло, свои и Мильтона, свои и Шелли.

Наконец измученный Лоусон поднялся.

— Я с вами, — сказал Филип.

Самый молчаливый из них — Клаттон — продолжал сидеть с сардонической улыбкой на губах и слушать бессвязное бормотание Кроншоу. Лоусон проводил Филипа до гостиницы и пожелал ему спокойной ночи. Но, когда Филип лег в постель, заснуть он не мог. Новые мысли, которыми так небрежно перекидывались возле него, будоражили его сознание. Он был страшно возбужден. Он чувствовал, как в нем рождаются неведомые силы. Никогда еще он не был так в себе уверен.

«Я знаю: я буду великим художником, — говорил он себе. — Я это чувствую».

Его пробрала дрожь, когда вслед за этим пришла и другая мысль, но даже в уме он не посмел выразить ее словами: «Ей-богу же, у меня, кажется, настоящий талант!»

Если говорить правду, он был просто пьян, хотя и выпил всего стакан пива, — его опьянение было куда опаснее, чем от алкоголя.

ГЛАВА 43

По вторникам и пятницам преподаватели проводили все утро в «Амитрано», разбирая работы учеников. Во Франции художник зарабатывает очень мало, если не пишет портретов и не пользуется покровительством богатых американцев; известные мастера рады увеличить свои доходы, проводя два-три часа в неделю в одной из многочисленных студий, где обучают живописи. По вторникам в «Амитрано» приходил Мишель Роллен. Это был пожилой человек с седой бородой и румяными щеками, который украсил декоративными панно немало правительственных зданий, — они служили отличной мишенью для острословия его учеников. Последователь Энгра, он не признавал новых течений в искусстве и желчно обзывал Мане, Дега, Моне и Сислея *tas de farceurs*¹, однако был отличным педагогом, умел деликатно направить ученика и поднять в нем дух. И наоборот, с Фуане, приходившим в студию по пятницам, работать было очень нелегко. Маленький, сморщенный человек с гнилыми зубами и желтушной кожей, косматой

¹ Шутами гороховыми (*фр.*).

седой бородой и сверкающими от бешенства глазами, он тонким голосом высмеивал своих учеников. Когда-то его картины приобрел Люксембургский музей, и в двадцать пять лет ему сулили блестящее будущее, но в нем покоряла свежесть молодости, а не своеобразие истинного дарования, и в течение последующих двадцати лет он лишь копировал пейзаж, принесший ему раннюю славу. Когда его обвиняли в том, что он повторяется, Фуане отвечал:

— Коро всю жизнь писал одно и то же. Почему мне нельзя?

Он завидовал чужому успеху и питал особую, личную неприязнь к импрессионистам, потому что объяснял свою неудавшуюся судьбу модой на их картины, от которых обезумела эта *salle bête*¹ — публика. Добродушное презрение Мишеля Роллена, называвшего импрессионистов мошенниками, вызывало у него поток брани, в котором *crapule*² и *canaille*³ были отнюдь не самыми сильными выражениями; ему доставляло удовольствие поносить их частную жизнь и, с ядовитым юмором кощунствуя и смакуя непристойные подробности, подвергать сомнению их законнорожденность и чистоту их брака; он пользовался восточными образами и чисто восточными преувеличениями, чтобы разукрасить свой похабный пасквиль. Не старался он скрыть и своего презрения к ученикам, чьи работы попадали к нему на отзыв. Они же его ненавидели и боялись; женщин его грубые издевательства часто доводили до слез, что в свою очередь вызывало у него только насмешки. Однако он продолжал работать в студии, несмотря на протесты тех, кто был больно обижен его нападками, потому что справедливо считался одним из лучших преподавателей в Париже. Иногда бывший натурщик, содержавший теперь «Амитрано», пытался его утихомирить, но тут же смолкал под градом яростных оскорблений художника и переходил к униженным извинениям.

Филип сначала столкнулся с Фуане. Когда он пришел, мэтр уже был в студии и обходил мольберт за мольбертом в сопровождении *massière* — миссис Оттер, которая поясняла его замечания тем, кто не знал французского языка. Сидевшая рядом с Филипом Фанни Прайс лихорадочно работала. Лицо ее позеленело от волнения, и она то и дело вытирала руки о халат — у нее ладони вспотели от страха.

¹ Грязная тварь (*фр.*).

² Подлец (*фр.*).

³ Сволочь (*фр.*).

Вдруг она повернулась к Филипу и бросила на него взгляд, пытаясь скрыть свою тревогу сердитой гримасой.

— Как по-вашему, хорошо? — спросила она, кивком показав на свой рисунок.

Филип встал и поглядел на ее работу. Он поразился: у нее, видно, совсем не было глазомера — рисунок был совершенно лишен пропорций.

— Я хотел бы рисовать хоть наполовину так хорошо, — сказал он.

— Ну, это невозможно, вы только начинаете учиться, трудно было бы ожидать, чтобы вы рисовали так, как я, согласитесь! Ведь я здесь уже два года.

Филип не мог понять Фанни Прайс; самомнение у нее было чудовищное. Филип заметил, что в студии ее терпеть не могут. Да и неудивительно: она делала все, чтобы нажить себе врагов.

— Я жаловалась миссис Оттер на Фуане, — сказала она. — За последние две недели он ни разу не взглянул на мои рисунки. А на миссис Оттер тратит полчаса только потому, что она *massière*. В конце концов, я плачу не меньше других и деньги у меня не фальшивые. Не понимаю, почему я не могу претендовать на такое же внимание, как остальные!

Она снова взяла в руки уголь, но тут же положила его со стоном.

— Не могу больше! Страшно волнуюсь.

Она поглядела на Фуане, который подходил к ним с миссис Оттер. Робкая, бесцветная и всегда довольная собой, миссис Оттер шествовала с важным видом. Фуане уселся возле мольберта маленькой, неряшливой англичанки, которую звали Рут Чэлис. У нее были томные, но легко загоравшиеся красивые черные глаза, узкое лицо, аскетическое и чувственное в одно и то же время, кожа — как пожелтевшая слоновая кость, о которой под влиянием Берн-Джонса мечтали все молодые женщины, причастные к искусству. Фуане, казалось, был благодушно настроен: он почти ничего не сказал, но, взяв уголь, быстрыми и уверенными штрихами показал мисс Чэлис ее ошибки. Когда он поднялся со стула, англичанка сияла от удовольствия. Фуане подошел к Клаттону; тут стал нервничать и Филип, хотя миссис Оттер и пообещала его выручить. Фуане постоял секунду перед мольбертом Клаттона, молча покусывая большой палец, а потом рассеянно сплюнул за холст откушенный кусочек ногтя.

— Хорошая линия,— сказал он наконец, тыча большим пальцем в то, что ему понравилось.— Вы начинаете понимать, что такое рисунок.

Клаттон не ответил и посмотрел на мэтра со своим обычным безразличием к чужому мнению.

— У вас, пожалуй, есть крупицы таланта.

Миссис Оттер, недолюбливавшая Клаттона, надула губы. Она не находила в его работе ничего примечательного. Фуане сел и принялся объяснять технические приемы. Миссис Оттер устала стоять, Клаттон молчал и только изредка кивал головой, а Фуане с удовлетворением чувствовал, что этот ученик соображает, о чем идет речь; большинство других слушало внимательно, но ничего не понимало. Потом Фуане встал и подошел к Филипу.

— Он приехал всего два дня назад,— поспешила сообщить миссис Оттер.— Начинаящий. Никогда раньше не учился.

— *Ça se voit*¹,— сказал мэтр.

Он прошел дальше, и миссис Оттер шепнула ему:

— Вот девушка, о которой я вам говорила.

Он поглядел на мисс Прайс, словно та была каким-то мерзким животным, и голос у него сразу стал скрипучим:

— Вы как будто считаете, что я не обращаю на вас достаточного внимания и даже жаловалась *maître*. Ну что ж, покажите мне работу, которую вы хотели предложить моему вниманию.

Фанни Прайс побагровела. Кровь, прилившая к нездоровой коже, окрасила ее в какой-то фиолетовый оттенок. Она молча показала рисунок, над которым трудилась целую неделю. Фуане присел рядом.

— Ну, что же вы желаете от меня услышать? Хотите, чтобы я вас похвалил? Не могу. Хотите, чтобы я сказал, что это хорошо нарисовано? Не могу. Хотите, чтобы я нашел в этом какие-то достоинства? Тут все неверно. Хотите, чтобы я сказал вам, что с этим делать? Порвите, и поскорее. Ну, теперь вы довольны?

Мисс Прайс побелела как мел. Она была в ярости, потому что все это он сказал в присутствии миссис Оттер. Мисс Прайс уже долго жила во Франции и понимала по-французски, но не могла связать двух слов.

— Он не имеет права так со мной обращаться. Я плачу такие же деньги, как все. Плачу за то, чтобы он меня учил. А это не учение.

¹ Оно и видно (*фр.*).

— Что она говорит? Что она говорит? — спрашивал Фуане.

Миссис Оттер не решалась ему перевести, и мисс Прайс повторила, коверкая французские слова:

— Je vous paie pour m'apprendre¹.

Глаза его засверкали от бешенства, он повысил голос и потряс кулаком...

— Mais, mon de Dieu², я ничему не могу вас научить. Мне куда легче научить рисовать верблюда. — Он обернулся к миссис Оттер. — Спросите ее, зачем она этим занимается: для развлечения или ради заработка?

— Я намерена своей живописью зарабатывать деньги, — ответила мисс Прайс.

— Тогда мой долг вам сказать, что вы зря тратите время. И дело не в том, что у вас нет таланта, талант в наши дни на улице не валяется, но у вас нет даже и тени способностей. Сколько вы уже здесь? Ребенок пяти лет — и тот рисовал бы лучше после двух уроков! Я повторяю вам: бросьте это, вы безнадежны. Вам куда легче заработать деньги в качестве *bonne à tout faire*³, чем живописью. Поглядите.

Он схватил уголь, но тот сломался, когда Фуане нажал им на бумагу. Чертыхнувшись, он обломком провел несколько сильных уверенных линий. Рисовал он быстро, не переставая говорить, желчно выплевывая слова.

— Посмотрите, руки тут разной длины. Колено уродливо. Говорю вам: пятилетний ребенок — и тот нарисовал бы лучше. Видите, она ведь не стоит на ногах. А ступня?

Вторя словам, уголь гневно проводил черту за чертой, и через миг рисунок, которому Фанни Прайс отдала столько часов и душевных сил, стал неузнаваемой путаницей линий и пятен. Наконец Фуане швырнул уголь и встал.

— Послушайте меня, мадемуазель, попробуйте стать портнихой. — Он взглянул на часы. — Уже двенадцать. *A la semaine prochaine, messieurs*⁴.

Мисс Прайс медленно собрала свои вещи. Филип дождался, пока разойдутся остальные, чтобы сказать ей что-нибудь в утешение, но ему ничего не приходило в голову. Наконец он сказал:

¹ Я вам плачу за то, чтобы вы меня учили (*фр.*).

² Но, черт побери (*фр.*).

³ Прислуги (*фр.*).

⁴ До будущей недели, господа (*фр.*).

— Поверьте, мне ужасно жаль... Какой страшный человек!

Она накинулась на него с яростью:

— Вот для чего вы здесь торчали? Когда мне понадобится ваше сочувствие, я вам об этом скажу! Оставьте меня в покое!

Она прошла мимо него к выходу, и Филип, пожалв плечами, побрел к «Гравье» обедать.

— Так ей и надо,— заявил Лоусон, когда Филип рассказал ему о том, что случилось.— Злобная дрянь!

Лоусон был очень чувствителен к критике и, для того чтобы ее избежать, не ходил в студию, когда там бывал Фуане.

— Не желаю слушать, что другие думают о моей работе,— говорил он.— Сам знаю, хороша она или плоха.

— Вы хотите сказать, что не желаете слушать дурных отзывов о своей работе,— сухо поправил его Клаттон.

После обеда Филип решил сходить в Люксембургский музей поглядеть картины и, проходя по саду, заметил Фанни Прайс на ее обычном месте. Он был обижен, что она так грубо ответила на его попытку ее утешить, и сделал вид, будто не замечает ее. Но она быстро встала и подошла к нему.

— Не желаете со мной знаться?

— Да нет, почему же... Я подумал, что вам, наверно, не хочется ни с кем разговаривать.

— Куда вы идете?

— Решил поглядеть на Мане. Мне так много о нем говорили...

— Хотите, я пойду с вами? Я ведь хорошо знаю Люксембургский музей. Могу показать вам хорошие вещи.

Он понял, что, не решаясь извиниться прямо, она пытается его задобрить.

— Спасибо, вы очень любезны.

— Нечего соглашаться, если вы предпочитаете идти один,— сказала она недоверчиво.

— Пойдемте.

Они пошли в картинную галерею. Там недавно развесили собрание Кайботта, и Филип впервые смог как следует посмотреть работы импрессионистов. Раньше он имел возможность видеть их только в лавке Дюран-Рюэля на улице Лафит (торговец не в пример своим английским собратьям, которые держатся с художниками высокомерно, охотно показывал самым обтрепанным ученикам все, что им хотелось видеть) или у него дома, куда пускали по вторникам, и нетрудно было получить пригласительный билет;

там вы могли увидеть самые знаменитые картины. Мисс Прайс сразу же подвела Филипа к «Олимпии» Мане. Филип смотрел на нее, онемев от неожиданности.

— Нравится? — спросила мисс Прайс.

— Не знаю, — беспомощно ответил он.

— Можете мне поверить — это лучшая вещь в галерее, не считая разве уистлеровского портрета матери.

Она дала ему время полюбоваться шедевром, а потом подвела к картине, изображавшей вокзал.

— Смотрите, это Моне, — сказала она. — «Gare St.-Lazare»¹.

— Но рельсы идут не параллельно! — воскликнул Филип.

— Ну и что же? — высокомерно спросила мисс Прайс.

Филип почувствовал себя пристыженным. Фанни Прайс усвоила бойкий жаргон студий, и ей нетрудно было поразить Филипа своими познаниями. Она стала объяснять ему достоинства и недостатки картины, поверхностно, но не без понимания показывая ему, какие задачи ставил себе художник и на что следует обратить внимание. Она разглагольствовала, водя по воздуху большим пальцем, и Филип, для которого все, что она говорила, было ново, слушал ее с глубочайшим интересом, хоть и довольно растерянно. До сих пор он преклонялся перед Уоттсом и Берн-Джонсом. Приятные для глаз краски одного и вычурный рисунок другого совершенно удовлетворяли его эстетические потребности. Расплывчатый идеализм, претензия на философское содержание в названиях картин соответствовали его представлениям о задачах искусства, которые он выработал прилежным изучением Рескина; однако тут было нечто совсем другое: в том, что он видел, отсутствовала какая бы то ни была моральная тема — созерцание таких произведений никому не помогло бы вести более чистую и возвышенную жизнь. Филип был сбит с толку. Наконец он вымолвил:

— Знаете, я просто падаю от усталости. Кажется, я больше не в состоянии воспринимать что бы то ни было. Давайте посидим на скамейке.

— Да, искусством лучше не объедаться, — сказала мисс Прайс.

Когда они вышли из музея, он горячо ее поблагодарил.

— Ерунда, — ответила она не слишком вежливо. — Мне это доставляет удовольствие, вот и все. Завтра, если хотите, сходим в Лувр, а потом я сведу вас к Дюран-Рюэлю.

¹ «Вокзал Сен-Лазар» (*фр.*).

— Большое вам спасибо!

— Вы не считаете меня гадиной, как все остальные?

— Отнюдь нет,— улыбнулся он.

— Они напрасно думают, что им удастся заставить меня бросить студию, я буду ходить туда, пока сама не найду нужным уйти. То, что произошло сегодня утром, подстроила Люси Оттер, уж я-то знаю! Она меня терпеть не может. И думает, что теперь я наверняка уберусь. Ей, видно, очень хочется, чтобы я ушла. Боится, что я про нее слишком много знаю.

Мисс Прайс рассказала ему длинную путаную повесть, из которой явствовало, что прозаичная, чинная, маленькая миссис Оттер была героиней скабрёзных историй. Потом она поведала ему подноготную Рут Чэлис — девушки, которую утром похвалил Фуане.

— Она путалась у нас в студии со всеми мужчинами подряд. Проститутка, и больше ничего. А какая грязнуха! Целый месяц не мылась, знаю наверняка.

Филип слушал, испытывая мучительную неловкость. До него доходили сплетни насчет мисс Чэлис; однако смешно было думать, что жившая с матерью миссис Оттер хоть в чем-нибудь погрешила против добродетели. Женщина, которая шла с ним рядом и изливала потоки злобной клеветы, вызывала в нем ужас.

— Плевать мне на то, что они обо мне думают. Я все равно буду учиться. Я знаю, у меня есть талант. Чувствую, что я художник. Лучше умру, чем брошу живопись. Да я и не первая, над кем смеялись в школе, а потом оказалось, что это и был настоящий гений. Искусство — единственное, что мне дорого, и я с радостью отдам ему жизнь. Все дело в упорстве и умении работать.

Она находила низкие побуждения в каждом, кто не разделял ее веры в себя. Она ненавидела Клаттона. Она уверяла Филипа, что приятель его несколько не талантлив, он просто умеет пускать пыль в глаза, а вот найти правильную композицию не сможет, хоть умри! А что касается Лоусона...

— Рыжий веснушчатый гаденыш! Он так дрожит перед Фуане, что боится показать ему свои вещи. А я вот не прячусь в кусты, правда? Плевать мне на то, что говорит Фуане, я-то знаю: у меня настоящий талант.

Они дошли до улицы, на которой она жила, и Филип, расставшись с ней, вздохнул с облегчением.

И несмотря на это, когда в следующее воскресенье мисс Прайс предложила Филипу сводить его в Лувр, он согласился. Она подвела его к «Моне Лизе». Филип глядел на картину с безотчетным разочарованием, однако он столько раз перечитывал чеканную прозу Уолтера Патера, которая вдохнула новую красоту в эту самую знаменитую на свете картину, что многое помнил наизусть и повторил вслух мисс Прайс.

— Литературщина,— сказала она с презрением.— Лучше вам все это поскорее забыть.

Она показала ему полотна Рембрандта и произнесла по этому поводу все, что полагалось произнести. Встав против «Христа с учениками в Эммаусе», она сказала:

— Когда вы почувствуете красоту этой картины, вы начнете разбираться в живописи.

Она показала ему «Одалиску» и «Ручей» Энгра. Фанни Прайс была властным гидом, она не разрешала ему мешкать возле полотен, у которых ему хотелось постоять подольше, и требовала, чтобы он восхищался тем, чем восхищалась она сама. Она относилась к своим занятиям живописью с такой потрясающей серьезностью, что, когда Филип, проходя по Большой галерее, остановился у окна, выходящего на Тюильри, где все было мирно, солнечно и ясно, словно на картинах Рафаэля, и воскликнул: «Взгляните, какая прелесть! Давайте постоим хоть минутку»,—она ответила с полным равнодушием: «Да, ничего. Но мы ведь пришли смотреть картины».

Легкий, дразнящий осенний воздух веселил сердце Филипа, и, когда около полудня они вышли в огромный двор Лувра, ему захотелось воскликнуть, как Фланагану: «К чертям ваше искусство!»

— Послушайте, давайте зайдём в какой-нибудь ресторанчик на Бульмише¹ и перекусим,—предложил он своей спутнице.

Мисс Прайс посмотрела на него с подозрением.

— У меня есть обед дома.

— Не беда. Съедите его завтра. Разрешите мне вас угостить.

— Не понимаю, зачем вам это нужно.

— Мне будет приятно,—ответил он ей с улыбкой.

¹ Бульвар Сен-Мишель.

Они перешли реку. На углу бульвара Сен-Мишель был ресторанчик.

— Зайдем сюда.

— Нет, не хочу; здесь, видно, слишком дорого.

Она решительно пошла дальше, и Филип был вынужден последовать за ней. Пройдя несколько шагов, они подошли к ресторану поменьше; на столиках возле него, под тентом, уже обедало человек десять; в окне большими белыми буквами было написано: «Déjeuner — 1,25, vin compris»¹.

— Ну, дешевле ничего не найдешь, и выглядит очень прилично.

Они уселись за свободный столик и стали дожидаться первого блюда меню — яичницы. Филип с восторгом разглядывал прохожих. Сердце его переполняло какое-то теплое чувство. Он устал, но был доволен.

— Поглядите на этого человека в блузе! Какая прелесть!

Он взглянул на мисс Прайс и, к удивлению своему, увидел, что она уставилась в тарелку, не обращая внимания на окружающих, и по щекам ее катятся крупные слезы.

— Что с вами? — воскликнул он.

— Если вы мне скажете хоть слово, я сейчас же встану и уйду, — ответила она.

Филип был в полнейшей растерянности, но, к счастью, принесли яичницу. Он разделил ее пополам, и они стали есть. Филип старался завязать беседу о посторонних вещах, и ему казалось, что и мисс Прайс пытается разговаривать приветливо; однако обед нельзя было назвать веселым. Филип был брезглив, а мисс Прайс ела так некрасиво, что у него пропал всякий аппетит. Она жадно глотала пищу, чавкала, словно дикий зверь в зоопарке, и, покончив с каким-нибудь блюдом, начисто вытирала тарелку кусочком хлеба, словно боялась оставить хоть каплю подливки. Им подали «камамбер», и Филип с отвращением увидел, что она съела всю порцию вместе с коркой. Она ела с такой жадностью, словно умирала с голоду.

Поведение мисс Прайс было необъяснимо: расставаясь с ней в самых дружеских отношениях, он не был уверен, что назавтра она не встретит его, враждебно надувшись; однако он многому от нее научился; не умея сама рисовать, она знала все, чему здесь обучали, и ее замечания помогали ему. Помогала ему и миссис Оттер; иногда работу его критиковала мисс Чэлис; Филипу приносило пользу и бойкое красноречие Лоусона, и подражание Клаттону. Фанни Прайс

¹ Второй завтрак — 1,25 франка, включая вино (*фр.*).

терпеть не могла, когда он пользовался чьими-нибудь советами, кроме ее собственных, и, когда он просил ее помощи, после того как разговаривал с кем-нибудь еще, она грубо ему отказывала. Товарищи по студии — Лоусон, Клаттон и Фланаган — не переставали его дразнить.

— Ты, парень, поостерегись, — говорили они ему, — она ведь в тебя влюблена.

— Ну что за ерунда, — отшучивался Филип.

Мысль, что мисс Прайс может быть в кого-нибудь влюблена, казалась ему совершенно нелепой. Стоило ему подумать о ее непривлекательной внешности, невымытых космах волос, грязных руках, о коричневом платье с сальными пятнами и обтрепанном подолом, которого она не снимала, — и его пробирала дрожь. Она, наверно, нуждалась — все они нуждались, — но могла бы по крайней мере быть поаккуратнее и, взяв иголку с ниткой, привести свою юбку в порядок!

Филип стал понемножку обобщать свои впечатления о людях, с которыми здесь столкнулся. Теперь он не был так наивен, как в те, казалось, уж незапамятные дни в Гейдельберге: теперь интерес его к людям стал глубже и осознаннее, у него появилось желание анализировать и оценивать. Но Клаттона, хоть он и встречался с ним ежедневно в течение трех месяцев, он знал не лучше, чем в первый день знакомства. В студии все считали Клаттона способным и думали, что его ждет большое будущее; он придерживался такого же мнения, но в чем он себя проявит, не знали ни он сам и никто другой. До «Амитрано» он уже занимался в нескольких студиях — у Жюльена, в Академии изящных искусств, у Макферсона; он дольше оставался в «Амитрано» потому, что здесь его никто не трогал. Он не любил показывать свои работы и в отличие от других молодых людей, изучавших живопись, не просил и не давал советов. Говорили, что в маленькой студии на улице Кампань-Премьер, которая служила ему и жильем и мастерской, у него были замечательные полотна, которые сразу принесли бы ему славу, если бы он согласился их выставить. Натюрморты были ему не по средствам, он писал натюрморты, и Лоусон постоянно рассказывал о вазе с яблоками, которая, по его словам, была настоящим шедевром. Человек он был взыскательный и, стремясь к чему-то, чего еще сам не мог назвать, вечно был неудовлетворен своей работой в целом; только какая-нибудь деталь и порадует его подчас — рука, нога, ступня в человеческой фигуре или стакан, чашка в натюрморте; тогда он вырезывал и сохранял эту

деталь, уничтожая остальное полотно. Поэтому, когда Клаттона просили показать его работы, он мог, не солгав, ответить, что у него нет ни одной оконченной картины. В Бретани Клаттон познакомился с каким-то художником, о котором никто не слышал — этот чудачковатый биржевой маклер в пожилые годы вдруг стал писать картины, — и целиком подпал под влияние его живописи. Отвернувшись от импрессионистов, он мучительно искал свою собственную манеру не только письма, но и видения мира. Филип чувствовал в нем какое-то странное своеобразие.

У «Гравье», где они обедали, а по вечерам в «Версай» или в «Клозери де лила» Клаттон был молчалив. Он иронически поглядывал на собеседников и открывал рот, только чтобы сострить. Ему нравилось находить мишень для своих насмешек, он радовался, когда под руку попадался кто-нибудь, на ком он мог поупражнять свой ядовитый язык. Он редко разговаривал о чем-нибудь, кроме живописи, да и то лишь с теми немногими, кого он считал достойными собеседниками. Филип часто задумывался: есть ли в нем на самом деле нечто особенное; скрытность, изможденный вид и язвительный юмор как будто предполагали выдающуюся личность, но, с другой стороны, все это могло удачно скрывать душевную пустоту.

Но вот с Лоусоном Филип скоро подружился. У него был живой интерес к самым разным вещам, и это делало его общество приятным. Читал он больше остальных и, хотя средства его были невелики, любил покупать книги, которые охотно давал другим. Так Филип познакомился с Флобером и Бальзаком, с Верленом, Эредиа и Вилье де Лиль Аданом. Они вместе ходили в драму, а иногда на галерку в «Опера́ комик». Недалеко от них находился театр «Одеон», и Филип скоро заразился увлечением Лоусона трагедиями эпохи Людовика XIV и звучным александрийским стихом. На улице Тэтбу помещался концертный зал, где за семьдесят пять сантимов можно было послушать отличную музыку и в придачу выпить что-нибудь вкусное; места были неудобные, зал тесный, дымный от дешевого табака, но все это не могло охладить их молодую жизнерадостность. Иногда они отправлялись в «Баль Бюлье». В этих случаях с ними шел и Фланаган. Он так безудержно дурачился и шумел, что заражал и их своим весельем. Танцор он был отличный: не успевали они пробыть в зале и десяти минут, как он уже носился по кругу с какой-нибудь маленькой продавщицей.

Всем им ужасно хотелось обзавестись любовницей. Любовница — непрременная принадлежность жизни всякого начинающего художника в Париже. Человека, у которого есть любовница, уважают его собратья. Ею можно хвастаться. Но трудность состояла в том, что у них едва хватало денег, чтобы прокормиться самим, и, хотя они себя и убеждали, что француженки очень практичны и вдвоем дешевле жить, чем одному, им нелегко было встретить молодую женщину, которая разделяла бы их взгляды на этот вопрос. Им оставалось только завидовать другим или злословить по поводу дам, которых содержали более обеспеченные художники. Трудно поверить, как сложно найти в Париже любовницу. Лоусон, бывало, познакомится с какой-нибудь юной девицей и назначит ей свидание; целые сутки он не находит себе места и описывает очаровательницу каждому встречному; однако та и не подумает явиться в назначенное время. Лоусон приходил к «Гравье» поздно, в дурном настроении и всякий раз восклицал:

— Ах, будь она проклята, и эта надула! Не понимаю, чем только я им не нравлюсь. Наверно, плохо говорю по-французски, а может, потому, что я рыжий. Черт знает что! Прожить больше года в Париже и не подцепить ни одной девицы.

— Ты, верно, не знаешь, чем их взять,— говорил ему Фланаган.

У него самого был длинный и завидный донжуанский список, и, хотя они не верили всему, что он рассказывает, факты говорили, что он не слишком врет. Впрочем, Фланаган не искал постоянных связей. Ему предстояло пробыть в Париже всего два года; он уговорил родных разрешить ему приехать сюда поучиться живописи, вместо того чтобы поступить в университет, но через два года ему нужно будет вернуться в Сиэтл и войти в дело отца. И, решив поразвлечься это время вовсю, он искал в любви разнообразия, а не постоянства.

— Не пойму, как ты умудряешься их обкрутить,— со злостью говорил Лоусон.

— Да это же совсем нетрудно, сынок,— отвечал Фланаган.— Надо только идти прямо к цели. Куда труднее от них избавиться. Вот где нужен такт.

Филип был слишком поглощен учением, книгами, которые читал, спектаклями, которые видел, разговорами, которые слушал, чтобы вздохнуть о женском обществе. Ему казалось, что это от него никуда не уйдет и позже, когда он научится свободнее объясняться по-французски.

Прошло уже больше года с тех пор, как они расстались с мисс Уилкинсон, и в первые недели своего пребывания в Париже Филип был так занят, что не ответил на письмо, полученное от нее перед отъездом из Блэкстебла. Когда пришло другое письмо, он, зная, что оно полно попреков — а ему в то время не хотелось их выслушивать, — отложил его, собираясь распечатать попозже, но совсем забыл и случайно наткнулся на него спустя целый месяц, когда шарил в ящике, разыскивая целые носки. Филип смотрел на нераспечатанное письмо с ужасом. Он боялся, что заставил страдать мисс Уилкинсон, и чувствовал себя скотиной; однако теперь ее горе, наверно, прошло или, во всяком случае, притупилось. Женщины любят преувеличенно выражать свои чувства, слова у них отнюдь не обозначают того же, что у мужчин. Филип твердо решил, что ничто не заставит его встретиться с ней снова. Он так долго ей не писал, что вряд ли стоило отвечать теперь. Он не стал читать ее письма.

«Надеюсь, она не будет больше мне писать, — сказал он себе. — Она поймет, что все кончено. Как-никак, а по летам она годится мне в матери, надо было думать, на что она идет».

Часа два он испытывал легкие угрызения совести. Его решение было, конечно, правильным, но что-то помимо воли продолжало его тревожить. Однако мисс Уилкинсон и в самом деле больше ему не писала; не оправдала она также его нелепых страхов и не свалилась в Париж как снег на голову, чтобы сделать его посмешищем в глазах друзей. Прошло еще немного времени, и он совсем о ней позабыл.

Отрекся он и от своих прежних богов. Изумление, с которым он вначале смотрел на картины импрессионистов, перешло в восторг, и вскоре он заговорил с таким же жаром, как и остальные, о достоинствах Мане, Моне и Дега. Он купил фотографию этюда Энгра к «Одалиске» и репродукцию «Олимпии». И то и другое было прищиплено рядом над умывальником, чтобы, бреясь, он мог любоваться красотой обеих картин. Теперь он знал определенно, что до Моне не умели рисовать пейзажа, и стоял с искренним восторгом перед «Учениками в Эммаусе» Рембрандта или «Дамой, укушенной блохою в нос» Веласкеса. В действительности картина называлась иначе, но так прозвали ее у «Гравье», чтобы подчеркнуть ее прелесть, несмотря на чуть-чуть отгалкивающую внешность той, с кого писался портрет. Вместе с Рескином, Берн-Джонсом и Уоттсом Филип распрощался со своими котелком и аккуратным синим

галстуком в горошек, в котором приехал в Париж; теперь он расхаживал в мягкой широкополой шляпе, повязывал шею черным бантом и накидывал на плечи плащ романтического покроя. Филип разгуливал по бульвару Монпарнас, словно провел на нем всю жизнь, и прилежно обучался пить абсент. Он отращивал длинные волосы, и только злодейка природа, глухая к извечным стремлениям юности, мешала ему отпустить бороду.

ГЛАВА 45

Филип скоро понял, что для всех его друзей Кроншоу был настоящим оракулом. От него Лоусон заимствовал свои парадоксы, и даже гонявшийся за оригинальностью Клаттон невольно подражал ему в разговоре. Они обменивались за столом его мыслями и на его мнении основывали свои оценки. Почтение, которое они инстинктивно к нему питали, пряталось за насмешкой над его чудачествами и оплакиванием его пороков.

— Ну, конечно, от бедняги Кроншоу больше ждать нечего,— повторяли они.— Старик безнадежен.

Они кичились тем, что только они одни знают цену его гениальности, и, с юношеским пренебрежением говоря о его причудах, гордились, если кто-нибудь из них попадался ему под руку в минуту вдохновения, и он рассыпал перед ним дары своего ума. Кроншоу никогда не приходил к «Гравье». Последние четыре года он жил с какой-то женщиной в крошечной квартирке на шестом этаже одного из самых ветхих домов набережной Великих Августинцев. Эту женщину видел только Лоусон, да и то один раз; он с жаром описывал грязь и убожество их жилья:

— Вонь такая, что голова кружится!

— Не смей рассказывать во время еды,— запротестовали товарищи.

Но он не мог отказать себе в удовольствии и с живописными подробностями перечислил все запахи, которые разом ударили ему в нос. Наслаждаясь своим умением беспощадно видеть действительность, он изобразил им женщину, которая отворила ему дверь. Это была маленькая, толстая брюнетка, совсем еще молодая, с небрежно заколотыми волосами, в грязной кофте. Корсетом она себя не стесняла. Румяные щеки, большой чувственный рот и блестящие похотливые глаза придавали ей сходство с висевшей в Лувре «Цыганкой» Франса Гальса. Ее развязная вульгарность была смешной и страшноватой. По полу ползал

хилый, неухоженный ребенок. Кругом все знали, что эта потаскуха обманывает Кроншоу с самым последним отрешем Латинского квартала, и наивные юноши, внимавшие его афоризмам за столиком кафе, никак не могли постигнуть, как такой острый ум и страстная любовь к прекрасному мирились с подобной шлюхой. Но он, казалось, упивался грубостью ее речи и часто повторял ее выражения, от которых так и несло сточной канавой. Кроншоу насмешливо называл ее *la fille de mon concierge*¹. Кроншоу был очень беден. Он с трудом зарабатывал на жизнь обзорами художественных выставок, которые писал для кое-каких английских газет, и переводами. Раньше он был парижским корреспондентом одной английской газеты, но его уволили за пьянство; однако он и поныне для нее писал — отчеты об аукционах в отеле Дрюо или рецензии на ревью в мюзик-холлах. Парижская жизнь стала ему необходима, как воздух, и он ни на что бы ее не променял, несмотря на нужду, унижительную поденщину и лишения. Он жил в Париже, никуда не выезжая круглый год, даже летом, когда все, кого он знал, покидали город, и чувствовал себя хорошо только поблизости от бульвара Сен-Мишель. Но, как ни странно, он так и не выучился прилично говорить по-французски и сохранял, несмотря на потертый костюм, когда-то купленный в «Ла бель жардиньер»², свою типично английскую внешность.

Такой человек, как он, процветал бы лет полтора назад, когда умение вести беседу открывало доступ в самое лучшее общество, а пьянство отнюдь не служило для этого помехой.

— Мне бы следовало жить в восемнадцатом веке,— говорил он сам.— Мне нужен меценат. Я издавал бы свои стихи по подписке и посвящал бы их какому-нибудь знатному лицу. Мечтаю писать стансы в честь пуделя какой-нибудь графини! Душа моя жаждет интрижек с камеристками и легкой беседы с епископами.

Он цитировал романтическую жалобу Роллы:

— «*Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux*»³.

Он любил новые лица; ему пришлось по душе Филип, которому удавалась трудная задача — поддерживать бесе-

¹ Дочь моего привратника (*фр.*).

² Дешевый универсальный магазин в Париже.

³ «Я слишком поздно пришел в этот слишком дряхлый мир» (*фр.*); Ролла — герой одноименной поэмы французского поэта Альфреда де Мюссе (1810—1857).

ду, разговаривая так мало, чтобы не мешать монологам Кроншоу. Филип был им покорен. Он не понимал, как мало своего в мыслях Кроншоу. В разговоре он приобретал над собеседником непонятную власть. Голос у него был красивый, звучный, а манера высказывать свои взгляды увлекала молодежь. Все, что он говорил, будило мысль, и часто, возвращаясь домой, Лоусон и Филип прогуливались от гостиницы, где жил один из них, до гостиницы другого, обсуждая вопрос, на который натолкнула их случайно брошенная Кроншоу фраза. Филип со своей молодой нетерпимостью верил, что обо всем судят по результатам, и никак не мог понять, почему стихи Кроншоу ниже того, чего от него можно было ожидать. Они никогда не выходили отдельным сборником, большая их часть печаталась в журналах; после долгих уговоров Кроншоу принес пачку вырезок из «Желтой книги», «Саттердей ревью» и других изданий. Филип был озадачен, найдя, что все они напоминают ему то Хенли, то Суинбёрна. И только выразительное чтение Кроншоу придавало им своеобразие. Филип высказал свое разочарование Лоусону, который опрометчиво повторил кому-то его слова, и, когда Филип снова пришел в «Клозери де лила», поэт обратился к нему со своей циничной улыбкой:

— Вам, говорят, не очень нравятся мои стихи.

Филип был сконфужен.

— Да я бы этого не сказал. Мне они доставили большое удовольствие.

— Не старайтесь щадить мои чувства,— бросил ему Кроншоу, взмахнув пухлой рукой.— Я не придаю своей поэзии большого значения. Куда важнее жить, чем описывать, как ты живешь. Моя цель на земле— испытывать многогранные ощущения, которые дарит мне жизнь, выцеживать из каждого мига все его чувственные богатства. Я считаю мои писания изящной прихотью образованного человека, которая не поглощает его, а только украшает ему жизнь. А что до славы в веках— будь они прокляты, эти грядущие века!

Филип улыбнулся. Этот художник своей жизни явно не смог создать для себя ничего, кроме уродливого прозябания. Кроншоу на него поглядел и наполнил свой стакан. Он послал официанта за пачкой сигарет.

— Вас забавляют мои слова потому, что вы знаете, как я живу: в нищете, на чердаке, с обыкновенной шлюхой, которая обманывает меня с парикмахерами и *garçons de*

café¹, перевозу скверные книжки для английской черни и пишу статьи о ничтожных картинах, которые не заслуживают даже того, чтобы их ругали. Но, прошу вас, скажите мне, в чем смысл жизни?

— Помилуйте, это ведь сложный вопрос. А как бы вы сами на него ответили?

— Никак, потому что ответ этот каждый должен найти для себя сам. Но для чего, по-вашему, вы родились на свет божий?

Филип никогда себя об этом не спрашивал; он подумал, прежде чем ответить.

— В общем, не знаю. Наверно, для того, чтобы выполнить свой долг, получше использовать врожденные способности и поменьше причинять страданий ближним.

— Короче говоря, какую мерю мерите, такой и вам будут мерить?

— По-видимому.

— Так ведь это же христианский идеал.

— Ничуть,— с негодованием возразил Филип.— Христианство тут ни при чем. Это мораль вообще.

— Но морали вообще не существует.

— В таком случае, если вы, например, спяну забудете, уходя, ваш кошелек и я его подберу, к чему, по-вашему, мне его вам возвращать? Не из страха же перед полицией?

— От ужаса перед геенной огненной за свой грех и в надежде на царствие небесное за свою добродетель.

— Но я не верю ни в то, ни в другое.

— Может быть. Не верил и Кант, когда придумал свой категорический императив. Вы отбросили веру, но сохранили мораль, которая была на этой вере основана. По существу вы и до сих пор христианин, и, если бог есть на небе, вам за это воздастся. Но всевышний вряд ли такой уж болван, каким его изображает церковь. Ежели вы соблюдаете его заповеди, ему, верно, начхать, верите вы в него или нет.

— Но, если бы я забыл свой кошелек, вы бы, безусловно, мне его вернули,— сказал Филип.

— Не по соображениям морали вообще, а только из страха перед полицией.

— Ну, полиция вряд ли вас заподозрит.

— Мои предки так долго жили в цивилизованном государстве, что страх перед полицией вьелся у меня в плоть и кровь. Дочь моего привратника не задумалась бы ни на

¹ Официантами (*фр.*).

минуту. Вы скажете, что она недаром близка к преступному миру, но тут совсем другое: она просто лишена мещанских предрассудков.

— Но, значит, вы отрицаете и честь, и добродетель, и чистоту, и порядочность. Словом — все! — воскликнул Филип.

— Вы когда-нибудь совершали грех?

— Не знаю. Думаю, что да.

— Вы произнесли это тоном попа-сектанта. Вот я никогда не совершал греха.

Кроншоу выглядел необыкновенно комично в потрепанной шубе с поднятым воротником, в надвинутой на красное одутловатое лицо шляпе, из-под которой сверкали маленькие глазки, но Филипу было не до смеха.

— Неужели вы никогда не совершали ничего, о чем бы стоило пожалеть?

— Как можно жалеть о том, что неизбежно? — спросил в ответ Кроншоу.

— Но ведь это фатализм!

— Иллюзия, что воля человека свободна, так укоренилась в нашей душе, что даже я готов ее принять. И, когда я действую, я делаю вид, будто что-то от меня зависит. Но, когда действие совершено, мне становится ясно, что оно было вызвано усилиями извечных сил природы и, что бы я ни предпринимал, я не мог бы его предотвратить. Оно было неминуемо. И, если действие это было благородным, заслуга тут не моя, если же оно было дурным — никто не вправе меня упрекать.

— У меня голова кругом идет, — пожаловался Филип.

— Выпейте виски, — предложил Кроншоу, подвигая бутылку. — Отлично прочищает мозги. Не мудрено, что у вас голова не варит, зря вы пьете пиво.

Филип отрицательно помотал головой, и Кроншоу продолжал:

— Вы — парень неплохой, вот только непьющий. А трезвость вредит беседе. Но, когда я говорю о добре и зле... — Филип понял, что его собеседник не потерял нити своих рассуждений, — я говорю только по привычке. Никакого смысла в эти слова я не вкладываю. Я отказываюсь устанавливать шкалу человеческих поступков, превозносить одни и чернить другие. Для меня понятия порока и добродетели не имеют значения. Я не раздаю ни похвал, ни порицаний — я приемлю сущее. Я — мера всех вещей. Я — центр мироздания.

— Но на свете живут и другие люди, кроме вас,— возразил Филип.

— Я могу говорить только о себе. Другие меня касаются лишь постольку, поскольку они ограничивают мои действия. Вокруг каждого из них тоже вращается вселенная, и каждый из них для себя — тоже центр мироздания. Мое право властвовать над ними определяется только моей силой. То, что я в силах совершить, — единственная граница того, что мне дозволено совершить. Мы от природы наделены стадным чувством и потому живем в обществе, а общество держится только на силе — силе оружия (полицейский) и силе общественного мнения (что скажут люди?). С одной стороны — общество, с другой — личность; и общество, и личность стремятся к самосохранению. Это сила против силы. Я стою один, но вынужден мириться с обществом и, в сущности, мирюсь с ним охотно, ибо взамен налогов, которые я плачу, общество меня охраняет, меня, слабосильного, — от насилия другой, более могучей личности; однако я подчиняюсь законам общества только поневоле и не признаю их, я вообще не признаю никаких законов и верю только в силу. После того как я заплатил за полицейского, который меня охраняет, и (если я живу в стране, где существует воинская повинность) отслужил в армии, которая оберегает мой кров и мою землю от захватчика, — я заплатил свой долг обществу и в остальном противостою его мощи своей изворотливостью. Государство, чтобы сохранить себя, издает законы и, если я нарушу эти законы, сажает меня в тюрьму или лишает жизни; у него есть сила, чтобы так со мной поступить, а следовательно, и право на это. Если я нарушаю закон, на меня обрушивается месть государства за нарушение его закона, но я не стану считать эту месть справедливым наказанием и не буду чувствовать себя преступником. Общество соблазняет меня служить ему, суля почет, богатство и хвалу сограждан, но я равнодушен к их хвале, презираю почет и легко могу обойтись без богатства.

— Но, если бы и другие думали как вы, все бы сразу же развалилось, как карточный домик!

— А что мне до других, я думаю только о себе. Я пользуюсь тем, что большая часть человечества, гонясь за своей выгодой, делает то, что прямо или косвенно помогает мне жить.

— Мне сдается, что это удивительно эгоистический взгляд на вещи, — сказал Филип.

— Неужели вам кажется, будто люди делают что бы то ни было не из эгоистических побуждений?

— Да.

— Это невозможно! Когда вы станете старше, вы поймете, что в мире можно хоть как-нибудь жить только при одном неперменном условии: надо понять, что эгоизм — это естественное свойство человека. Вы требуете бескорыстия от других, но это ведь чудовищная претензия: вы хотите, чтобы они пожертвовали своими желаниями ради ваших. С какой стати? Когда вы примиритесь с мыслью, что каждый живет только для себя, вы будете куда снисходительнее к своим ближним. Они перестанут обманывать ваши надежды, и вы начнете относиться к ним куда милосерднее. Люди стремятся в жизни только к одному — к наслаждению.

— Неправда! — закричал Филип.

Кроншоу улыбнулся.

— Вы встали на дыбы, как перепуганный жеребец, потому что я произнес слово, которое ваша христианская догма сделала бранным. У вас твердая шкала ценностей, и наслаждение находится в самом низу. Вы испытываете легкую дрожь самодовольства, говоря о долге, милосердии и правдолюбии. Вы считаете, что наслаждение бывает только чувственным; жалкие рабы, которые создали вашу мораль, презирали радость — она ведь была им так мало доступна! Вы бы не перепугались, если бы я заговорил не о наслаждении, а о счастье: это слово вас оскорбляет меньше, и ваши мысли, отдаляясь от Эпикурова стойла, вступают в его сады. Но я буду говорить о наслаждении, потому что вижу, как люди к нему стремятся, и не заметил, чтобы они стремились к счастью. Наслаждение — вот изнанка каждой из ваших добродетелей. Человек совершает тот или иной поступок потому, что ему от этого хорошо, а если от этого хорошо и другим людям, человека считают добродетельным; если ему приятно подавать милостыню, его считают милосердным; если ему приятно помогать другим, он — благотворитель; если ему приятно отдавать силы обществу, он — полезный член его; но вы ведь даете два пенса нищему для своего личного удовлетворения, так же как я для своего личного удовлетворения пью виски с содовой. Но я не такой лицемер, как вы, а потому не хвалю себя за это и не требую, чтобы вы мной восхищались.

— Но разве вы никогда не видели людей, которые делали то, чего им не хочется?

— Нет. Вы по-дурацки ставите вопрос. Вы хотите сказать, что бывают люди, которые предпочитают временное огорчение мимолетному удовольствию. Возражение так же бессмысленно, как и сама постановка вопроса.

Люди предпочитают временное огорчение мимолетному удовольствию только потому, что ждут куда большего удовольствия в будущем. Часто это удовольствие бывает только кажущимся, но неверный расчет отнюдь не опровергает общего правила. Вы удивлены потому, что никак не можете избавиться от представления, будто удовольствия могут быть только чувственными, но, дитя мое, человек отдает свою жизнь за родину только потому, что ему это нравится, так же как он ест кислую капусту потому, что она ему нравится. Это закон природы. Если бы люди предпочитали страдание наслаждению, род человеческий давно бы вымер.

— Но, если это правда,—воскликнул Филип,—в чем же тогда смысл жизни? Если вы отнимаете у людей долг, добро и красоту, зачем мы рождаемся на свет божий?

— В зал вступил пышный Восток, чтобы ответить на этот вопрос,—засмеялся Кроншоу.

Он показал на двух левантинцев, которые в это мгновение отворили двери кафе и вошли, впустив за собой струю холодного воздуха. Это были бродячие продавцы дешевых ковров, каждый из них нес в руках по свертку. В этот воскресный вечер кафе было переполнено. Левантинцы медленно шли между столиками, и в душном зале, пропитанном людскими запахами, где лампы горели тускло в табачном дыму, от них веяло чем-то таинственным. Одеты они были в потрепанные европейские костюмы и жиденькие, потертые пальто, зато на головах были фески. Лица посерели от холода. Один из них, с черной бородой, был уже не первой молодости, а другому, одноглазому, с лицом, глубоко изъеденным оспой, можно было дать лет восемнадцать. Они прошли мимо Кроншоу и Филипа.

— Аллах велик, и Магомет — пророк его,—важно произнес Кроншоу.

Старший приблизился к ним с заискивающей улыбкой, словно шелудивый пес, привыкший к тому, что его бьют. Кинув искоса взгляд на дверь, он быстрым движением, украдкой показал на порнографическую картинку.

— Скажи мне, почтенный, ты и в самом деле Масрэд-Дин, купец из Александрии, или же ты из Багдада привез свои товары? А тот вон одноглазый юноша, правда ли, что он один из трех царей, о которых Шехерезада рассказывала сказки своему повелителю?

Улыбка разносчика стала еще более раболепной, хотя он и не понял ни единого слова из того, что сказал ему Кроншоу; словно фокусник, он извлек откуда-то ларчик сандалового дерева.

— Нет, покажи нам лучше узорчатые ткани восточных мастеров,— продекламировал Кроншоу.— Я хочу вывести мораль и украсить свой рассказ.

Левантинец развернул скатерть—красную, желтую, кричащую, безобразную, как смертный грех.

— Тридцать пять франков,— попросил он.

— О почтенный купец, этой ткани не касалась рука ткачей Самарканда, и красок этих не разводили в чанах Бухары.

— Двадцать пять франков,— униженно ослабился разносчик.

— В тридесятом царстве, в неведомом государстве соткали эту ткань, а может, даже в Бирмингеме, на родине моей.

— Пятнадцать франков,— прошептал бородатый торговец.

— Уйди с глаз моих долой, бродяга,— сказал Кроншоу.— Да обесчестят дикие ослы могилу твоей матери.

Невозмутимо, но уже больше не улыбаясь, левантинец перешел со своими товарами к другому столику. Кроншоу повернулся к Филипу:

— Вы бывали в музее Ключи? Там вы найдете персидские ковры прекраснейших тонов, с рисунком таким изысканным, что он поражает глаз. В этих коврах вся таинственная и чувственная прелесть Востока, розы Хафиза и чаша с вином Омара Хайяма. Но вскоре вы увидите в них не только это. Вот вы меня спрашивали, в чем смысл жизни. Ступайте поглядите на эти персидские ковры, и в один прекрасный день ответ придет к вам сам.

— Вы говорите загадками,— сказал Филип.

— Я просто пьян,— ответил Кроншоу.

ГЛАВА 46

Филип обнаружил, что жизнь в Париже стоит совсем не так дешево, как его уверяли: к февралю он истратил почти все деньги, которые привез с собой. Гордость не позволяла ему обратиться к опекуну, и он не хотел, чтобы тетя Луиза знала, как ему туго, понимая, что она непременно пошлет ему хоть небольшую сумму из своих денег, а у нее самой их осталось так немного. Через три месяца он достигнет совершеннолетия и сможет распоряжаться своим маленьким состоянием. А пока Филип старался свести концы с концами, продав золотые вещи, доставшиеся ему от отца.

Как раз в это время Лоусон предложил ему снять вместе небольшую мастерскую на одной из улиц возле бульвара Распай. Стоило это очень дешево. К мастерской примыкала комната, в которой они могли спать, а так как Филип проводил каждое утро в студии, Лоусон мог пользоваться в эти часы мастерской. Переменив несколько студий, Лоусон решил, что ему лучше всего работать самостоятельно, и предлагал нанять натурщика на три или четыре сеанса в неделю. Поначалу Филип колебался, боясь, что ему это будет не по средствам, но они подсчитали расходы, и оказалось (им очень хотелось иметь собственную мастерскую, и расчеты их были самыми приблизительными), что тратить им придется немногим больше, чем живя в гостинице. И, хотя платить за помещение и консьержке за уборку придется теперь чуть побольше, они сэкономят на завтраках, которые смогут готовить себе сами. Года два назад Филип отказался бы жить в одной комнате с кем бы то ни было — так болезненно переживал он свое уродство, но теперь он стал куда менее чувствителен: в Париже все это казалось совсем не таким важным, и, хотя он сам никогда не забывал о своей хромоте, ему перестало казаться, что другие только о ней и думают.

Они переехали, купили две кровати, умывальник, несколько стульев и впервые испытали радость обладания собственностью. В первую ночь, проведенную «дома», они были так возбуждены, что никак не могли заснуть и проговорили до трех часов утра, а на следующий день, когда они затопили камин, сами сварили себе кофе и сели пить его в пижамах, им стало так весело, что Филип с трудом попал в «Амитрано» к одиннадцати часам. Настроение у него было отличное. Он кивнул Фанни Прайс:

— Как дела?

— А вам-то что? — услышал он в ответ.

Филип не мог удержаться от смеха.

— Зря вы на меня кидаетесь. Я просто старался быть вежливым.

— Не нужно мне вашей вежливости.

— Зачем вам ссориться и со мной? — добродушно спросил ее Филип. — Вы и так почти со всеми на ножах.

— И это вас не касается.

— Вы правы.

Филип принялся за работу, недоумевая, почему Фанни Прайс ведет себя так враждебно. Он почувствовал, что она ему глубоко антипатична. Как и всем остальным. Люди старались ее не задевать, опасаясь ее злого языка: и в лицо

и за глаза она говорила обо всех ужасные гадости. Но у Филипа было такое хорошее настроение, что ему хотелось жить в мире даже с мисс Прайс. Он пустил в ход испытанное средство:

— Взгляните-ка, пожалуйста, на мой рисунок. Я что-то совсем запутался.

— Нет уж, спасибо. Не желаю я тратить на вас время.

Филип поглядел на нее с изумлением: единственное, на что она всегда охотно откликнулась,— это когда у нее просили совета. Она продолжала, захлебываясь, сдавленным от ярости голосом:

— Теперь, когда Лоусон ушел из школы, вы решили, что можно обратиться и ко мне за помощью? Нет уж, спасибо! Ступайте и поищите себе советчика в другом месте, мне не нужны чужие объедки!

У Лоусона была врожденная склонность учить. Стоило ему что-нибудь узнать, как он тут же стремился поделиться с другими. И так как он делал это с удовольствием, его уроки всегда были полезны. Филип все чаще и чаще подсаживался к Лоусону; ему даже в голову не приходило, что Фанни Прайс с ума сходит от ревности и все больше распаляется, наблюдая за тем, как его обучает другой.

— Прежде вам небось и меня хватало, когда вы еще никого здесь не знали,— попрекала она его с горечью,— но стоило вам обзавестись друзьями, и вы вышвырнули меня, как старую тряпку...— И она со сладострастием повторила это истасканное сравнение:— Как старую тряпку... Ну и пусть, наплевать, но дуру из меня делать я вам больше не позволю.

В ее словах была доля истины, поэтому Филип обозлился и ответил ей первое, что пришло ему в голову:

— Да, черт возьми, я же обращался к вам только потому, что это явно доставляло вам удовольствие!

Она вдруг задохнулась и бросила на него взгляд, полный муки. По ее щекам медленно покатались слезы. Вид у нее был крайне жалкий и карикатурный. Филип, не понимая, что должна означать эта новая смена настроения, вернулся к своей работе. Ему было неловко и совестно, однако, боясь нарваться на грубость, он не решался подойти к ней и попросить прощения. Две или три недели она с ним не разговаривала, и, когда Филип по привычке к тому, что его не замечают, он даже почувствовал некоторое облегчение, избавившись от этой тягостной дружбы: его стал смущать тот хозяйский тон, который она с ним усвоила. Мисс Прайс была все-таки удивительная женщина! Она появлялась

в студии каждое утро ровно в восемь и была наготове, как только натурщица занимала свое место; рисовала она, не отрываясь, ни с кем не разговаривая, и, пока часы не били двенадцать, упорно боролась с трудностями, которых так и не могла преодолеть. Работа ее была безнадежно плоха. Она не приближалась даже к тому среднему уровню, которого достигало большинство молодежи, проучившись в студии несколько месяцев. На ней неизменно было надето все то же безобразное коричневое платье с забрызганным вчерашней грязью подолом, с теми же дырами, которые Филип заметил, увидев ее впервые.

Но в один прекрасный день она сама к нему подошла и спросила, багровая от стыда, не может ли она с ним поговорить после занятий.

— Да ради бога,— улыбнулся ей Филип.— Я вас подожду.

Когда занятия кончились, он к ней подошел.

— Давайте выйдем вместе, ладно? — спросила она, смущенно отвернув лицо.

— С удовольствием.

Несколько минут они шли молча.

— Помните, что вы мне тогда сказали? — вдруг спросила она.

— Давайте не будем ссориться,— попросил Филип.— Право же, не стоит.

Она судорожно глотнула воздух.

— Я не хочу с вами ссориться. Вы ведь в Париже мой единственный друг. Мне казалось, что и вы ко мне неплохо относитесь. У меня было такое чувство, будто между нами что-то есть. Меня привлекало... Ну, вы же понимаете, что я хочу сказать... Ваша хромота...

Филип покраснел, он инстинктивно выпрямился, чтобы поменьше хромать. Он не любил, когда ему напоминали об его уродстве. Ему было понятно, что имела в виду Фанни Прайс. Она сама была некрасива, нескладна, и оттого, что он был калекой, между ними возникало какое-то сродство душ. Филип страшно на нее разозлился, но заставил себя промолчать.

— Вы сказали, что обращались ко мне за советом только потому, что мне это доставляет удовольствие. Значит, вы думаете, что мои работы никуда не годятся?

— Я видел только ваши рисунки в «Амитрано». По ним трудно судить...

— Хотите посмотреть другие мои работы? Я никогда никому их не показывала. Но вам мне бы хотелось показать.

— Большое спасибо. Мне это будет очень интересно.

— Я живу совсем близко,— сказала она извиняющимся тоном.— У вас это отнимет минут десять.

— Я никуда не тороплюсь,— сказал он.

Они пошли по бульвару и свернули сначала в одну боковую улочку, а потом в другую, еще более нищую, с маленькими лавчонками в нижних этажах. У одного из домов они остановились и стали подниматься по лестнице, этаж за этажом. Мисс Прайс отперла дверь, и они вошли в крошечную мансарду с покатым потолком и небольшим окошком. Воздух в комнате был спертый. Хотя погода стояла холодная, печь не топилась, и было не похоже, что она топится вообще. Кровать так и осталась незастеленной. Обстановка состояла из комода, служившего и умывальником, стула и дешевенького мольберта. Жилище было и без того очень убогим, а беспорядок и неопрятность придавали ему совсем жалкий вид. На камине среди тюбиков с красками и кистей стояли невытая чашка, тарелка и чайник.

— Если вы отойдете в угол, я поставлю их на стул, чтобы было виднее.

Она показала ему двадцать небольших полотен, примерно восемнадцать дюймов на двенадцать, ставя их одно за другим на стул и вглядываясь в его лицо. Он только молча кивал в ответ.

— Вам нравится, да? — спросила она, не вытерпев.

— Я сначала хочу рассмотреть их все,— ответил он.— А потом скажу.

Ему нужно было прийти в себя. Его взяла оторопь. Он не знал, что сказать. Дело было не только в том, что рисунок был из рук вон плох и краски положены неумелой рукой человека, лишенного чувства цвета,— в картинах не чувствовалось даже попытки соразмерить пропорции, а перспектива была просто смехотворной. Ее мазня была похожа на упражнения пятилетнего ребенка, но у ребенка есть хоть непосредственность, и он по крайней мере пытается изобразить то, что видит; здесь же действовала пошлая фантазия, насквозь отравленная воспоминаниями о пошлых картинах. Филип вспомнил, с каким восторгом она говорила ему о Моне и импрессионистах; однако собственные ее вещи следовали самым дурным традициям Королевской академии.

— Вот все, что у меня есть,— сказала она.

Филип не был таким уж отчаянным правдолюбом, однако ему трудно было произнести откровенную, умышленную ложь, и он покраснел до корней волос.

— Мне кажется, что все это очень здорово,— выдавил он с трудом.

Ее одутловатое лицо слегка порозовело, она даже улыбнулась.

— Не надо кривить душой, если вы этого не думаете. Я хочу, чтобы вы мне сказали правду.

— Да я и не кривлю душой...

— Неужели у вас нет никаких замечаний? Не может быть, чтобы все картины вам нравились одинаково.

Филип беспомощно огляделся вокруг. Он заметил пейзаж — типичное упражнение любителя: старый мост, увитый виноградом домик, заросший берег.

— Конечно, я не так уж хорошо разбираюсь в живописи,— промямлил он.— Однако меня немножко смущают вот эти пропорции.

Она густо покраснела и поспешно повернула полотно лицом к стене.

— Не понимаю, почему вам нужно было говорить гадости именно об этой вещи. Она — лучшее, что я написала. И я уверена, что пропорции тут безупречны. Правильность пропорций — это то, чему нельзя выучиться, вы их либо чувствуете от природы, либо нет.

— Мне кажется, что все это очень здорово,— повторил Филип.

Она поглядела на свои картины с самодовольным видом.

— Да, их не стыдно показать кому угодно.

Филип посмотрел на часы.

— А ведь уже поздно. Хотите, я угощу вас обедом?

— Мой обед готов и меня ждет.

Филип не видел никаких признаков еды, но предположил, что, когда он уйдет, обед ей принесет консьержка. Ему хотелось поскорее уйти. От спертного воздуха у него разболелась голова.

ГЛАВА 47

В марте стали волноваться по поводу посылки картин на выставку в Салон. У Клаттона, как всегда, ничего не было готово, и он издевался над двумя портретами, посланными Лоусоном: они были явно ученической работой, эти две головы натурщиков, но в них ощущалась какая-то сила. Клаттон добивался совершенства и терпеть не мог опытов, в которых сквозила неуверенность; пожав плечами, он заявил Лоусону, что считает нахальством желание выставить

работы, которые не имеют права выходить за стены студии; он ничуть не изменил своей презрительной мины и тогда, когда портреты Лоусона были приняты. Фланаган тоже решил попытать счастья, но его картину отвергли. Миссис Оттер послала аккуратненький «Portrait de ma mère»¹, написанный умело, но без таланта; его повесили на видном месте.

Хейуорд, которого Филип не видел со дня своего отъезда из Гейдельберга, приехал на несколько дней в Париж, как раз вовремя, чтобы попасть на вечеринку, устроенную в мастерской по поводу того, что Салон принял картины Лоусона. Филипу не терпелось снова увидеться с Хейуордом, но, когда они наконец встретились, Филип почувствовал разочарование. Хейуорд изменился внешне: его пышные волосы поредели; как бывает со светлыми блондинами, он быстро поблек, у него появились морщины; голубые глаза выцвели, лицо стало слегка одутловатым. Зато внутренне Хейуорд не изменился совсем, и начитанность, которая поражала восемнадцатилетнего Филипа, казалась ему теперь, в двадцать один год, чуть-чуть смешной. Сам-то он изменился разительно и глубоко презирал свои прежние взгляды на искусство, на жизнь и литературу; его теперь раздражали люди, придерживающиеся этих взглядов. Филип не отдавал себе отчета в том, как ему хочется порисоваться перед Хейуордом, но, когда он повел своего друга по картинным галереям, он выложил ему все те революционные воззрения, которые сам усвоил лишь недавно. Подведя Хейуорда к «Олимпии» Мане, он произнес с пафосом:

— Я отдал бы за эту картину всех старых мастеров, за исключением Веласкеса, Рембрандта и Вермеера!

— Кто такой Вермеер? — спросил Хейуорд.

— Дорогой, неужели ты не знаешь Вермеера? Какая дикость! Этого нельзя себе позволить. Вермеер — единственный из старых мастеров, писавший, как пишут сейчас.

Филип быстро потащил Хейуорда из Люксембурга в Лувр.

— Но разве здесь больше нечего смотреть? — запротестовал Хейуорд с любознательностью добросовестного туриста.

— Ничего примечательного. Посмотришь все это потом, с помощью твоего путеводителя.

Придя в Лувр, Филип повел приятеля по Большой галерее.

¹ «Портрет матери» (фр.).

— Я хотел бы посмотреть «Джоконду», — попросил Хейуорд.

— Ну, милый, это литературщина! — возмутился Филип.

Наконец в маленьком зале Филип остановился возле «Кружевницы» Вермеера Дельфтского.

— Вот лучшая картина Лувра. Совсем как Мане.

И при помощи красноречиво выгнутого большого пальца Филип описал приятелю все прелести этой картины. Он пользовался жаргоном студий с покоряющей убедительностью.

— Знаешь, а я вот не вижу в ней ничего замечательного, — сказал Хейуорд.

— Ну, конечно, это ведь картина для художников, — сказал Филип. — Профан в ней ничего и не увидит.

— Кто не увидит? — переспросил Хейуорд.

— Профан.

Как и большинство людей, хвастающих интересом к искусству, Хейуорд страшно боялся попасть впросак. Он был догматиком с теми, кто не решался настаивать на своем мнении, и мягок как воск — с людьми убежденными. Уверенность Филипа его смутила, и он смиренно выслушал его сентенцию, что только художник может быть истинным ценителем живописи, хотя она и свидетельствовала лишь о нахальстве того, кто ее высказывал.

Дня через два Филип и Лоусон устроили свою вечеринку. Кроншоу, сделав для них исключение, согласился прийти поужинать, а мисс Чэлис вызвалась приготовить угощение. Молодую художницу несколько не интересовали особы одного с ней пола, и она отклонила предложение пригласить других девушек себе в помощь. Гостями были Клаттон, Флананган, Поттер и еще двое. Мебели не хватало, поэтому помост для натурщицы служил столом, а гости могли сидеть либо на чемоданах, либо на полу. Пиршество состояло из *rot-au-feu*¹, приготовленного мисс Чэлис, и жаренной в ресторанчике по соседству бараньей ноги, — когда ее подали на стол, она была еще горячая и вкусно пахла. (Мисс Чэлис отварила к ней картошку; вся мастерская пропиталась запахом тушеной моркови — тушеная морковь была любимым блюдом мисс Чэлис.) За этим последовали *poires flambées* — груши в горящем коньяке, которые приготовил сам Кроншоу. Пир завершался огромным *fromage de*

¹ Мясного супа (*фр.*).

Brie¹, который стоял на окне и забивал все другие ароматы, наполнявшие мастерскую. Кроншоу восседал на почетном месте, на большом саквояже, поджав под себя ноги, словно турецкий паша, и благодушно улыбался окружавшей его молодежи. По привычке он не расстался со своей шубой, хотя в маленькой мастерской жарко топилась печь. Воротник, как всегда, был поднят, на лоб надвинута неизменная шляпа; Кроншоу с удовольствием поглядывал на четыре большие фляги кьянти, которые выстроились перед ним в ряд, с бутылкой виски посредине; он сказал, что это напоминает ему тоненькую красавицу черкешенку под охраной четырех пузатых евнухов. Для того чтобы не смущать остальных гостей, Хейуорд нарядился в костюм из домотканой шерсти и надел галстук, какой носят студенты Кембриджа. Вид у него был до неприличия английский. Все были с ним изысканно вежливы, и за супом разговор шел только о погоде и о политике. Пока они дожидались бараньей ноги, наступило молчание, и мисс Чэлис закурила сигарету.

— «Рапунцель, Рапунцель, распусти свои волосы!»² — сказала она ни с того ни с сего. Изящным движением она развязала ленту — и волосы рассыпались по плечам. Потом она встряхнула головой. — С распущенными волосами я чувствую себя куда лучше.

Большие карие глаза, тонкие, аскетические черты, белая кожа, широкий лоб — она точно сошла с картины Берн-Джонса. У нее были узкие, красивые руки с пальцами, пожелтевшими от никотина. Носила она свободно задрапированные туники, лиловые и зеленые. Весь ее романтический облик живо напоминал о Кенсингтоне³. Мисс Чэлис была отъявленной эстеткой, но существом благородным, добрым и очень сердечным, а вся ее претенциозность была только внешней. Послышался стук, встреченный восторженными возгласами; мисс Чэлис отворила дверь, взяла у посыльного баранью ногу и подняла блюдо высоко над головой, словно на нем лежала голова Иоанна Крестителя; не выпуская сигареты изо рта, она приблизилась к столу торжественной и плавной походкой.

— Слава тебе, дочь Иродиады! — воскликнул Кроншоу.

¹ Сыр бри (*фр.*).

² Слова из сказки братьев Grimm «Рапунцель», обращение к героине — молодой девушке с длинными косами.

³ Кенсингтон — квартал в Лондоне, где живут художники.

Баранину ели со вкусом; приятно было смотреть, с каким отменным аппетитом жует эта бледнолицая дама. По обе стороны от нее сидели Клаттон и Поттер; ни для кого не было тайной, что ни тот, ни другой не имели оснований считать ее недотрогой. Большинство мужчин надоедало ей месяца через полтора, но она и потом отлично умела ладить с молодыми людьми, которые отдали ей свое сердце. Хотя она и переставала их любить, но относилась к ним по-прежнему доброжелательно; близости больше не было, но дружба оставалась. Теперь она меланхолически поглядывала на Лоусона. Груши пользовались большим успехом как из-за коньяка, так и потому, что мисс Чэлис настояла на том, чтобы их ели с сыром.

— Не могу понять, так ли это на самом деле вкусно или же меня сейчас стошнит,— сказала она, наевшись груш.

Но тут подали кофе с коньяком, чтобы предупредить последствия неосторожного гурманства, и все блаженно закурили. Рут Чэлис не могла не принять артистической позы: она изящно прислонилась к Кроншоу и опустила свою прелестную голову ему на плечо. Она вглядывалась в туманную даль времен своими трагическими глазами и лишь изредка, бросая на Лоусона долгий испытующий взгляд, тяжело вздыхала.

Настало лето, и молодых людей обуяла тяга к перемене мест. Синее небо влекло их к морскому простору, а мягкий ветерок, шелестевший листьями платанов на бульваре, манил на лоно природы. Все подумывали об отъезде из Парижа; обсуждали, какого размера холсты удобнее всего брать с собой; запасались акварелью для этюдов; спорили о преимуществах того или иного местечка в Бретани. Фланаган и Поттер отправились в Конкарно; миссис Оттер, взяв мать, с врожденной тягой к тривиальности, поехала в Понт-Авен; Филип и Лоусон решили побродить по лесу Фонтенбло. Мисс Чэлис знала в Морэ отличную гостиницу, где кругом было что рисовать; место это находилось совсем недалеко от Парижа, а Филип и Лоусон рады были сэкономить на железнодорожных билетах. К тому же там будет Рут Чэлис. Лоусон собирался писать ее портрет на открытом воздухе. В то время Салон был полон портретами людей в саду, на солнце, с зажмуренными от яркого света глазами, с зелеными бликами на лице от освещенных лучами листьев. Молодые люди приглашали поехать с ними и Клаттона, но тот предпочел провести лето в одиночестве. Он только что открыл Сезанна и стремился в Прованс; он тосковал по тяжелому, плотному небу, откуда синева словно сочилась,

широким, белесым от зноя дорогам, бледным крышам, с которых солнце выжгло все краски, и серым от пыли оливам.

В день, когда все они, кончив утренний урок, собирались в путь, Филип, складывая рисовальные принадлежности, заговорил с Фанни Прайс.

— Завтра я уезжаю,— сообщил он ей весело.

— Куда? — быстро спросила она. — Неужели совсем? — Лицо ее вытянулось.

— На все лето. А вы никуда не едете?

— Нет. Я остаюсь в Париже. Думала, что останетесь и вы. И что мы...

Она замолчала и передернула плечами.

— Но ведь здесь будет такая жарница! Вам это страшно вредно.

— Больно вас интересует, что мне вредно! А вы куда едете?

— В Морэ.

— Туда едет Чэлис. Вы едете с ней?

— Мы едем с Лоусоном. И она едет туда тоже. Я даже не уверен, что мы едем вместе...

Из ее горла вырвался сдавленный хриплый звук, и широкое лицо залилось темной краской.

— Вот безобразие! А я-то думала, вы человек порядочный. Чуть не единственный здесь порядочный человек. Она жила с Клаттоном, с Поттером, с Фланаганом и даже со стариком Фуане — вот почему он с ней так возится, — а теперь дошел черед и до вас с Лоусоном. Ох, прямо тошно!

— Какая ерунда! Она очень хорошая девушка. С ней чувствуешь себя просто как с женщиной.

— Не смейте со мной разговаривать! Не желаю я, чтобы вы со мной разговаривали!

— Но вам-то что до этого? — спросил Филип. — Вас-то уж и вовсе не касается, где я буду проводить лето.

— Я так долго об этом мечтала, — дрожащим голосом сказала она, словно разговаривая сама с собой. — Мне казалось, у вас нет денег, чтобы куда-нибудь поехать, а здесь, кроме меня, никого не останется и мы сможем вместе работать и повсюду ходить... — И тут она снова вспомнила о Рут Чэлис. — Подлая тварь! — закричала она. — Она не стоит того, чтобы с ней здоровались!

У Филипа замерло сердце. Он был не из тех, кому кажется, что все девушки в него влюбляются; он слишком хорошо помнил, что он калека, и чувствовал себя с женщинами

неловко, однако эта вспышка могла иметь только одно объяснение. Перед ним стояла неопрятная, замызганная женщина в грязном коричневом платье, с растрепанными космами, и по щекам ее катились злые слезы. Вид у нее был отталкивающий. Филип кинул испуганный взгляд на дверь, от души надеясь, что кто-нибудь войдет и положит конец этой сцене.

— Мне очень жалко...— начал он.

— Вы ничем не лучше их всех. Пользуетесь людьми и даже спасибо не скажете. Я вас научила всему, что вы знаете. Никто не стал бы так с вами возиться. Разве Фуане захочет тратить на вас время? И вот что я вам скажу: если вы проучитесь тысячу лет, и то из вас не будет толку! У вас нет таланта. Нет самобытности. Это говорю не только я, так говорят о вас все. Никогда из вас не выйдет художника!

— И это вас тоже не касается!— покраснев, сказал Филип.

— Ну да, вы думаете, что во мне говорит только злость. Спросите Клаттона, спросите Лоусона, спросите Чэлис. Никогда! У вас нету того, без чего не бывает художника.

Филип пожал плечами и ушел. Она кричала ему вслед:

— Никогда из вас не выйдет художника! Никогда!

Морэ был маленьким старинным городком на опушке леса Фонтенбло. На его единственной улице стояла гостиница «Экю д'ор», которая всем своим древним видом напоминала об эпохе, когда Францией правили короли. Фасад ее выходил на петлявшую между деревьев речку; с небольшой террасы в комнате мисс Чэлис был прелестный вид на старый мост и укрепленный въезд на него. По вечерам после ужина они пили на этой террасе кофе, курили и спорили об искусстве. Немного поодаль в речку впадал узкий канал, окаймленный тополями, по берегам которого они часто бродили после трудового дня. Весь день они писали этюды. Как и большинство художников их поколения, их больше всего пугала красивость, и, презрев живописные виды городка, они искали натуру, в которой не было бы ненавистной им сладости. Сислей и Моне писали канал с тополями, и молодым людям тоже хотелось попробовать руку на пейзаже, столь типичном для Франции, но их пугала его правильная красота, и они намеренно старались от нее уйти. Мисс Чэлис, хорошо владевшая живописной

техникой, что вызывало восхищение Лоусона, как он ни презирал «дамское рукоделие», задумала писать пейзаж, в котором тривиальность преодолевалась тем, что деревья были изображены без своих крон. Самого же Лоусона осенила блестящая идея поместить на переднем плане большую синюю рекламу «Chocolat Menier»¹, чтобы подчеркнуть свое отвращение к хорошеньким пейзажикам с шоколадных коробок.

Филип стал писать маслом. Впервые освоив эту выразительную технику, он испытывал полное наслаждение. По утрам он брал ящик с красками, усаживался рядом с Лоусоном и писал свой этюд; радость, которую он ощущал, заставляла его забывать, что он всего-навсего копирует работу Лоусона; он всецело находился под влиянием товарища и все видел его глазами. Лоусон писал приглушенными тонами, и обоим изумрудная зелень травы казалась темным бархатом, а яркое сияние утреннего неба превращалось под их кистью в тревожную синеву. Весь июль стояли ясные дни, была жара, горячее дыхание земли обжигало насквозь и наполняло истомой; Филип не мог работать, в уме его теснились тысячи мыслей. Нередко он проводил утро в тени тополей, на берегу канала; прочитав несколько строк, он предавался мечтам. Иногда он брал напрокат старенький велосипед, отправлялся по пыльной дороге в лес, чтобы поваляться где-нибудь на полянке. Голова его была полна романтических образов. Веселые и беззаботные дамы с картин Ватто, казалось ему, бродят со своими кавалерами между могучими стволами деревьев, шепчут друг другу безрассудные, шуточные признания, чувствуя, однако, какой-то тайный, неосознанный страх.

Во всей гостинице жили они одни, не считая толстой пожилой француженки раблезианского склада с громким, раскатистым и похабным смехом. Все дни она проводила с удочкой у реки, так никогда и не поймав ни одной рыбки, и Филип часто приходил к ней поболтать. Он скоро узнал, что она принадлежала к той же профессии, что и прославленная миссис Уоррен², но, сколотив кое-какое состояние, стала почтенной дамой и вела буколическую жизнь. Она рассказывала Филипу множество непристойных историй.

¹ «Шоколад Менье» (*фр.*).

² Героиня пьесы Б. Шоу «Профессия миссис Уоррен» — содержательница публичных домов.

— Вам надо съездить в Севилью, — уговаривала она его на ломаном английском языке, который немножко знала. — Там самые красивые женщины на свете.

Она широко осклабилась и покачала головой. Ее тройной подбородок и мягкий живот затряслись от беззвучного смеха.

Настал такой зной, что спать по ночам было почти невозможно. Жара, казалось, сделалась осязаемой и плотно залегла под деревьями. Им не хотелось расставаться со звездной ночью, и они молча час за часом просиживали втроем на веранде у Рут Чэлис, слишком усталые, чтобы разговаривать, но всем своим существом наслаждаясь покоем. Они прислушивались к журчанию реки. Часы на колокольне били час, два, а иногда и три, прежде чем они принуждали себя отправиться спать. Как-то невзначай Филип понял, что Рут Чэлис и Лоусон — любовники. Он угадал это по взгляду, каким девушка смотрела на молодого художника, по его виду собственника, и, сидя с ними, Филип чувствовал, что их окружает какая-то особая атмосфера, словно воздух вокруг них насыщен дурманом. Открытие это его потрясло. Для него мисс Чэлис была просто хорошим товарищем, с которым он любил поговорить, — более близкие отношения с ней казались ему немислимыми. В воскресенье они взяли еду и отправились в лес; дойдя до полянки, которая, на ее взгляд, была достаточно уединенной, мисс Чэлис заявила, что тут надо вести себя, как положено на лоне природы, и разулась. Все было бы прелестно, если бы ноги у нее не оказались слишком велики и на пальцах не росли большие мозоли. Поэтому поведение ее выглядело немножко смешным. Однако теперь Филип смотрел на нее уже совсем по-другому; в ее больших глазах и смуглой коже было что-то мягкое, женственное; он ругал себя за то, что не почувствовал ее обаяния. Да и она, кажется, его чуть-чуть презирала за то, что он ее сразу не оценил, а Лоусон с трудом скрывал самодовольство. Филип завидовал Лоусону; он ревновал его, но не к этой женщине, а к его любви. Ему хотелось быть на месте Лоусона и чувствовать то, что чувствует он. Филип был встревожен, он боялся, что любовь обойдет его стороной. Ему хотелось, чтобы им завладела страсть, захватила его целиком и повлекла, как могучий поток, неведомо куда. Мисс Чэлис и Лоусон казались ему теперь другими людьми, и постоянное общение с ними его удручало. Он был недоволен собой. Жизнь не давала ему того, чего он хотел, и у него было беспокойное ощущение, что он зря теряет время.

Толстая француженка быстро догадалась, в каких отношениях находится парочка, и сообщила об этом Филипу с грубой откровенностью.

— А у вас,—спросила она с добродушной улыбкой человека, разжившегося на вожделии своих ближних,— есть *petite amie*?¹

— Нет,—краснея, признался Филип.

— Почему же? *C'est de votre âge*?²

Он пожал плечами. В руке у него был томик Верлена, с ним он и пошел бродить в одиночестве. Он пытался читать, но желания, которые томили, не давали ему покоя. На память ему приходили случайные связи, на которые его толкал Фланаган, тайные посещения домов в *cul-de-sac*³ с обитой плюшем мебелью и продажными прелестями размалеванных девиц. Его охватила дрожь. Бросившись на траву, потянувшись, как только что проснувшееся молодое животное, он почувствовал, что журчащие струи, тихо дрожащие от ветерка тополя, голубое небо над головой — все это невыносимо прекрасно. Он был влюблен в любовь. Закрыв глаза, он почувствовал прикосновение теплых губ к своим губам, касание нежных рук, обвивших его шею. Он представлял себя в объятиях Рут Чэлис, ему чудились ее темные глаза и удивительная нежность кожи; он был безумцем, позволив уйти из-под рук такому увлекательному приключению. Чем он хуже Лоусона? Но мысли эти приходили к нему только тогда, когда он не видел Рут Чэлис — лежал ночью без сна или забывался в мечтах на берегу канала; когда же она была перед ним, чувство пропадало — ему больше не хотелось ее обнять, он не мог себе представить, что целует ее. Он ничего не понимал. Вдали она казалась ему прекрасной, он помнил только ее необыкновенные глаза и матовую бледность щек; но стоило ему увидеть ее — и он замечал, что у нее плоская грудь и уже гнилые зубы; он не мог забыть мозолей у нее на ногах. Как странно! Неужели он всегда будет любить только издали и не сможет ничем насладиться из-за какой-то ущербности зрения, которое, как в кривом зеркале, преувеличивало все гадкое и уродливое?

И он нисколько не огорчился, когда перемена погоды, предвещавшая конец этого долгого лета, прогнала их обратно в Париж.

¹ Подружка (*фр.*).

² Вам уже по годам полагалось бы (*фр.*).

³ Тупике (*фр.*).

Когда Филип вернулся в «Амитрано», он узнал, что Фанни Прайс там больше не занимается. Она сдала ключ от своего шкафчика. Филип спросил у миссис Оттер, известна ли ей дальнейшая судьба Фанни, и та, пожал плечами, ответила, что мисс Прайс, по-видимому, вернулась в Англию. У Филипа отлегло от сердца. Ему страшно надоел ее сварливый характер. К тому же она навязчиво давала ему советы, считала личным оскорблением, когда он им не следовал, и никак не могла примириться с тем, что он уже не чувствует себя таким олухом, как вначале. Скоро он совсем о ней позабыл. Теперь он работал маслом, испытывая от этого огромное удовольствие. Он надеялся, что сумеет сделать что-нибудь стоящее и послать на будущий год в Салон. Лоусон писал портрет мисс Чэлис. Она была очень живописна, и все молодые художники, которые в нее влюблялись, писали с нее портреты. Природная лень в соединении со страстью принимать красивые позы делали ее отличной натурщицей; к тому же она достаточно хорошо разбиралась в технике, чтобы дать дельный совет.

Так как любовь к искусству была у нее главным образом любовью к жизни, которую ведут художники, она охотно поступалась собственной работой. Ей нравилось сидеть в хорошо натопленной мастерской и курить сигарету за сигаретой; при этом она говорила грудным, нежным голосом о любви к искусству или об искусстве любить. Ей трудно было понять разницу между тем и другим.

Лоусон работал над портретом в поте лица; он простаивал возле мольберта целыми днями, покуда его держали ноги, а потом счищал все, что написал. Он истощил бы терпение любой натурщицы, кроме Рут Чэлис. В конце концов он совсем запутался.

— Единственное, что мне остается,— это взять новый холст и начать сначала,— сказал он.— Теперь я точно знаю, чего хочу, и дело у меня пойдет быстро.

Филип присутствовал при этой сцене, и мисс Чэлис его спросила:

— А почему вы меня не пишете? Вы могли бы многому научиться, глядя, как работает мистер Лоусон.

Мисс Чэлис была женщиной деликатной и всегда называла своих любовников по фамилии.

— Я был бы очень рад. Если Лоусон не возражает...

— А мне-то что! — сказал Лоусон.

Филип первый раз в жизни брался за портрет, и начинал он с трепетом, но и с гордостью. Сев рядом с товарищем, он писал так, как писал тот. Ему помогали и пример, и советы, на которые не скупилась ни Лоусон, ни мисс Чэлис. Наконец Лоусон кончил портрет и решил показать его Клаттону. Клаттон только что вернулся в Париж. Из Прованса он как-то незаметно перебрался в Испанию — ему очень хотелось посмотреть Веласкеса в Мадриде, — а потом поехал в Толедо. Там он пробыл три месяца и вернулся, твердя незнакомое товарищам имя: он рассказывал удивительные вещи о художнике, которого звали Эль Греко. Но изучить его, оказывается, можно только в Толедо.

— Я о нем давно слышал, — сказал Лоусон. — Это старый мастер, который отличался тем, что писал так же плохо, как современные художники.

Клаттон, еще более молчаливый, чем всегда, ничего не ответил и язвительно поглядел на Лоусона.

— Вы покажете нам работы, которые привезли из Испании? — спросил Филип.

— Я ничего не писал в Испании. Мне было некогда.

— А что же вы там делали?

— Думал. С импрессионистами я, кажется, покончил; через несколько лет они будут казаться мелкими и поверхностными. Мне хочется перечеркнуть все, чему я учился, и начать сызнова. Когда я вернулся, я уничтожил все мои картины. У меня в мастерской теперь нет ничего, кроме мольберта, красок и чистых холстов.

— Что вы намерены делать?

— Не знаю. Мне еще не очень ясно, чего мне хочется.

Говорил он медленно, как-то чудно, словно прислушивался к чему-то невидному. В нем бродили странные силы, в которых он сам не отдавал себе отчета, хотя они мучительно искали выхода. Это душевное напряжение ощущали все. Лоусон боялся его критики, хотя и напросился на нее сам, и хотел смягчить удар, делая вид, будто ему безразлично мнение Клаттона, однако Филип знал, как он будет счастлив, если Клаттон его похвалит. А тот молча вглядывался в портрет, потом мельком посмотрел на стоявшую на мольберте картину Филипа.

— А это что? — спросил он.

— Да я вот тоже пытался написать портрет.

— Усердная обезьяна, — пробормотал Клаттон.

Он снова повернулся к холсту Лоусона. Филип покраснел, но смолчал.

— Ну, как по-вашему? — не выдержал Лоусон.

— Хорошая лепка лица,— сказал Клаттон.— И, по-моему, очень хороший рисунок.

— Как вы думаете, пропорции правильные?

— Вполне.

Лоусон радостно заулыбался. Он встряхнулся, как вымокший под дождем пес.

— Знаете, мне ужасно приятно, что вещь вам нравится.

— Она мне не нравится. Я считаю, что она никому не нужна.

Лицо Лоусона вытянулось, и он с изумлением воззрился на Клаттона, не понимая, что тот хочет сказать. Клаттон не умел выражать своих мыслей, говорил он будто через силу. То, что он наконец произнес, было сказано путано, сбивчиво, многословно, но Филип знал заповедь, которая легла в основу его бессвязной речи. Клаттон, который никогда ничего не читал, услышал ее как-то от Кроншоу, и, хотя она сперва и не произвела на него большого впечатления, слова ее запали ему в память, а потом показались собственным открытием: хороший художник должен рисовать два объекта сразу — человека и его душевное устремление. Импрессионистов поглощали другие задачи: они великолепно изображали человека, но их так же мало, как и английских портретистов XVIII века, занимало, к чему стремится человеческая душа.

— Но, когда вы пытаетесь это передать, вы впадаете в литературщину,— возразил Лоусон.— Эх, если бы я умел писать человека, как делает Мане! И ну их тогда к черту, все ваши душевные устремления!

— Да, если бы вы могли переплюнуть Мане в том, чем он силен, но вам до него далеко. Нельзя жить позавчерашним днем, почва там уже истощена. Надо вернуться к прошлому. Вот когда я увидел Эль Греко, я понял, что портрет может дать больше, чем мы думали.

— Но это означает возврат к Рескину!— закричал Лоусон.

— Нет... Понимаете, Рескина занимала мораль; мне же в высокой степени наплевать на мораль — ни дидактика, ни этика, ни все прочее не имеют отношения к искусству; важны страсть, чувство. Величайшие портретисты — Рембрандт и Эль Греко — изображали одновременно и самого человека и устремление его души; только второсортные живописцы писали одного человека. Ландыш прелестен, даже если бы он не пах, но он еще прекраснее оттого, что у него есть аромат. Ну а ваша картина,— и он показал на портрет, написанный Лоусоном,— что ж, рисунок тут в по-

рядке, и лепка лица в порядке, все это пристойно и обыденно, а вам полагалось ее так нарисовать, чтобы всякий понял: какая дрянная потаскуха! Точность очень хороша, но Эль Греко делал свои фигуры высотой в восемь футов, потому что ему надо было выразить нечто такое, чего другим способом он выразить не мог.

— Плевал я на вашего Эль Греко! — возмутился Лоусон. — Что вы нам тычете его в нос, раз мы не можем посмотреть то, что он написал?

Клаттон пожал плечами, молча выкурил сигарету и ушел. Филип и Лоусон поглядели друг на друга.

— В том, что он говорит, что-то есть, — сказал Филип.

Лоусон злобно уставился на свою картину.

— А как же, черт побери, передать душевное устремление, если не писать человека таким, каким ты его видишь?

Примерно в это время у Филипа появился новый приятель. По понедельникам с утра в студии собирались натурщики — одного из них приглашали позировать ближайшую неделю. Как-то раз выбор пал на молодого человека, который явно не был профессиональным натурщиком. Филипа привлекла его манера держаться: взойдя на помост, он крепко встал на обе ноги, расправив плечи, сжав руки и вызывающе выставив вперед голову; эта поза подчеркивала красоту его тела, на котором не было ни капли жира, а мускулы выпирали, словно стальные канаты. У него была коротко стриженная голова правильной формы, большие темные глаза, густые брови и маленькая бородка. Натурщик сохранял свою позу несколько часов подряд без малейших признаков усталости. Лицо его в одно и то же время выражало и стыд и решимость. Весь он был точно сгусток энергии и сразу же зажег романтическое воображение Филипа; когда сеанс окончился и натурщик оделся, Филипу показалось, что он носит свое платье, как переодетый в лохмотья король. Юноша был молчалив, но дня через два миссис Оттер рассказала Филипу, что натурщик — испанец и позирует впервые.

— Он, наверно, голодал, — сказал Филип.

— Вы заметили, как он одет? Костюм на нем чистый и очень приличный.

Случилось так, что один из учившихся в студии американцев, Поттер, собрался поехать на несколько месяцев в Италию и предложил свою мастерскую Филипу. Филипа

это очень обрадовало. Его начинал раздражать авторитетный тон Лоусона, ему хотелось побыть одному. Решившись, он в конце недели подошел к натурщику, объяснил, что не успел кончить рисунок, и спросил, не согласится ли тот позировать ему хотя бы денек дома.

— Я не натурщик,— заявил испанец.— На той неделе у меня будут другие дела.

— Давайте вместе закусим и обсудим этот вопрос,— предложил Филип, а так как собеседник его колебался, добавил с улыбкой: — Ей-богу же, оттого что вы со мной пообедаете, вас не убудет.

Пожав плечами, натурщик согласился, и они отправились в *crémérie*¹. Испанец говорил на ломаном французском языке бегло, хотя и не очень понятно, и Филипу удалось с ним поладить. Выяснилось, что испанец — писатель. Он приехал в Париж писать романы и кормился всеми способами, доступными человеку без гроша в кармане: давал уроки, брал, когда перепали, переводы — главным образом деловых бумаг — и наконец был вынужден зарабатывать деньги, позируя художникам. За это хорошо платили, и того, что он заработал за прошлую неделю, ему хватит еще на полмесяца; он сообщил удивленному Филипу, что свободно может прожить на два франка в день; однако ему было стыдно, что он вынужден обнажать свое тело за деньги, и считал профессию натурщика унижением, которое можно снести, только когда тебе грозит голодная смерть. Филип объяснил ему, что намерен писать не тело, а только голову; ему хочется сделать с него портрет для выставки в Салоне будущего года.

— Но почему вам захотелось писать портрет именно с меня? — спросил испанец.

Филип ответил, что его лицо показалось ему интересным; он надеется, что портрет может выйти удачным.

— У меня нет свободного времени. Мне жаль каждой минуты, которую я отрываю от работы.

— Но вы нужны мне только под вечер. По утрам я работаю в студии. И в конце концов лучше позировать мне, чем переводить деловые письма.

В Латинском квартале еще ходили легенды о тех временах, когда студенты из разных стран жили в тесной дружбе друг с другом; однако времена эти давно миновали, и различные национальности были тут так же разъединены, как в каком-нибудь городе на Востоке. У «Жюльена» и в «Веаих

¹ Кафе-молочную (*фр.*).

Arts»¹ на француза-студента, который якшался с иностранцами, его соотечественники смотрели косо. Англичанину трудно было близко познакомиться с обитателями города, в котором он жил. Многие студенты, проведя в Париже лет пять, знали французский лишь настолько, чтобы суметь объясниться в магазинах, и жили совсем как в Англии, словно и не выезжали из Южного Кенсингтона.

Филип со своим пристрастием ко всему романтическому радовался возможности сойтись поближе с испанцем; он проявил всю свою настойчивость, чтобы сломить его упрямство.

— Знаете, что я сделаю? — сдался наконец испанец. — Я буду вам позировать, но не за деньги, а для собственного удовольствия.

Филип воспротивился. Но тот был непреклонен, и после долгих споров они уговорились, что испанец придет к нему в следующий понедельник в час дня. Он дал Филипу свою карточку, на которой было напечатано его имя — Мигель Ахурия.

Мигель позировал аккуратно и, хотя он отказывался брать плату, время от времени занимал у Филипа франков по пятидесяти; сеансы обходились дороже, чем если бы Филип платил за них как положено, но зато создавали испанцу приятную иллюзию, что он не зарабатывает на жизнь унизительным трудом. Национальность Мигеля делала его в глазах Филипа олицетворением всяческой романтики, он расспрашивал его о Севилье и Гренаде, о Веласкесе и Кальдероне. Но Мигеля раздражали разговоры о величии его родины. Для испанца, как и для многих его соотечественников, Франция была единственной страной, где мог жить интеллигентный человек, а Париж — столицей мира.

— Испания — это труп! — кричал он. — У нее нет писателей, у нее нет искусства, у нее ничего нет!

Мало-помалу с безудержным красноречием своей нации он открыл Филипу душу. Испанец писал роман, который, он надеялся, создаст ему имя. Находясь под влиянием Золя, местом действия он избрал Париж. Он рассказал подробно сюжет. Филипу этот сюжет показался примитивным и глупым; его наивная эротика («C'est la vie, mon cher, c'est la vie!»² — кричал испанец) только подчеркивала тривиальность фабулы. Писал он уже два года, преодолевая невероятные лишения, отказывая себе в тех удовольствиях, которые влекли его в Париж, борясь с нищетой ради своего

¹ Академия изящных искусств (фр.).

² «Это ведь жизнь, мой милый, сама жизнь!» (фр.)

искусства, решив, что ничто не собьет его с намеченного пути. Усилия, которые он затрачивал, были поистине героическими.

— Почему вы не пишете об Испании? — возмутился Филип. — Ведь это было бы куда интереснее. Вы знаете тамошнюю жизнь.

— Но Париж — единственное место, о котором стоит писать. Вот Париж — это жизнь.

Как-то раз он принес часть своей рукописи и на плохом французском языке, взволнованно переводя фразу за фразой, так что Филип едва его понимал, прочел несколько отрывков из романа. Впечатление было самое жалкое. Филип в растерянности смотрел на портрет, который он писал: за этим широким лбом скрывался самый заурядный ум, а горящие страстью глаза не видели в жизни ничего, кроме пошлости. Филип был недоволен портретом и к концу сеанса почти всегда счищал с холста то, что успел сделать. Конечно, надо выразить душевные устремления, но кто знает, каковы они, если человек — это сгусток противоречий? Ему нравился Мигель, и его огорчало сознание, что героическая борьба, которую вел испанец, бессцельна; для того чтобы стать большим писателем, у него было все, кроме таланта. Филип смотрел на свою собственную работу. Как узнать, есть ли в ней что-нибудь настоящее или он попусту тратит время? Ему было ясно, что для достижения какой-нибудь цели мало одной только воли, а уверенность в своих силах еще ничего не доказывает. Филип подумал о Фанни Прайс: она страстно верила в свой талант и у нее была железная воля.

«Если бы я понял, что из меня никогда не выйдет настоящего художника, я бросил бы живопись, — сказал себе Филип. — Быть посредственным художником бессмысленно».

Однажды утром, когда он выходил из дому, привратница крикнула ему, что для него есть письмо. Никто не писал ему, кроме тети Луизы и время от времени — Хейурда, а почерк на конверте был незнакомый. Он прочитал:

«Прошу вас прийти сразу же, как только вы получите это письмо. Больше я не могла терпеть. Пожалуйста, придите сами. Мысль о том, что кто-нибудь, кроме вас, коснется меня, невыносима. Я хочу, чтобы все мои вещи достались вам.

Ф. Прайс

Я ничего не ела уже три дня».

Филипу стало вдруг душно от страха. Он кинулся бежать к дому, в котором она жила. Его поразило, что она еще в Париже. Он не видел Фанни уже несколько месяцев и решил, что она давно возвратилась в Англию. Войдя в подъезд, он спросил привратника, дома ли мисс Прайс.

— Да. Она, по-моему, не выходила уже дня два.

Филип взбежал наверх и постучал. Ответа не было. Он позвал ее по имени. Дверь была заперта, и, заглянув в скважину, он увидел, что ключ торчит в замке.

— Господи, неужели она что-нибудь с собой сделала? — воскликнул он вслух.

Он побежал вниз и сказал привратнику, что мисс Прайс, несомненно, у себя в комнате. Он получил от нее письмо и боится, не случилось ли какого-нибудь несчастья. Филип предложил взломать дверь. Угрюмый привратник, который едва слушал его, перепугался; он заявил, что не может взять на себя такую ответственность и вломиться в комнату, надо сходить за commissaire de police¹. Они вдвоем отправились в bureau², а потом вызвали слесаря. Филип узнал, что мисс Прайс не платила за квартиру последние три месяца; на Новый год она не сделала привратнику положенного по традиции подарка. Вчетвером они снова поднялись наверх и опять постучали в дверь. Ответа по-прежнему не было. Слесарь принялся за дело, и наконец они вошли в комнату. Филип вскрикнул и инстинктивно закрыл лицо руками. Несчастная женщина висела на веревке, которую она прикрепила к крюку в потолке, ввинченному кем-то из прежних обитателей, для того чтобы подвесить полог. Она сдвинула в сторону свою узенькую кровать и встала на стул, который потом оттолкнула ногой. Стул лежал на боку посреди комнаты. Веревку перерезали. Тело уже давно остыло.

ГЛАВА 49

История, которая постепенно открылась Филипу, была ужасна. Женщин, учившихся с Фанни Прайс в «Амитрано», обижало, что она никогда не участвовала в их веселых пирушках в ресторане, однако причина тут была самая простая: Фанни страдала от жесточайшей нужды. Филип вспомнил их совместный обед вскоре после того, как он приехал в Париж, и ее зверский аппетит, который вызвал

¹ Участковым полицейским (*фр.*).

² Полицейский участок (*фр.*).

у него тогда отвращение; теперь он понимал, что ела она с такой жадностью потому, что была смертельно голодна. Привратник рассказал ему, как она питалась. Ей каждый день оставляли бутылку молока, и она сама покупала себе булку; съев половину хлеба и выпив полбутылки молока в обед, она, вернувшись из школы, доедала остальное на ужин. И так день за днем. Филип с болью думал о том, что ей приходилось выносить. Она ни разу никому не призналась в том, что беднее других, но ее гроши явно подходили к концу, и последнее время она уже больше не могла посещать студию. В ее каморке почти не было мебели и, кроме потрепанного коричневого платья, которое она всегда носила, не нашлось никакой одежды. Филип порылся в ее вещах в поисках адреса кого-нибудь из ее друзей, с кем он мог бы снестись. Он нашел клочок бумаги, на котором раз десять было написано его имя. Эта бумажка его потрясла. По-видимому, она и в самом деле его любила; он подумал об иссохшем теле, которое висело на крюке, вбитом в потолок, и его охватила дрожь. Но, если она его любила, почему она не позволила ему ей помочь? Он с радостью сделал бы все, что мог. Его мучила совесть — ведь он не пожелал заметить, что она относится к нему с каким-то особенным чувством, и теперь слова в ее письме: «Мысль о том, что кто-нибудь, кроме вас, коснется меня, невыносима» — звучали так трагически. Она умерла с голоду.

В конце концов Филип нашел письмо, подписанное «твой любящий брат Альберт». Письмо это было почти трехнедельной давности, откуда-то из Сербитона, и в нем этот брат отказывал в займе пяти фунтов стерлингов. У него жена и дети, о которых он должен заботиться, он не считает себя вправе бросаться деньгами и советует Фанни вернуться в Лондон и поискать место. Филип дал телеграмму Альберту Прайсу и через некоторое время получил ответ:

«ГЛУБОКО ОПЕЧАЛЕН, КРАЙНЕ ЗАТРУДНИТЕЛЬНО
БРОСИТЬ ДЕЛО. НЕУЖЕЛИ МОЕ ПРИСУТСТВИЕ
НЕОБХОДИМО. ПРАЙС».

Филип сухо подтвердил, что его присутствие необходимо. Наутро в мастерской появился незнакомый ему человек.

— Моя фамилия Прайс, — объявил он Филипу.

Это был плебейского вида мужчина в черном костюме и котелке, перевязанном лентой из черного крепа; в его внешности было что-то нескладное, как и у Фанни; на лице топорщились щетинистые усы, и разговаривал он с просто-

народным лондонским акцентом. Филип пригласил его войти, и, покуда он рассказывал подробности трагического происшествия, мистер Прайс исподтишка разглядывал мастерскую.

— Мне ведь необязательно ее видеть, правда? — спросил Альберт Прайс. — Нервы у меня не слишком крепкие, и любая ерунда меня расстраивает.

Он разговорился. Мистер Прайс торговал резиновыми изделиями; у него была жена и трое детей. Фанни служила гувернанткой, и он никак не мог взять в толк, зачем ей понадобилось бросить работу и отправиться в Париж.

— И я, и миссис Прайс говорили ей, что Париж — не место для молодой девушки. И художеством денег не зарабатываешь, прибыли от него что от козла молока.

Мистер Прайс явно не ладил с сестрой и рассматривал ее самоубийство как последнюю гадость, которую она ему устроила. Ему не хотелось признавать, что на самоубийство ее толкнула нищета, — это как-никак бросало тень на семью. У него возникла мысль, что ее поступок мог быть вызван более уважительной причиной.

— А может, тут какие-нибудь неприятности по женской части? Понятно, что я имею в виду, а? Ведь это же Париж и все такое. Могла наложить на себя руки, чтобы скрыть позор.

Филип почувствовал, что краснеет, и мысленно выругал себя за отсутствие самообладания. Острые, как буравчики, глаза Прайса, казалось, подозревали его в нечистой игре.

— А я уверен, что ваша сестра была абсолютно добродетельна, — ответил он колючим тоном. — Она покончила с собой потому, что умирала с голоду.

— Ну что ж, это нехорошо по отношению к ее родным, мистер Кэри. Стоило ей мне написать... Разве я позволил бы сестре нуждаться?

Филип узнал его адрес из письма, в котором Прайс отказывал дать сестре взаймы; однако он только пожал плечами — какой теперь толк его попрекать? Филипу был отвратителен этот человек, и он хотел поскорее с ним распрощаться. Да и Альберт Прайс предпочитал побыстрее покончить со всеми формальностями и вернуться в Лондон. Они пошли в комнатушку, где жила Фанни. Альберт Прайс поглядел на картины и на обстановку.

— Я не говорю, что разбираюсь в искусстве, — сказал он. — Но за эти картины все-таки можно будет что-нибудь получить, как вы думаете?

— Ничего, — сказал Филип.

— Мебель не стоит и десяти шиллингов.

Альберт Прайс не говорил по-французски, и Филипу пришлось взять все хлопоты на себя. Казалось, так никогда и не удастся предать земле и успокоить это бедное тело: надо было получать в одном присутственном месте какие-то бумаги и подписывать их в другом; обойти множество всяких должностных лиц. Три дня Филип бегал с утра до ночи. Наконец они с Альбертом Прайсом проводили катафалк на кладбище Монпарнас.

— Я хочу, чтобы все было как у людей,— заявил Альберт Прайс,— но зря деньги переводить не стоит.

Краткая церемония казалась особенно гнетущей в это холодное серенькое утро. На похороны пришло несколько человек, которые были знакомы с Фанни Прайс по студии: миссис Оттер (потому что она была *massière* и считала это своим долгом), Рут Чэлис (потому что у нее было доброе сердце), Лоусон, Клаттон и Фланаган. Все они недолюбливали покойную, когда она была жива. Филип, озираясь, увидел, как тесно стоят повсюду памятники (одни — простые и бедные, другие — безвкусные, аляповатые и безобразные), и почувствовал отвращение: все вокруг было невыносимо убогим. Когда похороны кончились, Альберт Прайс пригласил Филипа пообедать. Филип уже видеть его не мог, к тому же он смертельно устал; последние дни его мучила бессонница, ему без конца мерещилась Фанни Прайс в своем рваном коричневом платье — она висела на крюке, вбитом в потолок... Однако он не смог придумать предложения для отказа.

— Вы меня сведите куда-нибудь, пусть нас с вами накормят по-барски. А то мои нервы от всей этой истории совсем разъехались.

— Тут поблизости, пожалуй, лучшее место — «Лавеню», — ответил Филип.

Альберт Прайс со вздохом облегчения уселся на бархатный диванчик. Он заказал сытный обед и бутылку вина.

— Ну, слава богу, кончено, — сказал он.

Он задал Филипу обиняком несколько вопросов, и тот понял, что мистера Прайса интересует, как живут в Париже художники. Жизнь эта казалась ему предосудительной, но он умирал от любопытства, желая поподробнее разузнать о тех оргиях, которые рисовало ему воображение. Воровато подмигивая и подхихикивая, он намекал, что его не проведешь: пусть ему Филип голову не морочит, он ведь человек бывалый, понимает, что к чему. Мистер Прайс спросил Филипа, знает ли он те местечки на Монмартре, о которых

идет такая слава от самого Темпль-бара до биржи? Эх, хотелось бы и ему побывать в «Мулен Руж». Обед был превосходный, а вино и того лучше. Хорошее пищеварение настраивало Альберта Прайса на все более игривый лад.

— А ну-ка, возьмем немножко коньячку,— сказал он, когда им подали кофе.— Где наша не пропадала!

Он потирал руки.

— Знаете, а я ведь подумываю, не остаться ли мне здесь на ночь. Поеду завтра. Как насчет того, чтобы провести вечерок вместе?

— Черта с два я соглашусь водить вас сегодня по Монмартру!

— Да, наверно, это не очень прилично.

Он сказал это так серьезно, что Филип усмехнулся.

— К тому же такая прогулка может пагубно отразиться на ваших нервах,— произнес он внушительно.

Альберт Прайс решил, что тогда ему лучше выехать в Лондон поездом в четыре часа, и распрощался с Филипом.

— Ну что ж, пока, старина. Знаете что? Я постараюсь как-нибудь опять приехать в Париж и непременно дам вам знать. А тогда уж мы с вами кутнем вовсю!

В этот день Филип был слишком взвинчен, чтобы работать; он сел в автобус и переехал на ту сторону реки поглядеть, не выставлены ли новые картины у Дюран-Рюэля. Потом пошел бродить по бульварам. День был студеный и ветреный. Мимо него спешили прохожие, поплотнее запахнув пальто и съезжившись от холода; лица у них были озябшие и озабоченные. Ну и ледяной же, наверно, холод там, в могиле на кладбище Монпарнас, среди всех этих белых надгробий. Филип почувствовал себя одиноким и вдруг затосковал по дому. Ему захотелось к людям. В этот час Кроншоу работает, а Клаттон не любит незваных гостей; Лоусон пишет новый портрет Рут Чэлис и рассердится, если ему помешают. Филип решил сходить к Фланагану. Тот рисовал, но обрадовался случаю бросить кисти и поболтать. В мастерской у него было уютно—американец был богаче своих товарищей—и тепло; Фланаган стал готовить чай. Филип поглядел на два портрета, которые тот собирался выставить в Салоне.

— Это, конечно, нахальство, что я посылаю туда свою мазню,— сказал Фланаган,— но мне наплевать. Пошлю, и все. Вы считаете, что это дерьмо?

— Не такое дерьмо, как я думал,— сказал Филип.

Портреты, к его удивлению, были написаны с настоящим мастерством. Все трудности умело обайдены и мазки

положены с неожиданной и даже привлекательной смелостью. Фланаган, не имея школы и не зная техники, писал свободно, словно всю жизнь отдал искусству.

— Если бы картину было запрещено рассматривать дольше чем тридцать секунд, вас бы считали великим мастером, — пошутил Филип.

У молодых людей не было принято портить друг друга чрезмерными комплиментами.

— У нас в Америке ни у кого нет больше тридцати секунд, чтобы смотреть на картину, — засмеялся американец.

Фланаган, хотя и был самым легкомысленным существом на свете, обладал той обаятельной душевной мягкостью, которую в нем трудно было заподозрить. Стоило кому-нибудь заболеть — и он превращался в усердную сиделку. Его веселый нрав действовал лучше любого лекарства. Как и многие его соотечественники, он был лишен свойственного англичанам страха перед сентиментальностью, который держит их в узде; не боясь проявления чувств, он позволял себе выказывать горячее участие к попавшему в беду приятелю. Он сразу заметил, как Филип угнетен тем, что ему пришлось пережить, и с искренней теплотой принялся его забавлять. Нарочно злоупотребляя американизмами, которые, как он знал, всегда смешат англичан, Фланаган, не умолкая, остроумно и весело болтал. Через некоторое время они отправились обедать, а потом в «Гэте Монпарнас» — место, где Фланаган особенно любил развлекаться. К концу вечера он был уже безудержно весел. Он много выпил, но куда больше опьянел от собственной жизнерадостности, чем от алкоголя. Потом Фланаган предложил отправиться в «Баль Бюлье», и Филип, чувствуя себя слишком усталым, чтобы лечь спать, охотно согласился. Они уселись за столик на возвышении сбоку — это был небольшой помост, откуда можно было наблюдать за танцами, — и заказали пиво. Вдруг Фланаган заметил какую-то приятельницу и с воплем перепрыгнул через загородку вниз. Филип разглядывал танцующих. В «Бюлье» не ходила великосветская публика. Был четверг, но в зале царил теснота. Тут были и студенты различных факультетов, но в основном служащие или приказчики, одетые в будничные костюмы спортивного покроя из магазина готового платья или нескладно сшитые визитки. Танцевали в шляпах: их никто не снимал, так как положить их было некуда. Женщины были, видимо, служанки или размалеванные потаскушки, однако в большинстве своем —

продавщицы, наряженные бедно, с дешевой претензией на моду, царящую по ту сторону реки. Проститутки старались походить на знаменитых артисток варьете или на танцовщиц; ресницы их были густо намазаны тушью, а щеки вызывающе атели. Зал освещался большими белыми, низко подвешенными фонарями, которые бросали резкие тени на лица; линии при этом освещении становились жестче, а краски грубее. Зрелище было до крайности убогое. Филип перегнулся через перила, вглядываясь в лица; музыки он уже не слушал. Танцевали самозабвенно. Кружились по залу медленно, почти не разговаривая, поглощенные танцем. В помещении было жарко, и кожа блестела от пота. Филипу казалось, что все эти люди перестали следить за выражением своих лиц, перестали отдавать дань условностям и выглядели теперь такими, какими были на самом деле. В этот миг забывая в них было что-то удивительно животное: в одних — лисье, в других — волчье, у третьих вместо лиц были вытянутые, глупые овечьи морды. Кожа была серая — и от нездоровой жизни, которую они вели, и от плохой пищи. Черты загубили от низменных желаний, бегающие глазки были лживы. Во всем облике этих людей не было ни тени благородства; чувствовалось, что для каждого из них жизнь — это длинная цепь мелких забот и подленьких мыслей. Воздух был насыщен запахом человеческого тела. Но танцевали здесь неистово, словно людей этих что-то подстегивало изнутри; Филипу казалось, что они осатанели в погоне за удовольствиями. Они отчаянно рвались прочь из своего страшного мира. Жажда наслаждения, которая, по словам Кроншоу, была единственной движущей силой человека, толкала их вперед, но она была такой лихорадочной, что лишала их всякого удовольствия. Их несло неизвестно почему и неизвестно куда. Казалось, над ними навис рок, и они танцевали так, словно под ногами у них вот-вот развернется бездна. Их молчание было каким-то жутким. Жизнь, видимо, так их запугала, что отняла даже дар речи, крик сердца застревал у них в глотке. Взгляд был мрачный, и, несмотря на животную похотливость, которая их обезображивала, несмотря на низость, сквозившую в их лицах, несмотря на жестокость и глупость, — мука, застывшая в этих глазах, вызывала у Филипа ужас и сострадание. Он ненавидел этих людей, но сердце у него разрывалось от беспредельной жалости.

Взяв в раздевалке пальто, он вышел в пронизывающую, холодную темноту.

Злосчастное происшествие никак не выходило у Филипа из головы. Больше всего его мучило, что подвижничество Фанни было таким бессмысленным. Никто не мог бы работать упорнее, чем она, и с таким жаром; она верила в себя всем сердцем; однако эта вера, очевидно, еще ничего не доказывала: она была у всех его друзей, в том числе у Мигеля Ахурии, а Филипа поражало несоответствие между героическими усилиями испанца и банальностью того, что он создает. Несчастливые школьные годы пробудили у Филипа страсть к самоанализу; этот порок, въедливый, как наркомания, завладел им, и он стал беспощаден в оценке собственных чувств. Он не мог не видеть, что искусство воздействует на него не так, как на других. Хорошая картина вызвала у Лоусона мгновенную реакцию. Его восприятие было инстинктивным. Даже Фланаган чувствовал то, до чего Филипу приходилось додумываться. Его восприятие было чисто интеллектуальным. Он признавался себе, что, если бы у него был художественный темперамент (ненавидя это выражение, он никак не мог подыскать более подходящее), он ощущал бы прекрасное так же непосредственно, не рассуждая, как ощущали его другие. Филип стал задумываться, есть ли в нем что-нибудь, кроме незамысловатой ловкости рук, позволяющей хорошо копировать. Но ведь это ничего не стоит. Он научился презирать техническую сноровку. Важно было живописное ощущение мира. Лоусон пишет по-своему потому, что этого требует его натура, и сквозь ученическое подражание и податливость чужим влияниям в его вещах видна индивидуальность. Филип поглядел на свой портрет Рут Чэлис и теперь, когда прошло три месяца, понял, что это всего лишь рабская копия работы Лоусона. Он чувствовал свое бесплодие. Он писал рассудком, а между тем отлично знал, что всякая мало-мальски хорошая картина пишется сердцем.

У него было очень мало денег, меньше тысячи шестисот фунтов, и ему придется жестоко экономить. Он не может рассчитывать на какие бы то ни было заработки еще лет десять. История живописи знает множество биографий художников, которые вообще ничего не зарабатывали. Он должен обречь себя на нищету; игра стоит свеч, если он создаст бессмертные произведения; но его мучил страх, что он всю жизнь останется посредственностью. А если так, стоит ли жертвовать молодостью, радостями жизни, всем ее бесконечным разнообразием? Он видел, как прозябают ино-

странные художники в Париже: их жизнь была ограниченной, провинциальной. Он знал, что многие из них по двадцать лет гоняются за неуловимой славой и погрязают в конце концов в пьянстве и нищете. Самоубийство Фанни напомнило немало подобных же историй, а Филип наслушался страшных рассказов о том, как люди спасаются от отчаяния. Он вспомнил издевательский совет, который мэтр дал бедной Фанни; как было бы хорошо, если бы она им воспользовалась и перестала добиваться того, что для нее было недостижимо.

Филип кончил портрет Мигеля Ахурии и решил выставить его в Салоне. Фланаган посылал туда две свои картины, а Филипу казалось, что он пишет не хуже Фланагана. Он так упорно работал над портретом, что не мог не поверить в его достоинства. Правда, когда Филип всматривался в портрет, ему казалось, что чего-то в нем недостает, хотя и не понимал, чего именно; но, когда картины не было у него перед глазами, он приободрялся и даже чувствовал какое-то удовлетворение. Он отправил портрет в Салон и получил отказ. Его это не очень огорчило: он ведь всячески убеждал себя наперед, что его работа вряд ли будет принята. Но вот прошло несколько дней, к ним в мастерскую ворвался Фланаган и сообщил, что одна из его картин одобрена жюри. Филип с каменным лицом поздравил его, а Фланаган был поглощен тем, что поздравлял самого себя, и не услышал иронической нотки в его голове. Более наблюдательный Лоусон сразу ее уловил и искоса поглядел на Филипа. Его собственная картина была одобрена, он знал об этом уже дня два, и насмешка Филипа неприятно его кольнула. Но его удивил неожиданный вопрос, который Филип ему задал, как только американец вышел:

— На моем месте вы небось бросили бы все к черту?

— То есть как это?

— Да вот я все думаю, стоит ли быть посредственным художником. В другой профессии — если вы, например, врач или коммерсант — там не так важно, есть ли у вас талант или нет. Зарабатываете деньги, и ладно. Но стоит ли писать посредственные картины?

Лоусон был очень привязан к Филипу и, поняв, что друг всерьез опечален отказом жюри, принялся его утешать. Кто же не знает, что Салон отказывался от картин, которые потом становились знаменитыми; ведь Филип послал туда свою вещь в первый раз и должен был ожидать неудачи; в успехе Фланагана нет ничего удивительного: его картина эффектна, хоть и очень поверхностна, — это как раз то, что

должно нравиться пресыщенным судьям. Филип стал злиться: его обидело, что Лоусон считает его способным всерьез огорчаться из-за такой ерунды и не понимает, что уныние его объясняется неверием в свои силы.

Клаттон в последнее время отдалился от компании, обещавшей у «Гравье», и жил сам по себе. Фланеган уверял, будто он влюблен в какую-то девушку, но суровая внешность Клаттона как-то не вязалась со словом «страсть», и Филип считал куда более вероятным, что он отгородился от друзей для того, чтобы получше продумать те новые идеи, которые у него зародились. Однажды, когда его товарищи сразу же после ужина ушли из ресторана, чтобы попасть в театр, и Филип остался за столиком один, к нему подсел Клаттон и заказал ужин. Они разговорились, и, увидев, что Клаттон сегодня общительнее и добродушнее обычного, Филип решил воспользоваться его хорошим настроением.

— Я бы хотел, чтобы вы поглядели на мою картину, — сказал он. — Мне важно знать, что вы о ней думаете.

— Нет, не стану я глядеть.

— Почему? — краснея, спросил Филип.

Просьба была обычная в их кругу, и никто не подумал бы ответить на нее отказом. Клаттон пожал плечами.

— Люди просят высказать мнение, а ждут только похвалы. Да и какой смысл давать чему-нибудь оценку? Что за важность — хороша или плоха ваша картина?

— Это важно знать мне.

— Неправда. Картины пишут только потому, что не могут не писать. Это такая же функция организма, как и всякая другая, только она присуща далеко не всем людям. Картины пишут для себя; в противном случае надо кончать самоубийством. Вы только вдумайтесь: тратишь бог знает сколько времени, чтобы выразить что-то на холсте, вкладываешь в это все силы своей души, а чем все это кончается? В девяти случаях из десяти картину не примут в Салон, а если ее и возьмут, посетитель взглянет на нее мимоходом — и только; если вам повезет, ее купит какой-нибудь безграмотный болван, повесит на стенку и перестанет замечать, как свой обеденный стол. Критика не имеет к художнику никакого отношения. Она рассматривает явления искусства объективно, а объективность художника не интересует.

Клаттон прикрыл руками глаза, словно для того, чтобы получше сосредоточиться на том, что он хочет сказать.

— Художник получает свое особое ощущение от видимого мира и не может не выразить его; он сам не понимает,

почему это ощущение он выражает при помощи линий и красок. С музыкантом происходит то же самое: стоит ему прочесть несколько строк, как в голове у него возникает комбинация звуков; он не знает, почему те или иные слова вызывают в его воображении те или иные звуки, но это так. И я могу привести вам еще один довод в пользу того, что всякая критика бессмысленна: великий художник заставляет людей видеть природу так, как видит ее он; но приходит следующее поколение, и другой великий художник видит мир уже по-иному, современники же судят о нем не по его законам, а сравнивая его с предшественником. Так, например, барбизонцы¹ учили наших отцов смотреть на деревья определенным образом, а когда появился Моне и стал писать иначе, люди сказали: «Но ведь деревья совсем не такие!» Им было невдомек, что деревья всегда такие, какими предпочел увидеть их художник. Мы рисуем, изнутри приближаясь к внешнему миру; если нам удастся навязать свое видение другим, нас зовут великими художниками; если не удастся, нас не признают, но *мы-то сами* остаемся такими, как есть. Величие или ничтожество не играет для нас никакой роли. Неважно, какая судьба постигнет нашу работу: мы получили от нее все, что она могла нам дать, куда мы ее делали.

Наступило молчание; Клаттон с волчьим аппетитом поглощал пищу; Филип, куря дешевую сигару, пристально его разглядывал. Грубо высеченная голова, словно из камня, который плохо поддается резцу ваятеля, непокорная копна темных волос, огромный нос и тяжелая линия нижней челюсти — все говорило о силе, и тем не менее Филипу казалось, что за этой внешностью скрывается тайная слабость. Отказ Клаттона показывать свои работы мог быть вызван одним тщеславием: он не терпел и тени критики и не желал подвергать себя риску получить отказ Салона; ему хотелось быть признанным мастером, и он боялся сравнения с другими художниками, которое может нанести удар его самолюбию. За те полтора года, которые Филип его знал, Клаттон стал жестче и злее; отказываясь идти на открытое соревнование со своими товарищами, он тем не менее негодовал, видя легкий успех тех, кто на это решался. Его раздражал Лоусон, и они уже не были в таких близких отношениях, как тогда, когда Филип с ними познакомился.

¹ Художественное направление во Франции, названное по имени городка, где жили художники Руссо, Милле, Коро и др.

— За Лоусона нечего бояться,—говорил Клаттон презрительно,—вернется в Англию, станет модным портретистом, будет зарабатывать десять тысяч в год; его выберут в Академию, прежде чем ему стукнет сорок. Оригинальные портреты для знати.

Филипу тоже захотелось заглянуть в будущее, и он увидел Клаттона через двадцать лет—желчного, одинокого, одичавшего и никому не известного; он по-прежнему живет в Париже, потому что это существование стало для него привычным, командует маленьким *sépacle*¹, который боится его беспощадного, как бич, языка, враждует с самим собой и со всем миром, почти ничего не делает из-за все возрастающего требования совершенства, которого не может достичь, и в конце концов спивается. Последнее время Филипа грызла мысль, что, раз человеку дана только одна жизнь, ему нужно добиться в ней успеха; но под успехом он подразумевал не деньги, не славу; он еще не очень отчетливо понимал, что это такое—может быть, богатство переживаний или наиболее полное проявление своих способностей. Ему было ясно, что Клаттону суждена жизнь неудачника. Единственным оправданием были бы нетленные шедевры. Он вспомнил причудливое сравнение жизни с персидским ковром, которое как-то привел Кроншоу (Филип часто о нем раздумывал); Кроншоу тогда только улыбнулся своей улыбкой сатира и отказался раскрыть смысл этой метафоры; он сказал, что каждый должен сам понять ее значение, не то она теряет всякий смысл... Вот это желание преуспеть в жизни и рождало у Филипа неуверенность в том, что он должен продолжать свою карьеру художника. Но тут Клаттон заговорил снова:

— Помните, я вам рассказывал о художнике, которого встретил в Бретани? Я видел его на днях здесь... Он собирался ехать на Таити. Ни гроша за душой. Был прежде *brasseur d'affaires*², биржевым маклером. Отец семейства, много зарабатывал. Все бросил, чтобы стать художником. Ушел из дома, поселился в Бретани, стал писать. Денег у него не было, чуть не подох с голоду.

— А что стало с женой и детьми? — спросил Филип.

— Ну, их он тоже бросил. Предоставил подыхать с голоду самостоятельно.

— По-моему, это все-таки подлость.

¹ Кружок последователей одного художественного направления (*фр.*).

² Делягой (*фр.*).

— Ну, знаете, милый, ежели вы хотите быть рыцарем, вам нельзя быть художником. Одно с другим никак не вяжется. Когда вам рассказывают о человеке, малюющем всякую халтуру, чтобы прокормить престарелую мать, вы понимаете, что он — отличный сын, но это отнюдь не оправдание тому, что он пишет дрянь. Такие люди — торгаши, а не художники. А вот художник предпочтет отправить мать в богадельню. Я знаю одного писателя, он мне рассказывал, как его жена умирала во время родов. Он любил ее и чуть не обезумел от горя, но, когда сидел у ее постели — а она была уже при смерти, — поймал себя на том, что старается запомнить, как жена выглядит и что она говорит и что чувствует он сам. Не очень-то по-рыцарски, а?

— А этот ваш друг — хороший художник? — спросил Филип.

— Нет, пока нет, он пишет совсем как Писарро. Он еще себя не нашел, но у него есть чувство цвета и декоративное чутье. Но дело совсем не в этом. Все дело в художественном темпераменте, а он у него настоящий. Он вел себя как последний подлец по отношению к жене и детям, он со всеми ведет себя как подлец; вы бы видели, как он обращается с людьми, которые ему помогают — а ведь иногда только добрые друзья и не давали ему умереть с голоду, — просто ужасно! И тем не менее он великий художник.

Филип раздумывал о человеке, который охотно пожертвовал всем — покоем, домашним очагом, деньгами, любовью, честью, долгом, — ради того, чтобы запечатлеть на холсте красками те ощущения, которые порождал в нем мир. В этом было величие, но у него самого на такой подвиг не хватало отваги.

Вспомнив о Кроншоу, Филип подумал, что не видел его уже целую неделю, и, расставшись с Клаттоном, побрел в кафе, где постоянно бывал писатель. В первые месяцы своего пребывания в Париже он принимал как откровение все, что говорил Кроншоу, но у Филипа был практический склад ума, и ему надоели теории, которые не претворялись в действие. Тоненькая тетрадка стихов Кроншоу не казалась Филипу достойным результатом убого прожитой жизни. Филип не мог избавиться от мещанских представлений того класса, из которого вышел, а нужда, поденщина, которой приходилось заниматься Кроншоу ради того, чтобы как-то существовать, унылая череда дней, проведенных между грязной мансардой и столиком в кафе, казались ему малопочтенными. Кроншоу был достаточно проникателен

и понимал, что молодой человек его осуждает; он накидывался на мещанские представления Филипа с иронией, которая порой была шутливой, но часто ранила не на шутку.

— Вы — по натуре торгаш, — говорил он Филипу, — вы желаете поместить вашу жизнь в ценные бумаги, которые принесут вам верных три процента дохода. Я же расточитель, я трачу основной капитал. И спущу последний пенс вместе с последним дыханием.

Метафора возмутила Филипа, потому что позволяла его собеседнику принять романтическую позу и порочила его собственное отношение к жизни, а Филип интуитивно понимал, что оно вернее, хоть и не мог объяснить его словами.

Но в этот вечер Филипа одолевали сомнения, и ему хотелось поговорить о себе. К счастью, было уже поздно и стопка блюдецек возле Кроншоу, обозначающая число выпитых рюмок, позволяла надеяться, что писатель готов непредвзято подойти к любому вопросу.

— Интересно, сможете ли вы дать мне один совет? — внезапно спросил его Филип.

— Вы же его все равно не примете.

Филип раздраженно повел плечами:

— Мне кажется, что из меня никогда не выйдет хорошего художника. А посредственностью быть бессмысленно. Вот я и подумываю все это бросить.

— И что же вас останавливает?

Филип секунду поколебался.

— Наверно, мне нравится эта жизнь.

Безучастное круглое лицо Кроншоу вдруг искривилось. Углы рта трагически сжались, глаза помутнели и глубоко ушли в глазницы; он как-то сразу сгорбился и постарел.

— Эта жизнь? — закричал он, оглядывая кафе, где они сидели. Голос его слегка дрожал. — Если вы можете из нее выбраться, спешите, пока не поздно.

Филип смотрел на него с изумлением, но всякое проявление чувств его стесняло, и он опустил глаза. Перед ним была олицетворенная трагедия неудачника. Наступило молчание. Филип понимал, что Кроншоу оглядывает сейчас свою собственную жизнь — молодость с ее радужными надеждами и длинную вереницу разочарований, от которых поблекли все краски, жалкое однообразие наслаждений, беспросветное будущее. Глаза Филипа были прикованы к стопке блюдецек, и он знал, что Кроншоу тоже не сводит с нее глаз.

Прошло два месяца. Филип все еще ломал себе голову над тем же вопросом, и ему казалось, что в душе настоящего художника, писателя, музыканта живет какая-то сила, которая заставляет их целиком погрузиться в творчество и тем самым подчинить жизнь искусству. Покоряясь этой силе, они даже не отдают себе отчета в том, что ими движет слепой инстинкт, а жизнь течет мимо, проходит у них между пальцев. Но у Филипа было такое чувство, что жизнь куда лучше прожить, чем отобразить; ему хотелось пройти через самые различные испытания и прочувствовать каждый миг бытия. Наконец он отважился на решительный шаг, дав себе слово потом уж не отступать, а приняв решение, немедленно стал проводить его в жизнь. На другое утро в школе были занятия Фуане, и Филип решил спросить его напрямик, стоит ли ему заниматься живописью. Филип на всю жизнь запомнил безжалостный совет, который мэтр дал Фанни Прайс. Совет был правильный. Филип никак не мог забыть Фанни. В студии без нее чего-то не хватало, и по временам жест какой-нибудь из женщин или чья-то интонация заставляли Филипа вздрогнуть, напомнив покойную; ее присутствие куда больше чувствовалось теперь, когда она умерла, чем при жизни; она часто снилась ему по ночам, и он просыпался с криком. Ужасно было подумать, сколько ей пришлось выстрадать.

Филип знал, что в те дни, когда Фуане дает урок в студии, он обедает в маленьком ресторанчике на рю д'Одесса, и поэтому, быстро проглотив свой обед, побежал к этому ресторанчику, чтобы дожидаться художника у входа. Шагая взад-вперед по людной улице, Филип наконец увидел мосье Фуане, который шел ему навстречу, понурился. Филип страшно нервничал, но заставил себя к нему подойти.

— Pardon, monsieur ¹, мне нужно с вами поговорить.

Фуане кинул на него быстрый взгляд, узнал его, но и не подумал улыбнуться в ответ.

— Говорите, — сказал он.

— Я у вас занимаюсь почти два года. Мне хотелось, чтобы вы мне откровенно сказали, стоит ли мне продолжать учиться.

Голос Филипа чуть-чуть дрожал. Фуане продолжал идти, не поднимая глаз. Филип вглядывался в его лицо, но оно было по-прежнему бесстрастно.

¹ Извините, мосье (*фр.*).

— Не понимаю.

— Я очень беден. Если у меня нет таланта, лучше мне заняться чем-нибудь другим.

— А вы сами разве не знаете, есть ли у вас талант?

— Все мои друзья уверены, что у них есть талант, но я убежден, что кое-кто из них ошибается.

На жестких губах Фуане появилось нечто вроде улыбки. Он спросил:

— Вы живете недалеко?

Филип сказал, где находится его мастерская. Фуане повернул обратно.

— Пойдемте к вам. Покажете мне свои работы.

— Сейчас? — воскликнул Филип.

— А зачем откладывать?

Филипу нечего было ответить. Он молча шел рядом с мэтром. На душе у него скребли кошки. Ему и в голову не приходило, что Фуане сразу же захочет посмотреть его вещи; он рассчитывал, что сумеет подготовиться, попросит мэтра зайти как-нибудь в свободное время или разрешить принести работы к нему в мастерскую. Он дрожал от волнения. В глубине души Филип все-таки надеялся, что Фуане взглянет на его картины, сумрачное лицо его просветлеет, он пожмет Филипу руку и скажет: «Pas mal! ¹ Продолжайте, молодой человек. У вас есть талант, настоящий талант!» Фу! Вот бы отлегло от сердца. Он бы ног не чуял от радости. Тогда у него хватит отваги, тогда ему не страшны любые трудности, любые лишения, неудачи. Ведь в конце-то концов он своего добьется. Он работает с таким упорством, было бы жестоко, если бы все эти усилия пропали даром. И вдруг, похолодев, он вспомнил, что Фанни Прайс говорила ему буквально то же самое. Они подошли к дому, и Филипа охватил панический страх. Если бы он посмел, он тут же попросил бы Фуане уйти. Он не хотел знать правду. Они вошли в парадное, и консьержка протянула ему письмо. Взглянув на конверт, он узнал почерк дяди. Фуане поднялся в мастерскую. Филип никак не мог выдавить из себя ни слова; Фуане тоже словно онемел, и это молчание еще больше действовало Филипу на нервы. Профессор сел, и Филип, не говоря ни слова, поставил перед ним картину, отвергнутую Салоном; Фуане кивнул, ничего не сказав; тогда Филип показал ему два портрета, которые он написал с Рут Чэлис, два или три пейзажа, привезенных из Морэ, и несколько набросков.

¹ Неплохо! (*фр.*)

— Вот и все,— сказал он наконец с нервным смешком. Мосье Фуане свернул сигарету и закурил.

— У вас нет средств?

— Очень небольшие,— ответил Филип, чувствуя, как у него леденеет сердце.— На них не проживешь.

— До чего же унизительно вечно думать о том, как прожить! Мне противны люди, которые презирают деньги. Это либо лицемеры, либо дураки. Деньги—это шестое чувство, без него вы не можете как следует пользоваться остальными пятью. Не имея приличного заработка, вы лишены половины того, что дает жизнь. Единственное, чего нельзя себе позволять,—это тратить больше, чем зарабатываешь. Люди говорят, будто нужда—это шпора, которая подгоняет художника. Тот, кто так говорит, никогда не чувствовал, как острое железо впивается в тело. Он не знает, как нужда растлевает душу... Она подвергает бесчисленным унижениям, подрезает крылья, как язва, въедается в сердце. Не нужно богатства, но дайте же человеку столько, чтобы он мог сохранить свое достоинство, творить без помехи, быть щедрым, великодушным и независимым. Я от души жалею художника—пишет ли он книги или картины,—если его существование целиком зависит от его творчества.

Филип молча убрал свои работы.

— Если я вас понял, вы хотите сказать, что мне не стоит рассчитывать на успех?

Мосье Фуане чуть приметно пожал плечами.

— У вас есть сноровка. Упорный труд и настойчивость, надо думать, сделают вас аккуратным и в меру умелым художником. На свете были сотни художников, писавших хуже вас, и сотни художников ничем вас не лучше. Во всем, что вы мне показали, я не вижу таланта. В вашей работе видны ум и прилежание. Вы всегда останетесь только посредственностью.

Филип заставил себя ответить твердым голосом:

— Большое вам спасибо за то, что вы уделили мне столько внимания. Я вам страшно благодарен!

Мосье Фуане встал и собрался было уйти, но передумал и, остановившись, положил руку Филипу на плечо.

— Если бы вы спросили моего совета, я бы вам сказал: соберитесь с духом и попытайте счастья на другом поприще. То, что я говорю, звучит жестоко, но, поверьте, я отдал бы все на свете, если бы кто-нибудь дал мне такой совет, когда мне было столько лет, сколько вам, и я бы этот совет принял.

Филип взглянул на него с изумлением. Мэтр через силу улыбнулся, но глаза его по-прежнему были грустными.

— Больно убедиться в своей посредственности, когда уже слишком поздно. Характер от этого лучше не становится.

Он произнес эти слова со смешком и быстро вышел из комнаты.

Филип машинально взял письмо дяди. Видя, что конверт надписан его рукой, он встревожился: ему всегда писала тетка. Она хворала уже три месяца, и Филип собирался поехать в Англию ее навестить, но она, боясь помешать его занятиям, ему запретила. Ей не хотелось доставлять ему лишние хлопоты; она писала, что подождет его приезда в августе, и тогда, она надеется, Филип сможет погостить у них недели три. Если, не дай бог, ей станет хуже, она тут же даст ему знать — разве она может умереть, не повидав его напоследок! Письмо дяди могло означать только одно: тетя Луиза была слишком больна, чтобы держать перо в руках. Филип распечатал письмо и прочел:

«Дорогой Филип!

С прискорбием извещаю тебя, что сегодня рано утром твоя дорогая тетя покинула сей мир. Умерла она внезапно, но без всяких страданий. Ухудшение в ее здоровье произошло так быстро, что мы не успели за тобою послать. Она была подготовлена к кончине и отошла в иной мир с глубокой уверенностью, что ее ждет радостное воскресение, и покорным упованием на божественный промысел господя нашего Иисуса Христа. Твоя тетя очень бы хотела, чтобы ты присутствовал при ее погребении, и я надеюсь, что ты сразу же приедешь. На мои плечи, как ты сам понимаешь, свалилось много забот, и я очень расстроен. Рассчитываю, что ты сможешь мне помочь.

Твой любящий дядя

Уильям Кэри».

ГЛАВА 52

На следующий день Филип приехал в Блэкстебл. Со смерти матери он не терял никого из близких; кончина тетки потрясла его и наполнила душу каким-то страхом — он впервые почувствовал неизбежность смерти. Ему трудно было себе представить, каково теперь дяде, потерявшему верного друга, который любил и холил его сорок лет. Он

ждал, что найдет священника в безысходном горе. Филипа пугала их встреча: он знал, что ему нечего сказать в утешение. Всю дорогу он придумывал подходящую к случаю речь.

Филип вошел в дом священника с черного хода и отворил дверь в столовую. Дядя Уильям читал газету.

— Поезд опоздал? — спросил он, поднимая голову.

Филип ожидал излияния чувств, и такой деловой тон его поразил. Подавленный, но спокойный, дядя протянул ему газету.

— Тут о ней помещена очень маленькая заметка. Это «Блэкстебл таймс», — сказал он.

Филип машинально прочел заметку.

— Хочешь поглядеть на нее?

Филип кивнул, и они вместе отправились наверх. Тетя Луиза лежала на двуспальной кровати, со всех сторон окруженная цветами.

— Хочешь немножко помолиться? — опять спросил священник.

Он опустил на колени, и Филип, понимая, что должен последовать его примеру, сделал то же. Он глядел на маленькое, сморщенное личико. Голову его сверлила мысль: какая зря загубленная жизнь! Минуту спустя мистер Кэри кашлянул и поднялся. Он показал Филипу венки в ногах у покойницы.

— Это от нашего помещика. — Говорил он приглушенным голосом, как в церкви, но, так как был священником, это его ничуть не стесняло. — Чай, наверно, готов.

Они снова пошли в столовую. Спущенные шторы придавали комнате траурный вид. Священник сел у того конца стола, где раньше сидела его жена, и стал церемонно разливать чай. Филипу казалось, что ни ему, ни дяде кусок не полезет в горло, но, когда увидел, с каким аппетитом закусывает священник, и сам охотно принялся за еду. Некоторое время оба молчали. Филип с убитым видом, которого требовали приличия, жевал кусок отличного кекса.

— Сколько произошло перемен с тех пор, как я был помощником священника, — сказал дядя Уильям. — В прежние дни участникам погребения выдавали пару черных перчаток и кусок черного крепа на шляпу. Бедняжка Луиза всегда шила из этого шелка платья. Она говорила, что двенадцати похорон ей хватит на платье.

Потом он перечислил, кто прислал венки, — их получено уже двадцать четыре! Когда умерла миссис Роулингсон — жена священника из Ферна, — у нее было тридцать два

венка; но, вероятно, многие еще пришлют венки завтра; похороны назначены на одиннадцать часов, вынос тела отсюда, из дома священника, и они без труда переплунут миссис Роулингсон. Луиза всегда недолюбливала эту миссис Роулингсон.

— Я сам отслужу погребальную службу. Я обещал Луизе, что не дам никому другому ее хоронить.

Когда дядя взял второй кусок кекса, Филип посмотрел на него неодобрительно: в нынешних обстоятельствах это было просто обжорством.

— Мэри-Энн все-таки отлично печет пироги! Боюсь, что новой служанке с ней не сравниться.

— Новой? А разве Мэри-Энн уходит? — с изумлением воскликнул Филип.

Мэри-Энн жила в доме священника с тех пор, как Филип себя помнил. Она никогда не забывала его дня рождения и посылала ему подарки — пустяковые, но трогательные. Филип был к ней по-настоящему привязан.

— Да, — ответил мистер Кэри. — Я считаю неприличным держать в доме незамужнюю женщину.

— Но, господи прости, ей уже, наверно, за сорок!

— Не меньше. Последнее время мне с ней было тяжело, она зазналась, взяла слишком большую власть. Мне кажется, что это удобный случай дать ей расчет.

— Да, такой случай больше не подвернется, — сказал Филип.

Он вынул сигарету, но дядя не позволил ему закурить.

— Прощу тебя, после похорон, Филип, — сказал дядя мягко.

— Ладно.

— Нехорошо курить, пока наверху лежит твоя бедная тетя.

После похорон священник пригласил на обед церковного старосту и директора местного банка Джозию Грейвса. Шторы были подняты, и, помимо своей воли, Филип почувствовал какое-то облегчение. Присутствие покойницы в доме его угнетало; пока она жила, бедняжка была олицетворением доброты и кротости; но там, наверху, она лежала такой неживой и застывшей, что казалось, будто от нее исходит какой-то тлетворный дух.

Эта мысль ужаснула Филипа.

На несколько минут он остался вдвоем с церковным старостой.

— Надеюсь, вы сумеете немножко побыть с вашим дядей, — сказал тот. — Его пока не следует оставлять одного.

— Мне самому еще неясно, что я буду делать дальше,— сказал Филип.— Если он захочет, я с радостью останусь.

За обедом, желая развлечь безутешного вдовца, церковный староста рассказал о недавнем пожаре в Блэкстебле, от которого сильно пострадала методистская церковь.

— Говорят, она не была застрахована,— с довольной улыбкой заметил староста.

— Им все равно,— сказал священник.— Достанут денег и отстроятся. Методистская паства охотно дает деньги.

— Я заметил, что Холден послал венок.

Холден был нонконформистский священник, и, хотя, памятуя о господе нашем Иисусе Христе, распятом за них обоих, мистер Кэри и кивал ему на улице, никогда еще он не обмолвился с ним ни единым словом.

— Я считаю его поступок бестактным,— заявил он.— Нам прислали сорок один венок. Ваш был очень красивый. Нам с Филипом он чрезвычайно понравился.

— Рад, что угодил,— скромно заметил директор банка.

Он с удовлетворением отметил, что его венок был больше других. И весьма эффектно выглядел. Потом разговор зашел о людях, пришедших на похороны. Во время погребения магазины были закрыты, и церковный староста достал из кармана специально напечатанное объявление: «По случаю похорон миссис Кэри торговля будет производиться после часу дня».

— Это я придумал,— сказал староста.

— С их стороны было очень любезно закрыть лавки,— сказал священник.— Бедняжка Луиза была бы крайне тронута.

Филип молча ел. Мэри-Энн приравняла этот день к воскресному, и на обед были поданы жареная курица и пирог с крыжовником.

— Вы еще не решили насчет памятника? — спросил церковный староста.

— Как же! Я склоняюсь к простому кресту из камня. Луиза не любила ничего кричащего.

— Да, крест—это, пожалуй, лучше всего. А вот как ваше мнение насчет такой надписи: «В лоне Христовом— где же лучше»?

Священник поджал губы. Ну прямо Бисмарк, так и норовит все решить сам. Текст ему не нравился: он явно бросал тень на него как на супруга.

— Нет, не думаю, чтобы я сделал такую надпись. Мне куда больше нравится: «Господь дал, господь и взял».

— Неужели? В этих словах я всегда чувствую какую-то черствость.

Священник поджал губы. Ну прямо Бисмарк, так и Грейвс возразил, как показалось мистеру Кэри, с неподобающей самоуверенностью. Да, видно, дело зашло далеко, если он не может сам выбрать надпись на могиле собственной жены. Воцарилось молчание, потом заговорили о приходских делах. Филип вышел в сад, чтобы выкурить трубку. Он сел на скамью и вдруг истерически захохотал.

Дня через два дядя выразил надежду, что Филип проведет с ним несколько недель в Блэкстебле.

— С удовольствием,— ответил Филип.

— Не беда, если ты вернешься в Париж в сентябре.

Филип промолчал. Он все время раздумывал над тем, что ему сказал Фуане, но, ничего еще не решив, не хотел говорить о будущем. Если он пожертвует искусством потому, что не верит в свою способность достичь в нем совершенства, в этом будет даже нечто благородное, но — увы! — это понимает он один; другие же сочтут его поступок признанием неудачи, а ему не хотелось расписываться в своем поражении. Он был упрям, и всякий разговор о том, что у него к чему-то нет таланта, толкал его идти наперекор и упорствовать именно в том, от чего его предостерегали. Ему было нестерпимо думать, что друзья будут над ним смеяться. Это могло бы помешать ему сделать решительный шаг и бросить учиться живописи, однако новая обстановка заставила его по-новому взглянуть на вещи. Стоило ему, как и многим другим, пересечь Ла-Манш, и обстоятельства, казавшиеся крайне важными, вдруг начинали выглядеть пустяковыми. Жизнь, которая там казалась ему такой заманчивой, вдруг перестала его тешить; его охватило отвращение к кафе, к ресторанам с их тошнотворной едой, ко всему непрезентабельному парижскому существованию. Его больше не заботило, что подумают о нем друзья — резонерствующий Кроншоу, благопристойная миссис Оттер, ломка Рус Чэлис, грызущиеся друг с другом Лоусон и Клаттон — все они вдруг стали ему противны. Он написал Лоусону и попросил прислать все его вещи. Через неделю они прибыли. Когда Филип распаковал свои холсты, он поглядел на них уже без всякого волнения. Такое равнодушие его даже удивило. Дяде не терпелось взглянуть на картины племянника. Хотя вначале он и порицал желание Филипа поехать в Париж, теперь он стал относиться к этому терпимо. Его интересовало, как живут студенты, и он постоянно расспрашивал о них Филипа. По правде говоря, он

чуть-чуть гордился тем, что его племянник — художник, и в присутствии посторонних всегда заводил об этом разговор. Он жадно рассматривал этюды, которые Филип писал с натурщиц. Филип показал ему портрет Мигеля Ахурии.

— А зачем ты его рисовал? — спросил дядя.

— Мне нужно было писать с натуры, а лицо его мне показалось интересным.

— Тебе все равно здесь делать нечего, почему бы тебе не написать мой портрет?

— Да тебе же будет скучно позировать.

— Нисколько. Наоборот.

— Ладно, посмотри.

Филипа забавляло его тщеславие. Дядя не мог скрыть, что ему до смерти хочется, чтобы с него писали портрет. Получить что-нибудь даром — от такой возможности не отказываются. Дня два он ограничивался туманными намеками. Он журил Филипа за лень, допытывался, когда же он начнет работать, а потом стал рассказывать всем и каждому, что Филип собирается его рисовать. Наконец в первый же дождливый день мистер Кэри после завтрака заявил племяннику:

— А что, если тебе сегодня с утра начать мой портрет?

Филип отложил книгу, которую читал, и откинулся в кресле.

— Я бросил живопись, — сказал он.

— То есть как? — спросил дядя, не веря своим ушам.

— Не вижу смысла быть посредственным художником, а выходит, что на большее мне рассчитывать нечего.

— Вот тебе раз! А ведь, отправляясь в Париж, ты был твердо уверен, что ты гений.

— Я ошибался.

— Мне лично кажется, что, когда человек выбирает профессию, ему должно быть стыдно ее бросать! По-моему, тебе просто не хватает упорства.

Филипа даже обидело, что дядя не замечает, сколько героизма в его отречении!

— Кто за все берется, тому ничего не удастся, — продолжал наставлять его священник. Филип ненавидел эту поговорку: она казалась ему бессмысленной. Дядя не раз ее повторял, когда у них шли разговоры о том, что он хочет бросить бухгалтерию. Вот и сейчас пословица напомнила опекуну о тех временах.

— Ты уже не мальчик, пора бы и угомониться. Сначала выдумал, что хочешь стать присяжным бухгалтером, потом

тебе это надоело, и ты захотел стать художником. А теперь вот, пожалуйста, опять передумал. Все это указывает на...

Он запнулся, решая, о каких недостатках это в самом деле свидетельствует, но Филип за него докончил фразу:

— ...отсутствие силы воли и способностей, недостаток предусмотрительности и мягкотелость.

Священник быстро взглянул на Филипа, чтобы проверить, не смеется ли тот над ним. Лицо у племянника было серьезное, однако в глазах пряталась какая-то подозрительная усмешка. Право же, Филипу не мешает стать чуть-чуть солиднее. Мистер Кэри решил, что неплохо было бы слегка отрезвить молодого человека.

— Твои денежные дела больше меня не касаются. Ты теперь сам себе хозяин; однако имей в виду, что на весь век денег твоих не хватит, а физическое убожество, с которым ты, к несчастью, родился, отнюдь не поможет тебе зарабатывать на жизнь.

Филип уже знал, что, когда люди на него сердятся, они прежде всего напоминают ему о его хромоте. И неприязнь его к человечеству основывалась на том, что почти никто не мог устоять перед этим искушением. Но он приучил себя не показывать виду, что такой разговор причиняет ему боль. Теперь он умел бороться даже со своей привычкой густо краснеть, которая доставляла ему такие огорчения в детстве.

— Как ты справедливо заметил, — ответил он, — мои денежные дела не имеют к тебе никакого касательства — я сам себе хозяин.

— Но ты должен признать, что я был прав, когда всячески сопротивлялся твоей затее учиться живописи.

— Да как сказать! Человек куда больше учится на ошибках, которые он делает по собственной воле, чем на правильных поступках, совершенных по чужой указке. Но теперь я пожил всласть и могу взяться за настоящее дело.

— И что же ты намерен делать?

Филип не знал, что ответить: ведь он еще сам как следует ничего не решил. На ум ему приходили десятки профессий.

— Самое подходящее для тебя — это пойти по стопам отца и стать врачом.

— Как ни странно, но именно так я и намерен поступить.

В числе других профессий он подумывал и о медицине, главным образом потому, что это занятие давало человеку

свободу, а посидев в конторе, он решил никогда и ни под каким видом не повторять этого опыта; ответил же он священнику просто сгоряча. Однако ему чем-то понравилось, что он вот так, с маху принял решение, и он тут же сказал себе, что осенью поступит в институт, где учился его отец.

— Итак, два года, проведенные в Париже, можно сказать, пошли прахом?

— Не думаю. Я славно прожил эти два года и научился кое-каким полезным вещам.

— Чему?

Филип задумался. Ему захотелось поддразнить дядю.

— Научился смотреть человеку на руки, чего никогда раньше не делал. Стал видеть не просто дома и деревья, а замечать, как они выглядят на фоне неба. И еще научился тому, что тени — не черные, а цветные.

— Думаешь, это остроумно? Я нахожу твоё легкомыслие совершенно идиотским!

ГЛАВА 53

Захватив газету, мистер Кэри удалился в свой кабинет. Филип пересел в кресло дяди (единственное удобное в комнате) и посмотрел в окно на завесу проливного дождя. Даже в эту унылую погоду зеленые поля, тянувшиеся до горизонта, дышали покоем. Во всей природе была какая-то душевность, очарование, которых он прежде не замечал. Два года, проведенные во Франции, открыли ему глаза на красоту родного пейзажа.

Филип с улыбкой подумал о негодовании дяди. Какое счастье, что он родился с ироническим складом ума. Он уже стал понимать, чего он лишился из-за того, что смерть так рано унесла его отца с матерью. Это несчастье раз навсегда исковеркало его отношение к жизни. Родительская любовь — единственное бескорыстное чувство на свете. Он вырос среди чужих и редко встречал сердечное и чуткое к себе отношение. Он стал рано гордиться своим самообладанием. Оно было воспитано издевательствами однокашников. И они же потом называли его черствым и бессердечным. Он научился сохранять внешнее спокойствие, владеть собой при любых обстоятельствах, не выставлять напоказ своих переживаний. Люди считали его бесчувственным, но он-то знал, что целиком находится во власти своих чувств: малейшее внимание, которое ему оказывали,

так его трогало, что порой он не решался заговорить, боясь, что голос у него задрожит. Он вспоминал горечь своих школьных лет, унижения, которым подвергался, злые насмешки товарищей, внушившие ему болезненную мнительность; он вспоминал щемящее чувство одиночества, которое испытал потом, разочарования, отчаяние — мир, в который он вошел, сулил его богатой фантазии одно, а на деле получалось совсем другое. И все-таки он умел смотреть на себя со стороны с иронической улыбкой.

«Ей-богу, если бы не мое легкомыслие, я бы повесился», — весело подумал он.

Он вспомнил ответ, который дал дяде на вопрос, чему он научился в Париже. Он научился там куда большему, чем сказал. В памяти его сохранились разговор с Кроншоу и брошенная им фраза, хоть и не блиставшая новизной, но заставившая Филипа задуматься.

— Милый мой, — заметил Кроншоу, — такой штуки, как абстрактная мораль, вообще не существует.

Когда Филип перестал верить в бога, он почувствовал, что скинул с плеч тяжелое бремя; избавившись от чувства ответственности, которое отягощало каждый его поступок — ибо теперь от этого поступка не зависело спасение его бессмертной души, — он испытал блаженное чувство свободы. Но он понял, что это — только иллюзия. Отринув веру, в которой он был воспитан, он сохранил нетронутой ее неотъемлемую часть — мораль. Отныне он решил додумываться до всего сам. Он больше не будет рабом предрассудков. Долой узаконенные представления о добродетели и пороке, о добре и зле — он сам установит для себя жизненные правила. Да и нужны ли какие-нибудь правила вообще? Это еще следовало выяснить. Многое, что он почитал, явно имело цену только потому, что было привито ему с детства. Он прочел немало книг, но и они ему не помогли: ведь книги тоже основывались на христианской морали; даже те писатели, которые твердили, будто не верят в бога, не успокаивались, пока не выдумывали своей этической системы, во всем согласной с нагорной проповедью. Вряд ли стоило одолевать толстый фолиант, чтобы узнать в конце простую истину: поступай так, как поступают другие. Филипу нужно было знать, как себя вести, и он надеялся это выяснить, не поддаваясь чужим влияниям. Но жизнь шла своим чередом, и пока он не установил собственных правил поведения, он дал себе совет: «Следуй своим естественным склонностям, но с должной оглядкой на полицейского за углом».

Самым ценным своим парижским приобретением он считал полную свободу духа; он чувствовал наконец, что с него спали все оковы. Без всякой системы он прочел много книг по философии и теперь с удовольствием думал о том, что ему предстоит несколько месяцев досуга. Он принимался читать все, что попадалось под руку. За каждое новое философское учение он брался с жадностью, надеясь найти в нем руководство в жизни; он чувствовал себя путником в неведомой стране, и, чем дальше он продвигался вперед, тем больше захватывало его путешествие; он читал труды философов с таким же волнением, с каким другие читают романы: сердце его билось, когда в этих стройных формулах он находил подтверждение своим смутным догадкам. У него был практический ум, и он с трудом разбирался в отвлеченных вопросах, но, даже когда он не мог уследить за рассуждениями автора, ему доставляло удовольствие следить за сложным ходом мысли, ловко балансирующей на самой грани постижимого. Иногда и великие философы не могли ответить ему на то, что его мучило, а к некоторым из них он чувствовал духовную близость. Он сравнивал себя с исследователем Африки, который неожиданно попал на обширное плоскогорье, покрытое высокими деревьями и зелеными лужайками, и вообразил, что находится в английском парке. Его восхищала здравая рассудительность Томаса Гоббса; Спиноза приводил его в восторг: никогда еще он не встречал такого благородного, возвышенного и строгого ума, он напоминал Филипу статую Родена «L'Age d'airain»¹, которой он всегда восхищался; познакомился он и с Юмом: его изящный скептицизм был близок Филипу, особенно же наслаждался он прозрачным слогом, таким размеренным и музыкальным; самые сложные понятия были выражены простыми словами. Филип читал его труд как роман, улыбаясь от удовольствия. Но ни у одного из них он не находил того, что искал. Где-то он прочел, что каждый человек рождается платоником, последователем Аристотеля, стоиком или эпикурейцем; история философии Джорджа-Генри Льюиса (если пренебречь его утверждением, что всякая философия — это бред) показывает, что образ мыслей философа неотделим от его характера. Зная человека, можно в какой-то мере представить себе и его философию. Итак, не поступки — следствие образа мыслей, а образ мыслей — следствие характера. Истина тут ни при чем. Истина вообще не существует. Каждый человек сам себе философ,

¹ «Бронзовый век» (фр.).

и сложные системы, придуманные знаменитыми философами прошлого, годятся разве что для писателей.

Задача заключается, следовательно, в том, чтобы изучить себя, и тогда философская система возникнет сама собой. Филипу казалось важным уяснить себе три вопроса: отношение человека к миру, в котором он живет, отношение человека к людям, среди которых он живет, и, наконец, отношение человека к самому себе. Он составил подробный план занятий.

Преимущество жизни за границей заключается в том, что, соприкасаясь с обычаями и нравами чужого народа, ты наблюдаешь их со стороны и видишь, что они вовсе не так уж непреложны, как думают те, кто их придерживается. Трудно не заметить, что многие представления, которые вошли в твою плоть и кровь, иностранцам кажутся бессмысленными. Год в Германии и долгое пребывание в Париже подготовили Филипа к восприятию той философии скептицизма, которую он усвоил с огромным облегчением. Он понял, что добро и зло — понятия относительные и люди просто приспособливают эти понятия к своим целям. Он прочел «Происхождение видов» Дарвина. Этот труд дал ему ответ на многие волновавшие его вопросы. Он чувствовал себя теперь как путешественник, который, рассчитывая встретить на своем пути тот или иной ландшафт, плывет вверх по большой реке и находит все, что он ожидал: тут — приток, там — плодородную долину, а за нею — горы. Когда великое открытие уже сделано, мир удивляется, как его не признали сразу, но даже на тех, кто поверил в новую истину, она поначалу не оказывает существенного влияния. Первые читатели «Происхождения видов» умом признали этот труд, но их чувства, определяющие человеческие поступки, не были затронуты. Филип родился на несколько десятилетий позднее, чем вышла в свет эта замечательная книга; многое из того, что ужасало в ней современников, постепенно вошло в сознание, и он уже мог принять ее с легким сердцем. Великая эпопея борьбы за существование произвела на него глубочайшее впечатление, а обусловленные этой борьбой законы морали совпадали с его собственными взглядами. Он говорил себе, что право всегда на стороне сильного. По одну сторону стояло общество со своими законами развития и самосохранения, по другую — человеческая личность. Поступки, которые шли на пользу обществу, назывались добродетельными, действия, которые шли ему во вред, именовались порочными. Вот к этому и сводились понятия добра и зла. Грех — пустой

предрассудок, от которого свободному человеку пора избавиться. В борьбе с человеческой личностью общество пускает в ход три оружия: закон, общественное мнение и совесть; закон и общественное мнение можно перехитрить (ведь только хитростью слабый и одолевает сильного, недаром людская молва считает: не пойман — не вор), но совесть — предатель в собственном стане. Она сражается в человеческой душе на стороне общества и заставляет личность приносить себя в жертву на алтарь противника. Ибо этих недругов — государство и осознавшего себя человека — примирить невозможно. Государство пользуется человеческой личностью для своих целей; если личность восстает против него, государство ее растаптывает; если же она добросовестно служит, — награждает медалями, пенсией и почестями. Личность, сильная только верой в свою независимость, прокладывает себе дорогу в государстве, потому что ей это удобно, и расплачивается деньгами или службой за предоставляемые ей блага, но отнюдь не чувствует себя обязанной за это; равнодушная к наградам, она требует одного: чтобы ее оставили в покое. Это тот путешественник, который, избегая лишних хлопот, пользуется услугами агентства Кука, но с иронией относится к его экскурсиям. Свободный человек не может никому причинять вреда. Он делает, что хочет... если может. Его сила — вот единственное мерило его нравственности. Признавая законы современного государства, он нарушает их, не считая, что совершил грех, за то и положенную кару принимает как нечто должное. Ведь настоящая сила на стороне государства.

Но, если для человеческой личности понятия добра и зла не существуют, тогда, подумал Филип, теряет власть над ней и совесть. С торжеством схватил он этого мошенника и выгнал из своего сердца. Однако в чем смысл жизни, он понимал теперь не больше, чем раньше. Зачем создан мир, для чего живут люди на земле, было для него так же неясно, как и прежде. Есть же во всем этом какой-то смысл! Филип вспомнил притчу Кроншоу о персидском ковре. Тот предложил ее как разгадку смысла жизни, но тут же таинственно заявил, что каждый должен распутать этот узел сам.

— Черт его знает, что он хотел сказать, — улыбнулся Филип.

И вот в последний день сентября, горя желанием поскорее проверить на деле свои новые теории, Филип с тысячью шестьюстами фунтами стерлингов в кармане и хромой ногой вторично отправился в Лондон, чтобы в третий раз начать жизнь сначала.

Экзамены, которые Филип сдал, собираясь стать присяжным бухгалтером, зачили ему при поступлении в медицинский институт. Он выбрал институт при больнице св. Луки — когда-то здесь учился его отец — и еще до конца летней сессии приехал на день в Лондон для переговоров с секретарем института. От него же он получил список квартир, сдаваемых студентам, и снял себе жилье в ветхом доме, имевшем лишь то преимущество, что от него было две минуты ходьбы до больницы.

— Вам надо договориться о том, какую часть тела вы начнете анатомировать, — сказал секретарь. — Лучше начать с ноги. С нее обычно все начинают, считается, что так легче.

Первая лекция — по анатомии — была назначена в одиннадцать; в половине одиннадцатого Филип заковылял через дорогу и с волнением вошел в институт. В вестибюле были развешаны объявления: расписание лекций, таблица футбольных матчей и другие; он стал их читать, стараясь принять независимый вид. Молодые люди и совсем еще мальчишки появлялись в дверях, рылись в письмах на полке и, болтая друг с другом, спускались вниз в подвальный этаж, где помещалась студенческая читальня. Несколько парнишек с робким видом топтались на месте, и Филип понял, что это такие же новички, как и он. Изучив все объявления, он заметил стеклянную дверь, которая вела в музейный зал, и заглянул туда. Он увидел коллекцию патологоанатомических препаратов. К нему подошел юноша лет восемнадцати.

— Вы что, новичок? — спросил он.

— Да, — ответил Филип.

— Не знаете, где здесь лекционный зал? Скоро одиннадцать.

— Давайте поищем.

Они вошли в длинный темный коридор, стены которого были выкрашены в красный цвет двух оттенков, и спросили дорогу. Надпись на одной из дверей гласила: «Анатомический театр». Там уже собралось много народу. Сиденья были расположены амфитеатром; вошел служитель и поставил стакан воды на кафедру внизу, посреди аудитории; потом он принес человеческий таз и две большие берцовые кости — левую и правую. Подошли еще студенты, расселись — к одиннадцати зал был почти полон. Собралось около шестидесяти человек. В большинстве своем студенты

были много моложе Филипа — безбородые восемнадцатилетние юноши, но пришли люди и постарше; он заметил высокого человека с ярко-рыжими усами, которому можно было дать лет тридцать; другой — маленький, черноволосый — выглядел чуть моложе его; был тут и человек в очках, с седой бородой.

Вошел лектор — мистер Камерон, красивый, с правильными чертами лица и совершенно белой головой. Он сделал переключку и произнес небольшую речь. Говорил он складно, звучным голосом — казалось, ему доставляет удовольствие нанизывать одно слово на другое. Он посоветовал студентам приобрести несколько книг и купить скелет. Об анатомии он говорил восторженно: это важнейший предмет при изучении хирургии, к тому же знакомство с ней помогает понимать живопись. Филип наострил уши. Позднее он узнал, что мистер Камерон читает лекции студентам Королевской академии художеств. Он прожил много лет в Японии, преподавал в Токийском университете и гордился своим художественным вкусом.

— Вам придется заучивать множество скучных вещей, — закончил он со снисходительной улыбкой, — вы забудете их в тот день, когда сдадите выпускные экзамены, но в анатомии лучше выучить и позабыть, чем не учить вовсе.

Взяв со стола тазовую кость, он приступил к ее описанию. Объяснял он живо и понятно.

После лекции молодой человек, заговоривший с Филипом в музее, предложил ему пойти посмотреть анатомичку. Они снова стали плутать по коридорам, пока один из служителей не показал им дорогу. Как только они вошли, Филип понял, откуда идет острый запах, который он почувствовал еще снаружи. Он закурил трубку.

— Ничего, скоро привыкнете к вони, — коротко рассмеялся служитель. — Я ее уже вовсе не замечаю.

Он спросил у Филипа его фамилию и посмотрел висевший на доске список.

— У вас нога, номер четвертый.

Филип увидел под тем же номером еще одну фамилию.

— А это что? — спросил он.

— У нас сейчас маловато трупов. Пришлось расписать по два человека на каждую часть тела.

Анатомичка — большая комната, выкрашенная, как и коридор, в два цвета (верхняя часть в густо-палевый, панель — в темно-кирпичный), была во всю длину через равные промежутки уставлена железными столами с ложбинками посередине; на каждом лежал труп. В основном это

были мужчины. Они сильно потемнели от формалина, в котором хранились, кожа была как дубленая. Все мертвецы были очень тощие. Служитель подвел Филипа к одному из столов. Возле него уже стоял какой-то юноша.

— Вас зовут Кэри? — спросил он.

— Да.

— Ну, значит, вот наша с вами нога. Нам повезло — это мужчина.

— Почему повезло? — спросил Филип.

— Все предпочитают мужчин, — вставил служитель. — Женщины чересчур обрастают жиром.

Филип поглядел на труп. Руки и ноги были как плети, а ребра туго обтянуты кожей. Это был мужчина лет сорока пяти с жидкой седой бородкой и редкими бесцветными волосами; глаза были закрыты, нижняя челюсть запала. Филип не мог себе представить, что когда-то этот труп был живым человеком, и ряды мертвых тел показались ему страшными и отвратительными.

— Я собирался начать в два часа, — сказал юноша.

— Ладно, — согласился Филип, — к этому времени я вернусь.

Накануне он купил ящик с инструментами, и теперь ему отвели для них шкафчик. Он поглядел на юношу, с которым пришел в анатомичку, — тот был бледен как полотно.

— Вам нехорошо? — спросил Филип.

— Я никогда еще не видел мертвых.

Они пошли по коридору к выходу. Филип подумал о Фанни Прайс. Она была первым мертвецом, которого он увидел; он вспомнил, какое странное это произвело на него впечатление. Живого отделяет от мертвого непроходимая пропасть: они словно особи двух враждебных видов; чудовищно подумать, что мертвец совсем недавно говорил, двигался, ел, смеялся. В мертвце есть что-то жуткое: кажется, что он может насрать порчу на живых.

— Не пойти ли нам поесть? — спросил его новый знакомый.

Они спустились в подвал, где в темной комнате помещалась столовая; здесь студенты получали такую же еду, как в любой закусочной. Филип заказал булочку с маслом и чашку шоколада; во время еды он выяснил, что его спутника зовут Дансфорд. У этого румяного парня с веселыми голубыми глазами были темные кудрявые волосы и крупные руки и ноги, движения и речь его были неторопливы. Дансфорд совсем недавно приехал из Клифтона.

— Вы хотите пройти общий курс? — спросил он Филипа.

— Да, мне нужно получить диплом как можно скорее.

— Мне тоже, но потом я собираюсь поступить в Королевский хирургический институт. Хочу стать хирургом.

Большинство студентов проходило общий курс хирургического и терапевтического факультетов; самые честолюбивые и усердные продолжали учение, чтобы получить диплом Лондонского университета. Незадолго до поступления Филипа правила были изменены и курс обучения продлен до пяти лет вместо четырех, как это было до осени 1892 года. Дансфорд все это объяснил Филипу. Сперва предстояли экзамены по биологии, анатомии и химии; каждый предмет можно было сдавать в отдельности, и большинство студентов сдавало биологию через три месяца после начала занятий. Эту науку лишь недавно включили в программу обучения, и требования были небольшие.

Когда Филип вернулся в анатомичку — он опоздал на несколько минут, забыв заранее обзавестись нарукавниками, — он застал многих студентов уже за работой. Его партнер начал минута в минуту и был занят препарированием подкожных нервов. Двое других хлопотали у второй ноги и еще несколько человек — у рук.

— Ничего, что я уже начал?

— Пожалуйста, продолжайте, — отозвался Филип.

Он взял учебник, отыскал там схему анатомического препарирования ноги и посмотрел, что им надо было найти.

— Вы, оказывается, в этом деле мастак, — сказал Филип.

— Да, я уже резал животных на подготовительных курсах.

За анатомическим столом шла оживленная беседа — об анатомии, о перспективах футбольного сезона, о демонстраторах, о лекциях. Филип чувствовал себя значительно старше других. Это были совсем еще школьники. Но возраст определяется скорее знаниями, чем годами, а Ньюсон, его усердный партнер, отлично знал свое дело. Ему явно хотелось порисоваться своими знаниями, и он давал Филипу подробные объяснения. А тот, забыв, что он человек, умудренный годами, покорно его слушал. Потом Филип вооружился скальпелем и пинцетом и в свою очередь приступил к работе, а партнер его следил за тем, что он делает.

— Вот здорово, что он такой худой, — сказал Ньюсон, вытирая руки. — Бедняга, видно, не ел целый месяц.

— Интересно, от чего он умер, — пробормотал Филип.

— Мало ли от чего, вернее всего — от голода... Осторожно, не перережьте этой артерии.

— Легко сказать: «Не перережьте артерии»,— заметил один из студентов, занятых другой ногой.— У этого старого идиота артерии не на месте.

— Артерии никогда не бывают на месте,— возразил Ньюсон.— Нормы вы никогда не встретите. Поэтому ее, очевидно, и зовут нормой.

— Не смешите, а то я порежусь,— сказал Филип.

— Если порежетесь,— ответил этот кладезь премудрости,— немедленно промойте ранку антисептическим составом: тут приходится быть осторожным. Был здесь в прошлом году один парень — он укололся и не обратил на это внимания, вот и получил заражение крови.

— Выздоровел?

— Нет, через неделю умер. Я ходил в морг поглядеть на него.

Когда пришла пора пить чай, у Филипа ломило поясницу; он так легко закусил днем, что очень проголодался. От его рук шел тот особенный запах, который он утром почуял в коридоре. Ему показалось, что и его сдобная булочка пахнет так же.

— Ничего, привыкнете,— заметил Ньюсон.— Потом даже будете тосковать по этой привычной вони нашей доброй старой анатомички.

— Ну, аппетита она мне не испортит,— сказал Филип и вслед за булочкой заказал кусок сладкого пирога.

ГЛАВА 55

Представления Филипа о жизни студентов-медиков, как и представления о них широкой публики, основывались на описаниях Чарлза Диккенса, относившихся к середине девятнадцатого века. Но Филип вскоре обнаружил, что если Боб Сойер и существовал, он вовсе не походил на современных студентов.

Медицинская профессия привлекает самых разных людей; естественно, что среди них есть ленивые и ветреные. Они воображают, что их ждет легкая жизнь, года два бездельничают, а потом, когда деньги приходят к концу и разгневанные родители отказываются их содержать, бросают институт. Другие не могут выдержать экзаменов: провалившись несколько раз, они забывают и то, что знали назубок, как только вступают в грозный экзаменационный зал. Из года в год они остаются на одном и том же курсе и превращаются в мишень для добродушных насмешек

молодежи; некоторым из них в конце концов удается проскочить через экзамен по фармакологии и стать фармацевтами, другие работают ассистентами без диплома — ненадежное положение, при котором всецело зависишь от милости нанимателя; удел этих неудачников — нищета, пьянство и смерть под забором. Но в большинстве своем студенты-медики — трудолюбивый народ; это главным образом выходцы из среднего сословия, которые обладают кое-каким достатком и могут жить прилично. Многие из них — сыновья врачей и уже приобрели профессиональные навыки; их карьера предопределена: получив диплом, они рассчитывают остаться при больнице, после чего (а иной раз еще и съездив на Дальний Восток корабельным врачом) будут работать с отцом и проведут всю жизнь, практикуя где-нибудь в деревне. Человека два на курсе обладают блестящими способностями: им достанутся награды и стипендии, они пройдут ординатуру в больнице и получают в ней должность, потом заведут кабинет на Гарлей-стрит¹ и, специализируясь в той или иной области, приобретут капитал, имя и титул.

Профессия врача — единственная, которой можно начать заниматься в любом возрасте, не теряя надежды, что обеспечишь себе средства к существованию. Среди однокурсников Филипа трое или четверо уже вышли из юношеского возраста. Один из них отслужил во флоте, откуда, по слухам, его уволили за пьянство; это был краснолицый мужчина лет тридцати, с грубыми манерами и зычным голосом. Другой — человек женатый, отец двух детей, потерял состояние из-за банкротства своего поверенного; вид у него был убитый, словно весь свет ему опостылел; работал он сосредоточенно — в его возрасте запоминать трудно, да и соображал он туго. Тягостно было смотреть, как он выбивается из сил.

В своих комнатушках Филип устроился по-домашнему. Он расставил книги, развесил картины и рисунки. Над ним жил студент пятого курса по фамилии Гриффитс, но Филип редко его встречал: тот почти все время проводил в больнице, где проходил практику, и, кроме того, учился в Оксфорде, а студенты, окончившие университет, держались особняком. Они не упускали случая, как и водится среди молодежи, унижить своих менее удачливых коллег, а тех раздражало их олимпийское величие. Гриффитс был высокий юноша с копной вьющихся рыжих волос, синими

¹ Улица в Лондоне, где находятся приемные известных врачей.

глазами, очень белой кожей и ярко-красными губами. Неизменно благодушный и веселый, Гриффитс был из тех счастливицков, которые всем нравятся. Он немножко бренчал на рояле и лихо пел куплеты; каждый вечер, в одиночестве читая у себя в комнате, Филип слышал доносившиеся сверху крики и взрывы хохота приятелей Гриффитса и вспоминал Париж, чудесные вечера у себя в мастерской, когда они — Лоусон, он, Фланаган и Клаттон — спорили об искусстве, о морали, о вчерашних похождениях и о славе, которая придет к ним завтра. На сердце у Филипа было тяжело. Оказалось, что куда легче сделать героический жест, чем терпеть его последствия. Самое худшее заключалось в том, что занятия медициной казались ему совсем неинтересными. Он давно отвык отвечать на вопросы преподавателя. Лекции он слушал невнимательно. Анатомия была скучнейшим предметом — все сводилось к тому, чтобы вызубрить огромное количество всяких сведений; вскрытия нагоняли на него тоску; какая бессмыслица тщательно выделять нервы и артерии — куда проще найти их в учебнике или посмотреть препараты в музее.

Он заводил случайные знакомства, но друзей не имел: ему нечего было рассказать своим собеседникам. Когда же он пробовал поинтересоваться их делами, его тон казался им покровительственным. Он не умел, как другие, разговаривать о том, что его волновало, ничуть не заботясь, интересно ли это собеседнику. Один из студентов, считавший себя тонким ценителем искусства, узнал, что Филип учился в Париже живописи, и попытался завязать о ней разговор, но Филип был нетерпим к чужим мнениям и, сразу же поняв, что собеседник придерживался общепринятых взглядов, стал отвечать односложно. Филипу хотелось нравиться людям, но он не мог себя заставить быть предупредительным. Боясь показаться навязчивым, он не позволял себе заговаривать первым и скрывал свою мучительную застенчивость под маской замкнутости. Повторялось то же, что он пережил в школе; но теперь вольное житье студента-медика давало ему возможность чаще оставаться одному.

С Дансфордом он подружился без особого труда; это был тот румяный плотный парень, с которым он познакомился в начале семестра. Дансфорд привязался к Филипу просто потому, что тот был первым, с кем он заговорил в больнице св. Луки. В Лондоне у него не было друзей, и в субботние вечера они с Филипом стали ходить вдвоем на галерку в мюзик-холл или театр. Недалекий, но добродушный Дансфорд никогда не обижался; он постоянно изрекал

ходячие истины, и, когда Филип над ним потешался, отвечал на это улыбкой. Улыбка у него была прелестная. И, хотя Филип вечно подсмеивался над Дансфордом, он его любил: его забавляло простодушие и привлекал ровный характер юноши. В Дансфорде было то обаяние, которого ему самому не хватало.

Они часто пили чай в кафе на Парламент-стрит — Дансфорду понравилась там одна из официанток. Филип вовсе не находил ее привлекательной. Она была высокая, худая, с узкими бедрами и плоской грудью.

— В Париже никто на нее и глядеть бы не стал,— пренебрежительно заметил Филип.

— А какое у нее хорошенькое личико! — сказал Дансфорд.

— Кому нужно это личико?

У официантки были мелкие, правильные черты лица, голубые глаза и широкий низкий лоб; художники Викторианской эпохи — лорд Лейтон, Альма-Тадема и множество других — заставили своих современников поверить, будто это образец греческой красоты. Ее густые, старательно уложенные волосы спускались челкой на лоб. Она явно страдала худосочием: тонкие губы были бескровны, а нежная кожа — чуть-чуть зеленоватого оттенка, даже в щеках у нее не было ни кровинки. Зубы, правда, были очень белые. Она тщательно берегла руки, чтобы они не загрубели от работы, и кисти были маленькие, узкие и нежные. Свои обязанности она выполняла со скучающим видом.

Робевшему перед женщинами Дансфорду никак не удалось завязать с ней разговор, он пристал, чтобы Филип ему помог.

— Ты только начни,— говорил он,— потом я справлюсь и сам.

Филип попробовал обменяться с ней несколькими фразами, чтобы доставить приятелю удовольствие, но девушка отвечала односложно. Она ведь знала цену таким молоко-сосам; скорее всего это — студенты, больно они ей нужны. Дансфорд заметил, что официантка оказывает внимание мужчине с волосами соломенного цвета и щетинистыми усами, похожему на немца; стоило ему появиться в кафе, и ее приходилось подзывать по два или по три раза, прежде чем она примет заказ. С незнакомыми посетителями она обходилась с ледяной надменностью и, когда бывала увлечена разговором, не обращала никакого внимания на оклики тех, кто спешил. Она умела поставить на место посетительниц кафе с той долей наглости, которая выводила их из

себя, не давая в то же время основания пожаловаться заведующей. Однажды Дансфорд сообщил Филипу, что ее имя — Милдред — он слышал, что ее так назвала другая официантка.

— Какое противное имя, — сказал Филип.

— Почему? — спросил Дансфорд. — А мне нравится.

— Очень уж претенциозное.

Немца в тот день не было, и, когда она принесла чай, Филип заметил с улыбкой:

— Что-то сегодня не видно вашего дружка.

— Не знаю, кого вы имеете в виду, — холодно ответила она.

— Я имею в виду вашего рыцаря с рыжими усами. Видно, променял вас на другую?

— А я посоветовала бы кое-кому не совать нос в чужие дела, — отрезала она.

С этими словами она их оставила и, так как других посетителей пока не было, села и стала просматривать вечернюю газету, забытую одним из клиентов.

— Какая глупость, зачем ты ее злишь? Видишь, она нервничает? — сказал Дансфорд.

— А мне плевать на ее нервы, — ответил Филип.

Но он был задет. Его раздосадовало, что девушка обиделась, хотя он просто пытался с ней полюбозничать. Спросив счет, он снова попробовал завязать беседу.

— Вы больше не хотите с нами разговаривать? — улыбнулся он.

— Я здесь для того, чтобы принимать заказы и обслуживать клиентов. Мне не о чем с ними разговаривать.

Она положила перед ними листок, на котором был написан счет, и вернулась на свое место. Филип покраснел от досады.

— Ловко она тебя отбрила, — сказал Дансфорд, когда они вышли на улицу.

— Наглая девка, — сказал Филип. — Ноги моей здесь больше не будет.

Ему нетрудно было убедить Дансфорда переменить кофе, и тот скоро увлекся другой девушкой. Но Филип не забыл обиды, которую нанесла ему официантка. Обойдись она с ним вежливо, Филип остался бы к ней совершенно равнодушен, но она откровенно дала ему понять свою неприязнь, и это его задело. Он не мог подавить в себе желания отплатить ей. Его злило, что им овладело такое мелкое чувство, и дня четыре он выдерживал характер, но это не помогло, и Филип решил, что лучше всего ее пови-

дать. После этого Филип, конечно, перестанет о ней думать. Стыдясь своей слабости, он сослался на деловую встречу и, улизнув от Дансфорда, отправился прямо в кафе, куда поклялся больше не ходить. Он сразу же увидел официантку и сел к одному из ее столиков. Филип ожидал, что она как-нибудь вспомнит о том, что его не было целую неделю, но она приняла заказ, не сказав ни слова. А ему не раз приходилось слышать, как она говорила другим клиентам:

— Куда же это вы пропали?

Теперь же она сделала вид, будто никогда его прежде не видала. Ему захотелось проверить, действительно ли она его забыла, и, когда она принесла чай, он спросил:

— Вы сегодня не видели моего приятеля?

— Нет. Он не приходит уже несколько дней.

Он хотел воспользоваться этим, чтобы начать разговор, но почувствовал странное смущение и не нашелся что сказать. Она не дала ему собраться с мыслями и сразу же отошла. Пришлось подождать, пока она не принесла счет.

— Какая дрянная погода, правда? — сказал он.

Стыдно, что ему не пришло в голову ничего, кроме такой банальности. Он не мог понять, почему так робеет перед ней.

— Меня это мало трогает, раз я все равно должна торчать здесь целый день, — гласил ее ответ.

Тон у нее был нагловатый, и это его ужасно разозлило. У него чуть было не вырвалось ехидное замечание, но он заставил себя промолчать.

«Ей-богу, жаль, что она не позволяет себе какую-нибудь явную грубость, — в бешенстве подумал он. — Я бы на нее пожаловался, и ее выгнали бы вон. Так этой дряни и надо!»

ГЛАВА 56

Ему никак не удавалось выбросить ее из головы. Он издевался над своей глупостью: нелепо было принимать близко к сердцу слова какой-то официантки, этой бледной немочи; но странное чувство унижения не проходило. Пусть никто не знал об этой обиде, кроме Дансфорда — да и тот, конечно, давно позабыл, — Филип чувствовал, что не успокоится, пока ей не оплатит. Он стал раздумывать, как это сделать. Надо каждый день ходить в кафе; он явно произвел на нее неприятное впечатление, но сумеет ее задобрить, теперь уж он не скажет ничего, что могло бы задеть даже самого придирчивого человека. Так он

и поступил, но потерпел неудачу. Когда, входя в кафе, он с ней здоровался, она отвечала ему, но как-то раз он промолчал, чтобы посмотреть, не поздоровается ли она первая, и она не проронила ни слова. Филип в душе выругал ее словом, которое порой и можно применить к представительницам женского пола, но в обществе лучше не употреблять, однако чай он заказал с невозмутимым видом. Решив не произносить ни звука, он вышел из кафе не попрощавшись. Он дал себе слово больше туда не ходить, но на следующий день в положенный час не мог найти себе места. Он старался думать о чем-нибудь другом, но рассудок ему не подчинялся. Наконец он воскликнул в отчаянии:

— Ну а в общем-то, почему бы и не пойти туда, если мне так этого хочется!

Борьба с самим собой отняла много времени, и, когда он вошел в кафе, было уже около семи часов.

— А я думала, что вы уже не придете, — сказала Милдред, когда он сел за столик.

Сердце его екнуло, и он почувствовал, что краснеет.

— Не мог раньше прийти. Задержался.

— Небось людей на части резали?

— Не такой уж я живодер.

— Вы ведь студент?

— Да.

По-видимому, ее любопытство было удовлетворено. Она отошла; в этот поздний час никого за ее столиками не было, и она погрузилась в чтение дешевого романа. В то время книжный рынок был завален макулатурой, изготовляемой литературными поденщиками на потребу малограмотному читателю. Филип был окрылен — она сама с ним заговорила; он уже предвкушал тот день, когда сможет отыгаться и выложить ей все, что о ней думает. Ну и приятно же будет сказать, как он ее презирает. Он посмотрел на нее. У нее и в самом деле красивый профиль; удивительно: у английских девушек из простонародья часто бывают такие тонкие лица, что просто дух захватывает; но от ее лица веяло ледяным холодом, а зеленоватый оттенок кожи придавал ему нездоровый вид. Все официантки были одеты одинаково: простые черные платья с белым передником, нарукавниками и наколкой. Пока она сидела, склонившись над книгой (и шевелила губами, читая), Филип сделал с нее карандашный набросок на листке бумаги, который нашел в кармане; уходя, он оставил его на столе. Это была удачная мысль: когда он пришел на следующий день, она ему улыбнулась.

— Вот не думала, что вы умеете рисовать,— сказала она.

— Я два года учился живописи в Париже.

— Я показала картинку, которую вы вчера оставили, нашей заведующей,— она прямо рот разинула. Это вы меня срисовали?

— Вас,— сказал Филип.

Когда она отправилась за чаем, к нему подошла другая официантка.

— Я видела,— сказала она,— какую вы нарисовали картинку с мисс Роджерс. Как живая, точь-в-точь!

Так он узнал ее фамилию; когда пришло время спросить счет, он ее окликнул.

— Оказывается, вы знаете, как моя фамилия,— сказала она, подходя.

— Мне ее назвала ваша подружка, когда говорила со мной насчет рисунка.

— Она хочет, чтобы вы и ее нарисовали. И даже не думайте. А то как станут все приставать, конца этому не будет.— Она добавила без всякой паузы, с какой-то странной непоследовательностью:— Где этот парень, который ходил сюда с вами? Он что, уехал?

— Оказывается, вы его запомнили,— сказал Филип.

— Что ж, он симпатичный молодой человек.

Филип вдруг поймал себя на каком-то непривычном ощущении. У Дансфорда были красивые вьющиеся волосы, свежий цвет лица и великолепная улыбка. Филип с завистью подумал об этих его преимуществах.

— Мой приятель влюбился,— сказал он со смешком.

Медленно прихрамывая по дороге домой, Филип мысленно повторял весь их разговор. Теперь она с ним стала очень мила. Как-нибудь, когда представится случай, он предложит нарисовать ее получше; это должно ей понравиться: у нее необыкновенное лицо и прелестный профиль, даже зеленоватый цвет кожи казался ему привлекательным. Он попытался с чем-нибудь его сравнить; сперва ему пришел на память гороховый суп, но он с негодованием отбросил подобное сравнение, потом он подумал о лепестках чайной розы — такой цвет у ее бутона, если его раскрыть, пока он еще не распустился. Он уже не чувствовал к ней вражды.

«А она довольно милая»,— сказал он себе.

С его стороны глупо на нее обижаться — наверно, он сам виноват: она не хотела грубить, ему давно пора привыкнуть, что он с первого взгляда производит на людей дурное

впечатление. Успех рисунка ему льстил; теперь, когда она знала за ним этот маленький талант, она смотрела на него с большим интересом. На следующий день он места себе не находил. Ему даже пришла в голову мысль пойти в кафе позавтракать, но он знал, что в это время там полно народу и Милдред все равно не сумеет с ним поговорить. Он уже давно прекратил чаепития с Дансфордом и ровно в половине пятого (раз десять посмотрев на часы) отправился в кафе.

Милдред сидела к нему спиной. Она разговаривала с тем самым немцем, которого Филип раньше видел здесь ежедневно. Две недели назад он пропал и больше не показывался. Она смеялась, слушая, что он говорит. Смех у нее был резкий, вульгарный, Филипа даже передернуло. Он ее окликнул, но она не обратила внимания; он позвал ее снова; наконец, рассердившись — Филип был не слишком терпелив, — он постучал тростью по столу. Она подошла с недовольным видом.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Вам очень некогда?

Она смотрела на него сверху вниз тем наглым взглядом, который был ему уже так хорошо знаком.

— Что это с вами? — спросил он.

— Будьте любезны, закажите, что вам угодно, я принесу. Некогда мне тут болтать с вами целый вечер.

— Пожалуйста, чаю и поджаренную булочку, — коротко ответил Филип.

Он был в бешенстве. У него с собой была вечерняя газета, и, когда она принесла чай, он читал ее и даже не поднял головы.

— Оставьте счет, чтобы мне больше вас не беспокоить, — холодно произнес он.

Она выписала счет, положила его на стол и вернулась к своему немцу. Минуту спустя они оживленно болтали. Это был мужчина среднего роста с круглой головой, характерной для тевтонской расы, и землистым лицом, на котором красовались пышные щетинистые усы; на немце был длинный сюртук и серые брюки, а на жилете болталась массивная золотая цепочка. Филипу показалось, что другие официантки посматривают то на него, то на эту парочку и обмениваются многозначительными взглядами. Он был уверен, что над ним смеются, и кровь его кипела. Он ненавидел Милдред всей душой. Самое лучшее было не ходить больше в это кафе, но он злился, что его оставили в дураках, и наконец придумал, как показать ей свое презрение. На следующий день он сел за столик другой официантки. Дружок Милдред был тут как тут, и она снова с ним

болтала. На Филипа она не обратила ровно никакого внимания. Но, уходя, он выбрал момент, когда она шла ему навстречу; поравнявшись, он посмотрел на нее так, словно никогда раньше не видел. Он повторял этот маневр три или четыре дня подряд. Он ждал, что она с ним заговорит — может быть, спросит, почему он больше не садится за ее столики, — и даже подготовил оскорбительный ответ. Он знал, как все это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Она снова одержала верх. Немец внезапно исчез, но Филип продолжал садиться за другие столики. А она на него даже не глядела. Он вдруг понял, что все его ухищрения ей глубоко безразличны; он мог стараться сколько угодно — на нее это никак не действовало.

«Ну, это еще не конец», — сказал он себе.

На другой день он снова сел на старое место и, когда она подошла, поздоровался как ни в чем не бывало. Лицо его было спокойно, но сердце бешено билось. В то время публика вдруг увлеклась опереттой, и он не сомневался, что Милдред с радостью пошла бы в театр.

— Послушайте, — сказал он без всяких предисловий, — не хотите ли как-нибудь вечером со мной поужинать, а потом пойти на «Красавицу из Нью-Йорка»? Я возьму места в партере.

Последнюю фразу он добавил, чтобы усилить искушение. Он знал, что, когда девушки ее круга бывали в театре, они брали билеты на галерку; даже когда их приглашал мужчина, им редко приходилось сидеть ниже последнего яруса. Бледное лицо Милдред оставалось невозмутимым.

— Ну что ж, пожалуй, — сказала она.

— Когда вам удобно?

— По четвергам я кончаю работу рано.

Они условились о встрече. Милдред жила у своей тетки в Херн-хилле. Спектакль начинался в восемь, так что поужинать надо было в семь. Она предложила встретиться на вокзале Виктории в зале ожидания второго класса. Никакого удовольствия она не выказала и приняла приглашение так, словно делала ему одолжение. Филип почувствовал досаду.

ГЛАВА 57

Филип пришел на вокзал Виктории почти за полчаса до назначенного Милдред времени и сел в зале ожидания второго класса. Он ждал, а ее все не было. Он заволновался, вышел на перрон и стал смотреть на подходившие

пригородные поезда; времени уже было много, а она все не появлялась. Филип потерял терпение. Он побрел в зал ожидания первого класса и стал разглядывать сидящих там людей. Вдруг сердце его забилося.

— Ах, вот вы где! Я уж думал, что вы не придете,— сказал он.

— Хорошенькое дело! Заставили дожидаться целую вечность! Совсем было собралась вернуться домой!

— Но вы же сказали, что будете в зале ожидания второго класса.

— Ничего такого я не говорила. С чего бы это мне сидеть в зале второго класса, если я могу сидеть в первом?

Филип был уверен, что не ошибся, но смолчал, и они взяли извозчика.

— Где мы будем ужинать? — спросила она.

— Давайте в ресторане «Адельфи». Хорошо?

— Ну что ж, пожалуй. Мне все равно.

Тон у нее был сердитый. Ее разозлило, что пришлось ждать, и на все попытки Филипа завязать разговор она отвечала односложно. На ней была длинная накидка из темной грубой материи, а на голове вязаная шаль. Они приехали в «Адельфи» и сели за столик. Она огляделась с удовлетворением. Красные абажуры, затенявшие свечи на столиках, позолота отделки, зеркала — все это придавало ресторану пышность.

— Я здесь ни разу не была.

Она улыбнулась Филипу. Накидку она сняла, и он увидел бледно-голубое платье с квадратным вырезом на шее; волосы были причесаны еще тщательнее, чем обычно. Он заказал шампанское, и когда вино принесли, глаза ее заблестели.

— Вы, видно, решили кутнуть? — сказала она.

— С чего вы взяли? Потому что я заказал шипучку? — небрежно спросил он, будто никогда не пил ничего другого.

— Ну и удивили же вы меня, когда позвали в театр.

Беседа не клеилась, — ей, видно, не о чем было с ним говорить, а Филип нервничал оттого, что не умеет ее развлечь. Она едва его слушала, не спуская глаз с обедающих за соседними столиками и даже не стараясь делать вид, будто он ее интересует. Он попробовал шутить, но она принимала шутки всерьез. Оживилась она лишь тогда, когда он заговорил о других официантках; она терпеть не могла заведующую и пространно жаловалась на ее злодеяния.

— Видеть ее не могу: уж очень она задается. Иногда язык так и чешется выложить ей все, что у меня на душе; она-то ведь и понятия не имеет, что я про нее знаю.

— Что же именно? — спросил Филип.

— Пусть из себя недотрогу не корчит. По воскресеньям ездит в Истборн с мужчиной. У одной здешней девушки есть замужняя сестра, она бывает там с мужем, в Истборне она нашу и видела. Жили в одном пансионе. Наша-то носила обручальное кольцо, а ведь факт, что она не замужем.

Филип наполнил бокал Милдред, надеясь, что шампанское сделает ее приветливее; ему до смерти хотелось, чтобы вечер прошел удачно. Он заметил, что она держит нож, как ручку с пером, а когда берет бокал, далеко отставляет мизинец. Он заводил речь о самых разных вещах, но так и не мог ничего от нее добиться; с досадой он вспоминал, как она весело болтает и смеется со своим немцем. Покончив с обедом, они пошли в театр. Филип был образованный молодой человек и смотрел на оперетту свысока. Шутки казались ему грубыми, а музыка — примитивной; с этим жанром у французов дела обстоят куда лучше. Но Милдред веселилась вовсю; она смеялась до колик, оборачиваясь к Филипу, когда что-нибудь ее особенно забавляло, и с упоением хлопала.

— Я это смотрю в седьмой раз, — сказала она, когда кончилось первое действие, — и не прочь прийти сюда еще раз семь.

Ее очень занимали женщины, сидевшие в партере. Она показывала Филипу тех, у кого были накрашенные щеки и подложены чужие волосы.

— Вот ужас-то, — говорила она. — А еще шикарные дамы! Понять не могу, как только у них совести хватает. — Она потрогала рукой свою прическу. — А у меня свои, все как есть, до единого волоска.

Никто ей не нравился, и, о ком бы ни зашла речь, во всех она видела одни недостатки. Филипу было не по себе. Он догадывался, что завтра в кафе она расскажет всем официанткам, что была с ним в театре и чуть не померла со скуки. Она ему не нравилась, но, непонятно почему, ему трудно было с ней расстаться. По дороге домой он спросил:

— Надеюсь, вам было весело?

— Конечно.

— Пойдемте куда-нибудь со мной еще разок!

— Ну что ж, пожалуй.

Дальше этого дело не шло. Ее равнодушие приводило его в бешенство.

— Вам, видно, все равно, пойдете вы со мной или нет?

— Не с вами, так с другим. Всегда найдется мужчина, который пригласит меня в театр.

Филип замолчал. На вокзале он пошел к кассе.

— У меня сезонный билет,— сказала она.

— Уже поздно. Если не возражаете, я провожу вас домой.

— Ну что ж, пожалуй, если вам это нравится.

Он взял два билета первого класса и обратный для себя.

— Вы хотя бы не скряга, ничего не скажешь,— заметила она, когда он отворил дверцу купе.

Филип сам не знал, радоваться ему или огорчаться, когда в купе появились другие пассажиры и им пришлось прервать разговор. Они вышли на станции Херн-хилл, и он проводил ее до угла улицы, где она жила.

— Тут я с вами попрощаюсь,— сказала она, протягивая руку.— До дверей меня лучше не провожайте. Знаю я этих соседей: будут болтать бог весть что.

Простившись с ним, она быстро ушла. В темноте мелькала ее белая шаль. Он надеялся, что она обернется, но она не обернулась. Филип заметил дом, в который она вошла, и, немного обождав, прошел мимо, чтобы его рассмотреть. Это был чистенький домик из желтого кирпича, в точности похожий на все остальные домики этой улицы. Филип постоял несколько минут и скоро увидел, как в окне второго этажа опустилась штора. Он медленно поплелся обратно на станцию. Вечер прошел неудачно. Его мучили досада, тревога и грусть.

Он лег в постель, но, казалось, все еще видел ее в углу вагона с белой вязаной шалью на голове. Филип считал часы и не мог дождаться, когда встретит ее снова. Он дремал, и перед ним вставало ее узкое лицо с тонкими чертами и бледно-оливковой кожей. С ней он не был счастлив, но вдали от нее чувствовал себя совсем несчастным. Ему хотелось сидеть с ней рядом и смотреть на нее, хотелось до нее дотронуться, хотелось... не додумав до конца своей мысли, он стряхнул с себя сон... ему хотелось целовать этот маленький бледный рот, эти тонкие губы. Наконец-то он понял. Он был в нее влюблен. Это было непостижимо.

Он часто представлял себе, как он влюбится; перед ним снова и снова возникала одна и та же картина. Он входит в бальный зал, взгляд его падает на группу гостей, и какая-

то женщина поворачивает к нему голову. Вот она его увидела, и он знает, что у нее перехватило дыхание. Он стоит, словно окаменев. Высокая, прекрасная, с черными, как ночь, глазами, она одета во все белое; в ее темных волосах сверкают бриллианты. Они не сводят друг с друга глаз, забыв об окружающих. Он идет прямо к ней, и она тоже делает несколько шагов ему навстречу. Оба чувствуют, что формальности первого знакомства неуместны. Он говорит:

— Я искал вас всю жизнь.

— Наконец-то вы пришли,— шепчет она.

— Хотите потанцевать со мной?

Он протягивает к ней руки, она покорно подходит, и они уносятся в танце. (В мечтах Филип никогда не видел себя хромым.) Танцует она божественно.

— Я еще не встречала никого, кто танцевал бы так, как вы,— говорит она.

Она рвет бальную программу, где записаны имена тех, кто ее пригласил, и они танцуют друг с другом весь вечер.

— Как я благодарен судьбе, что дождался вас,— говорит он.— Я знал, что когда-нибудь вас встречу.

Люди в зале не сводят с них глаз. А им все равно. Они не желают скрывать своей страсти. Потом они выходят в сад. Он набрасывает ей на плечи легкую накидку и помогает сесть в ожидающую их карету. Ночной поезд в Париж, и вот они уже мчатся в неведомую даль сквозь безмолвную звездную ночь.

...Он вспомнил эти свои мальчишеские мечты, и ему показалось невероятным, что он влюбился в Милдред Роджерс. Даже имя ее было уродливо. Он вовсе не считал ее красивой, ему не нравилась ее худоба — сегодня вечером он заметил, как торчат ключицы в вырезе ее вечернего платья, он перебрал в памяти одну за другой ее черты; у нее был неприятный рот и противный, болезненный цвет лица. Она была вульгарна. Ее речь, грубая и бедная, отражала скудость мысли; он вспомнил ее резкий смех в театре, претенциозно отставленный мизинец, когда она подносила ко рту бокал; ее манеры, так же как и ее слова, были полны отвратительного жеманства. Он вспомнил ее заносчивость — часто его так и подмывало отвесить ей пощечину; и вдруг — неизвестно почему, то ли при мысли о том, что ее можно ударить, то ли при воспоминании о ее крошечных красивых ушах — его охватило глубокое волнение. Он томился по ней. Он представлял себе, как обнимает это худенькое, хрупкое тело и целует бледный рот; ему хотелось провести пальцами по ее нежно-оливковым щекам. Он хотел ее.

Когда-то он представлял себе любовь как блаженство, которое охватывает вас и превращает весь мир в весенний сад; он ожидал несказанного счастья, но то, что он чувствовал сейчас, вовсе не было блаженством; его мучил душевный голод, неутолимая тоска, горечь, какой он еще не испытывал никогда. Он хотел вспомнить, с чего это началось, но не смог. Он только знал, что всякий раз, когда он приходил в кафе, у него сжималось сердце, а когда она заговаривала с ним, как-то странно перехватывало дыхание. Стоило ей от него уйти, и он был глубоко несчастен, но, когда он видел ее снова, им овладевало отчаяние.

Филип вытянулся в постели, как побитый пес. Он не знал, как он вынесет эту нескончаемую душевную муку.

ГЛАВА 58

Наутро Филип проснулся рано, и первая мысль его была о Милдред. Ему пришло в голову, что он может встретить ее на вокзале Виктории и проводить на работу. Он быстро побрился, оделся на скорую руку и доехал до вокзала на автобусе. Он вбежал на перрон без двадцати минут восемь и стал следить за проходящими поездами. В этот ранний час из них высыпало множество народу: конторские служащие и приказчики сплошным потоком двигались по платформе и спешили в город, девушки шли парами или небольшими стайками, но чаще всего люди шагали в одиночку, думая о чем-то своем. Филип видел в утреннем свете их бледные, чаще всего некрасивые лица; молодые шли легко, словно им было весело ступать по цементной платформе, но люди постарше двигались как заводные, угрюмо и озабоченно.

Наконец Филип заметил Милдред и бросился навстречу.

— Доброе утро,— сказал он.— Я пришел узнать, как вы себя чувствуете после вчерашнего.

Она была в стареньком коричневом пальто и шляпке с прямыми полями. Выражение ее лица ясно давало ему понять, что она отнюдь не рада встрече с ним.

— Я ничего. Но мне некогда.

— Вы не возражаете, если я вас немножко провожу?

— Я опаздываю. Мне надо идти побыстрее,— ответила она, глядя на хроющую ногу Филипа.

Лицо его побагровело.

— Простите. Не стану вас задерживать.

— А это уж как вам угодно.

Она пошла своей дорогой, а Филип уныло поплелся домой завтракать. Он ее ненавидел. Он ругал себя последними словами за то, что позволил ей так завладеть своими мыслями; Милдред была не из тех женщин, которым он хоть сколько-нибудь может понравиться, она всегда будет смотреть с отвращением на его уродство! Он решил, что вечером ни за что не пойдет в кафе, но, презирая себя, все-таки пошел. Она кивнула ему и улыбнулась.

— Кажется, я не слишком приветливо обошлась с вами утром,— сказала она.— Понимаете, я ведь вас не ждала, а вы свалились как снег на голову.

— Ничего, ничего.

На душе у Филипа сразу стало легко. Он был несказанно ей благодарен за каждое ласковое слово.

— Почему бы вам не подсесть к моему столику? — спросил он.— Никто вас сейчас не ждет.

— Ну что ж, пожалуй.

Он смотрел на нее, не зная, что сказать; мучительно придумывал какую-нибудь фразу, чтобы задержать ее подле себя; ему хотелось высказать ей, как много она для него значит. Но, полюбив всерьез, он потерял способность говорить любовный вздор.

— Где же ваш приятель со светлыми усами? — спросил он.— Я давно его не видел.

— Вернулся в Бирмингем. Он там работает по торговой части. В Лондоне бывает только наездами.

— Он в вас влюблен?

— А вы у него спросите,— ответила она со смехом.— Ну, а если даже влюблен, вам какое дело?

На языке у него вертелся резкий ответ, но он учился сдерживать себя.

— Не знаю, почему вы так со мной разговариваете,— вот и все, что он позволил себе сказать.

Она посмотрела на него своим равнодушным взглядом.

— Я вам как будто совсем ни к чему,— добавил он.

— А что мне до вас?

— И в самом деле, ничего.

Он потянулся за газетой.

— Уж очень вы горячий,— сказала она, заметив его движение.— Ни с того ни с сего обижаетесь.

Он улыбнулся и посмотрел на нее с мольбой.

— Хотите доставить мне удовольствие? — спросил он.

— Смотря какое.

— Позвольте проводить вас вечером на вокзал.

— Ну что ж, пожалуй.

Он ушел домой, но в восемь часов, когда закрылось кафе, уже поджидал ее на улице.

— Какой-то вы чудной,— сказала она, выйдя из кафе.— Я вас не пойму.

— По-моему, понять меня вовсе не трудно,— ответил он с горечью.

— Кто-нибудь из наших девушек видел, что вы меня дожидаетесь?

— Не знаю, мне все равно.

— А они над вами смеются. Говорят, что вы в меня врезались по уши.

— Вам-то ведь это безразлично,— сказал он сквозь зубы.

— Ну-ну, опять раскипятились!

На вокзале он взял билет и сказал, что проводит ее до дому.

— Вам, видно, время девать некуда,— сказала она.

— Я могу проводить время как мне заблагорассудится, верно?

Между ними все время назревала ссора. Ведь он ненавидел себя за то, что ее любит. А ей словно доставляло удовольствие его унижать, и с каждой новой обидой в нем все больше накапливалась злоба. Но в этот вечер она была настроена дружелюбно и даже разговорчиво, рассказала ему, что родители ее умерли, и дала понять, что служит не для заработка, а ради собственного удовольствия.

— Тете не нравится, что я служу. Дома у нас всего вдоволь. Вы, пожалуйста, не думайте, будто мне непременно надо зарабатывать себе на жизнь.

Филип знал, что она говорит неправду. Эту ложь подсказало ей нелепое тщеславие мещанской среды, считавшей труд ради заработка позорным для женщины.

— У нас очень хорошие знакомства,— добавила она.

Филип не мог скрыть улыбку, и она это заметила.

— Чего вы смеетесь? — вспыхнула она.— Вы что, не верите?

— Разумеется, верю,— ответил он.

Она поглядела на него с подозрением, но тут же не смогла удержаться от соблазна поразить его роскошью, в которой выросла.

— У моего отца был свой кабриолет, и мы держали трех слуг. Кухарку, горничную и дворника. А какие у нас росли розы! Люди даже останавливались у калитки и спрашивали, чей это дом,— такие у нас были шикарные розы.

Конечно, не очень-то хорошо, что в кафе мне приходится знаться со всякой шушерой, я к такому обществу не приучена, иногда даже подумываю, не бросить ли мне должность. Не воображайте, работы я не боюсь, но противно водиться с кем попало, я же все-таки девушка из хорошей семьи.

Они сидели друг против друга в поезде, и Филип, слушая ее с сочувствием, был на седьмом небе. Его забавляла и немножко трогала ее наивность. Ее щеки чуть-чуть порозовели. Он думал о том, каким блаженством было бы поцеловать ее в подбородок.

— Как только вы пришли в кафе, я сразу подметила, что вы настоящий джентльмен в полном смысле слова. Чем занимался вам отец?

— Он был врачом.

— Джентльмена сразу видно. В них что-то есть, сама не знаю что, но только их всегда узнаешь с первого взгляда.

Они шли вдвоем со станции.

— Сходим еще разок в театр? — сказал он.

— Ну что ж, пожалуй.

— Почему бы вам хоть раз не сказать: «С удовольствием»?

— С чего бы это?

— Ладно, все равно. Давайте условимся когда. В субботу вечером вас устраивает?

— Ну что ж, пожалуй.

Они договорились, где встретиться, и тут заметили, что подошли к ее углу. Она протянула руку, и он задержал ее в своей.

— Послушайте, мне ужасно хочется звать вас Милдред.

— Зовите, если хотите, мне все равно.

— А вы зовите меня Филипом, ладно?

— Хорошо, если запомню. Мне куда удобнее звать вас мистер Кэри.

Он слегка притянул ее к себе, но она отступила.

— Это еще что?

— Вы не поцелуете меня на прощание? — шепнул он.

— Бесстыдник!

Она выдернула руку и быстро пошла домой.

Филип купил билеты на субботу. В этот день она освободилась не раньше обычного, и ей некогда будет поехать домой переодеться, но она собиралась утром принести с собой платье и надеть его в кафе. Если у заведующей будет хорошее настроение, она отпустит ее ровно в семь. Филип

согласился ждать ее на улице, начиная с четверти восьмого. Он не мог дожидаться этого вечера, надеясь, что она позволит ему поцеловать ее в пролетке на обратном пути из театра. В экипаже мужчине удобно обнять женщину за талию (в этом большое преимущество экипажа перед такси), а такое удовольствие с лихвой окупало все расходы.

Но, когда в субботу Филип пришел в кафе пить чай и заодно окончательно условиться с ней о свидании, он встретил на пороге мужчину со светлыми усами. Филип уже знал, что фамилия этого человека Мюллер. Он был натурализованный немец, в Англии жил уже много лет и писал свою фамилию Миллер, на английский лад. Филипу доводилось слышать, как он разговаривает. Миллер говорил по-английски свободно, хотя и с легким акцентом. Зная, что немец ухаживает за Милдред, Филип жестоко ревновал. Он утешал себя только тем, что Милдред — женщина холодная, хотя отсутствие у нее темперамента очень его огорчало; считая, что она не способна к страсти, он думал, что сопернику повезет не больше, чем ему. Но сейчас у него упало сердце: он сразу же подумал, что неожиданное появление Миллера помешает свиданию, которого он так ждал. Он сел за столик, терзаясь дурными предчувствиями. Милдред подошла к нему, приняла заказ и принесла чай.

— Ужасно жаль,— сказала она с искренним огорчением.— Но мне не удастся пойти с вами сегодня вечером.

— Почему? — спросил Филип.

— Не смотрите на меня так сердито, засмеялась она.— Я тут ни при чем. Вчера вечером заболела тетя, а служанка сегодня выходная, вот мне и придется посидеть с больной. Не могу же я оставить ее одну?

— Ну, что поделаешь. Я провожу вас домой.

— Но вы же купили билеты. Жалко, если они пропадут.

Он вынул билеты из кармана и хладнокровно их разорвал.

— Зачем вы это сделали?

— Не стану же я смотреть один какую-то дрянную оперетку. Я взял билеты только ради вас.

— Если вы собираетесь меня провожать, это все равно невозможно.

— Вы назначили свидание другому.

— Вот еще выдумали! Такой же эгоист, как все. Думаете только о себе. Разве я виновата, если тете нездоровится?

Она поспешно выписала ему счет и отошла. Филип был еще неопытен, не то он бы знал, что, имея дело с женщиной, куда лучше принимать за чистую монету даже самую явную

ложь. Он решил подождать у кафе и проверить, пойдут ли Милдред на свидание с немцем. У него была пагубная страсть выяснять все до конца. В семь часов он занял наблюдательный пост на противоположной стороне улицы. Он искал глазами Миллера, но не видел его. Через десять минут появилась Милдред в накидке и шали, которые были на ней, когда они ходили в театр. Она явно не собиралась домой. Увидев его прежде, чем он успел скрыться, она слегка вздрогнула, а затем направилась прямо к нему.

— Что вы тут делаете? — спросила она.

— Дышу свежим воздухом, — ответил Филип.

— Вы за мной шпионите, бесстыжие ваши глаза! А я-то думала, что вы джентльмен.

— Разве джентльмен стал бы с вами путаться? — пробормотал он сквозь зубы.

В нем сидел какой-то бес и еще больше портил все дело. Он хотел, чтобы ей было так же больно, как ему.

— Разве я не могу передумать? Я вовсе не подряжалась проводить все вечера с вами. Я же сказала, что еду домой, и не смейте ходить за мной по пятам и шпионить!

— Вы видели сегодня Миллера?

— Не ваше дело. Если хотите знать, я его вовсе и не видела, так что вы опять дали маху!

— А я его видел. Он столкнулся со мной в дверях.

— Ну и что с того? Не могу я, что ли, куда-нибудь с ним пойти? Вам-то какое дело?

— Он, кажется, заставляет себя ждать?

— А мне приятнее ждать его, чем позволять вам ждать меня. Зарубите это себе на носу. А теперь идите-ка лучше домой и больше не суйте нос в чужие дела.

Гнев вдруг прошел, и его охватило отчаяние, голос у него задрожал:

— Послушайте, Милдред, не будьте такой жестокой. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Я вас люблю, понимаете? Ну что вам стоит пойти со мной? Я так ждал сегодняшнего вечера. Видите, Миллер не пришел, значит, ему на вас наплевать. Пойдемте пообедаем вместе. Я куплю другие билеты, куда вы захотите.

— Я же сказала, что не пойду. И нечего разговаривать. Как решила, так и будет, я своих намерений не меняю.

С минуту он смотрел на нее молча. Сердце его разрывалось от горя. Мимо них спешили люди, с шумом проносились экипажи и конки. Он заметил, что Милдред ищет кого-то взглядом. Она боялась пропустить в толпе Миллера.

— Так больше продолжаться не может,— простонал Филип.— Это слишком унижительно. Если я сейчас уйду, я больше никогда не вернусь. Если вы не пойдете со мной сегодня, вы меня больше не увидите.

— Ишь ты! Кажется, думаете меня напугать? А я вам вот что скажу: скатертью дорога.

— Тогда прощайте.

Он кивнул и медленно заковылял прочь: в душе он еще надеялся, что она позовет его обратно. У следующего фонарного столба он остановился и повернул голову. Стоило ей подать знак — и он бы позабыл все, пошел бы на любое унижение, но, оставшись одна, она тут же перестала о нем думать. Он понял, что она была рада от него избавиться.

ГЛАВА 59

Филип терзался весь вечер. Он предупредил хозяйку, что его не будет дома, она не приготовила ужина, и ему пришлось пойти в ресторан. Потом он вернулся к себе, но наверху у Гриффитса была вечеринка, и шум, который доносился оттуда, еще больше нагонял на него тоску. Он решил сходить в мюзик-холл, но в субботу можно было купить только стоячие места; проскучав полчаса, он почувствовал, что у него болят ноги, и пошел домой. Он попробовал читать, но не мог сосредоточиться; между тем ему надо было заниматься. Через две недели предстоял экзамен по биологии, и, хотя предмет был легкий, он его совсем не знал, так как в последнее время забросил лекции. Впрочем, экзамен был устный; он не сомневался, что за две недели сумеет подготовиться и как-нибудь сдаст. Он верил в свои способности. Отложив книгу, он задумался: одна и та же мысль не покидала его ни на минуту.

Он горько жалел о своем поведении. Почему он поставил ее перед выбором: либо пойти с ним обедать, либо расстаться навсегда? Конечно, она отказалась. У каждого человека есть гордость. Теперь он сжег за собой корабли. Мысль об этом не так бы его мучила, если бы Милдред была огорчена, но он знал ее слишком хорошо: она была к нему совершенно равнодушна. Не будь он дураком, он прикинулся бы, будто верит ее рассказу о больной тетке; надо было найти в себе силы и скрыть огорчение, надо было сдерживать свою вспыльчивость.

Странно, как он мог ее полюбить! Филип читал, что влюбленный смотрит на предмет своего увлечения сквозь

розовые очки, но он-то видел ее такой, какой она была на самом деле. Она не казалась ему ни интересной, ни остроумной; все ее помыслы были пошлыми; ее житейская хитрость отвратительна, ей недоставало доброты, душевности. Как она признавалась сама, она думала только об одном — как бы получше устроить свою жизнь. Ее радовало, когда удавалось надуть ничего не подозревавшего простака; приятнее всего ей было кому-нибудь насолить. Филип горько посмеялся, вспомнив, как жеманно она держалась за столом. Милдред не выносила грубых слов; насколько позволял ее ограниченный словарь, она выражалась с претенциозной «изысканностью»; во всем ей чудилась непристойность; брюки она называла не иначе как «нижней частью туалета»; даже сморкаться она считала неприличным и делала это исподтишка. Она страдала острым малокровием, а поэтому и расстройством пищеварения. Филипу были противны ее плоская грудь и узкие бедра, он ненавидел ее мещанскую прическу. Он презирал и проклинал себя за то, что любит ее.

Но он был совершенно беспомощен. Он чувствовал себя так же, как когда-то в школе, попавшись в руки какому-нибудь рослому мучителю. Он отбивался изо всех сил, но потом его вдруг охватывало такое безразличие, что он до сих пор помнил ту томящую слабость, которая словно параличом сковывала ему руки и ноги. Он становился беспомощным, как мертвец. Вот и теперь он испытывал такую же слабость. Он любил эту женщину, он понимал, что до сих пор еще никого не любил. Он прощал ей все недостатки ее наружности и характера; может быть, он любил их тоже — во всяком случае, они ему не мешали. Казалось, он совсем потерял себя и находился во власти какой-то неведомой силы, которая толкает его против воли, против его интересов. И, больше всего на свете ценя свободу, он ненавидел опутавшие его цепи. Он смеялся над собой, вспоминая, как часто мечтал испытать всепоглощающую страсть. Он ругал себя за то, что поддался ей. Он старался припомнить, с чего это началось; как было бы все хорошо, не пойдя он тогда с Дансфордом в кафе. Он сам был во всем виноват. Если бы не его дурацкое самомнение, он никогда бы и думать не стал об этой наглой девке.

Но так или иначе то, что сегодня случилось, положило этому конец. Он больше не может к ней вернуться, если не совсем потерял всякий стыд и совесть. Он жаждал избавиться от этого рабского чувства: оно было недостойно и унижительно. Он больше не смеет думать о Милдред. Скоро боль

пойдет на убыль. Он подумал о прошлом. Неужели Эмили Уилкинсон и Фанни Прайс терпели из-за него такие же муки, какие он испытывает сейчас? В нем зашевелилась совесть.

— Но я ведь тогда не знал, что это такое,— говорил он себе.

Спал он прескверно. На следующий день было воскресенье, и он занимался биологией. Сидя за книгой, он беззвучно шевелил губами, повторяя каждую фразу, чтобы лучше сосредоточиться, но ничего не мог запомнить. Он поминутно думал о Милдред, повторяя слово в слово их последний разговор. Ему нужно было насильно заставлять себя вернуться к книге. Он пошел прогуляться. К югу от Темзы улицы были неказисты и в будние дни, но всю неделю там царили шум и движение, придававшие им, несмотря на убогость, оживленный вид; по воскресеньям же, когда лавки были закрыты и на мостовых не грохотали экипажи, эти улицы, погруженные в тишину и покой, становились неопишимо унылыми. Филипу казалось, что день никогда не кончится. Но он так устал, что вечером заснул тяжелым сном, а в понедельник утром проснулся с твердой решимостью зажить по-новому.

Приближалось рождество, и многие студенты уезжали в деревню на зимние каникулы; Филип отклонил приглашение дяди приехать в Блэкстебл. Он сослался на предстоящие экзамены; на самом деле ему просто не хотелось оставить Лондон и Милдред. Он запустил занятия и теперь должен был за две недели пройти то, на что по программе полагалось три месяца. Он усердно принялся за дело. С каждым днем ему становилось все легче не думать о Милдред. Он уже поздравлял себя с тем, что у него такой твердый характер. Его страдания утратили остроту; боль притупилась; он был похож на человека, упавшего с лошади и хотя не поломавшего костей, но сильно избитого и еще напуганного. Филип почувствовал, что уже может с любопытством анализировать то состояние, в котором он находился последние недели. Он с интересом принялся исследовать свои чувства. Ему было даже чуть-чуть забавно. Больше всего его поражало, какую ничтожную роль играет в таких случаях рассудок; философская система, которую он для себя создавал с таким жаром, нисколько ему не помогла. Вот это ставило его в тупик.

Но стоило ему издали увидеть девушку, похожую на Милдред, как сердце его замирало. И, уже не в силах совладать с собой, он лихорадочно бросался ей вдогонку и только потом убеждался, что это совсем не она.

Студенты собрались после каникул, и как-то раз он зашел с Дансфордом выпить чаю в закусочную той же фирмы, которой принадлежало кафе, где служила Милдред. Хорошо знакомая форма официанток нагнала на него такую тоску, что он не мог разжать губ. Ему вдруг пришло в голову, что Милдред могли перевести в другое кафе и в один прекрасный день он внезапно столкнется с ней лицом к лицу. От одной этой мысли он побледнел и перепугался, как бы Дансфорд этого не заметил; Филип совсем онемел; он с трудом делал вид, будто слушает собеседника, болтовня Дансфорда выводила его из себя. С величайшим усилием он сдерживался, чтобы не прикрикнуть на приятеля и не попросить его ради Христа помолчать...

Но вот настал день экзаменов. Когда пришла его очередь, Филип уверенно подошел к столу экзаменатора. Он ответил на три или четыре вопроса. Потом экзаменатор стал показывать ему различные препараты; Филип так редко посещал лекции, что, как только его спросили о том, чего нельзя было найти в учебнике, его песенка была спета. Он попытался скрыть, что не очень хорошо подготовлен; экзаменатор был не слишком настойчив, и скоро положенные десять минут истекли. Филип был уверен, что выдержал экзамен; но на следующий день, придя узнать результаты, был поражен, не найдя своего номера в списке выдержавших. Не веря своим глазам, он просмотрел список трижды.

— Ужасно обидно, что ты провалился,— сказал ему Дансфорд.

Филип посмотрел на него и по его сияющему лицу догадался, что тот выдержал.

— Ерунда,— сказал Филип.— Хорошо, что у тебя все в порядке. А я сдам в июле.

Он делал вид, будто не придает своему провалу никакого значения, и на обратном пути упорно разговаривал о посторонних вещах. Дансфорд со свойственным ему добродушием хотел поговорить о том, что послужило причиной неудачи Филипа, но тот заупрямился. Он был страшно подавлен; а то, что Дансфорд, которого Филип считал очень славным, но недалеким малым, выдержал экзамен, делало его провал еще более обидным. Он всегда гордился своим умом и теперь в отчаянии спрашивал, не переоценивал ли он себя. За три месяца зимней сессии студенты первого курса уже успели себя проявить: выяснилось, у кого из них блестящие способности, кто сообразителен или трудолюбив, а кто попросту «тупица». Филип почувствовал, что его

провал никого не удивил, кроме разве его самого. Было около пяти часов дня, он знал, что большинство студентов отправится пить чай в институтскую столовую; выдержавшие экзамен будут торжествовать; те, кому он, Филип, не по душе, будут смотреть на него со злорадством, а неудачники станут сочувствовать, чтобы найти сочувствие и у него; Филипа так и подмывало отправиться домой и не ходить в институт целую неделю, пока все позабудется, но именно потому, что ему так этого не хотелось, он пошел пить чай со всеми; он решил наказать себя. На сей раз он, кажется, забыл свое жизненное правило — следовать естественным склонностям с должной оглядкой на полицейского за углом... Если же он не следовал этому правилу, значит, у него в характере была какая-то болезненная потребность себя мучить.

Но позже, выдержав пытку, к которой он себя приговорил, и выйдя в ночную тьму после шумных разговоров в курилке, он почувствовал невыразимое одиночество. Он казался себе смешным и никому не нужным. Ему мучительно хотелось, чтобы его утешили, и соблазн увидеть Милдред стал слишком силен. Правда, с горечью думал он, от нее вряд ли можно дожидаться утешения, но ему хотелось просто ее повидать; в конце концов она официантка и обязана прислуживать ему, как и всякому другому. Милдред была единственным дорогим ему человеком на свете. Бесплезно скрывать это от себя. Конечно, унижительно вернуться в кафе, словно ничего не случилось, но у него осталось не так уж много гордости. Не желая себе в этом признаться, он втайне надеялся получить от нее письмо: она ведь знала адрес института. Но она ему не написала: видно, ей было совсем безразлично, увидит она его снова или нет.

Он твердил себе: «Я должен, должен ее увидеть».

Желание было таким непреодолимым, что у него не хватило терпения дойти до кафе пешком, и он вскочил в пролетку; обычно он не делал этого из бережливости. Несколько мгновений он простоял на улице перед дверьми. Вдруг ему пришло в голову, что она больше здесь не работает. В ужасе он вбежал в кафе и сразу же ее увидел. Он сел за ее столик, и она к нему подошла.

— Пожалуйста, чашку чаю и булочку,— заказал он.

Слова застревали у него в горле. Он боялся заплакать.

— А я-то уж думала, что вы умерли,— сказала она.

Она улыбалась. Улыбалась! По-видимому, она совсем забыла их ссору, которая не давала Филипу жить.

— Я решил, что вы мне напишете, если вам захочется меня видеть,— ответил он.

— Больше мне делать нечего, стану я письма писать!

Разве она могла сказать ему хоть одно ласковое слово? Филип проклинал судьбу, которая приковала его к такой женщине. Милдред пошла за чаем.

— Хотите, я присяду к вам на минутку? — спросила она, когда вернулась.

— Да.

— Где же вы были все это время?

— В Лондоне.

— Я подумала, что вы уехали на каникулы. Отчего вы не приходили?

Филип смотрел на нее измученными и горящими глазами.

— Разве вы не помните, я ведь сказал, что мы никогда больше не увидимся?

— Тогда зачем вы пришли?

Казалось, Милдред хочет заставить его испить чашу унижения до дна, но, зная ее, он понимал, что она говорит наобум; она мучила его без всякого злого умысла. Он ничего не ответил.

— Разве это не было подло шпионить за мной? А я-то верила, что вы джентльмен в полном смысле слова.

— Не будьте со мной такой жестокой, Милдред. Я этого не вынесу.

— От вас прямо помрешь, ей-богу! Никак я вас не разберу.

— Да все очень просто: я, набитый дурак, полюбил вас без памяти, а вам, я знаю, на меня наплевать.

— Будь вы джентльменом, вы бы пришли на другой день и попросили у меня прощения.

Она была безжалостна. Филип взглянул на ее шею и подумал, как хорошо было бы полоснуть по ней ножом, который Милдред ему подала. Он уже достаточно хорошо знал анатомию, чтобы сразу найти сонную артерию. И в то же время ему так хотелось покрыть поцелуями ее бледное, узкое лицо.

— Если бы вы могли понять, как я вас люблю.

— Вы еще не попросили у меня прощения.

Он стал блее полотна. Она была уверена, что ни в чем не провинилась. Теперь она хотела видеть его унижение. А ведь он по натуре был человек гордый: на какой-то миг его охватило желание послать ее к черту, но он не посмел. Страсть делала его малодушным. Он готов был на что угодно, лишь бы ее видеть.

— Я очень жалею, что так случилось, Милдред. Пожалуйста, простите меня.

Он едва выдавил из себя эти слова. Они стоили ему неимоверных усилий.

— Ну, теперь, когда вы попросили прощения, могу вам сказать: я пожалела, что не пошла с вами в тот вечер. Мне казалось, что Миллер — джентльмен, но я, видно, ошиблась. И мигом его прогнала.

У Филипа даже дух захватило от счастья.

— Милдред, пойдете со мной сегодня вечером! Давайте где-нибудь поужинаем.

— Ох, ей-богу, не могу. Меня будет ждать тетя.

— Я пошлю ей телеграмму. А вы скажете, что вас задержали в кафе; она ничего не узнает. Ну пойдете, умоляю вас. Я так давно вас не видел, мне хочется с вами поговорить.

Она недовольно оглядела свое платье.

— Чепуха! Мы пойдём куда-нибудь, где никто и не заметит, как вы одеты. А потом сходим в мюзик-холл. Ну, пожалуйста, скажите да. Мне это доставит такое удовольствие!

Она немного поколебалась; он смотрел на нее жалким, умоляющим взглядом.

— Ну что ж, пожалуй. Сто лет никуда не ходила.

Он едва удержался, чтобы не схватить ее руку и не покрыть поцелуями.

ГЛАВА 60

Они поужинали в одном из ресторанчиков в Сохо. Филип трепетал от радости. Это не был один из тех вечно переполненных ресторанов, куда ходит как почтенная публика, так и небогатый люд — первые в расчете поглядеть на то, как живет богема, вторые, потому что здесь кормят дешево. Это скромное заведение содержали некий уроженец города Руана и его жена; Филип открыл его по чистой случайности. Его привлекло французское убранство витрины, где посредине красовалось блюдо с куском сырой вырезки, а по бокам — груды сырых овощей. Прислуживал всего один невзрачный француз, пытавшийся научиться английскому языку в доме, где с утра до вечера слышалась только французская речь, а постоянными посетителями были несколько дам легкого поведения, две-три *menages*¹,

¹ Семейные пары (*фр.*).

которым сохраняли их салфетки, и несколько чудаков, забравших сюда, чтобы наспех проглотить свой скромный обед.

Филипу и Милдред удалось получить отдельный столик. Филип послал официанта в соседний кабачок за бутылкой бургундского; он заказал *potage aux herbes*¹, бифштекс *aux pommes*² и *omelette au kirsch*³. И в обстановке и в самом обеде было что-то романтическое. Милдред сперва огляделась с неодобрением — «не верю я этим иностранцам: бог его знает, чего только не намешано в их блюдах», — но в конце концов и она не устояла.

— Мне здесь нравится, — заявила она. — Чувствуешь себя как дома.

Вошел высокий человек с гривой седых волос и растрепанной бородкой, в поношенном плаще и выдавшей виды шляпе. Он кивнул Филипу, с которым уже тут встречался.

— Он похож на анархиста, — сказала Милдред.

— Это и есть один из самых опасных анархистов в Европе. Он сидел во всех европейских тюрьмах и убил больше людей, чем любой бандит. У него всегда бомба в кармане, поэтому с ним лучше держать ухо востро: чуть что не так скажешь — выкладывает бомбу на стол.

Она посмотрела на высокого старика со страхом, а потом недоверчиво взглянула на Филипа. Заметив, что глаза его смеются, она нахмурилась.

— Вы меня разыгрываете.

Он даже захохотал от удовольствия — так он был счастлив. Но Милдред не нравилось, когда над ней смеются.

— Не вижу ничего смешного, когда врут.

— Не сердитесь.

Он взял ее руку, лежавшую на столе, и нежно ее пожал.

— Господи, как вы прелестны, — сказал он, — я готов целовать землю, по которой вы ходите.

У него кружилась голова, когда он смотрел на это бледное, чуть-чуть оливковое лицо, а в ее тонких бескровных губах таилось какое-то противоестественное очарование. У нее была небольшая одышка от малокровия, и рот ее всегда был полуоткрыт. В его глазах это делало ее еще привлекательнее.

— Ну а я вам хоть немножечко нравлюсь, а? — спросил он.

¹ Овощной суп (*фр.*).

² С картофелем (*фр.*).

³ Омлет с вишневкой (*фр.*).

— Если бы не нравились, будьте спокойны, я бы здесь не сидела. Вы джентльмен в полном смысле слова, этого у вас не отнимешь.

Они кончили обедать и стали пить кофе. Махнув рукой на бережливость, Филип выкурил дешевую сигару.

— Вы и представить себе не можете,— сказал он,— какое для меня счастье вот так сидеть здесь с вами и на вас смотреть. Я так по вас скучал. Мне вас ужасно недоставало.

Милдред улыбнулась и чуть-чуть покраснела. Сегодня ее не мучила боль в животе, которая всегда начиналась, как только она поест. Она относилась к Филипу ласковее чем когда бы то ни было, и непривычная мягкость ее взгляда наполняла его сердце радостью. В глубине души он понимал, что отдаться на ее милость было сумасшествием, куда разумнее было бы сделать вид, что он к ней безразличен, и всячески скрывать ту страсть, которая кипела у него в груди; она только воспользуется его слабостью. Но он уже потерял всякую осторожность: он рассказал ей о муках, которые испытал во время их разлуки; о борьбе с самим собой — как он старался победить свое влечение, думал, что ему это удалось, но понял, что оно стало только сильнее прежнего. Он знал теперь, что вовсе и не хотел подавить свое чувство. Он так ее любит, что готов вынести какие угодно страдания. Он открыл перед ней свое сердце. Он с гордостью показал ей всю свою слабость.

Охотнее всего он так бы и остался сидеть в этом убогом, но уютном ресторанчике, но он знал, что Милдред любит развлечения. Она была женщина суетная и не могла долго усидеть на одном месте. Он боялся, что она соскучится.

— А не пойти ли нам в мюзик-холл? — сказал он.

У него мелькнула мысль, что, если он ей хоть сколько-нибудь дорог, она предпочтет остаться здесь.

— Я как раз думала, что нам пора двигаться, если мы хотим куда-нибудь попасть,— ответила она.

— Тогда пойдем.

Филип с нетерпением ожидал конца представления. Он задумал план и, как только они сели в пролетку, словно ненароком обнял ее за талию. Но тут же вскрикнул и отдернул руку: он укололся. Милдред расхохоталась.

— Ага, вот что бывает, когда суют руки не туда, куда надо,— сказала она.— Я всегда знаю, когда мужчина пробует меня облапить. Сразу накалывается на булавку.

— Я буду осторожнее.

Он снова обхватил ее за талию. Она не противилась.

— Господи, как хорошо,— блаженно вздохнул он.

— Пожалуйста, если вам уж так нравится,— заметила она.

Они поехали в Гайд-парк, и Филип торопливо ее поцеловал. Он как-то странно робел перед ней, и сейчас ему пришлось собрать все свое мужество. Она безмолвно подставила губы. Казалось, поцелуй не доставил ей удовольствия, но и не вызвал в ней никакого протеста.

— Если бы вы знали, как долго я этого ждал,— прошептал он.

Он попытался поцеловать ее снова, но она отвернулась.

— Хватит с вас одного раза,— сказала она.

Он проводил ее до Херн-хилл и на углу улицы все-таки попросил:

— Можно мне вас поцеловать?

Она равнодушно на него посмотрела, потом, окинув взглядом улицу и убедившись, что кругом никого нет, сказала:

— Ну что ж, пожалуй.

Он схватил ее и стал горячо целовать, но она его оттолкнула.

— Не сомни мою шляпку, дурачок. Какой ты нескладный.

ГЛАВА 61

Они стали видеться каждый день. Он начал было ходить в кафе и в полдень, но Милдред ему запретила, сказав, что это даст девушкам повод для разговоров; пришлось довольствоваться чаепитием, но он каждый день поджидал ее, чтобы проводить после работы до вокзала; раз или два в неделю они вместе обедали. Он делал ей небольшие подарки: браслет, перчатки, носовые платки и другие мелочи. Он тратил больше, чем мог, но ничего не поделаешь: она проявляла к нему нежность, только если он ей что-нибудь дарил. Она знала точную цену каждой вещи, и ее благодарность была строго соразмерна стоимости подарка. Филип не обращал на это внимания. Он был так счастлив, когда она сама вызывалась его поцеловать, что даже не огорчился, если за ласку эту надо было сперва заплатить. Узнав, что она скучает по воскресным дням дома в Херн-хилле, он стал ездить туда по утрам, встречать ее на углу и ходить с ней в церковь.

— Люблю раз в неделю сходить в церковь,— говорила она.— Ведь это так прилично, правда?

Пока она ходила домой обедать, он наспех проглатывал что-нибудь в местной гостинице; потом они отправлялись гулять в парк. Им почти не о чем было говорить, и Филип, отчаянно боявшийся ей наскучить (а это было очень легко), лихорадочно придумывал тему для разговора. И, хоть такие прогулки явно не забавляли их обоих, он никак не мог с ней расстаться и делал все, чтобы их продлить, пока ей это не надоедало и она не начинала сердиться. Он знал, что она к нему равнодушна, и все же пытался заставить ее полюбить, хотя рассудок подсказывал ему, что Милдред не способна любить; для этого она была чересчур холодна. Не имея на нее прав, он, помимо своей воли, бывал слишком требователен. Теперь, когда они немного сблизились, ему труднее было сдерживаться, он нередко становился раздражительным и, сам того не желая, говорил резкости. Они часто ссорились, и она переставала с ним разговаривать; это всегда кончалось его покаянием — он униженно молил его простить. Он злился на себя за то, что не может сохранить хоть каплю достоинства. Его мучила бешеная ревность, когда она заговаривала в кафе с другим мужчиной, а ревнуя, он совсем терял голову. Тогда он оскорблял ее, убегал из кафе, а потом проводил бессонную ночь, ворочаясь в постели и испытывая попеременно то гнев, то раскаяние. На следующий день он снова появлялся в кафе и молил о прощении.

— Не сердись на меня,— говорил он,— я так тебя люблю, что ничего не могу с собой поделать.

— Кончится тем, что терпение у меня лопнет.

Он хотел, чтобы она пригласила его домой, надеясь, что более тесные отношения дадут ему преимущество перед случайными знакомыми в кафе; однако она его к себе не пускала.

— Тетя еще подумает невесть что! — говорила она.

Он подозревал, что она просто не хочет показать ему свою тетку. Милдред говорила, что тетка — вдова джентльмена (слово, которое у нее обозначало высокое положение в обществе), сама понимая, что добрая женщина вряд ли способна оправдать эту репутацию. Филип полагал, что она просто вдова мелкого лавочника. Он знал, что Милдред благоговееет перед «высшим обществом». Но не мог ей объяснить, что его несколько не смущает скромное положение ее тетки.

Самая большая ссора произошла у них в один из вечеров за обедом, когда она сказала ему, что какой-то господин пригласил ее в театр. Филип побледнел, лицо его застыло.

— Ты, надеюсь, не пойдешь? — сказал он.

— А почему бы и нет? Он очень приятный, воспитанный господин.

— Я могу пойти с тобой, куда ты захочешь.

— Но это совсем не одно и то же. Не могу я всегда бывать только с тобой. Кроме того, он предложил мне самой назначить день. Я пойду с ним в один из тех вечеров, когда мы с тобой не встречаемся, так что ты ничего не теряешь.

— Если бы ты имела хоть какое-то представление о порядочности и не была бы такой неблагодарной, тебе бы и в голову не пришло с ним пойти.

— Не знаю, чем это я такая уж неблагодарная! Если ты имеешь в виду свои подарки, пожалуйста, бери их обратно. Очень они мне нужны!

В ее голосе появились сварливые нотки, которые он не раз у нее слышал.

— Думаешь, весело всегда ходить с тобой? Вечно одно и то же: «Ты меня любишь?», «Ты меня любишь?». Прямо тошно становится...

Он знал, что безумие ее об этом спрашивать, но никак не мог удержаться от этого вопроса.

— Да-да, ты мне нравишься, — отвечала она.

— Только и всего? А я люблю тебя больше жизни...

— Ну, я не из таковских, чтобы об этом трепать языком.

— Если бы ты знала, как я был бы счастлив от одного твоего слова!

— Что ж, я так всем и говорю: берите меня такой, какая я есть, не нравится — всего вам с кисточкой!

Но иногда она выражалась еще откровеннее и на его вопрос отвечала:

— Ах, да не нуди ты все про одно и то же!

Тогда он мрачнел и замолкал. Он ее ненавидел.

...Вот и сейчас он ей сказал:

— Знаешь, если тебе со мной тошно, не пойму, зачем ты вообще со мной встречаешься?

— А ты думаешь, мне это очень надо? Ты же сам меня насильно заставляешь.

Жестоко задетый, он ответил ей в бешенстве:

— Ну да, я гожусь только на то, чтобы кормить тебя обедами и водить в театр, когда рядом нет никого более подходящего, а чуть кто-нибудь подвернется, я могу убраться к черту? Нет, спасибо, надоело.

— Я никому не позволю так с собой разговаривать. Вот я тебе покажу! Больно нужен мне твой дрянной обед!

Она встала, надела жакет и быстро вышла из ресторана. Филип остался сидеть. Он решил, что не тронется с места, но не прошло и десяти минут, как он вскочил в пролетку и погнался за ней, сообразив, что она поедет на вокзал на конке и они попадут туда одновременно.

Филип заметил ее на перроне, постарался, чтобы она его не увидела, и поехал в Херн-хилл тем же поездом. Он не хотел заговаривать с ней до тех пор, пока она не пойдет домой и ей некуда будет от него сбежать.

Как только она свернула с ярко освещенной, шумной улицы, он ее нагнал.

— Милдред! — позвал он.

Она продолжала идти, не глядя на него и не отвечая. Он окликнул ее снова. Тогда она остановилась и повернулась к нему.

— Чего тебе надо? Думаешь, я не видела, как ты торчал на вокзале? Оставь меня наконец в покое!

— Прости меня, пожалуйста. Давай помиримся.

— Нет. Мне надоели твои выходки и твоя ревность. Я тебя не люблю, никогда не любила и никогда не полюблю. И больше не желаю иметь с тобой ничего общего.

Она быстро пошла вперед, и ему пришлось чуть ли не бежать за ней вдогонку.

— Ну пойми же меня и прости,— говорил он.— Легко быть приятным с теми, кто тебе безразличен. И если бы ты знала, как трудно, когда любишь так сильно, как я. Ты хотя бы меня пожалела. Ведь я тебя не упрекаю, что ты меня не любишь. В конце концов, что ты можешь с собой поделать? Я только хочу, чтобы ты позволила мне любить тебя.

Она продолжала молча идти, и Филип в ужасе увидел, что они совсем уже близко от ее дома. Он стал униженно и бессвязно бормотать ей о своей любви и раскаянии.

— Если ты на этот раз меня простишь, обещаю: тебе больше не придется на меня сердиться. Можешь встречаться с кем тебе угодно. Я буду счастлив, если ты пойдешь со мной, когда у тебя не будет никого более интересного.

Она остановилась. Они дошли до угла, где всегда прощались.

— Можешь убраться. Вовсе не желаю, чтобы ты тащился за мной до самой двери.

— Я не уйду, пока ты меня не простишь.

— Господи, как мне все это осточертело!

Он медлил, инстинктивно чувствуя, что все-таки может ее разжалобить. Как ему ни было противно, он решился сказать:

— Какая ты злая, мне ведь и так несладко живется. Ты не понимаешь, что значит быть калекой. Конечно, я не могу тебе нравиться. Разве я не знаю, что не вправе от тебя этого требовать?

— Да я вовсе не то хотела сказать! — поспешно отозвалась она, и в голосе ее зазвучала жалость. — Ты же знаешь, что это не так!

Теперь он вошел в роль и продолжал тихим, сдавленным голосом:

— Нет, я это всегда чувствовал.

Она взяла его руку и посмотрела на него. На глазах у нее навернулись слезы.

— Даю тебе слово, вот на это я никогда не обращала внимания. Не прошло и двух дней, как мы познакомились, а я уже перестала это замечать.

Он хранил угрюмое, трагическое молчание. Ему хотелось, чтобы она думала, будто он не может побороть свое волнение.

— Ты же знаешь, что ты мне очень нравишься, Филип. Но иногда ты меня так злишь! Давай помиримся.

Она протянула ему губы, и со вздохом облегчения он ее поцеловал.

— Ну как, доволен? — спросила она.

— Ужасно.

Она пожелала ему спокойной ночи и убежала домой. На следующий день он подарил ей маленькие часики с брошкой, которые можно было приколоть к платью. Она уже давно мечтала о таких часах.

Но через несколько дней, подавая чай, Милдред сказала:

— Помнишь, что ты мне обещал в тот вечер? Ты сдержишь слово?

— Да.

Он заранее знал, что она сейчас скажет.

— Дело в том, что меня пригласил тот господин, о котором я тебе говорила.

— Хорошо, желаю тебе повеселиться.

— Ты не возражаешь?

Он теперь научился собой владеть.

— Меня это не очень радует, — улыбнулся он, — но я не хочу отравлять тебе жизнь.

Она с волнением ждала предстоящего свидания и не могла досыта о нем наговориться. Филип не понимал, делает она это потому, что хочет заставить его страдать, или просто лишена всякой чуткости. Он уже привык извинять ее

злые выходки тем, что она глупа. У нее не хватало ума понять, какую боль она причиняет.

«Да, не очень-то весело влюбиться в женщину, у которой нет ни воображения, ни чувства юмора», — думал он, прислушиваясь к тому, что она говорит.

Но этот недостаток многое оправдывал. Не то он никогда бы не смог простить ей своих страданий.

— Он взял билеты в «Тиволи», — говорила она, — попросил, чтобы я сама выбрала, и я решила пойти туда. А обедать мы будем в кафе «Ройал». Он уверяет, что это самый дорогой ресторан в Лондоне.

«Еще бы, ведь он джентльмен в полном смысле слова», — мысленно добавил Филип, сжав зубы, чтобы у него это не вырвалось вслух.

Филип пошел в «Тиволи», чтобы поглядеть на Милдред с ее спутником; это был смазливый молодой человек с прилизанными волосами и щеголеватым видом коммивояжера; они сидели во втором ряду партера. На голове у Милдред была большая черная шляпа со страусовыми перьями, которая очень ей шла. Она слушала своего спутника со спокойной улыбкой, которую Филип так хорошо знал; бурное проявление чувств было не в ее характере, и только пошлая шутка могла вызвать у нее смех; но Филип видел, что ей очень весело. Он с горечью подумал, что ее спутник с его дешевым крикливым лоском — ей настоящая пара. При ее вялом характере ей должны нравиться шумные люди. Филип любил споры, но не владел даром занимать собеседника пустой болтовней. Он завидовал непринужденному шутовству некоторых своих приятелей, вроде Лоусона; чувство неполноценности делало его робким и неуклюжим. То, что интересовало его, нагоняло на Милдред скуку. Она считала, что мужчины должны разговаривать о футболе и скачках, а он понятия не имел ни о том, ни о другом. Он не знал и ходячих острот, которые всегда вызывают в обществе смех.

Филип всю жизнь уважал печатное слово и теперь, чтобы забавлять Милдред, стал прилежно читать «Спортинг таймс».

ГЛАВА 62

Филип скрепя сердце покорялся пожиравшей его страсти. Он знал, что все человеческое преходяще и потому рано или поздно всему должен настать конец. На это он возлагал все свои надежды. Любовь точила его, как червь, высасы-

вала все его жизненные соки; она поглощала все его существо целиком, не оставляя ему ни других радостей, ни других интересов. Прежде его восхищала изящная гармония Сент-Джеймского парка — он часто сидел там, глядя на ветви какого-нибудь дерева, тонко вычерченные в небе, словно на японской гравюре; он находил неизъяснимое очарование в прекрасной Темзе с ее баржами и причалами; изменчивое небо Лондона рождало в его душе светлое настроение. Но теперь красота потеряла для него всякий смысл. Когда с ним не было Милдред, он становился угрюмым и беспокойным. Иногда он пытался утолить свою тоску, глядя на картины, но бродил по Национальной галерее как случайный турист; ни одна из картин не вызывала в нем душевного волнения. Он спрашивал себя, сможет ли когда-нибудь опять наслаждаться тем, что прежде так любил. Чтение всегда было его самой большой радостью, но теперь он утратил к книгам всякий интерес и вяло просиживал свободные часы в институтской курилке, перелистывая один журнал за другим. Любовь была для него мукой, он ненавидел свою кабалу, чувствовал себя пленником и жаждал свободы.

Иногда, проснувшись утром, он ощущал в душе непривычный покой и ему казалось, что избавление пришло, что он уже свободен от этой позорной любви. Но стоило ему стряхнуть с себя сон, как сердце снова начинало надсадно ныть — тогда он понимал, что до исцеления ему далеко. Безумно тоскуя по Милдред, он ее презирал. Теперь он понимал, что нет на свете худшей пытки, чем любить и презирать в одно и то же время.

Копаясь, по обыкновению, в своей душе и без конца думая о своем положении, Филип решил, что вылечится от унижительной страсти, если сделает Милдред своей любовницей. Он испытывал к ней физическое влечение, и, если его удовлетворить, он освободится от своих невыносимых цепей. Он знал, что Милдред к нему совершенно равнодушна. Его страстные поцелуи вызывали у нее безотчетное отвращение. Она была лишена чувственности. Не раз он пытался пробудить ее ревность рассказами о своих парижских приключениях, но это ее вовсе не интересовало; в кафе он иногда подсаживался к столикам других официанток и делал вид, будто с ними заигрывает, но она оставалась совершенно безучастной. Он видел, что она нисколько не притворяется.

— Ничего, что я сел сегодня за чужой столик? — спросил он однажды, провожая ее на вокзал. — Все твои, кажется, были заняты.

Это была неправда, но она не стала спорить. Даже если ее и не огорчила его маленькая измена, он был бы ей благодарен, сделай она вид, что ревнует. Самый легкий упрек был бы бальзамом для его души.

— По-моему, глупо, что ты садишься каждый день за один и тот же столик,—ответила она.—Надо время от времени быть вежливым и с другими девушками.

Но чем больше он об этом думал, тем тверже верил, что, только если она ему отдастся, он почувствует себя свободным. Он был точно рыцарь из старой сказки, превращенный колдуном в чудовище, который едет на поиски волшебного напитка, чтобы вернуть себе природную красоту и стать. Филип мог надеяться только на одно. Милдред очень хотелось побывать в Париже. Как и для большинства англичан, Париж был для нее царством веселья и мод; она слышала о магазине «Лувр», где можно было купить самую модную вещь вдвое дешевле, чем в Лондоне. Одна из ее подруг провела медовый месяц в Париже и пробыла в этом магазине целый день; хотите верьте, хотите нет, но, пока они с мужем жили в Париже, они не ложились в постель раньше шести утра; они были даже в «Мулен Руж» и еще невесть где. Филипу не хотелось думать о том, что, если в Париже она и уступит его домогательствам, это будет только вынужденной расплатой за полученное удовольствие. Не все ли равно, какой ценой он удовлетворит свою страсть. У него даже появилась безумная, мелодраматическая мысль ее опоить. Он заставлял ее пить, но она не любила вина; ей нравилось, когда он заказывал шампанское—это было шикарно, но никогда не выпивала больше половины бокала. Она любила оставлять нетронутым полный до краев бокал.

— Пусть официанты видят, с кем они имеют дело.

Филип воспользовался минутой, когда она казалась ласковее, чем обычно. В конце марта ему предстояли экзамены по анатомии. Неделей позже, на пасху, Милдред должна была получить три выходных дня.

— Послушай,—предложил он,—почему бы нам не съездить в Париж? Мы бы так чудесно провели время.

— Что ты, это будет стоить уйму денег.

Об этом Филип уже думал. Поездка обошлась бы ему по меньшей мере в двадцать пять фунтов. Для него это была большая сумма. Но на Милдред он готов был истратить все, до последнего гроша.

— Ерунда! Скажи, родная, что ты поедешь!

— Еще что! Я и не подумаю ехать с холостым мужчиной, раз он мне не муж. Как ты смеешь даже заикаться об этом?

— Какая разница?

Он стал распространяться о великолепии рю де ла Пэ и блеске «Фоли Бержер». Он описал магазины «Лувр» и «Бон Марше». Он рассказал ей о различных кабаре, посещаемых иностранными туристами. Он расписал ярчайшими красками те стороны Парижа, которые сам ненавидел. Он умолял ее с ним поехать.

— Послушай,— сказала она,— ты говоришь, что меня любишь, но, если бы ты действительно меня любил, ты бы на мне женился. А ведь ты даже ни разу не сделал мне предложения.

— Ты же знаешь, что мне еще не по средствам жениться. В конце концов я только на первом курсе и целых шесть лет не буду зарабатывать ни гроша.

— А я тебя и не упрекаю. Я бы все равно за тебя не пошла, хоть ты тут ползай передо мной на коленях.

Он не раз уже думал, не жениться ли ему на ней, но эта мысль приводила его в ужас. В Париже он пришел к убеждению, что брак — смешной мещанский пережиток. К тому же он знал, что постоянная связь с этой женщиной будет его гибелью. Он был полон предрассудков своего класса, и его ужасала мысль о женитьбе на официантке. Жена из простонародья помешает ему получить приличную практику. Наконец, денег у него в обрез, он едва дотянет до получения диплома; он не мог бы содержать жену, даже если бы они условились не иметь детей. Он вспомнил Кроншоу, привязанного к вульгарной девке, и содрогнулся. Он представлял себе, во что превратится Милдред с ее жеманными манерами и пошленькой душой; нет, жениться на ней просто невозможно. Но все это он решал рассудком; чувство же подсказывало ему, что он должен получить ее любой ценой, и, если не сможет этого добиться без брака, он женится на ней, будь что будет. Пусть дело кончится катастрофой — ему все равно. Когда у него появлялась какая-нибудь мысль, она завладевала им целиком, ни о чем другом он не мог думать; к тому же он отлично умел убеждать себя в правильности того, чего ему хотелось. Один за другим он отбрасывал все разумные аргументы против этого брака. С каждым днем он все больше привязывался к ней; неудовлетворенное чувство делало его злым и раздражительным.

«Ну, если я на ней женюсь, тут уж я заставлю ее заплатить за все мучения, которые от нее терплю», — говорил он себе. Наконец он почувствовал, что не может больше

этого вынести. Однажды вечером после обеда в маленьком ресторанчике в Сохо, где они теперь часто бывали, он сказал:

— Послушай, ты серьезно сказала на днях, что не выйдешь за меня замуж, даже если я попрошу?

— Ну да, а что?

— Я не могу жить без тебя. Я хочу, чтобы ты была со мной все время. Я старался в себе это подавить, но не смог. Теперь уж я и бороться перестал: видно, это на всю жизнь. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

Она начиталась достаточно романов, чтобы знать, как подобает отвечать в таких случаях.

— Я, конечно, очень благодарна тебе, Филип. Твое предложение для меня — большая честь.

— Не болтай чепухи. Ты выйдешь за меня замуж?

— А ты уверен, что мы будем счастливы?

— Нет. Ну и что из этого?

Слова вырвались у него против воли. Они ее удивили.

— Вот чудак! Зачем тогда ты хочешь на мне жениться? К тому же ты сказал, что тебе это не по карману.

— У меня еще осталось около тысячи четырехсот фунтов. Вдвоем жить не дороже, чем одному. Нам хватит моих денег, пока я не получу диплома и не пройду практики в госпитале, а потом я наймусь к кому-нибудь ассистентом.

— Значит, ты еще целых шесть лет ничего не будешь зарабатывать? И пока что нам придется жить на четыре фунта в неделю?

— Нет, на три, не больше. Мне надо платить за учение.

— А сколько ты будешь получать, работая ассистентом?

— Три фунта в неделю.

— Да неужели тебе надо зубрить все эти годы да еще и потратить весь твой капитал на то, чтобы в конце концов зарабатывать три фунта в неделю? Мне ведь будет житья не лучше, чем сейчас.

Он помолчал.

— Другими словами, ты за меня не пойдешь? — спросил он хриплым голосом. — А вся моя любовь, стало быть, для тебя ровно ничего не значит?

— В таких делах надо думать раньше всего о себе. Я, конечно, не прочь выйти замуж, но зачем мне это делать, если я буду жить не лучше, чем сейчас? На кой мне это нужно?

— Ты бы так не рассуждала, если бы я тебе нравился.

— Может быть.

Филип замолчал. Он выпил залпом стакан вина, чтобы проглотить комок, подступивший к горлу.

— Посмотри на ту девушку, которая идет к выходу,— сказала Милдред.— Она купила горжетку в магазине «Бон Марше» в Брикстоне. Я видела ее на витрине, когда проходила мимо.

Филип мрачно улыбнулся.

— Чего ты смеешься? — сказала она.— Ей-богу, правда. Я еще тогда сказала тете, что ни за что не куплю чего-нибудь с витрины: охота, чтобы каждый знал, сколько ты заплатила.

— Я тебя понять не могу. Ты разбиваешь мне сердце и тут же порешь всякую чушь, которая не имеет никакого отношения к нашему разговору.

— Как тебе не стыдно,— отвечала она обиженно.— Разве я могла не обратить внимания на эту горжетку, если я еще тогда сказала тете...

— Наплевать мне, что ты сказала тете!..— нетерпеливо прервал ее Филип.

— Не смей выражаться! Ты же знаешь, как я этого не люблю.

Филип усмехнулся, но в глазах у него было бешенство. Он помолчал. Он посмотрел на нее насупившись. Он ненавидел, презирал и любил ее.

— Если бы у меня была хоть капля здравого смысла, я бы никогда с тобой больше не встречался,— сказал он наконец.— Знала бы ты, как я себя проклиная за то, что полюбил тебя.

— С твоей стороны не очень-то красиво мне это говорить,— ответила она, надув губы.

— Да, красоты тут мало,— рассмеялся он.— Пойдем в театр.

— Ну и чудак же ты, смеешься всегда не к месту. Я тебя потому и понять не могу. А если тебе со мной плохо, зачем идти в театр? Я могу поехать домой.

— Затем, что с тобой мне не так плохо, как без тебя.

— Интересно все-таки, что ты обо мне думаешь на самом деле?

Он громко рассмеялся.

— Милая, если бы ты знала это, ты бы со мной больше никогда и разговаривать не стала.

ГЛАВА 63

В конце марта Филип провалился на экзамене по анатомии. Они готовились к нему вместе с Дансфордом по скелету, который купил Филип, задавая друг другу вопросы

до тех пор, пока оба не выучили каждую связку, каждое утолщение и каждую впадину в человеческих костях. Но в экзаменационном зале Филипа вдруг охватила паника, и он не смог ответить на заданные вопросы, боясь, что ответит неверно. Он сразу понял, что провалился, и даже не дал себе труда пойти на следующий день в институт, чтобы это проверить. Вторичный провал окончательно зачислил Филипа в группу тупиц и лентяев его курса.

Но это его мало трогало. Он думал о другом. Он говорил себе, что Милдред — все-таки женщина, надо только ее разбудить; у него была своя теория, он считал, что женщина распутна по самой своей природе и что настойчивость в конце концов всегда победит. Весь вопрос заключался в том, чтобы дожидаться своего часа, сдерживать раздражение, обезоружить ее мелкими знаками внимания, воспользоваться минутой физической усталости, которая всегда смягчает волю, превратить себя в прибежище от мелких огорчений, связанных с ее работой. Он рассказывал Милдред о связях своих парижских друзей с веселыми подружками. Жизнь, которую он описывал, была полна очарования, озорства, в ней не было и тени скотской грубости. Вплетая в свои воспоминания приключения Мими, Родольфа, Мюзетты и остальных героев Мюрже, он поведал Милдред повесть о беззаботной нищете, которую скрашивали песни и смех, о не признанной законом любви, которую возвышала красота и молодость. Он никогда не нападал на ее предрассудки, но пытался их победить, убеждая ее, что все это нравы глухой провинции. Он не позволял себе принимать близко к сердцу ее невнимание или сердиться на ее равнодушие. Он знал, что она с ним скучает; сделав над собой усилие, старался ей во всем угодить и всячески ее развлекал; не позволял себе раздражаться, никогда ни о чем не просил, не жаловался, никогда ее не бранил. Когда она не приходила на свидание, он встречал ее на следующий день с улыбкой; если же она начинала извиняться, он отвечал, что все это не имеет никакого значения. Теперь он никогда не показывал виду, что она заставляет его страдать. Он понимал, что его болезненная страсть ей в тягость, и стал тщательно скрывать малейшее проявление чувства, которое могло быть ей неприятно. Он вел себя героически.

Хотя Милдред никогда не упоминала о происшедшей в нем перемене — она, видно, и не очень-то ее сознавала, — эта перемена все же на нее подействовала: Милдред стала с ним доверчивее, рассказывала ему о своих маленьких обидах — а она постоянно была обижена — то на заведующую

кафе, то на одну из официанток, то на свою тетку. Она стала разговорчивее, и, хотя ее болтовня не касалась ничего, кроме мелких повседневных дел, Филипу не надоедало ее слушать.

— Когда ты ко мне не пристаешь со своей любовью, ты мне нравишься,— сказала она ему как-то раз.

— Ну, это ты мне польстила,— рассмеялся он.

Милдред было невдомек, как опечалили Филипа ее слова и каких усилий стоил ему этот беспечный ответ.

— Если тебе так уж хочется меня поцеловать, что ж, пожалуйста,— сказала она в другой раз.— Меня от этого не убудет, а тебе — удовольствие.

Порой она даже сама просила его пойти с ней поужинать, и это приводило его в умиление.

— Я бы ни с кем другим себе этого не позволила,— говорила она извиняющимся тоном.— Но с тобой можно.

— Вот спасибо,— улыбался он.

Однажды вечером, в конце апреля, она попросила его пойти с ней куда-нибудь поесть.

— Хорошо,— сказал он.— А куда бы тебе хотелось сходить потом?

— Давай никуда не пойдем. Посидим, поболтаем. Ты не возражаешь?

— Конечно, нет.

Ему показалось, что она понемножку начинает к нему привязываться. Три месяца назад мысль о вечере, проведенном с ним наедине, нагнала бы на нее смертельную тоску. День был ясный, и весна вселяла в Филипа бодрость. Он уже привык довольствоваться малым.

— Послушай,— сказал он, когда они ехали на имперале конки (она сама настояла, что надо быть поэкономнее и не брать извозчика),— вот будет чудесно, когда настанет лето! Мы каждое воскресенье сможем проводить на Темзе. Возьмем с собою завтрак и устроим пикник.

Она слегка улыбнулась, и, осмелев, он взял ее за руку. Она ее не отняла.

— Мне кажется, что ты ко мне и в самом деле немножко привыкла,— улыбнулся он.

— Глупый, сам знаешь, что ты мне нравишься. А не то стала бы я с тобой ходить.

В маленьком ресторане в Сохо их уже знали как всегда, и, когда они вошли, *patronne*¹ встретила их с улыбкой. Официант подобострастно поклонился.

¹ Хозяйка (*фр.*).

— Давай сегодня закажу обед я,— предложила Милдред.

Филипу казалось, что сегодня она еще прелестнее, чем обычно, он протянул ей меню, и она заказала свои любимые блюда. Выбор был невелик, и они уже по многу раз перепробовали все, что мог предложить ресторан. Филипу было весело. Он глядел ей в глаза и любовался нежным овалом ее бледного лица. После обеда Милдред взяла сигарету. Курила она очень редко. «Неприлично, когда дама курит»,— постоянно твердила она.

Слегка запнувшись, Милдред спросила:

— Ты удивился, когда я сегодня напросилась с тобой поужинать?

— Сама знаешь, какое это для меня удовольствие.

— Мне надо тебе что-то сказать, Филип.

Он посмотрел на нее, сердце его упало, но он прошел хорошую школу.

— Валяй,— сказал он, улыбаясь.

— А ты обещаешь быть умницей? Дело в том, что я выхожу замуж.

— Да ну!— сказал Филип.

Это единственное, что он смог вымолвить. Он не раз думал о такой возможности и о том, как он тогда поступит и что скажет. Он смертельно страдал, представляя себе свое отчаяние, ярость, которая его охватит, мысли о самоубийстве; но, может быть, он слишком ясно предвидел все это— во всяком случае, теперь он чувствовал просто слабость, как во время тяжелой болезни, когда жизненная энергия уходит и больному становится безразличен исход его недуга: ему хочется только одного— покоя.

— Понимаешь, годы идут,— сказала она.— Мне уже двадцать четыре, пора устраивать свою жизнь.

Он молчал и машинально глядел на хозяйку за стойкой, потом перевел глаза на красное перо на шляпке одной из обедавших дам. Милдред даже обиделась.

— Ты бы мог меня поздравить,— сказала она.

— Поздравить? Мне все еще не верится, что это правда. Я так часто об этом думал. Вот смешно, что я так обрадовался, когда ты позвала меня пообедать. За кого же ты выходишь замуж?

— За Миллера,— ответила она, порозовев.

— За Миллера?— закричал пораженный Филип.— Но ты же не видела его несколько месяцев!

— Он завтракал у нас на прошлой неделе и сделал мне предложение. Он очень хорошо зарабатывает. Семь фунтов в неделю, и у него прекрасные виды на будущее.

Филип снова замолчал. Он вспомнил, что ей всегда нравился Миллер; он умел ее развлечь, а то, что он был иностранцем, окружало его каким-то экзотическим ореолом.

— Видимо, этого надо было ожидать,— сказал он наконец.— Ты должна принять предложение самого выгодного покупателя. Когда свадьба?

— В будущую субботу. Я уже заявила в кафе об уходе. У Филипа сжалось сердце.

— Так скоро?

— Мы поженимся гражданским браком. Эмиль считает, что так лучше.

Филип почувствовал страшную усталость. Ему захотелось поскорее от нее уйти и сразу же лечь в постель. Он попросил счет.

— Я посажу тебя на извозчика и отправлю на вокзал. Тебе вряд ли придется долго ждать поезда.

— А разве ты со мной не поедешь?

— Пожалуй нет, если ты не возражаешь.

— Как хочешь,— ответила она надменно.— Значит, увидимся завтра, ты ведь придешь пить чай?

— Нет, лучше сразу поставить точку. Зачем мне зря себя мучить? Кучеру я заплатил.

Он кивнул ей и заставил себя улыбнуться, потом сел на конку и поехал домой. Прежде чем лечь в постель, он выкурил трубку, но глаза его слипались. Он не чувствовал боли. Он заснул тяжелым сном, как только голова его коснулась подушки.

ГЛАВА 64

Но около трех часов ночи Филип проснулся и больше не мог заснуть. Его не оставляла мысль о Милдред. Как ни старался он о ней не думать, пересилить себя он не мог. Он все твердил и твердил себе, пока голова не пошла кругом: она должна была выйти замуж; девушкам, зарабатывающим себе на жизнь, нелегко живется, нашелся человек, который берется создать ей домашний уют, нечего порицать ее за то, что она согласилась. Он признавал, что с ее точки зрения было бы безумием выйти замуж за него, Филипа: только любовь может скрасить бедность, а ведь она его не любит. Это не ее вина; это просто факт, с которым надо считаться, как со всяким фактом. Филип пытался рассуждать хладнокровно. Он объяснял себе, что, по сути дела, чувство его родилось из раненого тщеславия и тщеславие же было

главной причиной его мучений. Он презирал себя не меньше, чем ее. Потом он стал строить планы на будущее, все те же всегдашние свои планы, которые перемежались с воспоминаниями о том, как он целовал ее нежные бледные щеки и как певуче звучал ее голос. Впереди у него было много работы — летом предстоял экзамен по химии, не считая двух переэкзаменовок. Он отдалился от своих товарищей по институту, но сейчас ему нужно было их общество. По счастливому стечению обстоятельств неделю назад ему написал Хейуорд — он сообщал, что будет проездом в Лондоне, и пригласил его пообедать; но Филип, боясь, что это помешает его встрече с Милдред, ответил отказом. Хейуорд собирался провести здесь весну, и Филип решил написать ему сам.

Он обрадовался, когда пробило восемь часов и можно было встать с постели. Он был бледен и чувствовал себя разбитым. Но он принял ванну, оделся, позавтракал, и у него стало легче на душе — боль несколько утихла. Ему не хотелось идти в это утро на лекции; вместо этого он отправился в универсальный магазин, чтобы купить Милдред свадебный подарок. После долгих колебаний он остановился на дорожном несессере. Он стоил двадцать фунтов, и это было много больше того, что он мог себе позволить, зато подарок был кричащий и безвкусный. Филип знал, что она тут же позаботится выяснить, сколько он стоит, и находил горькое удовлетворение в том, что выбрал подарок, который ей понравится и в то же время будет выражать его презрение.

Филип с тревогой ждал дня свадьбы Милдред; он боялся, что ему предстоит пережить нечеловеческие муки, и обрадовался, получив в субботу утром письмо от Хейуорда, в котором тот писал, что сегодня приезжает и зайдет за Филипом, чтобы тот помог ему найти квартиру. Желая отвлечься от своих мыслей, Филип взял расписание, выяснил, когда приходит поезд Хейуорда, и отправился на вокзал. Встреча приятелей была восторженной. Оставив багаж в камере хранения, они весело отправились в путь. Хейуорд предложил — это было так на него похоже — прежде всего провести часок в Национальной галерее; он уже давно не видел картин, и ему нужно на них поглядеть, чтобы вернуть себе вкус к жизни. Филип долгое время не встречался с людьми, с которыми можно было поговорить об искусстве или книгах. Со времени их парижской встречи Хейуорд увлекся новейшей французской поэзией, а во Франции такое изобилие поэтов, что он без труда мог

рассказать Филипу о нескольких новых гениях. Они бродили по Национальной галерее, показывая друг другу свои любимые картины; от одной темы они перескакивали к другой; беседа становилась все более оживленной. Солнце сияло, и воздух дышал приятным теплом.

— Давай посидим в Гайд-парке, — предложил Хейуорд. — Квартиру поищем после завтрака.

В парке царил весна. День был удивительный, невольно сердце радовалось тому, что живешь на свете. Молодая зелень деревьев нежно вырисовывалась на фоне неба, а по небу — бледному, прозрачно-голубому — были раскиданы легкие, пушистые облачка. За зеркальной гладью пруда высилась серая громада казарм конной гвардии. Чинное изящество раскинувшегося перед ними пейзажа дышало прелестью картин восемнадцатого века. Впрочем, парк напоминал не Ватто, чьи ландшафты полны такой идиллии, какую увидишь разве только во сне, а скорее более прозаического Жана-Батиста Патера. На душе Филипа было легко. Он понял то, о чем прежде только читал: искусство (а он воспринимал природу как художник) способно утолять душевные муки.

Они зашли позавтракать в итальянский ресторан и заказали *fiaschetto*¹ кьянти. Увлеченные беседой, они засиделись за столом. Они вспоминали своих гейдельбергских знакомых, говорили о парижских друзьях Филипа, о книгах, картинах, о нравах и о жизни; вдруг Филип услышал, как часы пробили три, и вспомнил, что Милдред уже замужем. Он почувствовал, как его, словно ножом, резануло по сердцу, и с минуту не слышал, что говорил ему Хейуорд. Филип налил себе еще кьянти. Он не привык к вину, и хмель ударил ему в голову. Зато сейчас у него было легко на душе. Его ум так долго бездействовал, что беседа привела его в возбуждение. Филип был рад поговорить с человеком, который жил теми же интересами, что и он сам.

— Послушай, — сказал он, — не будем тратить этот великолепный день на поиски квартиры. Переночуешь у меня. А квартиру найдешь завтра или в понедельник.

— Хорошо. Что же мы будем делать? — откликнулся Хейуорд.

— Давай сядем на паром и поедем в Гринвич.

Эта мысль понравилась Хейуорду, и они, взяв извозчика, отправились к Вестминстерскому мосту. Там они как раз успели на отходивший паромодик.

¹ Бутылочку (*ит.*).

— Помню,— сказал Филип с улыбкой,— когда я приехал в Париж, кто-то, кажется Клаттон, произнес длинную речь о том, что красотой наделяют действительность художники и поэты. Они творят красоту. По существу, между колокольной Джотто и фабричной трубой нет никакой разницы. Но прекрасные произведения обогащаются тем чувством, которое они вызывают в последующих поколениях. Вот почему старые вещи прекраснее современных. «Ода о греческой урне»¹ сегодня прелестнее, чем тогда, когда ее сочинили, потому что целое столетие ее читали несчастные влюбленные и находили утешение в ее строках.

Филип предоставил Хейуорду самому догадываться, какой из проплывавших мимо парохода пейзажей навял ему эти мысли,— ему было так приятно, что собеседнику ничего не нужно разжевывать. Его глубоко волновало, что он вырвался из той жизни, которую так долго вел. Висевшее над Лондоном нежное марево окрашивало серые камни зданий в мягкие оттенки пастели; очертания верфей и складов могли по четкости и изяществу линий поспорить с японской гравюрой. Они плыли вниз по течению: великолепная река — символ обширной империи,— полная движения и жизни, все шире расступалась перед ними; Филип с благодарностью думал о художниках и поэтах, открывших столько красоты в том, что его окружало. Перед ними раскинулся лондонский порт; кто может описать его величие? При виде его загорается воображение — столько образов населяют эту широкую протоку: доктор Джонсон и рядом с ним Босуелл², а вот и старик Пепис³ вступает на борт военного корабля; тут оживает пышный карнавал английской истории с ее романтикой и дерзаниями. Филип повернулся к Хейуорду, глаза его блеснули.

— Милый Чарлз Диккенс,— прошептал он, смеясь над собственным волнением.

— А ты не жалеешь, что бросил живопись? — спросил Хейуорд.

— Нет.

— Значит, тебе нравится медицина?

— Ничуть, но ничего другого мне не подвернулось. Нудная зубрежка в первые два года учения ужасно меня

¹ Стихотворение английского поэта Джона Китса (1795—1821).

² Джеймс Босуелл (1740—1795) — биограф английского писателя Сэмюэла Джонсона.

³ Сэмюэл Пепис (1633—1703) — чиновник адмиралтейства, автор знаменитых мемуаров.

угнетает, и, к несчастью, у меня, по-видимому, нет особой склонности к наукам.

— Но не можешь же ты снова менять профессию!

— Конечно, нет. Я доведу это дело до конца. Наверно, медицина станет интереснее, когда я перейду в больницу на практику. Меня, кажется, больше всего на свете интересуют люди. И пожалуй, медицина — единственная профессия, которая дает тебе независимость. Ты носишь знания у себя в голове; с ящичком инструментов и небольшим запасом лекарств можно найти работу повсюду.

— Разве ты не собираешься обзавестись частной практикой?

— Во всяком случае, не скоро, — ответил Филип. — Как только я пройду практику в больнице, поступлю на судно; мне хочется повидать Восток — Малайский архипелаг, Сиама, Китай и прочие страны, — а потом возьмусь за любую работу, какая попадется. Что-нибудь всегда подвернется — ну, например, холерная эпидемия в Индии. Мне не хочется сидеть на одном месте. Я мечтаю повидать мир. Для бедняка единственный способ увидеть мир — это сделаться врачом.

Пароход подошел к Гринвичу. Над рекой величественно высилось благородное здание, построенное Иниго Джонсом.

— Погляди, вот, должно быть, то место, где бедный Джек нырял в реку за медяками, — сказал Филип.

Они стали бродить по парку. Там играли оборванные дети, и воздух звенел от их крика; на солнышке грелись старые моряки. Казалось, все здесь было, как сто лет назад.

— Жаль, что ты потерял два года в Париже, — сказал Хейурд.

— Потерял? Погляди на движения этого ребенка, на узоры, которые чертит на земле солнце, пробиваясь сквозь листву, на небо... Знаешь, я никогда бы по-настоящему не увидел этого неба, если бы не два года в Париже.

Хейурду показалось, что голос у Филипа дрогнул, и он поглядел на него с изумлением.

— Что с тобой?

— Ничего. Извини мою дурацкую чувствительность, за последние полгода я так изголодался по красоте.

— Ну, ты меня удивил. Ведь раньше ты был таким сухарем...

— Черт побери, я вовсе не хотел тебя удивлять, — рассмеялся Филип. — Пойдем-ка пить самый что ни на есть прозаический чай.

Приезд Хейурда был для Филипа спасением. С каждым днем он все меньше думал о Милдред. Прошрое он вспоминал с брезгливостью. Ему было непонятно, как мог он поддаться такому позорному чувству; он думал о Милдред со жгучей ненавистью; из-за нее он перенес столько унижений. Теперь он помнил только недостатки ее характера и внешности; его пробирала дрожь при одной мысли о былых отношениях с ней.

«Все это из-за моего проклятого слабодушия»,— говорил он себе. Его любовная история напоминала неприличную выходку, учиненную при всем честном народе; она уже непоправима, и единственное средство—поскорее о ней забыть. А в этом ему помогала ненависть к пережитому позору. Он был как змея, сбросившая кожу, и с гадливостью озирался на старую оболочку. Его радовало, что он снова стал самим собой; он видел, сколько радости упустил в жизни, пока был погружен в безумие, именуемое любовью. Нет, с него хватит; если любовь такова, он больше не желает любить. Он поделился с Хейурдом кое-чем из того, что ему пришлось пережить.

— Помнишь, это, кажется, Софокл молился о том, чтобы поскорее настал час, когда он освободится от хищного зверя — страсти, пожирающей его сердце?

В самом деле, Филип словно родился заново. Он вдыхал весенний воздух, будто никогда им раньше не дышал, получал ребяческое удовольствие от всего, что происходит на свете. Пору своих безумств он называл полугодом каторги.

Не прошло и нескольких дней после приезда Хейурда в Лондон, как Филип получил приглашение из Блэкстебла на выставку картин из одной частной коллекции. Он взял с собой Хейурда и, просматривая каталог, заметил, что на выставке есть картина Лоусона.

— Наверно, это он прислал приглашение,— сказал Филип.— Давай поищем его, он, должно быть, стоит возле своей картины.

Картина — портрет Рут Чэлис в профиль — была повешена в дальнем углу, и Лоусон действительно оказался неподалеку от нее. В светской толпе, собравшейся на вернисаж, художник в своей широкополой мягкой шляпе и просторном светлом костюме выглядел немножко растерянным. Он радостно поздоровался с Филипом и, как всегда словоохотливо, сообщил, что переселился в Лондон, что Рут

Чэлис — потаскушка, что он снял мастерскую (с Парижем покончено), что ему заказали портрет, а им нужно пообедать вместе и наговориться всласть, как в былые дни. Филип напомнил ему, что он уже знаком с Хейурдом, и его позабавило впечатление, которое тот произвел на Лоусона своим элегантным костюмом и изысканными манерами. Хейурд был здесь в своей стихии — не то что в убогой маленькой мастерской Лоусона и Филипа в Париже.

За обедом Лоусон продолжал рассказывать новости. Фланаган вернулся в Америку. Клаттон исчез. Он пришел к убеждению, что нельзя ничего создать, пока живешь в атмосфере искусства, среди художников, — надо спасаться бегством. Чтобы облегчить себе этот шаг, он перессорился в Париже со всеми. У него развилась страсть резать всем в глаза правду-матку, и это помогло его друзьям стойко перенести известие о том, что Клаттон намерен отрясти прах французской столицы от ног своих и переселиться в маленький городок на севере Испании, приглянувшийся ему из окна поезда по пути в Барселону. Он живет сейчас в этом городке отшельником.

— Интересно, выйдет ли из него толк, — сказал Филип.

Судорожные попытки Клаттона выразить нечто самому ему неясное, дремлющее в его сознании, сделали художника угрюмым и раздражительным; Филипа занимала психологическая сторона вопроса. Он смутно чувствовал, что и сам находится в таком же положении, только ищет смысла не в искусстве, а в собственной жизни. Ему приходится выражать свое «я» поступками, образом действия, и он не знает, как ему быть.

Впрочем, Филипу некогда было додумать эту мысль до конца — Лоусон пространно поведал ему повесть о своих отношениях с Рут Чэлис. Она бросила его ради юного студента, только что приехавшего в Париж из Англии, и вела себя непристойно. Лоусон полагал, что кому-нибудь следовало бы вмешаться и спасти этого молодого человека. Она его погубит. Насколько понимал Филип, Лоусон был огорчен главным образом тем, что разрыв произошел в разгар его работы над ее очередным портретом.

— Женщинам не дано понимать искусство, — сказал он. — Они только прикидываются, будто его понимают. — Но он рассудительно добавил: — Как бы то ни было, я выжал из нее четыре портрета, и еще неизвестно, как получился бы пятый.

Филип позавидовал легкости, с какой художник относился к своим романам. Он не без приятности провел

полтора года, бесплатно получил превосходную натурщицу и расстался с ней в конце концов без особой горечи.

— А что слышно о Кроншоу? — спросил Филип.

— Ну, он человек конченный, — с жестоким легкомыслием молодости ответил Лоусон. — Протянет не больше шести месяцев. Прошлой зимой он схватил воспаление легких и провалялся семь недель в английской больнице. Когда он оттуда вышел, врачи сказали, что его единственное спасение — бросить пить.

— Бедняга, — улыбнулся трезвенник Филип.

— Некоторое время Кроншоу крепился. Он все-таки продолжал посещать «Клозери де лила» — без этого он не мог обойтись, — но пил он там горячее молоко *avec de la fleur d'oranger*¹ и стал чертовски скучен.

— Ты, наверное, так ему и сказал?

— Ну, он сам это знает. Недавно снова запил. Говорит, что слишком стар и не может начинать все сначала. Не хочет прозябать пять лет, предпочитает счастливо прожить полгода и умереть. К тому же он последнее время, кажется, очень нуждается. Понимаешь, пока он был болен, он ни гроша не зарабатывал и его девка отравляла ему существование.

— Помню, как он меня поразил, когда я с ним познакомился, — сказал Филип. — Мне он показался человеком необыкновенным. Противно, что в жизни преуспевает только пошлая мещанская добродетель.

— Да нет, Кроншоу — подонок. Ему на роду было написано умереть под забором, — изрек Лоусон.

Филипа огорчило, что Лоусон сказал это без всякого сожаления. В жизни что посеешь, то и пожнешь, но ведь вся ее трагедия заключается в неумолимости, с какой следствие вытекает из причины.

— Ах, я совсем забыл, — сказал Лоусон. — Сразу после твоего отъезда Кроншоу прислал тебе подарок. Я думал, что ты вернешься, и не стал его пересылать, да к тому же он, по-моему, и не стоил того, чтобы отправлять его по почте; но я получу его вместе с моими вещами, и, если хочешь, зайди за ним ко мне в мастерскую.

— А что это такое?

— Да какой-то ветхий коврик. Ему, наверное, грош цена. Я даже спросил Кроншоу, какого черта он прислал тебе такую рвань. По его словам, он увидел его в какой-то лавчонке на рю де Ренн и купил за пятнадцать франков. Это

¹ С апельсиновым цветом (*фр.*).

как будто персидский ковер. Он сказал, что ты спрашивал его о смысле жизни и вот его ответ. Но он был пьян в стельку.

Филип рассмеялся.

— Ах да, понял. Я его возьму. Это была одна из любимых загадок Кроншоу. Он говорил, что я сам должен найти разгадку, не то ответ будет бессмысленным.

ГЛАВА 66

Занятия шли у Филипа легко. Дел у него было по горло: в июле ему предстояло держать экзамен по трем предметам — два из них он раньше провалил, — но он был доволен жизнью. У него появился новый друг. В поисках натурщицы Лоусон нашел актрису, игравшую маленькие роли в каком-то театре; собираясь уговорить ее позировать, он пригласил ее в одно из воскресений пообедать. Для приличия она привела с собой приятельницу, и Филипу, которого пригласили четвертым, было поручено эту подружку занимать. Задача была нетрудная — приятельница оказалась забавной болтушкой с острым язычком. Миссис Несбит пригласила Филипа к ней зайти; ее квартира находилась на Винсент-стрит, она всегда бывала часов в пять дома. Он пошел, остался доволен приемом и зачастил к ней. Миссис Несбит была миниатюрная женщина лет двадцати пяти, с привлекательным, хоть и некрасивым, скуластым личиком — на нем живо блестели глаза и весело улыбался большой рот. Лицо было ярким и напоминало портреты современных французских художников: кожа была необычайно белая, щеки — очень румяные, густые брови и иссиня-черные волосы. Все это создавало странное, но скорее приятное впечатление некоторой неестественности. Она развелась с мужем и зарабатывала на жизнь себе и ребенку сочинением бульварных романов. Несколько издателей специализировались на выпуске такого рода макулатуры, и заказов у нее было хоть отбавляй. Оплачивалась работа плохо, миссис Несбит получала пятнадцать фунтов за повесть в тридцать тысяч слов, но была довольна.

— В конце концов, — говорила она, — читателю это стоит всего два пенса, а он любит перечитывать одно и то же. Я просто меняю имена, вот и все. Когда мне это надоедает, я вспоминаю про счет из прачечной, квартирную плату или о том, что нужно купить ботиночки ребенку, и снова берусь за перо.

Кроме того, она подрабатывала в разных театрах на выходах, когда там нужны были статистки, — это давало ей от шестнадцати шиллингов до гиней в неделю. К концу дня она валилась с ног от усталости и засыпала мертвым сном. Она никогда не унывала. У нее было острое чувство юмора, и она умела посмеяться даже над неприятностями. Иногда ее дела принимали совсем плохой оборот, у нее не было ни гроша в кармане; тогда ее скудные пожитки перекочевывали в ломбард, а сама она сидела на хлебе с маслом, пока не возвращалось благоденствие. Хорошее настроение никогда ее не покидало.

Филипу была незнакома такая беззаботная, необеспеченная жизнь, и миссис Несбит очень его смешила, забавно описывая свою борьбу за существование. Он спросил ее, почему она не пытается заняться настоящей литературой, но она знала, что у нее нет таланта, а то чтиво, которое она мастерила не покладая рук, сносно оплачивалось, к тому же ни на что другое она не была способна. Никаких надежд на лучшее будущее она не питала. Не было у нее и родственников, а все друзья нуждались не меньше ее самой.

— Я не задумываюсь о будущем, — говорила она. — Если у меня хватает денег на квартирную плату и сверх того остается немножко на еду, значит, мне не о чем беспокоиться. Стоит ли жить на свете, если будешь думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне? Когда дела идут из рук вон плохо, всегда что-нибудь подвернется.

Вскоре Филип привык заходить к ней пить чай каждый день, а для того чтобы его посещения ее не обременяли, всякий раз приносил с собой либо пирог, либо фунт масла, либо пакетик чаю. Они стали называть друг друга по именам. Он не был избалован женским сочувствием и охотно рассказывал ей о всех своих злоключениях. Когда Филип бывал у нее, он не замечал, как бежит время. Он не скрывал, что восхищается ею. Она была отличным товарищем. Помимо воли он сравнивал ее с Милдред; упрямство и тупость одной, не проявлявшей ни малейшего интереса к чему бы то ни было, выходящему за пределы узкого круга ее представлений, были так не похожи на отзывчивость и живой ум другой. Ему становилось страшно при одной мысли, что он мог связать себя на всю жизнь с такой женщиной, как Милдред. Однажды вечером он рассказал Норе всю историю своей любви. Нельзя сказать, чтобы эта история его украшала, — и тем приятнее ему было встретить трогательное сочувствие.

— Кажется, вам повезло, что вы от всего этого избавились, — сказала она, когда он кончил.

У нее была смешная привычка склонять голову набок, как это делают маленькие лохматые щенки. Она сидела на стуле и шила — ей некогда было бездельничать, — а Филип уютно примостился у ее ног.

— Я даже сказать вам не могу, как я рад, что все это позади, — вздохнул он.

— Бедняжка, вам, видно, здорово досталось, — прошептала она и сочувственно положила ему руку на плечо.

Он поцеловал ее руку, но она ее отдернула.

— Зачем это? — спросила она, покраснев.

— А вы возражаете?

Она смотрела на него искрящимися от смеха глазами, потом улыбнулась.

— Нет, — сказала она.

Он привстал на колени и приблизил к ней свое лицо. Она твердо посмотрела ему прямо в глаза, и ее крупный рот дрогнул в улыбке.

— Ну и что? — спросила она.

— А знаете, вы молодец. Я вам так благодарен за ваше отношение ко мне. Вы мне ужасно нравитесь.

— Не будьте идиотом, — сказала она.

Филип взял ее за локти и привлек к себе. Не сопротивляясь, она чуть наклонилась вперед, и он поцеловал ее яркие губы.

— Зачем это? — снова спросила она.

— Потому, что это приятно.

Она не ответила, но в ее глазах мелькнула нежность, и она ласково провела рукой по его волосам.

— Понимаете, ужасно глупо, что вы так себя ведете. Мы были такими хорошими друзьями. Почему бы нам не остаться ими по-прежнему.

— Если вы действительно хотите воззвать к моему лучшему «я», — возразил Филип, — вам не следовало бы меня гладить.

Она тихонько засмеялась, но продолжала его гладить.

— Я себя очень плохо веду, да? — сказала она.

Филип удивился, ему стало немножко смешно, он заглянул ей в глаза и вдруг увидел там нежность и предательскую влагу; их выражение его тронуло. Он почувствовал волнение, и у него тоже навернулись слезы.

— Нора, неужели вы меня любите? — спросил он, сам себе не веря.

— Такой умный мальчик, а задает такие глупые вопросы.

— Хорошая вы моя, мне ведь и в голову не приходило, что вы можете меня полюбить.

Он прижал ее к себе и поцеловал, а она смеялась, краснела и плакала.

Выпустив ее, он отодвинулся, сел на корточки и посмотрел на нее с удивлением.

— Ах, будь я проклят! — сказал он.

— За что?

— Опомниться не могу.

— От удивления или от радости?

— От счастья! — воскликнул он чистосердечно. — И от гордости, и от восторга, и от благодарности.

Он взял ее руки и покрыв поцелуями. Для Филипа начались счастливые дни, которым, казалось, не будет конца. Они стали любовниками, но остались друзьями. В чувстве Норы к Филипу было немало материнского: ей нужно было кого-нибудь баловать, бранить, с кем-нибудь нянчиться; она была человек семейственный и получала удовольствие от того, что заботилась о его здоровье и о его белье. Его хромота, доставлявшая ему столько огорчений, вызывала у нее жалость, и эта жалость проявлялась в нежности. Она была молода, сильна и здорова, и отдавать свою любовь ей казалось вполне естественным. У нее был веселый и жизнерадостный нрав.

Филип ей нравился, потому что он смеялся вместе с нею над всем, что казалось ей смешным, а больше всего он нравился ей потому, что он был он.

Когда она ему это сказала, Филип весело ответил:

— Глупости. Я нравлюсь тебе потому, что я человек молчаливый и никогда не мешаю тебе болтать.

Филип совсем не был в нее влюблен. Она ему очень нравилась, ему приятно было проводить с ней время, его развлекали и занимали ее разговоры. Она вернула ему веру в себя и залечила раны его души. Ему необычайно льстило, что она его любит. Его восхищали ее мужество, ее оптимизм, дерзкий вызов, который она бросала судьбе; у нее была своя маленькая философия, бесхитростная и практическая.

— Знаешь, я не верю в церковь, священников и все такое прочее, — говорила она. — Но я верю в бога и думаю, что он на многое посмотрит сквозь пальцы, если только ты не ноешь и по мере сил помогаешь слабому. И еще я думаю, что люди, как правило, — очень хорошие, и мне жаль тех, про кого этого не скажешь.

— А как насчет загробной жизни? — спросил Филип.

— Я, конечно, ничего про нее не знаю наверняка, — улыбалась она, — но надеюсь на лучшее. Во всяком случае, там не придется платить за квартиру и писать бульварные романы.

Она обладала чисто женским умением тонко польстить. По ее словам, Филип совершил мужественный поступок, бросив Париж, когда убедился, что великий художник из него не получится. Сам он так и не мог решить до конца, был ли этот поступок продиктован мужеством или слабодушием, и ему было приятно сознавать, что она считала его героическим. Нора рискнула заговорить с ним и о том, что обходили молчанием все его друзья.

— Очень глупо с твоей стороны так переживать свою хромоту,— сказала она. Увидев, что он густо покраснел, она все-таки продолжала:— Знаешь, люди куда меньше это замечают, чем тебе кажется. Они обращают на это внимание только при первом знакомстве.

Он молчал.

— Ты на меня сердисься?

— Нет.

Она обняла его за шею.

— Пойми, я говорю об этом только потому, что люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты из-за этого себя мучил.

— Ты можешь говорить мне все, что тебе вздумается,— ответил он с улыбкой.— Эх, если бы я мог хоть как-нибудь показать, до чего я тебе благодарен!

Ей удалось прибрать его к рукам и в других отношениях. Она не давала ему ворчать и смеялась над ним, когда он сердился. Благодаря ей он стал куда приветливее.

— Ты умеешь заставить меня делать все, что ты хочешь,— сказал он ей как-то раз.

— А тебе это неприятно?

— Ничуть, я и хочу делать то, что тебе нравится.

У него хватало здравого смысла, чтобы понимать, как ему повезло. Он считал, что она дает ему все, что может дать жена, и в то же время не лишает его свободы; она была самым очаровательным другом, какого можно пожелать, и понимала его лучше любого мужчины. Их любовные отношения были крепким звеном в их дружбе, не больше. Они ее дополняли, но отнюдь не были самым для них главным. И потому, что желание Филипа было удовлетворено, он сделался уравновешеннее, уступчивее. Он чувствовал себя в ладу с самим собой. Иногда он вспоминал ту пору, когда был одержим безобразной, унижительной страстью, и сердце его наполнялось ненавистью к Милдред и отвращением к себе.

Приближались экзамены—они волновали Нору не меньше, чем его самого. Он был польщен и растроган ее вниманием. Она взяла с него слово, что он сразу же явится

к ней и сообщит результаты. На этот раз он благополучно сдал все три экзамена, и, когда пришел ей об этом сказать, она вдруг расплакалась.

— Ах, как я рада, я так беспокоилась!

— Дурочка,— рассмеялся он, но и его самого душили слезы. Таким отношением дорожил бы кто угодно.

— А что ты станешь делать теперь? — спросила она.

— Теперь я с чистой совестью могу отдохнуть. Я свободен до начала зимней сессии в октябре.

— Наверное, поедешь к дяде к Блэкстебл?

— И не подумаю. Останусь в Лондоне и буду тебя развлекать.

— Я бы предпочла, чтобы ты уехал.

— Почему? Я тебе надоел?

Она рассмеялась и положила руки ему на плечи.

— Потому, что тебе много пришлось поработать. Посмотри на себя — ты совсем извелся. Тебе нужны свежий воздух и покой. Пожалуйста, поезжай.

Он помедлил, глядя на нее с нежностью.

— Знаешь, я не поверил бы, что это искренне, если бы это была не ты. Ты думаешь только обо мне. Не пойму, что ты во мне нашла.

— Ты, видно, решил дать мне хорошую рекомендацию и деньги за месяц вперед,— весело рассмеялась она.

— Я напишу в рекомендации, что ты внимательна, добра, нетребовательна, никогда не волнуешься из-за пустяков, ненавязчива и тебе легко угодить.

— Все это чепуха,— сказала она,— но я тебе открою тайну: я одна из тех редких женщин, для кого жизненный опыт не проходит даром.

ГЛАВА 67

Филип с нетерпением ожидал возвращения в Лондон. За два месяца, которые он провел в Блэкстебле, он часто получал письма от Норы. Это были длинные послания, написанные размашистым, крупным почерком, в которых она с юмором описывала маленькие события повседневной жизни: семейные неприятности домохозяйки, дававшие ей богатую пищу для насмешек; комические происшествия на репетициях — она была статисткой в одном из популярных спектаклей сезона; наконец, забавные приключения с издателями ее романов. Филип много читал, купался, играл в теннис, катался на парусной лодке. В начале октября он

вернулся в Лондон и стал готовиться к очередным экзаменам. Ему хотелось поскорее их сдать — ими кончалась самая скучная часть учебной программы, и студент переходил на практику в больницу, имел дело уже не только с учебниками, но и с живыми людьми. С Норой Филип встречался ежедневно.

Лоусон провел лето в Пуле — он привез целую папку эскизов пристани и пляжа. Он получил несколько заказов на портреты и собирался пожить в Лондоне, пока его не выгонит из города плохое освещение. Хейуорд тоже был в Лондоне: он рассчитывал провести зиму за границей, но из лени с недели на неделю откладывал отъезд.

За последние годы Хейуорд оброс жирком — прошло пять лет с тех пор, как Филип познакомился с ним в Гейдельберге, — и преждевременно облысел. Он это очень переживал и отрастил длинные волосы, чтобы прикрывать просвет на макушке. Единственное его утешение было в том, что лоб у него теперь стал как у мыслителя. Голубые глаза выцвели, веки стали дряблыми, а рот, потеряв сочность, — бледным и слабавольным. Он все еще, хоть и с меньшей уверенностью, разглагольствовал о том, что собирается совершить в туманном будущем, но понимал, что друзья уже в него не верят. Выпив две-три рюмки виски, он впадал в меланхолию.

— Я неудачник, — бормотал он, — и не гожусь для жестокой борьбы за существование. Все, что я могу сделать, — это отойти в сторону и предоставить грубой толпе топтать друг друга из-за благ мирских.

Он давал понять, что быть неудачником — куда более возвышенная и благородная позиция, чем преуспевать. Он намекал, что его отчужденность от жизни вызвана отвержением ко всему пошлому и низменному. Особенно красиво говорил он о Платоне.

— А я думал, что ты уже перерос увлечение Платоном, — нетерпеливо сказал ему как-то Филип.

— Почему? — спросил Хейуорд, подняв кверху брови.

Он не склонен был об этом рассуждать. Хейуорд обнаружил, что куда выгоднее порой гордо промолчать.

— Не вижу смысла в том, чтобы снова и снова перечитывать одно и то же, — говорил Филип. — Это только один из видов безделья, и притом утомительный.

— Неужели ты так убежден в своей гениальности, что при первом же чтении постигаешь глубочайшие мысли философа?

— А я и не желаю их постигать, я не критик. Я интересуюсь философией не ради него, а ради себя.

— Зачем же ты тогда читаешь вообще?

— Отчасти для удовольствия — это вошло у меня в привычку, и мне так же не по себе, когда я ничего не читаю, как и когда я не курю, — отчасти же, чтобы лучше узнать самого себя. Когда я читаю книгу, я обычно всего лишь пробегаю ее глазами, но иногда мне попадается какое-нибудь место, может быть, одна только фраза, которая приобретает особый смысл для меня лично и становится словно частью меня самого; и вот я извлек из книги все, что мне было полезно, а ничего больше я не мог бы от нее получить, даже если перечел бы ее раз десять. Видишь ли, мне кажется, что каждый человек — точно нераскрывшийся бутон: то, что он читает или делает, по большей части не оказывает на него никакого воздействия; но кое-что приобретает для каждого из нас особое значение и словно разворачивает в тебе лепесток; вот так один за другим раскрываются лепестки бутона и в конце концов расцветает цветок.

Филипу самому не нравилась эта метафора, но он не знал, как иначе объяснить то, что чувствует, но пока еще смутно себе представляет.

— Ты хочешь что-то совершить, ты хочешь кем-то стать, — пожал плечами Хейурд. — Ах, как это вульгарно!

Теперь Филип хорошо знал цену Хейурду. Он был безволен, кокетлив и так тщеславен, что надо было все время следить за собой, как бы не задеть его самолюбия; в его сознании лень безнадежно перепуталась с идеализмом, и он сам не мог их разделить. Однажды в мастерской Лоусона он встретил журналиста, которого очаровала беседа с ним; неделю спустя редактор одной газеты прислал ему письмо, предлагая написать критическую статью. Целых двое суток Хейурда раздирали сомнения. Он так долго говорил о том, что намерен заняться журналистикой, что у него не хватало духу сразу же ответить отказом, но мысль о какой бы то ни было работе приводила его в ужас. В конце концов он отклонил предложение и вздохнул свободно.

— Это помешало бы моим основным занятиям, — сказал он Филипу.

— Каким занятиям? — безжалостно спросил Филип.

— Моей духовной жизни, — гласил ответ.

Потом он принялся с пафосом разглагольствовать о жевневском профессоре Амизле, чьи таланты сулили блестящее будущее, но так никогда и не проявились; только после его смерти была обнаружена причина и в то же время оправдание его неудач: гениальный дневник, который нашли в его бумагах. При этом Хейурд загадочно улыбался.

Впрочем, Хейуорд все еще мог увлекательно рассказывать о книгах; он обладал изысканным вкусом и тонко судил о литературе; он питал также неиссякаемый интерес к чужим мыслям, что делало его занимательным собеседником. По существу мысли эти были ему глубоко безразличны — они никогда не оказывали на него ни малейшего воздействия; он обращался с ними, как с фарфоровыми безделушками, выставленными в аукционном зале: он вертел их в руках, любясь формой и покрывавшей их глазурью, прикидывал в уме, сколько они должны стоить, потом, положив на место, тут же о них забывал.

Но именно Хейуорду суждено было сделать важнейшее открытие. Как-то вечером после соответствующей подготовки он повел Филипа и Лоусона в некий кабачок на Бикстрит, примечательный не только сам по себе и своей историей (он был овеян воспоминаниями о знаменитостях восемнадцатого века и будоражил романтическое воображение), но и лучшим в Лондоне нюхательным табаком, а самое главное — своим пуншем. Хейуорд ввел приятелей в большую длинную комнату с остатками былой роскоши и огромными изображениями обнаженных женщин на стенах: это были монументальные аллегории, написанные учениками Гейдона, но табачный дым, газ и лондонские туманы углубили их тона, и они стали похожи на картины старых мастеров. Темные панели, потускневшая массивная позолота карниза, столы красного дерева — все это создавало атмосферу роскоши и комфорта, и обитые кожей сиденья вдоль стен были мягкими и удобными. Прямо против входной двери красовалась на столе голова барана — в ней-то и держали знаменитый нюхательный табак.

Приятели заказали пунш. Они стали его пить. Это был горячий ромовый пунш. Перо дрогнуло бы перед попыткой описать его совершенство; такая задача не под силу трезвому словарю и скупым эпитетам этой повести — возбужденное воображение ищет возвышенных слов, цветистых, диковинных оборотов. Пунш зажигал кровь и прояснял голову; он наполнял душу блаженством, настраивал мысли на остроумный лад и учил ценить остроумие собеседника; в нем была неизъяснимая гармония музыки и отточенность математики. Только одно из его качеств можно было выразить сравнением: он согревал, как теплота доброго сердца; но его вкус и его запах невозможно описать словами. Если бы за это взялся Чарлз Лэм, он бы со своим безупречным тактом мог нарисовать очаровательные картины нравов своего времени; или лорд Байрон, посвятив ему станс

в «Дон Жуане» и добиваясь недостижимого, мог и достиг бы подлинного величия; Оскар Уайльд, рассыпая самоцветы Исфахана по византийской парче, наверно, сумел бы создать образы, полные чувственной красоты. В поисках сравнений ум бродил между видениями пиров Элагабала, утонченными мелодиями Дебюсси и пряным ароматом сундуков, где хранятся старинные наряды, кружевные брыжи, короткие панталоны, камзолы давно минувших дней; сюда надо добавить едва уловимое дыхание ландышей и запах острого сыра...

Хейуорд открыл кабачок с этим бесценным напитком, встретив на улице человека по фамилии Макалистер, с которым он учился в Кембридже; то был биржевой маклер и философ. Он посещал этот кабачок раз в неделю; вскоре Филип, Лоусон и Хейуорд стали встречаться здесь в вечерние часы каждый вторник. Мода изменчива, и в кабачке теперь бывало немного посетителей, что оказалось на руку любителям застольной беседы. У Макалистера, широкого в кости и приземистого для своей комплекции, были крупное мясистое лицо и мягкий голос. Последователь Канта, он судил обо всем с точки зрения чистого разума и страстно любил развивать свои теории. Филип слушал его с живым интересом. Он давно пришел к убеждению, что ничто не занимает его так, как метафизика, но не был уверен в ее пользе для житейских дел. Скромная философская система, которую он выработал, размышляя в Блэкстебле, не очень-то помогла ему во время его увлечения Милдред. Он сомневался, что рассудок может быть хорошим пособником в жизни. Похоже было на то, что жизнь течет сама по себе. Он ясно помнил, как властно владело им чувство и как он был бессилен против него, словно привязан к земле канатом. В книгах можно было вычитать много мудрых мыслей, но судить он умел только по собственному опыту (и не знал, отличается ли он в этом отношении от других). Решаясь на какой-нибудь шаг, он не взвешивал «за» и «против», не подсчитывал будущей выгоды или убытка — его неудержимо влекло куда-то, и все. Он жил не отдельной частицей своего «я», а всем своим существом в целом. Сила, во власти которой он находился, не имела, казалось, ничего общего с рассудком; рассудок его только указывал ему способ добиться того, к чему стремилась его душа.

Макалистер напомнил ему о категорическом императиве.

— «Действуй так, чтобы каждый твой шаг был достоин стать правилом поведения для всех людей».

— По-моему, это полнейшая чепуха,— сказал Филип.

— Вы смельчак, если отзываетесь так об одном из тезисов Иммануила Канта,— возразил Макалистер.

— Почему? Слепое преклонение перед чужим авторитетом сводит человека на нет; на свете и так слишком много идолопоклонства. Кант выводил свои законы не потому, что они были непреложной истиной, а потому, что он был Кантом.

— Ну а почему вы возражаете против категорического императива?

(Они спорили с такой горячностью, словно на весы была брошена судьба целых империй.)

— Закон этот предполагает, что человек может избрать свой жизненный путь усилием воли. И что лучший путеводитель — человеческий разум. Но чем веления разума лучше приказа наших страстей? Просто власть их различна, вот и все.

— Вам, кажется, нравится быть рабом своих страстей.

— Я раб своих страстей поневоле, мне это вовсе не нравится,— рассмеялся Филип.

Говоря это, он вспомнил горячее безумие, которое толкало его к Милдред. Он вспомнил, как бунтовал против своей одержимости и как болезненно ощущал свое падение.

«Слава богу, теперь я от всего этого освободился»,— подумал он.

Но даже теперь он не был уверен, что не обманывает себя. Когда он находился во власти страстей, он чувствовал в себе необыкновенную силу, мозг его работал с удивительной ясностью. Он жил куда полнее в напряжении всех душевных сил, а это делало его нынешнее существование чуть-чуть бесцветным. Бурное, всепоглощающее ощущение жизни вознаграждало его за непереносимые страдания.

Впрочем, неосторожное заявление Филипа вовлекло его в спор о свободе воли, и Макалистер, обладавший обширными познаниями, приводил один аргумент за другим.

У него была врожденная любовь к диалектике, и он вынуждал Филипа противоречить самому себе; он загонял его в угол, откуда тому удавалось спастись только ценой тяжелых уступок; Макалистер опрокидывал его логикой и добивал авторитетами.

Наконец Филип признал:

— Я ничего не знаю о других людях. Могу сказать только о себе. Иллюзия, что воля моя свободна, так сильно во мне укоренилась, что я не в состоянии от нее избавиться, хотя и подозреваю, что это только иллюзия. Однако эта

иллюзия является одним из сильнейших стимулов всех моих поступков. Прежде чем что-нибудь совершить, я чувствую, что у меня есть выбор, и это влияет на каждый мой шаг; но потом, когда поступок уже совершен, я прихожу к убеждению, что он был неизбежен с самого начала.

— Какой же ты отсюда делаешь вывод? — спросил Хейуорд.

— А только тот, что всякие сожаления бесполезны. Снявши голову, по волосам не плачут, ибо все силы мироздания были обращены на то, чтобы эту голову снять.

ГЛАВА 68

Как-то утром, вставая с постели, Филип почувствовал головокружение; он снова лег и понял, что заболел. Руки и ноги ныли, его знобило. Когда хозяйка принесла ему завтрак, он крикнул ей в открытую дверь, что ему нехорошо, и попросил чашку чая с гренком. Через несколько минут кто-то постучал в дверь и вошел Гриффитс. Они жили в одном доме уже больше года, но знакомство их ограничивалось тем, что они кивали друг другу, встречаясь на лестнице.

— Я слышал, вам нездоровится, — сказал Гриффитс. — Вот и решил зайти взглянуть, что с вами.

Филип, сам не зная почему, покраснел и стал уверять, что все это пустяки. Через часок-другой он будет на ногах.

— Лучше дайте мне измерить вам температуру, — сказал Гриффитс.

— Ей-богу же, это ни к чему, — с раздражением ответил Филип.

— Не упрямитесь.

Филип сунул градусник в рот. Весело болтая, Гриффитс присел на край постели, потом вынул градусник и поглядел на него.

— Послушайте, дружище, вам надо полежать в кровати, а я приведу старика Дикона, пусть он вас осмотрит.

— Чепуха, — сказал Филип. — Ничего со мной не сделается. Не беспокойтесь обо мне.

— Какое тут беспокойство? У вас температура, и вам надо полежать. Верно?

У него была какая-то подкупающая манера говорить — озабоченный и в то же время мягкий тон. Филипу сосед показался чрезвычайно милым.

— Вы умеете найти подход к больному, — пробормотал Филип с улыбкой, закрывая глаза.

Гриффитс взбил его подушку, ловко расправил простыни и подоткнул одеяло. Он вышел в гостиную, поискал сифон с содовой водой и, не найдя его, принес сифон из своей квартиры. Затем он опустил шторы.

— Теперь засните, а я приведу старика, как только он кончит обход.

Филипу показалось, что прошло несколько часов, прежде чем Гриффитс появился снова. Голова у Филипа раскалялась, отчаянно ныли руки и ноги, он готов был расплакаться. Наконец в дверь постучали и явился Гриффитс — здоровый, сильный и веселый.

— Вот и доктор Дикон, — сказал он.

Врач подошел к постели — это был немолодой спокойный человек, — Филип видел его в больнице. Он задал несколько вопросов, быстро осмотрел больного и поставил диагноз.

— Ну а вы что скажете? — с улыбкой спросил он Гриффитса.

— Грипп.

— Совершенно верно.

Доктор Дикон оглядел убогую меблированную комнату.

— А вы не хотите лечь в больницу? Вас поместят в отдельную палату, и за вами будет лучший уход, чем тут.

— Я предпочитаю полежать дома, — сказал Филип.

Ему не хотелось трогаться с места, к тому же он всегда чувствовал себя стесненно в новой обстановке. Ему неприятно было, что вокруг него станут хлопотать сестры, и его пугала унылая чистота больницы.

— Я за ним поухаживаю, — сразу же вызвался Гриффитс.

— Что ж, хорошо.

Он выписал рецепт, сказал, как принимать лекарство, и ушел.

— Ну, теперь извольте слушаться, — сказал Гриффитс. — Я ваша дневная и ночная сиделка.

— Это очень мило с вашей стороны, но мне, право же, ничего не нужно, — сказал Филип.

Гриффитс положил руку ему на лоб. Это была крупная прохладная сухая рука, Филипу было приятно ее прикосновение.

— Я только схожу в нашу больничную аптеку и сразу же вернусь.

Немного спустя он принес лекарство и дал Филипу. Потом поднялся наверх за своими книгами.

— Вам не помешает, если я буду заниматься у вас в гостиной? — спросил он, вернувшись. — Я оставляю дверь открытой, и вы сможете меня позвать, если вам что-нибудь понадобится.

В сумерки, очнувшись от тяжелого забытья, Филип услышал в гостиной голоса. Какой-то приятель Гриффитса зашел его проведать.

— Послушай, ты ко мне сегодня вечером не приходи, — услышал он голос соседа.

Через несколько минут еще кто-то появился в гостиной и выразил удивление, застав Гриффитса в чужой квартире. Филип расслышал, как тот объясняет:

— Присматриваю тут за одним студентом второго курса, это его комната. Бедняга заболел гриппом. Вечером, старина, в карты играть не будем.

Когда Гриффитс остался один, Филип его окликнул.

— Послушайте, вы, кажется, откладываете из-за меня вашу вечеринку? — спросил он.

— Да вовсе не из-за вас. Мне надо подучить кое-что по хирургии.

— Не надо откладывать вечеринку. Ничего со мной не делается. Вы обо мне не беспокойтесь.

— Ладно, ладно.

Филипу стало хуже. К ночи он начал бредить. Очнувшись под утро от беспокойного сна, он увидел, как Гриффитс встал с кресла, опустился на колени и рукой подкладывает в огонь уголь. Он был в халате, надетом поверх пижамы.

— Что вы здесь делаете? — спросил Филип.

— Я вас разбудил? А ведь старался протопить камин как можно тише.

— Почему вы не спите? Который час?

— Около пяти. Решил возле вас подежурить. Перенес сюда кресло, побоялся лечь на матраце: вы бы меня и пушками не разбудили, если бы вам что-нибудь понадобилось.

— Зря вы так обо мне хлопчете, — простонал Филип. — А что, если вы заразитесь?

— Тогда вы поухаживаете за мной, старина, — сказал Гриффитс, заливаясь смехом.

Утром Гриффитс поднял штору. После ночного дежурства он выглядел бледным и утомленным, но настроение у него было отличное.

— Теперь я вас умою, — весело сказал он Филипу.

— Я могу умыться сам, — сказал сконфуженный Филип.

— Чепуха. Если бы вы лежали в больнице, вас умывала бы сиделка, а чем я хуже сиделки?

Филип был слишком слаб, чтобы сопротивляться,— он позволил Гриффитсу обтереть ему лицо, руки, ноги, грудь и спину. Тот делал это с милой заботливостью, не переставая добродушно болтать; потом он переменял ему простыню — совсем как это делают в больнице,— взбил подушку и поправил одеяло.

— Видела меня сейчас сестра Артур! — сказал он.— Вот бы ахнула... Дикон придет проведать вас утром.

— Не понимаю, отчего вы со мной так возитесь,— сказал Филип.

— Для меня это хорошая практика. Так интересно иметь своего пациента.

Гриффитс подал ему завтрак, а потом пошел одеться и поесть. Около десяти часов он вернулся с гроздьем винограда и букетиком цветов.

— Вы необычайно добры,— сказал ему Филип.

Он провалялся в постели пять дней.

Нора и Гриффитс ухаживали за ним поочередно. Хотя Гриффитс был ровесником Филипа, он усвоил по отношению к нему шуточный отеческий тон. Он был заботлив, ласков и умел ободрить больного; но самым большим его достоинством было здоровье, которым, казалось, он наделял каждого, кто с ним соприкасался. Филип не помнил материнской ласки, и у него не было сестер, его никто не баловал в детстве, поэтому его особенно трогала женственная мягкость этого большого и сильного парня. Он стал поправляться. Теперь Гриффитс сидел праздно в его комнате и занимал его забавными рассказами о своих любовных похождениях. Гриффитс любил поволочиться, у него бывало по три, по четыре любовных приключения сразу, и его повесть об уловках, к которым приходилось прибегать во избежание скандала, можно было слушать, не уставая. У него был дар окружать все, что с ним происходило, романтическим ореолом. Обремененный долгами, заложив все свои хоть сколько-нибудь ценные пожитки, он умел оставаться веселым, щедрым и расточительным. Он был по натуре искателем приключений. Ему нравились люди сомнительных профессий, с темным прошлым, а его знакомства с подонками общества — завсегда таями лондонских кабачков — были необычайно обширны. Женщины легкого поведения относились к нему по-дружески, делились с ним своими горестями, радостями и невзгодами; шулера, зная о его безденежье, угощали его

обедом и одалживали пятифунтовые ассигнации. Он не раз проваливался на экзаменах, но бодро переносил свои неудачи и так мило умел выслушивать родительские назидания, что его отец — врач, практиковавший в Лидсе, — не мог рассердиться на сына всерьез.

— В науках я ни бум-бум, — весело признавался он, — да и сидеть за книгами — для меня мука.

Жизнь казалась ему сплошным праздником. И все-таки было видно, что, перебесившись и получив наконец диплом, он будет преуспевающим врачом с большой частной практикой. Одно его обаяние само по себе могло излечивать больных.

Филип боготворил его, как боготворил когда-то в школе своих стройных, рослых и веселых однокашников. Когда он поправился, они с Гриффитсом уже были закадычными друзьями; Филип радовался, что Гриффитс, по видимому, любит бездельничать у него в комнате, весело болтая, отрывая его от занятий и куря одну за другой бесчисленные сигареты. Иногда Филип брал его с собой в кабачок на Бик-стрит. Хейуорд считал Гриффитса болваном, но Лоусон признавал его обаяние и рвался писать с него портрет: синие глаза, белая кожа и вьющиеся волосы делали его необычайно живописным. Часто приятели спорили о вещах, о которых Гриффитс не имел представления, и тогда он спокойно сидел с добродушной усмешкой на своем привлекательном лице, справедливо полагая, что его присутствие может украсить любое общество.

Когда он узнал, что Макалистер — биржевой маклер, он стал выспрашивать у него, как заработать деньги, и тот со своей тихой улыбкой рассказал, каким бы он стал богачом, купи он в такое-то время такие-то акции. У Филипа текли слюнки — он так или иначе тратил больше, чем хотел, и ему было бы очень кстати подзаработать хоть немного денег тем легким способом, о котором говорил Макалистер.

— Как только услышу о каком-нибудь выгодном дельце, тут же вам скажу, — говорил маклер. — Порой деньги сами плывут в руки. Надо только дождаться своей фортуны.

Филип думал, как было бы здорово разбогатеть фунтов на пятьдесят и подарить Норе меховые вещи, без которых она так мерзла зимой. Он заглядывал в витрины на Риджент-стрит и выбирал ей то, что можно было купить на эти деньги. Она заслужила самого дорогого подарка. С ней он чувствовал себя таким счастливым.

Как-то днем он забежал из больницы домой, чтобы умыться и привести себя в порядок, прежде чем пойти, как всегда, пить с Норой чай; он сунул ключ в скважину, но хозяйка открыла ему сама.

— Вас ожидает какая-то дама,— сообщила она.

— Дама? — воскликнул Филип.

Он был очень удивлен. Это могла быть только Нора, и он не понимал, что ее сюда привело.

— Я, конечно, не должна была ее пускать, да только она приходила раза три уже и так расстраивалась, что вас не застала; я разрешила ей у вас посидеть.

Хозяйка продолжала еще что-то объяснять, но он пробежал мимо нее к себе в комнату. Сердце его замерло: это была Милдред. Она сидела, но сразу же поднялась, как только он вошел. Однако она не двинулась ему навстречу и не произнесла ни слова. Филип был поражен; он едва сознавал, что говорит.

— Какого черта тебе здесь надо? — спросил он.

Милдред ничего не ответила, но из глаз у нее сразу покатались слезы. Она даже не закрыла лица руками, они были вяло опущены вдоль тела. Вид у нее был, словно у пришедшей наниматься горничной. Выражение лица было униженное. Филип сам не понимал, какие в нем борются чувства. Ему хотелось повернуться и выбежать из дома.

— Вот не думал, что снова тебя увижу,— произнес он наконец.

— Лучше бы я умерла,— захныкала она.

Филип не предложил ей сесть. В ту минуту он думал только о том, как бы взять себя в руки. Колени его дрожали. Он поглядел на нее и застонал от отчаяния.

— Что случилось?

— Он меня бросил — Эмиль...

Сердце Филипа отчаянно забилося. Он понял, что любит ее по-прежнему. Он и не переставал ее любить. Милдред стояла перед ним униженная, беспомощная; ему так хотелось обнять ее и покрыть поцелуями мокрое от слез лицо. Господи, какой бесконечной была разлука! Как только он мог ее вынести!

— Да ты садись. А ну-ка, я дам тебе чего-нибудь выпить.

Филип пододвинул ей кресло поближе к огню, и она села. Он разбавил виски содовой, и, все еще всхлипывая, Милдред выпила. Она смотрела на него огромными

грустными глазами. Под ними залегли большие черные тени. Она побледнела и похудела с тех пор, как он в последний раз ее видел.

— Зря я не вышла за тебя замуж, когда ты мне предлагал,— сказала она.

Филип не понимал, почему его словно обдало жаром от этих слов. Он не мог к ней не подойти. Он положил ей руку на плечо.

— Какая обида, что тебе так не повезло.

Она прислонила голову к его груди и разразилась истерическим плачем. Шляпа ей мешала, и она ее сняла. Ему и в голову не приходило, что она может так плакать. Он целовал ее без конца. Казалось, что ей от этого становится чуточку легче.

— Ты ко мне всегда хорошо относился, Филип, поэтому я решила прийти к тебе.

— Расскажи, что случилось.

— Ох, не могу, не могу! — зарыдала она, вырываясь.

Он упал возле нее на колени и прижался щекой к ее щеке.

— Ты же знаешь, что можешь сказать мне все на свете! Разве я стану тебя осуждать?

Мало-помалу она рассказала ему всю историю. Временами она так всхлипывала, что он с трудом разбирал слова.

— В прошлый понедельник он поехал в Бирмингем и пообещал, что вернется в четверг, но так и не приехал; не было его и в пятницу; я ему тогда написала письмо, чтобы узнать, в чем дело, но он не ответил. Тогда я написала ему опять, что, если он тут же не пришлет ответ, я поеду к нему в Бирмингем, но сегодня утром я получила письмо от его поверенного, что не имею на него никаких прав и что, если я вздумаю его преследовать, он будет вынужден подать на меня в суд.

— Какая ерунда! — воскликнул Филип. — Разве можно так обращаться с женой? Вы что, поссорились?

— Ох да, мы поругались в то воскресенье, и он сказал, что я ему осточертела, но он и раньше это говорил и все-таки возвращался. Я не думала, что он всерьез. Он так перепугался, когда я ему сказала, что у меня будет ребенок. Я ведь скрывала это от него, пока было можно. А потом уж пришлось сказать, ничего не поделаешь. Он говорит, что это моя вина и надо было вовремя принять меры. Если бы ты только слышал, чего он мне наговорил! Но я давно поняла, что он совсем не джентльмен. Бросил меня без гроша. И за комнату не заплатил, а чем же мне было

платить, раз у меня нет денег? Хозяйка так ругалась, можно было подумать, что я ее обокрала.

— Вы же хотели снять квартиру.

— Он мне вначале это обещал, но кончилось дело тем, что мы сняли меблированные комнаты в Хайбэри. Уж такой сквалыга! Говорил, что я сорю деньгами, а сорить-то было нечем!

У нее была удивительная способность путать главное со всякой ерундой. Филип ничего не понимал. Во всей этой истории было что-то странное.

— Да разве может человек вести себя так подло!

— Ты его не знаешь. Я теперь к нему не вернусь, даже если он станет ползать передо мной на коленях! Дура, зачем только я с ним связалась. И денег он куда меньше зарабатывал, чем хвастал. Врал как сивый мерин!

Надо было что-то предпринять. Его так глубоко тронуло ее горе, что о себе он не думал.

— Хочешь, я съезжу в Бирмингем? Постараюсь его найти и вас помирить.

— Ну, на это нечего рассчитывать. Я его теперь знаю, он ни за что не вернется.

— Но он должен о тебе позаботиться. От этого ему не увильнуть. Правда, я в таких делах плохо разбираюсь, лучше тебе посоветоваться с адвокатом.

— А как я это сделаю, у меня же нет денег.

— Я тебе дам. Нет, лучше напишу записку знакомому адвокату — помнишь, тому спортсмену, который был душеприказчиком у моего отца. Хочешь, сходим вместе хоть сейчас? Он, наверное, у себя в конторе.

— Нет, лучше дай мне к нему письмо. Я схожу сама.

Она немножко успокоилась. Филип написал записку. Но тут он вспомнил, что у нее не было денег. На счастье, он только вчера взял деньги в банке и мог дать ей пять фунтов.

— Спасибо, Филип, это очень мило с твоей стороны.

— Я рад, что могу хоть чем-нибудь тебе помочь.

— Ты до сих пор меня любишь?

— Так же, как раньше.

Она подставила ему губы, и он их поцеловал. В ее движении была покорность, которой он никогда прежде не замечал. За это стоило заплатить любыми муками.

Она ушла, и тут только Филип увидел, что Милдред пробыла у него два часа. Он был так счастлив, что не заметил, как пролетело время.

— Бедняжка, бедняжка, — шептал он, и сердце его было переполнено такой невыразимой нежностью, какой он еще никогда не чувствовал.

Он не вспомнил о Норе до восьми часов, пока от нее не пришла телеграмма. Еще не распечатав ее, он уже понял, от кого эта телеграмма.

«ЧТО-НИБУДЬ СЛУЧИЛОСЬ? НОРА».

Филип не знал, что ему ответить, что ему делать вообще. Он мог бы зайти за ней после спектакля, где у нее была выходная роль, и проводить домой, как это часто делал, но вся душа его против этого восставала: он не в силах встретиться с ней сегодня вечером. Он подумал было написать ей, но ему трудно было заставить себя обратиться к ней с обычным «дорогая моя Нора». Наконец он решил дать телеграмму:

«ПРОСТИ, НЕ СМОГ ПРИЙТИ. ФИЛИП».

Он представил себе ее лицо. Какая у нее некрасивая мордочка с этими широкими скулами и слишком ярким румянцем! И кожа ужасно шершавая, бр-р! Филип понимал, что после телеграммы ему придется что-то придумать, но торопиться с этим ему не хотелось.

На следующий день он протелеграфировал опять:

«СОЖАЛЕЮ. ПРИЙТИ НЕ СМОГУ. НАПИШУ».

Милдред сказала, что будет в четыре, а ему не хотелось говорить, что в это время он занят. В конце концов важнее всего она. Он ждал ее с нетерпением. Он не отходил от окна и сам отворил ей входную дверь.

— Ну как? Была у Никсона?

— Да. Он сказал, что ничего не выйдет. Помочь тут ничем нельзя. Придется мне с этим смириться.

— Но это невозможно! — воскликнул Филип.

Она устало опустила на стул.

— Никсон тебе объяснил, почему ничего не выйдет?

Милдред протянула ему измятое письмо.

— Вот твое письмо. Я его никуда не носила. Вчера я не решилась тебе сказать, не могла. Эмиль на мне так и не женился. Он не мог. У него уже есть жена и трое детей.

Филип вдруг почувствовал мучительную ревность. Боль была почти нестерпимой.

— Вот почему я не могла вернуться к тетке. Мне не к кому идти, кроме тебя.

— Но почему ты к нему пошла? — тихо спросил Филип, стараясь, чтобы голос у него не дрогнул.

— Почему я знаю? Сначала я и не подозревала, что он женатый, а когда он мне сказал, тут я ему выложила все, что о нем думаю. Потом я его не видела несколько месяцев. Но стоило ему прийти в кафе и попросить меня — уж я и не знаю, что со мною стряслось. Я вдруг почувствовала, что все равно ничего не поделаешь. Я должна была к нему пойти.

— Ты его любила?

— Не знаю. Мне с ним всегда было весело. И что-то в нем есть такое... он сказал, что я не пожалею, пообещал давать мне семь фунтов в неделю, рассказывал, будто сам зарабатывает пятнадцать, но все это было вранье, вовсе он столько не зарабатывал! А мне так осточертело каждое утро ходить на работу, да и с теткой мы не очень-то ладили; она все норовила обращаться со мной как с прислугой, говорила, что я сама должна убирать свою комнату, никто-де за меня убирать не станет! Но, когда он пришел в кафе и позвал меня, я почувствовала, что ничего не могу с собой поделать.

Филип отошел от нее, сел у стола и опустил голову на руки. Он чувствовал себя страшно униженным.

— Ты на меня сердисься? — спросила она жалобно.

— Нет, — сказал он, подняв голову, но глядя мимо нее. — Мне только очень больно.

— Почему?

— Ну как же, ведь я был так безумно в тебя влюблен. Я делал все, чтобы и ты хоть немножко меня полюбила. Мне казалось, что ты просто не способна любить кого бы то ни было. И страшно подумать, что ты готова была пожертвовать всем ради этого хама. Не понимаю, что ты в нем нашла.

— Мне самой обидно, что так получилось. Если бы ты знал, как я потом каялась, ей-богу же, правда!

Он подумал об Эмиле Миллере с его одутловатым землистым лицом, светлыми бегающими глазами, о всей его вульгарной фатоватой внешности — он всегда носил ярко-красные вязаные жилеты. Филип вздохнул. Милдред встала и подошла к нему. Она обвила рукой его шею.

— Я никогда не забуду, что ты предложил мне выйти за тебя замуж, Филип.

Он взял ее руки и поглядел ей в лицо. Она нагнулась и поцеловала его.

— Филип, если ты все еще хочешь, я теперь на все согласна. Я ведь знаю, что ты настоящий джентльмен в полном смысле этого слова.

Сердце его замерло. Ему стало почему-то противно.

— Спасибо, но теперь я не могу.

— Ты меня больше не любишь?

— Нет, люблю всей душой.

— Так почему же нам не пожить в свое удовольствие, раз есть возможность? Теперь-то уж все равно.

Он высвободился из ее рук.

— Ты ничего не понимаешь. Я умирал от любви к тебе с первого раза, как тебя увидел, но теперь... этот тип... К несчастью, у меня есть воображение. От мысли о том, что между вами было, меня начинает мутить.

— Вот дурачок,— сказала она.

Он снова взял ее руки и улыбнулся.

— Ты только не думай, что я не хочу. Ты и представить себе не можешь, как я тебе благодарен, но, понимаешь, тут я с собой совладать не могу.

— Да, ты мне настоящий друг.

Они продолжали свой разговор, и незаметно между ними возникла та близость, которой он так дорожил в прежние времена. Наступил вечер. Филип предложил ей вместе пообедать и сходить в мюзик-холл. Ее пришлось уговаривать: ей ведь казалось, что положение обязывает, а в таком бедственном состоянии, как у нее, женщине неприлично развлекаться. Наконец Филип упросил ее пойти, чтобы доставить ему удовольствие, а коль скоро она могла рассматривать свой поступок как акт самопожертвования, она быстро согласилась. В ней появилась какая-то непривычная, трогавшая Филипа чуткость. Она попросила его свести ее в тот маленький ресторанчик в Сохо, где они так часто бывали; он был бесконечно ей признателен — ведь ее просьба говорила о том, что с этим местом и у нее связаны счастливые воспоминания. Во время обеда она развеселилась. Бургундское из кабачка на углу согрело ее, и она забыла, что ей полагается сохранять постный вид. Филип решил, что теперь самое время поговорить о будущем.

— У тебя, наверное, нет ни гроша за душой? — спросил он, выбрав подходящую минуту.

— Только то, что ты вчера дал, но мне пришлось заплатить три фунта хозяйке.

— Ну что ж, тогда я, пожалуй, дам тебе хотя бы еще десять фунтов. Я схожу к моему адвокату и попрошу его написать Миллеру. Раскошелиться мы его заставим. В этом я уверен. Если мы получим от него хотя бы сто фунтов, ты сможешь протянуть, пока родится ребенок.

— Не возьму я от него ни гроша! Лучше с голоду помру...

— Но ведь это чудовищно — он довел тебя до такой беды и бросил!

— У меня тоже есть самолюбие.

Филип чувствовал себя немножко неловко. Для того чтобы ему хватило денег до получения диплома, ему надо было соблюдать строгую экономию. К тому же следовало оставить хоть небольшую сумму на тот год, который он собирался проработать в отделении терапии и хирургии — либо у себя, либо в какой-нибудь другой больнице. Но Милдред столько рассказывала ему о скупости Эмиля, что он не хотел спорить с ней из-за денег, боясь, что она и его обвинит в недостатке щедрости.

— От него не возьму ни единого гроша. Лучше пойду с протянутой рукой. Я бы уже давно подыскала себе работу, да только боюсь, как бы мне это не повредило в моем положении. Ничего не поделаешь, приходится думать о своем здоровье, правда?

— Ну, теперь тебе тревожиться нечего, — сказал Филип. — Я обеспечу тебя всем необходимым, пока ты не сможешь работать снова.

— Я так и знала, что могу на тебя положиться. И Эмилю сказала, пусть не думает, что мне не к кому пойти! Я ему всегда говорила, что ты — настоящий джентльмен в полном смысле слова.

Постепенно Филип узнал, как произошел разрыв. Жена этого типа, видимо, провела об интрижке, которую тот завел во время своих наездов в Лондон, и пошла к хозяину фирмы, в которой служил Эмиль. Она грозила разводом, и фирма заявила, что Миллер будет уволен, если жена выполнит свою угрозу. Он был страстно привязан к детям и не мог допустить мысли о том, что его с ними разлучат. Когда перед ним встал выбор между женой и любовницей, он выбрал жену. Боясь связать себя еще сильнее, Миллер настаивал, чтобы у них ни под каким видом не было детей, и, когда Милдред уже больше не могла скрывать, что у нее будет ребенок, и сообщила ему об этом, Миллера охватил ужас. Воспользовавшись какой-то размолвкой, он ее бросил без всяких церемоний.

— Когда, по-твоему, ты должна родить? — спросил Филип.

— В начале марта.

— Через три месяца.

Надо было решить, что делать дальше. Милдред заявила, что ни за что не останется в своих комнатах в Хайбэри, и Филипу тоже казалось удобным, чтобы она жила к нему

поближе. Он пообещал присмотреть завтра что-нибудь подходящее. Она заявила, что ей хотелось бы поселиться на Воксхолл-Бридж-роуд.

— И недалеко будет ехать.

— Куда?

— Да ведь я проживу на квартире месяца два, не больше, а потом мне надо лечь в родильный приют. Я знаю одно очень приличное заведение, куда не пускают всякую шушеру и берут всего четыре гинеи без всяких накидок. Ну, конечно, за врача платишь отдельно, но это все. Там лежала одна моя приятельница, а хозяйка лечебницы — леди с головы до ног. Я ей скажу, что мой муж — офицер, служит в Индии, а я по состоянию здоровья приехала рожать в Лондон.

Филип с трудом верил своим ушам. Тонкие черты лица и нежная кожа придавали ей такой бесстрастный, такой девственный вид. Когда он думал о пылавших в ней страстях, сердце его невольно сжималось. Кровь молоточками била в висках.

ГЛАВА 70

Вернувшись к себе, Филип рассчитывал получить письмо от Норы, но его не было; он ничего не получил и на другое утро. Ее молчание раздражало и в то же время пугало его. Когда он был в Лондоне, они виделись ежедневно; ей должно показаться странным, что он пропустил целых два дня и никак не объяснил своего отсутствия; неужели она случайно встретила его где-нибудь с Милдред? Ему было неприятно думать, что она обижена или огорчена, и он решил зайти к ней после обеда. Он уже чуть ли не был готов обвинить ее в том, что связался с нею. Мысль, что отношения эти могут продолжаться, была ему теперь противна.

Он нашел для Милдред две комнаты во втором этаже дома на Воксхолл-Бридж-роуд. Там было шумно, но он знал, что она любит уличный грохот.

— Терпеть не могу, когда улица похожа на кладбище: целый день живой души за окном не увидишь, — говорила она. — То ли дело, когда все кругом кипит!

Потом Филип вынудил себя пойти на Винсент-сквер. Он с трепетом позвонил, зная, что его ожидает. Ему было не по себе из-за того, что он так обошелся с Норой; его страшили ее упреки; он знал, что характер у нее вспыльчивый, а он не выносил скандалов; может быть, самое лучшее — это ска-

зять ей откровенно, что вернулась Милдред и он ее по-прежнему любит; ему страшно жаль, что так получилось, но увы! С Норой его больше ничего не связывает, однако он тут же представил себе, как ей будет горько,— она ведь его любит; прежде ему это льстило, он ей был так благодарен, а теперь он не мог подумать без ужаса о том, чтобы продолжать с ней связь. Но она не заслуживает того, чтобы он заставил ее страдать. Филип спрашивал себя, как она его встретит, и, подымаясь по лестнице, гадал, что она ему сейчас скажет. Он постучал в дверь. Чувствуя, что он очень бледен, Филип не знал, как ему скрыть волнение.

Нора что-то усердно писала, но поспешно вскочила, как только он вошел.

— Я узнала твои шаги! — воскликнула она. — Где ж это ты пропадал, негодный мальчишка?

Нора весело подбежала и обняла его за шею. Она была очень рада его видеть. Он тоже поцеловал ее, а потом, желая выиграть время, заявил, что до смерти хочет чаю. Нора помешала огонь в камине, чтобы чайник поскорее вскипел.

— Я был ужасно занят, — не очень уверенно промямлил Филип.

Она принялась болтать с обычной своей живостью; рассказала о заказе на повестушку, полученном от издательства, для которого еще ни разу не писала. Ей было обещано за нее целых пятнадцать гиней!

— Деньги эти все равно что с неба упали. Знаешь, что мы на них сделаем? Устроим маленькую прогулку. Давай проведем день в Оксфорде. Мне так хочется поглядеть университет.

Он всматривался в ее лицо, нет ли в глазах хотя бы тени упрека, но взгляд у нее был такой же открытый и веселый, как всегда; она была счастлива, что его видит. Сердце у него упало. Он не решался сказать ей все начистоту. Она поджарила хлеб, нарезала маленькими кусочками и стала кормить его, как ребенка.

— Ну как, звереныш, сыт? — спросила она.

Он, улыбаясь, кивнул, и она зажгла ему сигарету. Потом по своей привычке уселась к нему на колени. Она была очень маленькая и совсем ничего не весила. Прижавшись к его плечу, Нора сладко вздохнула.

— Ну, скажи что-нибудь хорошее, — шепнула она.

— Что тебе сказать?

— Сделай усилие и выдумай, будто я тебе нравлюсь.

— Ты же знаешь, что этого мне не надо выдумывать.

У него не хватило духу сказать ей в эту минуту правду. Он не станет ее расстраивать хотя бы сегодня; лучше, пожалуй, написать. Так будет легче. Он не сможет вынести ее слез. Она заставила его себя поцеловать, и, целуя ее, он думал о Милдред, о бледном рте Милдред, о ее тонких губах. Воспоминание о Милдред было неотступным и куда более осязаемым, чем простое воспоминание; ее образ поглощал все его мысли.

— Ты сегодня какой-то тихий,— сказала Нора.

Ее любовь поболтать была у них предметом постоянных шуток; он ответил:

— Ты никогда не даешь мне вставить словечко, вот я и разучился разговаривать.

— Но ты и не слушаешь, а это уже некрасиво.

Он слегка покраснел, испугавшись, не догадывается ли она о его тайне, и смущенно отвел глаза. Сегодня ее легкое тело казалось ему тяжким грузом; ему было неприятно даже ее прикосновение.

— У меня затекла нога,— сказал он.

— Прости ради бога!— воскликнула она и вскочила.— Если я не отучусь от привычки сидеть у мужчин на коленях, мне придется подумать о том, как сбавить вес.

Он старательно притоптывал, делая вид, будто разминает замлевшую ногу. Потом подошел к огню, чтобы она не смогла опять сесть к нему на колени. Слушая ее веселый щебет, он думал, что Милдред не стоит ее подметки. Нора умела его развеселить, с ней занятно разговаривать, она умнее и куда лучше как человек. Нора — хорошая, смелая и честная женщина, а Милдред, как ни горько в этом признаться, не заслуживает ни одного доброго слова. Если у него есть хоть капля здравого смысла, он останется с Норой, с ней ему будет куда лучше. К тому же она его любит, а Милдред только признательна ему за помощь. Но, что ни говори, главное — это любить самому, а не быть любимым, и его всем существом тянуло к Милдред. Десять минут, проведенных с нею, ему куда дороже целого дня с Норой; поцелуй холодных губ Милдред ему нужнее, чем все, что может дать ему Нора.

«Ничего не могу с собой поделать,— думал он.— Она меня просто приворожила».

Ему было все равно, что она бессердечна, развратна и глупа; его не пугали ни ее жадность, ни ее пошлость — он ее любил. Лучше какие угодно мучения с ней, чем счастье с другой.

Когда он собрался уходить, Нора спросила, словно невзначай:

— Ну а как же завтра, я тебя увижу?

— Да,— ответил он.

Он знал, что не сможет прийти, потому что должен помочь Милдред перебраться на новую квартиру, но у него не хватало мужества сказать «нет». Он решил, что пошлет телеграмму. Милдред утром посмотрела комнаты, осталась ими довольна, и после обеда Филип поехал с ней в Хайбэри. У нее были сундук для платьев, другой сундук для всякой всячины: подушечек, платков, которыми она покрывала абажуры, рамок — это, по ее мнению, придавало комнатам уют — и, кроме того, две или три большие коробки, но весь ее багаж в общем поместился на крыше кареты. Когда они проезжали по Виктория-стрит, Филип забился в самую глубь экипажа, чтобы его не заметила Нора, если бы она случайно попала им навстречу. Он не успел дать телеграмму и не мог ее послать из почтовой конторы на Воксхолл-Бридж-роуд, потому что ее удивило бы, как он попал в этот район, а если уж он туда попал, то почему не зашел на соседнюю площадь, где она жила. Он решил, что лучше, пожалуй, все-таки зайти к ней хоть на полчаса, однако эта необходимость раздражала его; он злился на Нору за то, что она вынуждала его идти на пошлые и унижительные увертки. Зато он был счастлив, что рядом с ним Милдред. Ему нравилось разбирать вместе с ней вещи, и он испытывал пленительное чувство обладания, устраивая ее на этой квартире, — ведь это он выбрал ее и за нее платил. Он не разрешал Милдред утомляться. Помогать ей доставляло ему удовольствие, а она отнюдь не стремилась делать сама то, что за нее соглашались делать другие. Он распаковал и развесил ее платья. Так как она, видимо, не собиралась никуда выходить, Филип подал ей комнатные туфли и снял с нее ботинки. Услуживать ей было для него наслаждением.

— Ты меня портишь,— сказала она, ласково ероша его волосы, когда он стоял перед ней на коленях и расстегивал ботинки.

Он схватил ее руки и стал целовать.

— Какое счастье, что ты здесь, со мной!

Он разложил по местам подушечки и расставил фотографии. У нее было несколько ваз из зеленой глины.

— Я тебе принесу цветов,— сказал Филип.

Он с гордостью оглядел комнату.

— Раз я больше никуда сегодня не выйду, я надену пеньюар,— сказала она,— ну-ка, расстегни мне сзади платье.

Она спокойно повернулась к нему спиной, словно он был женщиной. Да как мужчина он для нее и не существовал. А его сердце переполнилось благодарностью — ведь такая просьба была признанием близости. Он расстегнул крючки неловкими пальцами.

— Первый раз, когда я увидел тебя в кафе, мне и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь стану расстегивать тебе платье, — сказал он с деланным смехом.

— Да ведь кому-нибудь надо же его расстегнуть.

Она вышла в спальню и накинула бледно-голубой пеньюар, отделанный массой дешевых кружев. Тогда Филип усадил ее на диван и приготовил чай.

— К великому сожалению, я не смогу выпить с тобой чаю, — сказал он огорченно. — У меня тут неподалеку одно ужасно противное дело. Но через полчаса я вернусь.

Он боялся, что она вдруг спросит, какое у него дело, но Милдред не проявила ни малейшего интереса. Когда Филип платил за комнаты, он заказал обед на двоих и намеревался спокойно провести с ней вечер. Ему так не терпелось поскорее вернуться, что он сел в трамвай, который шел по Воксхолл-Бридж-роуд. Он решил сразу же сообщить Норе, что не сможет пробыть у нее больше чем несколько минут.

— Знаешь, я ведь зашел только на тебя взглянуть, — сказал он, войдя в комнату. — Я ужасно занят.

Лицо у нее вытянулось.

— А что случилось?

Его злило, что она вынуждает его лгать, и он почувствовал, как краснеет, рассказывая ей, что у них в больнице практические занятия, которые он не может пропустить. Ему показалось, что она смотрит на него с недоверием, и это еще больше вывело его из себя.

— Ну что ж, ладно, — сказала она. — Зато мы пробудем вместе весь завтрашний день.

Он растерянно на нее поглядел. На другой день было воскресенье, и Филип мечтал провести его с Милдред. Этого, уверял он себя, требует простая порядочность: не может ведь он бросить ее одну в чужом доме!

— Ты меня, пожалуйста, прости, но завтра я тоже занят.

Он понимал, что сейчас разыграется сцена, которой ему больше всего на свете хотелось избежать. Щеки Норы запылали.

— Но я ведь пригласила Гордонов на обед. (Это были актеры, муж и жена, которые играли в провинции и на

воскресный день приезжали в Лондон.) Я тебя предупредила об этом неделю назад.

— Ты меня, пожалуйста, прости, но я совсем забыл.— Он запнулся.— Боюсь, что никак не смогу прийти. Ты никого не можешь позвать вместо меня?

— А что же ты завтра делаешь?

— Мне не нравится этот допрос.

— Ты мне не хочешь сказать?

— Пожалуйста, я скажу, но, ей-богу же, противно, когда тебя заставляют отчитываться в каждом твоём шаге!

Нора вдруг переменяла тон. Сделав над собой усилие, она сдержалась и, подойдя, взяла его за руки.

— Ну, прошу тебя, не огорчай меня, Филип. Я так мечтала провести завтрашний день с тобой. И Гордоны очень хотят тебя видеть, мы чудесно проведем время!

— Да я бы с радостью пришел, если бы мог.

— Я ведь человек нетребовательный, правда? Я не часто тебе надоедаю с просьбами. Неужели ты не можешь отменить свое гадкое свидание — ну хотя бы в этот раз?

— Ты меня, пожалуйста, прости, но я, право же, не знаю, как это сделать,— ответил он ей сердито.

— Ну скажи мне, куда ты должен идти? — спросила она его очень ласково.

Теперь она уже не смогла поймать его врасплох.

— Приехали сестры Гриффитса, и мы должны их куда-нибудь сводить.

— И это все? — обрадовалась Нора.— Ну, Гриффитсу нетрудно будет найти кого-нибудь другого.

Он пожалел, что не придумал отговорки посерьезнее. Ложь была глупая.

— Нет, ты меня, пожалуйста, прости, никак не могу! Я обещал, и мне нельзя не сдержать слово.

— Но ты же обещал и мне. Ведь я-то как-никак важнее.

— Ты зря настаиваешь,— сказал он.

Она разозлилась.

— А ты так и скажи, что не придешь потому, что не хочешь! Не знаю, что ты делал последние дни, но тебя словно подменили.

Он взглянул на часы.

— Пожалуй, мне пора.

— Значит, ты завтра не придешь!

— Нет.

— Тогда не трудись приходить вообще! — закричала она, совсем потеряв самообладание.

— Как тебе будет угодно.

— Не смею вас больше задерживать,— произнесла она с иронией.

Пожав плечами, он вышел. Его радовало, что он отделался так легко. Слез, во всяком случае, не было. По дороге к Милдред он поздравлял себя, что удачно выпутался из этой истории. Он зашел на Виктория-стрит и купил Милдред цветов.

Их маленькое новоселье прошло очень удачно. Филип принес небольшую баночку икры — он знал, что Милдред очень ее любит, а хозяйка подала отбивные с овощным гарниром и сладкое. Филип заказал бургундское — вино, которое Милдред всегда предпочитала другим напиткам. Когда опустили занавески, затопили камин и завесили лампу одним из привезенных Милдред платков, в комнате стало очень уютно.

— Ей-богу, я чувствую себя здесь совсем как дома,— улыбнулся Филип.

— Да, мне могло быть хуже,— ответила Милдред.

Когда они поели, Филип пододвинул два кресла к огню.

Он устроился поудобнее и закурил трубку. Ему было хорошо и радостно.

— Куда бы ты хотела завтра пойти? — спросил он.

— Завтра я поеду в Талс-хилл. Помнишь нашу заведующую? Она вышла замуж. Пригласила меня провести у нее денек; небось думает, что и я тоже замужем.

У Филипа сжалось сердце.

— А я отказался от приглашения на обед, чтобы провести воскресенье с тобой.

Он подумал: если Милдред его любит, она скажет, что в таком случае останется с ним. Он знал, что Нора бы так поступила не задумываясь.

— Ну и дурачок, что отказался. Я уже чуть не три недели назад пообещала к ней приехать.

— Но как же ты сможешь поехать одна?

— Да скажу, что Эмиль уехал по делам. Ее муж служит в перчаточном деле, очень шикарный господин.

Филип молчал, сердце его было переполнено горечью. Она искоса на него поглядела.

— Неужели тебе жалко, что я чуточку развлекусь? Сам знаешь, это в последний раз. Я ведь долго не смогу куда-нибудь выйти. Да и потом, я обещала!

Он взял ее руку и улыбнулся.

— Нет, дорогая, я буду очень рад, если ты повеселишься. Единственное, чего я хочу,— это чтобы тебе было хорошо.

На диване обложкой кверху лежала открытая книга; Филип рассеянно поднял ее и прочел заглавие. Это был выпуск грошовой серии романов. Имя автора — Кортней Пэйджет. Под этим псевдонимом писала Нора.

— Ох, до чего же я люблю его книги, — сказала Милдред. — Я их все прочла, до единой. Он все так благородно описывает!

Филип вспомнил, что Нора ему как-то сказала: «Я пользуюсь редким успехом у судомоек. Они считают меня ужасно светской!»

ГЛАВА 71

В ответ на излияния Гриффитса Филип поведал ему о своих любовных невзгодах, и в воскресенье после завтрака, когда они курили, сидя в халатах у камина, он описал товарищу вчерашнее происшествие. Гриффитс поздравил его с тем, что он так ловко выпутался из своих затруднений.

— Нет ничего проще, чем завести роман с женщиной, — заметил он наставительно, — но как дьявольски трудно от нее отвязаться.

Филипу так и хотелось погладить себя по головке за ту ловкость, с какой он разделался с Норой. Он чувствовал безмерное облегчение. Думая о том, как Милдред развлекается в Талс-хилле, он искренне за нее радовался. С его стороны это было жертвой — ведь он заплатил за ее удовольствие отказом от своего собственного, и душу его согревало сознание, что он поступил по-рыцарски.

Но в понедельник утром он нашел у себя на столе письмо от Норы. Она писала:

«Мой самый дорогой на свете!

Мне очень тяжело, что я в субботу на тебя рассердилась. Прости меня и приходи, как всегда, после обеда пить чай. Я тебя люблю.

Твоя Нора».

На душе у него стало тяжело; он не знал, что делать. Взяв записку, он понес ее Гриффитсу.

— Лучше ничего не отвечай, — посоветовал тот.

— Не могу! — воскликнул Филип. — Мне больно будет думать, что она меня ждет... Ты не знаешь, что такое прислушиваться с замирающим сердцем, не постучит ли почтальон. А я знаю и не могу подвергать таким мучениям другого.

— Дорогой друг, нельзя покончить с романом, не заставляя кого-нибудь страдать. Крепись, решайся. Единственное утешение в том, что все это скоро проходит.

Филип знал, что Нора ничем не заслужила того, чтобы ее заставляли страдать. И разве Гриффитсу понять переживания Норы? Он вспомнил, как мучительно больно ему было, когда Милдред сказала, что выходит замуж. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь испытал то, что он сам испытал в те дни.

— Если тебе неприятно, что ты причиняешь ей боль, вернись к ней, и баста! — сказал Гриффитс.

— Не могу!

Он встал и нервно заходил по комнате. Он злился на Нору за то, что она не понимает неизбежности конца. Ведь должна же она видеть, что у него не осталось к ней больше никакого чувства. А говорят, что женщины сразу замечают такие вещи.

— Ты мог бы мне помочь, — сказал он Гриффитсу.

— Милый мой, перестань ты, бога ради, делать из мухи слона. Никто, поверь мне, от этого не умирает. Да она совсем не так тебя боготворит, как ты думаешь. Человеку свойственно преувеличивать страсть, которую он пробуждает в других.

Он помолчал и насмешливо поглядел на Филипа.

— Послушай, я могу тебе посоветовать только одно. Напиши ей, что между вами все кончено. И напиши прямо, чтобы у нее не оставалось никаких сомнений. Ей будет неприятно, но это куда лучше, чем тянуть вольнку.

Филип сел и написал Норе:

«Дорогая!

Мне очень тяжело тебя огорчать, но, по-моему, будет лучше, если в наших отношениях все останется так, как это было решено в субботу. Мне кажется бессмысленным продолжать дальше то, что перестало радовать нас обоих. Ты предложила мне уйти, и я ушел. И не собираюсь возвращаться обратно. Прощай.

Филип Кэри».

Он показал письмо Гриффитсу и спросил его мнение. Гриффитс пробежал листок, поглядел на Филипа смеющимися глазами и сказал:

— Думаю, что этого будет достаточно.

Филип отправил письмо. Утро у него прошло тревожно — он беспрерывно думал о том, что переживает Нора,

получив его послание. Он терзался, представляя себе, как она плачет. Но в то же время чувствовал и облегчение. Воображаемое горе куда легче сносить, чем горе, которое видишь воочию, зато он теперь был свободен и мог целиком отдаться своей любви к Миллред. Сердце его трепетало при мысли, что он ее сегодня увидит, как только кончит работу в больнице.

Он, как всегда, зашел домой привести себя в порядок после занятий, но не успел еще вставить ключ в дверь, как услышал за спиной голос:

— Можно войти? Я тебя жду уже полчаса.

Это была Нора. Филип почувствовал, что краснеет до корней волос. Голос у нее был веселый, в нем не звучало ни тени недовольства, а по ее поведению никто бы не догадался, что между ними произошел разрыв. Филип почувствовал себя загнанным в тупик. Его мутило от страха, но он силился улыбнуться.

— Входи,— сказал он.

Он отпер дверь, и она прошла в гостиную. Филип очень нервничал и, чтобы овладеть собой, предложил ей сигарету и закурил сам. Глаза ее смотрели открыто и ясно.

— Ну зачем ты, негодный, написал мне такое гадкое письмо? Хорошо, что я не приняла его всерьез, не то я страшно бы расстроилась.

— Но писал я его всерьез,— ответил он без улыбки.

— Не говори глупостей. Я, правда, в субботу погорячилась и вышла из себя, но потом я же первая попросила прощения! Тебе, видно, этого было мало, вот я и пришла, чтобы извиниться еще раз. Ты в конце концов сам себе хозяин, я не имею на тебя никаких прав. И не хочу насиловать твою волю...

Она вскочила с кресла и порывисто подбежала к нему.

— Давай помиримся! Прости, если я тебя обидела!

Он не успел помешать ей взять себя за руки, но сразу же отвел глаза.

— Боюсь, что теперь уже поздно,— сказал он.

Она опустила руку возле его кресла на пол и обняла его колени.

— Филип, не дури. Я ведь тоже вспыльчивая и понимаю, что ты мог на меня обидеться, но смешно же столько времени дуться! Зачем тебе портить жизнь нам обоим? Нам так хорошо вместе.— Она ласково погладила его руку.— Я тебя люблю, Филип.

Он встал, разжал ее пальцы и отошел в другой конец комнаты.

— Мне самому тяжело, но я ничего не могу с собой поделать. Между нами все кончено.

— Значит, ты меня больше не любишь?

— К несчастью, нет.

— Ты просто искал повода, чтобы меня бросить, и вот наконец нашел, верно?

Он ничего не ответил. Нора долго не сводила с него глаз. Она так и осталась сидеть на полу, прижавшись к креслу. Потом она тихонько заплакала, не пряча лица, и крупные слезы, одна за другой, покатались у нее по щекам. Она не всхлипывала. Смотреть на нее было очень тяжело. Филип отвернулся.

— Мне ужасно грустно, что я заставляю тебя страдать. Но я не виноват, я тебя не люблю.

Она ничего не ответила. Она продолжала сидеть неподвижно, и слезы ручьем текли у нее по лицу. Ему было бы куда легче, если бы она стала его упрекать. Он ждал, что она вспылит, и готов был встретить ее гнев. В глубине души он надеялся, что его поведение будет оправдано настоящей ссорой и обидными словами, которые они скажут друг другу. Время шло. Наконец ее молчаливые слезы стали не на шутку его пугать, он пошел в спальню и принес ей стакан воды.

— Может, выпьешь глоточек? Тебе станет легче.

Она покорно потянулась к стакану и отпила несколько глотков. Потом еле слышно попросила у него носовой платок и вытерла глаза.

— Конечно, я всегда знала, что ты не любишь меня так, как я тебя,— прошептала она.

— Увы, так всегда и бывает,— сказал Филип.— Один любит, а другой разрешает, чтобы его любили...

Он подумал о Милдред, и в груди у него больно заныло. Нора долго ничего не отвечала.

— Я была очень несчастна, моя жизнь была просто невыносима...— сказала она наконец.

Говорила она не ему, а себе самой. Он никогда прежде не слышал от нее жалоб на жизнь с мужем или на бедность. Его всегда изумляла ее стойкость.

— А потом я встретила тебя, и мне было с тобой так хорошо. Я восхищалась тем, что ты такой умный, и потом, разве не счастье найти человека, в которого можно верить! Я тебя полюбила. Мне казалось, что у нас с тобой это навсегда. И я ведь ни в чем перед тобой не виновата.

У нее снова закапали слезы, но теперь она уже овладела собой и прикрыла лицо носовым платком Филипа. Она старалась держать себя в руках.

— Дай мне еще воды,— попросила она.

Она вытерла глаза.

— Прости, я так глупо себя веду. Но все это было для меня неожиданно.

— Прости ты меня, ради бога, что так получилось. Но ты знай: я тебе бесконечно благодарен за то, что ты для меня сделала.

Он не понимал, что она в нем нашла.

— О господи,— вздохнула она,— всегда одно и то же! Если хочешь, чтобы мужчина хорошо к тебе относился, веди себя с ним как последняя дрянь; а если ты с ним обращаешься по-человечески, он из тебя вымотает всю душу.

Она поднялась с пола и сказала, что ей пора. Кинув на Филипа долгий пристальный взгляд, она тяжело вздохнула.

— Непонятно. Что же все это значит?

Филип внезапно решил.

— Пожалуй, лучше, если я скажу тебе правду. Мне не хочется, чтобы ты слишком дурно обо мне думала. Пойми, я ничего не могу с собой поделать. Милдред вернулась.

Кровь бросилась ей в лицо.

— Почему же ты мне сразу не сказал? Неужели я не заслужила хотя бы этого?

— Не решался.

Она поглядела на себя в зеркало и поправила шляпку.

— Позови мне, пожалуйста, извозчика,— сказала она.— Что-то мне трудно идти.

Он вышел и остановил проезжавшую мимо пролетку, но, когда Нора пошла за ним к двери, его испугала ее бледность. В походке ее появилась какая-то усталость, словно она вдруг постарела. Вид у нее был совсем больной; у него не хватило духа отпустить ее одну.

— Если ты не возражаешь, я тебя провожу.

Она ничего не ответила, и Филип сел с ней на извозчика. Они молча переехали через мост и покатали по убогим улицам, где на мостовой с шумом возились дети. Когда они подъехали к ее дому, она вышла не сразу. Казалось, ей трудно собраться с силами и встать.

— Надеюсь, ты простишь меня, Нора?

Она поглядела на него, и Филип увидел, что глаза ее снова блестят от слез, но она силится улыбнуться.

— Бедняжка, ты очень за меня встревожился. Не волнуйся. Я тебя не виню. И как-нибудь все это переживу, будь спокоен.

Быстрым, легким движением она погладила его по лицу, показывая, что не сердится на него; прикосновение было еле

приметным; потом она выскочила из пролетки и вбежала в дом.

Филип расплатился с извозчиком и пешком дошел до квартиры Милдред. На сердце его была непонятная тяжесть. Он чувствовал за собой какую-то вину. Но в чем? Что он мог поделать? Проходя мимо фруктовой лавки, он вспомнил, что Милдред с удовольствием ест виноград. Как хорошо, что он может доказать свою любовь, потакая каждой ее прихоти!

ГЛАВА 72

В течение трех месяцев Филип ежедневно навещал Милдред. Он брал с собой учебники и после чая садился заниматься, а Милдред, растянувшись на диване, читала романы. Время от времени он отрывался от книги и глядел на нее. На лице у него появлялась счастливая улыбка. Почувствовав его взгляд, она говорила:

— Дурачок, опять на меня смотришь? Работай, не теряй времени.

— Деспот! — шутливо упрекал он ее.

Входила хозяйка, чтобы накрыть на стол к обеду, и, отложив книги в сторону, Филип весело с ней болтал. Это была простая женщина, средних лет, с природным юмором и бойким языком. Милдред очень с ней подружилась и рассказала ей путаную и малоправдоподобную историю о том, как она очутилась в столь бедственном положении. Добросердечная женщина была растрогана и просто из сил выбивалась, чтобы скрасить Милдред ее долю. Милдред в угоду приличиям решила выдать Филипа за своего брата. Обедали они вместе, и Филип радовался, когда ему удавалось придумать какое-нибудь блюдо, которое пришлось бы по вкусу привередливой Милдред. Он был так счастлив, видя ее за столом напротив себя, что то и дело в приливе чувств хватал ее руку и сжимал в своей. После обеда Милдред садилась в кресло у камина, а он устраивался на полу у ее ног, прижимался к ее коленям и блаженно курил. Часто они сидели молча, иногда Филип замечал, что она дремлет. Тогда, не смея пошевелиться, чтобы ее не разбудить, он лениво поглядывал в огонь и наслаждался своим счастьем.

— Хорошо вздремнула? — с улыбкой спрашивал он, когда Милдред просыпалась.

— Я и не думала спать, — уверяла она, — только на минутку закрыла глаза.

Она никогда не признавалась в том, что спала. У нее был такой вялый характер, что беременность несколько ей не мешала. Она очень пеклась о своем здоровье и принимала советы каждого, кто не ленился их давать. По утрам, если погода была хорошая, она отправлялась на прогулку «для моциона» и проводила положенное время на воздухе. Когда было не слишком холодно, она сидела на скамеечке в Сент-Джеймском парке. Однако весь остаток дня она с удовольствием валялась на диване, глотая один бульварный роман за другим или болтая с хозяйкой; у нее был неистощимый интерес к сплетням, и она рассказывала Филипу подробные биографии хозяйки, жильцов верхнего этажа и соседей справа и слева. Время от времени ее охватывал панический страх: она жаловалась Филипу, как больно рожать, — она боялась умереть. Она подробно излагала ему, как проходили роды у хозяйки и у жилицы верхнего этажа (Милдред не была с ней знакома: «Не в моем характере якшаться с кем попало, — говорила она. — Я не из таких, кто со всяким запанибрата»), и смаковала подробности со странной смесью ужаса и сладострастия; однако, если не считать этих приступов страха, она спокойно ждала своего срока.

— В конце концов не я первая рожаю детей. Да и доктор говорит, что все идет нормально. Сложение у меня хорошее.

Доктора ей рекомендовала миссис Оуэн — хозяйка родильного приюта, в который она собиралась лечь, когда придет время, и Милдред ходила к нему каждую неделю. Ему надо было заплатить пятнадцать гиней.

— Конечно, я могла устроиться и подешевле, но миссис Оуэн усиленно его рекомендовала, и мне казалось, что нечего тут скаредничать.

— Была бы ты спокойна, расходы меня ничуть не смущают, — говорил Филип.

Она принимала все, что делал для нее Филип, как должное; ему же было приятно тратить на нее деньги; каждый раз, когда он ей давал билет в пять фунтов, сердце у него чуть-чуть трепетало от горделивой радости, а давать приходилось часто, потому что она была расточительна.

— Понятия не имею, куда деваются деньги, — признавалась она сама. — Так и текут между пальцев.

— Не огорчайся, — утешал ее Филип. — Я так рад, что могу хоть что-нибудь для тебя сделать.

Она не была мастерицей шить и поэтому не готовила приданого для ребенка; она сказала Филипу, что дешевле

купить все в магазине. Филип незадолго до того продал часть закладных, в которые был помещен его капитал; в банке у него теперь лежало пятьсот фунтов, он собирался купить на них ценные бумаги, которые легко продать, и чувствовал себя богачом. Они с Милдред часто разговаривали о будущем. Филипу очень хотелось, чтобы Милдред оставила ребенка у себя, однако она отказывалась держать его дома: ей надо работать, а с ребенком это будет куда труднее. Милдред предполагала снова поступить в одно из кафе той фирмы, в которой она служила раньше, а ребенка можно отдать на воспитание в деревню.

— Я найду порядочную женщину, которая согласится смотреть за ним и возьмет не больше семи с половиной шиллингов в неделю. Так будет лучше и мне, и ему.

Это решение казалось Филипу бессердечным, но, когда он попытался ее переубедить, она сразу же обвинила его в том, что он жалеет деньги.

— А ты не беспокойся,— говорила она.— Тебя платить я не заставляю.

— Ты же знаешь, что денег для тебя я не жалею.

В глубине души она надеялась, что ребенок родится мертвым. Она как-то раз на это намекнула, и Филип понял, что она лелеет эту мысль. Сначала его это возмутило, но потом, поразмыслив, он вынужден был признать, что для всех них так было бы лучше всего.

— Легко говорить красивые слова,— сварливо ворчала Милдред,— а ты попробуй на месте одинокой девушки, да еще с ребенком, заработать себе на хлеб.

— К счастью, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь,— улыбнулся Филип, дотрагиваясь до ее руки.

— Да, ты хороший!

— Какая чепуха!

— Только не думай, что я не хочу отплатить тебе за все, что ты для меня делаешь.

— Бог с тобой, не нужна мне никакая плата! Если я пытаюсь тебе помочь, я делаю это потому, что тебя люблю. Ты мне ничем не обязана. Мне от тебя ничего не нужно, если ты меня не любишь.

Его ужасало, что она считает свое тело товаром, которым может хладнокровно расплачиваться за оказанные ей услуги.

— Но я хочу тебя отблагодарить, Филип. Ты столько мне сделал добра!

— Ну что же, время терпит. Когда ты придешь в себя, мы с тобой отпразднуем наш маленький медовый месяц.

— Ах ты, бесстыдник! — улыбнулась она.

Милдред должна была рожать в начале марта и собиралась, как только оправится, пожить недели две у моря; это даст возможность Филипу спокойно подготовиться к экзаменам; потом будет пасха, и на праздники они решили съездить в Париж. Филип без устали рассказывал о том, что они там будут делать. В это время года Париж прелестен. Они снимут комнату в Латинском квартале, в маленькой гостинице, которую он знает; будут есть в разных чудесных ресторанчиках, ходить в театр; он сводит ее в мюзик-холл. Ей будет интересно познакомиться с его друзьями. Он часто рассказывал ей о Кроншоу, она его увидит; там теперь и Лоусон — он поехал месяца на два в Париж; они сходят в «Баль Бюлье», побродят по городу, съездят в Версаль, Шартр и Фонтенбло.

— Это будет стоить кучу денег, — сказала она.

— Наплевать на деньги! Ты лучше подумай, как я об этом мечтаю! Разве ты не видишь, что это для меня значит? Ведь я никогда никого не любил, кроме тебя. И никого не полюблю.

Она выслушивала его восторженные излияния с улыбкой. Ему казалось, что он читает в ее глазах какую-то новую нежность, и сердце его было полно признательности. Она стала куда мягче, чем прежде. Теперь в ней не было той заносчивости, которая так его раздражала. Она к нему привыкла и уже не старалась казаться тем, чем не была на самом деле. Ей уже ни к чему было укладывать волосы в вычурные прически, она просто закручивала их узлом; рассталась она и с пышной челкой, и все это ей очень шло. Лицо у нее так похудело, что глаза казались огромными, под ними лежали темные тени, а бледность щек еще больше подчеркивала глубокую синеву глаз. В ней появилась какая-то беззащитность, делавшая ее невыразимо трогательной. Филипу казалось, что она похожа на мадонну. Ему бы хотелось, чтобы их мирной жизни не было конца. Он еще никогда не был так счастлив.

Филип уходил от Милдред часов в десять: она любила рано ложиться спать, а ему нужно было позаниматься еще часа два, чтобы хоть как-нибудь возместить потерянный вечер. Перед уходом он обычно расчесывал ей волосы. Прощание с ней он превратил в целый обряд: сначала он целовал ей ладони (пальцы стали такие худенькие, зато ногти были по-прежнему красивые, недаром она уделяла уходу за ними столько времени), потом целовал закрытые веки — сначала правый глаз, а затем левый и, наконец, губы.

Он шел домой, и сердце у него было до краев переполнено любовью. Ему так хотелось пожертвовать собой ради этой любви, что он ждал только подходящего случая. Но вот для Милдред пришло время ложиться в родильный приют. Теперь Филип мог посещать ее только в послеобеденные часы. Милдред изменила версию своего рассказа и разыграла роль жены военного, которому пришлось вернуться в свой полк в Индию, а Филип был представлен хозяйке заведения как муж сестры.

— Мне тут надо держать ухо востро,— сказала ему Милдред.— Рядом лежит жена чиновника индийской администрации.

— На твоём месте я бы не очень беспокоился,— уговаривал ее Филип.— Не сомневаюсь, что ваши мужья отправились в Индию на одном и том же корабле.

— На каком корабле? — спросила она наивно.

— На «Летучем голландце».

Милдред благополучно разрешилась дочерью. Филипу позволили взглянуть на ребенка, тот лежал рядом с матерью. Милдред была очень слаба, но довольна, что все ее страхи кончились. Она показала Филипу младенца, сама поглядывала на него с любопытством.

— Какое смешное, правда? Просто не верится, что оно мое.

«Оно» было красное, сморщенное и очень забавное. Глядя на ребенка, Филип не мог удержаться от улыбки. Он не знал, что говорят в таких случаях, к тому же его смущало присутствие акушерки; Филип чувствовал, что она не верит путаной истории, которую рассказала ей Милдред, и считает его отцом ребенка.

— Как ты ее назовешь? — спросил Филип.

— Не могу решить, назвать ее Маделейн или же Сёсили.

Акушерка оставила их на несколько минут наедине, и Филип, наклонившись, поцеловал Милдред в губы.

— Я так рад, родная, что все уже позади!

Она обвила его шею своими худыми руками.

— Знаешь, Фил, ты вел себя по отношению ко мне как настоящий джентльмен в полном смысле слова!

— Наконец-то я чувствую, что ты моя. Господи, как я долго этого ждал!

Они услышали, что к дверям подошла акушерка, и Филип поспешно поднялся. Акушерка вошла. На ее губах играла легкая усмешка.

Через три недели Филип проводил Милдред с ребенком в Брайтон. Она быстро поправилась и выглядела лучше, чем когда бы то ни было. Ехала она в пансион, где несколько раз проводила воскресные дни с Эмилем Миллером; она написала туда, что мужу пришлось уехать по делам в Германию и она будет жить одна с ребенком. Ей доставляло удовольствие выдумывать небылицы о своем семейном положении, и у нее был недюжинный дар изобретать всякие подробности. Милдред рассчитывала найти в Брайтоне женщину, которая согласится взять ребенка на воспитание. Филипа поразила та черствость, с которой она стремилась поскорее избавиться от младенца, но она довольно здраво убеждала его в том, что бедное дитя лучше куда-нибудь пристроить, пока оно еще не успело привязаться к матери. Филипу казалось, что стоит ей побыть две-три недели с ребенком, и в ней непременно заговорит материнский инстинкт; он надеялся, что это чувство поможет ему убедить Милдред оставить ребенка у себя, но ожидания его не оправдались. Милдред неплохо обращалась с ребенком, делала для него все, что положено; иногда он ее даже забавлял, и она любила о нем рассказывать, но в душе была к нему совершенно равнодушна. Она не чувствовала, что ребенок — это часть ее самой. Ей казалось, что девочка уже похожа на отца. Ее постоянно точила мысль, что она будет делать с ней, когда та станет постарше, и злилась на себя, что была такой дурой и ее родила.

— Эх, кабы я знала тогда все, что знаю теперь! — любила она повторять.

Она смеялась над тем, что Филипа беспокоит судьба ребенка.

— Ты из-за нее поднимаешь такую суматоху, словно она твоя. Представляю себе Эмиля на твоем месте. Вот уж кто не стал бы распускать слюни!

Филип наслушался историй о бесчеловечном обращении с отданными на воспитание детьми и об извергах, которые истязают несчастных ребят, порученных им жестокими, эгоистичными родителями.

— Не болтай глупостей, — говорила Милдред. — Это бывает, если даешь деньги вперед. А когда ты платишь каждую неделю, они стараются, чтобы уход был хороший.

Филип настаивал на том, чтобы Милдред отдала ребенка людям, у которых своих детей нет, и взяла бы с них обещание, что других детей они брать не станут.

— Не торгуйся и не жадничай,— говорил он.— Я предпочту платить полгиinei в неделю и не рисковать, что ребенка будут бить или морить голодом.

— Ну и чудной же ты человек!— засмеялась она.

Беззащитность ребенка казалась Филипу необычайно трогательной. Это было крошечное, уродливое, вечно чем-то недовольное существо. Его рождения ждали со стыдом и душевной болью. Никому он не был нужен. И целиком зависел от того, даст ли ему чужой человек пищу, кров и одежду.

Когда поезд тронулся, Филип поцеловал Милдред. Он поцеловал бы и ребенка, но боялся, что Милдред станет над ним смеяться.

— Ты мне будешь писать? Да, дорогая? А я тебя буду ждать с нетерпением!

— Смотри не провались на экзамене.

Филип и так готовился прилежно, но теперь, когда до экзамена осталось десять дней, он целиком погрузился в занятия. Он должен был выдержать во что бы то ни стало: во-первых, ему не хотелось тратить лишнее время и деньги, а деньги за последние четыре месяца текли рекой; во-вторых, экзамен означал конец зубрежки — студент переходил к занятиям общей медициной, акушерством и хирургией — предметами куда более живыми, чем анатомия и физиология, которые он изучал до сих пор. Филип с интересом ждал второй половины курса обучения. К тому же ему было бы неприятно признаться Милдред, что он потерпел поражение: хотя экзамен был очень трудный и большинство студентов проваливались при первой попытке, Филип знал, что Милдред будет им недовольна, а она обладала удивительной способностью унижать человека.

Милдред сообщила открыткой, что доехала благополучно, и ежедневно он отрывал от занятий полчаса, чтобы написать ей длинное письмо. Он всегда робел, когда ему приходилось выражать свои чувства, но оказалось, что на бумаге он может высказать то, что постеснялся бы произнести вслух. Пользуясь этим, он изливал ей свое сердце. До сих пор он не решался ей сказать, каким обожанием полно все его существо, как любовь окрашивает все его поступки, все его мысли. Он писал ей о будущем, о счастье, которое его ждет, и о глубочайшей благодарности, которую он к ней чувствует. Он спрашивал себя (он часто спрашивал себя об этом и раньше, но ни разу не отважился передать словами), что было в ней такого, что наполняло его душу невыразимым восторгом. Он сам этого не понимал; он знал одно:

когда она с ним, он счастлив, а когда ее нет, весь мир становится холодным и неприятным; он знал, что, когда думает о ней, сердце его словно расширяется, наполняет всю грудь (будто ему сдавило легкие), бьется, как безумное, ему становится трудно дышать; радость от того, что она рядом, доходит до боли, до дрожи в коленях, и он чувствует странную слабость, словно от голода. Он с нетерпением ждал от нее ответа. Он и не надеялся, что она будет писать часто, зная, что письма даются ей с трудом, и его обрадовала даже нескладная записочка, которую он получил в ответ на четыре своих письма. Она писала о пансионате, где сняла комнату, о погоде и о ребенке; сообщила, что гуляет по взморью со знакомой дамой, которую встретила в пансионате; эта дама очень привязалась к ребенку; в субботу она собирается в театр; в Брайтоне становитсялюдно. Филип был тронут этой запиской — она была такой деловитой. Официальный тон и топорный стиль вызывали у него невольную улыбку — ему захотелось поскорее обнять Милдред, расцеловать ее.

Он пошел на экзамен со счастливой уверенностью в успехе. Обе письменные работы не представляли для него трудностей. Он знал, что хорошо с ними справился, и, хотя вторая половина экзаменов была устной, а он очень волновался, ему удалось ответить на все вопросы. Когда ему сообщили результат, он сразу же послал радостную телеграмму Милдред.

Вернувшись домой, Филип нашел от Милдред письмо, где она писала, что ей, пожалуй, полезно бы побыть в Брайтоне еще недельку. Она нашла женщину, которая с удовольствием возьмет ребенка за семь шиллингов в неделю, но об этой женщине надо навести еще кое-какие справки, да и самой лучше провести лишних несколько дней на море. Ей страшно неприятно просить у Филипа денег, но не придет ли он ей немножко с обратной почтой, так как ей пришлось купить себе новую шляпку; не могла же она гулять со знакомой дамой всегда в одной и той же шляпке, тем более что эта дама — большая модница. Филип почувствовал жестокое разочарование. Всякая радость от того, что он выдержал экзамен, сразу пропала.

«Если бы она любила меня хоть в четверть того, как я люблю ее, она не захотела бы остаться там ни одного лишнего дня!»

Но он быстро откинул эту мысль; нельзя же быть таким эгоистом: конечно, ее здоровье важнее всего на свете! Однако ему теперь нечего делать, почему бы не провести неделю

с ней в Брайтоне — они смогут быть целые дни вместе. Сердце его забилось от этой мысли. Разве не забавно появиться перед Милдред, словно из-под земли, и сообщить ей, что он снял комнату в том же пансионате? Он посмотрел расписание поездов. Но тут его взяло сомнение. Филип не был уверен, что Милдред ему обрадуется: она завела себе в Брайтоне друзей; он человек тихий, а она любит развлекаться; Филип не скрывал от себя, что Милдред куда веселее с другими, чем с ним. Ему будет нестерпимо тяжело, если он хоть на миг почувствует, что мешает ей. Он боялся рисковать. Он не решался даже написать ей, что придет, так как его больше ничто не удерживает в городе и ему хочется хоть неделю видеть ее каждый день. Милдред знает, что он теперь совершенно свободен; если бы она хотела, чтобы он приехал, она бы его пригласила сама. Как он будет страдать, если попросит разрешения приехать, а она придумает какой-нибудь предлог, чтобы ему отказать.

Он ответил ей на следующий день и послал билет в пять фунтов, а в приписке к письму сообщил, что, если она будет так мила, что захочет провести с ним субботу и воскресенье, он с удовольствием к ней придет, однако пусть ни в коем случае не нарушает своих планов. Ответа он ждал с нетерпением. Милдред написала, что если бы знала о его приезде заранее, то все бы предусмотрела, а так она условилась пойти в субботу в мюзик-холл; к тому же в пансионате начнутся всякие сплетни, если он там остановится. Почему бы ему не приехать в воскресенье утром и не провести с ней день? Они пообедают в «Метрополе», а потом она сводит его к той весьма достойной особе — настоящей леди в полном смысле слова, — которая берет на воспитание ребенка.

Настало воскресенье. Филип благословлял бога за то, что погода выдалась хорошая. Когда поезд подходил к Брайтону, все купе было залито солнцем. Милдред ждала его на перроне.

— Как мило с твоей стороны, что ты пришла меня встретить! — закричал он, сжимая ее руки.

— Но ты ведь небось ждал, что я тебя встречу?

— Я надеялся, что ты придешь. Боже мой, как ты прелестно выглядишь!

— Да, я тут очень хорошо поправилась, по-моему, мне полный смысл побывать здесь как можно дольше. А у нас в пансионате очень приличная публика. Мне просто позарез нужно было немножко развлечься — ведь все эти месяцы я не видела ни души! Такая бывала скука...

У Милдред был очень элегантный вид в новой шляпке из черной соломки с большими полями, украшенной множеством дешевых цветов; вокруг шеи развевалось длинное боа из поддельного лебяжьего пуха. Она все еще была очень худа и немножко горбилась на ходу (впрочем, она всегда была чуточку сутулой), но глаза уже не казались такими огромными, и, хотя румянец на щеках так и не появился, кожа потеряла свой землистый оттенок. Они пошли к морю. Филип, вспомнив, что он не ходил рядом с ней уже много месяцев, вдруг снова застеснялся своей хромоты и старался шагать ровнее, чтобы не так было заметно.

— Ты хоть немножко рада меня видеть? — спросил он; любовь как одержимая билась в его сердце.

— Конечно, рада. Нечего и спрашивать.

— Кстати, Гриффитс шлет тебе нежный привет.

— Вот нахал!

Он часто рассказывал ей о Гриффитсе. Говорил, как тот любит ухаживать за женщинами, и смешил ее, пересказывая какое-нибудь любовное приключение, о котором Гриффитс поведал ему под строжайшим секретом. Милдред выслушивала все это, иногда делала вид, будто ей противно, но чаще не скрывала своего любопытства, а Филип с жаром восторгался красивой внешностью и обаянием друга.

— Я уверен, что тебе он понравится не меньше, чем мне. Такой весельчак, такой славный!

Филип рассказал ей, как, будучи едва с ним знаком, Гриффитс выходил его во время болезни; самоотверженность Гриффитса при этом отнюдь не была умалена.

— Он тебе не может не понравиться.

— Не люблю красавчиков, — сказала Милдред. — На мой взгляд, они слишком самоуверенны.

— Он хочет с тобой познакомиться. Я ужасно много ему о тебе рассказывал.

— А что ты ему говорил? — заинтересовалась Милдред.

Филипу некому было рассказывать о своей любви, кроме Гриффитса, и постепенно он выложил ему всю историю своих отношений с Милдред. Он описывал ее десятки раз. Он любовно перебирал каждую ее черту, и Гриффитс отлично усвоил, какие у нее руки и белое лицо; он покатывался со смеху, когда Филип восторгался прелестью ее бледных тонких губ.

— О господи спаси! Какое счастье, что я не способен так втюриться! Ей-богу, это была бы не жизнь, а чистый ад!

Филип только улыбался. Гриффитс не понимал, как упоительно быть безумно влюбленным, когда любовь — это

и хлеб, и вино, и воздух, которым ты дышишь, и все, что тебе необходимо в жизни. Гриффитс знал, что Филип опекал девушку, когда она рожала, и собирался теперь с ней уехать.

— Ну что ж, должен сказать, что вам пора получить хоть что-то в награду,— заметил он.— Вам это обошлось недешево. Хорошо, что вы можете себе позволить такую прихоть.

— Нет, не могу,— сказал Филип.— Но разве в этом дело?

Обедать было еще рано. Филип с Милдред уселись в одной из беседок на приморском бульваре и, греясь на солнышке, стали рассматривать гуляющих. Были тут и местные приказчики, которые прогуливались по двое и по трое, размахивая тросточками, и местные продавщицы, кокетливо семенившие в стайке хихикающих товарок. Людей, приехавших на день из Лондона, было нетрудно отличить: на свежем воздухе кровь прилиwała к их усталым лицам. Было много евреев — толстых дам, туго затянутых в атласные платья и увешанных бриллиантами, низеньких дородных мужчин, живо размахивающих руками. Были тут и холеные пожилые джентльмены, проводившие воскресный день в одном из больших отелей; они прилежно совершали моцион после слишком сытного обеда, обменивались друг с другом свежими новостями и беседовали о морском курорте Лондона — «Докторе Брайтоне». Время от времени проходил какой-нибудь известный актер, старательно не замечая всеобщего внимания к своей особе; один из них вырядился в пальто с каракулевым воротником, лакированные башмаки и помахивал тростью с серебряным набалдашником; у другого был такой вид, словно он только что вернулся с охоты: на нем были штаны до колен, куртка из домотканой шерсти и сдвинутая на затылок матерчатая шляпа. Солнце сияло над синим морем, синее море было чистенькое и гладкое.

После обеда они отправились в Хоув знакомиться с женщиной, которая соглашалась взять на себя заботу о ребенке. Жила она в маленьком домике на боковой улочке, но комнаты были очень опрятные. Звали ее миссис Хардинг. Это была пожилая, седовласая, грузная особа с красным мясистым лицом. Выглядела она в своем чепце как заботливая мать семейства, и Филипу она показалась доброй.

— А для вас не будет ужасной морокой ухаживать за грудным младенцем? — спросил ее Филип.

Она объяснила, что муж ее — помощник священника, человек много старше ее; постоянную работу ему подыскать

не удастся — священники предпочитают брать в помощь людей молодых, — временами он зарабатывает понемножку, заменяя больных или ушедших в отпуск, да и благотворительное общество выплачивает им крохотную пенсию, однако живется ей одиноко, присматривать за ребенком — все-таки какое-то развлечение, а несколько шиллингов в неделю, которые она за это получит, помогут ей свести концы с концами. Она обещала, что ребенок будет хорошо питаться.

— Настоящая леди, я ведь тебе говорила! — сказала Милдред, когда они вышли.

Они вернулись в Брайтон и пошли пить чай в «Метрополь». Милдред нравились толкотня и громкая музыка. Филип устал разговаривать и не сводил глаз с ее лица: она жадно разглядывала наряды входящих женщин. У нее была поразительная способность угадывать, сколько что стоит, и время от времени она нагибалась к нему и шепотом сообщала результаты своих подсчетов.

— Погляди, какая эгретка! За нее плачено никак не меньше семи гиней.

Или:

— Видишь вон тот горноста! Никакой это не горноста, а просто кролик! — Она удовлетворенно хихикнула. — Меня не проведешь! Издали вижу.

Филип умиленно улыбался. Он был рад, что она довольна, а ее непосредственность забавляла и трогала его. Оркестр играл что-то очень чувствительное.

После обеда они пешком отправились на вокзал, и Филип взял ее под руку. Он рассказывал ей, что еще надо сделать перед поездкой во Францию. Ей надо вернуться в Лондон в конце недели, но Милдред сразу же сообщила, что не сможет приехать раньше будущей субботы. Филип уже заказал для них в Париже комнату в гостинице. Ему не терпелось поскорее взять билеты.

— Ты не будешь возражать, если мы поедем вторым классом? Нам нельзя швыряться деньгами и лучше побольше истратить там, на месте.

Он сотни раз рассказывал ей о Латинском квартале. О том, как они будут бродить по его милым старинным улицам, отдыхать на чудесных лужайках Люксембургского сада. Если погода будет хорошая, а Париж им надоест, они съездят в Фонтенбло. Деревья как раз начнут распускаться. Зелень в лесу весной прекраснее всего на свете: она похожа на песню, на сладостные муки любви. Милдред молча его слушала. Он повернул голову и постарался поглубже заглянуть ей в глаза.

— Тебе ведь хочется туда, правда? — спросил он.

— Конечно, хочется, — улыбнулась она.

— Ты и представить себе не можешь, в каком я нетерпении. Просто не знаю, как проживу эти несколько дней до отъезда. Мне так страшно: а вдруг что-нибудь нам помешает! Меня бесит, что я не умею выразить, как я тебя люблю... И вот наконец, наконец...

Он замолчал. Они уже подошли к вокзалу, но, так как по дороге они замешкались, у Филипа едва хватило времени, чтобы попрощаться. Он быстро поцеловал ее и со всех ног кинулся на платформу. Милдред стояла и смотрела ему вслед. Он был удивительно смешон, когда пытался бежать.

ГЛАВА 74

Милдред вернулась в следующую субботу, и первый вечер Филип провел с ней вдвоем. Он купил билеты в театр, а за обедом они выпили шампанского. Впервые за долгое время Милдред вышла в Лондоне на люди и от всего получала самое неподдельное удовольствие. Она прижалась к Филипу, когда они ехали из театра домой в комнату, которую он снял для нее в Пимлико.

— Можно подумать, что ты и в самом деле рада меня видеть, — сказал он.

Она не ответила, но тихонько пожалала ему руку. Проявления нежности были для нее так необычны, что Филип сидел как замороженный.

— Я пригласил Гриффитса завтра с нами пообедать, — сказал он.

— Вот и хорошо. Я давно хотела с ним познакомиться.

В воскресенье вечером все увеселительные места были закрыты, и Филип боялся, что она соскучится, если пробудет целый день наедине с ним. Гриффитс — человек веселый, он им поможет скоротать вечер, а Филип любил их обоих, ему хотелось, чтобы они познакомились и понравились друг другу. Прощаясь с Милдред, он сказал:

— Осталось до отъезда всего шесть дней!

Они сговорились, что в воскресенье поужинают на галерее в «Романо» — кормили там отлично, и вид у ресторана был такой, будто стоит там все втридорога. Филип с Милдред пришли первые и стали дожидаться Гриффитса.

— Вот неаккуратный, черт! — сказал Филип. — Наверное, признается в любви одной из своих бесчисленных пассий.

Но вот появился Гриффитс. Он был красивый парень — высокий, стройный, с хорошо посаженной головой, что придавало ему победоносный вид; его кудрявые волосы, дерзкие, но ласковые глаза и яркий рот не могли не нравиться. Филип заметил, что Милдред поглядела на его друга благосклонно, и почувствовал какое-то непонятное удовлетворение. Гриффитс улыбнулся им обоим.

— Я так много о вас слышал,— сказал он Милдред, пожимая ее руку.

— Наверное, меньше, чем я слышала о вас.

— Но зато ты не слышала о нем ничего лестного,— сказал Филип.

— Воображаю, в каком он представил меня свете!

Гриффитс захохотал, и Филип заметил, что Милдред обратила внимание на его ровные белые зубы и обаятельную улыбку.

— Да вы уж вроде как старые друзья,— сказал Филип.— Я и в самом деле столько рассказывал вам друг о друге.

Гриффитс был в радужном настроении: он выдержал последние экзамены, получил диплом и только что был принят ординатором в одну из больниц северного Лондона. Ему надо было приступить к работе в начале мая, а пока он собирался съездить домой отдохнуть; это была его последняя неделя в Лондоне, и он намеревался повеселиться вволю. Он сразу же стал болтать забавную чепуху, что всегда восхищало Филипа, потому что сам он был на это не способен. В том, что Гриффитс говорил, не было ничего интересного, но живость придавала его болтовне какое-то остроумие. Он словно излучал жизненную силу, которая покоряла всех, кто с ним сталкивался; она была почти осязаема, как физическое тепло. И Милдред в этот вечер так оживилась, что Филип ее не узнавал, ему было приятно, что его маленькое празднество так удалось. Милдред очень развеселилась. Она хохотала все громче и совсем позабыла ту светскую сдержанность, которую так упорно себе прививала.

Гриффитс заявил:

— Знаете, мне ужасно трудно вас звать миссис Миллер. Филип всегда вас зовет просто Милдред.

— Надеюсь, что она не выцарапает тебе глаза, если ты будешь звать ее по имени,— засмеялся Филип.

— Тогда пусть и она зовет меня Гарри.

Филип молча прислушивался к их болтовне и думал, как хорошо видеть рядом с собой счастливых людей. Время от

времени Гриффитс его добродушно поддразнивал за то, что он такой невеселый.

— Ей-богу, Филип, он тебя просто любит! — улыбнулась Милдред.

— А что, старик у нас не так уж плох, — сказал Гриффитс и весело потряс Филипу руку.

Казалось, Гриффитса еще больше украшало то, что он привязан к Филипу. Все трое пили редко, и вино сразу ударило им в голову. Гриффитс стал еще разговорчивее и так разошелся, что Филип, смеясь, попросил его вести себя потише. У Гриффитса был талант рассказчика, и его приключения становились еще романтичнее и смешнее, когда он их пересказывал. Сам он играл в них галантную, забавную роль. Милдред с горящими глазами заставляла его рассказывать еще и еще. Он выкладывал одну историю за другой. Милдред была поражена, когда в ресторане стали гасить свет.

— Господи, как быстро пролетел вечер! Мне казалось, что сейчас не больше половины десятого.

Они встали, и, прощаясь с Гриффитсом, Милдред сказала:

— Я завтра собираюсь к Филипу пить чай. Если хотите, можете заглянуть тоже.

— Ладно, — ответил он, улыбаясь.

По дороге домой в Пимлико Милдред не могла говорить ни о чем, кроме Гриффитса. Ее совсем покорили его красивая внешность, хорошо сшитый костюм, приятный голос, остроумие.

— Ну, я рад, что он тебе понравился, — сказал Филип. — А помнишь, как ты фыркала, когда я хотел вас познакомить?

— Это очень мило с его стороны, что он тебя любит. Хорошо, что у тебя есть такой друг.

Она подставила Филипу губы. С ней это случалось редко.

— Вот сегодня я повеселилась. Большое спасибо.

— Ах ты, дурочка, — засмеялся он, до того тронутый ее благодарностью, что на глаза у него навернулись слезы.

Она отперла свою дверь, но, прежде чем войти, снова обернулась к Филипу.

— Скажи Гарри, что я от него без ума.

— Хорошо, — рассмеялся он. — Спокойной ночи.

На следующий день, когда они пили чай, вошел Гриффитс. Он лениво опустился в кресло. В неторопливых движениях его крупного тела было что-то необычайно чувствен-

ное. И, хотя Филип больше молчал, а остальные двое болтали без умолку, ему было приятно. Он так любил их обоих, что не было ничего удивительного, если они полюбились друг другу. Филипа не беспокоило, что Гриффитс поглощал все внимание Милдред, — ведь вечером они останутся вдвоем; он вел себя как любящий муж, который настолько уверен в привязанности жены, что его забавляет, когда жена невинно кокетничает с кем-то другим. Но в половине восьмого он поглядел на часы и сказал:

— Нам пора идти ужинать.

Наступило молчание. Гриффитс явно не знал, как ему поступить.

— Ну что ж, я пойду, — сказал он в конце концов. — Вот не думал, что уже так поздно.

— Вы сегодня заняты? — спросила Милдред.

— Нет.

Снова наступило молчание. Филип почувствовал, что все это начинает его раздражать.

— Я пойду умоюсь, — сказал он и добавил, обращаясь к Милдред: — Хочешь помыть руки?

Она ему не ответила.

— Почему бы вам с нами не поужинать? — спросила она Гриффитса.

Тот поглядел на Филипа и поймал его мрачный взгляд.

— Да я ведь только вчера с вами ужинал, — сказал он со смехом. — Боюсь вам помешать.

— Да что вы, — настаивала Милдред. — Уговори его с нами пойти, Филип. Он ведь нам не помешает, правда?

— Если хочет, пожалуйста, пускай идет.

— Ну что ж, ладно, — сразу же согласился Гриффитс. — Я сейчас сбегаю наверх и приведу себя в порядок.

Как только он вышел из комнаты, Филип сердито спросил Милдред:

— С какой стати ты позвала его с нами ужинать?

— Что же я могла поделать? Было бы невежливо его не пригласить, раз он сказал, что ему сегодня нечего делать.

— Глупости! А какого дьявола тебе понадобилось спрашивать, что он сегодня делает?

Бледные губы Милдред сжались плотнее.

— Мне иногда тоже хочется повеселиться. Думаешь, мне не надоедает все время быть с тобой вдвоем?

Они услышали, как по лестнице шумно топает Гриффитс, и Филип ушел в спальню мыться. Ужинали они неподалеку, в итальянском ресторане. Филип был зол и молчалив, но скоро понял, что проигрывает рядом

с Гриффитсом, и попытался скрыть свое недовольство. Он много выпил, чтобы заглушить ноющую боль в сердце, и старался быть разговорчивым. Милдред, словно раскаиваясь в своих словах, с ним всячески заигрывала. Она была нежна и предупредительна. Постепенно Филипу стало казаться, что он дурак и зря поддался чувству ревности. После ужина они взяли извозчика, чтобы поехать в мюзик-холл, и сидевшая между двумя мужчинами Милдред сама вложила свою руку в руку Филипа. Всякая злость у него пропала. Но вдруг, сам не зная как, он понял, что другую руку Милдред держит Гриффитс. Его снова пронзила боль, настоящая физическая боль, и в ужасе он задал себе вопрос, который мог бы задать и раньше: не влюбились ли они с Гриффитсом друг в друга? Подозрение, ярость, отчаяние, словно пеленой, застилали ему глаза, он не видел того, что происходило на эстраде, но делал вид, что ничего не случилось, и продолжал разговаривать и смеяться. Потом его охватило странное желание помучить себя, и он встал, заявив, что пойдет чего-нибудь выпить. Милдред и Гриффитс никогда еще не бывали вдвоем. Он хотел оставить их наедине.

— Я пойду с тобой,— сказал Гриффитс.— Мне тоже хочется пить.

— Нет, лучше посиди с Милдред.

Филип не понимал, зачем он это сказал. Он сознательно оставлял их вдвоем, чтобы боль, которую он и так испытывал, стала еще более невыносимой. Он не пошел в бар, а поднялся на балкон, откуда мог потихоньку наблюдать за ними. Они перестали смотреть на сцену и, улыбаясь, глядели друг другу в глаза. Гриффитс что-то говорил со всегдашним увлечением, а Милдред ловила каждое его слово. У Филипа разболелась голова. Он стоял не шевелясь. Он знал, что будет лишним, если вернется. Им без него было весело, а он так страдал, так мучился. Шло время, и в нем проснулась какая-то странная робость, боязнь подойти к ним. Он знал, что они о нем совсем забыли, и с горечью подумал, что он заплатил за их ужин и билеты в мюзик-холл. Как они его дурачат! Его жег стыд. Ему было видно, как им без него хорошо. Филипа подмывало оставить их и уйти домой, но рядом с ними на стуле лежали его пальто и шляпа; ему придется объяснить, почему он хочет уйти! Он пошел на свое место. Когда Милдред его увидела, он заметил в ее глазах легкое раздражение, и сердце его упало.

— Где ты пропадал? — спросил его, приветливо улыбаясь, Гриффитс.

— Встретил знакомых. Заговорился, не мог уйти. Надеюсь, что вы без меня не пропадете.

— Ну, я-то получил большое удовольствие,— сказал Гриффитс.— Не знаю, как Милдред.

Она засмеялась утробным смешком. В этом смехе прозвучало такое пошлое самодовольство, что Филип пришел в ужас. Он предложил уйти.

— Пойдем,— согласился Гриффитс.— Мы отвезем вас домой,— сказал он Милдред.

Филип заподозрил, что сказать это Гриффитса подучила она, чтобы не оставаться вдвоем с Филипом. На извозчике он не взял ее руки, а она ее и не предложила, но он знал, что рука Милдред все время лежит в руке Гриффитса. Больше всего его мучило то, как все это бесконечно пошло. Пока они ехали, он спрашивал себя, сговорились ли они встретиться тайком от него, проклинал себя за то, что оставил их наедине и сделал все возможное, чтобы облегчить им обман.

— Не надо отпускать извозчика,— сказал Филип, когда они подъехали к дому, где жила Милдред.— Я очень устал и не хочу идти пешком.

На обратном пути Гриффитс весело болтал, казалось, не замечая, что Филип отвечает ему односложно. Филип был уверен, что тот понимает, в каком он состоянии. Наконец даже Гриффитс не смог больше преодолеть это гнетущее молчание: он стал нервничать и тоже умолк. Филипу хотелось заговорить, но он робел, не решался, минуты текли, и вот-вот будет уже поздно. А надо было сразу добраться до сути. И наконец он выдал из себя:

— Ты что, влюбился в Милдред?

— Я? — расхохотался Гриффитс.— Ах, вот почему ты так странно ведешь себя весь вечер? Да ничего подобного, старина!

Он попытался просунуть руку Филипу под локоть, но тот отстранился. Он знал, что Гриффитс лжет. У него не хватало духа заставить Гриффитса отрицать, что он держал Милдред за руку. Филип вдруг почувствовал смертельную слабость.

— Для тебя, Гарри, это ничего не значит,— сказал он.— У тебя столько женщин... Не отнимай ее у меня. Для меня это — вся жизнь. Я ведь столько выстрадал.

Голос его задрожал, он не смог сдержаться и всхлипнул. Ему было мучительно стыдно.

— Милый ты мой! Да разве я стану тебя огорчать? Я ведь тебя люблю. Я просто валял дурака. Если бы я знал,

что ты так близко примешь это к сердцу, я вел бы себя осторожнее.

— Правда? — спросил Филип.

— Она мне нужна как прошлогодний снег. Даю тебе честное слово.

У Филипа отлегло от сердца. Извозчик подъехал к дому.

ГЛАВА 75

На следующий день у Филипа было хорошее настроение. Он боялся наскучить Милдред своим обществом, и они условились, что встретятся только перед ужином. Когда он за ней заехал, она была уже готова, и Филип стал дразнить ее такой непривычной пунктуальностью. На ней было новое платье, которое Филип ей подарил, ему оно показалось очень эlegantным.

— Придется послать его обратно, пусть переделают, — сказала она. — Юбка неровно подшита.

— Надо поторопить портниху, если ты хочешь взять его в Париж.

— Ну, к тому времени оно будет готово.

— Осталось всего три дня. Мы ведь поедем одиннадцатичасовым, правда?

— Как хочешь.

Почти целый месяц она будет принадлежать ему одному. Он не мог отвести от нее глаз, полных жадного обожания. Но в нем еще не совсем пропала способность шутить над собственной страстью.

— Не пойму, что я в тебе нашел, — сказал он с улыбкой.

— Вот это мило!

Тело у нее было такое худенькое, что казалось, можно сосчитать все кости. Грудь — плоская, как у мальчишки. Тонкие бледные губы просто уродливы, а кожа чуть-чуть отсвечивает зеленыю.

— Я буду пичкать тебя в поездке пилюлями Бло, — смеясь, сказал Филип. — И назад привезу толстую, цветущую женщину.

— А я вовсе не хочу быть толстой.

Она ни словом не упомянула о Гриффитсе, и, когда они сели ужинать, Филип, чувствуя свою силу и власть над ней, сказал не без ехидства:

— По-моему, ты вчера затеяла с Гарри отчаянный флирт.

— Я уже тебе призналась, что в него влюблена,— засмеялась Милдред.

— Слава богу, что он не влюбился в тебя!

— Почему ты знаешь?

— Я его спрашивал.

Милдред минуту помолчала в нерешительности, а потом взглянула на Филипа, и глаза ее вдруг странно заблестели.

— Хочешь прочесть письмо, которое я утром от него получила?

Она протянула ему письмо, и Филип узнал на конверте твердый разборчивый почерк Гриффитса. В письме было восемь страниц. Оно было хорошо написано и дышало милой непосредственностью — письмо человека, привыкшего признаваться женщинам в любви. Гриффитс писал Милдред, что любит ее страстно, что полюбил ее с первого взгляда; он боится ее любить, потому что знает, как относиться к ней Филип, но не может с собой совладать. Филип — славный малый, и ему очень стыдно, но чем же он виноват, если чувство захватило его целиком. Он делал Милдред прелестные комплименты. В конце письма он благодарил ее за то, что она согласилась завтра с ним пообедать, и уверял, что ждет не дожидается встречи. Филип заметил, что письмо помечено вчерашним числом; Гриффитс, видно, написал его, расставшись с Филипом, и не поленился выйти и его отправить, когда Филип думал, что он уже спит.

Филип прочел письмо с тоскливо замирающим сердцем, но внешне не выразил никакого удивления. Вернув письмо Милдред, он улыбнулся и спокойно спросил:

— Ну как, обед был вкусный?

— Очень! — ответила она с жаром.

Он почувствовал, что руки у него дрожат, и спрятал их под стол.

— Не вздумай принимать Гриффитса всерьез. Он ведь мотылек, сама знаешь.

Она развернула письмо и быстро прочла его снова.

— Но и я не могу с собой совладать,— сказала она с напускной небрежностью.— Прямо не пойму, что на меня нашло.

— Положение мое, выходит, незавидное,— сказал Филип.

Она кинула на него быстрый взгляд.

— Надо признаться, что ты принял это довольно спокойно.

— А ты бы хотела, чтобы я рвал на себе волосы?

— Я так и думала, что ты на меня рассердишься.

— Смешно, но я совсем не сержусь. Я ведь должен был все это предвидеть. Сам, дурак, вас свел. И отлично знал, какие у него передо мной преимущества: он куда занятнее меня и очень красив, с ним веселее, он может с тобой разговаривать о том, что тебя интересует.

— Что ты этим хочешь сказать? Может, я и не бог весть какая умница, тут ничего не поделаешь, но я совсем не такая дура, какой ты меня считаешь. Уж ты мне поверь! А ты, по-моему, миленький, больно нос задираешь!

— Ты хочешь со мной поссориться? — спросил он без всякого гнева.

— Нет, но почему ты позволяешь себе разговаривать со мной, будто я какая-нибудь шваль?

— Прости, я не хотел тебя обидеть. Давай поговорим спокойно. Ведь ни мне, ни тебе не хочется поступать сгоряча и портить себе жизнь. Я заметил, что ты от него без ума, и мне это показалось совершенно естественным. Единственное, что меня огорчает, — это то, что он сознательно старался тебя увлечь. Он ведь знает, как ты мне дорога. Мне кажется, что с его стороны довольно подло было писать тебе это письмо через пять минут после того, как он заверил меня, будто ты нужна ему как прошлогодний снег.

— Если ты рассчитываешь, что, говоря о нем гадости, ты меня от него отвадишь, ошибаешься!

Филип помолчал. Он не знал, как втолковать ей свою точку зрения. Ему хотелось поговорить с ней обстоятельно и хладнокровно, но в душе у него бушевала такая буря, что мысли путались.

— Стоит ли жертвовать всем ради увлечения, которое, ты знаешь сама, недолговечно? Ведь пойми, он никого не умеет любить дольше десяти дней, а ты женщина скорее холодная, и вряд ли тебе это так уж нужно.

— Ты думаешь?

Слыша ее сварливый тон, ему еще труднее было говорить.

— Если ты в него влюблена, делать, конечно, нечего. Я постараюсь это стерпеть. Мы с тобой неплохо ладим друг с другом, и признайся, что я не очень дурно к тебе относился. Я и раньше знал, что ты меня не любишь, но я тебе нравлюсь, и, когда мы приедем в Париж, ты и думать забудешь о Гриффитсе. Стоит тебе решиться выбросить его из головы — и ты увидишь, что это совсем не так трудно, а я заслужил, чтобы ты позаботилась и обо мне.

Она ничего не ответила, и они продолжали ужинать. Когда молчание стало гнетущим, Филип заговорил о посто-

ронних вещах. Он сделал вид, будто не замечает, что Милдред его не слушает. Отвечала она механически и сама не заговаривала ни о чем. Под конец она резко прервала начатую им фразу:

— Знаешь, я боюсь, что не смогу ехать в субботу. Врач мне не советует.

Он понял, что это неправда, но спросил:

— А когда ты сможешь ехать?

Она взглянула на него и, увидев, что лицо его побелело и стало каменным, пугливо отвела глаза. В эту минуту он почти внушал ей страх.

— Да, пожалуй, лучше сказать тебе сразу и больше к этому не возвращаться. Я вообще не могу с тобой поехать.

— Я так и понял, что ты к этому клонишь. Но теперь тебе поздно передумывать. Я уже купил билеты и все прочее.

— Ты ведь сам говорил, что не хотел бы тащить меня силком. А я не хочу с тобой ехать.

— Говорил. А теперь не говорю. Я не позволю, чтобы меня опять надули. Ты поедешь.

— Я тебя очень люблю. Но только как друга. Мне противно думать о более близких отношениях. Как мужчина ты мне не нравишься. Я не могу, Филип.

— Но ты отлично могла еще неделю назад.

— Тогда было другое дело.

— Тогда ты еще не познакомилась с Гриффитсом?

— Ты же сам сказал, что не моя вина, если я в него влюбилась.

Она надулась и упорно не поднимала глаз от тарелки. Филип побелел от ярости. Ему очень хотелось стукнуть ее по лицу кулаком, и он представлял себе, как она будет выглядеть с синяком под глазом. За соседним столиком ужинали двое парнишек лет по восемнадцати, они то и дело поглядывали на Милдред. Наверно, завидуют ему, что он ужинает с хорошенькой девушкой, а может, хотят быть на его месте. Молчание нарушила Милдред:

— Да что хорошего, если мы с тобой и поедем? Я все время буду думать о нем. Вряд ли тебе это доставит удовольствие.

— Ну, это мое дело.

Она сообразила, что он подразумевал под этим ответом, и покраснела.

— Знаешь, это просто гадость!

— Ну и что?

— А я-то думала, что ты джентльмен в полном смысле слова!

— Вот и ошиблась! — засмеялся он.

Этот ответ показался ему самому комичным.

— Да не смейся ты Христа ради! — воскликнула она. — Я не могу с тобой поехать, понимаешь? Ты меня прости. Я сама знаю, что плохо с тобой обошлась, но сердцу не прикажешь.

— Ты забыла, что, когда с тобой стряслась беда, я сделал для тебя все? Выкладывал деньги, чтобы содержать тебя, пока не родится ребенок, платил за врача, отправил тебя в Брайтон, да и сейчас плачу за содержание твоего ребенка и за твои платья. Все, что на тебе надето, до последней нитки, — куплено на мои деньги.

— Если бы ты был настоящим джентльменом, ты бы не хвастался тем, что для меня сделал.

— Да заткнись ты бога ради! Так уж, думаешь, мне хочется быть джентльменом? Если бы я был джентльменом, я не стал бы путаться с такой дрянью. И мне наплевать, нравлюсь я тебе или нет. Мне осточертело, что меня водят за нос. Нашла дурака! Поедешь со мной в субботу в Париж как миленькая, не то пеняй на себя!

Щеки у нее пылали от злости, и, когда она заговорила, в ее речи была та простонародная грубость, которую она обычно прятала под «великосветским» выговором.

— Меня всегда от тебя воротило, с первого дня! Сам мне навязался. А как мне тошно, когда ты меня целуешь! Да я не позволю тебе и пальцем до меня дотронуться, лучше с голоду подохну!

Филип пытался проглотить кусок, но горло у него словно сдавило тисками. Он залпом что-то выпил и закурил сигарету. Он дрожал всем телом. Говорить он не мог. Он ждал, чтобы она встала, но она продолжала молча сидеть, уставившись на белую скатерть; если бы они были одни, он схватил бы ее и стал целовать; ему так и виделось, как откинется назад ее длинная белая шея, когда он прильнет к ее рту губами. Они просидели целый час молча, наконец Филип заметил, что официант все чаще поглядывает на них с любопытством. Он попросил счет.

— Пойдем? — спросил он ровным голосом.

Она ничего не ответила, но взяла сумочку и перчатки. Потом надела пальто.

— Когда ты опять увидишь Гриффитса?

— Завтра, — спокойно ответила она.

— Советую тебе серьезно с ним поговорить.

Она машинально открыла сумочку, увидела в ней какую-то бумажку и вынула ее.

— Вот счет за платье,— нерешительно сказала она.

— Зачем он мне?

— Я обещала, что завтра заплачу.

— Ну и что?

— Ты не хочешь за него платить? Ведь ты мне сказал, чтобы я его купила.

— Не хочу.

— Тогда я попрошу у Гарри,— сказала она, заливаясь краской.

— Он с удовольствием тебя выручит. В данное время он мне должен семь фунтов, а на прошлой неделе так истратился, что снес в ломбард свой микроскоп.

— Не воображай, что ты этим меня испугаешь. Я сама могу заработать себе на жизнь.

— Вот и отлично. Я не дам тебе больше ни гроша.

Она подумала о том, что в субботу ей надо платить за квартиру и послать деньги на содержание ребенка, но ничего не сказала. Они вышли из ресторана. На улице Филип ее спросил:

— Позвать тебе извозчика? Я хочу немножко пройтись.

— У меня нет денег. Мне сегодня пришлось заплатить по одному счету.

— Тебе не вредно прогуляться. Если захочешь меня видеть, я буду дома часов около пяти.

Он снял шляпу и медленно пошел прочь. Пройдя несколько шагов, он оглянулся и увидел, что она беспомощно стоит там, где он ее оставил, и смотрит на проезжающие экипажи. Он вернулся и со смехом сунул ей в руку монету.

— На, возьми два шиллинга и поезжай домой.

Прежде чем она успела открыть рот, он поспешно отошел.

ГЛАВА 76

На следующий день, ближе к вечеру, Филип сидел у себя в комнате и ждал, придет ли Милдред. Спал он плохо. Утро он провел в клубе медицинского института, перелистывая газеты. Каникулы уже начались, в Лондоне оставалось немного студентов, но он все же нашел каких-то знакомых, с которыми можно было поболтать, сыграть партию в шахматы и скоротать томительные часы. После обеда он почувствовал невероятную усталость, голова у него раскалывалась от боли; он вернулся домой, прилег и попытался почитать какой-то роман. Гриффитса он не видел.

Вечером, когда Филип вернулся, его не было дома; позже Филип услышал, что Гриффитс пришел, но не заглянул, как обычно, в комнату Филипа, чтобы посмотреть, спит он или нет, а утром очень рано ушел. Филипу было ясно, что он его избегает. Вдруг раздался легкий стук в дверь. Филип поспешно отворил. На пороге стояла Милдред. Она не двигалась.

— Входи,— сказал Филип.

Он закрыл за ней дверь. Она села, не зная, с чего начать.

— Спасибо, что ты дал мне вчера два шиллинга,— сказала она.

— Не стоит.

Она чуть-чуть ему улыбнулась. Эта улыбка напомнила Филипу боязливый, заискивающий взгляд щенка — его побили за проказы, и он теперь хочет помириться с хозяином.

— Я обедала с Гарри,— сказала она.

— Да?

— Если ты еще хочешь, чтобы я поехала с тобой в субботу, я поеду.

Сердце у него забилося от торжества, но торжество его длилось только миг; на смену тут же пришло подозрение.

— Это из-за денег? — спросил

— Отчасти,— ответила она просто.— Гарри ничем не может мне помочь. Он задолжал за пять недель здесь, должен семь фунтов тебе, да и портной его прижимает. Он бы с радостью что-нибудь заложил, но у него уже все в ломбарде. Мне стоило большого труда уговорить портниху обождать с деньгами за платье, в субботу надо платить за комнату, а работу сразу не найдешь. Надо выждать, пока освободится вакансия.

Она произнесла эту тираду спокойно, брюзгливым тоном, словно перечисляла несправедливые, но неизбежные удары судьбы. Филип ничего не ответил. Он заранее знал все, что она скажет.

— Почему же только «отчасти»? — спросил он, помолчав.

— Да вот Гарри говорит, что мы многим тебе обязаны. Он говорит, что ты был настоящим другом ему, а для меня сделал то, чего, может, никто другой бы и не сделал. Он говорит, что мы должны вести себя честно. И потом Гарри сказал мне то же, что ты сказал о нем: он человек по природе ветреный, совсем не такой, как ты, и я была бы душой, если бы бросила тебя ради него. Он ненадолго, а ты надолго — это он сам говорит.

— Но ты-то хочешь со мной ехать? — спросил Филип.

— Ну что ж, пожалуй...

Он смотрел на нее, и в углах его рта обозначились горькие складки. Да, он победил и мог поступать, как ему хотелось. У Филипа вырвался саркастический смешок: он-то понимал свое унижение! Она быстро подняла на него глаза, но ничего не сказала.

— Я так ждал, ждал всей душой этой поездки в Париж, надеялся, что наконец, после всех моих мук, я тоже буду счастлив...

Он не договорил. И тут вдруг совсем неожиданно Милдред разразилась потоком слез. Она сидела на том же кресле, на котором плакала Нора, и так же, как и она, уткнулась лицом в спинку, рядом с вмятиной от множества покоившихся тут голов.

«Не везет мне с женщинами», — подумал Филип.

Ее худое тело содрогалось от рыданий. Филип никогда не видел, чтобы женщина плакала с таким отчаянием. Смотреть на это было невыносимо, и сердце его разрывалось. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, он подошел к ней и обнял ее, она не сопротивилась; наоборот, в своем горе она охотно принимала его утешения. Он шептал ей нежные, успокоительные слова. Он сам не знал, что говорит; нагнувшись к ней, он стал осыпать ее поцелуями.

— Неужели тебе, бедняжке, так скверно? — спросил он в конце концов.

— Лучше бы я умерла, — простонала она. — Лучше бы я умерла, когда рожала.

Ей мешала шляпа, и Филип ее снял. Он прислонил голову Милдред поудобнее к спинке кресла, отошел и сел у стола, не сводя с нее глаз.

— Какая страшная штука любовь, верно? — сказал он. — Подумать только, что люди хотят любви!

Постепенно ее рыдания стихли, обессилов, она сидела в кресле, закинув назад голову и беспомощно свесив руки. У нее была неестественная поза, словно у манекена, на который художники набрасывают драпировки.

— Я не знал, что ты его так любишь, — сказал Филип.

Любовь Гриффитса ему была понятна — он ставил себя на место Гриффитса, смотрел на нее его взглядом, прикасался его руками; он мог представить себе, что он — Гриффитс, целовать ее его губами, улыбаться ей его смеющимися синими глазами. Но ее чувство его удивляло. Он не считал ее способной испытывать страсть, а это была настоящая

страсть. Ошибки быть не могло. Что-то неладное творилось у него с сердцем: ему казалось, что оно действительно рвется на части, и он чувствовал непривычную слабость.

— Я не хочу, чтобы ты была несчастна. Тебе не придется ехать со мной, если ты этого не хочешь. Я все равно дам тебе денег.

Она покачала головой.

— Нет, я сказала, что поеду, и поеду.

— Какой в этом толк, раз ты умираешь от любви к Гриффитсу?

— Да, это верно. Я умираю от любви. Я знаю, что это скоро кончится, так же хорошо знаю, как и он, но пока что...

Она замолчала и закрыла глаза, словно вот-вот потеряет сознание. В голову Филипу пришла странная мысль, и он произнес ее вслух, не обдумав:

— Почему бы тебе не уехать с ним?

— Как же я могу? Ты ведь знаешь, у нас нет денег.

— Я тебе дам деньги.

— Ты?

Она выпрямилась и посмотрела на него. Глаза ее засияли, к щекам снова прихлынула кровь.

— Может, самое лучшее—это чтобы твое увлечение поскорее прошло, тогда ты вернешься ко мне.

Сам предложив это, он теперь изнемогал от боли, однако в муке, которую он испытывал, была какая-то странная сладость. Она глядела на него, широко открыв глаза.

— Ох, как же можно? На твои деньги? Гарри об этом и слышать не захочет.

— Захочет, если ты его уговоришь.

Ее возражения только заставили его быть настойчивее, хотя он желал всем сердцем, чтобы она отказалась.

— Я дам вам пять фунтов, и вы сможете уехать с субботы до понедельника. Вам этого хватит. В понедельник он все равно едет домой, перед тем как начать работать в северном Лондоне.

— Ах, Филип, неужели ты это серьезно? — воскликнула она, сжав руки.— Если бы ты и вправду дал нам уехать, я бы так тебя потом за это любила, я бы сделала для тебя все на свете! Я уверена, что, если ты поможешь нам уехать, у меня все пройдет. Ты в самом деле дашь нам денег?

— Дам,—сказал он.

Теперь она была совсем другой. Она смеялась. Филип видел, что она просто обезумела от счастья. Она поднялась, встала подле него на колени, схватила его за руки.

— Ах, какой ты хороший! Таких людей, как ты, я никогда не видела! А потом ты не будешь на меня сердиться?

Он покачал головой, улыбаясь, но какая безысходная мука разрывала ему грудь!

— Можно, я пойду к Гарри и все ему расскажу? И можно, я ему скажу, что ты не против? Он ни за что не согласится, если ты не дашь ему слово, что для тебя это не играет никакой роли. Ах, ты и представить себе не можешь, как я его люблю! А потом я сделаю все, что ты захочешь. В понедельник я поеду с тобой в Париж или куда угодно!

Она поднялась и надела шляпу.

— Куда ты идешь?

— Я пойду спрошу его, поедет ли он со мной.

— Уже?

— Хочешь, чтобы я осталась? Хорошо, я могу остаться.

Она опять села, но у него вырвался сухой смешок.

— Да нет, зачем же, лучше тебе пойти сразу. Вот только я не хотел бы пока видеть Гриффитса: мне будет слишком тяжело. Скажи ему, что у меня нет к нему злобы и всякое такое, но пускай лучше не попадается мне на глаза.

— Скажу! — Она вскочила и стала натягивать перчатки. — Я передам тебе его ответ.

— Знаешь что, поужинай со мной сегодня.

— Хорошо.

Она подставила ему губы для поцелуя и, когда он прижался губами к ее рту, обхватила руками его шею.

— Ты просто золото, Филип!

Часа через два она прислала ему записку, что у нее болит голова и она не сможет с ним поужинать. Филип был почти уверен, что так оно и случится. Он знал, что она ужинает с Гриффитсом. Его мучила ревность, но внезапная страсть, которая захватила этих двоих, представлялась ему каким-то наказанием божьим, и он был перед ним бессилён. То, что они полюбили друг друга, казалось ему естественным. Он видел все преимущества Гриффитса и признавал, что на месте Милдред поступил бы так же, как поступила она. Больше всего его поразило предательство Гриффитса: они ведь были такими близкими друзьями и Гриффитс знал, как страстно он привязан к Милдред; он мог бы его пощадить.

Филип не видел Милдред до пятницы; он совсем извелся от тоски по ней, но, когда она пришла и он понял, что

мысли ее целиком заняты Гриффитсом, а о нем она просто забыла, Филип вдруг ее возненавидел. Он сообразил наконец, почему они с Гриффитсом полюбили друг друга: Гриффитс был глуп, да, просто глуп! Филип знал это и раньше, но обманывал себя. Гриффитс — глупый и ничтожный человек; под его обаянием скрывался бессовестный эгоизм; чтобы потешить себя, он готов был пожертвовать кем угодно. А какой пустопорожней была жизнь, которую он вел: шатание по барам, попойки в мюзик-холлах, бегство от одной доступной возлюбленной к другой... Он никогда не читал книг, ему были понятны только скабрзность да пошлость; в голове у него не вмещалась ни одна серьезная мысль; наибольшей похвалой в его устах было слово «шикарно», он награждал им и мужчин и женщин. Шикарно! Неудивительно, что он нравился Милдред. Они стояли друг друга.

Филип разговаривал с Милдред о вещах, которые обоим были неинтересны. Он знал, что ей хочется поговорить о Гриффитсе, но не дал ей этой возможности. Он и не вспоминал о том, что два дня назад она отказалась с ним ужинать, придумав пустую отговорку. Он держал себя с ней небрежно, желая показать ей, что вдруг к ней охладел; он проявил редкую изобретательность, выдумывая мелкие колкости, которые были так тонки и так изысканно жестоки, что она не могла возмутиться вслух. Наконец она поднялась.

— Мне, пожалуй, пора, — сказала она.

— Да, у тебя, верно, еще много дел, — ответил он.

Она протянула ему руку, он пожал ее и отворил дверь. Он знал, о чем ей надо с ним поговорить, и знал также, что его высокомерный, насмешливый тон внушает ей робость. Застенчивость Филипа часто помимо его воли делала его таким холодным и недоступным, что люди его боялись, и, поняв это, он научился при случае принимать неприступный вид.

— Ты не забыл своего обещания? — произнесла она наконец, когда он пропускал ее в дверь.

— Какого?

— Насчет денег.

— Сколько тебе?

Он произнес это ледяным тоном, который делал его слова еще более обидными. Милдред покраснела. Он чувствовал, как она ненавидит его в эту минуту, и удивлялся ее самообладанию, которое мешало ей наброситься на него с бранью. Ему хотелось, чтобы она помучилась.

— Ведь мне завтра надо платить за платье и за пансион! Но это все. Гарри не хочет ехать, поэтому те деньги нам не нужны.

Сердце Филипа больно защемило, и он выпустил дверную ручку. Дверь захлопнулась.

— Почему не хочет?

— Говорит, что мы не можем... не можем на твои деньги.

Дьявол обуял Филипа, дьявол мучительства, который постоянно жил, притаившись, в его душе, и, хотя все существо его восстало против того, чтобы Гриффитс и Милдред уехали, он не мог совладать с собою и стал через нее уговаривать Гриффитса.

— Не понимаю почему, раз я согласен.

— Да вот и я ему говорю то же самое.

— Казалось бы, если он в самом деле хочет ехать, его ничто не должно останавливать.

— Да нет, дело не в этом, ехать он хочет. Он поехал бы не задумываясь, будь у него деньги.

— Раз он такой щепетильный, я одолжу деньги тебе.

— Я говорила ему, что если его это смущает, ты дашь ему деньги взаймы, а мы вернем, как только сможем.

— Ты небось не привыкла ползать перед мужчиной на коленях, чтобы он съездил с тобой на денек за город?

— Да, со мной этого не бывало,— сказала она с бесстыдным смешком.

По спине Филипа прошла холодная дрожь.

— Ну и что же ты намерена делать?

— Ничего. Он завтра едет домой. Не может не ехать.

В этом Филип видел свое спасение: когда Гриффитса не будет между ними, он снова получит Милдред. У нее нет в Лондоне ни души, и она будет вынуждена проводить с ним время, а, когда они останутся вдвоем, уж он постарается, чтобы Милдред поскорей забыла о своем увлечении. Ему надо было промолчать, и тогда бы все обошлось. Но им владело болезненное желание сломить их нерешительность, ему хотелось знать, до какой подлости они дойдут по отношению к нему; если он будет и дальше их искушать, они уступят, и мысль об их низости наполняла его острым злорадством. И хотя каждое слово, которое он произносил, стоило ему невыносимых мук, он испытывал какое-то чудовищное наслаждение.

— Получается, что ехать надо либо теперь, либо никогда.

— Вот и я ему говорю.

В ее голосе звучала такая страсть, что Филип был поражен. От волнения он принялся кусать ногти.

— А куда вы собирались поехать?

— Да в Оксфорд. Ты ведь знаешь, он учился там в университете. Хотел показать мне город.

Филип вспомнил, что как-то раз и он предлагал ей съездить на денек в Оксфорд, но она отказалась, не скрывая, что осмотр достопримечательностей нагоняет на нее отчаянную скуку.

— Да и с погодой вам как будто везет. В это время года там прелестно.

— Я сделала все, что могла, но его нельзя уговорить.

— Попытайся еще разок.

— Сказать ему, что ты настаиваешь, чтобы мы поехали?

— Ну, это, пожалуй, слишком.

Она помолчала минуту-другую, глядя на Филипа. Он изо всех сил старался изобразить дружелюбие. Он ее ненавидел, он ее презирал, он любил ее всем своим существом.

— Знаешь, что я сделаю? Я схожу к нему и попробую его уломать. И, если он согласится, завтра зайду за деньгами. Когда ты будешь дома?

— Я вернусь домой после обеда и буду ждать.

— Ладно.

— Возьми сейчас деньги на платье и на комнату.

Он подошел к письменному столу и вынул из ящика все деньги, какие у него были. За платье нужно было отдать шесть гиней и еще заплатить за комнату, пансион и недельное содержание ребенка. Он дал ей восемь с половиной фунтов.

— Большое спасибо,— сказала Милдред.

Она ушла.

ГЛАВА 77

Пообедав в столовой института, Филип вернулся домой. Была суббота, и хозяйка мыла лестницу.

— Мистер Гриффитс у себя? — спросил он.

— Нет. Он ушел утром, почти следом за вами.

— Но он вернется?

— Думаю, что нет. Он увез все свои вещи.

Филип раздумывал, что бы это могло значить. Взяв книгу, он принялся читать. Это было «Путешествие в Мекку» Бэртона, которое он только что принес из Вестминстерской публичной библиотеки; Филип прочел страницу,

но ничего не понял, потому что мысли его были далеко; он все время прислушивался к звонку. Филип не смел надеяться, что Гриффитс бросил Милдред и уехал домой в Кемберленд. Милдред скоро придет за деньгами. Сжав зубы, он продолжал читать, отчаянно напрягая внимание; фразы сильно отпечатывались в его мозгу, но они были искажены до неузнаваемости терзаниями, которые он испытывал. Теперь он от души жалел, что сделал это ужасное предложение — дать им денег, но он его сделал, и у него не хватало сил пойти на попятный. В нем жило какое-то большое упрямство, которое вынуждало его довершать то, что он задумал. Филип заметил, что он прочел уже три страницы, не запомнив из них ни слова; тогда он вернулся назад и принялся читать сначала; он поймал себя на том, что снова и снова перечитывает одну и ту же фразу: она переплетается с его мыслями, как колдовское заклинание, как слова, преследующие вас в кошмаре. Ему оставалось только уйти и не возвращаться домой до полуночи; тогда они не смогут уехать; он мысленно видел, как они навещают его каждый час в надежде его застать. Он злорадствовал, думая о том, как они будут обескуражены. Нет, он не может уйти. Пусть явятся и возьмут деньги; он по крайней мере будет знать, до какого падения может дойти человек. Больше он не в силах читать. Он просто не понимает слов. Откинувшись на спинку кресла, он закрыл глаза и, окаменев от горя, ждал Милдред.

Вошла хозяйка.

— Вас спрашивает миссис Миллер.

— Попросите ее войти.

Филип взял себя в руки — он не должен показать ей, что он переживает. Его так и тянуло броситься перед ней на колени, схватить за руки и молить, чтобы она не уезжала, но он знал, что не сможет тронуть ее сердце, она непременно расскажет Гриффитсу, что он говорил и как вел себя. Ему стало стыдно.

— Ну, как же вы решили насчет вашей маленькой прогулки? — весело спросил он.

— Мы едем. Гарри на улице. Я ему сказала, что ты не желаешь его видеть, поэтому он не хочет показываться тебе на глаза. Но он спрашивает, нельзя ли ему все-таки зайти хотя бы на минутку и с тобой попрощаться.

— Нет. Я не хочу его видеть.

Он понимал, что ей безразлично, простится он с Гриффитсом или нет. Теперь, когда Милдред была здесь, ему хотелось, чтобы она поскорее ушла.

— На, вот тебе пять фунтов. А теперь уходи.

Она взяла деньги и поблагодарила его. Потом пошла к двери.

— Когда ты вернешься? — спросил Филип.

— Да, наверно, в понедельник. Гарри надо ехать домой.

Он знал, как ему будет стыдно того, что он скажет, но желание и ревность пересилили все.

— Но тогда я тебя увижу, правда?

Он не смог скрыть мольбу в своем голосе.

— Конечно. Я дам тебе знать, как только приеду.

Он простился с ней за руку. Сквозь занавеску он увидел, как она вскочила в карету, ожидавшую ее у подъезда. Экипаж отъехал. Тогда Филип бросился на кровать и закрыл лицо руками. Он чувствовал, как к глазам его подступают слезы, и злился на себя; он крепко стиснул руки и весь сжался, чтобы не заплакать, но ничего не помогло: из горла вырывались громкие, неутешные рыдания.

Наконец он встал, обессиленный, больной от стыда, и умыл лицо. Он приготовил крепкую смесь виски с содовой. Выпив, он почувствовал себя немножко лучше. Но тут на глаза ему попались лежавшие на камине билеты в Париж, и в приступе ярости он швырнул их в огонь. Филип знал, что мог бы получить за них деньги обратно, но сжег их, и ему стало чуточку легче. Потом, убегая от одиночества, он вышел из дома. В клубе было пусто. Он чувствовал, что сойдет с ума, если не встретит человека, с которым можно поговорить, но Лоусон был за границей; Филип пошел к Хейурду, однако горничная, открывшая ему дверь, сообщила, что хозяин уехал на воскресный день в Брайтон. Тогда Филип отправился в Британский музей — его как раз закрывали. Филип не знал, что делать. Мысли у него путались. Он видел перед собой Гриффитса и Милдред по дороге в Оксфорд, сидящих друг против друга в поезде, счастливых... Он вернулся домой; комната казалась ему застенком — столько он перенес в ней страданий; Филип снова принялся за книгу Бэртона, но, вместо того чтобы читать, без конца твердил себе: «Дурак, ведь ты сам предложил им уехать, ты сам дал им денег; ты просто навязал им эти деньги; ты должен был предвидеть то, что случится, знакомя Гриффитса с Милдред: твоя собственная неумемная страсть не могла не пробудить желания и в другом». Вот они подъезжают к Оксфорду. Они остановятся в каких-нибудь номерах на Джон-стрит; Филип никогда не бывал в Оксфорде, но Гриффитс столько о нем рассказывал,

что Филип точно знал, куда они отправятся; ужинать они будут в «Кларендоне» — Гриффитс всегда там ужинал, когда ездил покутить в Оксфорд. Филип зашел в ресторанчик возле Чэринг-кросс и заказал какую-то еду; он решил сходить в театр и, поужинав, пробился через толпу на галерку. Играли пьесу Оскара Уайльда. Он думал о том, пойдут ли сегодня в театр Милдред с Гриффитсом — ведь им тоже надо как-то убить вечер; оба они слишком глупы, чтобы довольствоваться обществом друг друга; Филипу доставляло злобную радость всякое напоминание о том, какой у них пошлый ум, — ведь это их и роднит. Он рассеянно смотрел на сцену и, стараясь развеселиться, глотал в антрактах виски; к алкоголю он был непривычен и быстро захмелел, однако опьянение его было злым и мрачным. Когда представление кончилось, он выпил еще. Домой идти не хотелось — спать он все равно бы не смог: перед глазами будут стоять отвратительные картины, подсказанные воображением. Он старался об этом не думать. Он знал, что слишком много выпил. Его томило желание сделать что-нибудь гадкое, отвратительное — хотелось вывалиться в сточной канаве; все его существо было охвачено каким-то животным порывом, ему нужно было дойти до самого крайнего унижения.

Филип пошел по Пикадилли, волоча хромую ногу, мрачный, пьяный, сердце его раздиралось от ярости и боли. К нему пристала размалеванная проститутка; она взяла его под руку, но он, грубо выругавшись, в бешенстве оттолкнул ее прочь. Пройдя несколько шагов, он остановился. На худой конец сойдет и эта. Он пожалел, что так с нею обошелся. Он вернулся.

— Послушайте, — начал он.

— Иди к черту.

Филип засмеялся.

— Я хотел вас спросить, не окажете ли вы мне честь и не поужинаете ли сегодня со мной?

Она недоверчиво на него взглянула и ничего не ответила. Она видела, что он пьян.

— Ну что ж, пожалуй.

Его позабавило, что она сказала это совсем как Милдред. Он повел ее в один из ресторанов, куда они обычно ходили с Милдред. Филип заметил, что, когда они шли, она поглядывала на его ногу.

— У меня хромая нога, — сказал он. — Надеюсь, вы не возражаете?

— Ну и чудак, — захохотала она.

Когда он добрался домой, у него ломило все кости, а в голове точно молотки стучали, он с трудом сдерживался, чтобы не кричать. Он выпил еще виски с содовой и, свалившись на кровать, проспал беспробудным сном до полудня.

ГЛАВА 78

Наконец настал понедельник, и Филип решил, что его долгая пытка кончена. Поглядев расписание, он выяснил, что последний поезд, с каким Гриффитс мог к ночи добраться до дома, уходит из Оксфорда в час с небольшим и, стало быть, Милдред выедет в Лондон на несколько минут позже. Ему хотелось ее встретить, но потом он подумал, что Милдред предпочтет побыть в этот день одна; может быть, вечером она пришлет ему записочку, а если нет, он пойдет к ней домой завтра утром; дух его был укрощен. К Гриффитсу он испытывал жгучую ненависть, а Милдред, несмотря на все, что произошло, желал по-прежнему, с щемящей душу силой. Теперь он был рад, что не застал в субботу Хейурда: ополоумев от горя и бросившись к нему искать утешения, он не смог бы удержаться и все бы ему рассказал, а Хейурд пришел бы в негодование от его слабости. Он стал бы его презирать, он бы, наверно, возмутился готовностью Филипа сойтись с Милдред, после того как она отдалась другому. Ну и пусть возмущается! Филип был готов пойти на все, подвергнуться еще более позорным унижениям, лишь бы удовлетворить наконец свою страсть.

В сумерки ноги помимо воли привели его к дому, где жила Милдред, и он поглядел на ее окно. Оно не было освещено. Филип не решился спросить, вернулась ли Милдред. Он верил ее обещанию. Но и утром письма от нее не было, а когда он прибежал к ней в полдень, служанка сказала, что Милдред все еще не приезжала. Филип ничего не понимал. Ведь он знал, что Гриффитс должен был уехать домой еще вчера — его ждали на свадьбу, где он был шафером, а Милдред осталась без денег. Он перебрал в уме все, что могло случиться. После обеда он сходил к Милдред снова и оставил записку с просьбой поужинать с ним вечером. Тон его письма был спокойный, будто за последние две недели ничего не произошло. Он назначил место и время встречи и, все еще надеясь, вопреки здравому смыслу пошел на свидание; прождав целый час, он понял, что Милдред не придет. В среду утром ему стало стыдно идти справляться самому, и он отправил посыльного с пись-

мом и поручением дожидаться ответа; через час мальчик вернулся с нераспечатанным письмом и сказал, что леди еще не вернулась в город. Филип совсем потерял голову. Этот последний обман был больше того, что он мог вынести. Он твердил себе без конца, что презирает Милдред, и, вина в этой новой беде Гриффитса, смертельно его ненавидел; он бродил, мечтая столкнуться с ним темной ночью, с наслаждением всадить ему в глотку нож где-нибудь возле сонной артерии и бросить его подышать на улице, как собаку. От горя и бешенства Филип совсем потерял рассудок. Пить ему было противно, но он пил, чтобы притупить страдания. Он лег спать пьяный и во вторник и в среду.

В четверг он встал очень поздно и, зеленый, с мутными глазами, едва добрал до гостиной, чтобы поглядеть, нет ли писем. Когда он узнал почерк Гриффитса, сердце его словно чем-то пронзило.

«Дорогой дружище!

Мне трудно тебе писать, однако я должен это сделать. Надеюсь, ты не так уж страшно на меня сердит. Я знаю, мне не следовало уезжать с Милли, но я просто не мог с собой совладать. Она меня свела с ума, и я был готов на все, лишь бы ее добиться. Когда она мне сказала, что ты предложил нам денег, чтобы мы уехали, я не мог устоять. А теперь с этим покончено, мне чудовищно стыдно того, что я сделал. И обидно, что я был таким идиотом. Я бы так хотел, чтобы ты на меня не сердился и разрешил тебя повидать. Мне было очень больно, когда ты сказал Милли, что не хочешь меня видеть. Черкни мне, будь другом, хоть пару строк и скажи, что ты меня простил. Мне будет не так совестно. Я думал, что тебя это не очень огорчает, не то ты не предложил бы нам денег. Но я знаю, что не должен был их брать. Я приехал домой в понедельник, а Милли захотелось побыть одной в Оксфорде еще дня два. Она вернется в Лондон в среду, так что, когда ты получишь это письмо, вы уже встретитесь, и я надеюсь, все будет в порядке. Прошу тебя, напиши мне, что ты меня простил. Пожалуйста, напиши немедленно.

Всегда твой

Гарри».

Филип в ярости порвал письмо. Он не собирался на него отвечать. Он еще больше презирал Гриффитса за это покаяние, а угрызения совести, которые тот будто бы испытывал, только злили его: можно совершить подлость, если уж ты на это пошел, но совсем гнусно потом о ней сожалеть. Письмо

ему казалось трусливым и лицемерным. Ему была противна сентиментальность, с какой оно было написано.

— Этак легко было бы жить: сделал свинство, попросил прощения, отряхнулся и пошел дальше как ни в чем не бывало,— пробормотал он сквозь зубы.

Он от души пожелал, чтобы и ему когда-нибудь представился случай сделать Гриффитсу гадость.

Но теперь он хотя бы знал, что Милдред в городе. Поспешно одевшись и не теряя времени на бритье, он быстро проглотил чашку чаю и сел на извозчика. Ему казалось, что лошадь еле-еле плетется. Ему так надо было видеть Милдред, что в душе он молил бога, в которого не верил, чтобы она хорошо его приняла. У него было одно желание — забыть. Он позвонил, сердце у него колотилось. Он испытывал такую страстную потребность ее обнять, что уже не помнил о своих страданиях.

— Миссис Миллер дома? — радостно спросил он.

— Она уехала, — ответила служанка. Он тупо на нее уставился. — Миссис Миллер заезжала час назад и забрала все свои вещи.

На секунду Филип онемел.

— Вы ей передали мое письмо? Она сказала, куда едет?

И тут он понял, что Милдред снова его обманула. Она не собиралась к нему возвращаться. Он взял себя в руки, боясь показаться смешным.

— Ну, конечно, она мне даст о себе знать. Видимо, отправила письмо по неверному адресу.

Он повернулся и в полной безнадежности побрел домой. Как же он сразу не догадался, что она именно так и поступит? Ведь она его никогда не любила, она дурачила его с первого дня; в ней не было ни сострадания, ни доброты, ни жалости. Единственное, что ему оставалось, — это примириться с неизбежным. Боль, которую он испытывал, была просто ужасна; лучше умереть, чем терпеть такую боль. У него мелькнула мысль покончить со всем этим: можно броситься в реку или лечь на рельсы. Но стоило ему выразить эту мысль словами, как он сам же возмутился. Рассудок подсказывал ему, что пройдет время и он переживет свое горе; он может заставить себя ее забыть; смешно убивать себя из-за какой-то вульгарной девки. Ему дана только одна жизнь, и безумие ею бросаться. Он *чувствовал*, что никогда не преодолет своей страсти, но при этом *знал*, что время излечивает все.

Он не останется в Лондоне. Тут все ему напоминает о его несчастье. Филип дал телеграмму дяде, что едет

в Блэкстебл, и, наспех уложив вещи, отправился первым же поездом. Ему хотелось сбежать из убогого жилья, бывшего свидетелем стольких страданий. Ему хотелось вдохнуть свежего воздуха. Он сам себе был противен. И понимал, что близок к помешательству.

С тех пор как Филип вырос, ему всегда предоставляли в доме дяди самую лучшую комнату для гостей. Она была угловая, и одно из ее окон заслоняло большое старое дерево, зато из другого были видны сад и поле; за ними расстилались просторные луга. Филип помнил обои в этой комнате с детства. На стенах висели старомодные акварели, свидетели ранней викторианской поры, написанные другом детства священника. В них было какое-то поблекшее очарование. Туалетный стол был задрапирован туго накрахмаленной кисеей. В комнате стоял высокий комод. Филип вздохнул от удовольствия: он раньше и не подозревал, как ему все это дорого. Жизнь в доме шла по давно заведенному порядку. Мебель тут никогда не переставлялась, священник ел всегда одно и то же, говорил одно и то же, отправлялся каждый день на одну и ту же прогулку; он чуть-чуть потолстел, стал чуть-чуть молчаливее и еще ограниченнее. Он привык жить без жены и легко без нее обходился. Он по-прежнему ссорился с Джозией Грейвсом. Филип нанес визит церковному старосте. Тот еще больше похудел, чуть-чуть поседел, стал еще суровее; он сохранил прежнюю властность и прежнее отвращение к свечам на алтаре. Лавчонки были все такими же старомодными и живописными, и, стоя перед одной из них, где продавалось все, что нужно моряку — высокие сапоги, брезент, снасти, — Филип вспомнил, как влекло его в детстве море, магия приключений и неведомого.

И все-таки он не мог справиться с собой. Каждый стук почтальона заставлял биться его сердце: а вдруг принесли письмо от Милдред, пересланное лондонской хозяйкой; но в душе Филип знал, что письма не будет. Теперь, размышляя более спокойно, он понял, что попытка заставить Милдред его полюбить была с самого начала безнадежной. Кто знает, какие токи идут от мужчины к женщине и от женщины к мужчине и превращают одного из них в раба; людям удобно называть это половым инстинктом, однако, если это только инстинкт, почему он рождает такое бурное влечение к одному существу, а не к другому? И влечение это непреодолимо: рассудок не может его побороть, дружба,

признательность, расчет теряют рядом с ним всякую власть. Он не привлекал Милдред физически, и потому, что бы он ни делал, это не производило на нее никакого впечатления. Мысль эта возмутила его: значит, страсть превращала человека в животное? Он внезапно понял, что людское сердце — темный омут. Оттого, что Милдред была к нему равнодушна, он считал ее бесполой; ее малокровный вид, тонкие губы, узкие бедра, плоская грудь и вялость движений подтверждали его предположение; но вот оказалось, что и она способна на внезапный порыв страсти, который заставил ее пожертвовать всем, чтобы эту страсть удовлетворить. Ему всегда была непонятна ее связь с Эмилем Миллером; казалось, она так не вяжется с характером Милдред, и та до сих пор сама не могла объяснить, почему ее влекло к этому немцу; но теперь, после встречи Милдред с Гриффитсом, Филип понял, что и тогда произошло то же самое: Милдред просто потеряла голову — ею владела похоть. Филип силился разгадать, чем же обладают те двое, что ее так неудержимо к ним влечет. Оба они любили пошловато подураться, и это тешило ее примитивное чувство юмора и природную вульгарность; однако покоряла ее, по-видимому, откровенная чувственность, которая была отличительной чертой как одного, так и другого. Милдред кичилась своей «светской» деликатностью, которую пугает всякое соприкосновение с изнанкой жизни; она считала естественные функции организма чем-то непристойным; для самых простых понятий употребляла возвышенные выражения, вычурное слово всегда предпочитала обыденному, но скотская похоть этих мужчин была словно удар хлыста, обжигающий ее худенькие белые плечи,—почувствовав его, она сладострастно содрогалась.

Филип твердо решил, что больше не вернется в ту квартиру, где столько страдал. Он написал хозяйке и предупредил ее, что освобождает комнаты. Ему захотелось, чтобы его окружали его собственные вещи. Он решил снять немеблированную квартиру — так будет и приятнее, и дешевле, а экономить было необходимо, ибо за последние полтора года он истратил почти семьсот фунтов. Ему придется быть крайне бережливым. Временами его охватывал страх, когда он думал о будущем: он был глупцом, просадив на Милдред столько денег, но он знал, что начнись все сначала — и он поступит точно так же. Его часто смешило, что друзья, судя по его лицу, скупому отражающему чувства, и по его медлительности, считают его человеком сильной воли, рассудочным и холодным, думают, что он чрезвычай-

но разумен, и хвалят за трезвость суждений; но сам Филип знал, что его невозмутимость — только инстинктивно найденная маска, которая служит ему как защитная окраска бабочке; его поражало собственное слабование. Ему казалось, что его, как листок на ветру, уносят самые мимолетные чувства, а уж когда его захватывает страсть, он теряет всякую способность сопротивляться. Он совсем не умеет собой владеть. Людям кажется, что у него есть самообладание, просто потому, что он равнодушен к множеству вещей, которые трогают других.

Филип не без иронии вспоминал о философии, которую он для себя придумал, — она не очень-то ему помогла в нынешних обстоятельствах, да и вообще может ли интеллект всерьез помочь людям в критическую минуту жизни? Филипу казалось, что человеком скорее движет какая-то неведомая сила, чуждая ему и в то же время таящаяся в нем самом; она влечет его, как то могучее дыхание ада, которое без усталости несло Паоло и Франческу. Человек принимает решение, но, когда наступает время действовать, он бессильно склоняется под бременем своих инстинктов, страстей и еще бог знает чего. Он словно машина, которую приводят в действие две силы — среда и характер; разум его — только созерцатель, регистрирующий факты, но бессильный вмешаться; роль его напоминает тех богов Эпикура, которые наблюдают за людскими делами со своих эмпирейских высот, но не властны изменить ни на йоту того, что происходит.

ГЛАВА 79

Филип уехал в Лондон дня за два до начала занятий, чтобы успеть найти себе квартиру. Он поискал в районе Вестминстер-Бридж-роуд, но убожество этих улиц вызвало у него отвращение; наконец он снял квартиру в Кеннингтоне — эта часть города показалась ему тихой и слегка старомодной. Она напоминала немножко тот Лондон за Темзой, который знал Теккерей; на Кеннингтон-роуд, по которой когда-то проезжало огромное ландо, везя семейство Ньюкомов в Вест-энд, распускались на платанах листья. Дома на улице, которая приглянулась Филипу, были двухэтажные, и чуть не в каждом окне висели объявления о том, что здесь сдаются квартиры. Филип постучал в дверь дома, где квартира сдавалась без мебели, и суровая, молчаливая женщина показала ему четыре маленькие комнатушки; в одной из них были кухонная плита и раковина. Хозяйка

спросила с него девять шиллингов в неделю. Филипу не нужно было так много комнат, но квартира стоила недорого, а ему хотелось поскорее устроиться. Он поинтересовался, не возьмется ли хозяйка убирать комнаты и готовить ему завтрак, но та ответила, что у нее и без того хватает работы. Филипа это даже обрадовало: она дала ему понять, что интересуется только квартирной платой, а во всем остальном пусть живет, как хочет. Хозяйка посоветовала обратиться в бакалейную лавку за углом — она же была и почтовой конторой: может быть, там ему порекомендуют женщину, которая согласится его обслуживать.

У Филипа постепенно скопились кое-какие пожитки: кресло, купленное им в Париже, стол, несколько рисунков и персидский коврик, подаренный Кроншоу. Дядя предложил ему складную кровать, в которой теперь, когда он больше не сдавал дом на лето, не было нужды; истратив еще десять фунтов, Филип купил себе все необходимое. Он заплатил десять шиллингов за то, что его будущую гостиную оклеили светло-золотистыми обоями; повесил один из парижских этюдов Лоусона, фотокопии «Одалиски» Энгра и «Олимпии» Мане, которыми он постоянно любовался в Париже во время бритья. В память о том, что он и сам когда-то занимался живописью, Филип прибил на стенку портрет углем молодого испанца Мигеля Ахурии; это было лучшее, что Филип нарисовал в своей жизни: обнаженный натурщик стоял, сцепив руки и крепко упираясь ногами в пол, вся его фигура дышала какой-то необычайной силой, а лицо выражало поразительную решимость. Самое страшное на свете — это когда люди, которым не дано таланта, упорно хотят заниматься искусством. Прошло время, и теперь Филип ясно видел недостатки своей работы, но она вызывала у него столько ассоциаций, что он ей все прощал. Он часто задумывался о судьбе Мигеля. Быть может, измученный холодом, голодом, болезнью, испанец умер где-нибудь в больнице или в приступе отчаяния покончил с жизнью в мутной Сене; однако с непостоянством истого южанина он мог сам отказаться от борьбы и теперь служить в какой-нибудь мадридской конторе, тратя свое пламенное красноречие на политику или бой быков.

Филип пригласил Лоусона и Хейурда посмотреть свое новое жилище; они явились — один с бутылкой виски, другой со страсбургским паштетом, — и Филип обрадовался, когда друзья похвалили его вкус. Он бы пригласил и шотландца-маклера, но у него было всего три стула, и число приглашенных пришлось ограничить. Лоусон знал, что Фи-

лип был очень близок с Норой Несбит, и рассказал, что встретил ее несколько дней назад.

— Она спрашивала о тебе.

Филип покраснел при упоминании о ней (он так до сих пор и не научился краснеть от смущения), и Лоусон поглядел на него не без лукавства. Лоусон, который большую часть года проводил теперь в Лондоне, поддался влиянию среды: остриг волосы, носил благопристойный костюм и котелок.

— Я понял, что между вами все кончено,— сказал он.

— Да, мы не виделись несколько месяцев.

— Она мило выглядит. На ней была очень нарядная шляпка с уймой белых страусовых перьев. Видно, у нее неплохо идут дела.

Филип перевел разговор на другую тему, но продолжал думать о Норе и спустя некоторое время вдруг спросил:

— Как по-твоему, Нора на меня сердится?

— Ни чуточки. Она очень тепло о тебе говорила.

— Надо будет к ней зайти.

— Что ж, она тебя не съест.

Филип часто вспоминал о Норе. Когда от него ушла Милдред, он с горечью подумал, что Нора никогда бы так с ним не поступила. Его потянуло к ней — он мог рассчитывать на ее сострадание, но ему было стыдно: ведь Нора так хорошо к нему относилась, а он обошелся с ней гнусно.

«Эх, если бы у меня хватило ума остаться с Норой!» — подумал Филип, когда Лоусон и Хейуорд ушли и он курил перед сном последнюю трубку.

Он вспоминал часы, которые они так приятно коротали в ее уютной комнате на Винсент-сквер или в картинных галереях и театрах,— тихие вечера, проведенные в интимной беседе. Он не мог забыть, какой она была заботливой, как интересовалась всем, что интересовало его. Она любила его нежно и преданно; ее любовь была куда больше простого физического влечения, в ней проглядывало что-то материнское; Филип всегда понимал, что ее отношением к нему надо дорожить, что это бесценный дар богов. Теперь он решил отдаться на ее милость. Она, должно быть, тяжело перестрадала, но сердце у нее великодушное и она его простит: Нора не способна мстить. Может быть, лучше ей написать? Нет. Он явится к ней неожиданно, упадет к ее ногам — правда, зная себя, он понимал, что не сможет вести себя так театрально, но ему хотелось представить себе их встречу именно такой — и скажет, что, если она согласится принять его снова, он будет предан ей всю жизнь. Он

излечился от своей ненавистой болезни, знает, какой достойный она человек, она может теперь на него положиться. Он стал думать о будущем. Вот они с ней на реке в воскресенье; они съезды в Гринвич (разве можно забыть чудесную прогулку с Хейуордом и красоту Лондонского порта — это было одно из самых дорогих его воспоминаний); в солнечные дни после обеда они с Норой будут сидеть в парке и тихо разговаривать; он засмеялся при одной мысли об ее веселой болтовне, которая лилась, как ручеек, журчащий по камешкам, — забавная, легкомысленная и своенравная. Мучения, которые он испытал, забудутся, как дурной сон.

Но когда на следующий день, часов около пяти — в это время она почти всегда бывала дома, — Филип постучал в дверь, мужество вдруг покинуло его. Сможет ли она его простить? С его стороны было бестактно без спроса вторгаться в ее жизнь. Дверь открыла служанка — ее не было в те дни, когда он ходил сюда ежедневно, — и Филип осведомился, дома ли миссис Несбит.

— Спросите ее, может ли она принять мистера Кэри, — сказал он. — Я обожду.

Служанка побежала наверх и через минуту вернулась.

— Прошу вас, сэр. Второй этаж, направо.

— Знаю, — слегка улыбнувшись, сказал Филип.

Он поднялся наверх и постучал в дверь.

— Войдите, — произнес знакомый веселый голос.

Ему показалось, что его приглашают войти в новую жизнь, полную покоя и счастья. Когда он открыл дверь, Нора пошла ему навстречу. Она пожала ему руку так, словно рассталась с ним только вчера. Со стула поднялся какой-то человек.

— Мистер Кэри. Мистер Кингсфорд.

Горько разочарованный тем, что не застал Нору одну, Филип сел и стал разглядывать незнакомца. Он никогда не слышал от Норы этого имени. Однако мистер Кингсфорд явно чувствовал себя здесь как дома. Это был гладко выбритый человек лет сорока с длинными, аккуратно прилизанными светлыми волосами, чуть-чуть красноватым лицом и бесцветными, утомленными глазами, какие обычно бывают у блондинов не первой молодости. У него были крупный нос, большой рот, выдающиеся скулы и грузное тело; роста он был выше среднего и широк в плечах.

— А я как раз думала, куда вы пропали, — сказала Нора как всегда оживленно. — На днях я встретила мистера Лоусона — он вам рассказывал? — и намекнула ему, что вам давно пора меня навестить.

Филип не замечал и тени замешательства в ее обращении и восхищался ее непринужденностью; он был сам не свой от смущения. Нора предложила чашку чаю и чуть было не положила в нее сахар, но Филип ее вовремя оставил.

— Какая глупость! — воскликнула она. — Подумайте, совсем забыла!

Он не поверил. Разве Нора могла не помнить, что он пьет чай без сахара? Это маленькое происшествие он воспринял как признак того, что ее беззаботность была только показной.

Разговор, прерванный приходом Филипа, возобновился, и очень скоро он почувствовал себя лишним. Кингсфорд не обращал на него внимания. Говорил он умело, складно, не без остроумия, но чуть-чуть педантично; выяснилось, что он журналист и может рассказать кое-что забавное обо всем на свете; Филипа раздражало, что его как бы вытеснили из общей беседы. Он решил во что бы то ни стало пересидеть этого гостя. Его интересовало, питает ли Кингсфорд к Норе какие-нибудь чувства. В прежние времена они с Норой часто подшучивали над людьми, пытавшимися за ней ухаживать; Филип старался перевести разговор на тему, которая была знакома только ему и Норе, но журналист всякий раз вмешивался в беседу и направлял ее так, что Филипу приходилось молчать. Нора начинала его немножко злить, ведь она должна была заметить, что его ставят в смешное положение, — может быть, она решила его таким образом проучить? Эта мысль вернула ему хорошее настроение. Наконец часы пробили шесть, и Кингсфорд поднялся.

— Мне нужно идти, — заявил он.

Нора пожала ему руку и проводила до лестницы. Она притворила за собой дверь и постояла с гостем на площадке. Филип не понимал, о чем они могут так долго говорить.

— Кто такой этот мистер Кингсфорд? — весело спросил ее Филип, когда она вернулась.

— Редактор одного из журналов Хармсуорта¹. Последнее время он напечатал довольно много моих вещей.

— А мне уж казалось, что он никогда не уйдет.

— Я рада, что ты остался. Мне хотелось с тобой поговорить. — Она свернулась калачиком в большом кресле, забравшись в него с ногами — она была такая маленькая, что ей это было нетрудно, — и закурила сигарету. Филип

¹ Гарольд С. Хармсуорт Ротермир (1868—1940) — английский газетный король.

улыбнулся, увидев знакомую позу, казавшуюся ему всегда такой забавной.

— Ты похожа на кошку.

Она сверкнула своими красивыми темными глазами.

— Да, не мешало бы мне избавиться от этой привычки. В моем возрасте глупо вести себя как девчонка, но мне удобно сидеть, поджав ноги!

— До чего же приятно снова очутиться в этой комнате, — со счастливым вздохом сказал Филип. — Ты себе представить не можешь, как мне этого не хватало.

— Почему же, позволь спросить, ты не приходил раньше? — весело осведомилась она.

— Не смел, — ответил он, краснея.

Она мягко на него поглядела. На ее губах появилась нежная улыбка.

— Ну и зря.

Он запнулся. Сердце его часто билось.

— Помнишь, в тот последний раз, когда мы виделись... Я обошелся с тобой как последняя скотина, мне ужасно стыдно... — Она смотрела на него в упор, но ничего не говорила. Он совсем растерялся; казалось, он только сейчас понял, что явился к ней с недостойной целью. Она и не подумала ему помочь, и тогда ему осталось только выпалить напрямик: — Сможешь ты когда-нибудь меня простить?

И тогда, уже не сдерживая охватившего его порыва, он рассказал ей, что Милдред его бросила и он был в таком отчаянии, что чуть не покончил с собой. Он рассказал ей все: о рождении ребенка, о встрече с Гриффитсом, о своем безумстве, о своей доверчивости, о том, как подло его обманули. Он рассказал, как часто вспоминал ее доброту, ее любовь, как горько сожалеет, что пренебрег ею, — он ведь был счастлив только с ней и знает, какой она замечательный человек. Голос у него охрип от волнения. Минутами ему становилось так стыдно, что он не смел поднять на нее глаза. Лицо его было страдальчески искажено; однако он испытывал странное облегчение от того, что может все ей высказать. Наконец он кончил. Обессиленный, он со вздохом откинулся на спинку кресла и ждал, что она скажет. Он ничего от нее не скрыл и в своем самоуничижении старался изобразить себя еще презреннее, чем был на самом деле. Его удивляло ее молчание; он поднял голову и взглянул на нее. Она смотрела в сторону. Лицо ее побледнело как мел, она, казалось, глубоко задумалась.

— Неужели тебе нечего мне сказать?

Она вздрогнула и покраснела.

— Да, видно, тебе пришлось несладко,— сказала она.— Мне ужасно жаль...

Она как будто хотела сказать что-то еще, но замолчала, и Филип опять стал ждать. Наконец Нора выдавила из себя через силу:

— Я помолвлена с мистером Кингсфордом.

— Почему ты мне сразу не сказала? — закричал Филип.— Зачем тебе нужно было, чтобы я перед тобой унижался?

— Прости, но я не могла тебя прервать... Я познакомилась с ним вскоре после того, как ты...— она с трудом подыскивала слова, которые его не обидят,— сказал мне, что твоя приятельница вернулась. Некоторое время я очень страдала, а он был ко мне удивительно внимателен. Он знал, что кто-то причинил мне ужасную боль — конечно, и не подозревая, что это был ты,— один только бог ведаст, что бы я одна стала делать! И вдруг я почувствовала, что не могу без конца работать, работать, только работать; я так устала и так плохо себя чувствовала. Я рассказала ему о муже. Он предложил мне денег, чтобы я могла получить развод, если я соглашусь сразу же потом выйти за него замуж. У него приличная служба, и мне, если я захочу, не придется больше работать. Он так хорошо ко мне относится и так хочет, чтобы мне полегче жилось. Я была страшно тронута. А теперь и я очень, очень к нему привязалась.

— Значит, ты уже получила развод?

— Да, расторжение брака оформлено. Оно вступит в силу в июле, и тогда мы сразу же поженимся.

Филип долго молчал.

— Обидно, что я вел себя как последний дурак,— пробормотал он, вспоминая свою длинную унижительную исповедь. Нора поглядела на него с любопытством.

— Но ты ведь никогда, в сущности, меня не любил,— сказала она.

— А ты думаешь, это приятно — любить?

Но, как всегда, он быстро овладел собой и, встав, протянул ей руку.

— Надеюсь, ты будешь счастлива. Наверно, тебе повезло.

Она поглядела на него с какой-то грустью и долго не выпускала его руки.

— Ты придешь еще, да? — спросила она.

— Нет,— покачал головой Филип.— Я буду слишком завидовать твоему счастью.

Он медленно вышел из дома. В конце концов Нора была

права, сказав, что он никогда ее не любил. Филип был обескуражен, больше того, раздосадован, но самолюбие его было затронуту куда больше, чем сердце. Он от себя этого не скрывал. Постепенно до него дошло, что боги сыграли с ним знатную шутку, и он невесело усмехнулся. Человека не очень-то тешит способность смеяться над собственной глупостью.

ГЛАВА 80

В течение следующих трех месяцев Филип изучал науки, с которыми он был еще незнаком. Беспорядочная толпа людей, поступивших в медицинский институт почти два года назад, заметно поредела: кое-кто ушел, выяснив, что экзамены сдавать куда труднее, чем казалось; других забрали домой родители, которые испугались дороговизны жизни в Лондоне; третьи просто решили переменить профессию.

Один знакомый Филипу юноша изобрел остроумный способ зарабатывать деньги: он покупал различные вещи на распродажах и закладывал их в ломбард; однако вскоре он счел еще более выгодным закладывать вещи, купленные в кредит; в больнице поднялась суматоха, когда его имя появилось в уголовной хронике. Дело отложили; расстроенный отец дал поручительство, и молодой человек отправился за море «нести бремя белого человека». Голова другого юнца из провинции закружилась в вихре столичной жизни: он пропадал в барах и мюзик-холлах, среди завсегдатаев скачек, «жучков» и тренеров; в конце концов он стал помощником букмекера. Филип как-то раз встретил его в баре возле Пикадилли-сэркус — на нем были пальто в талию и коричневая шляпа с широкими ровными полями. Третий студент, у которого был голос и дар имитации — он пользовался успехом на студенческих вечерах в институте, подражая знаменитым комикам, — променял больницу на опереточный хор. Еще один студент — его судьба заинтересовала Филипа потому, что неотесанный вид и манера выражаться одними междометиями не предполагали в нем душевных глубин, — вдруг почувствовал, что задыхается в городе. Задавленный каменными стенами Лондона, он стал чахнуть; душа, которой он в себе не подозревал, забилась, как зажатый в кулаке воробышек — он судорожно глотает воздух и не может унять перепуганное сердце; его угнетала тоска по бескрайнему небу и открытым, безлюдным просторам, среди которых прошло его детство; в один прекрасный день он вышел в перерыве между лекциями, не сказав

никому ни слова, и больше не вернулся; друзья потом узнали, что он бросил медицину и работает на ферме.

Филип посещал теперь лекции по терапии и хирургии. Несколькими днями в неделю по утрам он практиковался в перевязочной для проходящих больных, радуясь, что может заработать немножко денег, обучался, как надо выслушивать больного и пользоваться стетоскопом. Учился он и готовить лекарства. В июле ему предстоял экзамен по фармакологии, и он забавлялся, мешая лекарственные вещества, составляя смеси, скатывая пилюли и растирая мази. Он с жадностью кидался на все, в чем был хотя бы намек на пользу для человека.

Однажды издали он увидел Гриффитса, но, для того чтобы ему не пришлось делать вид, будто он с ним незнаком, свернул в сторону. Филип чувствовал неловкость, встречаясь с друзьями Гриффитса (некоторые из них были теперь и его друзьями); он понимал, что они знают о его ссоре с Гриффитсом и, наверно, осведомлены о причине. Некто Рэмсден — очень высокий парень с маленькой головой и томным видом, бывший одним из самых верных поклонников Гриффитса и подражавший ему в выборе галстуков и обуви, в манере разговаривать и размахивать руками, — сообщил Филипу, что Гриффитс очень обиделся, когда Филип не ответил ему на письмо. Он хочет с ним помириться.

— Это Гриффитс просил вас мне передать? — спросил Филип.

— Нет, что вы! Я сам решился сказать. Он страшно жалеет о своем поступке и говорит, что вы вели себя с ним как рыцарь. Я знаю, он был бы рад забыть об этой ссоре. Он не ходит к нам в больницу, боясь, что встретит вас и вы не подадите ему руки.

— Да, не подам.

— Его это страшно огорчает, имейте в виду!

— Я как-нибудь смирюсь с тем, что причиняю ему эту маленькую неприятность, — сказал Филип.

— Он готов на что угодно, лишь бы вернуть вашу дружбу.

— Ребячество и дамская истерика! Что ему до меня? Я настолько неприметная персона, что он отлично обойдется без моего общества. Меня он больше не интересуется.

Рэмсден счел Филипа черствым и холодным человеком. Помолчав, он огляделся с растерянным видом.

— Гарри много бы дал, чтобы никогда не встречать этой женщины.

— Вот как?

Филип говорил с таким безразличием, что сам остался собой доволен. Никто бы не догадался, как отчаянно билось его сердце. Он с нетерпением ждал, что Рэмсден скажет.

— Надеюсь, теперь-то вас уже все это больше не трогает?

— Меня? — переспросил Филип. — Ни в какой мере.

Понемножку он выяснил всю историю отношений Милдред с Гриффитсом. Слушал он с улыбкой, изображая равнодушие, и вконец обманул недалекого парня, который ему эту историю рассказывал. Два дня, проведенные Милдред с Гриффитсом с Оксфорде, не только не охладили, а еще больше распалили ее внезапную страсть, и, когда Гриффитс отправился домой, неожиданное для нее самой чувство потребовало, чтобы она хоть ненадолго осталась там, где была так счастлива. Милдред сознавала, что никакая сила на свете не заставит ее вернуться к Филипу. Он ей был противен. Гриффитс растерялся перед пожаром, который он сам разжег: два дня, проведенные с Милдред в деревне, показались ему довольно скучными, и у него не было желания превращать забавное приключение в томительную связь. Милдред заставила его дать слово, что он ей напишет, и, так как он был честным, покладистым парнем, от природы вежливым и готовым всем угодить, он написал ей из дома длинное и нежное письмо. Она ответила на него потоком страстных излияний, довольно неуклюжих — ибо не обладала даром выражать свои чувства, — примитивных и пошлых. Письмо раздосадовало Гриффитса, а когда на следующий день за ним последовало другое и еще день спустя — третье, такая любовь перестала ему льстить и только его испугала. Он не ответил; она начала бомбардировать его телеграммами, спрашивая, не болен ли он и получает ли ее письма, уверяла, что его молчание ее страшно тревожит. Он был вынужден написать, но постарался придать своему ответу небрежный и едва ли не оскорбительный тон: он просил ее больше не посылать ему телеграмм, так как ему трудно объяснить матери, что они означают: его мать — человек старомодный, у нее всякая телеграмма вызывает боязливую дрожь. Милдред тотчас же ответила, что непременно должна его видеть, и объявила о своем решении заложить вещи (у нее был несессер — свадебный подарок Филипа, за который можно было получить фунтов восемь) и приехать в городок, расположенный в четырех милях от деревни, где практиковал отец Гарри. Этот план испугал Гриффитса, и тут уж он прибегнул к услугам телеграфа, чтобы ей помешать. Он пообещал сразу же дать ей знать, как только

приедет в Лондон, а когда он и в самом деле туда приехал, выяснилось, что она справлялась о нем в больнице, куда он получил назначение. Ему это не понравилось, и, встретившись с Милдред, он ей заявил, что она не должна показываться там ни под каким видом; теперь, после трехнедельной разлуки, он почувствовал, что ему смертельно скучно; он не понимал, зачем с ней связался, и твердо решил порвать эту связь как можно скорее. Гриффитс до дрожи боялся скандалов, не любил он и причинять людям неприятности, однако он был человек занятой и не желал, чтобы Милдред ему надоедала. Встречая ее, он бывал любезен, весел, забавен и даже нежен; он придумывал убедительные отговорки, объясняя, почему так долго ее не видел, но делал все, чтобы поскорее от нее сбежать. Когда она настаивала на свидании, он в последнюю минуту посылал ей телеграмму с извинениями, и его квартирная хозяйка (первые три месяца он жил на частной квартире) получила приказ говорить, что его нет дома, когда бы Милдред ни пришла. Но Милдред подстерегала его на улице, и, зная, что она часами поджидает его у больницы, Гриффитс говорил ей несколько милых, дружеских слов и убегал под предлогом неотложных дел. Он наострил выскальзывать из больничных дверей незамеченным. Однажды, возвращаясь в полночь домой, он заметил у ограды женскую фигуру и, подозревая, что это Милдред, отправился ночевать к Рэмсдену; на другой день хозяйка рассказала ему, что Милдред проплакала у них на крыльце несколько часов и она была вынуждена заявить, что, если та не уйдет, ей придется позвать полисмена.

— Да уж, голубчик, поверьте,— сказал Рэмсден,— вы дешево отделались. Гарри говорит, что, если бы он мог хоть на миг предположить, какой она будет надоедливой, он бы повесился, прежде чем надел себе этот жернов на шею.

Филип представил себе, как она сидела на крыльце всю ночь напролет. Перед ним так и стояло ее лицо, обращенное к хозяйке, которая гнала ее прочь.

— Интересно, что она теперь делает?

— Слава богу, нашла где-то работу. Теперь она, по крайней мере, весь день занята.

И напоследок, перед самым концом летнего семестра, ему рассказали, что даже учтивость Гриффитса рухнула, подточенная ее бесконечными преследованиями. Он заявил Милдред, что ему тошно от ее приставаний, ей лучше не показываться ему на глаза и не надоедать.

— Это было единственное, что ему оставалось делать,— сказал Рэмсден.— Больше нельзя было терпеть.

— Значит, между ними все кончено? — спросил Филип.

— Да, они не виделись уже дней десять. Знаете, Гарри ведь мастер рвать с женщинами. Правда, тут ему попался очень твердый орешек, но он все же его разгрыз.

Больше Филип о ней ничего не слышал. Она затерялась в огромном человеческом море Лондона.

ГЛАВА 81

В начале зимнего семестра Филип стал работать в амбулатории, где три ассистента принимали больных по два дня в неделю; Филип проходил практику у доктора Тайрела. Этого врача студенты любили и оспаривали друг у друга честь с ним работать. Доктор Тайрел был высокий худой человек лет тридцати пяти, с очень маленькой головой, поросшей короткой рыжей щетиной, голубыми глазами навывкате и очень красным лицом. Говорил он складно, приятным голосом, любил пошутить и ничего не принимал близко к сердцу. В жизни он преуспел: имел большую частную практику и ожидал дворянского титула. Постоянное общение со студентами и беднотой выработало у него покровительственный тон, а оттого, что он вечно имел дело с больными, у него появилась бодрая снисходительная интонация здорового человека, с какой врачи обращаются к своим пациентам. Его больные чувствовали себя мальчишками, которых пробирает добродушный наставник, а свою болезнь — нелепой шалостью, скорее забавляющей взрослых.

Студенту полагалось присутствовать на приеме в амбулатории каждый день, читать истории болезни и приобретать таким образом врачебные познания; но в те дни, когда он работал регистратором, обязанности его были более определенными. Амбулатория больницы св. Луки занимала три смежных кабинета и большую темную приемную с тяжелыми каменными колоннами и длинными скамьями. На них, получив в полдень свои талончики, ожидали пациенты, и длинные ряды больных в полутьме — с пузырьками и баночками, одни грязные и оборванные, другие более опрятные, мужчины, женщины всех возрастов и дети — производили жуткое впечатление. Они напоминали зловещие рисунки Домье. Стены были выкрашены одинаково, в розовато-желтый цвет, и отделаны высокой коричневой панелью; в комнатах пахло карболкой; к концу дня этот запах смешивался с резким запахом человеческого тела.

Первая комната была самая большая, посредине стояли стол и стул для консультанта, а по бокам — два столика пониже, за одним из них сидел больничный врач, за другим — студент, который вел ежедневный регистр. Это была толстая книга, в которую записывались имя, возраст, пол, род занятия больного и его диагноз.

В половине второго появлялся больничный врач, звонил в колокольчик и давал швейцару распоряжение пригласить повторных больных. Таких всегда бывало много, и надо было их пропустить поскорее, до прихода доктора Тайрела, принимавшего с двух часов. Больничный врач, с которым приходилось иметь дело Филипу, был подвижный, небольшого роста человек, преисполненный сознания собственного достоинства; он свысока разговаривал с практикантами и негодовал, когда студенты постарше, бывшие его соученики, не оказывали ему должного почтения. Он разбирал истории болезни. Ему помогал регистратор. Больные шли нескончаемой чередой. Сперва впускали мужчин. Чаще всего они страдали хроническим бронхитом. «Прямо душу выворачивает от кашля», — жаловались они; один подходил к больничному врачу, другой — к практиканту, оба вручали свои талончики; если дела у них шли хорошо, на талонах писали «повт. 14» и они отправлялись со своими пузырьками и склянками в аптеку, где им выдавали лекарство еще на две недели. Завсегдатаи старались задержаться, чтобы их мог осмотреть консультант, но уловка эта удавалась редко: оставляли лишь троих или четверых, чье состояние вызывало тревогу.

В кабинет стремительно и бодро вбегал доктор Тайрел. Он чуть-чуть напоминал клоуна, выскакивающего на арену цирка с криком: «Вот и мы!» Весь его облик, казалось, говорил: «Что это за дурачество — изображать, будто вы больны? Ну ничего, я скоро приведу вас в христианский вид». Он садился, спрашивал, ждет ли кто-нибудь из старых больных, быстро производил осмотр, поглядывая на пациента проницательным взглядом, и, рассуждая по поводу симптомов болезни, отпускал шутку, над которой от души хохотали все практиканты (больничный врач смеялся тоже, но смотрел с осуждающим видом на практикантов, видимо считая, что им смеяться неприлично), замечал, что погода сегодня хорошая или же слишком жаркая, и звонил швейцару, чтобы тот ввел первичных больных.

Они появлялись один за другим и подходили к столу, за которым сидел доктор Тайрел. Это были старики, молодежь и пожилые люди, главным образом из рабочих:

грузчики, ломовые извозчики, фабричные рабочие, половые; однако некоторые из них, одетые почище, явно занимали более высокое положение — приказчика, служащего или кого-нибудь еще в этом роде. На таких людей доктор Тайрел смотрел с подозрением. Иногда они надевали поношенное платье, чтобы показать, как они бедны; но у доктора был острый взгляд, он не терпел того, что на его взгляд было жульничеством; иногда он отказывался осматривать больных, которые, по его мнению, отлично могли заплатить за медицинскую помощь. Чаще всего пытались обмануть его женщины, но действовали они куда грубее. Надев дражные, чуть ли не в лохмотьях пальто и юбку, они забывали снять с пальца кольцо.

— Если вы можете позволить себе носить драгоценности, вы в состоянии заплатить и доктору. Больница — это благотворительное заведение, — говорил доктор Тайрел.

Он возвращал талон и вызывал следующего больного.

— Но у меня есть талон!

— А мне наплевать на ваш талон — уходите! Вы не имеете права отнимать время, которое принадлежит настоящим беднякам.

Больная удалялась, злобно накупившись.

— Непременно напишет письмо в газету о безобразиях, царящих в лондонских больницах, — улыбаясь, говорил доктор Тайрел, беря в руки следующую бумажку и кинув на больного пронизательный взгляд.

Большинство пациентов, полагая, что больница — это государственное учреждение, которое содержат они как налогоплательщики, считали, что врачебная помощь принадлежит им по праву. Они воображали, будто врач, уделяющий им свое время, высоко оплачивается.

Доктор Тайрел поручал каждому из своих практикантов осмотреть по одному больному. Практикант уводил больного в один из соседних кабинетов — они были поменьше, и в них стояли кушетки, набитые конским волосом, — расспрашивал его, выслушивал сердце и легкие, прощупывал печень, заносил данные в больничную карту, мысленно ставил диагноз, а потом дожидался прихода доктора Тайрела. Тот появлялся, покончив с осмотром мужчин, в сопровождении целой свиты студентов, и практикант зачитывал ему то, что было занесено в карту. Врач задавал ему один-два вопроса и сам осматривал больного. Если прослушивалось что-нибудь интересное, студенты тоже брались за стетоскопы; больного зачастую можно было увидеть с двумя или тремя трубками, приложенными к груди, и еще двумя — к спине; остальные студенты с нетерпением ждали

лись своей очереди, чтобы тоже послушать. Больной стоял посреди этой толпы слегка растерянный, но и немного польщенный тем, что окружен таким вниманием; он напряженно слушал, как доктор Тайрел разглагольствует по поводу его болезни. Студенты снова выслушивали больного, чтобы поймать шумы или хрипы, описанные врачом, а потом пациенту разрешали одеться.

Осмотрев несколько больных, доктор Тайрел возвращался в большую комнату и снова усаживался за стол. Он спрашивал студента, оказавшегося поблизости, что бы тот прописал больному, которого они только что видели. Студент называл лекарство.

— Вы находите? — спрашивал доктор. — Во всяком случае, это что-то новое. Но я не думаю, что мы поступим так опрометчиво.

Его слова всегда вызывали смех, и с улыбкой в глазах, радуясь своему остроумию, доктор прописывал совсем не то средство, какое предлагал студент. Когда подряд попадались два одинаковых случая и студент предлагал для второго больного то же лечение, какое врач назначил первому, доктор Тайрел проявлял удивительную изобретательность, придумывая что-нибудь еще. Иногда, зная, что аптека перегружена работой, а потому предпочитает отпускать готовые средства или стандартные смеси, проверенные многолетней практикой, доктор развлекался, выписывая сложные рецепты.

— Пусть-ка фармацевт поработает. Если мы всегда будем прописывать самое простое, он потеряет всякую квалификацию.

Студенты хохотали, и доктор обводил их довольным взглядом. Потом он звонил и говорил заглянувшему в дверь швейцару:

— Пожалуйста, повторных женщин.

Откинувшись на стуле, он болтал с больничным врачом, пока швейцар вводил в комнату группу повторных пациенток.

Они входили — вереница малокровных девушек с пышными челками и бледными губами (бедняки плохо переваривают свою невкусную, малопитательную пищу); старух, тощих и тучных, преждевременно одряхлевших от частых родов, страдающих хроническим кашлем, — женщин, больных самыми разными болезнями. Доктор Тайрел с помощью больничного врача быстро с ними разделялся. Время шло, и воздух в тесном кабинете становился все тяжелее. Консультант глядел на часы.

— Много сегодня новых? — спрашивал он.

— Да порядком, если не ошибаюсь, — отвечал больничный врач.

— Давайте-ка их сюда. А вы продолжайте заниматься повторными.

Впускали новых. Самой распространенной причиной болезней у мужчин было злоупотребление спиртными напитками, а у женщин — плохое питание. Примерно к шести часам и с ними бывало покончено. Филип, совершенно измученный тем, что часами стоял на ногах, дышал спертым воздухом и с напряжением следил за осмотром больных, отпраиваясь с другими практикантами выпить чаю в институтскую столовую. Работа его очень увлекала. Он сталкивался с людьми в самом неприкрашенном их виде, а что может быть лучшим материалом для художника? Филипа охватывало волнение, когда он думал о том, что похож на скульптора, а больные — на глину в его руках. Он вспоминал с улыбкой свою парижскую жизнь, полную забот о цвете, оттенке, соразмерностях и еще бог весть о чем, необходимом для того, чтобы создавать прекрасные произведения: прямое столкновение с людьми давало ему волнующее ощущение власти над ними, которого он прежде не знал. Ему никогда не надоедало всматриваться в их лица, слушать их говор; они входили сюда каждый по-своему: один — неуклюже волоча ноги, другой — пританцовывая, третий — медленно и тяжело топая, четвертый — на цыпочках от смущения. Часто по их виду можно было угадать, чем они занимаются. Вы учились задавать вопросы так, чтобы вас понимали, постепенно узнавали, на какие из них вам почти всегда отвечают неправду и каким образом вы все-таки можете установить истину. Вы замечали, как по-разному воспринимают люди одно и то же известие. Опасный диагноз один принимает шутя, со смехом, другой — с немым отчаянием. Филип заметил, что с этими людьми он куда меньше страдает от своей застенчивости; то, что он испытывал к ним, не было сочувствием, ибо сочувствие предполагает снисхождение; но с ними ему было легко. Он понял, что умеет их к себе расположить, и, когда ему поручали опросить больного, ему казалось, что тот отдается ему в руки с полным доверием.

«А, чем черт не шутит, — говорил он себе. — Может, мне на роду написано быть врачом. Вот забавно, если я напал на ту единственную стезю, по которой должен был пойти с самого начала».

Филипу казалось, что ему одному из всех практикантов понятен драматизм того, что происходит в эти часы. Для

других эти мужчины и женщины были только больными — интересными, если болезнь была сложной, надоедливой, если симптомы были слишком очевидны; они вслушивались в шумы сердца, удивлялись ненормальному размеру печени, хрипы в легких вызывали у них оживленные споры. Но для Филипа во всем этом было что-то гораздо более значительное. Ему было интересно просто разглядывать больных — форму их головы, рук, выражение глаз, линии носа. В этой комнате вы видели человека, пойманного врасплох: неожиданность срывала с него маску социальных условностей, и под ней обнажалась ничем не защищенная душа. Порою вы наблюдали такое проявление стоицизма, которое не могло вас не тронуть. А ведь этих людей никто не обучал стоицизму. Как-то раз одному больному — неотесанному, безграмотному человеку — сказали, что его болезнь неизлечима; Филип, который и сам обладал силой воли, поразился, какое врожденное благородство заставило этого человека выслушать свой приговор, не дрогнув в присутствии посторонних. Но сохранит ли он мужество наедине с самим собой или же поддастся отчаянию? Порой разыгрывались настоящие трагедии. Как-то раз молодая женщина привела на осмотр сестру, девушку лет восемнадцати с тонкими чертами лица и большими голубыми глазами. У нее были светлые локоны, на которых загорались золотые блики, когда их касался луч осеннего солнца, и необычайно нежная кожа. Студенты улыбались и не могли отвести от нее глаз. В этих мрачных кабинетах так редко попадались красивые девушки. Старшая сестра рассказала историю их семьи: отец и мать умерли от туберкулеза, за ними погибли брат и сестра; из всей семьи остались только они двое. Последнее время девушка стала кашлять и быстро худела. Она сняла кофточку — шея у нее была молочной белизны. Доктор Тайрел молча и, как всегда, очень быстро ее осмотрел; он приказал двум или трем практикантам приложить стетоскопы к месту, которое обозначил пальцем, потом девушке разрешили одеться. Сестра стояла в сторонке и негромко спросила доктора — так, чтобы девушка не услышала. Голос ее дрожал от страха:

— У нее ведь его нет, доктор? Скажите, что нет!

— Увы! Боюсь, что случай очень ясный.

— Она ведь последняя. Если ее не станет, у меня никого не будет на свете.

Женщина заплакала, а доктор пристально на нее поглядел: ему казалось, что и у нее чахоточный вид, ей тоже не дожить до старости. Девушка обернулась и заметила, что

сестра плачет. Она все поняла. От ее прелестного лица отхлынула кровь, из глаз полились слезы. Сестры постояли немножко, беззвучно рыдая, а потом старшая, забыв о том, что их окружает толпа чужих, подошла к девушке, обняла ее и стала ласкать, как ребенка.

Когда они вышли, один из студентов спросил:

— Как вы думаете, доктор, сколько она протянет?

Доктор Тайрел пожал плечами.

— Брат и сестра умерли через три месяца после того, как были замечены первые симптомы болезни. С ней будет то же самое. Если бы они были богаты, может, и удалось бы что-нибудь сделать. Но таким, как они, не посоветуешь поехать в Сен-Мориц. Им ничем не поможешь.

Однажды пришел человек — сильный, в цвете лет; его мучила упорная боль, а местный врач не мог ему ничем помочь; он тоже был обречен на смерть, но не ту неизбежную смерть, против которой бессильна медицина (она страшит, но с ней смиряешься, потому что борьба все равно бесполезна), а смерть, неминуемую лишь потому, что жертва ее — только маленькое колесико в огромной и сложной машине человеческого общества и, так же как это колесико, бессильна изменить условия своего существования. Единственным спасением для этого человека был бы полный покой. Но врач не требовал невозможного.

— Вам бы следовало взяться за более легкую работу.

— В моей профессии не бывает легкой работы.

— Ну что ж, если вы так будете жить и дальше, это вас убьет. Вы очень больны.

— Вы хотите сказать, что я помру?

— Мне бы не хотелось вам этого говорить, но вы, безусловно, не можете выполнять тяжелую работу.

— Если я не буду работать, кто прокормит жену и ребят?

Доктор Тайрел пожал плечами. Такой вопрос ставился ему сотни раз. Но время, как всегда, не ждало, а принять надо было еще много пациентов.

— Ну что ж, я выпишу вам лекарство; приходите через неделю — расскажете, как себя чувствуете.

Больной взял свой талон с выписанным на нем для очистки совести лекарством и вышел. Вольно доктору давать подобные советы! Он совсем не так плох, чтобы бросать работу. У него хороший заработок, и он не может позволить себе им кидаться.

— Жить ему осталось не больше года, — сказал доктор Тайрел.

Порою разыгрывались и комедии. Сверкали блески простонародного юмора; появлялась какая-нибудь старушка — словно персонаж со страниц Диккенса — и забавляла всех своей чудаковатой болтовней. Как-то раз пришла женщина, которая служила в кордебалете знаменитого мюзик-холла. На вид ей было лет пятьдесят, но она уверяла, что ей двадцать восемь. Накрашена она была до бесстыдства и вызывающе кокетничала со студентами, выкатывая большие черные глаза и растягивая губы в манящей улыбке. Самоуверенная у нее была хоть отбавляй, и она разговаривала с доктором Тайрелом таким фамильярным тоном, словно он был ее записным поклонником. Она объявила с трудом скрывавшему смех доктору, что у нее хронический бронхит, который мешает ей выполнять профессиональные обязанности.

— Понятия не имею, с чего эта гадость ко мне прилепилась, ей-богу! За всю свою молодую жизнь ни разу не болела. Да разве по мне этого не видеть?

Она закатывала глаза с густо накрашенными ресницами, обводила молодых людей долгим взглядом и сверкала желтыми зубами. Говорила она с простонародным акцентом, но с такой деланной светскостью, что речь ее невозможно было слушать без смеха.

— Вы, по-видимому, простыли, — серьезно объяснил ей доктор Тайрел. — Пожилые женщины легко простуживаются.

— Ну, милый! Разве можно говорить такие вещи даме? Меня еще никто не называл пожилой!

Она как можно шире раскрыла глаза и склонила голову набок, поглядывая на него с невыразимым кокетством.

— В этом неудобство нашей профессии. Приходится забывать о галантности.

Она взяла рецепт и кинула на врача последний томный взгляд.

— Вы придете поглядеть, как я танцую, дорогуша? Ну прошу вас!

— Непременно...

Он позвонил, вызывая следующую больную.

— Приятно, господа, что вы были здесь и могли огладить мою добродетель.

То, что здесь происходило, нельзя было, в сущности говоря, назвать ни трагедией, ни комедией. Это вообще было трудно как-нибудь назвать, такая была тут смесь самых разных противоречий — и смех и слезы, и радость и горе, томительная скука и самый живой интерес (все зависело от того, как на это смотреть), столько было здесь

кипучей жизни — страсти, глубокого смысла, смешного и печального, пошлого простодушия и душевной сложности, были тут и счастье и отчаяние, материнская любовь и любовь мужчины к женщине; по этим кабинетам влачило свои тяжкие стопы сладострастие; бичуя без разбора и виновных и невиноватых, беспомощных жен и беззащитных детей; пьянство порабощало мужчин и женщин, заставляя их платить роковую дань; смерть наполняла эти комнаты своими вздохами; в них слушали биение зарождающейся жизни, наполняя душу какой-нибудь бедной девушки стыдом и отчаянием. Тут не было ни добра, ни зла. Одна только действительность. Жизнь.

ГЛАВА 82

В конце года, когда Филип заканчивал свою трехмесячную практику в амбулатории, он получил от Лоусона письмо из Парижа.

«Дорогой Филип!

Кроншоу в Лондоне и был бы рад тебя видеть. Он живет в Сохо, Гайд-стрит, 43. Не знаю, где это именно, но ты найдешь. Будь молодчиной и присмотри за ним немножко. Ему очень не повезло. Он сам тебе расскажет, что делает. Тут все идет, в общем, по-прежнему. С тех пор как ты уехал, мало что изменилось. Клаттон вернулся, но стал совершенно невыносим. Рассорился со всеми. Насколько я понимаю, у него нет ни копейки; снял у черта на рогах за Ботаническим садом маленькую мастерскую и никому не показывает своих работ. Сам он тоже нигде не бывает, поэтому неизвестно, как он живет. Может, он и гений, а может, и сумасшедший. Кстати, несколько дней назад я встретил Фланагана. Он водил миссис Фланаган по Латинскому кварталу. Наш друг бросил искусство и вошел в отцовское дело. Денег у него, видно, куры не клюют. Миссис Фланаган — очень хорошенькая, и я пытаюсь получить заказ на ее портрет. Сколько бы ты с них содрал на моем месте? Боюсь их отпугнуть, но, с другой стороны, глупо просить 150 фунтов, если они с легкостью заплатят 300.

Неизменно твой

Фредерик Лоусон».

Филип написал Кроншоу и получил ответ, нацарапанный на обрывке дешевой бумаги; жиденький конверт был куда грязнее, чем обычно выходит из рук почтальона.

«Дорогой Кэри!

Конечно, я Вас отлично помню. Мне даже кажется, что это я вызволил Вас из Омута Отчаяния¹, в котором я сам безнадежно погряз. Я буду рад Вас видеть. В этом чужом городе я чувствую себя совсем чужим, и меня изводят мещане. Приятно будет поговорить о Париже. Я не приглашаю Вас к себе, ибо мое жилище не столь великолепно, чтобы я мог принять в нем такого видного представителя профессии мосье Пургона², но каждый вечер от семи до восьми я вкушаю мою скромную трапезу в ресторане под названием «О бон плэзир» на Дин-стрит.

Искренне Ваш

Д. Кроншоу».

Филип пошел к нему в тот же день. Ресторанчик, уместившийся в одной комнатухе, был из самых дешевых, а Кроншоу, казалось,—его единственным посетителем. Он сидел в углу, подальше от сквозняка, в той же самой поношенной шубе, без которой Филип не видел его ни разу, и в той же старой шляпе.

— Я ем здесь потому, что могу побыть один,—сказал он.— Дела у них идут плохо, сюда никто не заходит, кроме нескольких проституток и двух-трех безработных официантов; ресторан, наверное, скоро закроется, и кормят здесь отвратительно. Но их разорение мне на руку.

Перед ним стоял стаканчик абсента. Прошло почти три года с тех пор, как они расстались, и Филип был потрясен переменой, которая произошла с Кроншоу. Прежде он был скорее грузен, теперь же лицо у него было высохшее, желтое, кожа на шее обвисла и сморщилась; одежда болталась мешком, как с чужого плеча, воротничок казался на три или на четыре номера шире, чем надо, что делало его еще более неряшливым. Руки непрерывно дрожали. Филип вспомнил его почерк: неровные строчки, бесформенные каракули. Кроншоу был, очевидно, тяжело болен.

— Ем я теперь мало,—сказал он.— По утрам меня всегда тошнит. На ужин заказываю суп, а потом беру кусочек сыру.

Взгляд Филипа был невольно устремлен на абсент, и Кроншоу, перехватив его, ехидно посмотрел на собеседника, словно издеваясь над его попыткой воззвать к здравому смыслу.

¹ Одна из аллегорий в книге английского писателя XVII века Дж. Беньяна «Путь паломника».

² Врач из комедии Мольера «Мнимый больной».

— Да, вы правильно поставили диагноз. Небось считаете, что мне не следовало бы пить абсент?

— У вас, очевидно, цирроз печени,— сказал Филип.

— Да, по-видимому.

Он насмешливо поглядел на Филипа; прежде этот взгляд заставлял молодого художника болезненно чувствовать свою ограниченность. Взгляд этот, казалось, говорил, что все рассуждения Филипа уныло тривиальны: ну хорошо, вы признали очевидную истину, стоит ли еще распространяться по этому поводу?

Филип переменил тему.

— Когда вы собираетесь обратно в Париж?

— Я не собираюсь в Париж. Я собираюсь умереть.

Простота, с какой он это сказал, потрясла Филипа. Он раздумывал, что бы ему ответить, но всякие слова казались такими неубедительными. Он ведь знал, что Кроншоу болен смертельно.

— Значит, вы намерены обосноваться в Лондоне? — неловко осведомился он.

— А что мне Лондон? Я здесь как рыба, вытасщенная из воды. Брожу по людным улицам, меня со всех сторон толкают, а у меня такое чувство, будто я попал в мертвый город. Мне не захотелось умирать в Париже. Я решил умереть на родине. Не понимаю, в чем тут дело, но какая-то внутренняя тяга привела меня наконец домой.

Филип знал женщину, с которой жил Кроншоу, и его двух чумазных детей, но Кроншоу ни разу о них не упомянул, и Филип не решался о них спросить. Интересно, какова их судьба?

— Не понимаю, почему вы так настойчиво говорите о смерти,— сказал он.

— Года два назад я болел воспалением легких, и врачи мне объяснили, что я выкарабкался только чудом. Оказалось, что я крайне подвержен этому заболеванию, а стоит мне схватить его еще раз, и я погиб.

— Какая ерунда! Дело совсем не так плохо, как вам кажется. Надо только быть поосторожнее. Почему бы вам не бросить пить?

— Потому, что не желаю. Человек может поступать как ему угодно, если он согласен нести за это ответственность. Вот и я готов нести ответственность. Легко вам предлагать мне бросить пить, а это ведь — единственное, что у меня осталось. Какая, по-вашему, была бы у меня без этого жизнь? Вы понимаете, сколько счастья дает мне абсент? Я не могу без него существовать. Когда я пью абсент,

я наслаждаюсь каждой его каплей, а выпив, чувствую, что душа моя парит от счастья. Вам противно это слушать. Вы пуританин и в глубине души презираете чувственные наслаждения. А ведь чувственные наслаждения — самые сильные и самые утонченные. Я — человек, одаренный острым чувственным восприятием, и всю жизнь потакал своим чувствам. Теперь мне приходится за это платить, и я готов платить.

Филип поглядел ему прямо в глаза.

— А вы не боитесь?

Мгновение Кроншоу молчал. Казалось, он обдумывает ответ.

— Иногда, когда я один.— Он взглянул на Филипа.— Вы думаете, что это и есть мое наказание? Ошибаетесь. Я не боюсь своего страха. Христианское утверждение, что человек всегда должен помнить о смерти,— безумие. Единственный способ жить — это забыть, что ты умрешь. Смерть не заслуживает того, чтобы о ней думали. Страх смерти не должен влиять на поступки мудреца. Я знаю, что, умирая, буду томиться от удушья и от страха. Я знаю, что не смогу удержаться от горького сожаления о жизни, которая довела меня до этой ужасной минуты; но я заранее отрекаюсь от своего раскаяния. Покамест я вот такой, как я есть — старый, больной, беспомощный, нищий и умирающий,— хозяин своей души, я ни о чем не жалею.

— Помните персидский ковер, который вы мне подарили? — спросил Филип.

Лицо Кроншоу медленно, как когда-то, осветилось улыбкой.

— Я вам сказал, что он ответит на ваш вопрос, когда вы спросили меня, в чем смысл жизни. Ну как, вы нашли ответ?

— Нет,— улыбнулся Филип.— А вы мне его не откроете?

— Нет, не могу. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами.

ГЛАВА 83

Кроншоу решил издать свои стихи. Друзья поэта настаивали на этом уже много лет, но лень мешала ему предпринять необходимые шаги. На все увещания у него был один ответ: в Англии умерла любовь к поэзии. Вы печатаете книгу стихов, которая стоила вам многих лет труда и размышлений, ей уделяют две-три кислые строчки в критиче-

ском обзоре, затем раскупаются двадцать или тридцать экземпляров, а остальной тираж идет под нож. Кроншоу давно изжил жажду славы. Слава была только миражем, как и все прочее. Но один из его приятелей взял дело в свои руки. Это был литератор, некто Леонард Апджон. Филип раза два видел его в обществе Кроншоу в модных кафе Латинского квартала. В Англии он пользовался известностью как критик и считался признанным знатоком современной французской литературы. Он долго вращался в Париже среди сотрудников «Меркюр де Франс» — самого занимательного журнала той поры — и, довольствуясь тем, что излагал по-английски их точку зрения, приобрел у себя на родине репутацию большого оригинала. Филип читал кое-какие из его статей. Апджон выработал свой стиль, послушно подражая сэру Томасу Броуну: он употреблял плавные витиеватые периоды и устаревшие, пышные слова; все это придавало его писаниям видимость своеобразия. Леонард Апджон убедил Кроншоу отдать ему все свои стихи и нашел, что их хватит на целый томик. Он обещал пустить в ход свое влияние на издателей. Кроншоу нуждался в деньгах. С тех пор как он заболел, писать ему стало труднее, чем прежде: он едва зарабатывал на выпивку. Когда он стал получать письма от Апджона о том, что тот или иной издатель хоть и восхищается его стихами, но не рискует их печатать, Кроншоу стал добиваться того, чтобы стихи вышли. Он писал Апджону о своей крайней нужде, убеждая его еще похлопотать. Он хотел оставить после себя книгу и в глубине души считал себя великим поэтом. Он надеялся вознестись над миром, как новая звезда. Всю жизнь он хранил эти сокровища для себя и теперь, при расставании, надменно подарит их людям: ведь ему самому они уже больше не нужны — в этом, казалось Кроншоу, было нечто благородное.

Его решение вернуться в Англию было вызвано сообщением Леонарда Апджона, что наконец нашелся издатель, который берется напечатать его стихи. Каким-то чудом Апджону удалось убедить этого издателя заплатить десять фунтов стерлингов аванса.

— Заметьте, — сказал Кроншоу Филипу, — Мильтон тоже получил только десять фунтов аванса за «Потерянный рай».

Апджон обещал опубликовать подписную статью о стихах Кроншоу и попросить всех своих приятелей-критиков дать рецензии на книжку. Кроншоу делал вид, что его это мало трогает, но легко было заметить, как его тешит мысль, что он произведет сенсацию.

Однажды Филип условился пообедать с Кроншоу в убогой закускойной, где тот постоянно питался; но поэта там не оказалось. Филип узнал, что он не появляется уже три дня. Закусив на скорую руку, он пустился на поиски квартиры, адрес которой сообщил ему в своем письме Лоусон. Найти Гайд-стрит оказалось делом нелегким. Ветхие дома этой улицы жались один к другому; окна были разбиты и кое-как заклеены полосками, вырезанными из французских газет; входные двери многие годы не красились; в нижних этажах ютились захудалые лавчонки, прачечные, сапожные мастерские. На мостовой резвились оборванные дети, и старая шарманка наигрывала избитую мелодию. В доме, где жил Кроншоу, внизу помещалась торговля дешевыми сладостями. Филип постучался в дверь, и ее открыла пожилая француженка в грязном переднике. Филип спросил, дома ли Кроншоу.

— Ах да, здесь наверху живет какой-то англичанин, его окно выходит во двор. Не знаю, дома он или нет. Если он вам нужен, поднимитесь и посмотрите.

Лестница была освещена одним-единственным газовым рожком. Стояла ужасающая вонь. Когда Филип поднимался, из двери второго этажа выглянула какая-то женщина; она окинула его подозрительным взглядом, но ничего не сказала. На верхнюю площадку выходили три двери. Филип постучал в одну из них, но ответа не последовало; он постучал еще и потрогал ручку, однако дверь была на запоре. Постучавшись в другую дверь и тоже не получив ответа, он подергал ручку. Дверь открылась. Он очутился в темноте.

— Кто там?

Филип узнал голос Кроншоу.

— Кэри. Можно войти?

Ответом было молчание. Филип вошел. Окно было закрыто, и от зловония у него закружилась голова. Уличный фонарь бросал в окно тусклый свет, и Филип разглядел маленькую комнатку с двумя кроватями, сдвинутыми спинка к спинке у одной из стен; кроме них, в комнате были только умывальник и стул, но свободного места оставалось так мало, что трудно было повернуться. Кроншоу лежал на кровати, стоящей ближе к окну. Он не пошевелился, но с его подушки послышался тихий смешок.

— Почему вы не зажжете свечку? — спросил он немного погодя.

Филип чиркнул спичкой и обнаружил на полу рядом с кроватью подсвечник. Он поднес спичку к свече

и поставил подсвечник на умывальник. Кроншоу неподвижно лежал на спине; его странно было видеть в ночной рубашке, а смотреть на его лысину было даже как-то неловко. Лицо у него было землистого цвета, как у покойника.

— Послушайте, старина, у вас совсем больной вид. Кто тут за вами ухаживает?

— Джордж утром, прежде чем уйти на работу, приносит мне бутылку молока.

— Кто такой Джордж?

— Это я зову его Джорджем, на самом деле его имя Адольф. Мы делим с ним эти хоромы.

Филип заметил, что вторая кровать стоит неубранной. Чья-то голова оставила на подушке черный отпечаток.

— Неужели вы живете в этой комнате с кем-то еще? — с ужасом спросил Филип.

— А почему бы и нет? Жилье в Сохо обходится недешево. Джордж — официант, он уходит в восемь часов утра и возвращается только ночью, так что вовсе мне не мешает. Оба мы плохо спим, и он помогает мне скоротать бессоницу, рассказывая случаи из своей жизни. Он швейцарец, и у меня всегда была слабость к официантам: они видят жизнь с ее забавной стороны.

— И давно вы в постели?

— Три дня.

— Неужели все эти дни вы питались одним молоком? Почему вы мне не написали? Мне больно подумать, что вы тут лежали целые дни один, а рядом никого, кто мог бы за вами поухаживать.

Кроншоу негромко рассмеялся.

— Жаль, что вы не видите своего лица! Дорогой мой, да вы, кажется, в самом деле огорчены! Славный вы человек, Кэри.

Филип вспыхнул. Он и не подозревал, что его лицо выражает ужас, который он испытывает, видя эту гнусную комнату и плачевное состояние поэта. Кроншоу, наблюдавший за Филипом, продолжал с мягкой улыбкой:

— Я чувствую себя превосходно. Посмотрите, вот гранки моей книги. Вспомните, я ведь равнодушен к неудобствам, которые заставляют страдать других. Какое значение имеют условия жизни, если мечты делают тебя владыкой времени и пространства!

Гранки были разбросаны у него на кровати, и, лежа в темноте, он мог нащупать их руками. Кроншоу показал их Филипу, и глаза его загорелись. Перелистывая их, он радо-

вался четко отпечатанным буквам; одну строфу он прочитал вслух.

— Не так уж плохо, правда? — сказал он.

Филипу пришла в голову идея. Она требовала от него кое-каких расходов, а он не мог позволить себе ни малейшей расточительности; но сейчас его возмутила даже мысль об экономии.

— Послушайте, я не могу оставить вас здесь. У меня есть лишняя комната, в ней хоть шаром покати, но я всегда могу попросить кого-нибудь одолжить мне кровать. Не согласитесь ли вы переехать и пожить у меня некоторое время? Вы сэкономите плату за квартиру.

— Что вы, милый мальчик, вы же станете требовать, чтобы я держал открытым окно!

— Если хотите, мы забьем все окна гвоздями.

— Завтра я поправляюсь. Я бы мог встать и сегодня, только мне было лень.

— Тогда вам нетрудно будет переехать. А если вам снова станет хуже, вы просто ляжете в постель, и я буду за вами ухаживать.

— Ладно. Если вам так хочется, я перееду, — сказал Кроншоу со своей вялой, не лишеной обаяния улыбкой.

— Вот и великолепно!

Они условились, что Филип увезет к себе Кроншоу на следующий день. Филип урвал час от своих утренних занятий на его устройство. Он нашел Кроншоу одетым: тот сидел на кровати в шляпе и шубе, а на полу у его ног стоял потертый чемодан с одеждой и книгами; у него был такой вид, словно он сидел в зале ожидания на вокзале. Глядя на него, Филип расхохотался. Они поехали в Кеннингтон в закрытом экипаже, тщательно опустив стекла, и Филип устроил гостя в своей собственной комнате. В это утро он купил себе подержанную кровать, дешевый комод и зеркало. Кроншоу сразу же занялся правкой гранок. Он чувствовал себя много лучше.

Филип нашел, что с ним легко ужиться, если не обращать внимания на его раздражительность, вызванную болезнью. В девять часов утра у Филипа начинались лекции, так что он не видел Кроншоу до самого вечера. Раза два Филипу удалось убедить своего гостя разделить с ним его немудреную трапезу, но у Кроншоу был слишком непоседливый характер, и обычно он предпочитал перекусить в одном из дешевых ресторанчиков Сохо. Филип убеждал его показаться доктору Тайрелу, но Кроншоу наотрез отказался: он отлично знал, что любой врач предпишет ему бросить

пить, а этого он твердо решил не делать. По утрам он чувствовал себя совсем больным, но днем порция абсента снова ставила его на ноги, а возвратившись к ночи домой, он уже был в состоянии разговаривать с бывлым блеском, так поразившим Филипа, когда они впервые познакомились. Корректурa была просмотрена, и томик стихов должен был выйти из печати ранней весной, когда публика немножко оправится от лавины рождественских книг.

ГЛАВА 84

Под Новый год Филип начал практику в перевязочной хирургического отделения амбулатории. Его обязанности мало чем отличались от прежних, они лишь приобрели ту определенность, какой хирургия вообще отличается от других отраслей медицины; он и здесь столкнулся с тем, что большинство пациентов страдает от двух болезней, которым косная публика из ложного стыда разрешает беспрепятственно губить людей. Помощником главного хирурга, под наблюдением которого Филип делал перевязки, был некий Джекобс — маленький, толстый и лысый весельчак с зычным голосом; у него был простонародный выговор, и студенты величали его «хамом»; но он был таким даровитым хирургом и педагогом, что ему все прощали. Он, как и Тайрел, был изрядным остряком и постоянно потешался и над больными, и над студентами. Особое развлечение доставляли ему практиканты, да и не удивительно: они были неопытны, нервничали и не могли отплатить той же монетой. В послеобеденные приемные часы он выкладывал практикантам начистоту все, что о них думает, и веселился при этом куда больше, чем студенты, которым приходилось с улыбкой его выслушивать. Как-то раз на прием попал хромым от рождения мальчик. Родителям хотелось знать, можно ли ему помочь. Мистер Джекобс повернулся к Филипу:

— Займитесь-ка этим пациентом, Кэри. В этом деле вы должны кое-что понимать.

Филип покраснел — врач явно хотел пошутить, и запуганные практиканты подобострастно захихикали. Но Филипа и в самом деле глубоко занимала эта болезнь, и он изучал ее с тех пор, как поступил в институт. Он перечитал в библиотеке все книги, где описывались разные виды врожденного искривления стопы. Филип заставил мальчика снять ботинок и носок. Это был четырнадцатилетний пар-

нишка со вздернутым носом, голубыми глазами и веснушчатой физиономией. Отец спросил, нельзя ли чем-нибудь помочь парню: шутка ли, какая это помеха, когда надо зарабатывать на хлеб. Филип с любопытством смотрел на мальчика. Тот был отнюдь не робкий, а, напротив, разговорчивый, веселый и даже несколько дерзкий мальчик, за что ему и попадало от отца. К своей хромой ноге он относился с большим интересом.

— Понимаете, все дело в том, как эта штука выглядит со стороны,— сказал он Филипу.— Мне-то лично от нее никаких неприятностей нету.

— Помолчи, Эрн, — сказал отец.— Опять разошелся!

Филип осмотрел хромую ногу и медленно провел по ней рукой. Он не мог понять, почему же мальчик не испытывает того унижения, которое вечно преследует его самого. Почему он, Филип, не может относиться к своему уродству с таким философским спокойствием? Тут к ним подошел мистер Джекобс. Мальчик сидел на краю кушетки, по бокам стояли хирург и Филип, а вокруг них полукругом толпились студенты. Со свойственным ему блеском Джекобс прочел небольшую наглядную лекцию о врожденных дефектах стопы; он говорил об их разновидностях и формах, зависящих от различных анатомических условий.

— Наверно, у вас *talipes equinus*?¹ — внезапно спросил он Филипа.

— Да.

Филип поймал взгляды студентов и мысленно выругал себя за то, что, как всегда, залился краской. Он почувствовал, как у него вспотели ладони. Хирург говорил с плавностью, выработанной долгой практикой, и со свойственным ему знанием предмета. Он был человеком, всецело увлеченным своей профессией. Но Филип его не слушал. Он желал только одного: чтобы все это поскорее кончилось. Вдруг он сообразил, что Джекобс обращается к нему:

— Вы не будете возражать, если мы попросим вас на минуточку разуться?

Филипа передернуло. Первым его поползновением было послать врача к черту, но у него не хватило на это мужества. Он побоялся, что его грубо высмеют. Он заставил себя произнести с деланным равнодушием:

¹ Лошадиная стопа (*лат.*) — научное название одного из видов искривления стопы.

— Нисколько.

Филип стал расшнуровывать ботинок. Пальцы его дрожали, и ему казалось, что он не сможет развязать узел. Он вспомнил, как ребята в школе вынудили его показать ногу и какой мучительный след это оставило в его душе.

— Видите, как он чисто моет ножки,— сказал Джекобс своим грубым, скрипучим голосом.

По рядам студентов пробежал смешок. Филип заметил, что мальчик жадно уставился на его ногу. Джекобс ощупал ногу Филипа и сказал:

— Да, так я себе и представлял. Вас оперировали. Наверное, еще ребенком?

Он продолжал свою лекцию. Студенты нагибались, разглядывая ногу. Когда Джекобс выпустил ее из рук, двое или трое тщательно ее осмотрели.

— Скажите, когда я вам больше не буду нужен,— сказал им Филип с иронической улыбкой.

Он готов был их убить. Он подумал о том, как приятно было бы вонзить долото им в шею (он и сам не знал, почему ему пришел в голову именно этот инструмент). Все люди — звери! Он пожалел, что не верит в ад и не может насладиться мыслью о тех страшных пытках, которые их там ждут. А мистер Джекобс перешел к методам лечения. Теперь его речь была обращена не только к студентам, но и к отцу мальчика. Филип надел носок и зашнуровал ботинок. Наконец хирург кончил. Но ему пришла в голову новая мысль, и он опять повернулся к Филипу:

— Знаете, я думаю, вам все-таки стоило бы сделать еще одну операцию. Конечно, нормальную ногу я вам обещать не могу, но кое-чем сумею помочь. Подумайте об этом, а когда захотите отдохнуть, ложитесь-ка на время в больницу.

Филип часто спрашивал себя, можно ли что-нибудь сделать с его ногой, но ему так противно было касаться этого предмета, что он не решался посоветоваться с кем-нибудь из больничных хирургов. Из книг он узнал, что ему могли помочь в раннем детстве, но в ту пору не умели лечить так искусно, как теперь, а взрослому человеку трудно надеяться на серьезное улучшение. И все же, если операция позволит ему носить ботинок попроще и хромать поменьше, ее стоило сделать. Он вспомнил, как страстно молил о чуде, которое, по словам дяди, ничего не стоило совершить всемогущему. Печально улыбаясь, он подумал: «Ну и наивная же душа я был в те дни».

К концу февраля здоровье Кроншоу явно ухудшилось. Он больше не вставал. Лежа в кровати, он не позволял отворять окно, чтобы проветрить комнату, и отказывался показаться врачу. Он мало ел, но требовал виски и папирос; Филип знал, что ему вредно и то и другое, но доводы Кроншоу были неотразимы.

— Конечно, это меня убивает,— говорил он.— Но мне безразлично. Вы меня предупредили, вы сделали все, что полагалось; я с вашим предупреждением не посчитался. Дайте мне выпить и уберите к черту.

Два-три раза в неделю забегал Леонард Апджон; внешность его чем-то донельзя напоминала увядший лист. Это был хилый человек лет тридцати пяти с длинными бесцветными волосами и бледным лицом; весь его вид свидетельствовал о сидячем образе жизни. Шляпу он носил, как баптист. Филип невзлюбил его за покровительственный тон, а витиеватые речи литератора нагоняли на него скуку. Леонард Апджон любил послушать самого себя. Ему было все равно, интересно ли при этом собеседнику, что является главным отличием всякого хорошего оратора; он никогда не признавался себе в том, что повторяет избитые истины. Закругленными фразами он пояснял Филипу, что тому следует думать о Родене, Альберте Самэне и Цезаре Франке. Женщина, убиравшая квартиру Филипа, появлялась только на один час по утрам, а сам Филип вынужден был проводить весь день в больнице; поэтому Кроншоу часто приходилось оставаться одному. Апджон заметил Филипу, что, по его мнению, кто-то должен находиться при больном, но и не подумал предложить свою помощь.

— Страшно подумать, что великий поэт брошен на произвол судьбы. Какой ужас, если он умрет один как перст.

— Так, должно быть, и произойдет,— сказал Филип.

— Как вы можете быть таким бессердечным!

— Почему бы вам не приходиться сюда каждый день работать? Тогда вы могли бы ему помочь, если понадобится,— сухо сказал Филип.

— Мне? Милый мой, я могу работать только в привычной обстановке, да к тому же мне приходится бывать в стольких местах...

Апджона немножко сердило и то, что Филип перевез Кроншоу к себе.

— Жаль, что вы не оставили его в Сохо,— сказал он, плавно поводя своими длинными тонкими руками.— В его грязной мансарде было что-то романтическое. Я бы еще

понял, если бы вы перевезли его в Уоппинг или Шордич, но ваш благопристойный Кеннингтон!.. Ну и место, чтобы умирать поэту!

Нередко Кроншоу бывал так сварлив, что Филип с трудом сдерживался, напоминая себе, что раздражительность — один из симптомов его болезни. Апджон забежал иногда, пока Филипа еще не было, и Кроншоу горько на него жаловался. Апджон сочувственно выслушивал его сетования.

— Дело в том, — замечал он, — что Кэри лишен чувства прекрасного. У него мещанская психология.

С Филипом он всегда разговаривал иронически, и тому нелегко было удержаться от резкостей. Как-то вечером он не стерпел. У него выдался трудный день в больнице, и он страшно устал. Леонард Апджон пришел к нему на кухню, где он готовил себе чай, и заявил, что Кроншоу жалуется на то, что Филип изводит его, уговаривая показаться врачу.

— Разве вы не понимаете, какая вам выпала редкостная, почетная участь? Вам следовало бы сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное вам высокое доверие.

— Эта почетная участь мне не по карману, — сказал Филип.

Как только речь заходила о деньгах, Леонард Апджон принимал слегка пренебрежительный вид. Эта тема корбила его чувствительную натуру.

— В поведении Кроншоу есть своя красота, — продолжал он, — а вы раните его своей назойливостью. Вам следовало бы бережнее относиться к тонким чувствам, которые вам самому недоступны.

Лицо Филипа потемнело.

— Давайте пойдем к Кроншоу, — холодно сказал он.

Лежа на спине с трубкой в зубах, поэт читал книгу. В комнате нечем было дышать; несмотря на все усилия Филипа, в ней царил беспорядок; вокруг Кроншоу всегда было неопрятно, где бы он ни жил. Когда Филип и Апджон вошли, поэт снял очки. Филип едва владел собой от бешенства.

— Апджон мне заявил, — начал он, — будто вы жалуетесь на то, что я прошу вас показаться врачу. Я прошу вас показаться врачу потому, что вы можете умереть со дня на день, а если никто вас заранее не осмотрит, мне не выдадут свидетельства о смерти. Назначат следствие и обвинят меня, что я оставил вас без врачебной помощи.

— Об этом я не подумал. Я считал, что вы хотите вызвать врача ради меня, а не ради себя. Я покажусь врачу, когда вы этого захотите.

Филип ничего не ответил и только чуть-чуть повел плечами. Глядя на него, Кроншоу усмехнулся.

— Не сердитесь, дорогой. Я отлично знаю: вы готовы сделать для меня все, что в ваших силах. Давайте позовем вашего доктора, а вдруг он мне и в самом деле поможет; во всяком случае, у вас будет легче на душе.— Он перевел взгляд на Апджона.— Ты круглый дурак, Леонард. Ну чего ты привязался к мальчику? Хватит с него, что он терпит мои причуды. Ты-то сам для меня ничего не сделаешь, разве что напишешь гладенькую статейку после моей смерти. Уж я-то тебя знаю.

На следующий день Филип пошел к доктору Тайрелу. Ему казалось, что тот должен заинтересоваться его больным, и, в самом деле, как только Тайрел кончил прием, он отправился с Филипом в Кеннингтон. Он подтвердил диагноз Филипа. Больной был безнадежен.

— Если хотите, я положу его в больницу, — сказал он.— Ему дадут отдельную палату.

— Он ни за что на это не пойдет.

— Знаете, он может умереть с минуты на минуту, а то и снова схватит воспаление легких.

Филип кивнул головой. Доктор Тайрел дал кое-какие советы и обещал зайти снова, как только он понадобится. Он оставил свой домашний адрес. Когда Филип заглянул к Кроншоу, тот спокойно читал книгу и даже не дал себе труда спросить, что сказал врач.

— Теперь вы довольны, мой мальчик? — спросил он.

— Вас ведь все равно нельзя уговорить слушаться Тайрела?

— Нельзя, — улыбнулся Кроншоу.

ГЛАВА 85

Недели через две Филип, вернувшись как-то вечером домой из больницы, постучался к Кроншоу. Не получив ответа, он отворил дверь. Кроншоу, скорчившись, лежал на боку; Филип подошел к кровати. Он хотел посмотреть, заснул ли больной или у него просто очередной приступ дурного настроения, но с удивлением заметил, что у Кроншоу открыт рот. Филип дотронулся до его плеча и вскрикнул от испуга. Он просунул руку ему под рубашку и приложил ее к сердцу; Филип был в полной растерянности и не знал, что делать. Вспомнив, как поступают в таких случаях, он поднес зеркало к губам больного. Ему стало страшно

оставаться одному с Кроншоу. Он все еще был в пальто и шляпе; сбежав по лестнице, он подозвал извозчика и поехал на Гарлей-стрит. Доктор Тайрел был дома.

— Пожалуйста, поедemте со мной. Мне кажется, Кроншоу умер.

— Если он умер, я уже ничем не смогу помочь.

— Я был бы вам страшно благодарен, если бы вы все-таки поехали со мной. Извозчик нас ждет. Это отнимет у вас всего полчаса.

Тайрел надел шляпу. По дороге он задал несколько вопросов.

— Сегодня утром, когда я уходил, ему как будто было не хуже, чем всегда,— рассказывал Филип.— Представьте себе мой ужас, когда я зашел к нему в комнату. Понимаете, он умер совсем один... Как вы думаете, он сознавал, что умирает?

Филип вспомнил слова Кроншоу. Поддался ли он в последний миг страху смерти? Филип представил себя на его месте; вот он чувствует, что конец надвигается, его охватывает ужас, а рядом нет ни души — никого, кто сказал бы ему ободряющее слово.

— Вы очень расстроены,— заметил доктор Тайрел.

Он глядел на него своими пронизательными голубыми глазами. В них светилось сочувствие. Осмотрев Кроншоу, он сказал:

— Он уже несколько часов как умер. Наверное, скончался во сне. С ними это бывает.

Мертвое тело как-то сразу высохло и выглядело непристойно. Оно потеряло все человеческое. Доктор Тайрел глядел на него бесстрастно. Привычным движением он вынул часы.

— Что же, мне пора. Свидетельство о смерти я пришлю. Вы, конечно, известите родственников?

— Кажется, их у него нет,— сказал Филип.

— Как насчет похорон?

— Об этом я позабочусь.

Доктор Тайрел бросил на него внимательный взгляд. Он подумал, не следует ли предложить несколько фунтов на похороны. Но он не знал, как у Филипа с деньгами; может быть, ему нетрудно оплатить расходы и он сочтет предложение о помощи обидным.

— Что ж, сообщите мне, если я смогу вам чем-нибудь помочь,— сказал он.

Они вышли вместе и на пороге расстались; Филип отправился на телеграф, чтобы сообщить о смерти Кроншоу

Леонарду Апджону. Потом он завернул в похоронное бюро, мимо которого проходил каждый день по дороге в больницу. Его внимание часто привлекали три слова, выбитые серебряными буквами на черной ткани, украшавшей витрину, где были выставлены образцы гробов: «*Экономия, Быстрота, Благоприятность*». Эти слова всегда его смешили. Хозяином похоронного бюро оказался маленький толстый еврей с курчавыми волосами, длинными и лоснящимися; он был весь в черном; большое кольцо с бриллиантом украшало его короткий мясистый палец. В его манере была странная смесь природной развязности и профессионального уныния. Убедившись в полной беспомощности Филипа, он пообещал немедленно прислать женщину, чтобы обрядить умершего. Гробовщик предложил устроить пышные похороны; Филипу было стыдно, что тот явно подозревает его в скупости. Торговаться из-за похорон было противно, и в конце концов Филип согласился на расходы, которые были ему вовсе не по карману.

— Я понимаю, сэр,— сказал гробовщик,— вы не хотите пускать людям пыль в глаза,— я и сам, знаете ли, не люблю пустого щегольства,— но вы желаете, чтобы все было сделано, как принято в лучшем обществе. Предоставьте это мне, я устрою вам похороны по сходной цене, но постараюсь не ударить лицом в грязь. Что я могу вам еще обещать?

Филип пошел домой ужинать; когда он ел, явилась женщина, чтобы обмыть тело. Вскоре принесли телеграмму от Леонарда Апджона:

«БЕЗМЕРНО ПОТЯСЕН. ОПЕЧАЛЕН. СОЖАЛЕЮ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ЯВИТЬСЯ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
ПРИГЛАШЕН УЖИН. БУДУ ВАМИ ЧУТЬ СВЕТА ГЛУБОКО
СОЧУВСТВУЮ. АПДЖОН».

Немного погодя женщина, обряжавшая труп, постучалась в дверь гостиной.

— Готово, сэр. Прошу вас, зайдите на минуточку и посмотрите, все ли в порядке.

Филип последовал за ней. Кроншоу лежал на спине с закрытыми глазами и благочестиво скрещенными на груди руками.

— Полагалось бы положить хоть несколько цветочков, сэр.

— Завтра принесу.

Она с удовлетворением оглядела труп. Работа ее была закончена; она опустила закатанные рукава, сняла передник и надела чепец. Филип спросил, сколько ей следует.

— Видите ли, сэр, кто платит мне два с половиной шиллинга, а кто и пять.

Филипу было неловко дать ей меньше пяти шиллингов. Она поблагодарила его с подобающей сдержанностью, — ведь он понес тяжелую утрату, — и удалилась. Филип вернулся в гостиную, убрал остатки ужина и сел за «Хирургию» Уолшема. Читать было трудно. Нервы были напряжены до предела. Когда на лестнице слышался шум, он вздрагивал и сердце его бешено билось. Его пугало то, что лежит в соседней комнате: прежде человек, а сейчас — ничто. Тишина казалась одушевленной, словно в ней происходило какое-то таинственное движение. В этих комнатах поселилась смерть, нечто неведомое, жуткое; Филип внезапно почувствовал ужас перед тем, что когда-то было его другом. Он пытался заставить себя читать, но скоро отчаялся и отодвинул книгу. Его угнетала бесплодность только что оборвавшегося существования. Какая разница, жив или мертв Кроншоу? Что изменилось, если бы его никогда и не было? Филип представил себе Кроншоу молодым: его трудно было вообразить стройным, подвижным юношей с густыми волосами, веселым и полным надежд. Жизненное правило Филипа — следовать своим склонностям с должной оглядкой на полицейского за углом — не очень-то пошло Кроншоу впрок: именно потому, что он придерживался этого правила, весь пройденный им путь был такой плачевной неудачей. Выходило, что не следует слишком доверять своим естественным склонностям. Филип попал в тупик; он спрашивал себя: в чем же тогда закон жизни, если его излюбленное правило бесполезно, и чем руководствуются люди в своих поступках? Они действуют так, как подсказывают им чувства, но чувства могут быть хорошими или дурными, и только от случая зависит, приведут ли они человека к удаче или к поражению. Жизнь казалась непостижимой путаницей, полной противоречий. Люди спешили с места на место, подгоняемые неведомой силой; сущность происходящего ускользала от них; казалось, они спешат только для того, чтобы спешить.

На следующее утро появился Леонард Апджон с маленьким лавровым венком. У него родилась идея возложить венок на чело мертвого поэта; несмотря на враждебное молчание Филипа, он попытался натянуть венок на лысую голову покойника; но венок выглядел на ней нелепо. Он был похож на обрезанные от шляпы поля, которые напялил на себя третьесортный клоун из какого-нибудь мюзик-холла.

— Лучше я его положу ему на сердце, — сказал Апджон.

— Вы его положили ему на живот,— заметил Филип. Апджон кисло улыбнулся.

— Только поэт знает, где сердце поэта,— ответил он.

Они вернулись в гостиную, и Филип рассказал, какие приготовления он сделал к похоронам.

— Надеюсь, вы не поскупились,— сказал Апджон.— Мне хотелось бы, чтобы за катафалком двигалась длинная вереница пустых карет, а на головах у лошадей колыхались высокие плюмажи. Закажите побольше факельщиков с длинными лентами на шляпах. Вам нравится моя выдумка насчет вереницы пустых карет?

— Поскольку расходы по похоронам лягут, по-видимому, на меня, а я сейчас не при деньгах, похороны будут самые скромные.

— Но, милый мой, почему же в таком случае вы не устроили ему похорон, как нищему, на общественный счет? В этом, по крайней мере, было бы что-то поэтическое. У вас безошибочная тяга к мещанской золотой середине.

Филип слегка покраснел, но промолчал. А на следующий день они с Апджоном следовали за катафалком в единственной заказанной Филипом карете. Лоусон, который не смог прийти, прислал венок; Филип тоже купил два венка, чтобы гроб не выглядел таким голым.

На обратном пути кучер нещадно подгонял лошадей. Филип смертельно устал и вдруг заснул. Его разбудил голос Апджона:

— Как удачно, что стихи еще не изданы. Я думаю, их лучше чуточку задержать, а я напишу предисловие. Я уже начал его обдумывать по дороге на кладбище. Надо надеяться, что получится неплохо. Так или иначе, я начну со статьи в «Сатердей».

Филип ничего не ответил, и в карете воцарилось молчание. Наконец Апджон сказал:

— Впрочем, не стоит разбрасываться. Пожалуй, напишу статью для одного из ежемесячных журналов, а потом напечатаю ее в виде предисловия к книжке.

Филип стал следить за ежемесячниками и несколько недель спустя прочел статью Апджона. Она произвела небольшую сенсацию, и выдержки из нее появились в ряде газет. Статья была очень хорошая; приведенные в ней биографические данные не отличались точностью, ибо никто ничего не знал о молодости Кроншоу, зато написана она была изящно, пышно и с чувством. Как всегда замысловато, Леонард Апджон нарисовал прелестные картинки из жизни Кроншоу в Латинском квартале: вот

он беседует с друзьями, сочиняет стихи — под его пером Кроншоу становился живописной фигурой, английским Верленом. Цветистые фразы Леонарда Апджона зазвучали трепетно и величаво, преисполнились торжественным пафосом, когда он рассказывал о жалком конце поэта, об его убогой комнатухе в Сохо; с милой скромностью, которая позволяла лишь догадываться о всликодушии автора, изображались его старания увести поэта в некий увитый жимолостью домик, окруженный фруктовым садом. И подумать только, что черствые и бестактные, хоть и добронамеренные люди вместо этого переселили поэта в мещанскую обстановку Кеннингтона! Леонард Апджон поведал о Кеннингтоне со сдержанным юмором, которого требовала строгая приверженность к лексике сэра Томаса Броуна. С изящной иронией описывал он последние недели поэта — терпение, с каким он переносил сердечные, но такие неуклюжие заботы юного студента, который самочинно назначил себя его сиделкой, и плачевное положение богоподобного бродяги, попавшего в обывательское окружение. «Красота из пепла», — цитировал он пророка Исайю. Какой иронией судьбы была смерть отверженного поэта в вульгарной обители мещанства; это напоминало Апджону Христа среди фарисеев — такая аналогия дала ему повод для затейливого отступления. Потом он поведал, как некий друг — хороший вкус разрешал ему сделать только тонкий намек на то, кто был этот друг с такой пленительной фантазией, — возложил лавровый венок на сердце умершего поэта; прекрасные безжизненные руки, словно в сладостной истоме, покоились на листьях Аполлона, благоухающих всеми благовониями поэзии, нежной зеленью своей затмевающих нефрит, который привозят смуглые моряки из многоликого, загадочного Китая. И — в качестве восхитительного контраста — статья заканчивалась описанием мещанских, будничных, прозаических похорон того, кого следовало хоронить либо как принца, либо как нищего. Это был последний удар, роковая победа филистерства над искусством, красотой и всем, что только есть возвышенного на свете. Никогда еще Леонард Апджон не писал лучше. Его статья была чудом тонкости, изящества и сострадания. Он включил в нее лучшие стихи Кроншоу; когда вышел весь томик, он уже никого не удивил; зато автор статьи основательно упрочил свое положение. С этих пор он стал критиком, с которым следовало считаться. Прежде он казался несколько холодным; но его статья о Кроншоу дышала такой человечностью и теплом, что читатели были совершенно покорены.

Весной Филип, кончив практику в амбулатории, перешел в больницу, где стал выполнять обязанности куратора. Эта практика продолжалась полгода. Куратор каждое утро обходил вместе с дежурным врачом палаты — сперва мужские, потом женские, вел больничные карты, наблюдал за исследованиями, а днем помогал сестрам. Дважды в неделю главный врач совершал обход в сопровождении небольшой группы студентов, осматривал больных и давал указания. Новая работа не была такой увлекательной и разнообразной и не позволяла так близко соприкоснуться с жизнью, как работа в амбулатории, но Филип здесь многому научился. К нему хорошо относились больные, и ему льстило, что его всякий раз встречали с радостью. Он не то что чувствовал жалость к их страданиям, но проявлял заботу и симпатию к людям, не напускал на себя важности, и потому его любили больше, чем других практикантов. Он был вежлив с больными, умел их ободрить, держался с ними по-приятельски. Как и все, кто имеет отношение к больнице, он знал, что с пациентами легче иметь дело, чем с пациентами. Женщины часто бывали ворчливы и раздражительны. Они жаловались на перегруженных работой сестер, которые, по их мнению, не оказывали им должного внимания; как правило, они были беспокойны, неблагодарны и грубы.

Филипу посчастливилось, и он нашел себе друга. Однажды утром лечащий врач поручил ему нового больного; присев к его кровати, Филип принялся дополнять историю болезни. Заглянув в нее, он заметил, что профессией больного была журналистика; звали его Торп Ательни (фамилия для здешних пациентов необычная), лет ему было сорок восемь. Больной страдал острой желтухой, но симптомы были неясные, и его положили в больницу на клиническое обследование. Он отвечал на вопросы Филипа приятным голосом, речь его выдавала образованного человека. Поскольку он лежал в кровати, трудно было определить его рост, но маленькая голова и маленькие руки позволяли догадываться, что он невысок. Филип всегда обращал внимание на руки людей, и руки Ательни его удивили: они были миниатюрные, с длинными, заостренными пальцами и красивыми розовыми ногтями; очень мягкие, они, не будь желтухи, поражали бы своей белизной. Больной держал их поверх одеяла — пальцы одной из них он слегка раздвинул — и, отвечая на вопросы Филипа, рассматривал их не без удовольствия. Филип, пряча улыбку, взглянул на его

лицо. Желтизна не мешала ему быть по-своему красивым: у больного были голубые глаза, хорошо очерченный орлиный нос и остроконечная седая борода; он полысел, но когда-то волосы у него явно были тонкие и красиво вились. Он и теперь носил их длинными.

— Я вижу, вы журналист,— сказал Филип.— В каких газетах вы сотрудничаете?

— Во всех без исключения. Вам не открыть ни одной газеты, не встретив там моих писаний.

Какая-то газета лежала на столике возле постели, и, взяв ее, он указал на одно из объявлений. Большими буквами значилось название хорошо знакомой Филипу фирмы «Линн и Седли, Риджент-стрит, Лондон»; ниже, помельче, но все же внушительным шрифтом была напечатана непререкаемая истина: «Откладывая на завтра — крадешь у себя время». Еще ниже следовал вопрос, поражающий своей непреложностью: «Почему бы не заказать сегодня же?» Броскими буквами повторялось, словно отголосок совести в душе убийцы: «Почему?» Затем шло смелое заявление: «Тысячи пар перчаток лучших поставщиков мира по смехотворным ценам. Тысячи пар носков и чулок лучших мировых фирм с сенсационной скидкой». И наконец, снова возникал вопрос, брошенный на сей раз как вызов на турнире: «Почему бы вам не заказать сегодня же?»

— Я представитель фирмы «Линн и Седли» по делам рекламы.— Он небрежно взмахнул своей красивой рукой.— Вот как низко я пал...

Филип продолжал задавать положенные вопросы — некоторые из них просто так, для порядка, другие — хитроумно придуманные, чтобы заставить больного сообщить о себе сведения, которые тому, возможно, хотелось скрыть.

— Вы жили за границей? — спросил Филип.

— Да, одиннадцать лет в Испании.

— Чем вы там занимались?

— Был секретарем Английской компании водоснабжения в Толедо.

Филип вспомнил, что Клаттон провел в Толедо несколько месяцев, и этот ответ заставил его посмотреть на журналиста с интересом, однако он не решился выказать свое любопытство: в больнице полагалось соблюдать дистанцию между пациентами и персоналом. Покончив с опросом, он продолжал свой обход.

Болезнь Торпа Ательни не была серьезной, и, хотя он по-прежнему был желтым, как лимон, самочувствие его

улучшилось; его заставляли лежать потому, что врач предпочитал держать его под наблюдением до тех пор, пока результаты анализов не станут нормальными. Как-то раз, зайдя в палату, Филип заметил, что Ательни читает с карандашом в руке какую-то книгу. Когда Филип подошел поближе, он ее опустил.

— Можно посмотреть, что вы читаете? — спросил Филип, который не мог равнодушно пройти мимо книги.

Это был томик испанских стихов — сочинения Сан-Хуана де ла Круса; когда он раскрыл книгу, из нее выпал листок бумаги, исписанный карандашом. Подняв листок, Филип заметил, что это стихи.

— Я пытался переводить. Вы понимаете по-испански?

— Нет. Неужели вы развлекаетесь тем, что сочиняете стихи? Вот уж неподходящее занятие для лежачего больного.

— Но вы слышали о Сан-Хуане де ла Кресе?

— Ровно ничего.

— Был у них такой мистик. Один из лучших поэтов Испании. Мне показалось, что его стоит перевести на английский язык.

— Можно взглянуть на ваш перевод?

— Это только черновой вариант, — сказал Ательни, но поспешно протянул Филипу листок: ему явно хотелось показать свою работу.

Стихи были записаны красивым, но каким-то необычным и совершенно неразборчивым почерком: буквы были похожи на готические.

— Как у вас хватает терпения так писать? Чудо, а не почерк!

Филип прочитал первую строфу:

Непроглядную ночью
От любовной тревоги сгорая —
О, счастье! —
Я двинулся в путь незаметно,
И мой дом погрузился в покой...

Филип поглядел на Торпа Ательни с любопытством. Он сам не мог понять, отталкивает его новый знакомый или, напротив, привлекает к себе. Ему померещилось, что тот говорит с ним как-то свысока, — он даже вспыхнул при мысли, что может показаться ему смешным.

— У вас редкая фамилия, — заметил он, чтобы нарушить неловкое молчание.

— Это старинная йоркширская фамилия. Было время, когда главе нашего рода дня не хватало, чтобы объехать верхом свои владения, но все это величие — в прошлом. Промотано, пущено на ветер.

Ательни был близорук и, разговаривая с собеседником, глядел на него очень пристально. Он взял в руки свой томик стихов.

— Вам бы надо было научиться читать по-испански, — сказал он. — Благородный язык. Он не так слащав, как итальянский: итальянский — язык теноров и шарманщиков, зато в испанском языке есть величие; он не журчит, как ручеек в саду, а бурлит и вздымается, как могучая река в половодье.

Эта высокопарная манера выражаться забавляла Филиппа, но у него была слабость к риторике, и он с удовольствием слушал, как Ательни красочно описывает великолепие «Дон Кихота» в оригинале и романтическую, прозрачную, страстную музыку волшебника Кальдерона.

— Мне пора продолжать обход, — сказал наконец Филип.

— Ах, простите, я вас задержал. Попрошу жену принести снимки Толедо и покажу вам. Заходите поболтать со мной, когда будет время. Вы даже себе не представляете, какое это для меня удовольствие.

С тех пор Филип старался урвать каждую свободную минуту, чтобы потолковать с журналистом; дружба их крепла. Торп Ательни был хорошим собеседником. Он не поражал остроумием, но говорил с увлечением и живостью, зажигая воображение; Филип, который так любил жить в мире фантазии, чувствовал, что его ум обогащается новыми образами. Ательни был хорошо воспитан. Он был значительно старше, знал жизнь и книги куда лучше, чем Филип; у него был настоящий дар вести беседу, и он этим гордился. Понимая, что в больнице он пользуется общественной благотворительностью и должен подчиняться ее строгим правилам, Ательни терпел эти неудобства легко и с юмором. Однажды Филип спросил его, зачем он лег в больницу.

— Я принципиально пользуюсь всеми благами, которые предоставляет мне общество. Не надо отставать от века. Когда я болен, я без ложного стыда ложусь в городскую больницу, точно так же как посылаю своих детей в городскую школу.

— Неужели? — удивился Филип.

— Конечно! Они получают там отличное образование — куда лучше того, что я получил в Винчестере, — и как

бы иначе я смог воспитать своих детей? У меня их девять. Вам надо поглядеть на них, когда я вернусь домой. Хотите?

— С большим удовольствием,— ответил Филип.

ГЛАВА 87

Через десять дней Торп Ательни поправился настолько, что его выписали. Он дал Филипу адрес, и тот пообещал прийти к нему в следующее воскресенье к часу дня обедать. Ательни сообщил ему, что живет в доме, построенном в семнадцатом веке самим Иниго Джонсом; со свойственной ему восторженностью он превозносил балюстраду из старого дуба. Спустившись вниз, чтобы открыть Филипу дверь, он с места в карьер заставил его полюбоваться изящной резьбой дверного косяка. Дом был запущенный и сильно нуждался в покраске, но сохранил благородные линии своей эпохи; он находился в узеньком переулке между Чансерилейн и Холборном — модный когда-то район, который сейчас мало чем отличался от трущоб. Дом собирались снести и построить вместо него красивое конторское здание; но пока что квартирная плата была низкая, и Ательни мог снимать два верхних этажа за сходную цену. Филип еще ни разу не видел его во весь рост и был удивлен, как он невысок. Одет он был в причудливый наряд: на нем были синие парусиновые брюки (их во Франции носят рабочие) и сильно поношенная бархатная куртка с ярко-красным кушаком, под отложным воротником был повязан пышный бант, вроде тех, с какими рисуют на карикатурах французов в журнале «Панч».

Ательни восторженно поздоровался с Филипом. Он сразу же заговорил о доме и любовно провел рукой по перилам лестницы.

— Посмотрите, пощупайте — ну просто шелк. Разве это не чудо? А через пять лет все пойдет на слом и будет брошено в огонь.

Он настоял на том, чтобы Филип зашел в одну из комнат второго этажа, где мужчина без пиджака, женщина в домашней кофте и трое детей вкушали воскресный обед.

— Я привел этого господина, чтобы показать ему ваш потолок,— сказал Ательни.— Видали вы что-нибудь подобное? Как поживаете, миссис Ходжсон? Это мистер Кэри, он лечил меня в больнице.

— Заходите, сударь,— сказал мужчина.— Мы рады видеть друга мистера Ательни. Мистер Ательни показывает

этот потолок всем своим друзьям. Что бы мы ни делали — лежим в постели или даже моемся, — он все равно зайдет!

Филип понял, что они считают Ательни чудаком и все же любят его: они слушали с открытым ртом, как он ораторствовал о красотах потолка семнадцатого века.

— Какое преступление отдавать это на слом. А, Ходжсон? Вы же влиятельный гражданин, почему бы вам не обратиться с протестом в газеты?

Мужчина без пиджака рассмеялся и сказал Филипу:

— Мистер Ательни у нас шутник. Говорят, дома эти такие антисанитарные, что в них даже опасно жить.

— Черт с ней, с санитарией, дайте мне искусство! — вскричал Ательни. — У меня девять детей, и плохая канализация идет им только на пользу. Нет, нет, я не хочу рисковать. Не надо мне ваших новшеств! Прежде чем я двинусь отсюда, я должен убедиться, что на новом месте тоже плохая канализация.

Раздался стук в дверь, и вошла маленькая светловолосая девочка.

— Папочка, мамочка говорит: довольно тебе разговаривать, идем обедать.

— Вот моя третья дочь, — сказал Ательни, патетически указывая на нее перстом. — Ее имя Мария дель Пилар, но она охотнее откликается, когда ее зовут Джейн. Джейн, вытри нос.

— Папочка, у меня нет платочка.

— Ладно, ладно, — ответил он, доставая огромный, огненного цвета платок, — а скажи на милость, для чего господь бог снабдил тебя пальцами?

Они поднялись наверх и ввели Филипа в комнату с темными дубовыми панелями. Посередине стоял узкий стол тикового дерева на крестообразных ножках с двумя железными перекладинами — в Испании такие столы называют mesa de hieraje. Все было готово к обеду: стояло два прибора, а к столу были придвинуты два больших кожаных кресла с широкими и плоскими дубовыми подлокотниками. Кресла были строгие, изящные и неудобные. Из мебели в комнате стоял еще только bargeño — шкафчик, искусно украшенный позолоченной чеканкой, на подставке, отделанной затейливой, хоть и несколько топорной резьбой. В шкафчике красовалось два-три изрядно побитых, но богато расписанных фаянсовых блюда; на стенах висели картины старых испанских мастеров в великолепных, но ветхих рамах — хоть и мрачные по сюжету, пострадавшие от времени и дурного обращения и к тому же второсортные по исполнению,

они все же дышали страстью. Тут не было ничего сколько-нибудь ценного, но комната производила чарующее впечатление. В ней было что-то пышное и в то же время строгое. Филипу чудился тут дух старой Испании.

Когда Ательни показывал ему внутреннюю отделку горки с чудесными украшениями и потайными ящичками, в комнату вошла высокая девочка с двумя длинными золотисто-каштановыми косами.

— Мама говорит, что обед готов и вас дожидается; я его подам, как только вы скажете.

— Иди сюда, Салли, поздоровайся с мистером Кэри.— Ательни повернулся к Филипу.— Ну, разве она не великолепна? Это моя старшая дочка. Сколько тебе лет, Салли?

— В июне будет пятнадцать.

— Я окрестил ее Мария дель Соль—она мой первенец—и посвятил ее ослепительному солнцу Кастилии, но мать зовет ее Салли, а братец—Мордашкой.

Девочка покраснела и смущенно улыбнулась, показав ровные белые зубы. Она была рослой для своих лет, хорошо сложена, с приятными серыми глазами, широким лбом и румянцем во всю щеку.

— Ступай скажи матери, чтобы она пришла познакомиться с мистером Кэри.

— Мать сказала, что придет после обеда. Она еще не умылась.

— Тогда мы сами пойдем к ней поздороваться. Не может же он сесть за йоркширский пудинг, пока не пожмет руку, которая его приготовила.

Филип последовал за хозяином дома на кухню. Там было тесно, очень людно и стоял дым коромыслом, но как только вошел посторонний, воцарилась тишина. За большим столом, с нетерпением ожидая обеда, сидели дети. У печи стояла женщина—она вынимала из нее печеные картофелины.

— Бетти, это мистер Кэри,—сказал хозяин.

— Зачем же ты его сюда привел? Что он о нас подумает?

На ней был грязный передник, рукава ее ситцевого платья были закатаны выше локтя, волосы закручены на папильотки. Миссис Ательни была крупной женщиной, на добрых три дюйма выше своего мужа; у нее были светлые волосы и синие глаза, а лицо дышало добротой; когда-то она считалась красоткой, но с годами и от частых родов расплылась и обрюзгла; синие глаза выцвели, кожа огрубела и стала красной, волосы потеряли блеск... Миссис

Ательни выпрямилась, вытерла руку о передник и протянула ее гостю.

— Добро пожаловать, сударь,— произнесла она медленно и нараспев; ее говор показался Филипу до странности знакомым.— Ательни говорит, что вы были очень добры к нему в больнице.

— Теперь вас надо познакомить со всем нашим поголовьем,— продолжал Ательни.— Вот Торп,— указал он на круглолицего, кудрявого мальчика,— он мой старший сын, наследник титула, поместий и долгов нашего семейства. Вот Ательстан, Гарольд, Эдвард.

Он поочередно показал пальцем на трех мальчиков поменьше— все они были румяные, здоровые и улыбались во весь рот, однако, поймав на себе смеющийся взгляд Филипа, смущенно опустили глаза в тарелки.

— А теперь перечислим по порядку девочек: Мария дель Соль...

— Мордашка,— пояснил один из мальчиков.

— У тебя первобытное чувство юмора, сын мой. Мария де лос Мерседес, Мария дель Пилар, Мария де ла Консепсьон, Мария дель Розарио.

— Я зову их Салли, Молли, Конни, Розы и Джейн,— сказала миссис Ательни.— Ну-ка, Ательни, ступай в свою комнату, вам принесут обед. Потом, когда я умою детей, я позволю им к вам заглянуть.

— Милая, если бы мне довелось выбирать имя тебе, я бы назвал тебя Мария Мыльная Пена. Вечно ты мучаешь мылом этих заморышей.

— Идите вы вперед, мистер Кэри, не то мне никогда не заставить его сесть за стол и пообедать.

Ательни и Филип опустились в огромные монастырские кресла, Салли принесла им две тарелки с ростбифом, йоркширским пудингом, печеным картофелем и капустой. Ательни вынул из кармана шестипенсовик и послал ее за кружкой пива.

— Надеюсь, вы накрыли здесь стол не из-за меня,— сказал Филип.— Я отлично пообедал бы и с детьми.

— Нет, я всегда ем отдельно. Люблю старинные обычаи. Мне кажется, женщинам вообще не следует сидеть за столом с мужчинами: это губит беседу, да и для них самих это вредно. Набираются всяких идей, а женщинам всегда не по себе, когда у них в голове заведется какая-нибудь мысль.

Хозяин и гость с аппетитом принялись за обед.

— Вы когда-нибудь ели такой йоркширский пудинг?— спросил Ательни.— Никто не умеет так его готовить, как

моя жена. Вот что получаешь, когда женишься не на светской даме. Вы ведь заметили, что она не светская дама?

Вопрос был щекотливый, и Филип не знал, что ответить.

— Я как-то об этом не думал,— неуверенно сказал он.

Ательни рассмеялся. У него был на редкость заразительный смех.

— Нет, она не светская дама и даже вовсе на даму не похожа. Отец ее ходил за плугом, и она так никогда и не научилась говорить по-городскому. У нас было двенадцать детей, девять из них живы. Я сказал, что пора остановиться, но она женщина упрямая, да это и вошло у нее в привычку — думаю, она не успокоится, пока не народит человек двадцать.

Тут вошла Салли с пивом, налив кружку Филипу, она обогнула стол, чтобы налить и отцу. Он обнял ее за талию.

— Видали вы когда-нибудь такую хорошенькую, крепкую девчурку? Ей только пятнадцать, а можно дать все двадцать. Поглядите на ее щеки. Ни разу в жизни ничем не хворала. Вот повезет тому, кто на ней женится, правда, Салли?

Салли слушала все это с легкой сдержанной улыбкой, не слишком смущаясь — ибо давно уже привыкла к отцовским выходкам, — но вела себя так естественно и скромно, что на нее приятно было смотреть.

— У тебя остынет обед,— сказала она, освобождаясь из его объятий.— Позови, когда пора будет подавать сладкое, ладно?

Мужчины остались одни, и Ательни поднес к губам оловянную пивную кружку. Он сделал большой глоток.

— Честное слово, на свете нет ничего лучше английского пива,— сказал он.— Возблагодарим господа за простые маленькие радости — за ростбиф и рисовый пудинг, за хороший аппетит и за пиво. Прежде я был женат на светской даме. Бог ты мой! Не женитесь на светской даме, мой мальчик!

Филип смеялся. Его веселила эта сцена: смешной человек в своем странном наряде, комната со старинной резной панелью, испанская мебель, английская еда; во всем этом, вместе взятом, была какая-то удивительная несуразность.

— Вы смеетесь, мой мальчик, вы не можете себе представить брака с женщиной из низов. Вам нужна жена, которая была бы вам ровней по духу. Голова у вас забита всякими бреднями насчет товарищества между женщиной и женщиной. Чепуха, мой мальчик! Мужчине вовсе не хочется разговаривать с женой о политике, и какое мне дело

до взглядов Бетти на дифференциальное исчисление? Мужчине нужна жена, которая умеет вкусно готовить обед и воспитывать детей. Я знаю это по опыту. Давайте перейдем к сладкому.

Он хлопнул в ладоши, и вошла Салли. Когда она убирала тарелки, Филип хотел подняться и помочь, но Ательни его остановил.

— Предоставьте это ей, мой мальчик. Салли, ты ведь не хочешь, чтобы он путался у тебя под ногами? Она вовсе не сочтет вас грубияном, если вы будете спокойно сидеть на месте, пока она подает к столу. К черту рыцарство! Верно, Салли?

— Да, отец, — потупившись, ответила она.

— А ты понимаешь, о чем я говорю?

— Нет. Но ты же знаешь — мать не любит, когда ты чертыхаешься.

Ательни громко расхохотался. Салли принесла тарелки с рисовым пудингом — пряным, жирным и сочным. Ательни с аппетитом принялся его уплетать.

— Один из законов этого дома гласит, что воскресный обед у нас всегда один и тот же. Это наш ритуал. Ростбиф и рисовый пудинг — пятьдесят воскресений в году. В пасхальное воскресенье — телятина с зеленым горошком, на михайлов день — жареный гусь с яблочным соусом. Так мы поддерживаем народные традиции. Когда Салли выйдет замуж, она позабудет много премудростей, которым я ее учил, но всегда будет помнить, что, если человек хочет быть добрым и веселым, ему надо есть по воскресеньям ростбиф и рисовый пудинг.

— Крикни, когда пора будет подавать сыр, — бесстрастно сказала Салли.

— Знаете легенду о зимородке? — спросил Ательни; Филип уже привык к тому, что он перескакивает с одного предмета на другой. — Когда зимородок летит над морем и выбивается из сил, самка подлетает к нему снизу, подхватывает и несет его на своих крепких крыльях. Вот чего ждет от жены и мужчина. Я прожил с первой женой три года. Она была настоящая леди, имела тысячу пятьсот фунтов в год, и мы давали званые обеды в нашем красном кирпичном домике в Кенсингтоне. Она была очаровательной женщиной; все так утверждали — адвокаты и их жены, которых мы угощали обедами, баловавшиеся литературой биржевые маклеры и подававшие надежды юные политики; ох, какая это была очаровательная женщина! Она заставляла меня ходить в церковь во фраке и в цилиндре, водила на концер-

ты классической музыки, особенно же она любила воскресные лекции. Каждое утро она садилась завтракать ровно в восемь тридцать, а если я опаздывал, мне подавали завтрак холодным; она читала те книги, которые полагается читать, восхищалась теми картинами, которыми полагается восхищаться, обожала ту музыку, которую полагается обожать. Боже мой, как надоела мне эта женщина! Она и сейчас все такая же очаровательная и по-прежнему живет в красном кирпичном домике в Кенсингтоне, где стены оклеены модными обоями, увешаны модными гравюрами, а за обедом собирается все та же премилая маленькая компания и к столу подают телятину под бешемелью и мороженое из ресторана — совсем как двадцать лет назад.

Филип не стал спрашивать, как расстроился этот неудачный брак, но Ательни и не подумал ничего скрывать.

— Знаете, мы ведь с Бетти не женаты: моя жена отказалась дать мне развод. Дети мои незаконнорожденные — все до единого, но разве им от этого хуже? Бетти была одной из горничных в красном кирпичном домике в Кенсингтоне. Лет пять назад я остался без гроша в кармане, а у меня уже было семеро детей; я пошел к моей супруге и попросил мне помочь. Она сказала, что назначит мне пособие, если я брошу Бетти и уеду за границу. Можете себе представить — чтобы я бросил Бетти! Нет уж, мы предпочли некоторое время поголодать. Супруга моя утверждает, что меня влечет к подонкам. Пусть я опустил, упал в глазах света, зарабатываю три фунта в неделю в качестве рекламного агента мануфактурной фирмы, но я денно и нощно благодарю бога за то, что не живу в красном кирпичном домике в Кенсингтоне.

Салли принесла чеддерский сыр, и Ательни продолжал свою речь:

— Величайшее заблуждение на свете — считать, что без денег нельзя вырастить детей. Деньги нужны, чтобы сделать из них леди и джентльменов, но я не желаю, чтобы мои дети были леди и джентльмены. Через год Салли будет зарабатывать себе на жизнь. Она поступит в учение к портнихе, правда, Салли? А мальчики послужат своей родине. Хочу, чтобы все они пошли во флот: жизнь там веселая и здоровая, пища хорошая, жалованье тоже, а к концу своих дней они будут обеспечены пенсией.

Филип закурил трубку. Ательни скручивал себе сигареты из гаванского табака. Салли убрала со стола. Филип был человек скрытный, и такая словоохотливость его смущала. Удивительное создание этот Ательни со своим чужеземным

видом и мощным голосом в крохотном теле, со своей кичливостью и высокопарной речью! Во многом он напоминал Филипу Кроншоу. У него та же независимость мысли, та же любовь к веселой, беспорядочной жизни; но у Ательни куда более жизнерадостный характер и куда менее утонченный ум, чем у Кроншоу: он не питал той склонности к отвлеченным материям, которая делала беседу с поэтом такой увлекательной. Ательни очень гордился своим древним родом. Он показал Филипу несколько фотографий усадьбы Елизаветинской эпохи и заявил:

— Род Ательни жил здесь в течение семи столетий. Ах, если бы вы видели, какие там каминные и потолки!

В стенной панели был потайной шкафчик; он достал оттуда свиток со своей родословной и показал его Филипу с ребяческим удовольствием. Родословная и в самом деле была внушительная.

— Видите, как повторяются наши семейные имена — Торп, Ательстан, Гарольд, Эдвард; я дал их своим мальчикам. А девочкам, как видите, я дал имена испанские.

В душе Филипа шевельнулось неприятное подозрение, что вся эта история была только выдумкой, рассказанной, правда, без всякой низменной цели, просто из желания произвести впечатление, удивить, поразить. Ательни сообщил ему, что учился в знаменитой школе в Винчестере, но Филипу, тонко различавшему оттенки людского поведения, не верилось, что тот воспитывался в одном из лучших закрытых учебных заведений. Когда Ательни объяснял ему, какие родовитые браки заключали его предки, Филип подумал, не был ли он сыном какого-нибудь торговца в Винчестере, комиссионера или владельца угольного склада и просто однофамильцем тех именитых дворян, чье родословное дерево он показывал с такой гордостью.

ГЛАВА 88

В дверь постучали, вошел весь выводок детей. Теперь они были умыты и опрятно одеты; лица сияли чистотой, и волосы были приглажены; под предводительством Салли они отправлялись в воскресную школу. Ательни принялся с ними шутить, как всегда по-актерски, с преувеличенным жаром, но не мог скрыть, что души в них не чает. Он трогательно гордился их красотой и здоровьем. Филип заметил, что они несколько робуют в его присутствии; когда отец их выпроводил, они убежали с явным облегчением.

Через несколько минут появилась миссис Ательни. Она сняла свои папильотки, и волосы у нее были замысловато причесаны. На ней были простое черное платье и шляпа с искусственными цветами, и она с трудом натягивала черные лайковые перчатки на свои красные натруженные руки.

— Я ухожу в церковь,— объявила она.— Вам ведь больше ничего не нужно?

— Что ж, помолись за меня,— сказал Ательни.

— Мои молитвы тебе уже не помогут: слишком поздно,— улыбнулась она. Потом, повернувшись к Филипу, произнесла нараспев: — Никак не могу заставить его ходить в церковь. Чем он лучше какого-нибудь атеиста?

— Ну, разве она не похожа на вторую жену Рубенса? — воскликнул Ательни.— Как бы она великолепно выглядела в костюме семнадцатого века! Вы только на нее поглядите!

— Ты кому угодно заморочишь голову, Ательни,— спокойно отозвалась его жена.

Ей наконец удалось застегнуть перчатки; уходя, она сказала Филипу с доброй, немного смущенной улыбкой:

— Вы останетесь пить чай? Ательни так бывает рад, когда у него есть с кем поговорить, а ему ведь не часто удается залучить образованного человека.

— Конечно, он останется пить чай,— сказал Ательни. Когда жена ушла, он добавил: — Я за то, чтобы дети посещали воскресную школу, и рад, что Бетти ходит в церковь. По-моему, женщина должна быть набожной. Сам я неверующий, но мне нравится, когда женщины и дети верят в бога.

Пуританина Филипа слегка покорило такое легкомыслие.

— Но разве можно позволять, чтобы ваших детей учили тому, во что вы сами не верите? — спросил он.

— Лишь бы их учили тому, что прекрасно,— мне все равно, правда это или нет. Нельзя же требовать, чтобы одно и то же удовлетворяло и ваш рассудок и ваше эстетическое чувство. Я хотел, чтобы Бетти стала католичкой — мне было бы приятно видеть, как ее крестят в венце из бумажных роз,— но она закоренелая протестантка. Помимо всего прочего религия — вопрос темперамента: если у вас религиозный склад ума, вы поверите во что угодно, а если нет, то, какую бы веру вам ни внушали, вы от нее все равно отречетесь. Думаю, что религия — лучший воспитатель нравственности. Она похожа на одно из тех лекарств, применяемых у вас в медицине, в раствор которого вводят другое вещество; сам по себе раствор не оказывает целебного действия, но он помогает организму усвоить основное

снадобье. Вы усваиваете нравственные понятия потому, что они связаны с религией, и, когда вы теряете веру, нравственные понятия остаются. Человеку легче стать порядочным, впитав в себя порядочность через веру в бога, чем изучив Герберта Спенсера.

Эта теория противоречила всем убеждениям Филипа. Он по-прежнему считал христианскую религию позорным рабством, бремя которого надо сбросить во что бы то ни стало; подсознательно он ассоциировал ее с тоскливыми службами в Теркенберийском соборе и долгими, томительными часами в холодной церкви Блэкстебла. Мораль, о которой говорил Ательни, была для него всего лишь пережитком религиозных убеждений, за который цепляется робкий ум, сумевший все же проститься с верой, хотя она одна только и придавала морали какой-то смысл. Но пока Филип обдумывал, что ему ответить, Ательни, предпочитавший не спорить, а слушать самого себя, пустился разглагольствовать о католицизме. Он считал, что католицизм — неотъемлемая часть Испании, а Испания ему дорога: туда он бежал от условностей, которые так угнетали его в годы брачной жизни. Бурно жестикулируя и со всегдашним своим пафосом, придававшим всему, о чем он говорит, такую выразительность, Ательни описывал Филипу испанские соборы, настолько громадные, что дальние углы их теряются во мгле, массивное золото алтарей, великолепные кованые решетки со стертой позолотой, воздух, пропитанный ладаном, тишину. Филип видел чуть ли не воочию каноников в коротких батистовых стихарях, облаченных в красное служек, шествующих из ризницы на хоры; в ушах его звучало монотонное церковное пение. Имена, которые называл Ательни, — Авила, Таррагона, Сарагоса, Сеговия, Кордова — трубным гласом отзывались в его душе. Перед его глазами вставали серые гранитные громады, высившиеся посреди старинных испанских городов на фоне бурого, дикого, овеянного ветрами пейзажа.

— Мне всю жизнь хотелось поехать в Севилью, — заметил он, когда Ательни на секунду замолчал, красноречиво воздев руку.

— В Севилью? — вскричал Ательни. — Нет, нет, только не туда! Севилья вызывает у меня в памяти девушек, пляшущих с кастаньетами, пение в садах на берегу Гвадалквивира, бой быков, апельсиновые деревья в цвету, мантильи — *mantones de Manila*¹. Это опереточная Испания, та

¹ Мантильи из манильских кружев (*исп.*).

Испания, которую вам показывают в кабачках Монмартра. Доступная прелесть Севильи может надолго увлечь лишь поверхностный ум. Теофиль Готье взял от Севильи все, что она может дать. Мы теперь способны лишь воспроизводить его ощущения. Он прикоснулся своими большими жирными руками к тому, что сразу бросается в глаза — а в Севилье и нет ничего другого; теперь там все захватано и затаскано. Мурильо — вот ее художник!

Ательни вскочил с кресла, подошел к испанскому шкафчику и отпер затейливый замок; передняя стенка откинулась на больших позолоченных петлях, открыв ряды небольших ящичков. Он вынул пачку фотографий.

— Вы знаете Эль Греко? — спросил он.

— Помню, им страшно увлекался один мой знакомый в Париже.

— Эль Греко был художником Толедо. Бетти не нашла фотографии, которую я хотел вам показать. Это любимый город Эль Греко, написанный им самим, — картина, которая правдивее любого снимка. Пойдем сядем к столу.

Филип подвинул кресло, и Ательни положил перед ним фотографию. Филип молча с любопытством ее разглядывал. Потом он протянул руку за другими снимками, и Ательни стал их ему передавать один за другим. Никогда еще он не видел работ этого загадочного мастера. С первого взгляда его неприятно поразила условность рисунка: фигуры были чрезмерно удлинены, головы слишком малы, позы неправдоподобны. Это не было реализмом, и все-таки, несмотря ни на что, даже фотографии передавали волнующее ощущение правды. Ательни с жаром что-то объяснял, но Филип едва слушал. Он был ошеломлен. Его странно встревожили эти снимки. Ему казалось, что в картинах Эль Греко скрыт какой-то особый смысл, но он не знал, какой именно. Тут были портреты мужчин с большими глазами, выражавшими неведомую муку, — высокие монахи в рясах францисканцев или доминиканцев с безумными лицами и непонятными жестами; были тут «Успение боготатери» и «Распятие», где художник каким-то чудом создавал впечатление, что плоть мертвого Христа — не просто человеческая, но божественная плоть; было тут, наконец, «Вознесение» — чудилось, что спаситель несется ввысь, в эмпиреи, и все-таки стоит в воздухе так же твердо, как на земле, а воздетые руки апостолов, их развевающиеся одежды, их восторженные жесты передавали чувство ликования и священной радости. Фоном почти всех картин служило ночное небо, глухая ночь человеческой души,

мрачные тучи носились по воле таинственных адских ветров в мертвенно-бледном сиянии луны.

— Я много раз видел в Толедо такое небо,— сказал Ательни.— Когда Эль Греко впервые прибыл в Толедо, стояла, наверно, вот такая ночь, и от этого поразившего его впечатления он всю жизнь уже не мог избавиться.

Филип вспомнил, как захватил Клаттона этот странный мастер, чьи работы он сейчас увидел впервые. Он подумал, что Клаттон был самым интересным человеком, которого он встретил в Париже. Его язвительность, неприязненный холодок, с которым он относился к людям, мешали ему с ними сойтись, но теперь, оглядываясь назад, Филип был уверен, что в нем жила какая-то трагическая мощь, которая тщетно пыталась проявить себя в живописи. Он был личностью необыкновенной, своеобразным мистиком в эпоху, не признававшую никакой мистики, человеком, вечно недовольным жизнью, ибо ему не удавалось выразить смутные порывы своей души. Ум его был не соразмерен его духу. Неудивительно, что он чувствовал такое сильное влечение к Эль Греко, создавшему новую технику, чтобы выразить свое душевное томление. Филип снова проглядел портреты испанских дворян в брыжах, с остроконечными бородками: бледность их лиц резко подчеркивали строгий черный костюм и темный фон. Эль Греко был художником человеческой души; эти дворяне, изнуренные и высохшие не от лишений, а от умерщвления плоти и мучительства духа, которому они себя подвергали, не ведали красот мира сего — их глаза были обращены в глубь собственного сердца и ослеплены сиянием непостижимого. Ни один художник не показал с большей беспощадностью, что наш мир — только временное пристанище. Глаза людей, которых он рисовал, отражали невыразимую тоску души; чувства этих людей до крайности обострены — но не для того, чтобы воспринимать звук, запах или цвет, а для того, чтобы улавливать тончайшие движения собственной души. Какой-нибудь испанский гранд, в груди которого бьется сердце монаха, бродит по свету, видит то незримое, что видят святые в своих кельях, и ничуть этому не удивляется. Губы его не созданы для улыбки.

Все так же молча Филип взял в руки вид Толедо — он был самой потрясающей картиной из всех. Ему трудно было оторвать глаза от этого снимка. У него появилось странное ощущение: ему показалось, что он стоит на пороге чего-то нового в жизни. Все в нем дрожало от предчувствия каких-то удивительных событий. На мгновение он вспомнил о люб-

ви, которая его опалила, — какой она была пошлой и будничной рядом с волнением, охватившим теперь его сердце. На картине, которую он разглядывал, высоко на холме громоздились дома, в одном углу картины мальчик держал большую карту города, в другом была изображена аллегорическая фигура — река Тахо; в небе парила богородица, окруженная сонмом ангелов. Пейзаж противоречил всем представлениям Филипа — ведь вкус его созрел в кругу людей, поклонявшихся реализму; и все-таки, как ни странно, он здесь почувствовал куда большую правду жизни, чем та, которой достигали мастера, чьему примеру он когда-то покорно следовал. По словам Ательни, изображение города было настолько точным, что, когда жители Толедо приходили смотреть картину, они узнавали свои дома. Художник написал то, что видел, но видел он глазами своего духа. Было что-то неземное в этом бледно-сером городе. Это был горный град, озаренный тусклым сиянием, которое не было ни светом дня, ни светом ночи. Он стоял на зеленом холме, но зелень эта была не от мира сего, и окружали его тяжелые стены и бастионы, неприступные для машин и орудий, изобретенных человеком; их можно было одолеть лишь молитвой и постом, покаянными вздохами и умерщвлением плоти. То была твердыня господня. Эти серые дома были сложены из камней, неведомых каменщикам; самый их вид устрашал, и вы спрашивали себя, что за люди в них обитают. Можно было бродить по этим улицам и не удивляться, найдя их пустынными, — они не были покинуты: вы чувствовали здесь чье-то невидимое присутствие, ощущали его внутренним чутьем. Это был таинственный город, пугавший воображение, словно вы вступили из света во мрак; нагая душа бродила здесь, познавая непостижимое и сокровенное, в каком-то чудном таинстве причащаясь началу всех начал. И вас не поражало, что в этом голубом небе, реальность которого познавалась не столько глазом, сколько душой, в небе, истерзанном бледными облаками, несомыми нездешним ветром, словно вздохи потерянных душ, парила непорочная дева в красном платье и синей мантии, окруженная крылатыми ангелами. Филип чувствовал, что обитатели этого города ничуть не удивились бы этому видению и глядели бы на него с благочестивой признательностью, продолжая свой путь.

Ательни рассказывал об испанских писателях-мистиках — о Тересе де Авилы, Сан-Хуане де ла Круссе, фрай Луисе де Леоне — в каждом из них жил тот страстный порыв к незримому, который Филип почувствовал в картинах Эль

Греко: казалось, и у них есть дар осязать бестелесное и видеть недоступное глазу. Все они были детьми своего века — озаренными могучими подвигами великого народа; им снились сокровища Америки и зеленые острова Карибского моря; в их жилах струилась сила, накопленная вековыми битвами с маврами; они были горды, ибо стали владыками мира; в своем сердце они хранили широкие просторы, бурые пустыни и снежные вершины Кастилии, солнечное сияние, синее небо и цветущие долины Андалузии. Жизнь была бурной и многоликой; но потому, что она давала так много, они томились по чему-то, чего у них не было, и, как свойственно человеку, испытывали вечную неудовлетворенность, обращали свою жажду жизни в неистовое стремление к неведомому. Ательни не скрывал своего удовольствия: наконец-то он нашел слушателя для переводов, которыми уже давно забавлялся в часы досуга; своим прекрасным, звучным голосом он продекламировал песнь о душе и ее возлюбленном — Христе, прелестную поэму, начинающуюся со слов «En una noche oscura»¹ и «Noche serena»², фрай Луиса де Леона. Он перевел эти стихи с большой простотой, не без умения, нашел слова, которые хоть в какой-то мере давали почувствовать первобытное величие оригинала. Картины Эль Греко объясняли эти стихи, а стихи объясняли картины. У Филипа выработалось брезгливое отношение к идеализму. Он всегда страстно любил жизнь, и опыт подсказывал ему, что идеализм — чаще всего трусливое бегство от жизни. Идеалист уходит в себя, потому что страшится напора человеческой толпы; у него не хватает сил для борьбы, и потому он считает ее занятием для черни; он тщеславен, а так как ближние не соглашаются с его оценкой самого себя, он утешается тем, что платит им презрением. Для Филипа типичным идеалистом был Хейуорд: белокурый, томный, теперь уже тучный и полысевший, он все еще кичился остатками былой красоты и все еще намекал на то, что в один прекрасный день создаст нечто нетленное, а за всем этим скрывались пьянство и грязные похождения с уличными девками. Восставая против всего, что олицетворял собой Хейуорд, Филип утверждал жизнь такой, как она есть, — со всей ее грязью, пороками, убожеством; он заявлял, что хочет видеть человека во всей его наготе; когда он сталкивался с низостью, жестокостью, корыстью, похотью, он только потирал руки: ура, вот она, правда жизни! В Па-

¹ Ночью непроглядной (*исп.*).

² Тихая ночь (*исп.*).

риже он постиг, что нет ни уродства, ни красоты, есть только правда; погоня за красотой — глупая сентиментальность. Разве он не нарисовал когда-то рекламу шоколада «Менье» на пейзаже, чтобы не поддаться произволу красоты?

Но вот теперь он, кажется, разгадал что-то иное. Он приближался к нему исподволь, робко и только сейчас это осознал; он смутно чувствовал, что находится на пороге какого-то открытия. У него появилось ощущение, будто здесь — нечто более совершенное, чем реализм, которому он так поклонялся; однако это не имело ничего общего с мало-кровным идеализмом, отрешавшимся от жизни по слабости; тут были подлинная сила, настоящее мужество; жизнь принималась во всех ее проявлениях, с ее уродством и красотой, убожеством и героизмом; итак, это все-таки был реализм, но реализм, поднявшийся на какую-то новую ступень, где все явления были преобразены более ярким освещением. Филипу казалось, что он глубже постигает сущее, глядя на него печальными глазами мертвых грандов Кастилии, а жестикуляция святых, такая на первый взгляд судорожная и дикая, приобретала тайный смысл.

Филип не мог объяснить, в чем этот смысл. Это было точно послание, которого он жадно ждал, но оно было написано на незнакомом языке, и он не мог его понять. Он всегда искал смысл жизни, и здесь ему как будто раскрывался ее смысл, но он был темен и загадочен. Филип был глубоко взволнован. Он увидел проблеск правды, как в темную бурную ночь можно при свете зарниц увидеть дальнюю гряду гор. Он понял, казалось, что человек не должен обречь свою жизнь на произвол случайности, ибо воля его могуча; он, казалось, увидел, что самоограничение может быть не менее страстным и решительным, чем покорность страстям, а внутренняя жизнь может быть столь же разнообразной, многогранной, содержательной и богатой событиями, как жизнь покорителя чужих стран и исследователя неведомых земель.

ГЛАВА 89

Разговор Филипа с Ательни был прерван топотом на лестнице. Ательни открыл дверь детям, вернувшимся из воскресной школы, — они вбежали со смехом и криками, и он весело их спросил, чему они научились. На минуту появилась Салли — она сказала, что мать поручает отцу поиграть с детьми, пока она готовит чай; Ательни принялся

рассказывать им сказку Андерсена. Дети отнюдь не отличались робостью и быстро решили, что Филип не такой уж страшный. Джейн подошла, встала возле него, а потом забралась к нему на колени. Впервые в своей одинокой жизни Филип очутился в семейном кругу; он глядел на этих красивых детей, поглощенных волшебной сказкой, и глаза его потеплели. Жизнь его нового друга, казавшаяся ему сначала сплошным чудачеством, была полна красоты, которую может дать только полнейшая естественность.

В дверях снова появилась Салли.

— Ну, дети, чай готов,— сказала она.

Джейн соскользнула с колен Филипа, и малыши ушли на кухню. Салли накрыла скатертью длинный испанский стол.

— Мать спрашивает, надо ли ей прийти пить с вами чай?— спросила она.— А я могу напоить детей.

— Передай матери, что она окажет нам большую честь, если украсит наше общество,— ответил Ательни.

Филип подумал, что хозяин его слова не может выговорить в простоте.

— Тогда я поставлю прибор и ей,— послушно сказала Салли.

Через минуту она вернулась, неся на подносе круглый хлеб, кусок масла и банку с земляничным джемом. Пока она расставляла посуду, отец над ней подтрунивал. Он говорил, что ей пора завести знакомство с молодыми людьми, но тут же объяснил Филипу, что Салли гордячка и воротит нос от кавалеров, которые выстраиваются в две шеренги у дверей воскресной школы, добиваясь чести проводить ее до дому.

— Ну и выдумщик же ты, отец,— откликнулась Салли со своей сдержанной, доброй улыбкой.

— Глядя на нее, ни за что не поверишь, что портновский подмастерье ушел в армию потому, что она не удостоила его поклоном, а некий электромонтер — заметьте, электромонтер! — пьет горькую из-за того, что как-то в церкви она не позволила ему заглянуть в ее молитвенник. Меня дрожь берет при мысли о том, что будет, когда она перестанет ходить с косичками.

— Мать сама принесет чай,— сказала Салли.

— Салли никогда не обращает на меня ни малейшего внимания,— рассмеялся Ательни, глядя на дочку нежно, с гордостью.— Она делает свое дело, невзирая на войны, революции и прочие катаклизмы. Вот будет жена для какого-нибудь честного парня!

Миссис Ательни принесла чай. Сев за стол, она нарезала хлеб. Филипу забавно было видеть, что она обращается с мужем как с ребенком: Нарезав ему хлеб небольшими ломтиками, она намазала их маслом и джемом. Теперь она была без шляпы; в немного тесном для нее воскресном платье она выглядела совсем как одна из тех крестьянок, которых Филип иногда посещал в детстве с дядей. Тут он понял, почему ему так знакома ее манера говорить: именно так разговаривали в окрестностях Блэкстебла.

— Откуда вы родом? — спросил он.

— Из Кента. Родилась в Ферне.

— Я так и предполагал. Мой дядя — священник в Блэкстебле.

— Ну и ну, — сказала она. — А я вот как раз подумала в церкви, не родня ли вы мистеру Кэри. Сколько раз его видела! Моя двоюродная сестра замужем за мистером Баркером с фермы Роксли, неподалеку от блэкстеблской церкви, — я часто гостила у них, когда была девушкой. Вот смешно, ей-богу!

Она смотрела теперь на Филипа с живым любопытством, ее выцветшие глаза блестели. Она спросила его, бывал ли он в Ферне. Это была живописная деревня в каких-нибудь десяти милях от Блэкстебла; фернский священник иногда приезжал в Блэкстебл на благодарственный молебен по случаю урожая. Миссис Ательни стала называть окрестных фермеров. Ей было так приятно поговорить о местах, где протекла ее молодость, припомнить случаи из своей жизни, старых знакомых, которых она и сейчас себе живо представляла, обладая памятью людей ее круга. Странное волнение испытывал и Филип. В эту комнату, отделанную панелью, в самый центр Лондона, словно ворвалось дыхание полей. Перед ним встали тучные нивы Кента, обсаженные стройными вязами; его ноздри снова вдыхали знакомый воздух, пропитанный солью Северного моря и потому такой свежий и живительный.

Филип ушел только в десять часов вечера. В восемь пришли пожелать спокойной ночи дети и без церемоний потянулись к Филипу, чтобы он поцеловал их на прощание. У него стало тепло на сердце. Одна только Салли протянула ему руку.

— Салли никогда не целуется с мужчинами при первой встрече, — пошутил Ательни.

— Тогда пригласите меня еще, — сказал Филип.

— Не обращайтесь внимания на то, что говорит папа, — отозвалась Салли с улыбкой.

— Эту молодую женщину нелегко сбить с толку,— заметил ее отец.

Пока миссис Ательни укладывала детей, мужчины поужинали хлебом с сыром и пивом; когда Филип пошел на кухню попрощаться с миссис Ательни, хозяйка дома отдыхала, читая «Уикли диспетч»; она радушно пригласила его заходить.

— Пока у Ательни есть работа, у нас всегда хороший обед по воскресеньям,— сказала она,— а для него это будет сущим благодеянием, если вы зайдете поболтать с ним.

В следующую субботу Филип получил от Ательни открытку — тот приглашал его назавтра к обеду; но, опасаясь, что из-за недостатка средств его новые друзья не слишком обрадуются новому нахлебнику, Филип написал в ответ, что может прийти только к чаю. Чтобы не быть хозяевам в тягость, он купил большой сливовый пирог. Все семейство обрадовалось его приходу, а пирог окончательно покорила детвору. Филип настоял на том, чтобы чаепитие происходило со всеми вместе на кухне, и за столом было шумно и весело. Вскоре у Филипа вошло в привычку каждое воскресенье посещать семейство Ательни. Простота и естественность сделали его всеобщим любимцем, к тому же дети чувствовали, что и он к ним привязался. Как только у входной двери раздавался звонок, кто-нибудь из ребят высовывал из окна голову, проверяя, он ли это, а затем вся ватага с шумом неслась вниз по лестнице. Они всем скопом бросались ему на шею. Когда садились пить чай, разгоралась борьба за право сидеть с ним рядом. Скоро они уже звали его дядей Филипом.

Ательни был очень словоохотлив, и Филип понемногу узнал все злоключения его жизни. Он переменял множество профессий, и, как понял Филип, дело у него всегда кончалось крахом. Он служил на чайной плантации на Цейлоне и агентом по продаже итальянских вин в Америке; дольше всего он проработал секретарем в компании водоснабжения Тоledo; был и журналистом: сперва — судебным репортером вечерней газеты, потом — помощником редактора в провинции и, наконец, заведующим отделом одной из газет на Ривьере. О каждой своей работе он мог рассказать кучу забавных историй, что с удовольствием и делал, гордясь умением быть душой общества. Он много читал, но излюбленным его чтением были книги редкие; он засыпал собеседника самыми неожиданными сведениями по различным вопросам, как ребенок радуясь его удивлению. Три-четыре года назад крайняя нищета заставила его по-

ступить рекламным агентом в большую мануфактурную фирму; и, хотя он считал, что нынешняя работа не соответствует его способностям — а он их ставил очень высоко, — непреклонность жены и нужды многочисленного семейства заставляли его держаться за эту службу.

ГЛАВА 90

Покидая своих новых друзей, Филип всегда прогуливался по Чансери-лейн и Стренду до остановки омнибуса в конце Парламент-стрит. В одно из воскресений, месяца через полтора после первого знакомства с семейством Ательни, он отправился домой обычной дорогой, однако кеннингтонский омнибус оказался переполненным. Стоял июнь, но весь день шел дождь, и вечер был сырой и холодный. Филип решил пройти назад, до остановки на площади Пикадилли; омнибус останавливался там возле фонтана, и в нем редко сидело больше двух-трех человек. Ходил он по этой линии с перерывом в пятнадцать минут, и Филипу пришлось подождать. Он принялся рассеянно разглядывать толпу. Приближался час закрытия кабачков, и на улицах былолюдно. В голове у Филипа все еще вертелись мысли, на которые с таким завидным мастерством умел натолкнуть собеседника Ательни.

Вдруг у него замерло сердце. Он увидел Милдред. Он о ней не думал уже несколько недель. Переходя площадь со стороны Шефтсбери-авеню, она остановилась, чтобы переждать вереницу экипажей. Она так внимательно глядела на дорогу, что не замечала ничего вокруг. На ней были большая черная соломенная шляпа с пышными страусовыми перьями и черное шелковое платье — по моде того времени оно было со шлейфом; когда путь освободился, Милдред пересекла площадь и, волоча за собой шлейф, пошла вниз по Пикадилли. С бьющимся сердцем Филип последовал за ней. Он не собирался с ней заговаривать, но его удивило, что она куда-то направляется в такой поздний час, и ему хотелось увидеть ее лицо. Она шла медленным шагом, свернула на Эр-стрит и вышла на Риджент-стрит. Оттуда она пошла обратно к площади Пикадилли. Филип был озадачен: он не понимал, что она делает. Может быть, ждет кого-нибудь? Он сгорал от любопытства узнать, кого именно. Милдред обогнала низенького мужчину в котелке, который неторопливо шагал в одном с ней направлении; проходя мимо, она искоса на него поглядела. Затем она дошла до

магазина «Суон и Эдгар» и остановилась лицом к мостовой. Когда мужчина в котелке с ней поравнялся, она улыбнулась. Тот смерил ее долгим взглядом, отвернулся и пошел дальше. Тогда Филип понял все. Его охватил ужас. На миг он почувствовал такую слабость, что едва удержался на ногах; потом догнал ее и дотронулся до ее локтя.

— Милдред...

Она вздрогнула и круто повернулась. Ему показалось, что она покраснела, но в темноте трудно было разобрать. Мгновение они стояли и молча смотрели друг на друга. Наконец она сказала:

— Ах, это ты!

Он не нашелся что ответить; ему нелегко было прийти в себя от потрясения, слова, которые вертелись на языке, казались чересчур ходульными.

— Какой ужас! — с трудом выговорил он.

Она молча уставилась себе под ноги. Он чувствовал, что лицо его искажено от горя.

— Где бы нам поговорить? — спросил он.

— А я вовсе не желаю с тобой разговаривать, — угрюмо ответила она. — Оставь меня в покое, слышишь?

Ему пришло в голову, что ей позарез нужны деньги и она не может позволить себе отсюда уйти.

— Если тебе нужны деньги, — выпалил он, — у меня найдется при себе фунта два.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Я просто прогуливалась по дороге домой. Мы должны были встретиться с одной девушкой, с которой я работаю.

— Ради бога, не лги, — сказал он.

Тут он увидел, что она плачет, и опять спросил:

— Где бы нам поговорить? Можно зайти к тебе?

— Нет, нельзя, — всхлинула она. — Мне не разрешают приходить с мужчинами. Если хочешь, встретимся завтра.

Он был уверен, что она его обманет. Нет, он ее не отпустит.

— Мы должны пойти куда-нибудь сейчас же.

— Я знаю одну комнату, но там берут шесть шиллингов.

— Все равно. Где она?

Милдред сказала адрес, он подозвал извозчика. Они доехали до неказистой улицы за Британским музеем, и она остановила экипаж на углу.

— Там не любят, когда подъезжают к самой двери, — пояснила она.

Это были первые слова, которые были произнесены с тех пор, как они сели на извозчика. Они сделали несколько шагов. Милдред подошла к двери и громко постучала три раза. Филип заметил над дверью объявление о том, что здесь сдаются квартиры. Дверь бесшумно открылась, их выпустила высокая пожилая женщина. Она пристально взглядела на Филипа и вполголоса заговорила с Милдред. Милдред провела Филипа по коридору в одну из комнат, выходящих во двор. Было совершенно темно; она попросила у него спичку и зажгла газ; колпака на рожке не было, газ с шипением вспыхнул. Филип увидел, что они находятся в убогой спальне; выкрашенная под сосну мебель была для нее чересчур громоздка, кружевные занавески посерели от грязи, очаг был прикрыт большим бумажным веером. Милдред опустила на стул у камина. Филип сел на кровать. Ему было стыдно. Теперь он разглядел, что щеки у Милдред ярко накрашены, а брови насурмлены; она исхудала и выглядела совсем больной, а румяна лишь подчеркивали землистую бледность лица. Она вяло устала на бумажный веер. Филип не знал, что сказать; к горлу у него подступил комок, он чувствовал, что вот-вот заплачет. Он закрыл лицо руками.

— Боже, какой ужас,— простонал он.

— Тебе-то что. Наверно, ты даже доволен.

Филип не ответил, и она всхлинула.

— Ты думаешь, я занимаюсь этим для своего удовольствия?

— Что ты! — воскликнул он. — Мне так тебя жаль, у меня просто нет слов...

— Очень мне это поможет.

Филип снова замолчал, не зная, что сказать. Он больше всего боялся, что она примет его слова за упрек или издевку.

— Где ребенок? — спросил он наконец.

— Со мной, в Лондоне. У меня не было денег, чтобы держать девочку в Брайтоне, пришлось взять ее к себе. У меня есть комната возле Хайбери. Хозяйке я сказала, что служу в театре. Далеко каждый день добираться до Вест-энда, но не так-то просто найти хозяев, которые сдадут комнату одинокой женщине.

— Тебя не взяли обратно в кафе?

— Я нигде не могла найти работу. Ходила, искала, чуть не падала с ног. Как-то раз мне повезло, но потом я заболела, а когда через неделю пришла, мне сказали, что я им теперь без надобности. Да и разве можно их винить? В таких местах девушки должны быть крепкие.

— Ты и сейчас неважно выглядишь,— сказал Филип.

— Мне нездоровится, я не должна была сегодня выходить, но что поделаешь, нужны деньги. Я написала Эмилю, что осталась без гроша, а он мне даже не ответил.

— Могла бы написать мне.

— После того, что случилось? Я не хотела, чтобы ты даже знал, в каком я положении. Нисколько бы не удивилась, если бы ты сказал, что так мне и надо.

— Ты все еще меня не знаешь как следует — даже теперь.

Он тут же вспомнил, сколько из-за нее пережил, и ему стало дурно от одной мысли об этом. Но это были только воспоминания. Глядя на нее, он понял, что больше ее не любит. Как ни жалел он ее, но, слава богу, теперь он был от нее свободен. Печально ее рассматривая, Филип спрашивал себя, почему его прежде так дурманила эта страсть.

— Ты — настоящий джентльмен в полном смысле слова,— сказала она.— Другого такого я не встречала.— Она помедлила и покраснела.— Мне очень неприятно тебя просить, но не дашь ли ты мне хоть немножко денег?

— К счастью, какие-то деньги у меня с собой есть. Жаль, что мало — всего два фунта.

Он отдал ей деньги.

— Я тебе их верну, Филип,— сказала она.

— Пустяки,— улыбнулся он.— Не беспокойся.

Он не сказал ей того, что мог бы сказать. Они разговаривали так, словно их встреча была совершенно естественной; ей оставалось только вернуться назад, в ту ужасную жизнь, которую она вела, а он был бессилен этому помешать. Она поднялась, чтобы взять деньги, и он встал тоже.

— Я тебя задерживаю? — спросила она.— Наверно, ты торопишься домой.

— Нет, я не спешу,— ответил он.

— Я рада, что могу хоть немножко посидеть.

Эти слова и то, что под ними подразумевалось, ударили его в самое сердце; нестерпимо было видеть, с какой усталостью откинулась она на стуле. Молчание тянулось так долго, что Филип от смущения закурил.

— Спасибо тебе, что ты ничем меня не попрекнул. Мало ли что ты мог бы мне сказать.

Он увидел, что она снова плачет. Филип вспомнил, как она пришла к нему в слезах, когда ее бросил Эмиль Миллер. Воспоминания о том, что ей пришлось пережить, и о своем собственном унижении, казалось, усугубляли жалость, которую он к ней испытывал.

— Если бы я только смогла из этого выкарабкаться! — простонала она. — Мне все это так противно. Не гожусь я для этой жизни, я совсем не такая. Чего бы я только не дала, чтобы выбраться, — даже в прислуги пойду, если меня возьмут. Лучше бы мне умереть!

От жалости к самой себе она громко расплакалась. Ее худое тело дергалось от истерических рыданий.

— Разве ты поймешь, что это за жизнь? Никто этого не поймет, пока сам не испытал.

Филип не мог смотреть, как она плачет.

Ужас ее положения был для него просто пыткой.

— Бедняжка, — шептал он. — Бедняжка.

Он был взволнован до глубины души. Внезапно ему пришла в голову мысль. Она привела его самого в восторг.

— Послушай, — начал он, — если тебе хочется бросить эту жизнь, я вот что придумал. Мне сейчас живется очень туго, и я должен экономить на всем; но у меня что-то вроде маленькой квартирки в Кеннингтоне, и там есть лишняя комната. Если хочешь, можешь переселиться туда с ребенком и жить у меня. Я плачу женщине три шиллинга шесть пенсов в неделю за уборку и кое-какую стирку. Ты могла бы взять это на себя, а твое питание обойдется немногим дороже тех денег, которые я ей плачу. Прокормиться вдвоем или одному — стоит почти одинаково, а ребенок меня не обест.

Она перестала плакать и смотрела на него во все глаза.

— Неужели ты примешь меня обратно после всего, что было?

Филип, слегка покраснев, вынужден был ей объяснить:

— Я не хочу, чтобы ты поняла меня превратно. Я просто даю тебе комнату, которая мне ничего не стоит, и буду тебя кормить. Я ничего от тебя не жду взамен, кроме того, что делает женщина, которая меня обслуживает. Помимо этого, мне от тебя ничего не надо. Думаю, что со стиркой ты как-нибудь справишься.

Она вскочила и хотела к нему броситься.

— Какой ты добрый, Филип!

— Нет, пожалуйста, не подходи ко мне, — поспешно сказал он, вытянув руку, словно для того, чтобы ее отстранить.

Он не очень хорошо понимал почему, но даже от мысли о том, что она может к нему прикоснуться, его коробило.

— Я могу быть для тебя только другом, — добавил он.

— Ты такой добрый, — повторяла она. — Такой добрый...

— Значит, ты переедешь?

— Ну конечно, я на все готова, лишь бы из этого выкарабкаться. Ты не пожалей о том, что сделал, Филип, никогда. И я могу сейчас же переехать?

— Лучше завтра.

Неожиданно она снова разразилась слезами.

— Чего же ты опять плачешь? — улыбнулся он.

— Я так тебе благодарна. Как я сумею тебе отплатить?

— Ерунда. А сейчас поезжай-ка домой.

Он записал свой адрес и сказал, что, если она приедет в половине шестого, он ее встретит. Час был поздний, и ему пришлось идти домой пешком, но дорога не показалась ему далекой: он был на седьмом небе от счастья — ноги несли его сами.

ГЛАВА 91

На следующий день он встал пораньше, чтобы приготовить комнату для Милдред. Женщине, приходившей убирать квартиру, он сказал, что ее услуги ему больше не понадобятся. Милдред приехала около шести часов вечера, и Филип, карауливший ее у окна, спустился вниз, чтобы отворить дверь и помочь внести вещи; весь ее багаж состоял из трех узелков, завернутых в оберточную бумагу, — ей пришлось продать все, кроме самого необходимого. На ней было то же черное шелковое платье, что и накануне; щеки ее, правда, не были нарумянены, но вокруг глаз все еще лежала тушь: видно, утром она умылась на скорую руку; эти темные круги придавали ей совсем больной вид. Выйдя из кареты с ребенком на руках, Милдред выглядела необычайно жалкой. Лицо у нее было немного смущенное, и оба не нашли друг для друга ничего, кроме самых банальных фраз.

— Значит, ты благополучно добралась?

— Я никогда еще не жила в этой части Лондона.

Филип показал ей комнату, ту самую, в которой умер Кроншоу. Хотя Филип и сознавал, что это глупо, ему не хотелось там спать; после смерти Кроншоу он так и остался в тесной каморке, куда он переселился, чтобы устроить друга поудобнее, и спал на складной кровати.

Ребенок невозмутимо посапывал во сне.

— Тебе ее, верно, не узнать, — сказала Милдред.

— Я не видел девочку с тех пор, как мы отвезли ее в Брайтон.

— Куда мне ее положить? Она такая тяжелая, прямо руки отнимаются!

— К сожалению, у меня нет для нее колыбели,— сказал Филип с нервным смешком.

— Ну, спать она будет со мной. Она всегда спит со мной.

Милдред положила девочку на кресло и оглядела комнату. Она узнала большинство вещей, которые были у него на старой квартире. Новым был только рисунок Лоусона, сделанный им прошлым летом,— голова Филипа; он висел над камином. Милдред поглядела на него критически.

— Чем-то он мне нравится, а чем-то — нет. Мне кажется, что ты красивее, чем на портрете.

— Мои дела идут в гору,— рассмеялся Филип.— Ты никогда раньше не говорила, что я красивый.

— Я не из тех, кому важно, какая у мужчины внешность. Красавцы мне никогда не нравились. Очень уж они много о себе воображают.

Глаза ее инстинктивно поискали зеркала, но в комнате его не было; она подняла руку и пригладила челку.

— А что скажут соседи, когда узнают, что я здесь живу? — спросила она вдруг.

— Кроме меня, в доме живут одни хозяева. Хозяина целыми днями нет, а с хозяйкой я встречаюсь только по субботам, когда плачу за квартиру. Их никогда не видно. С тех пор как я здесь поселился, мы и двух слов не сказали друг другу.

Милдред пошла в спальню, чтобы распаковать свои вещи. Филип попытался читать, но ему мешало радостное возбуждение; он откинулся на стуле, дымя папиросой, и с улыбкой в глазах смотрел на спящего ребенка. Он был счастлив. Филип был совершенно уверен, что больше не любит Милдред. Его даже удивляло, что бывшее чувство улетучилось безвозвратно: теперь он испытывал к Милдред даже легкое физическое отвращение; он знал, что, если дотронется до нее, у него побегут мурашки по коже. Это было ему непонятно. Раздался стук в дверь, и Милдред снова вошла в комнату.

— Послушай, зачем ты стучишь? — спросил он.— Ты уже осмотрела наши хоромы?

— Я еще никогда не видела такой маленькой кухни.

— Не бойся, она достаточно велика, чтобы готовить наши роскошные яства,— весело ответил он.

— В доме ничего нет. Пожалуй, надо пойти и купить чего-нибудь.

— Хорошо, но разреши тебе напомнить, что мы должны изо всех сил экономить.

— Что взять на ужин?

— Что сумеешь приготовить,— рассмеялся Филип.

Он дал ей денег, и она ушла. Через полчаса она вернулась и положила покупки на стол. Поднявшись по лестнице, она совсем запыхалась.

— Послушай-ка, у тебя малокровие,— сказал Филип.— Придется тебе попринимать пилюли Бло.

— Я не сразу нашла лавку. Купила печенку. Правда, вкусно? А много ее не съешь, так что она выгоднее мяса.

На кухне была газовая плита. Милдред поставила печенку жариться и вернулась в гостиную, чтобы накрыть на стол.

— Отчего ты ставишь только один прибор? — спросил Филип.— Разве тебе не хочется есть?

Милдред вспыхнула.

— Я думала, что ты не захочешь есть со мной вместе...

— С чего ты это взяла?

— Я же только прислуга, правда?

— Не будь дурой. Что за глупости!

Он улыбнулся, но ее смирение как-то странно его кольнуло. Бедняжка! Филип вспомнил, какой она была, когда они познакомились. Он помолчал в нерешительности.

— Ты, пожалуйста, не думай, что я оказываю тебе милость,— сказал он.— У нас с тобой деловое соглашение: я предоставляю тебе жилье и стол в обмен на твой труд. Ты мне ничем не обязана. И для тебя в этом нет ничего зазорного.

Она ничего не ответила, но по щекам ее покатались крупные слезы. Филип знал по своему больничному опыту, что женщины ее круга считают работу прислуги унижительной; помимо своей воли он почувствовал легкое раздражение, однако тут же себя выругал: ведь она устала и была больна. Он помог ей поставить еще один прибор. Ребенок проснулся, и Милдред сварила ему кашку. Когда печенка поджарилась, они сели за стол. Из экономии Филип пил теперь только воду, но у него сохранилось полбутылки виски, и он решил, что Милдред полезно выпить глоточек. Он старался как мог, чтобы ужин прошел весело, но Милдред сидела усталая и подавленная. Когда они поели, она пошла укладывать ребенка.

— Да и тебе следовало бы лечь пораньше,— сказал Филип.— У тебя совсем измученный вид.

— Пожалуй, я так и сделаю, вот только вымою посуду.

Филип зажег трубку и сел за книгу. Приятно было слышать, что за стенкой кто-то шевелится. Иногда одиночество его угнетало. Милдред появилась, чтобы убрать со стола, и он услышал звон посуды, которую она мыла. Филип улыбнулся при мысли о том, как это на нее похоже — хлопотать по хозяйству в черном шелковом платье. Но у него было много работы, и, взяв книгу, он пошел к столу. Он читал «Медицину» Ослера, которой студенты недавно стали отдавать предпочтение перед трудом Тейлора, много лет бывшим самым распространенным из учебников. Вскоре вошла Милдред, опуская закатанные рукава; Филип кинул на нее беглый взгляд, но не двинулся с места; необычность обстановки заставляла его чуть-чуть нервничать. Может быть, Милдред думает, что он начнет к ней приставать, испугался он, не зная, как разуверить ее поделикатнее.

— Да, кстати,— сказал он,— у меня в девять утра лекция, так что мне нужно позавтракать не позже четверти девятого. Ты успеешь?

— Конечно. Когда я служила на Парламент-стрит, я каждое утро попевала на поезд, отходивший из Хернхилла в восемь двенадцать.

— Надеюсь, тебе здесь будет удобно. Завтра, когда как следует выспишься, ты почувствуешь себя другим человеком.

— А ты, наверно, поздно занимаешься?

— Обычно до одиннадцати или до половины двенадцатого.

— Тогда спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Между ними стоял стол. Он не протянул ей руки, и она тихонько прикрыла дверь. Какое-то время он слышал ее шаги в спальне, потом скрипнула кровать, и она легла.

ГЛАВА 92

На следующий день был вторник. Как всегда, Филип на скорую руку позавтракал и помчался на лекцию, которая начиналась в девять. Он успел обменяться с Милдред только несколькими словами. Когда он вернулся домой вечером, она сидела у окна и штопала его носки.

— А ты, оказывается, работага,— улыбнулся он.— Что поделывала целый день?

— Убрала как следует квартиру, а потом погуляла с ребенком.

На ней было старенькое черное платье — то самое, которое служило ей формой, когда она работала в кафе; в этом поношенном платье она все же выглядела лучше, чем накануне в шелковом. Ребенок сидел на полу. Девочка посмотрела на Филипа большими загадочными глазами и засмеялась, когда он уселся рядом и стал щекотать пальцы ее босых ножек. Вечернее солнце заглядывало в окна и мягко освещало комнату.

— Ну и приятно же прийти домой и застать кого-нибудь в квартире, — сказал Филип. — Женщина с ребенком очень украшают комнату.

Филип забежал в больничную аптеку и взял пузырек с пилюлями Бло. Он дал их Милдред и велел принимать после еды. К этому лекарству она уже привыкла — ей прописывали его время от времени с шестнадцатилетнего возраста.

— Я уверен, что Лоусону очень понравилась бы твоя бледность, — сказал Филип. — Он бы сказал, что этот зеленоватый оттенок так и просится на полотно, но я теперь стал человеком прозаическим и не успокоюсь до тех пор, пока ты у меня не станешь кровью с молоком, словно кормилица.

— Мне уже лучше.

После скромного ужина Филип наполнил табаком свой кисет и взялся за шляпу. По вторникам он обычно посещал кабачок на Бик-стрит и теперь был рад, что этот день настал сразу после переезда Милдред: ему хотелось внести ясность в их отношения.

— Ты уходишь? — спросила она.

— Да, по вторникам я устраиваю себе выходной вечер. Увидимся завтра. Спокойной ночи.

Филип шел в кабачок, как всегда, с удовольствием. Обычно он находил там Макалистера — биржевого маклера и философа, вечно готового спорить о чем угодно; постоянно заходил туда и Хейуорд, когда бывал в Лондоне; оба они терпеть не могли друг друга, но встречаться каждую неделю вошло у них в привычку. Макалистер считал Хейуорда ничтожеством и любил поиздеваться над его тонкими переживаниями; он иронически справлялся о литературных трудах Хейуорда и выслушивал с презрительной улыбкой его посулы создать в туманном будущем какой-нибудь шедевр. Между ними разгорались ожесточенные споры; но пунш был отменный, и оба питали к нему одинаковое пристрастие; к концу вечера они улаживали свои разногласия и были вполне довольны друг другом. В этот

вечер Филип застал в кабачке не только их обоих, но и Лоусона. Последний теперь заходил сюда реже: он уже приобрел в Лондоне кое-какие знакомства и его часто приглашали на званые обеды. Все они в этот вечер были в отличном настроении: Макалистер подсказал им выгодное дельце на бирже и Хейуорд с Лоусоном выручили по пятьдесят фунтов каждый. Для Лоусона это было целое событие: он любил сорить деньгами, а зарабатывал мало; карьера вознесла портретиста уже так высоко, что его стали замечать критики и многие аристократические дамы позволили ему писать с себя портреты — правда, бесплатно (это было рекламой для обеих сторон, а знатным дамам придавало ореол покровительниц искусства), но ему еще редко попадался зажиточный обыватель, готовый заплатить кругленькую сумму за портрет своей жены. Лоусон был вне себя от удовольствия.

— Это самый приятный способ зарабатывать деньги, какой я знаю, — кричал он. — Мне не пришлось выложить даже шести пенсов из собственного кармана!

— Вы много потеряли, молодой человек, оттого что не пришли сюда в прошлый вторник, сказал Макалистер Филипу.

— Господи, почему же вы мне не написали? — спросил Филип. — Если бы вы только знали, как мне пригодилась бы сейчас лишняя сотня фунтов!

— Писать тут некогда. Важно быть на месте в нужную минуту. В прошлый вторник я узнал про одно верное дельце и спросил ребят, не хотят ли они рискнуть. В среду утром я купил им по тысяче акций — к вечеру они подскочили, и я сразу же их продал. Обоим я устроил по пятидесяти фунтов, а сам заработал несколько сотен.

Филипа мучила зависть. Недавно он продал последнюю из закладных, в которые было вложено его маленькое состояние, и сейчас у него осталось только шестьсот фунтов. Стоило ему подумать о будущем, и его охватывала паника. Ему нужно было просуществовать еще два года до получения диплома, и потом он собирался поработать ординатором в больнице — словом, еще три года он не мог надеяться на какой-либо заработок. Даже при самой строгой экономии к концу этих трех лет у него останется не больше ста фунтов. Это — очень небольшое подспорье на случай болезни или безработицы. Удачная биржевая спекуляция была бы для него спасением.

— Ну ничего, — утешил его Макалистер. — Наверно, еще что-нибудь подвернется. Южноафриканские акции

очень скоро снова должны подскочить, и тогда я посмотрю, что можно будет для вас сделать.

Южноафриканские бумаги были специальностью Макалистера, и он часто рассказывал приятелям об огромных состояниях, нажитых год или два назад, когда на бирже был большой бум.

— Ладно, не забудьте меня в следующий раз,— сказал Филип.

Они проболтали почти до полуночи; Филип, который жил дальше других, ушел первым. Ему нужно было поймать последний трамвай— иначе придется идти пешком и он попадет домой очень поздно. Даже на трамвае он добрался к себе лишь около половины первого. Поднявшись наверх, он, к своему удивлению, нашел Милдред сидящей в кресле.

— Как, ты еще не ложишься? — воскликнул он.

— Мне не хотелось спать.

— Все равно надо было лечь в постель. Ты бы отдохнула.

Она не двинулась с места. Филип заметил, что после ужина она снова переделалась в свое черное шелковое платье.

— Я подумала, что мне лучше тебя дождаться, а вдруг тебе что-нибудь понадобится.

Она взглянула на него, и на ее тонких бескровных губах мелькнула тень улыбки. Филип не был уверен, правильно ли он ее понял. Он почувствовал неловкость, но ответил весело и непринужденно:

— С твоей стороны это очень мило, но ты, пожалуйста, не дури! Марш скорей в постель, не то завтра утром глаз не продерешь.

— Мне еще не хочется ложиться.

— Глупости,— холодно отрезал он.

Она немного надулась, поднялась и ушла в свою комнату. Он улыбнулся, когда она громко щелкнула ключом.

Несколько дней прошли спокойно. Милдред осваивалась с новой обстановкой. Когда Филип убегал после завтрака, у нее оставалось свободным все утро для домашних дел. Ели они самые незатейливые блюда, но ей нравилось обходить все лавки, делая свои скромные покупки; готовить себе одной она не хотела и днем ела хлеб с маслом, запивая его какао; потом она выносила колясочку и отправлялась гулять с ребенком, а вернувшись домой, сидела сложа руки до самого вечера. Она чувствовала такую усталость, что ей не хотелось лишних хлопот. Филип поручил Милдред заплатить за квартиру, и она завела дружбу с его замкнутой

хозяйкой; через неделю она могла рассказать Филипу о его соседях больше, чем он узнал о них за год.

— Хозяйка — очень симпатичная женщина, — заявила как-то раз Милдред. — Настоящая леди. Я ей сказала, что мы женаты.

— Ты думаешь, без этого нельзя?

— Надо же мне было ей что-то сказать. Ведь это выглядит странно, что я здесь живу, раз мы не женаты. Уж и не знаю, что она может обо мне подумать!

— Сомневаюсь, чтобы она тебе поверила.

— Пари держу, что поверила. Я ей сказала, что мы женаты уже два года — понимаешь, из-за ребенка, — но твои родные и слышать об этом не хотят, пока ты еще студент; вот нам и приходится все держать в секрете. Но теперь они согласились, и мы все поедem к ним на лето.

— Ты известная мастерица придумывать всякие сказки, — сказал Филип.

Его немножко злило, что Милдред по-прежнему любит приврать. За последние два года она ровно ничему не научилась. Но он только пожал плечами. «В конце концов от кого было ей научиться?» — подумал он.

Вечер был прекрасный — теплый и безоблачный; казалось, все население южного Лондона высыпало на улицы. В воздухе было что-то будоражащее; лондонцы сразу же чувствуют перемену погоды — их неудержимо влечет вон из дома. Убрав со стола, Милдред подошла к окну. Снизу доносился уличный шум — голоса прохожих, стук колес, дальние звуки шарманки.

— Тебе, наверно, нужно работать? — грустно спросила Милдред.

— Не мешало бы, но надо мной не каплет. А что?

— Мне бы так хотелось пройтись. Мы не можем покататься на имперiale?

— Если хочешь.

— Пойду надену шляпку, — радостно сказала она.

В такой вечер было почти невозможно усидеть дома. Ребенок спал, и его спокойно можно было оставить одного; Милдред говорила, что всегда оставляла его по вечерам, когда выходила из дому, — он никогда не просыпался. Милдред, надев шляпу, вернулась; она была очень оживлена. По случаю прогулки она чуть-чуть подрумянила щеки. Филип решил, что она порозовела от удовольствия; он был тронут ее ребяческой радостью и упрекал себя за то, что был с ней слишком суров. Выйдя на воздух, она засмеялась. Первый же трамвай, который им попался, шел

к Вестминстерскому мосту, и они сели. Филип курил трубку; сверху они разглядывали людные улицы. Магазины были открыты и ярко освещены, в них толпились покупатели. Они проезжали мимо мюзик-холла, и Милдред воскликнула:

— Ах, Филип, пойдём в мюзик-холл! Я там не была целую вечность.

— Ты ведь знаешь, партер нам теперь не по карману.

— Все равно, мне хорошо будет и на галерке.

Они сошли с трамвая и вернулись назад, к подъезду мюзик-холла. Им достались превосходные места по шесть пенсов — правда, далеко, но все же не на галерке, а вечер был так хорош, что народу пришло немного, и им было отлично видно. У Милдред блестели глаза. Она от души веселилась. Ее непосредственность трогала Филипа. Милдред была для него загадкой. Кое-какие ее черты ему по-прежнему нравились; в ней, казалось ему, немало хорошего; она не виновата, что ее скверно воспитали и жизнь у нее была нелегкая; прежде он зря осуждал ее за многое. Глупо требовать от нее добродетелей, которыми она не обладала. В других условиях из нее, может быть, получилась бы прелестная девушка. Она совсем не приспособлена к борьбе за существование. Глядя теперь сбоку на ее лицо с полуоткрытым ртом и слегка порозовевшими щеками, он подумал, что она выглядит удивительно целомудренной. Филип почувствовал к ней глубочайшую жалость и от души простил ей страдания, которые она ему причинила. У него заболели глаза от табачного дыма, но, когда он предложил уйти, она повернулась к нему с умоляющим видом и попросила досидеть до конца. Он улыбнулся и не стал возражать. Она взяла его за руку и держала ее, пока в зале не зажгли свет. Когда они вместе с толпой зрителей вышли на людную улицу, ей все еще не хотелось домой; они пошли бродить по Вестминстер-Бридж-роуд, рассматривая прохожих.

— Я давно не получала такого удовольствия, — сказала она.

У Филипа было хорошо на душе, и он благодарил судьбу за то, что поддался внезапному порыву и взял к себе Милдред с ребенком. Приятно было видеть, как она радуется. Наконец она устала, они сели в трамвай; было уже поздно, и когда они сошли и свернули в свою улицу, кругом не было ни души. Милдред взяла его под руку.

— Совсем как прежде, Фил, — сказала она.

Она еще никогда так его не звала. Филом называл его Гриффитс; он почувствовал, даже теперь, спустя столько

времени, что его словно кольнуло. Филип помнил, как ему хотелось тогда умереть; мучения его были ужасны, и он всерьез помышлял о самоубийстве. Господи, до чего же это было давно! Он усмехнулся, думая о том, каким был прежде. Теперь он не испытывал к Милдред ничего, кроме беспредельной жалости. Они пришли домой, и Филип зажег газ в гостиной.

— Спит ребенок? — спросил он.

— Пойду посмотрю.

Вернувшись, она сказала, что девочка даже не шевельнулась с тех пор, как она ее положила. Замечательный ребенок! Филип протянул руку.

— Ну, спокойной ночи.

— Ты уже хочешь спать? — спросила Милдред.

— Скоро час. Я не привык ложиться так поздно.

Она взяла его руку и, задержав в своей, заглянула ему в глаза с легкой улыбкой.

— Фил, тогда вечером, в той комнате, помнишь, когда ты предложил мне переехать к тебе... я ведь думала совсем не то, что ты имел в виду, что, мол, я нужна тебе только для того, чтобы готовить обед и убирать комнаты...

— Вот как? — переспросил Филип, отдергивая руку. — А я имел в виду именно это.

— Не будь глупышкой, — рассмеялась она.

Он покачал головой.

— Я говорил совершенно серьезно. Иначе я бы не предложил тебе переехать.

— Почему?

— Потому что не смог бы. Не знаю, как тебе объяснить, но это все бы испортило.

Она пожала плечами.

— Что ж, как угодно. Я не из тех, кто станет ползать перед тобой на коленях.

И она вышла, хлопнув дверью.

ГЛАВА 93

На другое утро Милдред молчала и дулась. Было воскресенье; она просидела в своей комнате, пока не пришло время готовить обед. Готовила Милдред плохо — все, что она умела, это поджарить отбивные котлеты или бифштексы; к тому же она не знала, как по-хозяйски использовать отходы, так что Филипу приходилось тратить больше, чем он рассчитывал. На этот раз, подав на стол, она уселась

напротив, но есть не стала; он спросил ее, в чем дело; она сказала, что у нее разболелась голова и нет аппетита. Филип был рад, что ему не надо сидеть вечером дома: Ательни встречали его с распростертыми объятиями; Филип был не избалован, и ему приятно было сознавать, что все в этом многочисленном семействе ждут его прихода. Когда он вернулся домой, Милдред уже легла спать, но на следующий день она все еще дулась. За ужином она сидела, надменно нахмутив брови. Филипа это раздражало, но он повторял себе, что должен быть чутким и прощать ей многое.

— Что это ты все время молчишь? — спросил он ее с улыбкой.

— Мне платят за стирку и уборку, я не знала, что от меня ждут еще и разговоров.

Ответ был нелюбезный, но, если им предстояло жить бок о бок, ему лучше было постараться наладить отношения.

— Ты, верно, рассердилась на меня за тот вечер, — сказал он.

Тема была довольно щекотливая, но ее, по-видимому, нельзя было обойти.

— Ты это о чем? — спросила она.

— Пожалуйста, не сердись. Я не стал бы просить тебя переселиться ко мне, если бы не хотел, чтобы наши отношения оставались чисто дружескими. Я предложил это потому, что, как мне казалось, тебе нужен свой угол и время, чтобы оглядеться и поискать работу.

— Ах, не воображай, будто для меня это так важно.

— Я вовсе этого не воображаю, — поспешил он ответить. — И не думай, что я тебе не благодарен. Я ведь понимаю, что третьего дня ты заботилась только обо мне. Но у меня к этому не лежит душа, и тут уж ничего не поделаешь, не то мне все покажется ужасной гнусностью.

— Вот чудак, — сказала она, глядя на него с любопытством. — Что-то я тебя не пойму.

Теперь она на него не сердилась, но была озадачена; она никак не могла взять в толк, чего он хочет, однако пришлось подчиниться; ей даже казалось, что он ведет себя как-то очень благородно и заслуживает уважения, но в то же время он был ей смешон, она его несколько презирала.

«Он тронутый», — думала она.

Жизнь потекла своим чередом. Филип проводил весь день в больнице, а по вечерам занимался дома, если не ходил к Ательни или в кабачок на Бик-стрит. Однажды он был приглашен на парадный обед к врачу, у которого

проходил практику; несколько раз его звали на вечеринки товарищи по институту. Милдред покорно сносила однообразие своего существования. Если она и обижалась, что Филип иногда оставлял ее по вечерам одну, она никогда об этом не заговаривала. Изредка он водил ее в мюзик-холл. Он настоял на своем: единственное, что их связывало, была ее работа по дому, которую она несла в обмен за жилище и стол. Она вбила себе в голову, что летом не стоит искать службу, и с его согласия решила не предпринимать ничего до осени. Ей казалось, что тогда легче будет найти место.

— Что до меня,— сказал Филип,— ты можешь остаться здесь и после того, как найдешь работу. Комната в твоём распоряжении, а женщина, которая прежде тут убирала, сможет присматривать за девочкой.

Филип очень привязался к ребенку Милдред. Он был от природы человек ласковый, но не часто мог это проявить. Нельзя сказать, чтобы Милдред относилась к девочке плохо. Она старательно за ней ухаживала, а раз, когда ребенок сильно простудился, не отходила от него ни на шаг; но девочка ей надоедала, и мать часто на нее покрикивала. Милдред по-своему любила ее, но у нее не было материнского инстинкта, который заставлял бы ее забывать о себе ради ребенка. Внешне такая холодная, она находила всякие нежности просто смешными. Когда Филип брал ребенка на колени, играл с ним и целовал его, она над ним потешалась.

— Ну чего ты с ней так нянчишься, можно подумать, что ты ей родной отец! — говорила она. — Прямо помешался на этой девчонке.

Филип краснел — он всегда ужасно злился, когда над ним смеялись. Глупо было так привязаться к чужому ребенку, и он немножко этого стеснялся. Но сердце его было переполнено нежностью, и девочка, чувствуя, что ее любят, прижималась щечкой к его лицу или свертывалась калачиком у него на руках.

— Тебе-то хорошо,— говорила Милдред.— Ты знать не знаешь всех неприятностей, которые терпишь из-за ребенка. А вот как бы тебе понравилось сидеть возле нее посреди ночи оттого, что ее милости расхотелось спать?

В душе Филипа пробуждались воспоминания детства, казалось, давным-давно позабытые. Он пересчитывал пальчики на ножках ребенка:

— Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять...

Возвращаясь вечером домой и входя в гостиную, Филип прежде всего искал взглядом девочку, игравшую на полу;

у него становилось тепло на душе, когда, завидев его, она принималась лепетать от удовольствия. Милдред научила девочку звать его папой, и, когда ребенок впервые назвал его так без подсказки, она хохотала до слез.

— Интересно, отчего ты ее так любишь? — спросила Милдред. — Потому, что она моя, или ты точно так же любил бы всякого ребенка?

— Я никогда не знал других детей, так что не могу тебе ничего сказать, — ответил Филип.

К концу второго семестра, проведенного им в больнице на практике, Филипу повезло. Дело было в середине июля. В один из вторников он отправился в кабачок на Бик-стрит и встретил там Макалистера. Они посидели, поговорили об отсутствующих друзьях; немного погодя Макалистер ему сказал:

— Да, между прочим, мне посчастливилось сегодня услышать об одном заманчивом дельце — акции Нью-Клейнфонтейна, это золотой прииск в Родезии. Если хотите рискнуть, сможете немножко заработать.

Филип с нетерпением ожидал такого случая, но теперь, когда он представился, им овладела нерешительность. Он отчаянно боялся потерять деньги. По натуре он не был игроком.

— Мне бы очень хотелось, — сказал он, — но не знаю, могу ли я позволить себе рисковать. Сколько я потеряю, если дела пойдут плохо?

— Видно, зря я затеял этот разговор. А мне казалось, что вы так об этом мечтали, — холодно возразил Макалистер.

Филип почувствовал, что Макалистер считает его непроходимым ослом.

— Да, мне страшно хочется немного поднажиться, — засмеялся он.

— Нельзя нажать деньги, если боишься рискнуть деньгами.

Макалистер переменял тему разговора. Филип отвечал ему, но из головы у него не выходило, что в случае удачи маклер станет прохаживаться на его счет. У Макалистера был злой язык.

— Если вы не возражаете, я все-таки хочу рискнуть, — взволнованно сказал Филип.

— Ладно. Куплю вам двести пятьдесят акций и, как только увижу, что они поднялись на два с половиной шиллинга, тут же их продам.

Филип быстро подсчитал, сколько это составит, и у него даже слюнки потекли: тридцать фунтов — ведь это для него настоящая находка, а судьба явно перед ним в долгу.

На следующее утро за завтраком он рассказал об этом Милдред. Она считала, что он сглупил.

— Никогда еще не видела, чтобы кто-нибудь заработал деньги на бирже, — сказала она. — Да и Эмиль всегда говорил: на бирже денег не зашибешь — вот что он говорил!

По дороге из больницы домой Филип купил вечернюю газету и сразу же отыскал в ней биржевой бюллетень. Он ничего не смыслил в этих делах, и ему нелегко было найти акции, о которых говорил Макалистер. Он увидел, что они поднялись. Сердце его дрогнуло от радости, и он с ужасом подумал, что Макалистер мог забыть об их уговоре или отказаться от покупки акций по каким-нибудь соображениям. Макалистер обещал прислать ему телеграмму. Филип не стал дожидаться трамвая. Он вскочил на извозчика, хотя это было непозволительной роскошью.

— Мне нет телеграммы? — спросил он, врываясь в квартиру.

— Нет, — ответила Милдред.

Лицо его вытянулось; огорченный до глубины души, он тяжело опустился на стул.

— Значит, он все-таки не купил на мою долю. Черт бы его побрал, — пробормотал он сердито. — Вот не везет! А я целый день только и думал, что я сделаю с этими деньгами.

— А что ты хотел с ними сделать? — спросила она.

— Чего сейчас об этом говорить? Ох, как мне нужны были эти деньги!

Она рассмеялась и протянула ему телеграмму.

— Я пошутила. На, я ее распечатала.

Он вырвал телеграмму у нее из рук. Макалистер купил ему двести пятьдесят акций и продал их с барышом в два с половиной шиллинга, как и предполагал. На следующий день должен был прийти перевод. Филип был зол на Милдред за ее жестокую выходку, но злость тут же прошла.

— Для меня это так важно, — радостно закричал он. — Если хочешь, я куплю тебе новое платье.

— Да, мне давно не мешает купить что-нибудь новое, — ответила она.

— Знаешь, что я придумал? Я сделаю себе в конце июля операцию...

— Ну? У тебя что-нибудь болит? — перебила она его.

Милдред подумала, что какая-то тайная болезнь была причиной непонятного ей поведения Филипа.

Он покраснел: ему было неприятно разговаривать о своей хромоте.

— Нет, но врачи полагают, будто могут что-то сделать с моей ногой. Раньше мне нельзя было позволить себе терять на это время, а теперь можно. Я начну работать в перевязочной не в будущем месяце, а только в октябре. В больнице я пролежу всего несколько недель, а потом мы сможем поехать к морю. Это будет полезно нам всем — и тебе, и ребенку, и мне.

— Ах, Филип, поедem в Брайтон! Я так люблю Брайтон — там очень приличная публика.

Филип, правда, подумывал о какой-нибудь рыбацкой деревушке в Корнуэлле, но, услышав это, понял, что Милдред умрет там со скуки.

— Мне все равно, куда ехать, лишь бы к морю, — сказал он.

Неизвестно почему, его вдруг неудержимо потянуло на море. Ему захотелось поплавать, и он представлял себе, как с наслаждением нырнет в соленую воду. Он был хорошим пловцом, и ничто не радовало его так, как бурное море.

— Вот будет чудесно! — воскликнул он.

— Совсем как медовый месяц, — сказала она. — Сколько ты можешь дать мне на новое платье, Фил?

ГЛАВА 94

Филип попросил сделать ему операцию доктора Джекобса — помощника главного хирурга, у которого он проходил практику. Джекобс охотно согласился: его как раз интересовало запущенное искривление стопы, он собирал материал для диссертации. Хирург предупредил Филипа, что нога его не станет нормальной, но можно рассчитывать на значительное улучшение; Филип не избавится от хромоты, но будет носить менее уродливый ботинок. Филип вспомнил, как когда-то молился богу, который может сдвинуть горы ради того, кто имеет веру, и горько усмехнулся.

— Я не жду чуда, — сказал он.

— Вы умно поступаете, что даете мне возможность рискнуть. Сильная хромота помешала бы вашей врачебной практике. У обывателя много всяких причуд, ему не нравится, если у врача что-нибудь не в порядке.

Филипу отвели «маленькую палату» — это была комнатка на лестничной площадке, примыкавшая к общей пала-

те,— ее оставляли для особых случаев. Он пролежал там месяц: хирург не разрешил ему выписаться, пока он не начал ходить. Филип очень хорошо перенес операцию и провел время не без приятности. Его навещали Лоусон и Ательни, а как-то раз миссис Ательни привела двух своих детей; время от времени забегали поболтать знакомые студенты; два раза в неделю заходила Милдред. Все было к нему очень предупредительно, и Филип, которого всегда удивляло малейшее внимание к нему, был растроган. Он наслаждался полной беззаботностью своего существования: здесь ему нечего было тревожиться о будущем — хватит ли ему денег и выдержит ли он выпускные экзамены; он мог читать, сколько душе угодно. Последнее время ему мало приходилось читать — мешала Милдред: стоило ему сесть за книгу, как она отпускала какое-нибудь бессмысленное замечание и не успокаивалась до тех пор, пока не получала ответа, и всякий раз, как он, устроившись поудобнее, углублялся в чтение, она непременно просила его сделать что-нибудь по дому и совала ему то бутылку, которую не могла откупорить, то молоток, чтобы вбить гвоздь.

Они условились поехать в Брайтон в августе. Филип хотел снять комнаты, но Милдред заявила, что ей тогда придется хозяйничать, а отдохнет она только в том случае, если они поселятся в пансионе.

— И так каждый день приходится готовить обед. Как мне это осточертело! Я хочу хоть на время избавиться от кухни.

Филип согласился. Милдред случайно знала один пансион в Кемптауне, где, по ее словам, брали не больше двадцати пяти шиллингов в неделю с человека. Филип договорился с ней, что она туда напишет и попросит оставить им комнаты, но, вернувшись домой из больницы, выяснил, что она ничего не сделала. Он рассердился.

— Неужели ты так была занята? — спросил он.

— Не могу же я обо всем помнить. Разве я виновата, что забыла?

Филипу не терпелось поскорее попасть на море, и он не захотел затевать переписку.

— Мы оставим багаж на вокзале, — сказал он, — и отправимся в пансион; если у них будут свободные комнаты, мы пошлем за вещами швейцара.

— Как тебе угодно! — сухо сказала Милдред.

Она терпеть не могла упреков. Обиженно замкнувшись в высокомерном молчании, она безучастно смотрела, как Филип готовится к отъезду. От августовского солнца

в тесной квартирке было жарко, улица дышала в раскрытое окно зловонным зноем. Лежа в тесной больничной палате, в четырех стенах, выкрашенных красной клеевой краской, Филип истомился по свежему воздуху и по морской волне, бьющей в грудь пловца. Он чувствовал, что сойдет с ума, если ему придется провести в Лондоне хотя бы одну ночь.

Милдред снова пришла в хорошее расположение духа, когда увидела улицы Брайтона и толпы отдыхающих; по дороге в пансион оба они были в отличном настроении. Филип поглаживал щечки ребенка.

— Мы покрасим их совсем в другой цвет, дайте только срок, — говорил он, улыбаясь.

Подъехав к пансиону, они отпустили извозчика. Дверь открыла неряшливая горничная; когда Филип спросил, есть ли свободные комнаты, она ответила, что узнает, и позвала хозяйку. Сверху деловито спустилась толстая пожилая женщина; она оглядела их испытующим оком, как положено людям ее профессии, и спросила, что им угодно.

— Нам нужны две небольшие комнаты, а если у вас найдется детская кроватка, поставьте ее в одну из них.

— К сожалению, у меня нет двух комнат. Есть большая комната на двоих, и я могла бы поставить туда еще кроватку.

— Это нам, пожалуй, не подойдет, — сказал Филип.

— На этой неделе я смогу дать вам еще одну комнату. В Брайтоне сейчас полно, и приходится мириться с неудобствами.

— Филип, если это только на несколько дней, может, мы обойдемся? — вставила Милдред.

— Нас больше устроили бы две комнаты. Вы не могли бы порекомендовать другой пансион?

— Конечно, но не думаю, что у них дело обстоит лучше.

— Дайте мне все-таки адрес.

Пансион, который порекомендовала толстуха, находился на соседней улице, и они пошли туда пешком. Филип ходил уже неплохо, хотя был еще слаб и ему приходилось опираться на палку. Милдред несла ребенка. Часть пути они прошли молча, но вдруг он заметил, что Милдред плачет. Это его разозлило, и он решил не обращать на нее внимания, но она не дала ему этой возможности.

— Одолжи мне платок. Я не могу достать свой из-за ребенка, — произнесла она, отвернув лицо и всхлипывая.

Не говоря ни слова, он протянул ей носовой платок. Она вытерла глаза и, так как он молчал, продолжала:

— Можно подумать, что я заразная!

— Пожалуйста, не устраивай сцен на улице.

— Это выглядит так странно, когда настаивают на отдельных комнатах. Что они о нас подумают?

— Если бы они больше о нас знали, они, вероятно, поражались бы нашей добродетели.

Она искоса на него поглядела.

— А ты не проговоришься, что мы не женаты? — поспешно спросила она.

— Нет.

— Отчего же ты не хочешь жить со мной в одной комнате, как будто мы женаты?

— Милая, мне трудно тебе объяснить. Я не хочу тебя обижать, но я просто не могу. Возможно, это глупо, бессмысленно, но это сильнее меня. Я так тебя любил, что теперь... — Он прервал себя. — Ей-богу же, тут ничего не поделаешь.

— Нечего сказать, здорово ты меня любил!

Пансион, куда их направили, содержала суетливая старая дева с хитрыми глазами и болтливый язык. Да, они могут получить одну большую комнату на двоих (тогда им придется платить двадцать пять шиллингов в неделю с каждого и еще пять шиллингов за ребенка) или же две небольшие комнаты, что будет стоить на целый фунт дороже.

— За лишнюю комнату приходится брать много больше, — извиняющимся тоном пояснила женщина, — ведь в крайнем случае я могу поставить вторую кровать и в комнату для одного.

— Ничего, это нас не разорит. Как ты думаешь, Милдред?

— Ну что ж, пожалуй. Мне-то уж все равно! — откликнулась она.

Рассмеявшись, он кое-как замял разговор. Хозяйка пансиона послала за их вещами, а они сели отдохнуть. У Филипа ныла нога, он рад был положить ее на стул.

— Надеюсь, ты не возражаешь, что я сижу с тобой в одной комнате? — вызывающе начала Милдред.

— Не будем ссориться, — мягко попросил он.

— Видно, ты очень богат, что можешь сорить деньгами.

— Не сердись. Уверю тебя, только так мы и сможем жить вместе.

— Да, ты меня презираешь, в этом все дело.

— Что ты, какая ерунда. С чего бы я стал тебя презирать?

— Все у нас не так, как у людей.

— Почему? Разве ты меня любишь?

— Я? За кого ты меня принимаешь?

— Ты ведь не очень-то темпераментная женщина, верно?

— Это меня унижает,— сердито сказала она.

— На твоём месте я не стал бы считать себя униженным.

В пансионе жило человек десять. Ели они в узкой темной комнате за длинным столом, во главе которого сидела хозяйка, раскладывавшая порции. Кормили плохо. Хозяйка утверждала, что у нее французская кухня, а на самом деле ее невкусно приготовленные соусы должны были скрывать скверное качество продуктов; дешевая камбала выдавалась за дорогую, а мороженая баранина — за ягненка. Кухня была маленькая, неудобная, к столу все подавалось едва теплым. В пансионе жила скучная, претенциозная публика: пожилые дамы с незамужними великовозрастными дочками, смешные, сюсюкающие старые холостяки; малокровные конторщики средних лет со своими женами, любившие поговорить о дочках, сделавших выгодную партию, и сыновьях, занимавших отличные должности в колониях. За столом обсуждался последний роман мисс Корелли; некоторые предпочитали картины лорда Лейтона полотнам мистера Альма-Тадемы, другие — полотна мистера Альма-Тадемы — картинам лорда Лейтона. Вскоре Милдред поведала дамам о своем романтическом браке с Филипом, и он стал предметом всеобщего внимания: еще бы, ведь его знатная семья отеклась от него и оставила без гроша за то, что он женился, не кончив института, а отец Милдред, владевший крупным поместьем где-то в Девоншире, невзлюбил Филипа и ничем не хотел им помочь. Вот почему им приходится жить в дешевом пансионе и обходиться без няни для ребенка; но им просто необходимы две комнаты — оба они привыкли к комфорту и не терпят тесноты. Другие обитатели пансиона тоже приводили всяческие объяснения своего пребывания здесь: один из холостяков всегда проводил отпуск в «Метрополе», но он любит веселую компанию, а ее не найдешь в шикарном отеле; пожилая дама с великовозрастной дочкой как раз в это время ремонтировала свой прекрасный лондонский особняк и сказала дочке: «Гвенни, милочка, этим летом мы не можем позволить себе больших расходов», — поэтому им пришлось приехать сюда, хотя это совсем не то, к чему они привыкли. Милдред чувствовала, что попала в избранное общество, а она ненавидела грубое простонародье. Ей нравилось, чтобы джентльмены были джентльменами в полном смысле этого слова.

— Если имеешь дело с джентльменами и леди,—говорила она,—я люблю, чтобы это были настоящие джентльмены и леди.

Это замечание показалось Филипу несколько загадочным, но, когда он услышал, как она повторяет его разным лицам, встречая при этом горячее сочувствие, он пришел к заключению, что оно было непонятно ему одному. Впервые Филип и Милдред проводили все время вдвоем. В Лондоне он не видел ее целыми днями, а когда приходил домой, их развлекали разговоры о домашних делах, о ребенке, о соседях, пока он не принимался за свои книги. Теперь он бывал с ней весь день. После завтрака они спускались на пляж; утро проходило незаметно—они купались и прогуливались по берегу. Вечер, который они просиживали на набережной, уложив ребенка спать, тоже был сносен—можно было слушать музыку и разглядывать непрерывный поток людей (Филип забавлялся, строя разные догадки о прохожих и сочиняя о них маленькие новеллы,—он научился отвечать Милдред, не слушая ее, так что мысли его могли течь свободно). Но послеобеденное время тянулось долго и скучно. Они сидели на пляже. Милдред повторяла, что надо попользоваться всюю «Доктором Брайтоном»; Филип не мог читать, так как она беспрестанно о чем-нибудь разглагольствовала. Если он не обращал на нее внимания, она негодовала:

— А, брось ты эту дурацкую книгу! Тебе вредно все время читать. Забиваешь себе голову всякой чепухой, скоро совсем обалдеешь!

— Ерунда! — отвечал он.

— И потом, это с твоей стороны невежливо.

Выяснилось, что с ней трудно разговаривать. Она не умела сосредоточиться даже на том, что говорит сама: если пробегала собака или проходил человек в пестрой куртке, она не могла удержаться от замечания и сразу забывала, что хотела сказать раньше. У нее была плохая память на имена, и это ее раздражало: она часто останавливалась посреди разговора и начинала ломать себе голову, вспоминая какое-нибудь имя. Иногда это ей так и не удавалось, зато оно приходило ей на память потом, когда Филип говорил уже о чем-то другом, тогда она прерывала его возгласом:

— Коллинз, вот как его звали! Я же знала, что в конце концов припомню. Коллинз—совсем из головы вон. Помнишь, я забыла имя того человека?

Это выводило его из себя—значит, она его не слушает! Однако когда он молчал, она упрекала его в том, что он

невежа; мозг у нее был совершенно лишен способности отвлеченно мыслить, и стоило Филипу поддаться своей страсти к обобщениям, как она, не стесняясь, показывала, что скучает. Она часто видела сны, и на них у нее была хорошая память: сны она рассказывала ежедневно со всеми подробностями.

Однажды утром Филип получил длинное письмо от Торпа Ательни. Тот проводил отпуск на свой романтический лад, в котором, как всегда, было немало здравого смысла. Вот уже десять лет он проделывал одно и то же. Он увозил семью на хмельник в Кенте, поблизости от деревни, где родилась миссис Ательни, и там все они три недели собирали хмель. Это позволяло им побыть на свежем воздухе и одновременно — к великому удовольствию миссис Ательни — немножко подработать; к тому же они обновляли узы, связывавшие их с матерью-землей, на что особенно напирал сам мистер Ательни. Жизнь на лоне природы придавала им новые силы; по словам Ательни, они словно прикасались к животворному источнику, который возвращал им молодость, крепость мышц и душевный покой; Филипу не раз приходилось слышать, как он произносил по этому поводу самые фантастические и витиеватые речи. Теперь Ательни приглашал его приехать к ним на денек; у него родились новые идеи, как относительно Шекспира, так и о возможности исполнять серьезную музыку на стеклянных стаканчиках, и он хочет поделиться ими с другом, а дети без конца требуют, чтобы им подали дядю Филипа. Филип перечитал это письмо после обеда, сидя на пляже возле Милдред. Он вспомнил миссис Ательни — веселую мать многочисленного семейства, ее радушное гостеприимство и неизменно хорошее настроение; не по годам серьезную Салли, ее забавную материнскую манеру и авторитетный тон, ее длинные светлые косы и высокий лоб; наконец, всю ватагу веселых, шумных, здоровых и красивых ребятишек. Ему отчаянно захотелось к ним. Они обладали одним качеством, которого он раньше не замечал в людях, — добротой. До сих пор ему это не приходило в голову, но его, по-видимому, привлекала к ним их душевность и доброта. Теоретически он в нее не верил: если мораль была всего-навсего житейской необходимостью, добро и зло теряли всякий смысл. Но, хотя Филипу и хотелось быть последовательным, тут он столкнулся с безыскусственной добротой, простой и естественной, и он находил ее прекрасной. Погруженный в раздумье, он медленно разорвал письмо на мелкие клочки; он не знал, как ему поехать без Милдред, а ехать с ней он не хотел.

Стояла отчаянная жара, небо было безоблачно, и они наши прибежище в тенистом уголке. Ребенок сосредоточенно играл камешками на пляже: он то и дело подползал к Филипу, протягивал ему камешек, потом снова отнимал и осторожно клал на место. Девочка была поглощена своей загадочной и сложной игрой, понятной лишь ей одной. Милдред спала. Она лежала, закинув голову, приоткрыв рот и вытянув ноги; из-под нижней юбки некрасиво торчали ботинки. Филип бессознательно скользнул по ней взглядом, потом стал пристально всматриваться. Он вспоминал, как страстно ее любил, и удивлялся, что сейчас совершенно к ней равнодушен. Мысль о такой перемене причиняла ему тупую боль. Стало быть, все его страдания были напрасны. Нечаянное прикосновение ее руки наполняло его восторгом; он жаждал проникнуть к ней в душу, чтобы разделить с ней все помыслы и чувства; он страдал, когда какое-нибудь ее слово показывало, как далеки они друг от друга; его приводила в бешенство непреодолимая стена, отделявшая одну человеческую личность от другой. Ему казалось трагичным, что прежде он ее так безумно любил, а теперь разлюбил совсем. Иногда он ее просто ненавидел. Она ничему не могла научиться, и уроки жизни прошли для нее даром. Она сохранила все свои скверные привычки. Филипа глубоко возмущало ее наглое обращение с прислугой в пансионе, работавшей не покладая рук.

Он стал обдумывать свои планы на будущее. К концу четвертого года обучения он сдаст экзамены по акушерству, а еще через год получит диплом. Быть может, ему удастся поехать тогда в Испанию. Он хотел увидеть картины, которые знал только по фотографиям; в глубине души он верил, что Эль Греко владеет тайной, имеющей особое для него значение; ему казалось, что, попав в Толедо, он разгадает эту тайну. Потребности у него были скромные, и на сотню фунтов он сможет прожить в Испании добрых полгода; если Макалистер подбросит ему еще одно выгодное дельце, такой расход будет ему по силам. У него потеплело в груди при мысли о прекрасных старинных городах и ржавых равнинах Кастилии. Он был убежден, что жизнь способна дать ему больше, чем дает сейчас, и верил, что в Испании она будет полнее. Возможно, что в одном из этих старинных городов ему удастся заняться практикой — проездом или постоянно там живет немало иностранцев, и, пожалуй, он обеспечит себе кое-какой заработок. Но все это еще далеко; сперва он должен поработать в больнице — это дает опыт и облегчает потом получение места. Ему хотелось поступить

судовым врачом на один из больших грузовых пароходов, которые не слишком торопятся и дают человеку возможность повидать кое-что в портах, куда они заходят. Он мечтал побывать в Азии: воображение рисовало ему заманчивые картины Бангкока, Шанхая, прибрежных городов Японии; он видел пальмы и раскаленную солнцем синь, темнокожих людей и пагоды; ароматы Востока дурманили его. Сердце билось от страстного желания изведать красоту и чудеса далеких стран.

Милдред проснулась.

— Кажется, я задремала, — сказала она. — Ах ты, гадкая девчонка, что ты натворила! Вчера только надела на нее чистое платье, а посмотри-ка, во что она его превратила, Филип.

ГЛАВА 95

Вернувшись в Лондон, Филип перешел на практику в перевязочную хирургического отделения. Хирургия интересовала его не так, как терапия, которая больше опирается на опыт и оставляет простор воображению. Теперь ему приходилось труднее, чем прежде. От девяти до десяти он слушал лекции; в десять отправлялся в обход — промывать раны, снимать швы, менять перевязки. Филип втайне гордился своим умением делать перевязки, и ему приятно было выслушивать похвалы сестер. По определенным дням производились операции; тогда он стоял посреди операционного зала в белом халате, подавая хирургу инструменты или смывая губкой кровь. Когда операция была сложная, зал наполнялся студентами, но, как правило, приходило всего несколько человек, и тогда обстановка была интимнее и больше нравилась Филипу. В те годы весь мир словно помешался на аппендиците и множество больных ложилось на операционный стол; хирург, у которого проходил практику Филип, соревновался с одним из своих коллег, кто быстрее удалит аппендикс, сделав как можно меньший разрез.

В положенное время Филипа перевели в «Скорую помощь». Студенты, проходившие хирургическую практику, работали по сменам; смена длилась три дня, в течение которых студенты жили в больнице и питались в общей столовой. Комната практиканта находилась на первом этаже, рядом с палатой неотложной хирургии; там была складная кровать, днем убиравшаяся в шкаф. Дежурный не мог отлучаться ни днем, ни ночью, принимая пострадавших.

Почти все время он проводил на ногах; по ночам не проходило и часа без того, чтобы прямо над его головой не зазвонил колокол и его не подняли с постели. Труднее всего, разумеется, приходилось в ночь на воскресенье, особенно в те часы, когда закрывались питейные заведения. Полицейские доставляли мертвецки пьяных, которым необходимо было сделать промывание желудка; женщины, которые и сами-то были не очень трезвы, приходили с пробитой головой или расквашенным носом — знаком мужнего рукоприкладства; одни клялись, что подадут на изверга в суд, другие, напротив, стыдливо уверяли, что произошел несчастный случай. Все, с чем мог справиться дежурный практикант, он делал сам, но если увечье было серьезным, он посылал за дежурным хирургом; однако злоупотреблять этим не следовало: хирург не очень-то радовался, если его вытаскивали с пятого этажа по пустякам. Случаи бывали самые разные: от пореза на пальце до перерезанного горла. Приходил мальчик с рукой, раздробленной станком; доставляли мужчин, попавших под карету, детей, сломавших руку или ногу во время игры. Изредка полицейские приносили самоубийц; однажды Филипу попался мертвенно-бледный человек с блуждающим взглядом и огромной раной от уха до уха — несколько недель он потом лежал в одной из палат под неусыпным наблюдением полицейского; молчаливый, мрачный и озлобленный тем, что ему спасли жизнь, он ничуть не скрывал, что снова попытается покончить с собой, как только окажется на свободе. Палаты были набиты до отказа, и, когда полиция доставляла пострадавшего, дежурный хирург не знал, как ему быть: отошлешь больного в полицейский участок, а он там умрет, вот и жди ругательной заметки в газетах; иногда трудно было отличить умирающего от мертвецки пьяного. Филип старался подольше не ложиться спать — все равно приходилось вскакивать чуть не каждый час; он засиживался в палате, болтая с ночной сиделкой. Это была мужеподобная женщина с седыми волосами, которая работала в этом отделении уже двадцать лет. Она любила свое дело — здесь она была сама себе хозяйка и ей не докучала сестра. Двигалась она неторопливо, но была мастером своего дела и никогда не терялась в трудную минуту. Неопытные студенты, которым часто не хватало выдержки, надеялись на нее, как на каменную стену. Она перевидала на своем веку тысячи студентов и не могла всех запомнить; каждого она звала «мистер Браун», а когда кто-нибудь недоволено поправлял ее, она только кивала головой и продолжала величать его

«мистером Брауном». Филип любил посидеть с ней в пустой комнате, где стояли лишь две набитые волосом кушетки, и послушать при свете газового рожка ее рассказы. Она давно перестала видеть в пациентах людей: для нее они были просто алкогольным отравлением, переломом руки или перерезанным горлом. Пороки, страдания и жестокости этого мира она принимала как должное; человеческие поступки не заслуживали в ее глазах ни похвалы, ни порицания. При всем том она была не лишена мрачного юмора.

— Помню одного самоубийцу,— рассказывала она Филипу,— он бросился в Темзу. Его вытащили из воды и доставили сюда, а через десять дней он заболел брюшным тифом оттого, что наглотался речной воды.

— Он умер?

— Конечно, умер. Я до сих пор не пойму, надо ли считать это самоубийством или нет... Чудные типы эти самоубийцы. Помню одного безработного; у него умерла жена, он заложил всю одежду и купил револьвер, но так у него ничего и не вышло — только прострелил себе глаз и поправился. А тут, извольте видеть, потеряв глаз и изуродовав себе лицо, он пришел к убеждению, что мир вовсе не так уж плох, и жил потом в свое удовольствие. Но вот что я заметила: люди никогда не накладывают на себя руки из-за любви, как надо было бы ожидать, если послушать писателей; люди кончают с собой потому, что им не на что жить. Ума не приложу, отчего это так бывает.

— Может, потому, что деньги важнее любви,— неуверенно сказал Филип.

Мысли о деньгах в те дни поглощали Филипа. Он убедился в том, как мало правды в легкомысленном утверждении, которое он и сам подчас повторял, будто вдвоем прожить не дороже, чем одному, и его расходы начинали его тревожить. Милдред была не очень-то хорошей хозяйкой, и они тратили не меньше, чем если бы питались в ресторанах; ребенка надо было одевать, а сама Милдред нуждалась в ботинках, зонтике и всяких других вещах, без которых она никак не могла обойтись. Вернувшись из Брайтона, она объявила о своем намерении искать работу, но ничего определенного не предприняла, а вскоре простудилась и слегла недели на две. Поправившись, она сходила по двум-трем объявлениям, но из этого ничего не вышло: то она опаздывала и вакансия была уже занята, то работа казалась ей непосильной. Однажды подвернулось подходящее место, но платили только четырнадцать шиллингов в неделю, а она считала, что заслуживает больше.

— Нельзя, чтобы тобой помыкали,— заявила она.— Никто тебя уважать не станет, если согласишься работать за гроши.

— Четырнадцать шиллингов — не такие уж гроши,— сухо заметил Филип.

Он поневоле думал о том, какгодились бы дома эти четырнадцать шиллингов, а Милдред стала намекать, что не может получить работы из-за того, что у нее нет приличного платья для переговоров с хозяевами. Он купил ей новое платье, и она сделала еще одну или две попытки найти место, но Филип понял, что все это несерьезно. Ей просто лень было работать. Единственным способом выйти из денежных затруднений была игра на бирже, и ему очень хотелось повторить удачный летний опыт, но разразилась война с Трансваалем, и южноафриканские акции никто не покупал. Макалистер сообщил ему, что через месяц генерал Редверс Буллер вступит в Преторию и тогда на бирже будет бум. Оставалось набраться терпения и ждать. Пока что нужно, чтобы англичане отступили, тогда акции упадут и можно будет их прикупить.

Филип стал прилежно читать финансовый отдел своей газеты. Он сделался нервным и раздражительным. Разок-другой он резко осадил Милдред, а так как она не обладала ни терпением, ни тактом и отвечала запальчиво, дело у них кончалось ссорой. Филип всегда извинялся потом за грубость, но Милдред была злопамятна и дулась по нескольку дней. Всем своим поведением она начинала действовать ему на нервы: и тем, как держала себя за столом, и неряшливостью, с которой разбрасывала в гостиной предметы своего туалета. Филипа волновала война — утром и вечером он с жадностью читал газеты; ее же не интересовало ничто. Она познакомилась с несколькими соседками, и одна из них спросила, не хочет ли она, чтобы к ним зашел священник. Милдред носила обручальное кольцо и именовала себя миссис Кэри. У них на стенах висело несколько рисунков, сделанных Филипом в Париже, — обнаженные фигуры двух женщин и Мигеля Ахурии, крепко стиснувшего кулаки и упершегося ногами в землю. Филип берег эти рисунки — они были его лучшими работами и напоминали о счастливых днях. Милдред давно уже на них косо посматривала.

— Мне бы очень хотелось, Филип, чтобы ты снял эти картинки,— сказала она наконец.— Вчера заходила миссис Формен из дома тринадцать, и я не знала, куда глаза девать. Она так на них уставилась!

— А что в них плохого?

— Сплошное неприличие! Это просто гадость — держаться на стенах картинки с голыми людьми. И для ребенка нехорошо. Девочка уже начинает понимать.

— Как ты можешь говорить такие пошлости?

— Пошлости? Если хочешь знать, меня просто стыд берет. Я тебе ни слова не говорила, но ты думаешь, мне приятно целый день глазеть на голых баб?

— Неужели у тебя совсем нет чувства юмора? — сухо спросил он.

— При чем тут чувство юмора? Вот возьму да и сниму их сама. Гадость это, и больше ничего, вот что я тебе скажу.

— А меня не интересует, что ты скажешь. Я запрещаю тебе трогать эти рисунки.

Когда Милдред на него злилась, она вымещала злость на ребенке. Девочка привязалась к Филипу не меньше, чем он к ней, и величайшим ее удовольствием было забираться по утрам к нему в комнату (ей шел второй год, и она довольно хорошо ходила) и влезать с его помощью к нему на постель. Когда Милдред ей это запретила, бедная девчушка горько расплакалась. В ответ на уговоры Филипа Милдред отвечала:

— Я совсем не желаю, чтобы она привыкала бог знает к чему.

А если он продолжал настаивать, она добавляла:

— Не твое дело, это мой ребенок. Послушать тебя, можно подумать, что ты ей отец! Я мать, и мне виднее, что ей можно и чего нельзя!

Ее глупость раздражала Филипа, но теперь он был так равнодушен к Милдред, что ей редко удавалось вывести его из себя. Он привык к ней. Наступило рождество, а с ним — несколько свободных дней для Филипа. Он принес ветки остролиста и украсил ими комнаты, а в рождественское утро сделал Милдред и ребенку маленькие подарки. Традиционная индюшка была бы слишком велика для двоих, — Милдред зажарила цыпленка и разогрела рождественский пудинг, купленный в соседней лавке. Они разорились на бутылку вина. После обеда Филип закурил трубку и устроился в кресле у огня; захмелев с непривычки, он забыл на время о денежных заботах, которые не покидали его теперь ни на минуту. Он испытывал полное довольство. Вошла Милдред; она сказала, что ребенок хочет поцеловать его на ночь, и, улыбнувшись, он пошел к ней в спальню. Филип велел девочке спать, потушил газ и, оставив на всякий случай дверь открытой, вернулся в гостиную.

— Куда ты хочешь сесть? — спросил он у Милдред.

— Ты сиди в кресле. Я сяду на пол.

Когда он уселся, она устроилась у огня, прислонившись к его коленям. Он вспомнил, что так они сидели в ее квартирке на Воксхолл-Бридж-роуд, но теперь роли переменились; тогда на полу сидел он, и его голова покоилась на ее коленях. Как страстно он в то время ее любил! В нем пробудилась нежность, какой он давно к ней не чувствовал. На шее у себя он все еще ощущал мягкие ручки ребенка.

— Тебе удобно? — спросил он.

Она подняла на него глаза, чуть улыбнулась и кивнула.

Мечтательно глядели они на огонь, не говоря ни слова. Потом она повернулась и посмотрела на него с любопытством.

— Знаешь, — сказала она вдруг, — ты ведь не поцеловал меня ни разу с тех пор, как я сюда переехала.

— А тебе этого хочется? — улыбнулся он.

— Наверное, я тебе больше не нравлюсь?

— Я к тебе очень привязан.

— Ты куда больше привязан к ребенку.

Он не ответил, и она прижалась щекой к его руке.

— Ты на меня больше не сердись? — спросила она, не поднимая глаз.

— За что я на тебя должен сердиться?

— Я никогда не любила тебя так, как сейчас. Только пройдя через огонь, я научилась тебя любить.

Филипа передернуло, когда он услышал эту фразу: Милдред явно вычитала ее из дешевых романов, которые поглощала пачками. Он подумал о том, имеют ли эти слова для нее какой-нибудь смысл — может быть, она просто не умеет выразить свои чувства, не прибегая к высокопарному языку «Фэмили геральд».

— Странно жить вместе так, как мы живем.

Он долго не отвечал, и снова наступило молчание; наконец он заговорил, словно никакой паузы не было:

— Не сердись на меня. Тут уж ничего не поделаешь. Помню, я считал тебя злой и жестокой потому, что ты поступала так, как тебе хотелось, но это было глупо с моей стороны. Ты меня не любила, и попрекать тебя этим нелепо. Мне казалось, я сумею заставить тебя полюбить, но теперь я знаю, что это было невозможно. Понятия не имею, откуда берется любовь, но откуда бы она ни бралась, в ней-то все и дело, а если ее нет, нельзя ее вызвать ни лаской, ни великодушием, ни чем бы то ни было еще.

— А я думаю, что если бы ты когда-нибудь меня любил, то, наверно, любил бы и сейчас.

— Я тоже так думал. Помню, мне казалось, что любовь моя будет вечной и лучше умереть, чем жить без тебя; мне даже хотелось, чтобы поскорей наступило время, когда ты увянешь, постареешь, никому больше не сможешь нравиться и будешь только моей.

Милдред промолчала, но скоро она поднялась и сказала, что ложится спать.

Она робко улыбнулась.

— Сегодня рождество, Филип, неужели ты не поцелуешь меня на прощание?

Он рассмеялся, чуть-чуть покраснел и поцеловал ее. Она ушла к себе в спальню, а он взялся за книгу.

ГЛАВА 96

Кризис наступил через две или три недели. Поведение Филипа довело Милдред до полного иступления. В ней боролись самые противоречивые чувства, и она легко переходила от одного настроения к другому. Милдред подолгу оставалась одна, угрюмо размышляя о своем положении. Она не смогла бы выразить своих ощущений словами, да и не отдавала себе в них ясного отчета, но некоторые обстоятельства приобретали в ее глазах преувеличенное значение, и она не переставала о них думать. Милдред никогда не понимала Филипа, и он ей не особенно нравился, но ей приятно было иметь с ним дело — она считала его джентльменом. Ей очень импонировало, что его отец был врачом, а дядя священником. Она его немножко презирала за то, что он позволял ей водить себя за нос, и в то же время ей всегда было как-то не по себе в его обществе — с ним ей приходилось все время следить за собой; она чувствовала, что ему не нравятся ее манеры.

В первые дни, когда она только что переехала в маленькую квартиру в Кеннингтоне, она была сама не своя от усталости и стыда. Она радовалась, что ее не трогают. Хорошо было не думать о том, что надо платить за квартиру, надо выходить на улицу в любую погоду, можно спокойно полежать в постели, если тебе нездоровится. Прошлая жизнь ей была ненавистна. До чего же противно быть услужливой и подбострастной! Она и теперь еще плакала от жалости к себе, вспоминая грубость мужчин и невоздержанность их речи. Впрочем, она вспоминала об этом не

часто. Милдред была признательна Филипу за то, что он ее спас, а когда ей приходило на память, как искренне он ее любил и как плохо она с ним обошлась, она даже испытывала угрызения совести. Вознаградить его было так просто. Ей бы это ничего не стоило. Она удивилась, когда он не ответил на ее заигрывание, но сперва только пожалала плечами: пусть себе задается, если хочет,—ей все равно; скоро сам будет к ней приставать, тогда придет ее черед капризничать; если он думает, что для нее это такое уж лишение, он жестоко ошибается. Милдред не сомневалась в своей власти над ним. Он был чудак, но она знала его как облупленного. Он часто с ней ссорился и клялся, что никогда больше не придет, но через несколько дней ползал на коленях, моля о прощении. Ей очень приятно было вспоминать, что он перед ней пресмыкался. Он готов был целовать землю, по которой она ступала. Она видела его в слезах. Она-то уж знает, как с ним себя вести,—не обращать на него никакого внимания; делать вид, будто не замечаешь его вспышек; безжалостно оставлять его одного. Глядишь, и он снова будет валяться у нее в ногах. Она добродушно посмеивалась втихомолку, думая о том, как он, бывало, унижался перед ней. Теперь она перебесилась. Она уже знала мужчин и больше не желала иметь с ними дело. Ничего, теперь для нее сойдет и Филип. В конце концов он джентльмен в полном смысле слова, а это ведь теперь редкость. Так или иначе ей некуда торопиться, и она навязываться не будет. Ее радовало, что он так нежен к ребенку, хоть это ее порядком и забавляло: смешно, что чужой ребенок ему так дорог. Да, он чудак, форменный чудак.

Но кое-что ее удивляло. Она привыкла, чтобы он ей угождал; в прежние дни он готов был ради нее на все; одно ее слово могло повергнуть его в уныние или привести в восторг. За последний год он переменялся, и, по ее мнению, далеко не к лучшему. Ей и в голову не приходило, что перемена могла коснуться его чувств; она была уверена, что он только делает вид, будто не обращает внимания на ее дурное настроение. Иногда ему хотелось читать, и он просил ее помолчать; она не знала, рассердиться ей или надуться, и от неподдельного удивления не делала ни того, ни другого. Затем произошел разговор, в котором он сообщил ей, что их отношения должны остаться платоническими; вспомнив один эпизод из прошлого, она решила, что он боится, как бы она не забеременела. Милдред постаралась его успокоить. Но это не помогло. Такой женщине, как она, трудно было поверить, что мужчина может

быть равнодушен к вопросам пола, которые ее поглощали целиком; в ее жизни отношения с мужчинами были вполне определенными: она не могла допустить, что у мужчин могут быть и другие интересы. Ей даже пришло в голову, что Филип влюбился; она стала следить за ним, подозревая сестер в больнице и женщин, с которыми он встречался на стороне, но искусные расспросы привели ее к выводу, что в семействе Ательни не крылось никакой опасности; она убедилась также и в том, что Филип, подобно большинству медиков, просто не считает сестер, с которыми сталкивается на работе, женщинами. Ему казалось, что от них слегка пахнет йодоформом. Филип не получал писем и не хранил женских фотографий. Если он в кого-нибудь и влюбился, он очень ловко это скрывал: на все вопросы Милдред он отвечал с полной откровенностью, по-видимому не подозревая у нее никаких задних мыслей.

«Как-то не похоже, что он влюбился в другую», — сказала она себе в конце концов.

Это ее утешило: в таком случае он, разумеется, все еще любит ее, но его поведение становилось тогда совершенно загадочным. Если он собирается обходиться с ней таким образом, зачем он предложил ей переселиться к нему? Это было противоестественно. Такие понятия, как жалость, благородство или доброта, были ей недоступны. Все ее рассуждения сводились к тому, что Филип чудак. Потом она вообразила, что он корчит из себя рыцаря; ее голова была забита ходульными сентенциями из бульварных романов, и она находила возвышенные объяснения тому, как он себя ведет. Ее воображение было напичкано историями роковых недоразумений между влюбленными и очищения огнем, образами угнетенной невинности, замерзающей на улице в студеную рождественскую ночь. Она твердо решила положить конец его глупостям во время поездки в Брайтон: они останутся одни, все будут считать их мужем и женой, а кроме того, там будут прогулки по берегу моря и оркестр. Когда она убедилась в том, что Филипа нельзя заставить спать с ней в одной комнате, а он заговорил с ней тоном, какого она никогда еще от него не слышала, Милдред вдруг поняла, что он и в самом деле к ней равнодушен. Это ее потрясло. Она вспомнила все, что он говорил ей когда-то и как самозабвенно ее любил. Она была вне себя от унижения и злобы, но ей помогла врожденная наглость. Пусть не воображает, будто она в него влюблена, — как бы не так! Порой она его ненавидела, ей до смерти хотелось его унижить, но она чувствовала себя совершенно беспомощной:

она больше не имела над ним власти. Понемногу он стал действовать ей на нервы. Разок-другой она поплакала. Разок-другой постаралась быть с ним особенно ласковой; но, как только она брала его под руку, когда они прогуливались по вечерам вдоль пляжа, он находил какой-нибудь предлог, чтобы освободить свою руку, точно ее прикосновение было ему противно. Все это казалось ей просто неподаваемым. Она сохраняла некоторое влияние на него только благодаря ребенку, к которому он, по-видимому, все больше и больше привязывался: стоило ей шлепнуть или толкнуть девочку, и он белел от злости; былая нежность появлялась в его глазах только тогда, когда он видел ее с ребенком на руках. Она это заметила, когда ее снимал фотограф на пляже, и потом часто брала при Филипе ребенка на руки.

Когда они вернулись в Лондон, Милдред стала искать работу, которую, как она уверяла, совсем нетрудно было найти. Теперь она не хотела больше зависеть от Филипа; она предвкушала, с каким торжеством объявит ему, что переезжает от него в собственную комнату и забирает ребенка. Но, когда дошло до дела, у нее на это не хватило духу. Она отвыкла от долгого рабочего дня, ей не хотелось быть на побегушках у заведующей, и все ее нутро бунтовало при мысли, что ей снова придется надеть форму. Соседям она объяснила, что они с Филипом люди состоятельные; она уронит себя в их глазах, если станет известно, что ей пришлось поступить на работу. Сказалась и ее врожденная лень. Она и не думала уходить от Филипа: к чему это, пока он согласен ее содержать? Правда, с деньгами у них было туговато, но кровом и пищей она была обеспечена, а его дела могли измениться к лучшему. Его дядя уже старик, может умереть каждый день, и тогда Филипу кое-что останется; впрочем, даже сейчас ей жилось лучше, чем если бы она надрывалась с утра до ночи за несколько жалких шиллингов в неделю. Милдред относилась к поискам работы с прохладцей; она еще продолжала читать объявления в газете, но только для того, чтобы показать, как она хочет трудиться, если, конечно, подвернется что-нибудь стоящее. По временам ее охватывал страх, что Филипу надоест ее содержать. У нее сейчас не было над ним никакой власти, и она считала, что он разрешает ей оставаться здесь только из любви к ребенку. Эта черная мысль точила ее беспрестанно; она клялась себе, что в один прекрасный день заплатит ему за все. Разве можно примириться с тем, что он ее больше не любит? Но она его заставит! Самолюбие ее было задето,

и порою ее до странности тянуло к Филипу. Он был так холоден, что она готова была рвать и метать. Теперь она думала о нем беспрестанно. Она считала, что он к ней плохо относится, и не понимала, в чем ее вина. Она то и дело твердила себе, что протвиеостественно жить так, как живут они. Ей казалось, что, если бы дело обстояло иначе и она бы забеременела, он бы непременно на ней женился. Каким бы он ни был чудачком, он был джентльменом в полном смысле слова. Этого у него не отнимешь. В конце концов эта мысль превратилась у нее в навязчивую идею — она твердо решила добиться перемены в их отношениях. Он ее даже не целовал, а ей этого хотелось: она еще помнила горячее прикосновение его губ. Воспоминания непривычно ее волновали. Она подолгу не сводила глаз с его рта.

Однажды вечером в начале февраля Филип сказал ей, что пойдет обедать к Лоусону — тот устраивал в мастерской вечеринку по случаю дня рождения — и вернется поздно; Лоусон купил в кабачке на Бик-стрит несколько бутылок их любимого пунша, и они надеялись весело провести вечер. Милдред спросила, будут ли там женщины, Филип ответил, что приглашены только мужчины; они просто посидят, поболтают и покурят. Милдред казалось, что им будет не очень-то весело; будь она художником, она непременно пригласила бы с полдюжины натурщиц. Она легла спать, но заснуть не могла, и вдруг ее осенило: она встала и заперла входную дверь на задвижку. Филип вернулся около часа ночи. Милдред услышала, как он выругался, найдя дверь запертой. Она поднялась с постели и открыла дверь.

— Зачем ты заперлась? — сказал он. — Извини, что я тебя поднял.

— Я оставила дверь открытой. Понять не могу, что с ней случилось.

— Иди скорей обратно в постель, а то простудишься.

Он вошел в гостиную и зажег газ. Она последовала за ним и подошла к камину.

— Хочу погреть ноги. Они совсем заledenели.

Он сел и стал снимать ботинки. Глаза его блестели, щеки пылали. Она подумала, что он выпил.

— Тебе было весело? — спросила она с улыбкой.

— Да, я чудесно провел время.

Филип был совершенно трезв, но все еще возбужден веселыми разговорами и смехом. Этот вечер напомнил ему жизнь в Париже. У него было отличное настроение. Он вынул из кармана трубку и набил ее.

— Разве ты не собираешься лечь? — спросила она.

— Пока нет. Сна ни в одном глазу. Лоусон был велико-лепен. С самого моего прихода и до конца вечера он слова никому не дал сказать.

— О чем же вы говорили?

— А бог его знает о чем! Обо всем на свете. Поглядела бы ты, как мы кричали наперебой во все горло и никто друг друга не слушал.

Филип рассмеялся от удовольствия при одном воспоминании, и Милдред тоже рассмеялась. Она была уверена, что он выпил больше, чем следует. На это она как раз и рассчитывала. Уж она-то знала мужчин.

— Можно мне сесть? — спросила она.

Не успел он ответить, как она уже сидела у него на коленях.

— Если ты не собираешься ложиться, тебе лучше накинуть халат, — заметил он.

— Ничего, мне приятно и так. — Обняв его за шею и прижавшись щекой к его щеке, она спросила: — Отчего ты со мной такой нехороший?

Он попытался встать, но она его не пустила.

— Я люблю тебя, Филип.

— Не болтай чепухи.

— Это не чепуха, это правда. Я без тебя жить не могу. Я хочу тебя.

Он освободился от ее объятий.

— Пожалуйста, отойди. Не валяй дурака и не ставь меня в идиотское положение.

— Я люблю тебя, Филип. Я тебе сделала много плохого, дай мне это загладить. Так больше продолжаться не может, это противно человеческой натуре.

Ему удалось соскользнуть с кресла, и она осталась одна.

— Поздно!

Она разразилась душераздирающими рыданиями.

— Но почему? Как ты можешь быть таким жестоким?

— Наверно, я тебя слишком любил. Страсть перегорела без остатка. Самая мысль о близости приводит меня в ужас. Я не могу на тебя сейчас смотреть, не вспоминая и Эмиля, и Гриффитса. Тут уж ничего не поделаешь: наверно, все дело в нервах.

Она схватила его руку и осыпала ее поцелуями.

— Не смей! — закричал он.

Она снова упала в кресло.

— Я больше так не могу. Если ты меня не любишь, я лучше уйду.

— Не дури, тебе некуда уйти. Можешь тут жить сколько захочешь, но лишь при одном условии: мы будем друзьями, и только.

Тогда она вдруг перестала изображать неуголенную страсть и засмеялась мягким, вкрадчивым смешком. Подбежав к Филипу, она прижалась к нему. Голос ее стал тихим и заискивающим.

— Ну, не будь же глупышкой! Ты, видно, просто боишься. Ты еще не знаешь, какой я могу быть хорошей.

Она потерлась щекой о его лицо. Ее улыбка показалась Филипу отвратительным оскалом, а чувственный блеск ее глаз вызвал у него ужас. Он отшатнулся.

— Ни за что! — сказал он.

Но она его не отпускала. Ее губы искали его рот. Он схватил ее руки, с силой оторвал их от себя, оттолкнув ее прочь.

— Ты мне противна, — сказал он.

— Я?

Чтобы удержаться на ногах, она схватилась одной рукой за каминную полку. Мгновение она смотрела на него молча, на щеках у нее выступили красные пятна. Она грубо и злобно захохотала.

— Ах, это я тебе противна?..

Она остановилась, перевела дух, а потом вылила на него целый поток бешеной брани. Она кричала истошным голосом. Она ругала его всеми похабными словами, какие могла припомнить. Она выкрикивала такие непристойности, что просто ошеломила Филипа: она ведь всегда была до того жеманной и так возмущалась всякой грубостью, — ему и в голову не приходило, что ей известна такая грязная ругань. Она подбежала и приблизила свое лицо чуть не вплотную к его лицу. Черты ее были искажены ненавистью, она захлебывалась и брызгала слюной.

— Я тебя никогда не любила, ни единой минуты, и только водила тебя за нос, с тобой была такая тоска, у меня от тебя челюсти сводило со скуки, я тебя ненавидела, я бы не позволила тебе и пальцем меня коснуться, если бы не деньги: меня мутило, когда ты меня целовал, как мы над тобой смеялись, Гриффитс и я! Какой же ты был болван! Болван! Болван!

И она снова разразилась отвратительной руганью. Она обвиняла его во всех пороках; кричала, что он скупердй, сквалыга, что с ним помрешь от тоски, что он чванный эгоист. Она злобно насмеялась над всем, что ему было дорого. Наконец она повернулась к двери, истерически

выкрикивая обидные, грязные слова. Схватившись за ручку двери, она распахнула ее настежь. Потом повернулась и бросила ему в лицо оскорбление, которое, как она знала, одно только и могло причинить ему боль. Она вложила в это слово всю свою ярость, весь свой яд. Она выплюнула ему в лицо:

— Калека!

ГЛАВА 97

Наутро Филип вскочил как ужаленный, чувствуя, что проспал, и, взглянув на часы, увидел, что уже девять. Он встал и побежал на кухню за горячей водой для бритья. Милдред не было видно, вчерашняя посуда лежала невымытой в раковине. Он постучал к ней в дверь.

— Милдред, проснись. Уже очень поздно.

Но она не отозвалась, даже когда он постучал громче, и Филип решил, что она дуется. Он слишком спешил, чтобы с ней объясняться. Поставив кипятить воду, он окунулся в ванну — ее всегда наливали с вечера, чтобы вода успела согреться. Филип рассчитывал, что, пока он одевается, Милдред приготовит завтрак и накроет стол в гостиной. Она так поступала и раньше, когда бывала не в духе. Но в квартире была тишина, Милдред не было слышно, и Филип понял, что, если он хочет позавтракать, ему надо позаботиться о еде самому. Он рассердился, что она подводит его как раз в то утро, когда он проспал. Филип уже оделся, а Милдред все не показывалась, хотя и слышно было, как она ходит у себя в комнате. По-видимому, она вставала. Он приготовил себе чай и хлеб с маслом, проглотил завтрак, пока надевал ботинки, спустился с лестницы и переулком выбежал на улицу, где останавливался его трамвай. Глазами он пробежал газетные афиши у киосков, где печатались сообщения с театра войны, но мысли его были поглощены ночной ссорой. Теперь, когда он выспался и отошел, вся сцена показалась ему карикатурной; наверно, он и сам был изрядно смешон, но ведь чувству не прикажешь, а в ту минуту он целиком был во власти своих чувств. Он был зол на Милдред за то, что она поставила его в такое дурацкое положение; потом снова с удивлением припомнил ее припадок ярости и площадную брань; оскорбление, брошенное ею напоследок, и сейчас заставило его покраснеть, но он сразу же презрительно пожал плечами. Он давно знал, что всякий, кто на него сердится, не упустит случая поиздеваться над его хромотой. В больнице он не раз

подмечал, как люди передразнивают его походку, — правда, не открыто, как когда-то в школе, а у него за спиной. Теперь он понимал, что тут даже нет злого умысла, просто человек — животное, склонное к подражанию, да и чем еще так легко рассмешить окружающих? Филип все понимал, но примириться с этим не мог.

Он с удовольствием окупился в работу. Палата показалась ему приветливой и уютной. Сестра, встретив его, деловито улыбнулась.

— Вы сегодня здорово опоздали, мистер Кэри.

— Кутнул вчера вечером.

— Оно и видно.

— Благодарю.

Посмеиваясь, он подошел к первому из своих больных — мальчику, страдавшему волчанкой, — и снял повязку. Мальчик обрадовался, а Филип, накладывая свежую повязку, стал над ним подшучивать. Филип был любимцем всей палаты: он ласково обращался с больными, и у него были нежные чуткие руки, которые не причиняли боли, — другие практиканты бывали грубоваты и недостаточно внимательны. Филип поел с приятелями в студенческой столовой; его скромная трапеза состояла из булочки с маслом, которую он запил чашкой какао; разговор шел о войне. Кое-кто из бывших студентов отправился на фронт, но военные власти были придирчивы и не брали тех, кто не прошел практики в больнице. Один из собеседников высказал мысль, что, если война затянется, будут рады каждому, кто имеет диплом врача. Но, по мнению всех, война должна была через месяц кончиться; теперь, когда там появился фельдмаршал Робертс, дела быстро пойдут на лад. Такого же мнения держался и Макалистер; он сказал Филипу, что им следует быть начеку и купить акции до того, как будет заключен мир. Тогда на бирже непременно поднимется паника и они смогут подзаработать. Филип поручил Макалистеру купить ему акции, как только подвернется подходящий случай. Тридцать фунтов стерлингов, доставшиеся ему летом, разожгли его аппетит, и теперь ему хотелось увеличить свой капитал еще сотни на две.

Кончив работу, он вернулся на трамвае в Кеннингтон. Его интересовало, как будет вести себя в этот вечер Милдред. Противно, если она решит дуться и перестанет с ним разговаривать. Вечер был теплый не по сезону, и даже на безрадостных улицах южного Лондона чувствовалось весеннее томление: в феврале природа полна беспокойства после долгих месяцев зимы, растения просыпаются от сна и даже

в самой земле словно слышится шорох — предвестник весны, пробуждения, начало извечного круговорота. Филип охотно поехал бы дальше: ему противно было возвращаться домой и хотелось подышать воздухом, но внезапно его охватило такое желание увидеть ребенка, что даже сердце заныло; он улыбнулся, представляя себе, как девочка, радостно лепеча, заковыляет ему навстречу. Его удивило, когда, дойдя до дома и машинально взглянув на свои окна, он не увидел в них света. Он поднялся по лестнице и постучал — никто не откликнулся. Когда Милдред уходила из дому, она оставляла ключ под половиком, там он его и нашел. В гостиной он зажег спичку. Что-то случилось, он не сразу понял, что именно; он зажег газ — свет залил комнату, и он огляделся. У него замерло сердце. Квартира была разгромлена. Все, что в ней находилось, было намеренно уничтожено. Вне себя от ярости он бросился в комнату Милдред. Там было темно и пусто. Он зажег свет и увидел, что нет ни ее вещей, ни вещей ребенка (входя в квартиру, он заметил, что на площадке не было детской коляски, но подумал, что Милдред пошла с ребенком погулять). Все вещи на умывальнике были разбиты, сиденья обоих стульев разрезаны крест-накрест ножом, подушка вспорота, в простынях и одеяле прорваны огромные дыры, зеркало, по-видимому, расколото молотком. Филип был потрясен. Он прошел в свою комнату — там тоже царил хаос. Таз и кувшин были разбиты, зеркало — в осколках, постельное белье превращено в лохмотья. Милдред проковыряла в подушке дыру, в которую можно было просунуть руку, и пустила пух по всей комнате. Одеяло она истыкала ножом. На туалетном столике стояли фотографии матери Филипа — рамки были сломаны, стекла разлетелись вдребезги. Филип заглянул в кухню. То, что можно было разбить, было разбито — стаканы, формы для пудинга, тарелки, блюда...

Филип был ошеломлен. Милдред не оставила даже письма — свою ярость она выразила этим разгромом; он представил себе ее застывшее лицо, когда она все это проделывала. В гостиной он огляделся снова. Он был так изумлен, что уже не сердился. С любопытством он разглядывал кухонный нож и угольный молоток, забытые ею на столе. Потом он заметил в камине большой столовый нож — он тоже был сломан. Милдред понадобилось немало времени, чтобы все это уничтожить! Его портрет, нарисованный Лоусоном, зиял со стены уродливыми отверстиями, изрезанный крест-накрест. Его собственные рисунки были искромсаны на куски; фотокопии «Олимпии» Мане, «Одалиски»

Энгра и «Филиппа IV» — уничтожены ударами угольного молотка. Скатерть, занавески, сиденья обоих кресел — все было в дырах. Вся обстановка была вконец испорчена. Над столом, за которым занимался Филип, висел на стене маленький персидский коврик, подаренный ему Кроншоу. Милдред терпеть его не могла.

— Если это ковер, ему место на полу, — говорила она, — но это просто грязная, вонючая тряпка, вот и все.

Ее бесило, когда Филип ей говорил, что коврик содержит загадку величайшей тайны. Она думала, что он над ней издевается. Она трижды распоролa ножом персидский коврик — это потребовало с ее стороны немалых усилий, — и теперь от него остались лоскутья. У Филипа было несколько белых с синим тарелок; они не представляли никакой ценности, он покупал их по одной, очень дешево, но у него были связаны с ними дорогие воспоминания. Пол был усеян их осколками. Корешки книг были изрезаны ножом, и Милдред не поленилась вырвать листы из переплетенных французских книг. Осколки безделушек с камина валялись в очаге. Все, что могли истребить нож и молоток, было истреблено.

Пожитки Филипа нельзя было бы продать и за тридцать фунтов, но его связывала с ними долгая дружба; Филип был домоседом и привязался к своим вещам потому, что они окружали его постоянно; он гордился своим скромным жилищем и, почти ничего не истратив, сделал его уютным и не таким, как у других. Он в отчаянии опустился в кресло, спрашивая себя, как она могла таить в себе столько жестокости. Внезапный страх заставил его вскочить и броситься в коридор, где стоял шкаф с одеждой. Открыв его, он вздохнул с облегчением. Вероятно, Милдред о нем забыла, и одежда осталась нетронутой.

Вернувшись в гостиную и обозревая царящий в ней хаос, Филип раздумывал, что ему делать. У него не хватило духа взяться за уборку; к тому же в доме не было еды, а ему хотелось есть. Он вышел что-нибудь купить. По дороге он успокоился. Только при мысли о ребенке у него сжималось сердце: он подумал, будет ли девочка по нем скучать; сперва немножко поскучает, а через неделю забудет; зато он был рад, что избавился от Милдред. Мысль о ней вызывала у него не зlobу, а невыносимую скуку.

— Дай бог, чтобы я никогда ее больше не увидел, — произнес он вслух.

Ему оставалось только отказаться от квартиры, и он решил заявить об этом на следующее же утро. У него не

хватило бы средств привести все в прежний вид, к тому же денег оставалось так мало, что пора было подыскать квартиру еще дешевле. Ему хотелось отсюда уехать. Его давно уже тревожило, что он много платит за квартиру, а теперь с этими стенами было связано воспоминание о Милдред. Филип был человек нетерпеливый и не знал покоя, пока не осуществлял того, что задумал; на следующий же день он пригласил торговца старой мебелью, который предложил ему три фунта за все его испорченное и целое имущество; через два дня он переселился в тот дом напротив больницы, где снимал комнаты, когда поступил в институт. Хозяйка этого дома была славная женщина. Он занял комнату под самой крышей за шесть шиллингов в неделю; это была крошечная каморка с одним окном, выходящим на соседний двор, но теперь все его пожитки состояли из одежды и ящичка с книгами, и он радовался, что устроился дешево.

ГЛАВА 98

А затем случилось так, что на судьбе Филипа Кэри, которая имела значение только для него самого, отразились события, захватившие всю его страну. В те дни творилась история, в борьбу вступили грозные силы — казалось бы, что им за дело до жизни незаметного студента-медика? Сражение за сражением — Магерсфонтейн, Коленсо, Спайон-Коп — были проиграны золотой молодежью; эти поражения унизили нацию и нанесли смертельный удар престижу аристократии и поместных дворян, хотя до тех пор никто не решался оспаривать их утверждение, будто они одни обладают даром управлять страной. Старый режим был сметен: да, в эти дни и в самом деле творилась история. Потом колосс собрался с силами и, все еще тычась вслепую, припелся наконец к некоему подобию победы. Кронье сдался у Пардеберга, была снята осада с Ледисмита, и в начале марта лорд Робертс вступил в Блумфонтейн.

Через два-три дня после того, как эти вести достигли Лондона, Макалистер появился в кабачке на Бик-стрит с радостным сообщением, что дела на бирже пошли веселее. Мир был не за горами — не пройдет и нескольких недель, как Робертс возьмет Преторию; акции уже поднимались. Биржевой бум был неизбежен.

— Настало время действовать, — сказал он Филипу. — Нечего ждать, пока публика раскачается. Теперь или никогда!

У Макалистера была своя информация. Управляющий одной из южноафриканских золотых копей телеграфировал главе своей фирмы, что рудник не пострадал. Работа начнется, как только будет возможно. Поместить деньги в это дело было не спекуляцией, а капиталовложением. В доказательство того, какого высокого мнения был об этом сам глава фирмы, Макалистер сообщил Филипу, что тот купил по пятьсот акций двум своим сестрам, а он никогда не вкладывал их денег в предприятие, если оно не было таким же надежным, как Английский банк.

— Я сам вложу в эти бумаги все, до последней рубашки,— сказал Макалистер.

Акции котировались от двух фунтов с восьмой до двух фунтов с четвертью. Биржевой маклер советовал Филипу не жадничать и удовольствоваться повышением в десять шиллингов. Макалистер покупал себе триста акций и предлагал Филипу приобрести столько же. Придержав акции, Макалистер продаст их, когда сочтет нужным. Филип безгранично верил в Макалистера, отчасти потому, что тот был шотландцем и обладал природной шотландской осторожностью, отчасти же потому, что все его предсказания до сих пор сбывались. Он ухватился за предложение маклера.

— Я полагаю, что мы сумеем продать акции до двухнедельного подведения итогов,— сказал Макалистер.— Если же нет, я устрою, чтобы ваш платеж перенесли на следующий срок.

Такая процедура показалась Филипу превосходной. Надо только выждать, и ты получишь свою прибыль, даже деньги выкладывать не придется. Он стал с жадным интересом следить за биржевым отделом газеты. На следующий день акции немного поднялись, и Макалистер известил его письмом, что пришлось заплатить за акцию по два фунта с четвертью. Маклер писал, что рынок устойчив. Но через день-другой произошла заминка. Известия, поступающие из Южной Африки, стали менее утешительными, и Филип с тревогой увидел, что его акции упали до двух фунтов. Но Макалистер был полон оптимизма: буры не могли долго продержаться, он готов был прозакладывать все и вся, что Робертс вступит в Йоганнесбург раньше середины апреля. При подведении итогов Филип потерял почти сорок фунтов. Это его не на шутку встревожило, но он решил, что отступать уже поздно: в его нынешнем положении такая потеря была бы слишком чувствительной. Две-три недели прошли без всяких происшествий: буры никак не хотели понять, что они разбиты и должны сдаться

на милость победителя; наоборот, они выиграли два небольших сражения, и акции Филипа упали еще на полкроны. Стало ясно, что война пока еще не кончена. Акции распродавались всюду. Когда Макалистер в следующий раз встретился с Филипом, он был настроен пессимистически.

— Не знаю, может, лучше примириться с потерей, — сказал он. — Я уже выплатил на разнице больше, чем рассчитывал.

Филипа пожирала тревога. Он не спал по ночам, проглатывал наспех завтрак, состоявший теперь из куска хлеба с маслом и чашки чая, и бежал в студенческую читальню, чтобы поскорее просмотреть газету; порой вести были плохими, порой их не было вовсе, но если курс акций менялся, он менялся только в сторону понижения. Филип не знал, что делать. Продать акции сейчас означало потерять почти триста пятьдесят фунтов; у него осталось бы в кармане всего восемьдесят. Он от всей души жалел, что по глупости впутался в биржевую игру, но теперь оставалось только держаться: со дня на день что-нибудь может случиться и акции поднимутся; он уже не надеялся на выигрыш, а хотел только вернуть вложенные деньги. На это была вся надежда. Ему надо было кончить институт. В мае начиналась летняя сессия, и он собирался сдать экзамены по акушерству. Тогда ему останется только год; он произвел тщательные подсчеты и пришел к выводу, что, внося плату за учение, он сможет дотянуть, имея сто пятьдесят фунтов; но уже меньше никак нельзя!

В начале апреля он отправился в кабачок на Бик-стрит, надеясь встретить там Макалистера. Разговоры с ним его немножко успокаивали; когда он думал о том, что тысячи людей потеряли не меньше, чем он, своя беда казалась ему не такой невыносимой. Но, придя в кабачок, он нашел там только Хейурда, и не успел Филип сесть за стол, как тот объявил:

— В воскресенье отплываю в Южную Африку.

— Да ну? — поразился Филип.

Он меньше всего ожидал подобного поступка от Хейурда. Из больницы уезжало теперь на войну много врачей — власти были рады заполучить всякого, кто имел медицинское образование; студенты, ушедшие на войну рядовыми, писали, что, как только выяснялось, чему они прежде обучались, их тут же определяли в госпитали. Страну захлестнула волна патриотического подъема; в армию вступали добровольцы из всех слоев общества.

— Кем же вы едете? — спросил Филип.

— Я поступил в Дорсетский добровольческий кавалерийский полк. Рядовым.

Филип был знаком с Хейуордом уже восемь лет. Юношеской близости, начавшейся с восторженного увлечения человеком, способным приобщить его к искусству и литературе, давно как не бывало; на смену ей пришла привычка: когда Хейуорд бывал в Лондоне, они встречались раза два в неделю. Хейуорд по-прежнему (с тонким чутьем) рассуждал о книгах. Но Филип все еще был нетерпим, и беседы с Хейуордом часто его раздражали. Он уже не верил так слепо, как раньше, что все на свете, кроме искусства,— глени суета! Его бесило презрительное отношение Хейуорда к любой деятельности, ко всякому успеху. Помешивая свой пунш, Филип вспомнил былую дружбу и свою горячую веру в то, что Хейуорду суждено великое будущее; он давно утратил эту иллюзию и знал, что Хейуорд способен лишь на болтовню. В тридцать пять лет Хейуорду труднее было прожить на триста фунтов в год, чем тогда, когда он был молодым человеком; одежду свою, хоть и по-прежнему заказанную у хорошего портного, он носил куда дольше, чем счел бы приличным в юности. Хейуорд растолстел, и даже самая искусная прическа не могла скрыть того прискорбного факта, что он польсел. Его голубые глаза выцвели и потеряли свой блеск. Нетрудно было догадаться, что он слишком много пьет.

— Что же все-таки побуждает вас отправиться на войну? — спросил его Филип.

— Сам не знаю. Мне показалось, что так надо.

Филип молчал. Ему почему-то было неловко. Он понял, что Хейуорда влекла душевная тревога, в которой он и сам не отдавал себе отчета. Какой-то внутренний импульс вынуждал его пойти сражаться за свою страну. Это было странно: ведь Хейуорд считал патриотизм предрассудком и, хвастаясь своим космополитизмом, смотрел на Англию как на место ссылки. Соотечественники, когда их было много, действовали ему на нервы. Филип задумался о том, что именно вынуждает людей поступать вопреки своим убеждениям. Для Хейуорда было бы естественно отойти в сторонку и с улыбкой наблюдать, как варвары истребляют друг друга. Да, видно, люди — и в самом деле только марионетки, которыми движет неведомая сила; иногда они прибегают к помощи разума, чтобы оправдать свои поступки, но, если это невозможно, они действуют наперекор рассудку.

— Странные существа люди, — сказал Филип. — Вот не ожидал, что вы пойдете в солдаты.

Хейуорд улыбнулся, почувствовав в свою очередь какою-то неловкость, и ничего не ответил.

— Вчера меня освидетельствовали,— сообщил он потом.— Это ужасно неприятно, но зато я узнал, что совершенно здоров.

В кабачке наконец появился Макалистер:

— Я хотел вас видеть, Кэри,— сказал он.— Фирма больше не желает держать эти акции — на бирже творится бог знает что. Придется вам их забрать.

У Филипа упало сердце. Он знал, что не может расплатиться. Оставалось только признать проигрыш. Гордость вынудила его ответить спокойно:

— Не знаю, стоит ли их брать. Лучше вы их продайте.

— Легко сказать «продайте». Еще вопрос, удастся ли это сделать. На бирже застой, покупателей нет.

— Но они котируются по фунту с восьмой.

— Ну да, но это ничего не значит. Столько вы за них сейчас не получите.

Филип помолчал. Он старался взять себя в руки.

— Вы хотите сказать, что они не стоят ни гроша?

— Нет, этого я не говорю. Конечно, чего-то они стоят, но их сейчас никто не покупает.

— Значит, продайте их, за сколько удастся.

Макалистер пристально посмотрел на Филипа. Он спрашивал себя, не слишком ли тяжел для него этот удар.

— Мне очень жаль, старина, но все мы в одинаковом положении. Кто же мог знать, что этой войне конца не будет. Я втянул вас в эту сделку, но и сам увяз в ней тоже.

— Что поделаешь! Риск — благородное дело.

Филип вернулся к своему столику. Он был совершенно убит; у него смертельно разболелась голова; но ему не хотелось, чтобы его считали тряпкой. Он просидел в кабачке еще час и неестественно хохотал над каждой шуткой. Наконец он поднялся.

— У вас завидное спокойствие,— сказал Макалистер, пожимая ему руку.— Кому же приятно потерять триста или четырехста фунтов?

Вернувшись в свою убогую комнатушку, Филип бросился на кровать; ему больше не надо было скрывать своего отчаяния. Он горько сожалел о своем безумстве; повторял себе, что жалеть о нем бессмысленно — ведь то, что случилось, было неизбежно, раз оно случилось,— но ничего не мог с собой поделать. Горе его не знало границ. Всю ночь он не сомкнул глаз. Он припоминал все ненужные траты, которые позволял себе в последние годы. Голова его раскалывалась от боли.

На следующий день к вечеру он получил выписку из своего счета. Он заглянул в свою банковскую книжку. После уплаты по обязательствам у него останется семь фунтов. Семь фунтов! Хорошо еще, что он вообще сможет расплатиться. Какой ужас, если бы ему пришлось признаться Макалистеру, что у него не хватает денег. Во время летнего семестра он проходил практику в глазном отделении и купил у одного из студентов офтальмоскоп. Филип за него еще не рассчитался, но у него не было мужества отказаться от покупки. К тому же ему нужны кое-какие книги. На жизнь оставалось всего около пяти фунтов. На эти деньги он протянул шесть недель. Потом он написал дяде письмо, которое показалось ему вполне деловым: он сообщал, что в связи с войной потерял много денег и не сможет продолжать учиться без его помощи. Он просил священника одолжить ему сто пятьдесят фунтов и высылать их равными частями в течение полутора лет. Филип обязывался вернуть их с процентами, как только начнет зарабатывать. Он получит диплом не позднее чем через полтора года, и тогда ему будет обеспечено место ассистента с жалованьем три фунта в неделю. Но дядя ответил, что ничем не сможет ему помочь; было бы несправедливо заставлять его самого продавать ценные бумаги, когда дела на бирже так плохи; его долг перед самим собою — сохранить на случай болезни то небольшое, что у него осталось. Письмо заканчивалось небольшой проповедью. Он неоднократно предупреждал Филипа, а тот не внимал его предостережениям; откровенно говоря, он ничуть не удивлен: он и раньше знал, к чему приведут Филипа мотовство и неуравновешенность.

Филип читал это письмо, и его бросало то в жар, то в холод. Он никак не предполагал, что дядя может ответить отказом, и теперь был вне себя от бешенства; но гнев сменился полной растерянностью: если дядя ему не поможет, как он будет продолжать учиться? В ужасе, отбросив всякую гордость, он снова, с еще большей настойчивостью написал блэкстеблскому священнику. Может быть, он не сумел объяснить как следует и дядя не понял, в какое отчаянное положение он попал. Но священник ответил, что не изменит своего решения: Филипу уже двадцать пять лет, и ему пора самому зарабатывать на хлеб. После его смерти Филипу достанется маленькое наследство, но до той поры он не получит ни гроша. Филип почувствовал в письме злорадство человека, который многие годы порицал его поведение и теперь получил доказательство своей правоты.

Филип стал закладывать одежду. Он урезал расходы, питаясь только два раза в день: утром он завтракал и в четыре часа ел хлеб с маслом, запивая его чашкой какао, с таким расчетом, чтобы не чувствовать голода до утра. Но часам к девяти вечера он бывал так голоден, что приходилось ложиться спать. Он подумывал занять денег у Лоусона, но его удерживала боязнь получить отказ; наконец он решился попросить у него пять фунтов. Лоусон одолжил их с удовольствием, но сказал при этом:

— Только, пожалуйста, верни через недельку, ладно? Мне надо расплачиваться с мастером за рамы, а я как раз сижу без гроша.

Филип знал, что не сможет вернуть долг; мысль о том, что подумает о нем Лоусон, так его мучила, что через несколько дней он принес деньги обратно, даже не притронувшись к ним. Лоусон шел обедать и пригласил его с собой. Филип столь обрадовался настоящей пище, что с трудом ее глотал. По воскресеньям он всегда мог рассчитывать на хороший обед у Ательни. Но он так и не решился рассказать им, что с ним стряслось: они считали его человеком обеспеченным, и Филип боялся, что, узнав правду, они станут хуже к нему относиться.

Хотя он всегда был беден, ему и в голову не приходило, что человек может жить впроголодь: с людьми его круга никогда ничего подобного не случалось; он испытывал теперь такой жгучий стыд, словно заразился дурной болезнью. Положение, в котором он очутился, было для него полной неожиданностью. Он так растерялся, что машинально продолжал посещать больницу — ничего другого он не мог придумать. В душе он питал смутную надежду, что дела его как-нибудь поправятся; ему просто не верилось, что все это правда; Филип вспомнил, как в первый год пребывания в школе ему часто казалось, что его жизнь — это только сон: вот он проснется и очутится снова дома. Но вскоре он понял, что через неделю останется без гроша. Нужно было немедленно попытаться найти какой-нибудь заработок. Если бы у него был диплом, он мог бы пойти на войну, несмотря даже на хромоту, — там была большая нужда в медиках. Не будь он калекой, он мог бы поступить в один из беспрерывно формировавшихся добровольческих кавалерийских полков. Он пошел к секретарю медицинского института и попросил порекомендовать его репетитором к одному из отстающих студентов, но секретарь не

подал ему никакой надежды. Филип читал объявления в медицинских журналах, он предложил свои услуги в качестве недипломированного ассистента владельцу амбулатории на Фулэм-роуд. Когда Филип к нему явился, он заметил, что врач покосился на его хроющую ногу; Филип не успел и рта открыть, как тот ему объявил, что у него недостает опыта. Филип понял, что это только отговорка: врач не хотел брать ассистента, которому трудно двигаться. Пришлось искать другого заработка. Он знал французский и немецкий и рассчитывал, что может найти конторскую работу; как ни тяжело ему было, он пошел на это, стиснув зубы; ничего другого ему не оставалось. Он слишком робел, чтобы самому ходить по объявлениям, и написал несколько писем; однако у него не было ни опыта, на который он мог бы сослаться, ни рекомендаций; он понимал, что его знание языков не распространяется на область коммерции — деловые термины были ему неизвестны; он не умел ни стенографировать, ни печатать на машинке. Он поневоле пришел к заключению, что положение его безнадежно. Мелькнула мысль написать поверенному, который был душеприказчиком его отца, но Филип так и не смог заставить себя взяться за перо: ведь он продал закладные вопреки его совету. Он знал от дяди, что мистер Никсон его всячески осуждает. Годичное пребывание Филипа в бухгалтерской конторе убедило поверенного, что он лентяй и рохля.

— Лучше подохну с голоду,— пробормотал Филип сквозь зубы.

Изредка он помышлял о самоубийстве: достать какого-нибудь яда в больничной аптеке было нетрудно, и его тешила мысль, что на худой конец у него всегда остается эта возможность; но всерьез он о самоубийстве не думал. Когда Милдред бросила его ради Гриффитса, он испытывал такие страдания, что хотел умереть, лишь бы от них избавиться. Сейчас умирать ему не хотелось. Он вспомнил утверждение ночной сиделки из своей палаты, будто люди чаще кончают самоубийством из-за денег, чем из-за любви, и усмехался при мысли о том, что является исключением из этого правила. Ему только очень хотелось поговорить о своих невзгодах, но он не мог заставить себя кому-нибудь открыться. Его мучил стыд.

Филип продолжал искать работу. Он не платил за комнату уже три недели, объяснив домохозяйке, что получит деньги к концу месяца; она промолчала, но злое ще поджала губы. В конце месяца она спросила, не уплатит ли он сколько-нибудь в счет долга; с чувством мучительного стыда

он заставил себя ответить, что не может, но обещал, что напишет дяде и безусловно расплатится в будущую субботу.

— Что ж, надеюсь, вы заплатите, мистер Кэри; мне ведь тоже пора вносить арендную плату, и я не могу залезать в долги.— В голосе ее не было злобы, но в нем звучала решимость, которая его пугала. Помедлив, она добавила: — Если вы не заплатите в будущую субботу, мне придется пожаловаться секретарю института.

— Ладно, все будет в порядке.

Она посмотрела на него, оглядела голые стены комнаты, а потом сказала, как будто между прочим, словно это было самой естественной вещью на свете:

— Внизу у меня сочное жаркое; если хотите, спуститесь ко мне на кухню, и я охотно угощу вас обедом.

Филип покраснел до корней волос и с трудом проглотил подступивший к горлу комок.

— Большое спасибо, миссис Хиггинс, я совсем не голоден.

— Как угодно.

Когда она вышла из комнаты, Филип бросился на кровать. Он изо всех сил стиснул кулаки, чтобы не рыдать.

ГЛАВА 100

Настала суббота. В этот день он обещал расплатиться с хозяйкой. Всю неделю он надеялся на какой-нибудь счастливый случай. Работы он так и не нашел. Никогда еще он не был в таком отчаянном положении; он совсем растерялся и не знал, что делать. Где-то в глубине души ему казалось, что все это нелепая шутка. В кармане у него оставалось всего несколько медяков, он продал всю одежду, без которой мог обойтись. У него сохранилось несколько книг да кое-какой хлам, за который он мог выручить шиллинг-другой; но хозяйка не спускала с него глаз, и он боялся, что она его задержит, если он вынесет еще какую-нибудь вещь из комнаты. Ему оставалось только сказать ей, что он не сможет с ней расплатиться. Но на это у него не хватало решимости.

Была середина июня. Ночь стояла сухая и теплая. Филип решил не возвращаться домой. Он медленно прошелся по набережной — река катилась бесшумно и дышала покоем; устав, он сел на скамью и задремал. Сколько он проспал, неизвестно; проснулся он от страха: ему приснилось, будто

полицейский будит его и гонит прочь; но, открыв глаза, он увидел, что кругом не было ни души. Сам не зная зачем, он пошел дальше, а потом поспал снова, но лежать на скамье было жестко, и он проснулся. Ночь тянулась бесконечно. Его пробирал озноб. До него вдруг дошло, как он несчастен; он не знал, что делать; ему было стыдно, что он спит на улице, — это почему-то казалось ему особенно унижительным; в темноте он почувствовал, как при мысли об этом у него горят щеки. Он вспомнил рассказы о бездомных — среди них были офицеры, священники, лица с университетским образованием; он подумал, не придется ли и ему превратиться в бродягу и стоять в очереди за тарелкой супа, раздаваемого какой-нибудь благотворительной организацией. Куда лучше покончить с собой. Так дольше продолжаться не может. Лоусон даст ему денег, если узнает, в какой он беде; глупо из самолюбия отказываться от помощи. И почему он такой неудачник? Он всегда старался поступать как можно лучше, и ничего у него не получалось. Он помогал людям, если мог, и вряд ли был хуже других; какая страшная несправедливость, что он очутился в таком тупике.

Но что толку об этом думать? Он тронулся дальше. Начинало светать; река была прекрасна в своем безмолвии; занимался день, неизвестно было, что он принесет, но погода обещала быть чудесной; бледное в предрассветный час небо было безоблачно. Филип почувствовал смертельную усталость, у него сосало под ложечкой от голода, но он не мог усидеть на месте: его одолевал неотвязный страх, что его прогонит полицейский. Это было бы чересчур унижительно. К тому же он чувствовал себя грязным, хотелось умыться. Наконец он очутился в Хэмптон-корте. От голода он готов был расплакаться. Выбрав дешевую харчевню, он вошел; от запаха горячей еды стало мутить; он хотел съесть что-нибудь сытное, чтобы продержаться весь день, но желудок заупрямился. Он взял чашку чая и хлеба с маслом. Было воскресенье, и Филип мог сходить к Ательни; он подумал о ростбифе и о йоркширском пудинге, которые они будут сегодня есть, но был слишком измучен, чтобы пойти в это счастливое, шумное семейство. Он был угрюм и очень несчастен. Ему не хотелось никого видеть. Он решил пойти в дворцовый парк и полежать на траве. Кости его ныли. Может быть, он найдет колонку, сможет умыться и попить воды; его мучила жажда; теперь, когда он не чувствовал больше голода, он с тоской думал о цветах, лужайках и высоких тенистых деревьях. В парке ему скорее придет

какая-нибудь спасительная мысль. Он растянулся на траве в тени и закурил трубку. Из экономии он уже давно ограничил себя двумя трубками в день; теперь он был рад, что у него полный кисет. Интересно, что делают люди, когда у них совсем нет денег? Раздумывая об этом, он заснул. Когда он проснулся, был уже полдень, он решил, что скоро надо будет пуститься в путь, чтобы к утру прийти в город и поискать по объявлениям работу. В голове вертелась мысль о дяде, который обещал оставить ему небольшое состояние; Филип понятия не имел, сколько у дяди денег,— во всяком случае, не больше нескольких сот фунтов. Он подумал, можно ли раздобыть денег под залог наследства. Нет, без согласия старика нельзя, а он этого согласия ни за что не даст.

«Единственное, что остается,—это как-нибудь перебиться, пока он не умрет».

Филип прикинул, сколько лет дяде. Блэкстеблскому священнику было далеко за семьдесят. Он страдал хроническим бронхитом, но ведь хронический бронхит был у многих стариков, которые и не думали умирать. Придется подождать, а тем временем что-нибудь подвернется. Он не мог избавиться от ощущения, что случай с ним — исключительный: люди его круга не умирают с голоду. Он никак не мог поверить в реальность того, что с ним происходит,—только это и не давало ему впасть в полное отчаяние и опустить руки. Он решил взять в долг полфунта у Лоусона. Филип провел целый день в парке, куря трубку, чтобы побороть приступы голода; он не собирался есть до тех пор, пока не тронется в обратный путь: идти было далеко, и надо было подкрепиться. Он отправился в дорогу с наступлением вечерней прохлады и, когда одолевала усталость, засыпал на скамьях. Никто его не трогал. Он умылся, почистился и побрился на вокзале Виктории, взял в буфете чаю и хлеба с маслом и за завтраком просмотрел в утренней газете отдел объявлений. Одно из них привлекло его внимание: отделу драпировочной фурнитуры крупного универмага требовался приказчик. У него как-то странно сжалось сердце: предрас судки людей его класса заставляли его чураться работы в магазине, но он только пожал плечами: в конце концов, какое это имеет значение? Он решил попытать счастья. Ему казалось, что, соглашаясь на все унижения и даже идя им навстречу, он может обезоружить судьбу. Когда, не помня себя от смущения, он явился к девяти утра в универмаг, он обнаружил, что многие его опередили.

Тут были люди всех возрастов, от шестнадцатилетних подростков до сорокалетних мужчин; некоторые разговаривали друг с другом вполголоса, но большинство ждало молча; когда он встал в очередь, он поймал на себе враждебные взгляды. Филип расслышал, как кто-то сказал:

— Все, чего я добиваюсь,—это поскорее получить отказ, чтобы успеть сходить в другое место.

Человек, стоявший в очереди рядом с Филипом, спросил у него:

— У вас есть опыт такой работы?

— Нет,—ответил Филип.

Тот помолчал, а потом заметил:

— Если вы пришли с улицы, после обеда с вами не станут разговаривать даже в небольших лавках.

Филип приглядывался к приказчикам. Одни раскладывали штуки ситца и кретона, другие, как пояснил сосед, готовили посылки по заказам, поступившим из провинции. В четверть десятого пришел заведующий отделом. Филип услышал, что в очереди его называли мистером Гиббонсом. Это был приземистый, полный человек средних лет, чернобородый, с темными, лоснящимися волосами и умным лицом. На нем был цилиндр, а в петлице сюртука красовалась веточка белой герани. Он стремительно вошел к себе, оставив дверь открытой: комната была совсем маленькая; там стояли американская конторка, этажерка и шкаф. Люди, ожидавшие у порога, машинально наблюдали, как он вынул герань из петлицы и поставил ее в чернильницу, наполненную водой. Правила внутреннего распорядка не разрешали служащим носить на работе цветы в петлицах.

(В течение всего дня приказчики, старавшиеся снискать расположение заведующего, восхищались его цветком.

— Никогда не видел такой прелести,—говорили они наперебой.— Неужели вы сами его вырастили?

— Ну да,—отвечал тот с улыбкой, и его умные глаза сияли гордостью.)

Заведующий снял цилиндр, надел другой сюртук и взглянул на письма, а затем на ожидавших его людей. Он слегка поманил пальцем, и первый в очереди переступил порог конторы. Люди входили по одному и отвечали на его вопросы. Вопросы были немногосложны: задавая их, заведующий не спускал глаз с просителя.

— Возраст? Стаж? Почему ушли с работы?

Он выслушивал ответы с невозмутимым видом. Когда настала очередь Филипа, ему показалось, что заведующий

посмотрел на него с любопытством. Филип был прилично одет и чем-то отличался от остальных.

— Стаж?

— К сожалению, у меня нет стажа,— сказал Филип.

— Не годитесь.

С тем Филип и вышел из конторы. Испытание оказалось далеко не таким мучительным, как он себе представлял, так что он даже не почувствовал особого разочарования. Вряд ли он мог рассчитывать получить место при первой же попытке. Он сохранил газету и теперь снова просмотрел объявления; одному магазину в Холборне тоже требовался приказчик, и он отправился туда, но оказалось, что там уже кого-то наняли. Если он хотел сегодня хоть как-нибудь поесть, ему нужно было попасть в мастерскую Лоусона, прежде чем тот уйдет обедать, поэтому он отправился по Бромптон-роуд к Йоменс-роу.

— Послушай,— сказал он Лоусону, сначала поговорив для приличия о чем-то еще,— у меня до конца месяца туговато с деньгами. Ты мне не одолжишь полфунта?

Господи, как трудно было просить денег; он припомнил небрежность, с какой студенты брали у него в долг мелкие суммы, отнюдь не собираясь отдавать; многие держали себя при этом так, словно оказывали ему одолжение.

— С радостью,— сказал Лоусон.

Но, порывшись в кармане, он нашел всего восемь шиллингов. У Филипа упало сердце.

— Ну, тогда одолжи пять,— сказал он небрежно.

— Пожалуйста.

Филип пошел в баню, истратив на это полшиллинга. Потом он поел. Он не знал, как скоротать вечер. В больницу возвращаться не хотелось, чтобы не отвечать на праздные вопросы; да, кроме того, сейчас ему там нечего делать; в отделениях, где он проходит практику, будут удивлены его отсутствием, но пусть себе думают, что хотят,— это не имеет значения: он не первый и не последний студент, выбывший без предупреждения. Он пошел в бесплатную читальню и стал перелистывать газеты, пока они ему не надоели, потом взял «Новую Шехерезаду» Стивенсона, но читать не смог: слова потеряли для него всякий смысл; читая, он продолжал размышлять о своем безвыходном положении. Мысли его беспрестанно возвращались к одному и тому же, их однообразие доводило его до головной боли. В конце концов его потянуло на свежий воздух; он пошел в Грин-парк и прилег на траву. С горечью думал он о своей хромоте, мешавшей ему пойти на войну. Он заснул;

ему приснилось, что нога у него в порядке и он находится в Южной Африке в добровольческом кавалерийском полку; в его воображении ожили фотографии, которые он видел в иллюстрированных журналах: вот он сидит в степи у костра, одетый в хаки, вместе с другими солдатами. Когда он проснулся, было еще совсем светло, и он услышал, как Большой Бен бьет семь. Впереди еще двенадцать часов, а девать себя ему некуда. Бесконечная ночь его пугала. Небо затянулось тучами, надо ждать дождя; придется пойти в ночлежку и снять койку на ночь; он встречал объявления на некоторых домах в Ламбете: «Хорошие кровати за 6 пенсов», но еще никогда не бывал в ночлежках и боялся вони и насекомых. Он решил, если будет возможно, провести ночь под открытым небом. Просидев в парке, пока его не закрыли, он пустился бродить по улицам. Усталость давала себя знать все сильнее. Филипу пришло в голову, что несчастный случай был бы для него удачей: его отвезут в больницу, и он пролежит там несколько недель в чистой постели. В полночь его совсем одолел голод; он направился к ларьку на Гайд-Парк-корнер, съел несколько картофелин и выпил чашку кофе. Потом пошел дальше. Терзавшее его беспокойство отгоняло сон, к тому же он слишком боялся полиции, чтобы лечь на скамью. Он заметил, что стал по-новому смотреть на каждого встречного полисмена. Это была третья ночь, проведенная им на улице. Временами он отдыхал на скамейках, а к утру поплелся в сторону набережной. Прислушиваясь к ударам Большого Бена, отбивавшего каждую четверть, он прикидывал, через сколько времени проснется город. Утром он потратил несколько медяков, чтобы привести себя в порядок, купил газету, прочел объявления и снова отправился искать работу.

Так прошло несколько дней. Ел он очень мало, чувствовал слабость и недомогание; у него едва хватало сил на поиски работы, которую, оказывается, отчаянно трудно было найти. Филип начинал привыкать к томительным ожиданиям в задней комнате какого-нибудь магазина и к грубым отказам. Он обошел по объявлениям все районы Лондона и уже узнавал в лицо людей, искавших работы так же безуспешно, как и он сам. Кое-кто из них пытался с ним заговорить, но он слишком устал и намучился, чтобы заводить знакомства. К Лоусону он больше не ходил, зная, что должен ему пять шиллингов. Он как-то оступел, мысли у него стали путаться, и его все меньше беспокоило, что с ним будет. Он часто плакал. Сперва он очень сердился на себя за эти слезы и стыдился их, но потом обнаружил, что

они приносят облегчение и даже заставляют забывать голод. Ранним утром, перед рассветом, он очень страдал от холода. Однажды ночью он пробрался в свою комнату, чтобы переменить белье; он проскользнул туда около трех часов утра, зная, что все спят, и вышел в пять; он полежал на кровати — она была восхитительно мягкой, все его кости ныли, и, растянувшись, он испытывал подлинное наслаждение; это было так приятно, что ему даже не хотелось спать. Голод вошел уже в привычку и теперь меньше давал себя знать, но он чувствовал слабость. Где-то в мозгу все время жила мысль о самоубийстве — он отгонял ее, пока хватало сил, опасаясь, что в конце концов не устоит перед искушением. Он повторял себе снова и снова, что глупо кончать самоубийством, — ведь скоро что-нибудь непременно должно случиться: он все еще не мог отделаться от ощущения, что его беда слишком нелепа, к ней нельзя относиться всерьез; это просто болезнь, которую нужно перенести, но от которой он наверняка излечится. Каждую ночь он давал себе клятву, что никакие силы на свете не заставят его еще раз ночевать на улице, и собирался с утра написать дяде, поверенному Никсону или Лоусону; но, когда наступало утро, он не мог заставить себя пойти на это унижение и признать себя полнейшим неудачником. Неизвестно было, как отнесется к этому Лоусон: все годы их дружбы Лоусон слыл вертопрахом, а он, Филип, гордился своим здравым смыслом. Ему пришлось бы поведать всю историю своего безумства. Его тревожило, что Лоусон, оказав ему помощь, сразу же к нему охладет. Что касается дяди и Никсона, то они, конечно, что-нибудь для него сделают, но он страшился их попреков. Он не желал, чтобы его попрекали; стиснув зубы, он повторял себе: все, что случилось, было неизбежно, раз оно случилось. Запозданные сожаления бесплодны.

Дни тянулись бесконечно, а пяти шиллингов, взятых у Лоусона, надолго хватить не могло. Филип с нетерпением ожидал воскресенья, чтобы пойти к Ательни. Он и сам не знал, что мешало ему отправиться к ним раньше, разве что настойчивое желание выйти из затруднений самому. Ательни был единственным человеком, который действительно мог ему помочь, — ведь он сам не раз бывал в таких же передрягах. Может быть, после обеда Филип и заставит себя рассказать ему о своей беде. Он твердил про себя, что он ему скажет. Он страшно боялся, что Ательни отделается от него легкомысленной фразой — это было бы так ужасно, что ему хотелось отсрочить испытание как только возможно. Филип потерял всякую веру в людей.

Ночь с субботы на воскресенье была сырой и холодной. Филип вконец измучился. Он ничего не ел с двенадцати часов дня в субботу и едва дотащился в воскресенье до дома Ательни. Два своих последних пенса он истратил утром на то, чтобы помыться и почиститься в уборной на вокзале Чэринг-кросс.

ГЛАВА 101

Филип позвонил, в окне показалась чья-то голова, и через минуту на лестнице послышался шумный топот — это бежали вниз дети, чтобы отворить ему дверь. Он наклонил к ним для поцелуя бледное, измученное, исхудавшее лицо. Его так растрогала эта бурная, восторженная встреча, что он под каким-то предлогом задержался на лестнице: ему надо было прийти в себя. У Филипа совершенно разошлись нервы, и любой пустяк мог довести его до слез. Дети спросили, почему его не было в прошлое воскресенье; он ответил, что заболел; они расспрашивали, чем именно; чтобы их позабавить, Филип назвал загадочную болезнь с одним из тех варварских, неудобопроизносимых названий, которыми изобилуют медицинские справочники, — дети просто зашлись от удовольствия. Они втащили Филипа в гостиную и заставили его повторить мудреное слово для просвещения отца. Ательни встал и пожал ему руку. Он пристально поглядел на Филипа — впрочем, его круглые навывкате глаза всегда глядели пристально. Но почему-то на этот раз Филип почувствовал какую-то неловкость.

— Нам вас доставало в прошлое воскресенье, — сказал Ательни.

Филип всегда смущался, говоря неправду, и был красен как рак, когда кончил объяснять, почему он не пришел. Тут вошла миссис Ательни и поздоровалась с ним.

— Надеюсь, вам теперь лучше, мистер Кэри, — сказала она.

Он не мог понять, как она услышала, что он болел: дверь на кухню была все время закрыта, а дети не отходили от него ни на шаг.

— Обед будет готов только минут через десять, — сказала она, как всегда медленно растягивая слова. — Не съедите ли вы пока что стакан гоголь-моголя?

Она смотрела на него озабоченным взглядом, и Филип опять почувствовал себя неловко. Он заставил себя рассмеяться и сказать, что совсем не голоден. Салли пришла накрыть на стол, и Филип принялся над ней подтрунивать.

В семье любили шутить, что она станет такой же толстухой, как родственница миссис Ательни, тетка Элизабет,— дети ее и в глаза не видели, но считали образцом непристойной полноты.

— Послушай, Салли, что это с тобой случилось с тех пор, как мы виделись? — начал Филип.

— По-моему, ровно ничего.

— А мне кажется, ты потолстела.

— Зато уж о вас этого никак не скажешь,— возразила она.— Прямо скелет!

Филип покраснел.

— Ну, *tu quoque!*¹ — воскликнул ее отец.— Смотри, заплатишь штраф: мы срежем один волос с твоей золотой головки. Джейн, ступай за ножницами.

— Но он же и правда похудел,— стояла на своем Салли.— Одна кожа да кости.

— Это совсем другое дело, дочка. Он волен худеть, сколько ему вздумается, а вот твоя толщина нарушает всякие приличия.

Ательни с гордостью обнял дочку за талию, откровенно ею любуясь.

— Дай-ка мне накрыть на стол,— сказала она.— Если я и в теле, некоторым это даже нравится.

— Ах, девчонка! — воскликнул Ательни, драматически воздев руки.— Она намекает, что Джозеф, сын Леви, который в Холборне торгует бриллиантами, предложил ей руку и сердце.

— Ты приняла предложение, Салли? — спросил Филип.

— Будто вы не знаете отца! Он все выдумал.

— Ах, так! — продолжал Ательни.— Если он не сделал тебе предложения — клянусь святым Георгом и Старой Англией! — я схвачу его за шиворот и спрошу, какие у него намерения.

— Садись, отец, обед готов. Пойдемте мыть руки, дети, и не вздумайте хитрить — я все равно проверю, чистые ли они, прежде чем вы сядете за стол,— имейте это в виду!

Пока Филип не поднес вилку ко рту, он думал, что у него волчий аппетит, но оказалось, что его желудок не принимает пищи и кусок с трудом лезет в горло. Он как-то отупел и даже не заметил, что Ательни вопреки своей привычке почти не разговаривает. Филипу приятно было сидеть в уютной комнате, но помимо своей воли он то и дело поглядывал в окно. На дворе стояла непогода. Хорошие дни миновали, стало холодно, дул резкий ветер, в окно то

¹ И ты (Брут)! (лат.)

и дело хлестал дождь. Филип думал, куда ему деваться в эту ночь. Ательни рано ложились спать: нельзя было оставаться здесь позже десяти. Сердце его сжималось при мысли, что придется выйти в эту промозглую темень. Здесь, у друзей, она казалась ему куда более страшной, чем когда он был на улице один. Он утешал себя тем, что и многие другие тоже останутся в эту ночь без крова. Он пытался отвлечься беседой, но не успел закончить фразу, как стук дождя в окно заставил его вздрогнуть.

— Погода совсем как в марте, — сказал Ательни. — Не хотелось бы мне пересекать в такой день Ла-Манш.

Они кончили обедать, вошла Салли и стала убирать со стола.

— Хотите подымить этой дрянью? — спросил Ательни, протягивая ему двухпенсовую сигару.

Филип взял и с наслаждением затянулся. Сигара удивительно успокоила его. Когда Салли уносила посуду, Ательни велел ей закрыть за собой дверь.

— Теперь нам не помешают, — сказал он, обращаясь к Филипу. — Я условился с Бетти, чтобы она не впускала детей, пока я их не позову.

Филип растерянно на него взглянул, но, прежде чем он успел сообразить, о чем идет речь, Ательни привычным жестом поправил очки на носу и продолжал:

— В прошлое воскресенье я написал вам письмо, не понимая, куда вы пропали. Не получив ответа, я в среду зашел к вам на квартиру.

Филип отвернулся и ничего не сказал. Сердце у него отчаянно колотилось. Молчал и Ательни; вскоре эта тишина показалась Филипу невыносимой. Но он не мог выдать ни слова.

— Хозяйка сказала, что вас не было дома с субботы и что вы задолжали ей за целый месяц. Где вы ночевали всю эту неделю?

Филип ответил через силу, уставившись в окно:

— Нигде.

— Я пытался вас найти.

— Зачем?

— Нам с Бетти тоже не раз приходилось туго, да еще у нас на руках были дети. Почему вы не пришли к нам?

— Не мог.

Филип боялся, что расплачется. Он чувствовал страшную слабость. Закрыв глаза, он нахмурился, пытаясь овладеть собой. Он даже рассердился на Ательни за то, что тот не хочет оставить его в покое; но он был совсем разбит; все

так же не открывая глаз, он медленно, чтобы не дрожал голос, поведал историю своих злоключений за последние несколько недель. С каждым словом ему самому становилось все яснее, что он вел себя как безумец, и это еще больше затрудняло его исповедь. Он был уверен, что Ательни сочтет его круглым дураком.

— Теперь вы поживете у нас, пока не найдете какой-нибудь работы,— сказал Ательни, когда он кончил.

Филип вспыхнул.

— Это ужасно мило с вашей стороны, но я вряд ли смогу воспользоваться вашей любезностью.

— Почему?

Филип не отвечал. Он отказался, даже не подумав, боясь, что будет им в тягость: по своему характеру он неохотно принимал одолжения. К тому же он знал, что Ательни с трудом сводит концы с концами: у них нет ни средств, ни места, чтобы содержать постороннего человека.

— Вы обязательно поселитесь у нас,— сказал Ательни.— Горп ляжет с кем-нибудь из братьев, а вы будете спать на его кровати. Что касается еды—одним ртом больше, одним меньше, это дела не меняет.

Филип боялся заговорить, и Ательни, подойдя к двери, позвал жену.

— Бетти,— сказал он, когда она вошла,— мистер Кэри будет у нас жить.

— Вот и отлично,— сказала она.— Пойду приготовлю постель.

Она сказала это сердечным, дружеским тоном, как что-то само собой разумеющееся, и растрогала Филипа до глубины души. Его всегда волновало до слез, когда люди относились к нему сердечно,— он к этому не привык. Вот и теперь он не мог больше сдерживаться— две крупные слезы скатились по его щекам. Супруги Ательни обсуждали, как его получше устроить, и делали вид, что ничего не замечают. Когда миссис Ательни вышла, Филип откинулся в кресле и, глядя в окно, усмехнулся:

— Да, не слишком-то хорошая погода, чтобы ночевать на улице!

ГЛАВА 102

Ательни сказал Филипу, что без труда устроит его в большой мануфактурный магазин, где работает сам. Несколько служащих отправились на войну, и фирма «Линн и Седли» с патриотическим рвением обещала сохранить за ними

их места. Герои уехали, администрация переложила их обязанности на плечи тех, кто остался; поскольку жалования им не прибавили, фирма в одно и то же время проявила гражданскую сознательность и умножила свои барыши. Но война затягивалась, торговля опять шла бойко; приближался сезон отпусков (служащие фирмы ежегодно пользовались двухнедельным отпуском), и администрации придется нанять несколько новичков. После всех своих неудач Филип сомневался, дадут ли ему работу даже и в этом случае, но Ательни уверял, что он достаточно влиятельный в фирме человек и управляющий ни в чем ему не отказывает. Филип со своей парижской выучкой будет очень полезен; нужно только выждать — он получит хорошо оплачиваемое место художника и будет рисовать модели костюмов и рекламные плакаты. Филип набросал рекламный плакат к летней распродаже, и Ательни отнес его в магазин. Через два дня он принес плакат обратно; управляющему он будто бы очень понравился, но, к сожалению, в нужном отделе пока нет вакансий. Филип спросил, не найдется ли для него какой-нибудь другой работы.

— Увы, сейчас ничего нет.

— Совсем ничего?

— Видите ли,— сказал Ательни, с сомнением поглядывая на него через очки,— завтра дают объявление, что магазину требуется дежурный администратор.

— Как вы думаете, у меня есть какая-нибудь надежда получить это место?

Ательни немного смутился: после всего, что он наговорил Филипу, тот, вероятно, рассчитывал на более завидную должность; с другой стороны, Ательни был слишком беден, чтобы без конца его содержать.

— Что же,— сказал он,— можно согласиться и на это в ожидании чего-нибудь лучшего. Всегда легче продвигаться, если ты уже в штате.

— Я ведь не гордый, вы знаете,— улыбнулся Филип.

— Если вы решились, надо быть на месте завтра утром без четверти девять.

Несмотря на войну, найти работу было, по-видимому, нелегко: когда Филип пришел в магазин, там ждало много народу. Кое с кем он уже встречался в таких же очередях, а одного приметил, когда тот лежал среди бела дня на траве в парке. Филип тогда же понял, что этот человек бездомный, вроде него, и тоже ночует на улице. Тут были всякие люди — старые и молодые, высокие и низенькие, но каждый из них постарался принарядиться для разговора с управля-

ющим; волосы у всех были аккуратно причесаны, а руки тщательно вымыты. Ожидали в коридоре; как потом узнал Филип, из коридора шел ход наверх, в столовую и в мастерские. Хотя магазин освещался электричеством, здесь, шипя, горели газовые рожки, защищенные проволочными сетками. Филип пришел в назначенный час, но попал в контору управляющего лишь около десяти. Это была треугольная комната, похожая на ломоть, вырезанный из головки сыра, на стенах висели рисунки женщин в корсетах и образчики рекламных плакатов; на одном из них красовался мужчина в полосатой пижаме, полосы были зеленые и белые; другой плакат изображал корабль, под всеми парусами бороздивший лазурный океан,— на парусах было напечатано крупными буквами: «Большая распродажа белья». Контора примыкала к витрине, которую как раз сейчас украшали; во время разговора один из приказчиков то и дело сновал взад-вперед. Управляющий читал письмо. Это был румяный человек с соломенными волосами и длинными пегими усами; на цепочке его часов болталась гроздь футбольных значков. Он сидел без пиджака за большим столом, на котором стоял телефон; перед ним лежали сегодняшние объявления— работа Ательни— и газетные вырезки, наклеенные на карточки. Бросив на Филипа беглый взгляд, он стал диктовать ответ машинистке, сидевшей в углу за маленьким столиком; окончив письмо, он спросил у Филипа имя, возраст, где и сколько работал. Выговор у него был престонародный, голос резкий, металлический, словно он не всегда умел им владеть; Филипу бросились в глаза его крупные верхние зубы; они выступали вперед и, казалось, ненадежно держались во рту: только дерни— и сразу выпадут.

— Вам, по-моему, говорил обо мне мистер Ательни,— вставил Филип.

— А-а-а! Вы тот самый парень, который нарисовал плакат?

— Да, сэр.

— Он нам не годится, совершенно не годится.

Управляющий оглядел Филипа с головы до ног. Вероятно, он заметил, что Филип чем-то отличается от остальных претендентов.

— Вам придется раздобыть сюртук. Наверно, у вас его нет. С виду вы парень приличный. Ну как, убедились, что искусством не проживешь?

Филип не понимал, собирается он его нанимать или нет. Тон был неприязненный.

— Где ваша семья?

— Отец и мать умерли, когда я был еще ребенком.

— Люблю помогать молодежи выйти в люди. И уже не одному помог, сейчас кое-кто целыми отделами заведует. Ну, и вспоминают меня с благодарностью — этого отрицать нельзя. Понимают, чем обязаны. Начинай с самого низу, только так и научишься делу, а ежели у тебя есть хватка, того и гляди, в большие люди выйдешь. Придетесь к месту, когда-нибудь достигнете и моего положения, чем черт не шутит. Запомните это, молодой человек.

— Я приложу все силы, сэр,— сказал Филип.

Он знал, что слово «сэр» следует вставлять как можно чаще, но оно как-то странно звучало в его устах, и он боялся переборщить. Управляющий любил разглагольствовать: это придавало ему вес в собственных глазах. Он сообщил Филипу свое решение лишь после того, как излил целый поток слов.

— Что ж, пожалуй, рискнем,— торжественно произнес он напоследок.— Во всяком случае, я готов вас испытать.

— Большое спасибо, сэр.

— Можете приступить немедленно. Я дам вам шесть шиллингов в неделю на всем готовом. Да, на всем готовом, а шесть шиллингов — это вроде как на карманные расходы, можете делать с ними что хотите; платим мы раз в месяц. Начнете работать с понедельника. Надеюсь, вас это устроит?

— Да, сэр.

— Знаете, где Харрингтон-стрит? Рядом с Шефтсбери-авеню. Там будете жить. Дом десять. Если хотите, можете переехать в воскресенье, дело ваше. А можете послать туда ваш чемодан в понедельник.— Управляющий кивнул головой.— До свиданья.

ГЛАВА 103

Миссис Ательни одолжила Филипу денег, чтобы он смог расплатиться с хозяйкой, и та разрешила ему забрать вещи. За пять шиллингов и ломбардную квитанцию на заложенный костюм он раздобыл у ростовщика сюртук, сидевший на нем не так уж плохо. Прочую свою одежду он выкупил. Отослав чемодан на Харрингтон-стрит, он пошел в понедельник утром в магазин вместе с Ательни. Тот познакомил его с заведующим отделом готового дамского платья и удался. Заведующий был симпатичный суетливый человечек

лет тридцати, по фамилии Сэмпсон. Поздоровавшись с Филипом и желая поразить его своей светскостью, которой он очень гордился, заведующий спросил, говорит ли Филип по-французски. К его удивлению, Филип ответил утвердительно.

— Вы знаете и другие языки?

— Я говорю по-немецки.

— Вот как! Я и сам езжу иногда в Париж. Parlez-vous français? ¹ Бывали у «Максима»? ²

Филипа поставили у лестницы в отделе готового дамского платья. Работа его заключалась в том, чтобы показывать посетителям, как пройти в ту или другую секцию. Их было великое множество — мистер Сэмпсон так и сыпал названиями. Вдруг он заметил, что Филип хромает.

— Что у вас с ногой? — спросил он.

— Я хромой от рождения, — сказал Филип. — Но это не мешает мне свободно двигаться.

Заведующий поглядел на его ногу с сомнением — Филип догадался, что он не может понять, зачем управляющий нанял хромого администратора. Филип знал, что тот просто не заметил его недостатка.

— Вряд ли вы все это запомните в один день. Если чего не знаете, спрашивайте у продавщиц.

Мистер Сэмпсон ушел, а Филип, старавшийся припомнить, где что находится, стал с беспокойством дожидаться покупателей, желавших получить справку. В час дня он отправился обедать. Столовая находилась на верхнем этаже огромного здания магазина, это была большая, длинная, ярко освещенная комната, но окна в ней закрывались наглухо — от пыли — и здесь всегда стоял запах кухни. На длинных, накрытых скатертями столах были расставлены большие графины с водой, а посередине — солонки и уксусницы. Служащие собирались сюда шумной толпой и рассаживались на скамьях, еще согретых телами тех, кто обедал в двенадцать тридцать.

— Сегодня нет пикулей, — заметил сосед Филипа по столу, высокий худощавый молодой человек с бледным лицом и горбатым носом.

У него была вытянутая, неправильной формы голова с какими-то вмятинами; шею и лоб украшали большие багровые прыщи. Звали его Гаррис. Филип узнал, что иногда на стол подавали большие суповые тарелки с пикулями;

¹ Вы говорите по-французски? (*фр.*)

² Известный парижский ресторан.

все их очень любили. Не было видно ни ножей, ни вилок, но через минуту высокий толстый парень в белом халате принес их в руках и с шумом швырнул на стол. Каждый взял себе сам что требовалось; ножи и вилки были еще теплые и жирные после мытья в грязной воде. Мальчики в белых куртках роздали тарелки с мясом, плававшим в соусе; они шлепали тарелки о стол с проворством фокусников, и соус выплескивался на скатерть. Потом они принесли большие блюда с капустой и картошкой; один их вид вызвал у Филипа тошноту; он заметил, что все обильно поливают гарнир уксусом. Кругом стоял отчаянный гам. Разговоры, смех, крики, стук ножей и вилок, чавканье — все сливалось воедино. Филип рад был вернуться в свой отдел. Он уже стал запоминать расположение отделов и секций и, когда к нему обращались за справкой, реже прибегал к помощи продавщиц.

— Первый поворот направо. Второй поворот налево, мадам.

Некоторые продавщицы пытались перекинуться с ним словечком, когда не было покупателей; он чувствовал, что они к нему приглядываются. В пять часов он поднялся наверх пить чай. Он рад был присесть. Служащим подали большие куски хлеба, густо намазанные маслом; многие сдавали на хранение свои банки с джемом — на них были написаны имена владельцев.

Когда в половине седьмого рабочий день кончился, Филип был без сил. Гаррис, сидевший рядом с ним за столом, предложил проводить его на Харрингтон-стрит и показать койку в общежитии. По словам Гарриса, в комнате, где он жил, была свободная кровать, а так как все другие комнаты были заняты, он полагал, что Филипа поселят к ним. Дом на Харрингтон-стрит прежде принадлежал сапожной фирме; мастерскую превратили в спальню, но там было темно — окна на три четверти забили досками, форточки тоже не открывались, и единственным источником свежего воздуха служило небольшое оконце под потолком в дальнем конце помещения. Духота стояла такая, что хоть топор вешай, — Филип обрадовался, что ему не придется здесь спать. Гаррис поднялся с ним в гостиную на втором этаже; там стояло старенькое пианино — его клавиатура походила на ряд прогнивших зубов; в ящике из-под сигар без крышки, стоявшем на столе, хранилось домино; повсюду валялись старые номера «Стренд мэгэзин» и «График». Остальные комнаты были превращены в спальни. Та, где отвели место Филипу, помещалась под самой крышей. В ней было шесть кроватей;

рядом с каждой стоял сундук или чемодан. Единственным предметом обстановки служил комод с четырьмя большими ящиками и двумя маленькими; Филипу, как новичку, достался маленький; к ящикам имелись ключи, но, так как все они были одинаковые, от них было мало проку, и Гаррис посоветовал Филипу держать ценные вещи в чемодане. Над камином висело зеркало. Гаррис показал Филипу туалетную комнату; она была довольно вместительная, в ней стояло восемь тазов, и в них умывались все обитатели дома. В соседней комнате находились две пожелтевшие от времени ванны; на деревянных полках были мыльные пятна, а множество темных кругов на стенках ванны показывало, сколько воды наливали в нее купавшиеся.

Когда Гаррис и Филип вернулись в свою спальню, они застали там высокого человека, который переодевался, и шестнадцатилетнего мальчика, расчесывавшего волосы и насвистывавшего при этом во всю мочь. Минуты через две высокий ушел, не сказав никому ни слова. Гаррис подмигнул мальчику, и тот, не переставая свистеть, подмигнул ему в ответ. Как рассказал Филипу Гаррис, фамилия высокого была Прайор; он побывал в армии, а теперь служил в отделе шелков; человек замкнутый, он уходил каждый вечер на свидание со своей девушкой, не говоря ни слова и даже ни с кем не прощаясь. Гаррис ушел тоже, и в комнате остался только мальчик, смотревший во все глаза, как Филип распаковывает вещи. Звали его Белл, и он служил в галантерейном отделе учеником, не получая ни гроша жалованья. Особенно заинтересовал его черный сюртук Филипа. Он рассказал ему подноготную всех обитателей комнаты и засыпал его самого вопросами. Это был жизнерадостный подросток, и вперемешку с болтовней он напевал ломающимся голосом куплеты, услышанные в мюзик-холле. Филип кончил раскладывать вещи и вышел погулять на улицу; время от времени он останавливался у дверей ресторанов и смотрел на входившую туда публику; почувствовав голод, он купил сдобную булочку и съел ее на ходу. Сторож общежития, тушивший газ в четверть двенадцатого, снабдил Филипа ключом от входной двери, но, боясь опоздать, тот пришел заблаговременно. Его уже успели осведомить о системе штрафов: за приход после одиннадцати часов вечера штрафовали на шиллинг, за приход после четверти двенадцатого — на два с половиной и, кроме того, брали на заметку; если это повторялось три раза, служащего увольняли.

Когда Филип пришел домой, все обитатели комнаты, за исключением солдата, были на месте, а двое уже лежали в постели. Филипа встретили криками:

— Посмотрите на нашего Кларенса! Вот озорник!

Он увидел, что Белл сделал чучело, напялив его сюртук на подушку. Мальчик был в восторге от своей проказы.

— Кларенс пойдет в сюртуке на нашу вечеринку. Глядишь, еще отобьет у нас красотку нашей фирмы.

Филип уже слышал об этих вечеринках — за них удерживали деньги из жалованья, что вызывало недовольство служащих. Вычет составлял два шиллинга в месяц; правда, сюда входила плата за медицинскую помощь и пользование библиотечкой затасканных романов, но, поскольку, кроме этого, еще четыре шиллинга ежемесячно удерживалось за стирку, Филип подсчитал, что четвертая часть его жалованья не попадет к нему в руки.

Почти все его сожители ели большие куски жирной ветчины, вложенные в разрезанные пополам булочки. Такие бутерброды — обычный ужин обитателей общежития — продавались за два пенни в маленькой лавчонке по соседству. Вернулся отставной солдат; безмолвно и торопливо раздевшись, он бросился в постель. В десять минут двенадцатого газовые рожки мигнули, а через пять минут потухли. Солдат заснул, но остальные собрались в пижамах и ночных рубашках у большого окна и стали швырять недоеденные бутерброды в проходивших по улице женщин, отпуская по их адресу забористые шуточки. В шестиэтажном доме напротив помещалась еврейская портняжная мастерская, где работали до одиннадцати; там горел яркий свет, а штор на окнах не было. Дочка хозяина этого потогонного заведения — семейство состояло из отца, матери, двух мальчиков и двадцатилетней девушки — после конца работы обходила все здание, выключая повсюду свет; иногда с ней заигрывал кто-нибудь из портных. Сожители Филипа получали немалое удовольствие, наблюдая за уловками того или иного портняжки, пытавшегося задержаться позднее других, чтобы полюбезничать с хозяйской дочкой; они даже бились об заклад, кого сегодня ожидает успех. В двенадцать часов выпроводили публику из кабачка в конце улицы, и вскоре все стоявшие у окна разбрелись по своим кроватям; Белл, который спал возле самой двери, добирался до своего места, перепрыгивая с кровати на кровать, но, даже улегшись в постель, не прекращал болтовни. Наконец все смолкло — раздавался лишь равномерный храп солдата, и Филип заснул.

В семь часов утра его разбудил громкий звонок, а без четверти восемь все уже были одеты и торопливо сбегали по лестнице в носках, чтобы взять свои начищенные ботинки. Зашнуровывали их уже на ходу по дороге в магазин на Оксфорд-стрит, где служащих ждал завтрак. Тот, кто приходил хоть минутой позже восьми, завтрак не получал, а войдя в магазин, уже не имел права отлучиться за едой. Порой, когда кто-нибудь из них понимал, что вовремя в магазин ему не попасть, он забегал в соседнюю лавчонку за сдобными булочками, но это стоило денег, и большинство предпочитало обходиться без еды до самого обеда. За завтраком Филип получил чай и хлеб с маслом, а в половине девятого начался рабочий день.

— Первый поворот направо. Второй поворот налево, мадам.

Вскоре он стал давать справки чисто механически. Работа была однообразная и очень утомительная. Не прошло и нескольких дней, как у него разболелись ноги, и он с трудом мог стоять: от толстого мягкого ковра ступни нестерпимо горели, и по вечерам больно было снимать носки. На это жаловались и его товарищи, утверждая, что носки и ботинки просто гниют от пота. Все его сожителю страдали не меньше и, чтобы облегчить боль, по ночам высовывали ноги из-под одеяла. Сперва Филип вообще не мог ходить после работы и вынужден был проводить вечера в гостиной дома на Харрингтон-стрит, опустив ноги в ведро с холодной водой. Его общество разделял Белл — парнишка из галантерейного отдела, — который часто оставался дома, взясь со своей коллекцией марок. Наклеивая марки в альбом, он монотонно насвистывал.

ГЛАВА 104

Товарищеские вечеринки служащих фирмы «Линн и Седли» устраивались каждый второй понедельник месяца. Одна из них состоялась через неделю после того, как Филип приступил к работе. Он условился пойти на эту вечеринку с одной из продавщиц своего отдела.

— Вперед не забегай, но от людей не отставай, — говорила та, — вот мое правило.

Это была некая миссис Ходжес, маленькая сорокапятилетняя женщина с крашеными волосами; лицо ее, испещренное сеткой тончайших красных жилок, имело желтоватый оттенок, даже белки бледно-голубых глаз — и те отдавали

желтизной. Филип пришлось ей по душе, не прошло недели, как она уже звала его по имени.

— Оба мы знали лучшие времена,— сказала она.

Она открыла Филипу, что ее настоящая фамилия была не Ходжес, но у нее не сходило с языка «мой муженек мистер Ходжес»; он был адвокатом и обращался с ней просто возмутительно, вот она его и бросила; ну а теперь она, слава богу, сама себе хозяйка. Но было время, дорогуша — дорогушами она звала всех,— было время, когда и она разъезжала в собственной карете и обедала в семь часов вечера. У нее была привычка ковырять в зубах булавкой от огромной серебряной брошки. Брошка изображала скрещенные охотничий хлыст и кучерский кнут, а посередине красовалась пара шпор. Филипа смущала новая обстановка; продавщицы прозвали его «азнайкой». Как-то раз одна из них позвала его «Фил!» — а он не откликнулся: ему даже в голову не пришло, что она обратилась к нему; тогда девушка, передернув плечами, заявила подругам, что он задается, а потом с особым ударением, означавшим иронию, стала звать его «мистер Кэри». Это была некая мисс Джуэл, собиравшаяся замуж за врача. Остальные девушки ее врача и в глаза не видели, но хором повторяли, что он, видно, настоящий джентльмен, если делает ей такие шикарные подарки.

— Не обращайтесь на них внимания, дорогуша,— говорила миссис Ходжес.— Мне тоже сперва от них попадало. Бедняжки, такое уж у них воспитание. Будьте покойны, вы с ними поладите, только не давайте себя в обиду, берите пример с меня.

Товарищеская вечеринка состоялась в ресторане, который помещался в подвальном этаже. Столы сдвинули в сторону, чтобы освободить место для танцев, а для игры в вист расставили маленькие столики.

— Старшим служащим полагается приходить пораньше,— сказала миссис Ходжес.

Миссис Ходжес познакомила его с мисс Беннет, первой красавицей фирмы «Линн и Седли». Она заведовала отделом нижних юбок и в эту минуту была поглощена беседой с заведующим отделом мужского трикотажа. Мисс Беннет оказалась массивной дамой с широким красным густо напудренным лицом и внушительным бюстом; ее соломенные волосы были причесаны по последней моде. Она была разодета в пух и прах, но не без вкуса; на ней было черное платье с высоким воротником; садясь за карты, она натягивала черные лайковые перчатки; шею ее обвивало несколько тяжелых золотых цепочек, на руках бренчали браслеты,

украшенные круглыми брелоками с фотографиями (на одной из них была изображена королева Александра); в руках она держала черную атласную сумку и беспрерывно жевала ароматические пастилки.

— Очень приятно с вами познакомиться, мистер Кэри,— сказала она.— Вы первый раз у нас на вечеринке? Я вижу, вы, кажется, немножко смущаетесь, но, ей-богу же, это зря.

Мисс Беннет старалась изо всех сил, чтобы все присутствующие чувствовали себя как дома. Она хлопала собеседника по плечу и неумолимо хохотала.

— Ну, разве я не баловница? — крикнула она, обращаясь к Филипу.— Прямо не знаю, что вы обо мне подумаете! Ничего не могу с собой поделывать!

Участники вечеринки все прибывали; преобладала молодежь — юнцы, которые еще не обзавелись барышнями, и девушки, которые еще не завели ухажеров. Некоторые из молодых людей надели длинный сюртук с белым вечерним галстуком, из верхнего бокового кармана выглядывал шелковый красный платочек; они собирались выступить и потому напускали на себя деловой, рассеянный вид: одни держались самоуверенно, а другие откровенно волновались и с тревогой поглядывали на публику. За пианино села девушка с густой копной волос, ее руки шумно прошлись по клавишам. Когда все успокоились, она оглянулась и назвала номер:

— «Русская тройка».

Послышались аплодисменты, а девушка за пианино тем временем проворно прикрепил к запястьям колокольчики. Одарив зрителей улыбкой, она заиграла бурную мелодию. Когда она кончила, аплодисменты раздались с удвоенной силой. Вторым номером она исполнила музыкальную пьесу, подражавшую шуму моря: тихие трели должны были напоминать плеск волн, а громовые аккорды — бурю. Затем какой-то господин спел песню под названием «Прости-прощай», а на бис исполнил «Убаюкай меня». Публика распределяла свои восторги равномерно: каждому выступавшему аплодировали до тех пор, пока он не исполнял на бис, и, чтобы никому не было обидно, всем хлопали одинаково. Мисс Беннет подплыла к Филипу.

— Я уверена, что вы играете либо поете, мистер Кэри,— сказала она игриво.— Это у вас прямо на лице написано.

— К сожалению, вы ошибаетесь.

— Неужели вы даже не декламируете?

— У меня нет никаких талантов.

Заведующий отделом мужского трикотажа славился мастерским чтением стихов — его стали громко вызывать все приказчики его отдела. Он не заставил себя долго упрашивать и продекламировал длинное трагическое стихотворение, закатывая глаза, прижимая руку к сердцу и всячески изображая, как он страдает. Вся соль была в последней строке: оказалось, что он ел за ужином огурцы и у него болит живот; раздался громкий, раскатистый хохот — впрочем, немного искусственный, так как все уже не раз слышали это стихотворение.

Мисс Беннет не пела, не играла и не декламировала.

— Ничего, у нее есть свой особый номер, — заметила миссис Ходжес.

— Не смейте меня дразнить, — отозвалась мисс Беннет. — Дело в том, что я знаю хиромантию и умею гадать.

— Ах, погадайте мне, мисс Беннет, — стараясь ей угодить, хором закричали продавщицы ее отдела.

— Я не люблю гадать, ей-богу, не люблю. Кое-кому я нагадала таких ужасов, и — что бы вы думали? — все так и сбылось; тут уж поневоле станешь суеверной.

— Ах, мисс Беннет, один только разочек!

Вокруг нее собралась небольшая толпа, и под возгласы смущения, смешки, крики отчаяния и восторга она стала изрекать загадочные фразы о блондинах и брюнетках, о денежных письмах и дальних дорогах, пока на ее накрашенном лице не выступили крупные капельки пота.

— Поглядите на меня, — сказала она. — Я прямо вся взмокла.

Ужин был в девять часов. Подали пирожные, сдобные булочки, бутерброды, чай и кофе — все бесплатно; но, если вам хотелось лимонаду, за него надо было платить. Галантность нередко побуждала кавалеров предлагать дамам имбирное пиво, но те благонаравно отказывались. Мисс Беннет была равнодушна к имбирному пиву и выпивала за вечер две, а то и три бутылки, но она упорно платила за них сама. Мужчинам это нравилось.

— Она, конечно, чудила, — говорили они, — но в общем баба порядочная, не то что некоторые другие.

После ужина сели играть в вист. Играли шумно, со смехом и криками, победители переходили за следующий столик. Мисс Беннет становилось все жарче и жарче.

— Поглядите на меня, — повторяла она. — Я прямо вся взмокла.

Время шло, и один из самых заправских танцоров заметил, что если хотят танцевать, то пора приступать к делу.

Девушка, которая аккомпанировала певцу, села за пианино и с решительным видом нажала педаль. Она сыграла задумчивый вальс, отбивая такт на басах, в то время как правая ее рука проворно прыгала по всей клавиатуре. Порой она перебрасывала правую руку за левую, и тогда мелодия звучала в басах.

— Вот здорово играет! — заметила Филипу миссис Ходжес. — А ведь все по слуху, в жизни никогда не училась.

Больше всего мисс Беннет любила стихи и танцы. Танцевала она хорошо, хоть и в очень медленном темпе, при этом взгляд у нее был такой, будто ее мысли далеко-далеко отсюда. Это не мешало ей без устали болтать — о зале, о жаре и об ужине. По ее словам, лучший танцевальный зал во всем Лондоне был Портменрумз; ей там всегда нравилось бывать, да и общество собиралось самое избранное, а танцевать с первым встречным она терпеть не могла — мало ли на кого нарвешься. Почти все участники вечеринки танцевали отлично и веселились напропалую. Пот стекал по лицам танцующих в три ручья, и высокие крахмальные воротнички молодых людей совсем размокли.

Филип стоял в сторонке, и его охватила такая грусть, какой он не испытывал уже давно. Он ощущал невыразимое одиночество. Уйти он не хотел, чтобы не показаться заносчивым; он болтал с девушками и смеялся, но на душе у него было горько. Мисс Беннет спросила, есть ли у него дама сердца.

— Нет, — улыбнулся он.

— Ну, здесь у нас выбор богатый. Девушки милые и порядочные, по крайней мере некоторые из них. Уж вы мне поверьте: оглянуться не успеете, как у вас заведется какая-нибудь зазноба.

И она бросила на него игривый взгляд.

— Вот и я ему говорю: вперед не забегай, но от людей не отставай, — сказала миссис Ходжес.

Было уже около одиннадцати, когда вечеринка закончилась. Филип долго не мог заснуть. Ныли ноги — как и его сожители, он высунул их из-под одеяла. Он изо всех сил старался не думать о той жизни, которая стала его уделом. Равномерно похрапывал солдат.

ГЛАВА 105

Жалованье выплачивалось раз в месяц. В день полочки, спускаясь из столовой после вечернего чая, служащие шли в коридор и присоединялись к длинной веренице людей,

степенно ожидавших своей очереди. В контору заходили по одному. Кассир сидел за столом, на котором стояли деревянные доски с серебром и медью; он спрашивал фамилию вошедшего, бросал на него подозрительный взгляд, сверялся с конторской книгой, скороговоркой произносил сумму и, вынимая деньги из досок, отсчитывал их в протянутую руку.

— Спасибо, — произносил он при этом. — Следующий.

— Благодарю вас, — гласил ответ.

Служащий переходил к столу другого конторщика и, прежде чем покинуть комнату, платил ему четыре шиллинга за стирку, два шиллинга за участие в вечеринке, а также все штрафы, какие за ним числились. С оставшимися деньгами он возвращался в свой отдел и дожидался окончания рабочего дня. Большинство обитателей общежития, где ночевал Филип, были в долгу у торговки, продававшей бутерброды, которыми они питались по вечерам. Это была смешная толстенькая старушка с широким красным лицом и залезанными черными волосами, которые спускались ей на уши в подражание ранним портретам королевы Виктории. Она постоянно носила маленький черный капор и белый передник; рукава ее были закатаны до локтя; она готовила бутерброды большими грязными, жирными руками; ее кофта, передник и даже юбка — все было покрыто сальными пятнами. Фамилия ее была Флетчер, но все звали ее «матушкой»; она действительно души не чаяла в обитателях общежития и называла их своими «мальчиками». Матушка Флетчер никогда не отказывала в кредите до получки; больше того, она порой одалживала несколько шиллингов кому-нибудь из «мальчиков», попавшему в трудное положение. Она была сама доброта. Когда «мальчики» уезжали в отпуск или возвращались на работу, они целовали ее жирные красные щеки; не раз тот или другой из них, уволенный фирмой «Линн и Седли», бесплатно подкармливался у нее до лучших дней. «Мальчиков» трогала широта ее натуры, и они платили ей неподдельной привязанностью. Они любили рассказывать об одном бывшем приказчике, который нажил состояние в Бредфорде и обзавелся там пятью собственными магазинами; вернувшись через пятнадцать лет, он явился к матушке Флетчер и подарил ей золотые часы.

После вычетов у Филипа осталось от месячного жалования восемнадцать шиллингов. Это был первый заработок в его жизни. Но чувствовал он не гордость, как можно было бы ожидать, а одно уныние. Ничтожность суммы подчеркивала всю безнадежность его положения. Пятнадцать шил-

лингв он отнес миссис Ательни, чтобы заплатить ей часть своего долга, но она взяла только десять.

— Знаете,— сказал он,— так я буду расплачиваться с вами целых восемь месяцев.

— Пока Ательни работает, я могу обождать, а кто знает, может, вы получите прибавку.

Ательни без конца повторял, что поговорит о Филипе с управляющим— глупо, что его способности никак не используются; но он так ничего и не сделал, а Филип скоро понял, что рекламный агент был важной птицей не столько в глазах управляющего, сколько в своих собственных. Иногда Филип встречал Ательни в магазине. Тут он держался тише воды, ниже травы: в опрятной, поношенной одежде, ничем не отличавшейся от одежды других служащих, он торопливо пробегал по отделам— приниженный, скромный человек, словно старавшийся не привлекать к себе внимания.

— Когда я думаю о том, как растрачиваю силы по пустякам,— говорил он у себя дома,— меня одолевает желание бросить эту работу. Мне тут негде развернуться. Мне подрезают крылья, меня держат в черном теле.

Миссис Ательни, занятая шитьем, не обращала внимания на его жалобы. Она только поджимала губы.

— В наши дни нелегко найти работу. А у тебя есть постоянное, надежное место; даст бог, тебя будут держать, пока ты ничем не проштрафился.

Филип не сомневался, что Ательни и в самом деле будет держаться за свое место. Интересно было наблюдать, какую власть приобрела над этим блестящим, ветреным человеком необразованная женщина, даже не связанная с ним узами законного брака. Теперь, когда положение Филипа изменилось к худшему, миссис Ательни обращалась с ним с материнской нежностью; его глубоко трогала ее забота о том, чтобы он как следует поел. Посещения этого дружеского дома были отрадой в его нынешней жизни (по мере того как он к ней привыкал, его все больше ужасало ее однообразие). Так приятно было сидеть в царственном испанском кресле и беседовать с хозяином дома о всякой всячине. Каким бы отчаянным ни казалось его положение, он всегда возвращался от них в радостном возбуждении. Сперва Филип пытался перечитывать медицинские книги, чтобы не позабыть того, чему научился, но вскоре понял, что это бесполезно: после изнурительного рабочего дня он не мог сосредоточиться; к тому же он не знал, когда вернется в институт, и занятия казались ему пустой тратой времени. Во сне он

постоянно видел себя в белом халате. Пробуждение бывало мучительным. Соседство чужих людей было невыносимо тягостным: он привык к одиночеству; быть всегда на людях и никогда — наедине с самим собой казалось ему в эти минуты просто пыткой. По утрам ему труднее всего было бороться с отчаянием. Он уже видел, как эта жизнь окончательно его засасывает. «Первый поворот направо, мадам, второй налево» — и ему еще следует молить бога, чтобы его не уволили. Скоро вернутся те, кто ушел на войну, фирма пообещала им сохранить их места, а это означало, что кого-то должны выгнать; надо лезть из кожи вон, чтобы сохранить хотя бы то жалкое место, которое он сейчас занимает.

Только одно могло принести ему освобождение — смерть дяди. Тогда он получит несколько сот фунтов и сможет закончить институт. Филип стал мечтать, чтобы старик поскорее умер. Он высчитывал, сколько тот еще может прожить. Ему далеко за семьдесят — Филип точно не знал, сколько дяде лет, но полагал, что никак не меньше семидесяти пяти, — к тому же он страдает хроническим бронхитом и каждую зиму его мучает кашель. Филип снова и снова перечитывал в своих учебниках, как протекает бронхит у стариков, хотя и знал это уже наизусть. Дядя мог не вынести первой же суровой зимы. Филип молил бога, чтобы настали холода. Мысль о дядиной смерти его просто преследовала, она превратилась в своего рода манию. Жара тоже была вредна дяде Уильяму, а ведь в августе солнце три недели пекло немилосердно. Филип с надеждой думал о том, что в любой день может получить телеграмму о внезапной кончине священника, и представлял себе, какое невероятное облегчение он тогда почувствует. Стоя на верхней площадке лестницы, направляя покупателей в нужные им секции, он развлекал себя мыслями о том, что он сделает со своими деньгами. Он не знал, сколько их окажется — наверно, не больше пятисот фунтов, — но даже и этой суммы будет достаточно. Он сразу уйдет из магазина — и предупредить никого не станет, просто сложит свои вещи в чемодан и исчезнет, не сказав ни слова; потом он вернется в институт. Это прежде всего. Много ли он перезабыл из того, что знал? Не важно, за полгода он все восстановит в памяти, а как только подготовится, сдаст последние три экзамена — сперва акушерство, затем терапию и хирургию. Внезапно его охватывал безумный страх: а вдруг дядя, несмотря на обещания, завещает свое имущество приходу или церкви? При одной мысли об этом Филип становился

сам не свой. Нет, дядя не может быть таким жестоким! Но, если бы это случилось, Филип знал, что ему делать: он не хочет тянуть постылую лямку до бесконечности: жизнь его была терпимой лишь потому, что он мог ожидать чего-то лучшего. Если надежда исчезнет, уйдет и страх. Единственное, что ему тогда остается,—это самоубийство; Филип обстоятельно продумал, какой принять яд, чтобы смерть была безболезненной, и как его раздобыть. Мысль о том, что на худой конец у него всегда есть выход, его поддерживала.

— Второй поворот направо, мадам, и вниз по лестнице. Первый поворот налево и прямо. Мистер Филипс, пожалуйста, проводите покупателя.

Одну неделю в месяц Филипу приходилось нести дежурство. Он должен был являться к себе в отдел к семи часам утра и присматривать за уборщицами. Когда они кончали уборку, он снимал чехлы с прилавков и манекенов. Вечером, после ухода приказчиков, он снова накрывал чехлами прилавки и манекены и опять руководил уборкой. Это была пыльная и грязная работа. Во время дежурства не разрешалось ни читать, ни писать, ни курить; надо было просто ходить взад-вперед, и время тянулось бесконечно. В половине десятого, перед самым уходом, ему полагался ужин, и это было единственным утешением: чай в пять часов дня не утолял голода, так что хлеб, сыр и какао, выдававшиеся на ужин, приходились как нельзя более кстати.

Однажды, месяца через три после поступления Филипа к «Линну и Седли», заведующий отделом Сэмпсон пришел к своим подчиненным вне себя от ярости. Подходя к магазину, управляющий обратил внимание на витрину дамского готового платья, вызвал заведующего отделом и язвительно пробрал его за безвкусное сочетание красок. Вынужденный молча выслушивать насмешки управляющего, мистер Сэмпсон отыгрался на приказчиках и задал головомойку несчастному парню, в обязанности которого входило украшение витрины.

— Если хочешь, чтобы дело было сделано как следует, приходится за всем следить самому,—бушевал мистер Сэмпсон.— Я это говорил и всегда буду говорить. Ни в чем на вас нельзя положиться. А еще считаете себя умниками. Умники!

Он обзывал этим словом подчиненных, будто оно было самым обидным на свете.

— Неужели вы не знаете, что, когда на витрине цвет электрик, он убивает все другие оттенки синего?

Сэмпсон свирепо оглядел свой отдел, и взгляд его упал на Филипа.

— В следующую пятницу уберете витрину вы, Кэри. Посмотрим, что у вас выйдет.

Сердито бормоча сквозь зубы, он удалился. У Филипа ждалось сердце. Когда настала пятница, он полез в витрину сам не свой от стыда. Щеки его горели. Ему мучительно не хотелось выставлять себя напоказ прохожим; хотя он и твердил себе, что глупо поддаваться такому чувству, он старался повернуться спиной к улице. Вряд ли кто-нибудь из знакомых студентов пройдет в этот час по Оксфорд-стрит, а больше он в Лондоне почти никого не знал; и все-таки, пока Филип работал, у него стоял комок в горле: он боялся обернуться и увидеть знакомое лицо. Он спешил как мог. Помня простую истину, что все оттенки красного хорошо сочетаются, и разместив платья подальше друг от друга, Филип добился отличных результатов; когда заведующий вышел на улицу, чтобы взглянуть на витрину, он не мог скрыть своего удовлетворения.

— Я знал, что не ошибусь, поручив вам витрину. Все дело в том, что мы с вами — джентльмены (конечно, я не стану распространяться об этом в отделе, но факт остается фактом), ну а руку джентльмена всегда узнаешь. И не говорите мне, что это не так: я-то знаю, где собака зарыта.

Украшение витрины стало постоянной обязанностью Филипа, но он по-прежнему дрожал при мысли, что ему придется работать на глазах у всей улицы; он с отвращением ждал пятницы, когда менялась выставка в витрине, в это утро он просыпался часов в пять и томился, не смыкая глаз, до самого звонка. Продавщицы заметили его смущение и живо обнаружили, что он старается стоять спиной к прохожим. Они потешались над ним и дразнили зазнайкой.

— Наверное, боитесь, что мимо пройдет ваша тетушка и лишит вас наследства? — смеялись они.

Вообще-то он с продавщицами ладил. Они считали его чудаковатым, но его хромота объясняла многое, а со временем они обнаружили, что он человек добродушный. Он никогда никому не отказывал в помощи, был вежлив и ровен со всеми.

— Сразу видно, что настоящий джентльмен, — говорили они.

— Только уж больно хмурый, — добавила одна из них, чьи восторженные излияния по поводу театра он выслушал с полнейшим равнодушием.

У большинства продавщиц были свои ухажеры, а те, у кого их не было, утверждали, что они есть; нехорошо, если

подумают, будто на них нет охотников. Кое-кто из девиц дал понять Филипу, что не прочь с ним пофлиртовать, но он наблюдал за их заигрываниями со сдержанной усмешкой. До поры до времени довольно с него любви; к тому же он почти всегда валился с ног от усталости и часто бывал голоден.

ГЛАВА 106

Филип избегал тех мест, которые знал в лучшие дни. Маленькая компания, посещавшая кабачок на Бик-стрит, распалась: после того как Макалистер подвел своих друзей, он больше там не показывался, а Хейуорд уехал на войну. Оставался один Лоусон; однако Филип, считая, что с художником его больше ничего не связывает, не хотел его видеть. Но как-то раз в субботу после обеда, успев переодеться, он шел по Риджент-стрит в бесплатную библиотеку, где думал провести вечер, и неожиданно столкнулся лицом к лицу с Лоусоном. Его первым побуждением было пройти мимо, не говоря ни слова, но Лоусон не дал ему этой возможности.

— Где ты пропадал столько времени? — воскликнул он.

— Пропадал? — переспросил Филип.

— Я тебе писал, приглашал к себе в мастерскую на вечеринку, а ты даже не ответил.

— Никакого письма я не получил.

— Знаю. Я был в больнице и справлялся о тебе — там я нашел свое письмо не востребованным. Ты бросил медицину?

Филип колебался. Ему было стыдно сказать правду, но стыд, который он чувствовал, его злил, и он заставил себя ответить. Лицо его залилось краской.

— Да, я потерял тот небольшой капитал, который у меня был. Мне не на что продолжать учение.

— Ну и ну! Вот несчастье! Что же ты теперь делаешь?

— Служу администратором в магазине.

Слова застревали у Филипа в горле, но он твердо решил не скрывать правды. Он не спускал глаз с Лоусона и заметил, как тот смущен. Филип зло скривил губы.

— Если будешь у «Линна и Седли» и заглянешь в отдел готового дамского платья, ты меня там можешь встретить. Я разгуливаю с непринужденным видом и показываю дорогу дамам, которые хотят купить чулки или нижние юбки. «Первый поворот направо, мадам, второй налево».

Видя, что Филип превращает все в шутку, Лоусон неловко рассмеялся. Он не знал, что сказать. Картина, нарисованная Филипом, его ужаснула, но он боялся выказать ему сочувствие.

— Да-а, кто бы мог ожидать? — заметил он.

Не успел он произнести эти слова, как они ему самому показались глупыми и он о них пожалел. Филип вспыхнул до корней волос.

— Пожалуй, никто, — сказал он. — Кстати, я должен тебе пять шиллингов.

Он сунул руку в карман и вынул несколько серебряных монет.

— Какая ерунда, — пробормотал Лоусон. — Я о них совсем забыл.

— Бери, бери.

Лоусон молча взял деньги. Они стояли посреди тротуара, и прохожие их толкали. В глазах у Филипа светилась ирония, а художник готов был провалиться сквозь землю; он не мог предположить, что в эту минуту Филипа душит отчаяние. Лоусону до боли хотелось ему помочь, но он не знал, как это сделать.

— Послушай, пойдем ко мне в мастерскую и поговорим, — предложил он.

— Нет, — ответил Филип.

— Почему?

— Нам не о чем говорить.

Филип прочел в глазах Лоусона обиду; в душе его шевельнулось сожаление, но он ничего не мог поделать, надо было прежде всего думать о себе: мысль о том, что он станет обсуждать с кем-то свое положение, казалась ему невыносимой — он мог примириться с ним, только если о нем не думал. Филип боялся расчувствоваться, если попробует открыть приятелю сердце. Кроме того, у него появилась глубочайшая неприязнь к тем местам, где ему пришлось страдать; он не мог забыть унижение, которое испытывал сам не свой от голода, ожидая в мастерской, чтобы Лоусон пригласил его поесть; он помнил и свой последний приход, когда попросил в долг пять шиллингов. Самый вид Лоусона стал ему ненавистен: он напоминал ему дни глубочайшего падения.

— Приходи, по крайней мере, как-нибудь пообедать, — настаивал Лоусон. — В любой день, когда хочешь.

Филипа растрогала его доброта. Сколько совсем не схожих друг с другом людей, подумал он, проявляли к нему неожиданную доброту.

— Спасибо, старина, это очень мило с твоей стороны, но лучше не надо.— Он протянул руку.— Прощай.

Лоусон был смущен его поведением, которого он никак не мог понять; он молча пожал Филипу руку, и тот торопливо заковылял прочь. У Филипа было тяжело на душе; как всегда, он терзался запоздалыми сожалениями: он и сам не понимал, что за безумная гордыня заставила его оттолкнуть дружескую руку. Но вдруг он услышал, что за ним кто-то бежит,— Лоусон его окликнул. Филип остановился, и чувство неприязни овладело им с новой силой; он спросил холодно, с каменным лицом:

— В чем дело?

— Ты слышал о Хейуорде?

— Я знаю, что он отправился в Южную Африку.

— Да, и умер сразу же после высадки.

У Филипа отнялся язык. Он не верил своим ушам.

— От чего он умер? — спросил он наконец.

— От брюшного тифа. Не повезло, верно? Я так и думал, что ты еще не знаешь. Когда мне сказали, у меня просто в глазах потемнело.

Лоусон поспешно кивнул и отошел. Филип не мог унять охватившей его дрожи. Он еще ни разу не терял своего сверстника; смерть Кроншоу, который был значительно старше его, казалась ему естественной. Известие о гибели Хейуорда потрясло его до глубины души. Оно напомнило ему, что он и сам смертен. Как и у всякого другого, у Филипа, отлично знавшего, что все люди рано или поздно должны умереть, не было внутреннего ощущения, что такая участь уготована и ему; вот почему его так глубоко взволновала кончина Хейуорда, хотя он давно к нему охладел. Он вспомнил их задушевные беседы, и ему стало больно, что никогда уже больше не поговорит с другом; вспомнил их первую встречу и веселые дни, которые они проводили вместе в Гейдельберге. Он с грустью думал о годах, канувших в вечность. Филип брел по улице, не замечая, куда идет, и вдруг с досадой сообразил, что ошибся дорогой: вместо того чтобы пройти на Хеймаркет, он свернул на Шефтсбери-авеню. Лень было возвращаться назад, да и полученное известие отбило у него охоту читать — ему захотелось побыть наедине с самим собой и подумать. Он решил отправиться в Британский музей.

Одиночество стало теперь единственной доступной ему роскошью. С тех пор как Филип поступил на службу к «Линну и Седли», он часто заходил в Британский музей и подолгу сидел перед статуями из Парфенона; он ни о чем

не думал, его смятенная душа обретала покой, которым дышали эти создания небожителей. Но сегодня даже они не могли ему помочь, и через несколько минут он с раздражением покинул зал. Тут было слишком много народу: провинциалы с тупыми физиономиями, иностранцы, погруженные в свои путеводители; людское уродство поганило бессмертные творения искусства, суeta кощунственно нарушала извечный покой богов. Филип перешел в другой зал, где было почти пусто. Он устало опустил на скамью. Нервы его были напряжены до предела. Ему казалось, что перед ним продолжают мелькать какие-то рожи — он никак не мог от них отделаться. Порой такое же ощущение вызывали у него покупательницы «Линна и Седли»; их безобразие и жадность, написанная на лицах, приводили его в ужас; их черты искажены жалкими страстями — этим женщинам, видно, чуждо всякое представление о красоте. Глаза бегают по сторонам, подбородки безвольны. Нет в них даже зла, но зато сколько самой низкой пошлости! Юмор им заменяет развязное зубоскальство. Иногда он ловил себя на том, что ищет в их лицах сходство с разными животными (он себя останавливал, ибо это занятие быстро превращалось в манию): он узнавал в этих чертах овцу или клячу, козу или лисицу. Люди вызывали у него омерзение.

Но сейчас Филип постепенно погрузился в окружавший его мир прекрасных вещей. Он успокоился. Рассеянно он стал разглядывать надгробья, стоявшие вдоль стен. Это были работы афинских каменотесов четвертого и пятого веков до рождения Христа — простые, непритязательные изваяния, не отмеченные большим талантом, но пронизанные сладостным духом Эллады; время сгладило очертания и мягко позолотило мрамор: он стал напоминать медвяный дар гиметских пчел. Некоторые памятники изображали нагую фигуру, сидящую на скамье, другие — расставание умершего с теми, кто его любил, третьи — объятие усопшего с кем-нибудь из живых. На всех было начертано горестное слово «прощай» — и больше ничего. Простота этих фигур была невыразимо трогательна. Друг покидал здесь друга, сын — мать, а сдержанность жестов еще больше подчеркивала горе осиротевших. Все это случилось давно, бесконечно давно, — века пронесли над этим горем; два тысячелетия назад те, кто оплакивали своих мертвых, стали таким же прахом, как и те, кого они оплакивали. Но скорбь продолжала жить, она вошла в сердце Филипа, пробудила в нем горячее сострадание, он прошептал:

— Бедные, бедные...

И ему пришло в голову, что и праздные зеваки, и упитанные иностранцы со своими путеводителями, и эти жадные, грубые люди, толпившиеся в магазине, — все они вместе со своими ничтожными желаниями и пошлыми заботами тоже смертны и тоже должны умереть. И они любили и были обречены на расставание с любимыми: сын — с матерью, жена — с мужем; может быть, их участь еще более горестна, потому что жизнь их убога, уродлива и душе их не дано познать красоту.

Особенно прекрасным было одно изваяние — барельеф, на котором двое юношей держали друг друга за руки; строгие, простые линии говорили о том, что скульптором владело подлинное вдохновение. Это был замечательный памятник дружбе, рядом с которой в целом свете есть только одно еще более драгоценное чувство; Филип глядел на этот камень, и на глазах у него выступили слезы. Он подумал о Хейуорде — о том, как восхищался им при первой встрече, как на смену восхищению пришло разочарование, а потом и безразличие, пока наконец ничто больше не связывало их, кроме привычки и воспоминаний. Одна из странных особенностей жизни заключается в том, что порой вы встречаетесь с кем-нибудь ежедневно на протяжении долгих месяцев, сходитесь так близко, что, кажется, уж не можете друг без друга жить, но вот наступает разлука и все идет по-прежнему, как ни в чем не бывало: дружба, без которой вы не могли обойтись, на поверку вам совсем и не нужна. Жизнь течет своим чередом, и вы даже не замечаете отсутствия друга. Филип вспоминал давно прошедшие дни в Гейдельберге, когда Хейуорд подавал большие надежды и был полон радостных упований, но, так ничего и не достигнув, постепенно примирился с участью неудачника. И вот теперь он был мертв. Смерть его оказалась такой же бесплодной, как и его жизнь. Он умер бесславно от какой-то нелепой болезни, не свершив даже напоследок ничего путного. Он исчез, словно никогда и не жил.

Филип с отчаянием спрашивал себя, зачем мы вообще существуем. Все казалось ему таким бессмысленным. Вот и Кроншоу: для чего он жил? Он умер, и его забыли, нераспроданные книжки его стихов сбывались букинистами за полцены; жизнь его, казалось, не принесла никакой пользы, разве что дала предприимчивому писаке повод разразиться журнальной статьей. У Филипа вырвался немой крик:

«К чему же все это?»

Достигнутое так не соответствовало затраченным усилиям. Радужные надежды юности оплачивались горькой ценой разочарований. Горе, болезни и несчастья ложились на весы тяжким грузом. Что все это означало? Он подумал о собственной жизни, о светлых надеждах, с которыми в нее вступал, о радостях, которых лишила его хромота, о том, что он не знал дружбы, а в детстве был так одинок. Всю жизнь он старался поступать как можно разумнее, а каким оказался неудачником! Другие, у кого было столько же возможностей, добивались успеха; правда, он знал людей, которые потерпели крах с куда большими возможностями, чем были у него. Все, по-видимому, дело случая. Дождь одинаково хлестал правого и виноватого, и на всякую задачу всегда найдется причина.

Думая о Кроншоу, Филип вспомнил о персидском ковре, который тот ему подарил, сказав, что в нем — разгадка смысла жизни; вдруг ему показалось, что он ее нашел. Филип усмехнулся: слова Кроншоу, видно, были одной из тех шарад, над которыми ломаешь голову, пока тебе не подскажут ключ, а потом не можешь понять, как это ты сразу не догадался. Ответ был такой простой. Жизнь вовсе не имеет смысла. На земле — спутнике светила, несущегося в бесконечности, все живое возникло под воздействием определенных условий, в которых развивалась эта планета; точно так же, как на ней началась жизнь, она под воздействием других условий может и окончиться; человек — всего лишь один из многообразных видов этой жизни, он отнюдь не венец мироздания, а продукт среды. Филип вспомнил рассказ об одном восточном владыке, который захотел узнать всю историю человечества; мудрец принес ему пятьсот томов; занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме; через двадцать лет мудрец вернулся — история человечества занимала теперь всего пятьдесят томов, но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца; прошло еще двадцать лет, и постаревший, убежденный сединами мудрец принес владыке один-единственный том, содержащий всю премудрость мира, которую тот жаждал познать; но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке, и она гласила: человек рождается, страдает и умирает. Жизнь не имеет никакого смысла, и существование человека бессцельно. Но какая же тогда разница: родился человек или нет, живет он или умер? Жизнь, как и смерть,

теряла всякое значение. Филип возликовал, как когда-то в юности, — тогда он радовался, что сбросил с души веру в бога; ему показалось, что теперь он избавился от всякого бремени ответственности и впервые стал совершенно свободен. Его ничтожество становилось его силой, и он внезапно почувствовал, что может сразиться с жестокой судьбой, которая его преследовала: ибо, если жизнь бессмысленна, мир уже не кажется таким жестоким. Не важно, совершил ли что-нибудь тот или иной человек или ничего не смог совершить. Неудача ничего не меняет, а успех равен нулю. Человек — только мельчайшая песчинка в огромном людском водовороте, захлестнувшем на короткий миг земную поверхность; но он становится всесильным, как только разгадает тайну, что и хаос — ничто. Мысли теснились в воспаленном мозгу Филипа, он задышался от радостного возбуждения. Ему хотелось петь и плясать. Уже много месяцев он не был так счастлив.

«О жизнь, — воскликнул он в душе, — о жизнь, где твое жало?»

Та же игра воображения, которая доказала ему, как дважды два — четыре, что жизнь не имеет смысла, натолкнула его на новое открытие: кажется, он наконец понял, зачем Кроншоу подарил ему персидский ковер. Ткач плетет узор на ковре не ради какой-нибудь цели, а просто для того, чтобы удовлетворить свою эстетическую потребность, вот и человек может прожить свою жизнь точно так же; если же он считает, что не свободен в своих поступках, пусть смотрит на свою жизнь как на готовый узор, изменить который он не в силах. Человека никто не вынуждает плести узор своей жизни, нет в этом и насущной необходимости — он делает это только ради собственного удовольствия. Из многообразных событий жизни, из дел, чувств и помыслов он может сплести узор — рисунок выйдет строгий, затейливый, сложный или красивый, и пусть это только иллюзия, будто выбор рисунка зависит от него самого, пусть это всего лишь фантазия, погоня за призраками при обманчивом свете луны — дело не в этом; раз ему так кажется, следовательно, для него это так и есть на самом деле. Зная, что ни в чем нет смысла и ничто не имеет значения, человек все же может получить удовлетворение, выбирая различные нити, которые он вплетает в бесконечную ткань жизни: ведь это река, не имеющая истока и бесконечно текущая, не впадая ни в какие моря. Существует один узор — самый простой, совершенный и красивый: человек рождается, мужает, женится, производит на свет детей, трудится ради куска хлеба

и умирает; но есть и другие, более замысловатые и удивительные узоры, где нет места счастью или стремлению к успеху,—в них скрыта, пожалуй, какая-то своя тревожная красота. Некоторые жизни — среди них и жизнь Хейворда — обрывались по воле слепого случая, когда узор был еще далеко не закончен; оставалось утешать себя тем, что это не имеет значения; другие жизни, как, например, жизнь Кроншоу, составляют такой запутанный узор, что в нем трудно разобраться,—надо изменить угол зрения, отказаться от привычных взглядов, чтобы понять, насколько такая жизнь себя оправдывает. Филип полагал, что, отказавшись от погони за счастьем, он прощается с последней иллюзией. Жизнь его казалась ужасной, пока мерилом было счастье, но теперь, когда он решил, что к ней можно подойти с другой меркой, у него словно прибавилось сил. Счастье имело так же мало значения, как и горе. И то и другое вместе с прочими мелкими событиями его жизни вплетались в ее узор. На какое-то мгновение он словно поднялся над случайностями своего существования и почувствовал, что ни счастье, ни горе уже никогда не смогут влиять на него так, как прежде. Все, что с ним случится дальше, только вплетет новую нить в сложный узор его жизни, а когда наступит конец, он будет радоваться тому, что рисунок близок к завершению. Это будет произведение искусства, и оно не станет менее прекрасным оттого, что он один знает о его существовании, а с его смертью оно исчезнет.

Филип был счастлив.

ГЛАВА 107

Заведующий отделом мистер Сэмпсон воспытал к Филипу симпатией. Мистер Сэмпсон был дамский угодник, и продавщицы поговаривали, что их нисколько не удивит, если он женится на какой-нибудь богатой покупательнице. Он жил за городом и частенько восхищал своих подчиненных, наряжаясь во фрак тут же в конторе. Иногда дежурные, наблюдавшие за уборкой, видели, как он возвращался наутро все в том же парадном костюме, и молча перемигивались, пока он переодевался в рабочий сюртук. В такие дни, выскользнув из магазина, чтобы позавтракать на скорую руку, мистер Сэмпсон на обратном пути сам подмигивал Филипу и, потирая руки, говорил:

— Ну и ночка! Ну и ночка! С ума сойти!

Мистер Сэмпсон заверил Филипа, что, кроме него, в магазине нет ни одного джентльмена и что только они двое и знают толк в жизни. Но затем он вдруг изменил тон, стал звать Филипа не «старинной», а «мистером Кэри», напустил на себя важный вид и поставил Филипа на место.

Фирма «Линн и Седли» каждую неделю получала из Парижа новые журналы и приспособлявала французские моды к запросам своих покупателей. А покупатели фирмы были не совсем обычные. Основную их массу составляли обитательницы небольших промышленных городов, которые были чересчур большими модницами, чтобы заказывать наряды дома, и недостаточно знакомы с Лондоном, чтобы найти хорошую портниху по средствам. Кроме них, как ни странно, значительное место среди покупательниц занимали артистки мюзик-холла. Это была *clientèle*¹, которую приобрел сам мистер Сэмпсон, и он ею очень гордился. Они поначалу заказывали у «Линна и Седли» эстрадные костюмы, а он убедил их покупать здесь и другие туалеты.

— У нас не хуже, чем у Пакэна², и вдвое дешевле,— приговаривал он.

Он усвоил с ними вкрадчивую, фамильярную манеру, которая нравилась такого рода покупательницам. Они говорили друг другу:

— Глупо сорить деньгами, когда у «Линна» можно купить костюм ничем не хуже парижского.

Мистер Сэмпсон очень гордился своей дружбой с любимицами публики, которых он «одевал». Когда он в воскресенье обедал у мисс Виктории Вирго в ее красивом доме на Талс-хилл, он угощал назавтра весь отдел живописными подробностями: «Она была в том блекло-голубом туалете, который мы ей сшили; держу пари, она никому не проговорила, что он от нас; я и сам ей сказал, что, если бы не нарисовал его вот этими руками, и я поверил бы, что он от Пакэна». Филип никогда прежде не обращал внимания на женские наряды, но постепенно стал, посмеиваясь над собой, чувствовать к ним профессиональный интерес. Он лучше разбирался в сочетании красок, чем другие служащие отдела, и сохранил со времен своего учения в Париже некоторое представление об изяществе и линии. Мистер Сэмпсон был человек необразованный, но знал этот свой недостаток; он обладал умением подхватывать чужие идеи и, создавая модели,

¹ Клиентура (*фр.*).

² Парижская фирма дамских нарядов.

постоянно обсуждал их с подчиненными; он быстро сообразил, что Филип может дать ценный совет. Но он был крайне самолюбив и ни за что бы не признался, что действует по чужой подсказке. Изменив какой-нибудь эскиз по совету Филипа, он всегда приговаривал:

— Что ж, в конце концов мы вернулись к моему замыслу.

Как-то раз, месяцев через пять после поступления Филипа в магазин, туда явилась известная комедийная актриса мисс Алиса Антониа и спросила Сэмпсона. Это была крупная женщина с льняными волосами и откровенно накрашенным лицом, обладавшая резким голосом и бойкими манерами эстрадной певички, привыкшей быть запанибрата с галеркой провинциального мюзик-холла. Она включила в репертуар новую песенку и хотела, чтобы мистер Сэмпсон придумал ей новый костюм.

— Это должно быть что-то потрясающее,— заявила она.— И не вздумайте предлагать всякое старье. Понимаете, мне нужно, чтобы костюм был такой, какого ни у кого нет!

Мистер Сэмпсон держался, как всегда, самоуверенно и фамильярно; он не сомневался, что может предложить ей как раз то, о чем она мечтает. Он показал ей эскизы моделей.

— Я знаю, здесь нет ничего для вас подходящего, но мне просто хочется дать вам представление о том, что бы я мог вам предложить.

— Ну нет, это мне совсем не подойдет,— сказала она капризно, взглянув на рисунки.— Мне нужно что-нибудь сногшибательное, чтобы дух захватывало.

— Я вас отлично понимаю, мисс Антониа,— сказал заведующий; он вежливо улыбался, но глаза его смотрели тупо и растерянно.

— Наверно, в конце концов придется махнуть в Париж,— сказала она.

— Помилуйте, мисс Антониа, все, что можно купить в Париже, вы получите у нас. Останетесь довольны.

Когда мисс Антониа выплыла из магазина, встревоженный мистер Сэмпсон поделился своими огорчениями с миссис Ходжес.

— Да, ей пальца в рот не клади,— изрекла миссис Ходжес.

— Алиса, крошка моя, отзовись!— с раздражением пропел заведующий, решив, что страшно ей этим отомстил.

Мистер Сэмпсон был сердит. Его представление о костюме для эстрады никогда не шло дальше коротких юбок, вихря, кружев и блесток, однако миссис Антония выразилась на этот счет совершенно недвусмысленно.

— Барахло! — заявила она.

И сказано это было таким тоном, что не оставалось никаких сомнений в ее закоренелой антипатии к подобной дряни, даже если бы она и не добавила потом, что ее тошнит от блесток. Мистер Сэмпсон предложил кое-какие «идеи», но миссис Ходжес откровенно заявила ему, что они вряд ли подойдут. Она-то и подала Филипу мысль:

— Вы умеете рисовать, Фил? Почему бы вам не попробовать, может, у вас что-нибудь и выйдет.

Филип купил коробку дешевых акварельных красок и вечером, в то время как его шумливый шестнадцатилетний сосед Белл, насвистывая все те же три ноты, возился со своими марками, сделал несколько набросков. Филип вспомнил костюмы, которые видел в Париже, и видоизменил один из них, достигнув большого эффекта ярким, необычным сочетанием красок. Рисунок его позабавил, и на следующее утро он показал его миссис Ходжес. Она несколько удивилась, но отнесла его заведующему.

— Спору нет, — сказал тот, — это ни на что не похоже.

Он был озадачен, однако тут же подметил опытным глазом, что платье будет выглядеть отлично. Чтобы спасти свой престиж, он предложил сделать кое-какие переделки, но миссис Ходжес, у которой было больше здравого смысла, посоветовала показать заказчице эскиз, как он есть.

— Она ведь тронутая, кто ее знает, может, ей и понравится.

— Скорее всего нет, — сказал мистер Сэмпсон, разглядывая *décolletage*¹. — А ведь рисовать он умеет. Любопытно, почему он до сих пор это скрывал?

Когда доложили о приходе мисс Антония, заведующий положил эскиз на стол с таким расчетом, чтобы артистка заметила его, как только переступит порог. Она и в самом деле сразу накинулась на рисунок.

— Что это? — спросила она. — Почему вы мне не показываете?

— Да вот мы как раз вам это и собирались предложить, — равнодушным тоном сказал мистер Сэмпсон. — Вам нравится?

¹ Декольте (*фр.*).

— Еще бы! — сказала она. — Да я его оторву с руками и ногами!

— Видите, я же сказал, что ездить в Париж вам ни к чему. Только скажите, что вам нужно, и все будет в лучшем виде.

Модель сразу пошла в работу, и Филип испытал радостное волнение, увидев готовый костюм. Все почести достались на долю заведующего и миссис Ходжес, но Филипу это было безразлично; в приподнятом настроении он отправился с ними в Тиволи, чтобы поглядеть на мисс Антония в его модели. В ответ на расспросы миссис Ходжес Филип наконец рассказал ей, где он научился рисовать, — до сих пор он старательно избегал разговоров о своей прежней жизни, боясь, чтобы в общечитии не подумали, будто он важничает; миссис Ходжес тотчас же доложила обо всем мистеру Сэмпсону. Заведующий не сказал Филипу ни слова, но стал обращаться с ним уважительнее и поручил ему нарисовать модели для двух заказчиц из провинции. Модели были одобрены. Тогда он стал сообщать заказчицам, что у них работает «способный паренек, который учился рисовать в Париже»; вскоре Филип был водворен за ширму и, скинув пиджак, стал рисовать с утра до ночи. Иногда он бывал так занят, что успевал пообедать только в три часа вместе с опоздавшими. Ему это нравилось: в это время было куда меньше обедающих и все они молчали от усталости; да и ели лучше — им подавали остатки со стола начальства. Головокружительная карьера Филипа, ставшего из администратора художником-модельером, произвела большое впечатление в отделе. Он заметил, что ему стали завидовать. Гаррис, тот самый приказчик с угловатым черепом, который был его первым знакомым в магазине и по-своему привязался к Филипу, не мог скрыть обиды.

— Ну и везет же некоторым, — говорил он. — Не успеешь и глазом моргнуть, как вы станете заведующим и нам придется ходить перед вами на задних лапках.

Он посоветовал Филипу потребовать прибавки жалованья: несмотря на куда более сложную работу, которую Филип теперь выполнял, он по-прежнему получал свои шесть шиллингов. Но просить прибавки было делом щекотливым. Управляющий имел обыкновение обращаться с такими просителями иронически:

— Ах, вот как, значит, вы полагаете, что стоите большего? А сколько же, по вашему мнению, вам надлежит платить?

Дрожа как осиновый лист, приказчик говорил, что, по его мнению, ему следовало бы прибавить два шиллинга в неделю.

— Что ж, отлично,— говорил управляющий,— если вы действительно уверены, что этого заслуживаете, вы можете их получить.— Тут он делал паузу и нередко добавлял ледяным тоном:— А заодно можете получить и расчет.

Тут уже бесполезно было идти на попятный— вы были уволены. Управляющий полагал, что недовольство мешает человеку работать как следует, и потому, если он не заслуживает прибавки, лучше сразу же выставить его за дверь. Зная это, служащие никогда не просили прибавки, если не были готовы потерять свое место. Филип колебался. Он не слишком доверял своим товарищам по комнате, утверждавшим, что заведующему отделом без него не обойтись. Все они были славные ребята, но юмор у них был грубоватый— их могло позабавить, если бы им удалось убедить Филипа попросить прибавки, а его бы за это уволили. Он не забыл, как унинительны поиски работы, и не хотел подвергнуться этому унижению снова; он знал, как трудно найти где-нибудь место художника по костюмам: сотни людей умели рисовать ничуть не хуже его. Но деньги были нужны позарез: платье его износилось, а ботинки и носки просто сгнили на этих коврах. Он чуть было не решился пойти на риск и попросить прибавки, но однажды утром, после завтрака, возвращаясь по коридору и проходя мимо конторы управляющего, увидел очередь людей, пришедших наниматься по объявлению. Их было около сотни; каждому поступившему давали те же шесть шиллингов на всем готовом, которые получал Филип. Он заметил, что многие из них бросают на него завистливые взгляды,— ведь у него была работа. Это заставило его содрогнуться. Он не посмел рискнуть своим положением.

ГЛАВА 108

Прошла зима. Изредка Филип заходил в больницу, чтобы взглянуть, нет ли для него писем; он пробирался туда по вечерам, чтобы не встретить знакомых. На пасху он получил коротенькое письмецо от дяди. Филип был удивлен: блэкстеблский священник написал ему за всю жизнь не больше полдюжины писем, да и то деловых. Письмо гласило:

«Дорогой Филип!

Если ты в ближайшее время возьмешь отпуск и захочешь ко мне приехать, я буду рад тебя видеть. Зимой у меня очень обострился бронхит, и доктор Уигрэм не надеялся, что я выживу. Но у меня очень крепкий организм, и я, слава богу, совсем поправился.

Любящий тебя

Уильям Кэри».

Письмо рассердило Филипа. Как представляет себе дядя: на что он живет? Священник даже не дал себе труда об этом спросить. Филип мог умереть с голоду — старику это было безразлично. Но по дороге домой Филипа осенила неожиданная мысль. Он остановился под фонарем и перечитал письмо; почерк дяди уже не был таким твердым и деловым, как прежде, теперь он писал крупно, дрожащей рукой. Быть может, болезнь расшатала его здоровье больше, чем ему хотелось признаться, и в этой сухой записке звучала тайная тоска по единственному на свете близкому человеку.

Филип ответил, что сможет приехать в Блэкстебл на две недели в июле. Приглашение пришло кстати — он не знал, как ему провести отпуск. Ательни уезжали на сбор хмеля в сентябре, но тогда его не могли отпустить с работы: в сентябре готовились осенние модели. Согласно правилам фирмы «Линн и Седли», каждый служащий должен был использовать положенный ему двухнедельный отпуск, хотел он этого или нет; если ему некуда было поехать, он мог ночевать в общежитии, но питания не получал. У некоторых служащих поблизости от Лондона не было ни родных, ни знакомых, отпуск для них превращался в неприятную повинность — им приходилось тратить свое ничтожное жалованье на питание, не зная, куда девать свободное время, и не имея денег на расходы. Филип не выезжал из Лондона уже два года, с тех пор как ездил с Милдред в Брайтон; он истосковался по свежему воздуху и по морской глади. Он так страстно мечтал об этом весь май и июнь, что, когда наконец время отъезда пришло, он уже не чувствовал ничего, кроме душевной усталости.

В последний вечер, когда он докладывал заведующему об одной или двух работах, которые не успел закончить, мистер Сэмпсон вдруг спросил:

— Какое у вас жалованье?

— Шесть шиллингов.

— Пожалуй, этого для вас маловато. Когда вы вернетесь, я позабочусь, чтобы вам повысили жалованье до двенадцати.

— Большое спасибо,— улыбнулся Филип.— Мне очень нужен новый костюм.

— Если вы будете усердно работать, а не бегать за девчонками, как иные прочие, я вас не оставлю. Имейте в виду, Кэри, вам еще многому надо научиться, но вы подаете надежды, не скрою, подаете надежды. Я похлопочу, если вы заслужите, чтобы вам положили фунт в неделю.

Филип с тоской подумал о том, сколько еще ему придется этого ждать. Два года?

Его поразило, как сильно изменился дядя. Когда он видел его в последний раз, это был тучный, осанистый человек с чисто выбритым, круглым, чувственным лицом; но за последний год он сдал не на шутку: кожа его пожелтела, под глазами появились мешки, он сторбился, одряхлел и перестал брить бороду. Теперь он едва передвигал ноги.

— Сегодня я чувствую себя хуже, чем всегда,— сказал он, когда по приезде Филипа они остались вдвоем в столовой.— Я плохо переношу жару.

Расспрашивая дядю о приходских делах, Филип приглядывался к нему, думая, сколько он еще протянет: жаркое лето могло его доконать; руки его высохли и тряслись. Для Филипа это был вопрос всего его будущего. Если бы дядя умер летом, Филип смог бы вернуться в институт к началу зимней сессии; сердце его радостно забилося при одной мысли, что ему больше не придется возвращаться к «Линну и Седли». За обедом священник понуро сидел в своем кресле; экономка, служившая у него со смерти жены, спросила:

— Вы не возражаете, сэр, если мясо нарежет мистер Филип?

Не желая признаваться в своем бессилии, старик собирався было взяться за это сам, но явно обрадовался предложению экономки.

— У тебя отличный аппетит,— заметил Филип.

— Да, не могу пожаловаться. Но я похудел с тех пор, как ты меня видел. И слава богу, что похудел,— мне вовсе не так уж хорошо быть полным. Доктор Уигрэм считает, что мне полезно было похудеть.

После обеда экономка принесла лекарство.

— Покажите рецепт мистеру Филипу,— сказал священник.— Он ведь тоже доктор. Пусть посмотрит, хорошее ли это лекарство. Я уже говорил доктору Уигрэму, что теперь, когда ты учишься на врача, ему бы следовало делать мне

скидку. Просто ужас, сколько приходится ему платить. Целых два месяца он посещал меня ежедневно, а берет он пять шиллингов за визит. Правда, уйма денег? Он и теперь приходит два раза в неделю. Я все собираюсь ему сказать, что в этом больше нет никакой нужды. Если он понадобится, я всегда могу за ним послать.

Дядя Уильям не сводил глаз с Филипа, пока тот читал рецепты. Лекарств было два — оба болеутоляющие; одно из них, как объяснил священник, следовало принимать только в крайних случаях, когда приступ неврита становится невыносимым.

— Я очень осторожен,— сказал священник.— Мне не хочется привыкать к наркотикам.

О делах племянника он даже не упомянул. Филип решил, что дядя распространяется о своих расходах из осторожности, чтобы он не попросил денег. Сколько было истрачено на врача, а сколько еще на лекарства! Во время его болезни приходилось каждый день топить камин в спальне; к тому же теперь по воскресеньям коляска нанималась утром и вечером, чтобы ездить в церковь! Филип, обозлившись, хотел было сказать, что дяде нечего бояться — он не собирался просить у него денег, но сдержался. Казалось, в старике уже не осталось ничего человеческого, лишь жадность к пище и к деньгам. Это была малопочтенная старость.

После обеда явился доктор Уигрэм; когда он уходил, Филип проводил его до калитки.

— Как вы находите дядю? — спросил он.

Доктор Уигрэм больше старался не причинять вреда, чем приносить пользу; он, если мог, никогда не высказывал определенного мнения. В Блэкстебле он практиковал уже тридцать пять лет. У него была репутация человека осторожного: многие его пациенты считали, что врачу куда лучше быть осторожным, чем знающим. Лет десять назад в Блэкстебле поселился новый врач, на которого все еще смотрели как на пролазу; говорили, что он хорошо лечит, но у него почти не было практики среди людей обеспеченных — ведь никто ничего не знал о нем толком.

— Что ж, здоровье его не хуже, чем можно было ожидать,— ответил доктор Уигрэм на вопрос Филипа.

— У него что-нибудь серьезное?

— Видите ли, Филип, ваш дядя человек уже немолодой,— произнес врач с осторожной улыбочкой, которая в то же время давала понять, что больной вовсе не так уж стар.

— Кажется, он жалуется на сердце?

— Сердце его мне не нравится,— рискнул заметить врач.— Ему следует быть осторожным, весьма осторожным.

У Филипа вертелся на языке вопрос: сколько дядя еще сможет прожить? Но он боялся возмутить таким вопросом собеседника. В подобных случаях неписаный этикет требовал деликатного подхода к делу, но ему пришлось в голову, что врач, наверно, привык к нетерпению родственников больного. Он, должно быть, видел их насквозь. Усмехаясь над собственным лицемерием, Филип опустил глаза.

— Надеюсь, серьезная опасность ему не угрожает?

Врач терпеть не мог подобных вопросов. Скажешь, что пациент не протянет и месяца,— родственники начнут готовиться к его кончине, а вдруг больной возьмет да и проживет дольше, чем обещано? Родные будут смотреть на врача с негодованием: с какой стати он зря заставил их горевать? С другой стороны, если скажешь, что пациент проживет год, а он умрет через неделю, родственники будут утверждать, что ты негодный врач. Они станут сожалеть, что недостаточно заботились о больном, не зная, что конец так близок. Доктор Уигрэм округлым движением потер руки, точно умывал их.

— Не думаю, чтобы ему угрожала серьезная опасность, если только... здоровье его не ухудшится,— снова рискнул он заметить.— С другой стороны, не следует забывать, что он уже не молод, а человеческий механизм, так сказать, изнашивается. Если он перенесет жару, не вижу, почему бы ему не прожить спокойно до зимы, а если зима его не доконает, вряд ли с ним вообще что-нибудь может случиться.

Филип вернулся в столовую. Ермолка и вязаная шаль на плечах придавали дяде шутовской вид. Глаза его были прикованы к двери, и, когда Филип вошел, они тревожно впились ему в лицо. Филип увидел, с каким нетерпением дядя ожидал его прихода.

— Ну, что он сказал обо мне?

И Филип внезапно понял, что старик боится смерти. Филипу стало немножко стыдно, и он невольно отвел глаза. Его всегда коробила человеческая слабость.

— Он считает, что тебе гораздо лучше,— сказал он.

Глаза дяди заблестели от удовольствия.

— У меня очень крепкий организм,— заявил он.— А что он еще сказал? — добавил он подозрительно.

Филип улыбнулся.

— Он говорит, что, если ты будешь вести себя осторожно, ты можешь дожить до ста лет.

— Не знаю, смогу ли я дожить до ста, но почему бы мне

не дожить до восьмидесяти? Моя мать умерла восьмидесяти четырех лет.

Рядом с креслом мистера Кэри стоял маленький столик, на котором лежали Библия и толстый молитвенник — уже много лет священник читал его вслух своим домоходам. Старик протянул дрожащую руку и взял Библию.

— Древние патриархи доживали до глубокой старости, — произнес он со странным смешком, в котором Филип услышал какую-то робкую мольбу.

Старик цеплялся за жизнь, несмотря на то, что слепо верил во все, чему его учила религия. Он нисколько не сомневался в бессмертии души, считал, что в меру своих сил жил праведно, и надеялся попасть в рай. Скольким умирающим преподавал он за свою долгую жизнь предсмертное утешение! Он был похож на того врача, которому не помогали собственные рецепты. Филипа удивляло и возмущало, что старик так цепко держится за юдоль земную. Какой неизъяснимый страх грызет его душу? Филипу хотелось проникнуть в нее, чтобы воочию увидеть ледящийся ужас перед неизвестностью, который там, видимо, гнезвился.

Две недели промелькнули незаметно, и Филип вернулся в Лондон. Душные августовские дни он провел за своей ширмой в отделе готового платья, рисуя новые модели. Одна партия служащих за другой отправлялись в отпуск. По вечерам Филип обычно ходил в Гайд-парк слушать музыку. Он привыкал к своей работе, и она его уже не так утомляла; его мозг, оправляясь от долгого бездействия, искал свежей пищи для размышлений. Все его помыслы были теперь связаны со смертью дяди. Часто ему снился один и тот же сон: ранним утром ему подают телеграмму, сообщающую о внезапной кончине священника, и вот он свободен. Когда Филип просыпался и понимал, что это был только сон, его охватывало мрачное бешенство. Теперь, когда то, о чем он мечтал, могло случиться со дня на день, он стал строить планы на будущее. Мысленно он быстро пробегал год до окончания института и подолгу раздумывал о поездке в Испанию, которую так давно вынашивал в сердце. Он брал в публичной библиотеке книги об этой стране и уже точно знал по фотографиям, как выглядит тот или иной испанский город. Он видел себя в Кордове, на мосту, переброшенном через Гвадалквивир; бродил по извилистым улицам Толедо и подолгу просиживал в церквах, проникая в тайну Эль Греко, которой мучил его этот загадочный художник. Ателье понимал его томление, и по воскресеньям после обеда они составляли подробный маршрут путе-

шествия, чтобы Филип не упустил ничего примечательного. Желая обмануть свое нетерпение, Филип стал учить испанский язык; каждый вечер в опустевшей гостиной на Харрингтон-стрит он просиживал целый час над испанскими упражнениями и с английским переводом в руках старался понять чеканную прозу «Дон Кихота». Раз в неделю ему давал урок Ательни; Филип заучил несколько фраз, которые должны были облегчить ему путешествие.

Миссис Ательни потешалась над ними.

— А ну вас с вашим испанским!—говорила она.— Почему вы не займетесь чем-нибудь путным?

Но Салли, которая очень повзрослела и на рождество собиралась уложить свои косы в прическу, часто стояла возле них и серьезно слушала, как отец и Филип обмениваются фразами на языке, которого она не понимала. Отца она считала самым замечательным человеком на свете, а свое мнение о Филипе она выражала только отцовскими словами.

— Отец очень уважает дядю Филипа,—говорила она братьям и сестрам.

Торп, старший сын, теперь уже достаточно подал, чтобы поступить на учебное судно, и Ательни с увлечением описывал семье, как великолепно будет выглядеть мальчик, когда придет на каникулы в морской форме. Салли, как только ей исполнится семнадцать лет, должна была пойти ученицей к портнихе. Со своей обычной высокопарностью Ательни говорил о птенцах, чьи крылья достаточно окрепли, чтобы они могли покинуть родительское гнездо; но оно останется для них родным, уверял он, не скрывая влаги в глазах, если дети когда-нибудь захотят вернуться. Постель и обед всегда для них найдутся, а отцовское сердце не останется глухим, если его детей постигнет какая-нибудь беда.

— Ну и мастер же ты поговорить, Ательни,—замечала его жена.— Не знаю, какая им может грозить беда, если они будут вести себя хорошо. Будь честен и не бойся труда, тогда и место для тебя всегда найдется— вот как я думаю, и ничуть я не огорчусь, если все они станут зарабатывать себе сами на жизнь.

Частые роды, тяжелый труд и постоянная забота о хлебе насущном начинали сказываться на здоровье миссис Ательни: иногда по вечерам у нее так разбалчивалась спина, что ей надо было сесть и перевести дух. Ее идеал зажиточной жизни сводился к тому, чтобы нанять прислугу для черной работы и по утрам не вставать раньше семи.

Ательни взмахнул своей красивой белой рукой.

— Ах, моя Бетти, мы с тобой давно заслуживаем, чтобы о нас позаботилось государство. Мы воспитали девять здоровых детей, мальчики послужат своей родине, а девочки будут готовить, шить и в свою очередь рожать здоровых детей.— Повернувшись к Салли, он продекламировал, чтобы ей не было обидно:— И те, кто только рядом шли, те тоже долю свою внесли!

Наряду с другими теориями Ательни за последнее время пламенно поверил в социализм. Теперь он заявил:

— В социалистическом государстве мы с тобой, Бетти, получали бы хорошую пенсию.

— Да ну их, этих самых социалистов!— воскликнула она.— Слышать о них не хочу. Еще одна шайка бездельников присосется к рабочему люду— вот и все. Я хочу одного: дайте человеку спокойно жить и не лезьте в его дела; я сама о себе позабочусь, а если мне не повезло, это уж моя печаль.

— Разве тебе не повезло?— сказал Ательни.— Не кощунствуй! Были и у нас свои взлеты и падения, даром ничего не далось, мы всегда были и остались бедняками, но жить на свете все-таки стоило, ей-богу же, стоило: погляди на наших детей.

— Ну и мастер же ты поговорить, Ательни,— снова заметила жена, посмотрев на него беззлобно, но со спокойным пренебрежением.— Ты получал от детей одни удовольствия, а на мою долю выпало их рожать и воспитывать. Я не хочу сказать, что их не люблю, раз уж они у меня есть, но, если бы я могла начать сначала, не вышла бы я замуж. Будь я незамужней, была бы у меня своя лавочка, четыреста или пятьсот фунтов в банке да прислуга для черной работы. Нет, не хотела бы я прожить такую жизнь сначала, ни за какие коврижки!

Филип подумал о бесчисленных миллионах людей, для кого жизнь—беспрестанный труд; она не кажется им ни прекрасной, ни уродливой—это просто такая же неизбежность, как смена времен года. Его охватывала ярость, когда он думал о том, как все на свете бесплодно. Он все же не мог до конца поверить, что жизнь бессмысленна, хотя все, что он видел, все, над чем размышлял, только подкрепляло эту мысль. Но в ярости его была и доля торжества. Ведь если жизнь бессмысленна, она не так уж страшна, и он теперь не боялся ее, чувствуя в себе какую-то новую силу.

На смену осени пришла зима. Филип оставил свой адрес дядиной экономке миссис Фостер, чтобы она могла с ним снестись, но на всякий случай каждую неделю ходил в больницу справляться, нет ли ему письма. Однажды вечером ему подали конверт, надписанный почерком, которого он уже надеялся никогда больше не видеть. Он почувствовал смятение и не сразу заставил себя взять письмо. Слишком много оно пробудило ненавистных воспоминаний. Наконец, досада на самого себя, он вскрыл письмо и прочел:

«Уильям-стрит, 7,
Фицрой-сквер.

Дорогой Фил!

Нельзя ли мне срочно увидеть тебя хоть на минутку? У меня ужасная неприятность, и я не знаю, что делать. Не беспокойся, это — не деньги.

Преданная тебе

Милдред».

Он разорвал письмо и, выйдя на темную улицу, выбросил клочки.

— Ну ее к черту,— пробормотал он сквозь зубы.

Его душило омерзение при одной мысли о том, что он ее может снова увидеть. Какое ему дело, что с ней стряслось,— так ей и надо, что бы это ни было; он вспоминал о ней с ненавистью, а любовь, которую он к ней прежде питал, лишь усиливала его отвращение. Ему стало тошно от своих воспоминаний, и, проходя по мосту через Темзу, он инстинктивно сжался, точно хотел отстраниться от всякой мысли о Милдред. Но, улегшись в постель, Филип не мог заснуть: он гадал, что с ней случилось, и не в силах был отделаться от страха, что она больна и голодает; она бы ни за что ему не написала, если бы не попала в отчаянное положение. Он сердился на свою слабость, но уже знал, что не успокоится, пока ее не увидит. На следующее утро он написал ей открытку и опустил в ящик по дороге на работу. Он старался писать как можно суше; выразив сожаление, что у нее неприятности, он обещал Милдред зайти вечером, около семи часов, по указанному ею адресу.

Филип разыскал убогую улицу и ветхое жилище; волнуясь, он позвонил и спросил, дома ли Милдред,— у него вдруг блеснула глупая надежда, что она куда-нибудь

уехала. В таком доме, как этот, люди подолгу не заживаются. Он не догадался посмотреть штемпель на конверте и не знал, сколько дней ее письмо пролежало в больнице. Открывавшая ему дверь женщина, не отвечая на вопрос, провела его по коридору и постучалась в одну из дверей.

— Миссис Миллер,— крикнула она,— к вам пришел какой-то мужчина.

Дверь приоткрылась, и оттуда опасно выглянула Милдред.

— Ах, это ты,— сказала она.— Входи.

Он вошел, и она затворила за ним дверь. Филип очутился в крохотной спальне, где, как всегда у Милдред, царил беспорядок. Посреди комнаты были брошены грязные туфли; на комодѣ валялась шляпка, а рядом с ней — накладные локоны; на столе лежала блузка. Филип поискал глазами, куда бы ему положить шляпу. Крючки на двери были увешаны платьями — он заметил, что все подолы зашлепаны грязью.

— Садись,— сказала она. Потом неловко усмехнулась.— Наверное, ты удивился, когда получил мое письмо.

— Ты ужасно охрипла,— сказал он.— У тебя болит горло?

— Да, уже давно.

Филип замолчал. Он ждал, чтобы она объяснила, зачем ей нужно было его видеть. Вид ее комнаты ясно говорил, что она вернулась к той жизни, от которой он ее когда-то избавил. Интересно, что случилось с ребенком; на камине стояла фотография девочки, но в комнате не было ни ее, ни ее вещей. Милдред мяла носовой платок; она скатала его в шарик и перекидывала из руки в руку. Он видел, как она нервничает. Она уставилась на огонь в камине, и он мог наблюдать за Милдред, не встречаясь с ней взглядом. Она заметно похудела; пожелтевшая и высохшая кожа туго обтягивала скулы. То, что она покрасила волосы в соломенный цвет, сильно ее изменило, придав ей вульгарный вид.

— Откровенно говоря, я обрадовалась, получив твою открытку,— сказала она наконец.— А я-то уж думала, что тебя больше нет в больнице.

Филип по-прежнему молчал.

— Наверное, ты теперь уже врач?

— Нет.

— Почему нет?

— Я давно не учусь. Вот уже полтора года, как мне пришлось бросить учение.

— Какой непостоянный. Видно, ничем не можешь заняться всерьез.

Филип немного помолчал, а потом сухо объяснил:

— Я потерял то небольшое, что у меня было, в неудачной спекуляции, и у меня не хватило денег доучиться. Приходится зарабатывать на жизнь.

— А что ты делаешь?

— Служу в магазине.

— А-а!

Милдред кинула на него взгляд и сразу же отвела глаза. Ему показалось, что она покраснела. Она нервно терла ладони носовым платком.

— А ты еще не забыл, как лечат? — Она как-то странно выговаривала слова.

— Не совсем.

— Всдь я ради этого и хотела тебя повидать. — Голос ее упал до хриплого шепота. — Не знаю, что со мной происходит.

— Отчего ты не пойдешь в больницу?

— Не хочу, чтобы на меня глазели студенты, да и боюсь, что меня отсюда не выпустят.

— На что ты жалуешься? — холодно задал Филип стереотипный вопрос, который он так часто слышал в амбулатории.

— Понимаешь, у меня какая-то сыпь, и я никак не могу от нее избавиться.

В сердце у него шевельнулся ужас. На лбу выступил пот.

— Дай-ка я посмотрю твоё горло.

Он подвел ее к окну и бегло осмотрел. Внезапно он поймал ее взгляд. В нем он прочел панический страх. На это было невыносимо смотреть. Она была перепугана насмерть. Ей хотелось, чтобы он ее успокоил; она глядела на него с мольбой, не смея просить утешения, но всей душой надеясь услышать, что страхи ее напрасны, а он ничем не мог ее порадовать.

— Боюсь, ты и в самом деле очень больна, — сказал он.

— А что у меня, по-твоему?

Когда он сказал, она смертельно побледнела, а губы стали желтыми; она заплакала — сперва беззвучно, а потом задыхаясь от рыданий.

— Мне ужасно жалко, — вымолвил он наконец. — Но я должен был тебе сказать.

— Проще всего надеть петлю на шею, и дело с концом.

Он не обратил внимания на эту угрозу.

— Есть у тебя деньги? — спросил он.

— Шесть или семь фунтов.

— Понимаешь, тебе надо отказаться от этой жизни. Разве ты не можешь найти какую-нибудь работу? Боюсь, что я тебе мало чем сумею помочь: я ведь получаю всего двенадцать шиллингов в неделю.

— А где же я могу теперь работать? — с раздражением закричала она.

— Поищи, черт возьми, надо же хоть попробовать!

Он очень серьезно объяснил ей опасность, которой она подвергает себя и других; она его враждебно выслушала. Он попытался ее утешить. В конце концов она нехотя обещала последовать его советам. Филип выписал рецепт, сказал, что закажет лекарство в ближайшей аптеке, и растолковал ей, что принимать его необходимо с величайшей аккуратностью. Поднявшись, он протянул ей руку.

— Не падай духом, горло у тебя скоро пройдет.

Но когда он уже собирался переступить порог, лицо ее вдруг исказилось от страха и она схватила его за рукав.

— Не оставляй меня! — произнесла она хрипло. — Я так боюсь, побудь со мной хоть немножко. Прошу тебя, Фил. У меня никого нет, кроме тебя, ты был моим единственным другом.

Он почувствовал, каким ужасом объято ее сердце, — такой же ужас он читал в глазах дяди, когда тот думал о смерти. Филип опустил голову. Дважды эта женщина вторгалась в его жизнь и делала его несчастным; у него не было по отношению к ней никаких обязательств; а все-таки, неизвестно почему, в глубине души он испытывал сейчас непонятную боль; это была та самая боль, которая лишила его покоя, когда он получил ее письмо, и не покинула его, пока он не пришел на ее зов.

«Наверно, я так никогда и не избавлюсь от этого чувства», — сказал он себе.

И в то же время его удивляло, что сама она, ее близость вызывают в нем какое-то физическое отвращение.

— Чего ты от меня хочешь? — спросил он.

— Давай сходим поужинаем. Платить буду я.

Филип колебался. Он чувствовал, что она вот-вот снова вползет в его жизнь, а он ведь решил, что навсегда с ней расстался. Милдред следила за ним с тоской и тревогой.

— Я знаю, что обошлась с тобой по-хамски, но не бросай меня одну. Можешь радоваться, я получила по заслугам. Но если ты меня сейчас оставишь, я не знаю, что над собой сделаю.

— Ладно, пойдем, — сказал он, — но придется выбрать место дешевле, я теперь не могу сорить деньгами.

Она села и зашнуровала ботинки, потом сменила юбку и надела шляпу; они вышли из дома и выбрали подходящий ресторан на Тоттенхэм-Корт-роуд. Филип отвык есть в эти часы, а у Милдред так болело горло, что она с трудом могла проглотить кусок. Они заказали холодной ветчины, и Филип выпил кружку пива. Они сидели друг против друга, совсем как прежде,— интересно, помнит ли она об этом,— но сказать им было друг другу нечего; так бы они и молчали, если бы Филип не заставлял себя разговаривать. В ярком свете огней ресторана и блеске дешевых зеркал, бесконечно повторяющих друг друга, она выглядела старой и замученной. Филипу хотелось спросить о ребенке, но у него не хватало духа. Наконец она сказала сама:

— Знаешь, девочка прошлым летом умерла.

— А-а!

— Ты бы мог по крайней мере сказать, что тебе ее жалко.

— Мне ее не жалко,— ответил он.— Я за нее рад.

Она взглянула на него и, поняв, что он имеет в виду, отвела глаза.

— А ты ведь одно время ужасно к ней привязался. Меня даже сместило, что ты мог так обожать чужого ребенка.

Пообедав, они зашли в аптеку за лекарством, которое прописал Филип, и, вернувшись в ее убогую комнатку, он заставил Милдред его принять. Потом они посидели еще, пока Филипу не надо было возвращаться в общежитие. Он умирал от скуки.

Филип стал навещать ее каждый день. Она принимала лекарство и выполняла его предписания; вскоре результаты стали так заметны, что она прониклась величайшей верой в его искусство. По мере того как она поправлялась, к ней возвращалось хорошее настроение. Она становилась разговорчивее.

— Как только найду работу, все будет в порядке,— говорила она.— Я получила урок и теперь его не забуду. Теперь-то уж меня в разгул силком не затянешь.

Филип каждый раз спрашивал, нашла ли она работу. Милдред просила его не беспокоиться—найдет что-нибудь, как только захочет, свет клином не сошелся; но пока что ей лучше отдохнуть недельку-другую. Против этого трудно было возразить, но прошла неделя, потом другая, и он стал настойчивее. Милдред над ним посмеивалась—теперь она стала куда веселее—и говорила, что он старый воркотун. Она рассказывала ему длинные истории о своих переговорах с хозяйками—она рассчитывала найти работу

в какой-нибудь харчевне,— подробно излагая их вопросы и свои ответы. Пока еще ничего определенного не подвернулось, но она уверена, что договорится к началу будущей недели; торопиться некуда, а хвататься за первое попавшееся место было бы ошибкой.

— Глупости,— отвечал он с нетерпением.— Ты должна взять любую работу. Я же не могу тебе помогать, а на свои деньги ты долго не протянешь.

— Ну, я их еще не прожила, можешь не беспокоиться.

Он пристально на нее поглядел. С тех пор как он пришел к ней в первый раз, прошло уже три недели, а тогда у нее не было и семи фунтов. Его охватила тревога. Он припомнил некоторые фразы, которые она обронила. И все понял. Теперь он сомневался, пыталась ли она вообще найти работу. Наверное, она все это время ему лгала. Не может быть, чтобы она до сих пор не истратила своих денег.

— Сколько ты платишь за комнату?

— Ах, у меня такая симпатичная хозяйка, не то, что некоторые: готова ждать сколько угодно, пока я смогу расплатиться.

Он молчал. То, что он подозревал, было так чудовищно, что он и сам не верил своим подозрениям. Бесполезно ее спрашивать, она все равно отопрется; если он хочет знать правду, надо все выяснить самому. Он уходил от нее каждый вечер около восьми и, когда пробили часы, поднялся, как обычно. Но, вместо того чтобы вернуться в общежитие, он остановился на углу Фицрой-сквер, откуда мог видеть каждого, кто пройдет по Уильям-стрит. Ему показалось, что он прождал целую вечность, и он уже хотел уйти, решив, что его подозрения напрасны, но вот дверь дома номер семь отворилась и вышла Милдред. Он отступил в темноту и стал за ней наблюдать. На ней была шляпа с пучком перьев, которую он видел у нее в комнате; он узнал и платье — оно было слишком крикливым для улицы и совсем не по сезону. Филип медленно пошел за ней; она дошла до Тоттенхэм-Корт-роуд и замедлила шаг; на углу Оксфорд-стрит она остановилась, огляделась и пересекла улицу, направляясь к одному из мюзик-холлов. Филип подошел к ней и тронул ее за локоть. Он увидел, что щеки и губы ее накрашены.

— Куда ты идешь, Милдред?

Услышав его голос, она вздрогнула и покраснела, как всегда, когда ее уличали во лжи; потом в глазах ее загорелся знакомый злой огонек. Она подсознательно искала защиты в ругани, но так и не произнесла слов, которые готовы были сорваться у нее с языка.

— Да я только хотела сходить в театр. Совсем закиснешь, если будешь сидеть каждый вечер одна.

Он и не пытался сделать вид, будто ей верит.

— Не смей! Господи боже мой, ведь я же тебе сто раз говорил, как это опасно! Ты должна немедленно это прекратить.

— Заткни свое хайло! — закричала она грубо. — А как, по-твоему, мне жить?

Он схватил ее за руку и, не отдавая себе отчета в том, что делает, потащил за собой.

— Ради бога, пойдем! Я отведу тебя домой. Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ведь это же преступление!

— Плевать! Мужчины мне столько в жизни гадили, пусть теперь сами о себе думают.

Она оттолкнула его и, подойдя к кассе, протянула деньги. В кармане у Филипа было всего три пенса. Он не мог пойти за ней. Отвернувшись, он медленно зашагал прочь.

«Что я могу поделать?» — сказал он себе.

Это был конец. Больше он ее не видел.

ГЛАВА 110

Рождество в этом году начиналось в четверг, магазин закрывался на четыре дня, и Филип написал дяде, спрашивая, удобно ли ему приехать и провести праздники в Блэкстебле. Ответила ему миссис Фостер. Она сообщила, что мистер Кэри нездоров и не может ответить сам, но хочет видеть племянника и будет рад, если тот приедет. Она встретила Филипа у двери и, пожимая ему руку, сказала:

— С тех пор как вы были здесь в последний раз, он очень изменился, но я вас прошу, сделайте вид, будто ничего не замечаете. Он так за себя беспокоится!

Филип кивнул, и она впустила его в столовую.

— Вот и мистер Филип.

Священнику недолго оставалось жить. Стоило поглядеть на его впалые щеки и высохшее тело, и на этот счет пропадали всякие сомнения. Он сидел, съжившись в кресле, странно закинув назад голову, и кутался в теплую шаль. Ходить он мог только на костылях, и руки у него так дрожали, что он едва доносил ложку до рта.

«Ну, теперь он протянет недолго», — подумал, всматриваясь в него, Филип.

— Как я выгляжу? — спросил священник. — По-твоему, я очень изменился за то время, что ты меня не видел?

— Мне кажется, что вид у тебя бодрее, чем летом.

— Тогда стояла жара. Жара всегда на меня плохо действует.

Жизнь мистера Кэри за последние месяцы протекала между его спальней, где он пролежал несколько недель, и комнатами внизу. Под рукой у него был звонок, и, рассказывая Филипу о себе, он позвонил, вызвал дежурившую в соседней комнате миссис Фостер и спросил, какого числа он впервые спустился вниз.

— Седьмого ноября, сэр.

Мистер Кэри поглядел на Филипа, чтобы проверить, какое это на него произвело впечатление.

— Но я по-прежнему ем с аппетитом, правда, миссис Фостер?

— О да, сэр, у вас прекрасный аппетит.

— Но почему-то я все равно не поправляюсь.

Его теперь интересовало только собственное здоровье. Он положил себе неукоснительно добиваться одного: жить, просто жить, несмотря на однообразие этой жизни и непрестанную боль, которая не давала ему спать без морфия.

— Просто ужас, сколько денег приходится тратить на докторов.— Он снова позвонил.— Миссис Фостер, покажите мистеру Филипу счет из аптеки.

Она безропотно достала с камина счет и подала его Филипу.

— Это за один только месяц. Я уже подумываю, не сможешь ли ты доставать мне лекарства подешевле, раз ты сам лечишь. Мне даже приходило в голову выписывать лекарства прямо с оптового склада, но тогда пришлось бы платить за пересылку.

Хотя священник так мало интересовался делами племянника, что даже не спросил, чем тот занимается, приезде его он был, по-видимому, рад. Он осведомился, долго ли Филип у него пробудет, и, когда узнал, что тот должен уехать во вторник утром, выразил желание, чтобы Филип погостил подольше. Мистер Кэри подробно описал ему все симптомы своей болезни и рассказал, что говорит врач. Прервав себя, он снова позвонил миссис Фостер и, когда та вошла, сказал:

— Ничего, я просто боялся, как бы вы не ушли. И позвонил, чтобы проверить, тут ли вы.

Она вышла, и дядя объяснил Филипу, что миссис Фостер всегда должна быть поблизости: она одна знает, что делать, если ему станет хуже.

Видя, что экономка устала и глаза у нее слипаются— она вечно недосыпала,—Филип упрекнул дядю, что он заставляет миссис Фостер слишком много работать.

— Ерунда! — возразил священник. — Она вынослива, как лошадь. — И, когда миссис Фостер снова вошла, чтобы дать ему лекарство, он ей сказал: — Филип говорит, что вы слишком много работаете. Но вам приятно за мной ухаживать, правда?

— Ничего, ничего, сэр. Я охотно делаю, что могу.

Через некоторое время лекарство возымело действие и мистер Кэри заснул. Филип зашел на кухню и спросил миссис Фостер, не пора ли ей отдохнуть. Он видит, что последние месяцы ей пришлось туго.

— Ну а что же можно поделывать? — ответила она. — Бедный старик без меня как без рук, и, хотя иногда он такой беспокойный, все равно его жалко. Я ведь живу здесь столько лет, прямо не знаю, что со мной будет, когда его не станет.

Филип почувствовал, что она и в самом деле привязана к старику. Она мыла, одевала его, кормила и раз по пять вставала к нему ночью; спала она рядом с его спальней, и, когда бы дядя ни проснулся, он звонил в свой звоночек, покуда она к нему не подходила. Священник мог и умереть в любую минуту и прожить еще несколько месяцев. Филипа поразило, с каким ласковым терпением эта женщина ухаживала за чужим человеком; и разве не трагично, что на свете только она одна заботилась о старике?

Филип замечал, что религия, которую дядя исповедовал всю жизнь, превратилась для него только в привычную обрядность; он часто читал Библию, а каждое воскресенье к нему приходил его помощник и давал ему причастие; однако смерти он боялся ужасно. Священник верил, что она — лишь врата к жизни вечной, но отнюдь не стремился пройти через эти врата. Постоянно страдая от боли, прикованный к креслу, отказавшись от всякой надежды когда-либо выйти на воздух, завися, как малое дитя, от услуг чужого человека, он все же цеплялся за эту знакомую жизнь, которая по крайней мере не пугала его своей неизвестностью.

В голове у Филипа настойчиво вертелся вопрос, которого он не мог задать, ибо знал, что дядя ответит лишь так, как того требует его сан: ему хотелось спросить, верит ли все еще священник в бессмертие теперь, когда близится конец, а изношенная машина вот-вот остановится навеки? А вдруг где-то в самой глубине души, не смея вылиться в слова, зреет мысль, что бога нет и за этой, земной, жизнью нет ничего?

Вечером на третий день рождества Филип сидел с дядей в столовой. Наутро ему надо было выехать очень рано,

чтобы попасть в магазин к девяти, и он решил проститься с мистером Кэри накануне. Блэкстеблский священник дремал, а Филип, лежа на диване возле окна, опустил книгу на колени и рассеянно разглядывал комнату. Он думал о том, сколько можно будет выручить за мебель. Он уже обошел весь дом и осмотрел вещи, которые знал с детства: за несколько фарфоровых безделушек можно получить приличную цену — Филип подумывал, не стоит ли ему взять их с собой в Лондон; зато мебель была в викторианском вкусе, красного дерева, прочная и уродливая; на распродаже она пойдет за гроши. В доме было три или четыре тысячи книг, но кто же не знает, как их трудно продать, вряд ли за них получишь больше сотни фунтов. Филип не представлял себе, сколько дядя оставит денег, и в сотый раз высчитывал минимальную сумму, на которую сможет окончить курс, получить диплом и прожить, пока будет работать ординатором. Он поглядел на беспокойно спавшего больного; в этом сморщенном лице не было уже ничего человеческого — старик напоминал какое-то странное животное. Филип подумал о том, как легко пресечь эту бесполезную жизнь. Он думал об этом каждый вечер, когда миссис Фостер готовила дяде снотворное. У нее было два пузырька: один с лекарством, которое больной принимал постоянно, другой с болеутоляющим, на случай если боли станут нестерпимыми. Это средство экономка капала ему в рюмку и оставляла на ночь возле кровати. Старик обычно принимал его в три или четыре часа утра. Как просто удвоить дозу; старик умер бы ночью, и никто бы ничего не заподозрил; ведь именно так доктор Уигрэм и предполагал, что он умрет. Смерть будет безболезненной. Филип сжал руки, думая о деньгах, которые нужны ему позарез. Зачем старику мучиться еще несколько месяцев, а для Филипа эти несколько месяцев решали все: у него больше не было сил терпеть, и от мысли о том, что завтра нужно выйти на работу, его охватывала дрожь. Филип старался думать о чем-нибудь другом и не мог; сердце у него отчаянно билось, мысль о пузырьке преследовала его, как наваждение. Ведь это так просто, до смешного просто. Он не питал к старику никаких чувств; он никогда не любил этого себялюбца за черствое отношение к жене, которая его обожала, к ребенку, которого оставили на его попечение; человек он был незлой, но глупый и бессердечный, жалкий чревоугодник. Ах, как это было бы просто, до смешного просто. Но Филип не решался. Он боялся угрызений совести: что ему эти деньги, если он всю жизнь будет сожалеть

о своем поступке? И хотя он столько раз твердил себе, что сожалеть — дело пустое, кое-что из содеянного им его тревожило. Ему бы хотелось, чтобы совесть его была чиста.

Дядя открыл глаза. Филип обрадовался, потому что, проснувшись, старик становился чуть больше похож на человека. Филип ужаснулся той мысли, которая только что его преследовала: ведь он замышлял убийство; интересно, бывают ли подобные намерения у других или это он один — такой выродок? Если бы дошло до дела, он бы, наверно, дрогнул, но навязчивая мысль твердила ему: если ты не решаешься, то разве только из страха. Дядя вдруг спросил:

— Ты ведь не ждешь моей смерти, а, Филип?

Филип почувствовал, как застучало у него сердце.

— Господи помилуй, конечно, нет!

— Молодец. Мне было бы обидно, если бы ты хотел, чтобы я поскорее умер. Когда я скончаюсь, ты получишь немножко денег, но не надо, чтобы ты этого ждал с нетерпением. Деньги тогда не пойдут тебе впрок.

Говорил он тихо, и в голосе его была странная тревога. Филипа словно резануло по сердцу. Какое прозрение открыло старику темные желания, томившие душу племянника?

— Надеюсь, ты проживешь еще лет двадцать, — сказал он.

— Ну, на это мне рассчитывать нечего, но, если я поберегу себя, может статься, что и протяну еще годика три-четыре.

Он помолчал, и Филип не нашелся, что ответить. Потом, словно продолжая ту же мысль, старик заговорил снова:

— Каждый человек имеет право жить столько, сколько сможет.

Филипу захотелось его отвлечь.

— Кстати, ты что-нибудь знаешь о судьбе мисс Уилкинсон?

— Да, я в этом году получил от нее письмо. Она вышла замуж.

— Да ну?

— За вдовца. И кажется, довольно состоятельного.

ГЛАВА 111

На следующий день Филип снова начал работать, а перемены, которых он ждал, все не наступали. Недели текли и складывались в месяцы. Зима миновала, и на деревьях в парках распустились почки, а потом и листья. Филипа

охватило страшное уныние. Время влачилося очень медленно, но все же оно шло, а с ним уходила и молодость, скоро она пройдет совсем, а он так ничего и не успел в жизни. Теперь, когда Филип был уверен, что скоро бросит работу, она казалась ему еще более бесцельной. Он набил себе руку и, хотя творческого дара у него не было, научился ловко приспособлять французские моды к вкусам английского потребителя. Иногда ему даже нравились собственные замыслы, но их всегда калечили портные. Его самого забавляло, что он испытывает острое огорчение, видя, как уродуют его модели. Но действовать ему приходилось с опаской. Стоило предложить что-нибудь оригинальное — и мистер Сэмпсон сразу же это отвергал: их покупатели не любили ничего *outré*¹, фирма обслуживала людей почтенных, и, приобретая такую клиентуру, нельзя было с нею шутить. Раза два он резко отчитал Филипа за то, что взгляды молодого человека не совпадают с его собственными; ему казалось, что Филип начинает задирать нос.

— Вы, милейший, не забывайте, а то не успеете оглянуться, как вас вышвырнут отсюда вон!

У Филипа так и чесались руки съездить его по роже, но он сдержался. В конце концов долго так продолжаться не может, и скоро он распростится со всем этим сбродом. Порой он даже твердил в шутовском отчаянии, что дядя его, наверно, железный и никогда не умрет. Вот это здоровье! Болезнь, которой он страдал, убила бы еще год назад любого порядочного человека. Когда же наконец пришло известие, что священник все-таки умирает, Филип был поглощен другими заботами и оно застало его врасплох. Наступил июль, и через две недели ему полагался отпуск. Миссис Фостер писала, что доктор утверждает, будто мистеру Кэри осталось жить всего несколько дней, и если Филип хочет его повидать, пусть поторопится. Филип пошел к заведующему отделом и сказал, что уходит с работы. Мистер Сэмпсон был человек покладистый и, узнав, в чем дело, не стал чинить ему препятствий. Филип простился со своими сослуживцами; весть о причине его ухода разнеслась по всему магазину в приукрашенном виде, и все шептались, что он получил большое наследство. Миссис Ходжес пожимала ему руки со слезами на глазах.

— Боюсь, что мы теперь не скоро вас увидим,— сказала она.

— Я рад, что расстаюсь с «Линном»,— ответил он.

¹ Утрированного, эксцентричного (*фр.*).

Странно, но и ему было грустно прощаться с этими людьми, которых, как ему казалось, он не выносил, а покидая дом на Харрингтон-стрит, он не почувствовал ни малейшей радости. Он так долго предвкушал этот счастливый миг, что теперь внутри у него все словно застыло; он уезжал равнодушно, словно в отпуск на несколько дней.

«У меня подлый характер,— говорил он себе.— Я так жадно мечтаю о будущем, а когда оно настает, испытываю одно разочарование».

В Блэкстебл он приехал вскоре после полудня. Миссис Фостер встретила его у двери, и по ее лицу он понял, что дядя еще не умер.

— Сегодня ему чуточку лучше,— сказала она.— У него такой крепкий организм.

Она провела его в спальню; мистер Кэри лежал на спине. Он взглянул на Филипа со слабой улыбкой; вид у него был хитрый — ведь он еще раз обманул врага.

— Вчера я думал, что мне конец,— сказал он едва слышно.— Да и они все махнули на меня рукой, правда, миссис Фостер?

— У вас очень крепкий организм, ничего не скажешь.

— Рано еще хоронить старика.

Миссис Фостер напомнила, что доктор не разрешил ему разговаривать — он устанет; она обращалась с больным как с ребенком — ласково, но властно; да и сам старик испытывал чисто детское удовлетворение оттого, что обманул их ожидания. Он сразу понял, что Филипа вызвали, и его очень забавляло, что тот проехался даром. Если ему удастся избежать сердечного приступа, он через недельку-другую совсем поправится — ведь приступы у него уже бывали, и не раз; он всякий раз боялся, что вот-вот умрет, но, однако же, не умер. Все удивляются, какой у него организм, но и они не подозревают, до чего же он на самом деле крепкий.

— Ты побудешь денька два? — спросил он Филипа, будто тот и в самом деле приехал отдохнуть.

— Да, с удовольствием,— весело ответил племянник.

— Тебе полезно подышать морским воздухом.

Скоро пришел доктор Уигрэм и, осмотрев священника, зашел к Филипу. Тон у него был, как и приличествовало, печальный.

— Боюсь, Филип, что на сей раз это конец,— сказал он.— Для всех нас это будет большая утрата. Я ведь знаю его тридцать пять лет.

— А мне совсем не кажется, что он так уж плох,— сказал Филип.

— Я поддерживаю его жизнь лекарствами, но долго он не протянет. Последние два дня прошли ужасно, не раз я думал, что он уже умер.

Доктор минутку помолчал, но у ворот он внезапно спросил Филипа:

— Миссис Фостер вам что-нибудь говорила?

— О чем?

— Они ведь тут люди суеверные: миссис Фостер вбила себе в голову, будто мистера Кэри что-то мучает и он не может умереть, не облегчив свою совесть, а покаяться у него не хватает духу.— Филип ничего не сказал. Доктор продолжал:— Конечно, все это чушь. Старик прожил весьма достойную жизнь, он всегда выполнял свой долг и был хорошим священником; вряд ли он может в чем-нибудь упрекнуть себя. Все мы будем о нем жалеть. Сомневаюсь, чтобы с его преемником нам было б хоть наполовину так хорошо, как с ним.

Несколько дней состояние мистера Кэри оставалось без перемен. Правда, ему изменил аппетит и он почти ничего не ел. Доктор Уигрэм, теперь уже не раздумывая, глушил наркотиками невротические боли, которые терзали больного: вместе с непрерывной дрожью парализованных ног они вконец его изнурили. Сознание оставалось ясным. За стариком поочередно ухаживали Филип и миссис Фостер. Экономка переутомилась, она много месяцев подряд почти не отходила от больного, и Филип уговорил ее уступить ему ночное дежурство. Он просиживал в кресле долгие томительные часы и, чтобы не заснуть, читал при свете затененных экраном свечей «Тысячу и одну ночь». Он не брал в руки этих сказок с самого детства, и сейчас они напомнили ему те далекие годы. Иногда он просто сидел и вслушивался в ночную тишину. Когда снотворное переставало действовать, мистер Кэри начинал метаться и Филипу уже было не до сна.

И вот наконец как-то утром, когда птицы весело чирикали в ветвях за окном, Филип услышал, что дядя его зовет. Он подошел к кровати. Мистер Кэри лежал на спине, уставившись в потолок; он даже не взглянул на Филипа. Заметив, что лоб больного в поту, Филип взял полотенце и отер ему лицо.

— Это ты, Филип? — спросил больной.

Филип вздрогнул, настолько у больного вдруг изменился голос. Он был хриплый и едва слышен. Так говорят, оцепенев от страха.

— Я. Тебе что-нибудь нужно?

Наступило молчание; незрячие глаза все еще вглядывались в потолок. Потом по лицу прошла судорога.

— Я, кажется, умираю,— сказал больной.

— Какая ерунда! — закричал Филип. — Ты проживешь еще много лет.

Из глаз старика выкатились две слезы. У Филипа сердце перевернулось от жалости. Дядя никогда не проявлял своих чувств в житейских делах; страшно было видеть эти слезы, ибо они говорили о том, что старика мучит невыразимый ужас.

— Пошли за мистером Симмондсом,— сказал он. — Я хочу причаститься.

Мистер Симмондс был его помощником.

— Сейчас? — спросил Филип.

— Поскорее, а то будет поздно.

Филип пошел будить миссис Фостер, но оказалось, что экономка уже встала. Он попросил ее послать записку с садовником и вернулся в комнату дяди.

— Ты послал за мистером Симмондсом?

— Да.

Наступило молчание. Филип сидел у постели и время от времени отирал со лба больного пот.

— Дай я подержу тебя за руку, Филип,— сказал наконец старик.

Филип дал ему руку, и он уцепился за нее в роковую для себя минуту, словно это была его последняя опора в жизни. Может быть, он и в самом деле никогда никого не любил, но сейчас он инстинктивно хватался за самое близкое ему человеческое существо. Рука его была холодной и влажной. Она впилась в руку Филипа с уже безжизненной силой отчаяния. Старик сражался со страхом смерти. А Филип думал о том, что все должны через это пройти. Как это чудовищно, а они еще верят в бога, который позволяет своим созданиям терпеть такие жестокие муки! Он никогда не любил дядю и в течение двух лет ежедневно мечтал о его смерти, но теперь он не мог побороть сострадания, наполнявшего его сердце. Какую цену приходится платить человеку за то, чтобы не быть бессмысленной тварью!

Они продолжали хранить молчание, которое только раз прервал еле слышный вопрос мистера Кэри:

— Еще не пришел?

Наконец тихо вошла экономка и доложила, что мистер Симмондс уже здесь. В руках у него был саквояж, где лежало его облачение. Миссис Фостер принесла блюдо для

причастия. Мистер Симмондс молча пожал Филипу руку и с профессиональной важностью приблизился к постели больного. Филип и экономка вышли из комнаты.

Филип шагал по саду, такому свежему и росистому в этот утренний час. Птицы радостно щебетали. Небо было по-летнему синее, но пропитанный солью воздух дышал прохладой. Розы уже распустились. Зелень листвы, зелень лужаек была живой и яркой. Филип шагал и думал о таинстве, которое свершалось в спальне. Мысль о нем возбуждала какое-то странное чувство. Но вот вышла миссис Фостер и сказала, что дядя хочет его видеть. Помощник священника складывал вещи в черный саквояж.

Больной слегка повернул голову и встретил Филипа улыбкой. Филип был поражен происшедшей в нем переменой: в глазах больше не было панического страха, и черты лица разгладились, выражение его было счастливым и покойным.

— Ну, теперь я готов,— сказал он, и в голосе его зазвучали новые ноты.— Когда господь сочтет нужным призвать меня к себе, я с радостью вручу ему свою душу.

Филип ничего не сказал. Он видел, что дядя говорит искренне. Произошло почти чудо. Старик вкусил от плоти и крови своего спасителя, и они придали ему столько силы, что он больше не боялся неминуемого ухода в вечную ночь. Он знал, что умирает, он с этим примирился. Он сказал только еще одну фразу:

— Теперь я соединюсь с моей дорогой женой.

Филип был поражен. Он вспомнил, с какой черствой бессердечностью дядя относился к жене, как глух он был к ее смиренной, преданной любви. Глубоко растроганный, помощник священника ушел, и миссис Фостер, плача, отправилась провожать его до дверей. Мистер Кэри совсем ослабел и забылся, а Филип сидел у его постели и ждал конца. Утро шло на убыль, и дыхание старика стало затрудненным. Появился доктор и сказал, что началась агония. Больной был без сознания и слабыми пальцами царапал простыню; он тихонько метался и время от времени вскрикивал. Доктор Уигрэм сделал ему укол.

— Помочь ему я больше не в силах: он может скончаться каждую минуту.

Он посмотрел на часы, потом на больного. Филип понял: уже час дня и доктор Уигрэм вспомнил, что еще не обедал.

— Вам не стоит ждать,— сказал ему Филип.

— Да, я все равно ничем не могу быть полезен,— согласился доктор.

Когда он ушел, миссис Фостер попросила Филипа сходить к плотнику, который одновременно был гробовщиком, чтобы тот прислал женщину обмыть тело.

— Вам полезно подышать свежим воздухом,— сказала она.— И немножко прийти в себя.

Гробовщик жил в полумиле от дома священника. Когда Филип сказал ему, зачем пришел, тот спросил:

— А когда же он умер, бедняга?

Филип не знал, что ответить. Ему вдруг показалось бесчеловечным приглашать женщину обмывать тело, пока дядя еще не умер; он не понимал, зачем миссис Фостер его послала. Тут ведь подумают, что ему не терпится отправить старика на тот свет. Ему показалось, что гробовщик как-то странно на него взглянул. Он повторил свой вопрос. Это вывело Филипа из себя. Гробовщику-то какое дело!

— Когда скончался священник?

Филип чуть было не сказал, что дядя только что умер, но сразу же спохватился, подумав, какие поднимутся толки, если агония продлится еще несколько часов. Покраснев, он ответил, запинаясь:

— Да он еще в общем-то не умер...

Гробовщик оторопело глядел на него, и Филип поспешил объяснить:

— Миссис Фостер совсем одна, и ей хотелось бы, чтобы в доме была еще какая-нибудь женщина. Вы меня понимаете? Возможно, что он уже и умер.

Гробовщик кивнул.

— Ну да, теперь ясно. Я сейчас к вам кого-нибудь пошлю.

Когда Филип вернулся домой, он сразу прошел в спальню. Миссис Фостер уступила ему место возле постели.

— С тех пор как вы ушли, все без перемен,— сказала она.

Она пошла перекусить, а Филип с любопытством стал наблюдать за тем, как человек умирает. В этом уже неодушевленном существе, которое слабо боролось за жизнь, не было ничего человеческого. С обвислых губ время от времени срывалось какое-то бормотание. Солнце жарило всюю с безоблачного неба, но деревья в саду бросали прохладную тень. День был великолепный. В оконное стекло билась синяя муха. Внезапно послышался громкий хрип. Филип вздрогнул; по телу старика прошла судорога, и он умер. Машина сломалась. Синяя муха жужжала, громко жужжала и билась в оконное стекло.

Джозия Грейвс с обычной своей распорядительностью сделал приготовления к скромным, но достойным похоронам и, когда все было кончено, возвратился вместе с Филипом в дом священника. Он был душеприказчиком покойного и, попивая утренний чай, с важностью прочитал Филипу завещание его дяди. Оно было написано на маленьком листке бумаги и гласило, что все свое имущество мистер Кэри оставляет племяннику. В него входила обстановка дома, около восьмидесяти фунтов наличными в банке, двадцать акций объединенной компании кафе и ресторанов и акции пивоваренных заводов Олсопа, мюзик-холла в Оксфорде и еще какого-то ресторана в Лондоне. Все эти бумаги были куплены по указаниям мистера Грейвса, который самодовольно разъяснил Филипу:

— Вы же понимаете, молодой человек, народу надо есть, он хочет выпить и любит повеселиться. Вы ничем не рискуете, если вкладываете деньги в то, что публика считает предметами первой необходимости.

Он хотел подчеркнуть тонкое различие между грубыми вожделениями черни — он их принимал, хотя на них и сетовал, — и утонченными вкусами избранных. Всего в ценных бумагах лежало фунтов пятьсот; к этому надо было добавить деньги в банке и то, что можно выручить за обстановку. Для Филипа это было целое богатство. Он хоть и не испытывал особенной радости, но почувствовал бесконечное облегчение.

Обсудив вопрос об аукционе, который следовало назначить безотлагательно, мистер Грейвс отбыл, и Филип сел разбирать бумаги покойного. Преподобный Уильям Кэри гордился тем, что никогда не уничтожал бумаг, — у него скопились целые ворохи писем пятидесятилетней давности и кипы аккуратно подшитых счетов. Он хранил письма, не только адресованные к себе, но и те, что писал сам. Среди них была пожелтевшая пачка писем, написанных им отцу в сороковые годы, когда, проучившись год в Оксфорде, он поехал в Германию на летние каникулы. Филип стал их мельком проглядывать. Этот Уильям Кэри был совсем не похож на того Уильяма Кэри, которого он знал, однако в мальчишке уже проглядывали черты блэкстеблского священника, и наблюдательный человек мог предсказать, чем он станет в зрелости. Тон писем был официальный, даже чопорный. Молодой человек не жалел сил, чтобы осмотреть все достопримечательности, и восторженно описывал замки

на Рейне. Шафхаузенский водопад заставил его «вознести благодарение всемогущему, чьи творения столь чудесны и полны красоты»; и как же было ему не верить, что все, кто созерцает «сие дело рук благословенного создателя, не могут не вести жизнь чистую и подвижническую». В пачке счетов Филип нашел миниатюру, написанную с Уильяма Кэри вскоре после того, как он был рукоположен. На ней был изображен юный священнослужитель с длинными волосами, которые обрамляли красивыми локонами бледное, аскетическое лицо и большие темные глаза мечтателя. Филип вспомнил, как дядя, хихикая, рассказывал, сколько пар комнатных туфель вышили ему обожающие прихожанки.

Весь день и весь вечер Филип трудился над огромными залежами переписки. Кинув взгляд на адрес и подпись, он рвал письмо и бросал его в бельевую корзину. Вдруг ему попало письмо, подписанное именем Элен. Почерк был ему незнаком. Он был изящный, угловатый и старомодный. Письмо начиналось с обращения: «Мой дорогой Уильям!» и кончалось: «Ваша любящая сестра». И вдруг он сообразил, что это письмо от его матери. Он никогда не видел ни одного ее письма и поэтому не узнал почерка. Писала она о нем.

«Мой дорогой Уильям!

Стивен поблагодарил Вас за поздравление по случаю того, что у нас родился сын, и за добрые пожелания мне. Благословение богу: мы оба здоровы, и я глубоко признательна за то, что смерть меня пощадила. Теперь я могу держать перо и хочу сказать Вам и дорогой Луизе, как я тронута вашей добротой, которую вы проявили ко мне и сейчас, и с первого дня моего брака. Я хочу просить Вас оказать мне величайшее одолжение. И Стивен и я хотели бы, чтобы Вы стали крестным нашего мальчика. От души надеемся, что Вы согласитесь. Я знаю: то, о чем я прошу,— дело немалое, ибо я уверена, что Вы отнесетесь к взятой на себя ответственности со всею серьезностью, но я потому так настаиваю, что Вы — не только дядя нашего мальчика, но еще и священник. Я очень тревожусь о будущем моего сына и денно и нощно молю бога о том, чтобы он вырастил его хорошим, честным христианином. С Вами в качестве наставника сын мой, я надеюсь, поднимет меч за веру Христову и всю жизнь останется человеком смиренным и богобоязненным.

Ваша любящая сестра

Элен».

Филип отодвинул письмо и, нагнувшись над столом, опустил голову на руки. Письмо глубоко тронуло и в то же время удивило его своим религиозным тоном, который не показался ему ни слезливым, ни сентиментальным. Он ничего не знал о своей матери, которая умерла почти двадцать лет назад, кроме того, что она была красива, и его поразило, что она была так наивна и набожна. Он никогда и не подозревал об этой стороне ее натуры. Филип снова перечел то место, где говорилось, чего она ждет от своего сына. Он на миг взглянул на себя ее глазами и должен был признать, что никак не оправдал ее надежд; может быть, и лучше, что она умерла. Поддавшись внезапному порыву, он разорвал письмо — его нежность и простота, казалось, выражали какое-то слишком интимное чувство; у Филипа было странное ощущение, будто, прочтя эту исповедь материнской души, он над ней надругался. Потом он стал разбирать дальше унылую переписку покойного дяди.

Через несколько дней Филип вернулся в Лондон и впервые за два года днем вошел в приемную больницы св. Луки. Он отправился к секретарю медицинского института, который был очень удивлен, увидев его, и спросил, где Филип пропал столько времени. Жизненные передраги кое-чему научили Филипа и вселили в него некоторую уверенность в себе; прежде такой вопрос его бы смутил, теперь же он ответил суховато и с намеренной неопределенностью, пресекавшей дальнейшие расспросы, что личные дела заставили его сделать перерыв в учении и что сейчас ему хочется как можно скорее получить диплом. Первый предстоящий ему экзамен был по акушерству и женским болезням, поэтому Филип записался на практику в гинекологический корпус; время было каникулярное, и место практиканта в родильном отделении нашлось без труда; Филип договорился, что проработает там последнюю неделю августа и половину сентября. Покончив с этим делом, Филип обошел институт; в нем было довольно пусто, так как летняя экзаменационная сессия кончилась. Филип вышел на террасу над рекой. Сердце его было переполнено. Он думал о том, что теперь начнет новую жизнь, что все ошибки, безумства и горести прошлого остались позади. Река текла мимо, словно говоря, что все течет, все проходит бесследно; впереди ждало будущее, полное надежд.

Филип вернулся в Блэкстебл и занялся устройством дел покойного дяди. Аукцион был назначен на август, когда съедутся дачники и за вещи можно будет получить более высокую цену. Филип составил каталог книг и разослал его букинистам в Теркенбери, Мейдстоне и Эшфорде.

Однажды днем Филипу захотелось съездить в Теркенбери и побывать в своей школе. Он не был там с того самого дня, когда с легким чувством покинул ее, радуясь свободе. С каким странным ощущением он бродил сейчас по улочкам Теркенбери, которые когда-то хорошо знал. Он заглядывал в старые лавчонки — они все еще были на том же месте и торговали тем же товаром: в одной витрине книжной лавки лежали учебники, духовные книги и новые романы, в другой — снимки собора и виды города; в спортивном магазине продавали биты для крикета, рыболовные снасти, теннисные ракетки и футбольные мячи; вот портной, у которого все школьные годы ему заказывали одежду, и рыбная лавка, где дядя покупал рыбу, когда приезжал в Теркенбери. Филип прошелся по унылой улице, где за высоким забором стоял красный кирпичный дом приготовительной школы. Дальше были ворота в Королевскую школу; Филип постоял на четырехугольной площадке, вокруг которой были расположены школьные здания. Пробыло четыре часа, и из школы высыпали ученики. Он увидел учителей в мантиях и шапочках с квадратными тульями, но лица их были ему незнакомы. С тех пор как он бросил школу, прошло больше десяти лет и многое здесь изменилось. Филип увидел директора — он медленно шел домой, разговаривая с большим мальчиком, по-видимому, из шестого класса; директор мало изменился и был все такой же длинный, костлявый, восторженный, каким его помнил Филип, с теми же глазами одержимого; однако в черную бороду вкралась седина, и борозды на смугловатом изможденном лице пролегли куда глубже. Филипа потянуло подойти к нему и заговорить, но он побоялся, что директор его забыл, а ему до смерти не хотелось объяснять, кто он такой.

Мальчишки не спешили разойтись и болтали друг с другом; кое-кто успел переодеться, чтобы сыграть в мяч; остальные выходили из ворот по двое, по трое; Филип знал, что они идут играть на крикетную площадку или потренироваться возле сеток. Филип стоял среди них совсем чужой; ученики равнодушно окидывали его взглядом: туристы, которых привлекала сюда лестница времен нашествия норманнов, не были здесь в диковинку. А Филип рассматривал школьников с жадным любопытством. Он с грустью думал о том, что его от них теперь отделяет целая пропасть; ему было горько сознавать, как много он хотел совершить и как мало ему удалось. Ему вдруг показалось, что все эти безвозвратно ушедшие годы растрочены им впустую. Эти жизнерадостные юнцы сегодня делали то же, что делал когда-то

и он; казалось, и дня не прошло с тех пор, как он покинул школу, однако тут, где он раньше знал всех хотя бы по имени, Филип теперь не узнавал никого. Пройдет несколько лет, и те, кто пришли на его место, тоже станут здесь чужими; однако эта мысль не принесла ему утешения, она только еще яснее показала ему тщету человеческого существования. Каждое поколение повторяло все тот же незамысловатый путь.

Интересно, какая судьба постигла его соучеников; им теперь уже под тридцать, кое-кто из них умер, другие успели жениться и народить детей, стать военными, священниками, врачами, адвокатами; они остепенились и уже прощались с молодостью. Есть ли среди них такие же неудачники, как он? Филип подумал о мальчишке, к которому он был так привязан в школе,— смешно, но он не мог вспомнить его фамилию; он и сейчас видел его как живого, это ведь был его лучший друг, но имя ускользнуло из памяти. Он с улыбкой припоминал, какие он переживал в ту пору муки ревности. Ей-богу же, обидно, что он забыл имя этого мальчишки! Филипу захотелось вернуть свое детство, снова стать таким, как вот эти ребята, слонявшиеся по школьному двору, для того чтобы, не повторяя своих ошибок, начать жизнь сызнова и добиться в ней чего-то большего. Его вдруг охватила невыносимая тоска. Он даже пожалел, что бедствия последних двух лет миновали: тогда он был так поглощен жестокой борьбой за существование, что не мог предаваться мировой скорби. «В поте лица своего будешь есть хлеб свой» — это было не проклятие, которому предали человечество, а утешение, примирявшее человека с жизнью.

Но Филип разозлился на себя; он припомнил все, что думал насчет узора человеческой жизни: страдания, которые он терпел, были лишь завитками этого замысловатого и прекрасного рисунка; он внушал себе, что обязан с радостью принимать все, что дает жизнь,— и ее убожество и ее восторги, боль и сладость, ибо все это обогащает узор. Он сознательно искал во всем красоту; Филип вспомнил, как еще в детстве подолгу любовался из школьного сада готическим собором; вот и теперь он подошел к нему и стал разглядывать эту каменную громаду, седую под затянутым тучами небом; ее главная башня летела ввысь, как людская хвала создателю. Но мальчишки играли в мяч у сеток — стройные, сильные, подвижные юнцы; его отвлекали их смех и крики. Зов юности был настойчив, и прекрасное творение, перед которым он стоял, Филип видел только телесными очами.

Начиная с последней недели августа Филип приступил к своим обязанностям. Они были тяжелыми — ему приходилось посещать не менее трех рожениц в день. Беременная женщина заранее запасалась в больнице талончиком; когда наступало время рожать, талончик относил к привратнику больницы какая-нибудь соседская девчужка, а ее посылали через дорогу — в дом, где поселился Филип. Ночью привратник — у него был свой ключ от входной двери — сам будил Филипа. Как было странно вставать в полной тьме и бежать по пустынным улицам южной окраины города. В эти часы талон обычно приносил муж. Если в семье уже было несколько ребят, он нес его с угрюмым безразличием; если это была чета молодоженов, муж очень нервничал и нередко пытался заглушить свое волнение водкой. Часто путь выдавался не близкий, и Филип со своим провожатым обсуждали по дороге условия труда рабочих и стоимость жизни; Филип многое узнал о различных ремеслах, которыми занимаются по ту сторону реки. Людям, с которыми ему приходилось сталкиваться, он внушал доверие, и в долгие часы ожидания, сидя в душной комнате — добрую половину ее занимала большая кровать, на которой рожала женщина, — Филип запросто беседовал с матерью своей пациентки и с акушеркой, словно они были старинными друзьями. Нужда, которую ему пришлось терпеть последние два года, многому его научила; он теперь знал, как живут бедняки, а им нравилось, что он это знает и не желает поддаваться на их маленькие уловки. Он разговаривал приветливо, не выходил из себя, и у него были мягкие руки. Им было приятно, что он не брезгает выпить с ними чая; а когда наступал рассвет и роды все еще продолжались, доктора угощали хлебом с говяжьим жиром; он не был привередлив и ел что придется с завидным аппетитом. Некоторые дома, куда он попадал, — в захламленных дворах, на грязных улицах, прилепившиеся друг к другу, без света и воздуха, — были просто убогими; другие против всякого ожидания, хоть и ветхие, с изъеденными полами и дырявыми крышами, выглядели импозантно: в них сохранились дубовые лестницы с великолепной резной балюстрадой и отделанные панелью стены. Такие дома были густо населены. В каждой комнате жило по семье, и днем здесь стоял оглушительный шум, который поднимали игравшие во дворе дети. Древние стены были рассадниками насекомых, в воздухе стояла такая вонь, что Филипа часто

начинало мутить и ему приходилось закуривать трубку. Обитатели этих домов едва сводили концы с концами. Ребенок не был здесь желанным гостем, отец встречал его с плохо скрытой злобой, мать — с отчаянием: лишний рот в семье, где и так не хватало еды. Филип часто угадывал желание, чтобы ребенок родился мертвым или тут же умер. Он принял у одной женщины двойню (повод для веселых насмешек у шутника), и, когда ей об этом сказали, она разразилась истошным, надрывным плачем. А мать ее заявила напрямик:

— Уж и не знаю, как только они их прокормят!

— Бог милостив, может, приберет их к себе, — успокоила ее акушерка.

Филип глядел на пару лежавших рядышком малюток, и ему бросилось в глаза выражение лица мужа: оно было таким хмурым и дышало такой яростью, что Филип был просто испуган. Он почувствовал у всей семьи злобную неприязнь к этим бедным крошкам, явившимся против ее воли на свет божий; у него возникло подозрение, что, не предупреди он постороже, с новорожденными случится недоброе. «Несчастные случаи» не были редкостью; матери умудрялись «заспать» своего ребенка, неправильное кормление зачастую не было просто ошибкой.

— Я буду заходить каждый день, — сказал он. — Имейте в виду, если с ними что-нибудь случится, будет назначено следствие.

Отец ничего не ответил и только свирепо насупился. В душе он уже был убийцей.

— Сохрани их господь, — сказала бабка, — что же с ними может приключиться?

Труднее всего было удержать роженицу в постели десять дней — срок, на котором настаивала больница. Кто же будет вести хозяйство? Ведь даровых нянек к ребятишкам не сыщешь, а муж ворчит, вернувшись с работы голодный и усталый, что чай плохо заварен. Филип слышал, что бедняки помогают друг другу, однако женщины часто жаловались ему, что не могут найти никого, кто бесплатно убрал бы им комнату или накормил ребят обедом, а заплатить за услуги нечем. Прислушиваясь к разговору женщин, ловя случайные обмолвки, из которых он мог узнать многое, о чем не принято говорить, Филип понял, как мало общего у бедноты с более зажиточными классами. Бедные не завидовали знати — разница в уровне жизни была слишком велика; по сравнению с их собственным идеалом благоденствия жизнь средней руки мещанина казалась бедняку чо-

порной и стесненной; к тому же мещан презирали за хилость и за то, что они не занимаются физическим трудом. Люди гордые хотели только одного — чтобы им не мешали жить, как им хочется, но и большинство мало интересовалось зажиточными людьми, если у них нельзя ничего урвать; беднота знала, как получить помощь, которую оказывают неимущим различные благотворительные общества, и принимала дары как нечто положенное ей по праву, пользуясь глупостью власть имущих и своей изворотливостью. Бедняки еще кое-как терпели помощника священника, относясь к нему с презрительным равнодушием, но люто ненавидели санитарного инспектора. Эта дама приходила и распахивала у вас окна, не спросив разрешения и даже не извинившись («Плевать ей на мой бронхит, плевать ей, что я могу простудиться насмерть!»); совала нос во все углы, и, если не возмущалась вслух, что у вас грязно, по роже ее можно было прочесть, что она думает; «а им-то легко говорить, этим барыням, у них небось полон дом холуев, а вот посмотрела бы я, на что была бы похожа ее комната, пошли ей бог четверых ребят и заставь ее жарить, и парить, и штопать, и носы вытирать».

Филип узнал, что величайшее несчастье для этих людей не разлука и не смерть — это дело обычное, и горе всегда можно излить в слезах, — а потеря работы. Он видел однажды, как муж пришел домой дня через три после того, как его жена родила, и сказал, что его уволили; он был каменщиком, а в это время года строительство шло вяло; сообщив эту новость, он сел пить чай.

— Ой, Джим! — простонала жена.

Муж тупо жевал какую-то мешанину, долго томившуюся на сковородке в ожидании его прихода; он молча уставился в тарелку; жена раза три кинула на него испуганный взгляд и вдруг безмолвно залилась слезами. Рабочий был нескладный, маленький человечек с грубым, обветренным лицом, большим белым шрамом на лбу и крупными, волосатыми руками. Он резко отодвинул тарелку, словно отчаявшись проглотить хоть кусок, и уставился неподвижным взором в окно. Комната была в верхнем этаже, выходила на задворки, и в окне виднелось одно лишь насупленное небо. Тишина была насыщена горем. Филип чувствовал, что ему нечего сказать в утешение; оставалось только уйти, и, устало волоча ноги — он не спал почти всю ночь, — Филип с яростью думал о том, как жестоко устроен мир: он знал всю безнадежность поисков работы и отчаяние, которое куда тяжелее переносить, чем голод. Хорошо еще, что не нужно верить

в бога, не то существование стало бы нестерпимым; с ним можно мириться, разве только зная, что оно совершенно бессмысленно.

Филипу казалось, что люди, посвятившие свою жизнь помощи бедноте, действуют неправильно: они пытаются изменить то, что мучило бы их самих, не понимая, что бедняки к этому привыкли и приспособились. Они не тоскуют по большим, хорошо проветренным комнатам: они ведь постоянно зябнут, потому что их пища малопитательна, а кровообращение нарушено; просторное помещение кажется им холодным, а они вынуждены жечь как можно меньше угля; необходимость спать по нескольку человек в комнате ничуть их не угнетает, а скорее даже радует; они никогда не остаются одни от рождения и до самой смерти — их пугает одиночество, им приятна скученность, в которой они живут, и непрерывный шум вокруг совсем их не раздражает: они его не слышат. У них нет потребности ежедневно принимать ванну, и Филипу не раз приходилось слышать, как они возмущаются, что их заставляют купаться, когда кладут в больницу; это требование кажется им и неприятным, и оскорбительным, и противным. Больше всего на свете им хочется, чтобы их оставили в покое; и если у кормильца семьи работа постоянная, жизнь течет привольно и не без удовольствия; можно вволю почесать язык, выпить после трудового дня кружку пива, поглазеть на уличные происшествия, почитать «Рейнольдс» или «Ньюс оф уорлд» — не успеешь оглянуться, время и пролетело («ей-же-ей, не сойти с этого места, я любила читать, пока была незамужняя, а вот теперь то да се, глядишь, и газету прочесть недосуг»).

Врачу полагалось трижды посетить пациентку после родов, и как-то раз, в воскресенье, Филип навестил одну из своих рожениц в обеденный час. Она первый день была на ногах.

— Ну никак не могла дольше улежать! Я и вообще-то не из таких, кто любит бить баклуши. У меня без дела прямо руки чешутся — вот я и говорю своему Герберту: давай-ка я лучше встану да сварю тебе обед.

Герберт сидел у стола с вилкой и ножом наготове. Это был молодой человек с открытым лицом и голубыми глазами. Он хорошо зарабатывал, и эта пара жила в сравнительном достатке. Женаты они были всего несколько месяцев и души не чаяли в розовом младенце, лежавшем в люльке в ногах их постели. В комнате стоял аппетитный запах бифштекса, и Филип невольно поглядел на плиту.

— Я как раз собиралась снять его с огня,— сказала женщина.

— Валяйте,— сказал Филип.— Я только посмотрю на вашего сына и наследника, а потом двинусь дальше.

Муж и жена засмеялись, Герберт встал и подошел с Филипом к люльке. Он с гордостью поглядел на ребенка.

— Ну, этому на здоровье жаловаться грех,— сказал Филип.

Он взял шляпу. В это время молодая мать сняла с огня бифштекс и поставила на стол блюдо с зеленым горошком.

— Да, обед вам сготовили знатный,— улыбнулся Филип хозяину.

— Он обедает дома только по воскресеньям, вот я и стараюсь накормить его чем-нибудь вкусеньким, чтобы он побольше скучал по семье.

— Вам небось не по чину сесть с нами за стол и перекусить чем бог послал? — спросил Герберт.

— Ох и скажешь же ты! — смущенно заметила его жена.

— Отчего ж? Если предложите... — ответил Филип, мягко и дружелюбно улыбаясь.

— Вот это по-приятельски! Я ведь знал, Полли, что он нами не погнушается. А ну-ка, милая, ставь на стол чистую тарелку.

Полли взволнованно захлопотала у стола, думая, что другого такого, как ее Герберт, и с огнем не сыщешь: никогда не угадаешь, что еще взбредет ему в голову. Однако она достала тарелку, быстро вытерла ее передником, вынула новый столовый прибор из комода, где среди ее приданого хранились парадные вилки и ножи. На столе стоял кувшин с пивом, и Герберт налил стакан Филипу. Хозяин хотел положить гостю львиную долю, но Филип настоял на том, чтобы он разделил мясо поровну. Комната была солнечная, с двумя большими окнами до пола; прежде, видно, это была гостиная дома, может, и не знатного, но, во всяком случае, приличного; лет пятьдесят назад тут, верно, жил либо зажиточный купец, либо офицер в отставке. До женитьбы Герберт играл в футбол, и на стене висели фотографии футболистов в деревянных позах, с гладко прилизанными чубами и капитаном в центре, гордо держащим кубок. Были тут и другие признаки благосостояния: фотографии родственников Герберта и его жены в праздничных костюмах; на камине стояло сложное сооружение из ракушек, наклеенных на миниатюрную скалу, с пивными кружками по бокам, на которых готическими буквами было написано «Привет

из Саусэнда» и нарисованы пирс и набережная. Герберт был парень крутой, не одобрял профсоюзов и с негодованием рассказывал, что его туда тянут силком. А союз ему без надобности: человек всегда заработает, если у него есть голова на плечах и он не гнушается никаким трудом. Полли была более робкого нрава. На его месте она бы пошла в союз; последний раз, когда были стачки, она каждый день ждала, что его вот-вот притащат домой на больничных носилках. Она попыталась найти поддержку у Филипа:

— Ну до чего же упрям, ему хоть кол на голове теши!

— А я говорю, у нас свободная страна; не желаю я, чтобы мне указывали!

— Ну уж и свободная, тоже скажешь! — возражала Полли. — Возьмут да и проломают тебе башку, дай им только случай.

Когда кончили есть, Филип протянул свой кисет Герберту и они закурили трубки; доктор встал, потому что дома его уже мог ждать новый вызов, и распрощался. Хозяева были явно рады, что он с ними пообедал, да и он не скрывал от них своего удовольствия.

— Что ж, прощайте, сэр, — сказал Герберт. — Надеюсь, в следующий раз, когда моя хозяйка вздумает безобразничать, к ней придет такой же славный доктор.

— Да ну тебя, ей-богу! — возмутилась жена. — Откуда ты взял, что я еще раз на это решусь?

ГЛАВА 114

Три недели практики подошли к концу. За это время у Филипа было шестьдесят два вызова, и он смертельно устал. Вернувшись домой около десяти часов вечера, он всей душой надеялся, что напоследок его больше не потревожат. За десять дней он ни разу не выспался. Больная, от которой он только что вернулся, произвела на него удручающее впечатление. За ним пришел здорово выпивший рослый, грузный мужчина и привел его в комнату, выходившую на вонючий двор, где была такая грязь, какой он еще не видел; крохотная мансарда была почти вся заставлена огромной деревянной кроватью с засаленным красным пологом; потолок был такой низкий, что Филип мог достать до него рукой; взяв горевшую в комнате единственную свечу, Филип обвел ее пламенем все щели, поджаривая выползающих оттуда клопов. Больная — неряшливая женщина

средних лет — страдала бесконечными выкидышами. История была довольно обиденная: муж служил солдатом в Индии; законодательство, навязанное этой стране английским ханжеством, оставляло безнаказанной одну из самых убийственных болезней, в результате страдали невинные. Зевая, Филип разделся, принял ванну, вытряхнул над водой свою одежду, наблюдая за тем, как из нее сыплются насекомые. Он только собрался лечь в постель, как в дверь постучали и больничный привратник вручил ему талон.

— Эх, черт! — сказал Филип. — Вот уж чего я сегодня больше не ждал! Кто это принес?

— По-моему, муж, сэр. Сказать, чтобы подождал?

Филип взглянул на адрес — улица была знакомая — и заявил привратнику, что найдет дорогу сам. Он быстро оделся и, взяв свой черный саквояж, выбежал на улицу. К нему подошел человек, которого нельзя было разглядеть в темноте, и сказал, что он муж больной.

— Я решил вас все-таки дожидаться, — сказал он. — В наших местах много хулиганья, а они ведь не знают, кто вы такой.

Филип засмеялся.

— Господь с вами, кто же тут не знает доктора! Мне приходилось бывать в местах похуже, чем Уэйвер-стрит.

Он говорил правду. Черный саквояж служил пропуском в самых зловещих переулках и вонючих тупиках, куда в одиночку боялись заглядывать даже полицейские. Раза два кучка людей подозрительно оглядела проходившего мимо Филипа; он услышал шепот по своему адресу, а потом кто-то сказал:

— Это больничный доктор.

И, когда он проходил мимо, двое из них с ним вежливо поздоровались:

— Добрый вечер, сэр.

— Если можно, хорошо бы нам прибавить шагу, — сказал Филипу его спутник. — Мне говорили, что времени в обрез.

— А почему вы тянули до последней минуты? — упрекнул его Филип, убыстряя шаг. Он взглянул на парня, когда они проходили возле фонаря. — Больно вы молоды на вид, — удивился он.

— Да мне уж скоро восемнадцать, сэр.

Он был блондин, еще совсем безусый, похожий на мальчика; росту хоть и небольшого, но широкий в груди.

— Рановато было жениться, — заметил Филип.

— Пришлось.

— Сколько вы зарабатываете?

— Шестнадцать, сэр.

На шестнадцать шиллингов в неделю трудно прокормить жену и ребенка. Комната, в которой жила эта пара, свидетельствовала о крайней бедности. Она была довольно велика, но выглядела еще просторнее оттого, что в ней почти не было мебели; пол был голый, на стенах не висело ничего, между тем у бедняков стены всегда залеплены фотографиями в дешевых рамках и цветными приложениями к рождественским иллюстрированным журналам. Больная лежала на убогой железной кровати; Филип просто испугался, увидев, как она молода.

— Господи, да ей не больше шестнадцати,— сказал он женщине, которая пришла «помочь ей разрешиться».

В амбулатории она сказала, что ей восемнадцать,— когда девушке очень мало лет, она нередко прибавляет себе год или два. Она была хорошенькая, что редко встретишь в этой среде, где плохая пища, спертый воздух и тяжелый труд подрывают организм; у молоденькой роженицы были тонкие черты лица, большие синие глаза и густые черные, замысловато причесанные волосы. И она и ее муж были очень взволнованы.

— Вы бы лучше подождали на лестнице, а я вас позову, если понадобится,— сказал ему Филип.

Теперь, когда Филип разглядел мужа получше, его снова поразило, до чего же тот молод; казалось, ему куда больше пристало баловаться на улице с мальчишками, чем с тревогой ждать рождения ребенка. Шли часы; роды начались только около двух. Все, казалось, идет нормально; позвали мужа, и Филип был тронут, увидев, как неловко, застенчиво поцеловал он жену. Сложив инструменты, Филип собирался уйти, но, прощаясь, решил еще раз пощупать у больной пульс.

— Ого! — воскликнул он. Филип тревожно взглянул на больную: что-то было неладно. В экстренных случаях полагалось посылать за дежурным старшим акушером; это был дипломированный врач, весь «район» находился под его опекой. Филип поспешно нацарапал записку и, дав ее мужу, приказал бегом снести в больницу: нужно торопиться, потому что состояние жены очень опасно. Муж убежал, Филип взволнованно дожидался подмоги; он видел, что женщина истекает кровью, и, принимая все доступные ему меры, боялся, как бы она не умерла до прихода старшего акушера. Не дай бог, если того вызвали куда-нибудь в другое место. Минуты тянулись бесконечно. Наконец пришел

врач и, осматривая больную, стал вполголоса задавать Филипу вопросы. По его лицу было видно, что и он считает положение очень серьезным. Звали его Чандлер. Это был высокий немногословный человек с длинным носом и узким лицом, преждевременно изрезанным морщинами. Он покачал головой.

— Дело было гиблое с самого начала. Где муж?

— Я сказал, чтобы он подождал на лестнице.

— Лучше позовите его сюда.

Филип открыл дверь и окликнул юношу. Тот сидел в темноте на нижней ступеньке лестницы. Войдя, он подошел к кровати.

— Что случилось? — спросил он.

— Внутреннее кровотечение. Его невозможно остановить. — Дежурный акушер запнулся и, так как ему тяжело было это говорить, произнес резким тоном: — Она умирает.

Муж не вымолвил ни слова; он стоял как вкопанный, не сводя глаз с белой как полотно жены. Она лежала без сознания. Молчание прервала повивальная бабка:

— Эти господа сделали все, что могли, слышишь, Гарри? Я сразу поняла, что дело добром не кончится.

— Помолчите, — сказал Чандлер.

На окнах не было занавесок, и мрак постепенно рассеивался; рассвет еще не наступил, но заря была близка. Чандлер боролся за жизнь больной, как только мог, но жизнь ускользала из тела молодой женщины, и она умерла. Мальчик, бывший ее мужем, стоял в ногах дешевой железной кровати, вцепившись руками в спинку; он не произносил ни слова, но лицо его было бледно, и Чандлер с беспокойством на него поглядывал, боясь, что он упадет в обморок: губы у него посерели. Повитуха громко всхлипывала, но юноша не обращал на нее внимания. Глаза его были прикованы к покойнице и выражали тупое недоумение. Он был похож на щенка, которого побили за какую-то непонятную ему вину. Когда Чандлер и Филип собрали свои инструменты, Чандлер сказал:

— Вам бы не грех прилечь хоть ненадолго. Видно, вы совсем выбились из сил.

— А мне негде прилечь, — ответил тот, и в голосе его была такая покорность судьбе, что у Филипа сжалось сердце.

— Неужели никто из соседей не разрешит вам где-нибудь полежать?

— Нет, сэр.

— Они ведь переехали только на прошлой неделе, — сообщила повитуха. — Никого еще не знают.

Чандлер растерянно помешкал, а потом подошел к юноше и сказал:

— Да, обидно, что все так получилось...

Он протянул ему руку, и тот инстинктивно взглянул на свою, проверяя, достаточно ли она чистая.

— Спасибо вам, сэр.

Филип тоже пожал ему руку. Чандлер сказал повивальной бабке, чтобы она пришла утром за свидетельством о смерти. Выйдя из дома, Чандлер и Филип долго шли молча.

— Поначалу тяжело переносишь такие вещи,— произнес наконец Чандлер.

— Да,— согласился Филип.

— Если хотите, я скажу привратнику, чтобы он больше вас сегодня не тревожил.

— Мое дежурство и так кончается в восемь утра.

— Сколько у вас уже было больных?

— Шестьдесят три.

— Прекрасно. Вы получите зачет.

Они подошли к больнице, и старший акушер зашел спросить, нет ли для него вызова. Филип отправился дальше. Накануне было очень жарко, и даже теперь, ранним утром, в воздухе струилось тепло. На улице было совсем тихо. Филипу не хотелось спать. Работа кончена, ему больше некуда торопиться. Он пошел побродить, наслаждаясь свежим воздухом и тишиной; ему пришло в голову сходить на мост и поглядеть, как занимается день над рекой. Полисмен на углу пожелал ему доброго утра. Он узнал Филипа по его саквяжу.

— Поздненько вы сегодня, доктор,— сказал он.

Филип кивнул и прошел мимо. Он облокотился на перила и стал глядеть в рассветное небо. В этот час огромный город был похож на обиталище мертвых. Небо было безоблачно, но звезды потускнели в предчувствии дня; над рекой висела дымка, высокие здания на северном берегу казались дворцами на очарованном острове. Посреди реки стояли на якоре баржи. Все отливало каким-то потусторонним лиловым цветом, бередящим душу и чуть-чуть пугающим; однако скоро воздух и очертания предметов побледнели; мир стал серым и холодным. А потом взошло солнце, яркий золотой луч прокрался в небо, и оно засияло разноцветными огнями. Перед глазами Филипа стояли мертвая девочка — ее осунувшееся, белое лицо — и мальчик в ногах кровати, похожий на раненого зверька. Пустота нищенской комнаты усугубляла ощущение беды. Разве не жестоко, что глупая

случайность пресекла жизнь в самом ее начале; но, задав себе этот вопрос, Филип тут же подумал о том, какая этой девушке была суждена жизнь: рожать детей, уныло бороться с нуждой, горевать, что твою юность подорвали труд и лишения и на смену ей приходит неопрятная старость; красивое личико осунется и поблекнет, волосы поредеют, тонкие руки, безжалостно измученные работой, превратятся в костлявые клешни... А потом и у мужа пройдет молодость, с годами ему станет все труднее доставать работу и придется соглашаться на нищенские заработки. Впереди неизбежная, безысходная нужда, и, как бы женщина ни была деятельна, расчетлива и работяща, ей это не поможет; старость сулит ей богадельню или жизнь из милости у детей. Чего же ее жалеть, если ей суждено так мало?

Да жалость и вообще-то бессмысленна. Филип знал, что этим людям нужна не жалость. Они ведь себя не жалеют. Они принимают свою судьбу как должное. Так уж заведено на земле. Это законный порядок вещей. Не то, избави бог, орды бедноты кинутся через реку на ту сторону, где гордо и надежно стоят эти величественные здания, и станут жечь, грабить и насильничать... Но вот проглянул день, нежный и молодой, дымка стала прозрачной, она окутала все вокруг мягким сиянием, а Темза переливалась всеми оттенками серебристого, розового и зеленого — серебристым, как перламутр, зеленоватым, как сердцевина чайной розы. Верфи и склады Суррей-сайда громоздились в безалаберной прелести. Вид, который открывался его взору, был так прекрасен, что сердце у Филипа забилося. Его потрясла красота мироздания. Рядом с ней все казалось мелким и ничтожным.

ГЛАВА 115

Несколько недель до начала зимнего семестра Филип проработал в амбулатории, а в октябре приступил к регулярным занятиям. Он так долго не был в больнице, что теперь его окружали главным образом незнакомые лица; у людей разного возраста мало общего, а почти все его сверстники уже получили диплом; кое-кто из них уехал, добившись места ординатора или лечащего врача в провинциальных больницах и клиниках, другие остались в больнице св. Луки. За два года, которые он не занимался умственным трудом, голова его отдохнула, и Филипу казалось, что теперь он может работать с удвоенной силой.

Семейство Ательни радовалось перемене в его судьбе. Он оставил себе несколько вещей при распродаже дядино-го имущества и сделал всем им подарки. Салли он отдал тетину золотую цепочку. Девочка стала уже совсем взрослой. Каждое утро, в восемь часов, она отправлялась на работу в швейную мастерскую на Риджент-стрит, куда поступила ученицей. Голубые глаза Салли смотрели открыто и прямо; у нее были высокий лоб и густые блестящие волосы; она была полная, с широкими бедрами и высокой грудью; отец, любивший поговорить о ее внешности, частенько предостерегал ее, чтобы она не толстела. В ней привлекали здоровая плоть и женственность. У Салли нашлось множество вздыхателей, но она была к ним равнодушна; казалось, будто она презирает всю эту любовную чушь,— понятно, что молодые люди считали ее неприступной. Салли казалась старше своих лет; она рано стала помогать матери по дому и в уходе за детьми и усвоила хозяйский тон; мать говорила, что Салли чересчур своевольна. Она была неразговорчива, но с годами в ней развилось какое-то сдержанное чувство юмора; порой она отпускала шутку, показывая, что, несмотря на невозмутимую внешность, умеет посмеяться над своими ближними. Филип никак не мог наладить с ней тех дружеских и фамильярных отношений, какие установились у него с остальными членами ее обширной семьи. Порой невозмутимость Салли его даже раздражала. В ней было что-то загадочное.

Когда Филип преподнес ей цепочку, экспансивный Ательни тут же потребовал, чтобы Салли его за это поцеловала; но девушка, покраснев, отошла.

— И не подумаю!— сказала она.

— Неблагодарная тварь!— закричал Ательни.— Почему?

— Не люблю целоваться с мужчинами,— сказала Салли.

Заметив ее смущение, Филип, смеясь, отвлек внимание Ательни, что было совсем нетрудно. Но, видимо, мать вернулась потом к этому разговору, и, когда Филип пришел к ним в следующий раз, Салли воспользовалась тем, что они остались вдвоем, и спросила:

— Вы небось решили, что я невежа, когда на прошлой неделе не захотела вас поцеловать?

— Ничуть,— засмеялся он.

— Не думайте, что это от неблагодарности.— Салли покраснела, произнося высокопарную фразу, которую она заранее приготовила:— Мне всегда будет дорог ваш подарок, и я ценю вашу доброту.

Филипу почему-то всегда было трудно с ней разговаривать. Она ловко делала все, за что бралась, но чаще молчала, хотя и не была нелюдимой. В одно из воскресений, когда Ательни с женой пошли погулять, а Филип, которого считали членом семьи, читал в гостиной, вошла Салли и уселась у окна с шитьем. Девочек обшивали дома, и Салли не могла позволить себе роскоши побездельничать даже в воскресенье. Филип решил, что ей хочется поговорить, и опустил книгу.

— Читайте,— сказала она.— Я подумала, что вам скучно одному, и решила с вами посидеть.

— Вы самый молчаливый человек, какого я встречал в жизни,— сказал ей Филип.

— Хватит с нас одного любителя поговорить,— сказала она.

В ее тоне не было иронии; она просто высказала то, что думала. Но Филип почувствовал, что отец— увы!— больше не был ее героем, как в детстве: она теперь понимала, что его фантастические речи— обратная сторона той безответственности, которая часто заводила семью в тупик; она сравнивала его патетику со здравым смыслом и практичностью матери; отцовский темперамент хоть и забавлял ее, но чаще выводил из себя. Филип смотрел на склонившуюся над шитьем девушку: сильная, здоровая и уравновешенная, она, наверно, очень не похожа на других учениц у себя в мастерской— плоскогрудых и малокровных. Милдред тоже страдала малокровием.

Вскоре выяснилось, что у Салли появился претендент на ее руку. Она изредка ходила с товарками по мастерской на танцы и познакомилась там с молодым, хорошо обеспеченным инженером-электриком, который был завидным женихом. Как-то раз Салли рассказала матери, что он сделал ей предложение.

— Что ты ему ответила?

— Ну, я сказала ему, что покуда не испытываю особого желания выходить замуж за кого бы то ни было.— Она помолчала, как всегда взвешивая каждое слово.— Он так расстроился, что я пригласила его в воскресенье к чаю.

Это было событием, о котором Ательни мог только мечтать. Весь день он репетировал для острастки молодого человека роль грозного папаши, насмешив своих детей до икоты. Перед самым приходом жениха Ательни вытащил откуда-то египетскую феску и решил во что бы то ни стало ее надеть.

— Побойся бога, Ательни,— увещевала его жена, нарядившаяся в парадное черное бархатное платье, которое обтягивало ее с каждым годом все туже.— Ты отобьешь у жениха всякую охоту свататься.

Она попыталась сдернуть с него феску, но он ловко ускользнул от нее на своих коротеньких ножках.

— Не прикасайся ко мне, женщина! Ничто не заставит меня ее снять. Молодой человек сразу должен понять, что вступает в необычную семью.

— Да пусть его, мама,— сказала Салли своим ровным, спокойным голосом.— Если мистер Дональдсон не поймет, что это шутка, тогда и жалеть о нем нечего.

Филипу казалось, что молодого человека подвергают слишком суровому испытанию: Ательни в коричневой вельветовой куртке, пышном черном галстуке и красной феске мог испугать ничего не подозревавшего инженера-электрика. Когда тот пришел, хозяин приветствовал его с надменной учтивостью испанского гранда, зато миссис Ательни — просто и по-домашнему. Все расселись вокруг старинного стола на монастырских стульях с высокими спинками, и миссис Ательни стала разливать чай из сверкающего чайника, который вносил что-то чисто английское и даже сельское в это празднество. Миссис Ательни испекла печенье и поставила на стол сваренный ею джем. Чай здесь, в старом доме времен короля Иакова, подавался по-деревенски, и Филип находил в этом удивительное очарование. Ательни пришла странная фантазия завести беседу о Византии: он недавно прочел последние тома «Упадки и разрушения» и, трагически воздев указательный перст, поражал жениха скабрёзными похождениями Феодоры и Ирины. Он изливал на гостя потоки напыщенного красноречия, и вконец онемевший от смущения молодой человек только изредка кивал головой. Миссис Ательни не обращала внимания на тирады Торпа и бесцеремонно прерывала их, предлагая гостю еще чаю или печенья и джема. Филип наблюдал за Салли: она сидела, потупившись, спокойная, молчаливая и внимательная; длинные ресницы бросали красивую тень на ее щеки. Трудно было сказать, смешит ее эта сцена или же она принимает близко к сердцу злоключения жениха. Взгляд у нее был непроницаемый. Но молодой светловолосый электрик был явно хорош собой: приятные, правильные черты лица, честные глаза, высокий рост и хорошая фигура делали его очень привлекательным. Филип подумал, что они с Салли будут отличной парой, и вдруг мучительно позавидовал счастью, которое их ожидало.

Наконец поклонник встал, заявив, что ему пора уходить. Салли тоже поднялась и, не говоря ни слова, проводила его до двери. Когда она вернулась, отец восторженно заявил:

— Ну что же, Салли, твой молодой человек очень мил. Мы готовы принять его в лоно семьи. Давайте устроим помолвку, а я сочиню свадебный гимн.

Салли принялась собирать чайную посуду. Она ничего не ответила. Вдруг она кинула быстрый взгляд на Филипа.

— А вам он понравился, мистер Филип?

Она наотрез отказалась звать его дядей Филом, как остальные дети, и не хотела называть его просто «Филип».

— Мне кажется, что из вас получится необыкновенно красивая пара.

Она снова метнула на него взгляд, а потом, чуть-чуть поروزев, продолжала убирать со стола.

— Мне он показался очень приятным, воспитанным молодым человеком,— сказала миссис Ательни.— Я думаю, что с таким мужем будет счастлива любая девушка.

Салли несколько минут помолчала; Филип смотрел на нее с любопытством: можно было подумать, что она взвешивает в уме слова матери, но, с другой стороны, она могла думать и о чем-нибудь совсем постороннем.

— Почему ты не отвечаешь, когда с тобой говорят? — осведомилась мать не без раздражения.

— Мне он показался дурачком.

— Так ты не собираешься за него выходить?

— Нет.

— Ну, не знаю, что тебе еще надо! — сказала миссис Ательни теперь уже с явным огорчением.— Он очень приличный молодой человек и может обеспечить тебе хорошую жизнь. А у нас и без тебя хватает ртов. Если тебе выпало такое счастье, грешно им не воспользоваться. Ты небось и прислугу могла бы нанять для черной работы.

Филип еще никогда не слышал, чтобы миссис Ательни так откровенно говорила о том, как трудно им живется. Он понимал, до чего ей хочется, чтобы все дети были обеспечены.

— Зря ты меня уговариваешь,— спокойно сказала Салли.— Я не пойду за него замуж.

— Ты черствая, злая девчонка, ни о ком, кроме себя, не думаешь.

— Если хочешь, я могу наняться в прислуги, меня всегда возьмут.

— Не болтай глупостей, знаешь ведь, что отец тебе этого никогда не позволит.

Филип поймал взгляд Салли, и ему показалось, что в нем блеснула насмешка. Интересно, что могло ее позабавить в этом разговоре? Нет, она и в самом деле странная девушка.

ГЛАВА 116

Последний год в институте Филипу пришлось много работать. Жизнью он был доволен. Он радовался, что сердце его свободно и что он не терпит нужды. Он часто слышал, с каким презрением люди говорят о деньгах; интересно, пробовали они когда-нибудь без них обходиться? Он знал, что нужда делает человека мелочным, жадным, завистливым, калечит душу и заставляет видеть мир в уродливом и пошлом свете; когда вам приходится считать каждый грош, деньги приобретают чудовищное значение; нужно быть обеспеченным, чтобы относиться к деньгам так, как они этого заслуживают. Филип жил одиноко, не видя никого, кроме Ательни, но он не скучал: голова его была занята планами на будущее, а иногда — воспоминаниями о прошлом. Мысли его зачастую возвращались к старым друзьям, но он не пытался увидеть их снова. Ему хотелось узнать, как живетя Норе Несбит; однако теперь у нее была другая фамилия, а он не мог припомнить, как звали человека, за которого она собиралась замуж; он был рад, что встретил такую женщину, как она, такого доброго и благородного человека. Как-то вечером, после одиннадцати, он столкнулся с Лоусоном, гулявшим по Пикадилли; на нем был фрак — видимо, он возвращался из театра. Филип поддался внезапному порыву и быстро свернул в боковую улицу. Он не видел Лоусона два года и чувствовал, что не может вернуться к прежним отношениям. Ему с Лоусоном больше не о чем было говорить. Филипа перестало интересовать искусство; ему казалось, что теперь он куда глубже воспринимает красоту, чем в юности, однако искусству он больше не придавал былого значения. Ему куда интереснее было плести узор жизни из пестрого хаоса явлений, и возня с красками и словами выглядела пустым занятием. Лоусон сыграл свою роль в его жизни. Дружба с ним была одним из мотивов того рисунка, который Филип вычерчивал; было бы глупой сентиментальностью не считаться с тем, что художник больше не представлял для него интереса.

Иногда Филип думал о Милдред. Он сознательно избегал тех улиц, где рисковал ее встретить; но порой какое-то

чувство — не то любопытство, не то что-то еще, в чем ему не хотелось признаться, — заставляло его прогуливаться по Пикадилли и Риджент-стрит в те часы, когда она могла быть там. Он сам не знал, хочет он ее видеть или боится этого. Однажды он заметил чью-то спину, напоминавшую ему Милдред, и на мгновение подумал, что это она; его охватило какое-то непонятное чувство: грудь пронзила острая боль, сердце сжалось от страха и мучительной тревоги; Филип бросился вперед и, поняв, что ошибся, так и не мог решить, чувствует он тоску или облегчение.

В начале августа Филип сдал последний экзамен — хирургию — и получил диплом. Прошло семь лет с тех пор, как он поступил в институт при больнице св. Луки. Ему было уже почти тридцать. Он радостно спускался по лестнице Королевского института хирургии со свитком, дававшим ему право заниматься врачебной практикой.

«Теперь я наконец и в самом деле вступаю в жизнь», — думал он.

На следующий день он зашел к секретарю, чтобы предложить свою кандидатуру на какую-нибудь ординаторскую должность в больнице. Секретарь — симпатичный человек с черной бородой — был, как всегда, приветлив. Он поздравил Филипа с успешным окончанием и сказал:

— А вам не хочется съездить на месяц на Южное побережье в качестве locum tenens? ¹ Три гинеи в неделю на всем готовом.

— Не возражаю.

— Это в Фарнли, Дорсетшир. К доктору Сауту. Ехать придется немедленно, его ассистент заболел корью. Само по себе место, кажется, очень приятное.

Тон у секретаря был немножко странный. В нем была какая-то неуверенность.

— А в чем же загвоздка? — спросил Филип.

Секретарь чуточку поколебался, а потом примирительно, со смешком объяснил:

— Да, видите ли, дело в том, что он сварливый и чудаковатый старикан... Ни одно агентство не желает больше посылать ему людей. Резок, говорит все напрямик, людям это не нравится...

— А вы думаете, его устроит только что испеченный врач? У меня ведь нет опыта.

— Пусть радуется, что хоть вас заполучил, — уклончиво сказал секретарь.

¹ Временно исполняющий обязанности [врача] (лат.).

Филип недолго раздумывал. Ему нечего было делать ближайшие несколько недель, и он был рад возможности немножко подработать. Эти деньги он отложит на поездку в Испанию, куда он обещал себе поехать после окончания ординатуры в больнице св. Луки, а если не устроится там, то в какой-нибудь другой больнице.

— Ладно. Поеду.

— Но имейте в виду: ехать надо сегодня же. Вас это устраивает? В таком случае я немедленно пошлю телеграмму.

Филипу хотелось несколько дней отдохнуть, но Ательни он уже повидал накануне (он сразу же забежал к ним, чтобы поделиться своей радостью), и в общем отъезду ничто не препятствовало. Багажа у него было немного. Вечером, в начале восьмого, он сошел с поезда в Фарнли и взял извозчика до дома доктора Саута. Это было приземистое оштукатуренное здание, увитое диким виноградом. Его ввели в приемную. За письменным столом сидел старик. Он не встал и не заговорил с Филипом, а только молча уставился на него. Филип растерялся.

— Вы, наверно, ждете меня,— сказал он.— Секретарь института при больнице святого Луки утром послал вам телеграмму.

— Я на полчаса задержал обед. Хотите умыться?

— Хочу.

Чуждаковатые манеры доктора Саута его рассмешили. Старик встал, и Филип увидел, что это — худой человек среднего роста, с коротко остриженными седыми волосами и большим ртом; губы у него были до того плотно сжаты, что казалось, будто их совсем нет, щеки гладко выбриты; небольшие белые бакенбарды делали его лицо с тяжелым подбородком еще более квадратным. На нем были коричневый шерстяной костюм и белый галстук. Платье висело, словно с чужого плеча. По внешности доктор напоминал почтенного фермера середины девятнадцатого века. Он отворил дверь.

— Вот столовая,— показал он на дверь напротив.— Ваша спальня — первая дверь на верхней площадке. Спускайтесь, как только будете готовы.

Во время обеда Филип заметил, что доктор Саут его разглядывает, но говорит мало и, по-видимому, не хочет, чтобы ассистент занимал его беседой.

— Когда вы получили диплом? — спросил он внезапно.

— Вчера.

— Вы учились в университете?

— Нет.

— В прошлом году мой помощник уехал в отпуск, и мне прислали одного из этих университетских голубчиков. Я просил, чтобы этого больше не было. Уж больно они капризные, эти господа хорошие.

Снова наступило молчание. Обед был простой, но вкусный. Филип сохранял солидный вид, но в душе не помнил себя от волнения. Ему страшно льстило, что он приглашен как *locum tenens*; он чувствовал себя совсем взрослым; его ни с того ни с сего разбирал идиотский смех, и, чем больше важности он старался напустить на себя, тем больше ему хотелось ухмыльнуться.

Но доктор Саут снова прервал его мысли:

— Сколько вам лет?

— Около тридцати.

— Как же так вышло, что вы только что получили диплом?

— Я начал заниматься медициной, когда мне было двадцать три, но на два года прерывал учение.

— Почему?

— Не было денег.

Доктор Саут как-то странно на него взглянул, и за столом снова воцарилось молчание. Когда обед был окончен, доктор встал из-за стола.

— Вы себе представляете, какая здесь у меня практика?

— Нет.

— Главным образом рыбаки и их семьи. На мне тут профсоюзная больница моряков. Прежде я был один, но с тех пор как наш городок пытаются превратить в модный курорт, на горé открыл практику еще один врач, и зажиточные люди ходят к нему. У меня остались те, кто не может платить.

Филип понял, что соперник был большим местом старика.

— Я ведь уже говорил, что у меня нет опыта,— сказал Филип.

— Да, все вы ничего не знаете!

С этими словами он вышел из комнаты и оставил Филипа одного. Вошла служанка, чтобы убрать со стола, и сообщила Филипу, что доктор Саут принимает больных от шести до семи. Работа на этот день была кончена. Филип принес из своей комнаты книгу, закурил трубку и уселся читать. Он получал от этого огромное удовольствие—ведь последние несколько месяцев он не брал в руки ничего, кроме книг по медицине. В десять часов пришел доктор

Саут. Филип любил сидеть, задрав ноги, и пододвинул к себе для этого стул.

— Вы, я вижу, умеете удобно устраиваться,— заметил доктор Саут так угрюмо, что Филип непременно бы расстроился, не будь он в таком хорошем настроении.

Глаза у Филипа насмешливо блеснули.

— А вам это неприятно?

Доктор Саут взглянул на него, но на вопрос не ответил.

— Что это вы читаете?

— «Перегрина Пикля» Смоллета.

— Вы думаете, я не знаю, что «Перегрина Пикля» написал Смоллет?

— Извините. Но, как правило, медики не очень интересуются литературой.

Филип положил книгу на стол, и доктор взял ее посмотреть. Это был томик, принадлежащий блэкстеблскому священнику. Тонкая книжка была переплетена в выцветший сафьян, за титульным листом шла гравюра на меди, ветхие страницы пожелтели и были в пятнах от плесени. Филип невольно потянулся к книге, когда доктор ее взял; в глазах его мелькнула насмешка. От взгляда старика ускользало немного.

— Извольте надо мной потешаться? — осведомился он ледяным тоном.

— Я вижу, вы любите книги. Это всегда заметно по тому, как люди их держат.

Доктор Саут сразу же положил книгу.

— Завтра в половине девятого,— отрезал он и вышел из комнаты.

«Ну и чудак!» — подумал Филип.

Он скоро понял, почему помощникам доктора Саута было так трудно с ним ладить. Прежде всего он наотрез отказывался признавать все открытия медицины за последние тридцать лет; терпеть не мог модных лекарств, которые будто бы сначала творят чудеса, а через несколько лет выходят из употребления; у него был набор ходовых снадобий — он привык к ним еще в больнице св. Луки, когда был студентом, и применял всю жизнь, находя их не менее целебными, чем новомодные средства. Филипа поразило недоверчивое отношение доктора Саута к асептике; ему приходилось пользоваться ею, уступая господствующему мнению, но он принимал меры предосторожности, на которых так строго настаивали в больнице, с небрежной снисходительностью взрослого, играющего с детьми в солдатики.

— Видали!— говорил он.— Видали, как появилась антисептика и все смела на своем пути, а потом на ее место пришла асептика. Чепуховина!

Приезжавшие к нему молодые люди прошли больничную практику и научились там презирать врача, которому приходится лечить все болезни; однако в клинике им встречались только сложные случаи: они знали, как помочь при загадочном расстройстве надпочечников, но терялись, когда их просили вылечить насморк. Знания их были чисто теоретические, а самомнение не имело границ. Доктор Саут наблюдал за ними, сжав зубы; он с мстительным удовольствием показывал им, как велико их невежество и беспочвенно зазнайство. Пациенты были небогатые — в основном рыбаки,— и врач сам готовил лекарства. Доктор спрашивал своих помощников, как они собираются сводить концы с концами, если будут выписывать рыбакам, у которых болит живот, микстуру, составленную из полдюжины дорогих медикаментов. Он жаловался на то, что молодые врачи — совершенные дикари: они читают только «Спортинг таймс» и «Бритиш медикал джорнэл», пишут неразборчиво и с ошибками. Несколько дней доктор наблюдал за Филипом очень пристально, готовый накинуться на него при малейшей оплошности, а Филип, понимая это, делал свое дело, тихонько посмеиваясь. Ему нравилась новая работа. Он радовался своей независимости и чувству ответственности. В приемную врача приходили самые разные люди. Филипу отрадно было чувствовать, что он внушает пациентам доверие; он с живым интересом наблюдал за процессом их выздоровления — ведь в больнице св. Луки он мог следить за этим только урывками. Обход больных приводил его в низенькие хибарки — там повсюду лежали рыболовные снасти, паруса и памятки о плаваниях в далеких морях: лакированный ларчик из Японии, пики и весла из Меланезии, кинжал, купленный на базаре в Стамбуле; тесные комнатухи дышали романтикой, а соленый запах моря придавал им пряную свежесть. Филип любил поговорить с матросами, а они, видя, что в нем нет и тени высокомерия, стали делиться с ним воспоминаниями о дальних странствиях своей юности.

Раза два он ошибся в диагнозе (ему еще не приходилось видеть корь, и, когда появилась сыпь, он подумал, что это какая-то непонятная кожная болезнь) и раза два разошелся с доктором Саутом в вопросе о том, как лечить больного. Первый раз доктор обрушил на него поток убийственной иронии, но Филип отнесся к этой вспышке с юмором: он

и сам был остер на язык и так отбрил старика, что тот осекся и поглядел на него с изумлением. На лице у Филипа не было и тени улыбки, но глаза его смеялись. Старику было ясно, что Филип его поддразнивает. Он привык, что помощники его не любят и боятся, но тут было что-то новос. Он чуть было не пришел в ярость и не спровадил Филипа с глаз долой, как это делал не раз со своими ассистентами, но его смущало, что тогда Филип посмеется над ним в открытую. И вдруг ему самому стало смешно. Губы его помимо воли растянулись в улыбке, и он отвернулся. Скоро до его сознания дошло, что Филип потешается над ним постоянно. Сначала он растерялся, а потом пришел в хорошее настроение.

«Вот чертов нахал!» — ухмылялся он втихомолку.

ГЛАВА 117

Филип написал Ательни, что едет на временную работу в Дорсетшир, и получил от него ответ. Письмо было написано в обычном для Ательни выпретенном стиле, унижено напыщенными эпитетами, как персидская диадема — драгоценными камнями, и красиво начертано совершенно неразборчивыми готическими буквами. Ательни приглашал Филипа отправиться с ним и его семьей в Кент, на хмельник, куда они ездили каждый год; чтобы завлечь его, он красиво и витиевато разглагольствовал насчет души Филипа и вьющихся побегов хмеля. Филип сразу же ответил, что приедет, как только освободится. Хотя остров Танет и не был его родиной, он питал к нему особое пристрастие; его восхищала мысль о том, что он проведет две недели на лоне природы, в таком чудном уголке, — дай ему голубое небо, и он будет не хуже оливковых рощ Аркадии.

Месяц в Фарнли пролетел очень быстро. Наверху, на горе, строился новый город с красными кирпичными вилами вокруг площадки для гольфа и недавно открытого большого курортного отеля; но туда Филип попадал редко. Внизу в прелестном беспорядке жались к гавани каменные домики, построенные лет сто назад; узкие улочки круто ползли в гору, воскрешая старину и будя воображение. У самой воды стояли чистенькие коттеджи с ухоженными крохотными палисадниками; в них жили отставные капитаны торгового флота и матери или вдовы тех, кто кормился морем; все здесь дышало своеобразием и покоем. В маленький порт заходили торговые суда из Испании и Леванта, но время от времени ветры романтики заносили сюда и парус-

ный корабль. Все это напоминало Филипу об узкой грязной гавани Блэкстебла, где у пирса стояли угольщики; там впервые родилась у него тоска по Востоку, по залитым солнцем островам тропических морей — тоска, которая томила его и теперь. Но здесь человек чувствовал себя куда ближе к бескрайним океанским просторам, чем на Северном море, которое всегда точно заперто в свои берега; глядя на эту ширь, можно вздохнуть полной грудью; а западный ветер, милый соленый ветер Англии, бодрил душу, заставляя ее в то же время таять от нежности.

Как-то вечером, в последнюю неделю пребывания Филипа у доктора Саута, к дверям операционной, где старик и Филип готовили лекарства, подошла маленькая босоногая оборванка с чумазым лицом. Филип отворил дверь.

— Пожалуйста, сэр, не можете ли вы сейчас же прийти к миссис Флетчер на Айви-стрит?

— А что случилось с миссис Флетчер? — отозвался доктор Саут своим скрипучим голосом.

Девочка не обратила на него ни малейшего внимания и снова обратилась к Филипу:

— Пожалуйста, сэр. С ее мальчиком случилось несчастье, не можете ли вы прийти поскорее?

— Скажи миссис Флетчер, что я сейчас приду, — крикнул ей доктор Саут.

Девочка застыла в нерешительности; сунув замусоленный палец в замусоленный рот, она смотрела на Филипа.

— В чем дело, малышка? — улыбаясь, спросил Филип.

— Пожалуйста, сэр, миссис Флетчер просила, чтобы пришел новый доктор.

В комнате послышался какой-то шум, и в коридор вышел доктор Саут.

— Миссис Флетчер мной недовольна? — рявкнул он. — Я лечил миссис Флетчер с тех пор, как она родилась. А теперь я для нее стал плох и не могу лечить ее пащенка?

Девчушка, казалось, вот-вот разревется, но потом она раздумала плакать, высунула доктору Сауту язык и, прежде чем он успел опомниться, пустилась наутек. Филип видел, что старый доктор рассержен.

— У вас сегодня замученный вид, а до Айви-лейн далеко, — сказал он, подсказывая старику, под каким предлогом можно не ходить к больному.

Доктор Саут зло пробурчал:

— Айви-лейн куда ближе для того, у кого две здоровые ноги, чем для того, у кого их только полторы.

Филип покраснел и долго молчал.

— Вы желаете, чтобы шел я, или пойдете сами? — спросил он наконец очень холодно.

— А зачем мне туда идти? Зовут-то ведь вас.

Филип взял шляпу и пошел к больному. Было уже около восьми, когда он вернулся. Доктор Саут ждал его в столовой, грея спину у очага.

— Долго вы ходили, — сказал он.

— Простите, что заставил вас ждать. Почему вы не сели обедать?

— Потому что не хотел. Неужели вы все время были у миссис Флетчер?

— Нет, не все время. На обратном пути загляделся на закат и совсем забыл, что уже поздно.

Доктор Саут ничего не сказал, и служанка подала им жареную рыбу. Филип ел с большим аппетитом. Вдруг доктор Саут озадачил его вопросом:

— А почему вы смотрели на закат?

Филип ответил, продолжая жевать:

— Потому что у меня было хорошо на душе.

Доктор Саут как-то странно на него взглянул, и на его старом, усталом лице промелькнуло подобие улыбки. Конец обеда они провели в молчании, но, когда служанка подала портвейн и вышла, старик откинулся назад и вперил колющий взгляд в Филипа.

— Вас ведь покорило, молодой человек, когда я заговорил о вашей хромоте? — спросил он.

— Когда люди на меня сердятся, они всегда прямо или косвенно поминают мою ногу.

— По-видимому, чувят, что это ваше больное место.

Филип посмотрел ему прямо в глаза.

— А вы что, радуетесь, что его почувяли?

Доктор не ответил и только горько ухмыльнулся. Они долго сидели, не сводя глаз друг с друга. А потом доктор Саут совсем удивил Филипа.

— Почему бы вам здесь не остаться? А этого болвана с его дурацкой корью я выгоню.

— Очень вам благодарен, но осенью, я надеюсь, меня возьмут ординатором в больницу. Мне это поможет получить работу в дальнейшем.

— Я ведь предлагаю вам стать моим компаньоном, — ворчливо сказал доктор Саут.

— То есть как? — с изумлением спросил Филип.

— Вы им тут пришлишь по нутру.

— А мне казалось, что именно это обстоятельство вам и неприятно, — сухо заметил Филип.

— Неужели после сорока лет практики меня, по-вашему, хоть на йоту тревожит, что люди предпочитают мне моего ассистента? Нет, друг мой. Мы с моими больными не разыгрываем сантиментов. Я не жду от них благодарности, я хочу, чтобы они мне платили. Ну, так что вы скажете?

Филип не отвечал, и не потому, что обдумывал предложение доктора, а потому, что оно его поразило. Предложить новоиспеченному врачу разделить практику было нечто неслыханное, и Филип понял, что, хотя старый доктор никогда в этом не признается, он ему чем-то понравился. Филип подумал, как будет смеяться секретарь института, когда он ему об этом расскажет.

— Практика дает около семисот фунтов в год. Мы можем подсчитать, сколько будет стоить ваша доля, и вы мне ее постепенно выплатите. А когда я умру, практика целиком перейдет к вам. Мне кажется, что это куда лучше, чем два или три года мотаться по больницам, а потом работать ассистентом до тех пор, пока не обоснуешься самостоятельно.

Филип знал, что ему представляется возможность, за которую с радостью ухватилось бы большинство людей его профессии: врачей было слишком много, и половина его товарищей была бы счастлива обеспечить себе хотя бы такой скромный заработок.

— Мне очень жаль, но я должен отказаться,— сказал он.— Не то мне пришлось бы проститься со всем, о чем я мечтал столько лет. Жизнь меня не баловала, но впереди у меня всегда маячила надежда, что вот я получу диплом и смогу наконец попутешествовать. И теперь, когда я просыпаюсь по утрам, у меня просто тело ломит от желания пуститься в путь; все равно куда, только бы подальше, где я никогда не был.

Цель, казалось, была уже близка. Филип кончит ординатуру в больнице св. Луки в середине будущего года и поедет в Испанию; он может позволить себе провести там несколько месяцев и побродить по стране, которая была для него воплощением романтики; а потом он наймет на корабль и поедет на Восток. Перед ним — вся жизнь, времени сколько угодно. Если ему захочется, он годами может странствовать по нехоженным местам, среди чужих племен с чужими нравами. Он сам не знал, к чему стремится и что дадут ему его странствия, но у него было предчувствие, что где-то там он узнает о жизни новое, найдет ключ к той тайне, которая становилась все загадочнее, сколько он ее ни разгадывал. И даже если он не отыщет ответа, то хотя бы

уймет тревогу, которая гложет его душу. Но доктор Саут проявил к нему необычайную доброту, и Филипу казалось неблагодарностью отказываться от его предложения без достаточно веских причин; поэтому, как всегда стесняясь всякого проявления чувств, стараясь говорить как можно суше, он попытался объяснить старику, почему ему было важно осуществить те планы, которые он так долго лелеял.

Доктор Саут молча слушал, и его колючие выцветшие глаза подобтели. Филип понял, что старик снова проявил душевную деликатность, не настаивая на своем предложении. Ведь доброжелательность бывает и со взломом. Старому доктору доводы Филипа явно казались здоровыми. Переменив тему разговора, он вспомнил свою собственную молодость: когда-то он служил в военном флоте, и привычка к морю толкнула его, после того как он вышел в отставку, поселиться в Фарнли. Он рассказывал Филипу, что творилось прежде на Тихом океане и в какие опасные переделки они попадали в Китае. Доктор Саут участвовал в экспедиции против охотников за черепами на острове Борнео, он знал Самоа, когда эти острова были еще независимым государством. Он не раз причаливал к коралловым рифам. Филип слушал его как замороженный. Постепенно старик рассказал и о себе самом. Он был вдовцом, жена его умерла тридцать лет назад, а дочь вышла замуж за фермера в Родезии; доктор с ним поссорился, и дочь уже десять лет не приезжала в Англию. И вот теперь он жил так, словно у него никогда не было ни жены, ни дочери. Старик был очень одинок. За внешней резкостью скрывалось разочарование в жизни. Филипу казалось трагичным, что он молча ожидает смерти, но не зовет ее, не торопит, а, напротив, думает о ней с отвращением; ненавидя старость, он не желает ей поддаваться, но понимает, что смерть — единственное избавление от всех горестей. Филип встретился на его пути, и потребность в человеческой привязанности, которую долгая разлука с дочерью, казалось, убила (дочь встала на сторону мужа в их ссоре, а внуков старик никогда не видел), проснулась в нем вновь. Сначала Саут злился, говоря себе, что это старческий маразм; но что-то в Филипе его привлекало, и он вдруг поймал себя на том, что улыбается ему без всякой видимой причины. С Филипом ему не было скучно. Раза два старый доктор даже положил ему руку на плечо — для него это было лаской, какой он не позволял себе много лет, с тех самых пор как его дочь покинула Англию. Когда Филипу пришло время уезжать, доктор Саут проводил его на станцию; он был почему-то глубоко подавлен.

— Мне чудесно здесь жилось,— сказал Филип.— Вы были ко мне необыкновенно добры.

— Небось рады, что уезжаете?

— Мне было у вас хорошо.

— Но вам хочется сбежать отсюда в большой мир? Ну, еще бы, вы ведь молоды.— Он неловко помолчал.— Помните, если почему-нибудь ваши планы изменятся, вы всегда можете принять мое предложение.

— Большое вам спасибо.

Филип пожал ему руку через окно вагона, и поезд, запыхтев, отошел. Филип думал о двух неделях, которые проведет на хмельнике, и радовался, что снова повидает друзей; у него было светло на душе и потому, что день выдался такой ясный. А в это время доктор Саут медленно брел домой. Он чувствовал себя очень старым и очень одиноким.

ГЛАВА 118

В Ферн Филип приехал поздно вечером. Миссис Ательни родилась в этой деревне: она с детства привыкла собирать тут хмель и каждый год приезжала сюда с мужем и детьми. Как и многие жители Кента, Ательни выходили на сбор хмеля, радуясь случаю заработать немножко денег, но прежде всего потому, что эту ежегодную поездку на лоно природы они считали самым лучшим летним отдыхом, о котором мечтали чуть не весь год. Работа была не тяжелая, делали ее сообща, на свежем воздухе; для детей это превращалось в долгий, увлекательный пикник; молодые парни встречались здесь с девушками, и длинными вечерами после работы они в обнимку прогуливались по лугам; сезон сбора хмеля обычно кончался свадьбами. На хмельник выезжали на телегах, нагруженных подушками и одеялами, кастрюлями, стульями и столами, и, пока собирали хмель, Ферн словно вымирал. Местный люд не очень любил якшаться с «пришлыми», как звали тут людей, приехавших из Лондона; на них смотрели косо, их слегка побаивались: ведь это был народ буйный, и добропорядочные крестьяне не желали иметь с ними дела. В былые времена сборщики хмеля спали в амбарах, но десять лет назад на краю луга был построен ряд хижин, и Ательни, как и многие другие, каждый год занимали одну из них.

Ательни приехал за Филипом на станцию в повозке, которую попросил в трактире, где снял для него комнату. Трактир находился в четверти мили от хмельника. Оставив

в комнате чемодан, они пошли пешком на лужайку, где стояли хижины. Это были, попросту говоря, длинные, низкие сараи, разделенные на каморки по двенадцать футов. Перед каждой хижинкой был разложен костер, вокруг которого собиралась вся семья, с нетерпением ожидая ужина. Морской воздух и солнце закоптили лица детишек. Сама миссис Ательни казалась тут совсем другим человеком; видно было, что годы, прожитые в городе, ничуть ее не изменили: душой и телом она осталась деревенской женщиной и чувствовала себя здесь как рыба в воде. Она жарила сало, не спуская в то же время глаз с младших детей, и, приветливо улыбаясь, сердечно пожала руку Филипу. Ательни, захлебываясь, расписывал прелести буколической жизни.

— Мы, городские, просто вымираем от недостатка солнца и воздуха. Это не жизнь, а вечная тюрьма. Давай продадим все, что у нас есть, Бетти, и поселимся на ферме.

— Представляю, как ты будешь жить в деревне,— ответила она с незлобивой усмешкой.— В первый же дождливый зимний день заплачешь по Лондону.— Она обернулась к Филипу.— Стоит ему сюда приехать, он всегда так! В деревню! Да он не может отличить брюквы от свеклы.

— Папочка сегодня ленился,— заявила с присущей ей прямоотой Джейн,— он не собрал и одной корзинки.

— Я, детка, набиваю руку: вот увидишь, завтра соберу больше, чем все вы, вместе взятые!

— Дети, садитесь ужинать,— сказала миссис Ательни.— А где Салли?

— Я здесь, мама...

Она вышла из хижины, и пламя костра, взметнувшись, бросило яркие блики на ее лицо. Последнее время Филип видел ее только в строгих платьях, которые она стала носить, поступив в мастерскую дамских нарядов; поэтому свободное ситцевое платьице, удобное для работы, показалось ему прелестным; рукава были закатаны, и сильные округлые руки обнажены. На голове у нее был надет чепец от солнца.

— Вы похожи на пастушку из волшебной сказки,— сказал, здороваясь с ней, Филип.

— Она у нас на хмельнике первая красавица!— воскликнул Ательни.— Клянусь богом, если помещичий сын тебя увидит, он тут же сделает тебе предложение.

— У здешнего помещика нет сына, папа,— сказала Салли.

Она поискала глазами, куда бы ей сесть, и Филип подвинулся, чтобы дать ей место. Салли была удивительно хороша ночью, при свете костра. Она была похожа на сельскую богиню и напоминала тех свежих, здоровых девушек, которых вечно воспевал старый Геррик¹. Ужин был простой: хлеб с маслом, ломтики жареного сала, чай для детей и пиво для родителей и Филипа. Ательни жадно ел и громко восхищался едой. Он язвительно бичевал Лукулла и поносил Брилья-Саварена².

— В одном тебе нельзя отказать, — сказала ему жена, — поесть ты мастер, уж будьте покойны!

— Люблю все, что приготовили твои ручки, — произнес он, красноречиво подняв указательный палец.

Филипу было хорошо. Он с радостью разглядывал вереницу зажженных костров, сидевших вокруг огня людей, отблески пламени на темном фоне ночи; на краю лужайки высились огромные вязы, а над ними раскинулось звездное небо. Рядом болтали и смеялись дети, а Ательни, такое же дитя, как и они, своими ужимками заставлял их корчиться от смеха.

— Тут у нас Ательни в большом фаворе, — сказала его жена. — Даже миссис Бриджес — и та мне сказала: «Прямо уж и не знаю, что бы мы делали без вашего мистера Ательни. Вечно он что-нибудь затеет, больше похож на мальчишку, чем на отца семейства».

Салли сидела молча, но заботливо следила, не нужно ли чего-нибудь Филипу; ему это было очень приятно. Как хорошо, что она села рядом; Филип то и дело поглядывал на ее загорелое юное лицо. Как-то раз он поймал ее взгляд, и она мягко ему улыбнулась. Когда семья поужинала, Джейн с младшим братишкой отправились к ручью, который протекал по низу луга, за водой для мытья посуды.

— Дети, покажите дяде Филипу, где мы спим, а потом пора вам на боковую.

Детские ручонки вцепились в Филипа и потащили его к хижине. Он вошел и зажег спичку. В домике не было мебели; кроме обитого жестью сундука, где лежала одежда, тут стояли только три постели, по одной у каждой стены. Вслед за Филипом вошел Ательни и сказал с гордостью:

— Вот на чем человеку нужно спать! К черту ваши пружинные матрацы и пуховые перины! Нигде так крепко

¹ Геррик Роберт (1591—1674) — английский поэт.

² Брилья-Саварен Ансельм (1755—1820) — французский гурман, автор «Физиологии вкуса».

не сплю, как здесь. Вы-то, бедняга, будете спать на простыне. И мне вас от души жаль.

Постель представляла собой толстую подстилку из стеблей хмеля, покрытую слоем соломы, поверх которой лежало одеяло. Проведя день на открытом воздухе, пропитанном ароматом хмеля, счастливые работники засыпали как убитые. К девяти часам вечера на лугу все стихало, люди отправлялись на боковую, если не считать одного или двух мужчин, застрявших в тракторе, который закрывается в десять. Ательни проводил туда Филипа. Перед уходом миссис Ательни ему сказала:

— Мы завтракаем без четверти шесть, но вам, верно, не захочется так рано вставать. А нам приходится в шесть выходить на хмельник.

— Нет, и ему надо рано вставать! — закричал Ательни. — Да и работать, как и всем нам. Он должен добывать себе на хлеб. Кто не работает, милый мой, тот и не обедает!

— Дети до завтрака бегают купаться, они разбудят вас на обратном пути. Им все равно надо идти мимо «Веселого моряка».

— Если они меня разбудят, и я пойду с ними купаться. Джейн, Гарольд и Эдуард издали радостный клич, и на следующее утро они ворвались в комнату и разбудили крепко спавшего Филипа. Мальчишки вскочили к нему на кровать, и ему пришлось вооружиться шлепанцами, чтобы согнать их оттуда. Натянув брюки и пиджак, он спустился вниз. Только что рассвело, и воздух был еще холодный; но на небе не было ни облачка, а солнце золотило дорогу. Посреди дороги стояла Салли, держа Конни за руку; на плече у нее висели полотенце и купальный костюм. Чепец, которым она прикрывала от солнца голову, был бледно-сиреневый, цвета лаванды, и оттенял ее румяное, как яблоко, загорелое лицо. Она улыбнулась Филипу своей сдержанной ласковой улыбкой, и он заметил, что зубы у нее мелкие, ровные и очень белые. Удивительно, почему он никогда раньше не обращал на это внимания.

— Я их уговаривала, чтобы они дали вам еще поспать, — сказала она. — Но им во что бы то ни стало нужно было вас разбудить. А я ведь сказала им, что вам совсем и не хочется с нами идти.

— Нет, очень хочется.

Они пошли по дороге, потом пересекли топкую низину. До моря было около мили. Вода в этот час была серая, холодная, и Филипа при виде ее одолела дрожь, однако остальные быстро скинули одежду и, весело крича, побежа-

ли в воду. Салли все делала неторопливо и вошла в море тогда, когда все дети уже плескались вокруг Филипа. Единственный вид спорта, в котором Филип отличался, было плавание: в море он чувствовал себя как дома, и скоро дети стали ему подражать в том, как он изображает дельфина, утопленника или толстую даму, которая боится намочить прическу. В воде царило шумное веселье, и Салли пришлось строго приказать им вылезти на берег.

— Вы сами как маленький,—попрекнула она Филипа материнским тоном, который звучал у нее и комично и трогательно.— Без вас они никогда не бывают такими непослушными.

Они отправились назад. Салли шла, перекинув свои распущенные, блестящие волосы на одно плечо и размахивая чепцом; когда они подошли к хижинам, оказалось, что миссис Ательни уже собралась на работу в хмельник. Ательни, вырядившись в самые старые штаны, какие видел мир, застегнул на все пуговицы пиджак, желая подчеркнуть, что он без рубашки, и покрыл голову широкополой мягкой шляпой; он жарил рыбу на костре из щепок. Ему безумно нравился этот наряд: разве он не похож на разбойника? Увидев приближающуюся компанию, он стал выкрикивать над аппетитно пахнущей рыбой стихи из хора ведьм в «Макбете».

— Не мешкайте с завтраком, а то мама рассердится,—сказал он детям.

Через несколько минут они шли по лугу к хмельнику; Гарольд и Джейн на ходу доедали хлеб с маслом. Все уже работали. Вид хмельника был привычен Филипу с детства, а сушилка для хмеля казалась ему самой характерной особенностью кентского пейзажа. Филип шел за Салли между длинных шпалер хмеля, словно он тут прожил всю жизнь. Солнце светило ярко и отбрасывало резкие тени. Сочная зелень листвы радовала глаз. Хмель начинал желтеть, и Филипу он казался таким же прекрасным и полным страсти, как пурпурные лозы — сицилийским поэтам. Филип шел и, глядя на безумную щедрость природы, чувствовал, как сердце его переполняется радостью. Плодородная земля Кента дышала ароматом; переменчивый сентябрьский ветер был напоен славным запахом хмеля. Ательстан — и тот почувствовал душевный подъем: он вдруг запел; голос у этого пятнадцатилетнего подростка был петушиный; Салли повернула к нему голову.

— Ты лучше помолчи, Ательстан, не то накличешь грозу.

Минуту спустя они услышали гул голосов, а еще через минуту подошли к сборщикам хмеля, которые прилежно работали, не переставая при этом болтать и смеяться. Они сидели на стульях, табуретках и ящиках, поставив возле себя корзины; кое-кто бросал шишки хмеля прямо в бункер. Вокруг бегало множество детей; в самодельных люльках, а то и прямо на мягкой бурой сухой земле лежали укутанные в одеяла младенцы. Ребятишки постарше понемножку щипали хмель, но куда больше шалили. Женщины работали усердно — они привыкли собирать хмель с детства и могли нарвать вдвое больше, чем приезжие из Лондона. Они хвастали, сколько бушелей собрали за день, но жаловались на то, что заработать стало куда труднее, чем прежде; в прошлые годы им платили по шиллингу за каждые пять бушелей, а теперь за тот же шиллинг надо собрать восемь или даже девять бушелей. В прежние времена хороший сборщик столько зарабатывал за сезон, что мог прожить припеваючи целый год, а теперь это — чистые гроши, разве что отдых свой оправдаешь. Миссис Хилл говорит, будто купила себе фортепьяны на свои заработки от сбора хмеля, но она женщина прижимистая, а кому интересно быть жмотиной, да люди к тому же поговаривают, что не всякому ее слову можно верить, а если покопаться, то деньги на фортепьяны она выложила из сберегательной кассы.

Сборщики делились на бригады по десять человек, не считая детей, и Ательни громко хвастал, что недалек тот день, когда его бригада будет состоять из одних только членов его семьи. В каждой бригаде был свой бункеровщик, обязанный снабжать ее побегам хмеля (бункер — огромный мешок на деревянной подставке, около семи футов высоты; ряды таких бункеров стояли между шпалерами хмеля); об этой должности мечтал Ательни, дожидаясь того времени, когда семья его подрастет и составит целую бригаду. Пока что он больше подгонял других, чем надрывался сам. Он не спеша с сигаретой во рту подошел к жене, которая работала уже полчаса и успела высыпать одну корзину в бункер, и стал обрывать листья. Ательни утверждал, что сегодня соберет больше всех, не считая, пожалуй, матери, но кто же сумеет перещегоолять маму! Тут он почему-то вспомнил испытания, которым Афродита подвергла любопытную Психею, и стал рассказывать детям о ее любви к жениху, которого она никогда не видела. Рассказывал он отлично. Филипу, слушавшему его с улыбкой, казалось, что древнее сказание как нельзя более подходит к окружающему их пейзажу. Небо стало теперь совсем синим — прекраснее

оно не могло быть даже в Элладе. Светлоголовые румяные дети, крепконогие и живые; тонкие завитки хмеля; изумрудная зелень листвы, дерзкая, как зов трубы; манящий лабиринт густых аллей, цветные чепцы сборщиц хмеля — все это дышало древней Элладой куда больше, чем ученые книги или музеи. Спасибо тебе, Англия, за то, что ты так прекрасна! Он мысленно видел выющиеся белые ленты дорог, обсаженные цветущими изгородями, зеленые луга с высокими вязами; пленительные очертания холмов и поросших лесом пригорков; болотистые равнины и печальные серые просторы Северного моря. Он был счастлив, что ему доступна красота родной природы. Но вот Ательни прискучило работать и он заявил, что сходит узнать, как здоровье матери Роберта Кемпа. Ательни был знаком со всеми на хмельнике и каждого звал по имени; он знал все семейные дела и всю жизнь любого сборщика с самого рождения. В нем было много детского тщеславия, и он любил разыгрывать благородного джентльмена; его фамильярность чуть-чуть отдавала высокомерием. Филип отказался с ним идти.

— Я твердо намерен заработать себе на обед,— заявил он.

— Правильно, дорогой,— сказал Ательни, на ходу махнув ему рукой.— Кто не работает, тот не обедает.

ГЛАВА 119

У Филипа не было своей корзины, потому он работал вместе с Салли. Джейн возмутилась, что он помогает не ей, а старшей сестре, и ему пришлось пообещать, что он перейдет к ней, как только корзина Салли наполнится. У Салли были почти такие же проворные руки, как у матери.

— Вам ведь надо шить, руки у вас не загрубеют? — спросил Филип.

— Что вы! Для сбора хмеля нужны мягкие руки. Вот почему женщины успевают больше мужчин. Если ладони у вас жесткие, а пальцы потеряли гибкость от черной работы, вы не можете быстро обрывать хмель.

Ему нравилось следить за ее ловкими движениями, а она тоже поглядывала на него с той материнской заботливостью, которая казалась у нее такой забавной и в то же время прелестной. Сначала работа у него не ладилась, и Салли над ним подшучивала. Она нагнулась, чтобы показать ему, с какого конца приняться за длинный побег, и руки их встретились. Филип был удивлен, что она покраснела. Он

до сих пор не мог привыкнуть к мысли, что Салли уже взрослая; он ведь знал ее подростком и по старой памяти относился к ней по-отечески; однако рой поклонников говорил о том, что она уже выросла; вот и тут, хотя она и приехала всего несколько дней назад, один из двоюродных братьев Салли оказывал ей такое внимание, что все кругом ее задразнили. Звали его Питер Гэнн, и был он сыном сестры миссис Ательни, вышедшей замуж за фермера, жившего поблизости от Ферна. Все понимали, зачем ему надо было каждый день проходить через хмельник.

В восемь часов утра рожок возвестил перерыв на завтрак и, хотя, по словам миссис Ательни, семья ее завтрак не заслужила, уписывали его за обе щеки. Потом взялись за работу снова и трудились до полудня, пока рожок не позвал обедать. От бункера к бункеру прохаживался замерщик в сопровождении счетовода, который заносил в свою книгу и в расчетную книжку сборщика число собранных бушелей хмеля. Когда бункер наполнялся, его перегружали корзинами в большой мешок, который замерщик вдвоем с возницей взваливали на телегу. Но вот вернулся Ательни с рассказом о том, сколько хмеля собрали миссис Джонс и миссис Хит; он стал заклинять свою семью посрамить этих дам; у него была страсть ставить рекорды, и порою, придя в азарт, он мог собирать хмель целый час кряду. Больше всего его увлекало то, что при этом он мог покрасоваться своими изящными руками, которыми очень гордился. Он тратил много времени на маникюр и рассказывал Филипу, шевеля своими узкими, длинными пальцами, что испанские гранды всегда спали в пропитанных жиром перчатках, оберегая белизну рук. «Длань, которая задушила Европу,—патетически восклицал он,—была изящной и тонкой, как у женщины»,—и, глядя на свои руки, картинно обрывавшие хмель, он удовлетворенно вздыхал. Когда ему надоедало работать, он свертывал сигарету и беседовал с Филипом о литературе и искусстве. После полудня стало очень жарко. И работа шла вяло, и разговаривать не было охоты. Утренняя неумолчная болтовня стихла, только время от времени кто-нибудь отпускал отрывистое замечание. На верхней губе Салли выступили крошечные капельки пота, она работала, чуть-чуть приоткрыв рот. И была похожа на бутон, который вот-вот распустится.

Конец рабочего дня зависел от состояния сушилки. Иногда она наполнялась спозаранку, и к трем или четырем часам дня собирали столько хмеля, сколько можно было высушить за ночь. Тогда работа прекращалась. Но обычно

последний дневной замер начинался в пять. Пока мерили содержимое бункера, бригады собирали свои пожитки и, весело болтая, отправлялись из хмельника. Женщины возвращались в хижины прибрать и приготовить ужин; большая часть мужчин шла в трактир. После трудового дня приятно было выпить кружку пива.

Бункер Ательни был самым последним в ряду. Когда к нему подошел замерщик, миссис Ательни вздохнула с облегчением и выпрямилась: она много часов просидела согнувшись и у нее занемела спина.

— Ну, давайте теперь сходим к «Веселому моряку»,— предложил Ательни.— Весь дневной ритуал должен быть выполнен, а самый священный обряд— тем более.

— Захвати с собой кувшин,— сказала жена.— Принеси пинты полторы к ужину.

Она дала ему денег, сосчитав сумму точно, до последнего пенни. Пивная была полна. На посыпанном песком полу вдоль стен стояли скамьи, а над ними висели пожелтевшие портреты борцов. Хозяин знал всех своих посетителей по именам и, облокотившись на стойку, добродушно улыбался двум парням, кидавшим кольцо на шест, врытый в пол; каждый промах встречался веселыми насмешками всей компании. Люди подвинулись, освобождая место для вновь пришедших. Филип уселся между старым землекопом в грубых штанах, подвязанных у колен веревкой, и парнишкой лет семнадцати с блестящим от пота лицом и аккуратно зачесанным на загорелый лоб чубом. Ательни во что бы то ни стало захотелось попытать счастья в метании колец. Он побился об заклад на полпинты пива и выиграл. Выпив за здоровье проигравшего, он произнес:

— Знаешь, дружище, мне куда приятнее было выпить это пиво, чем выиграть на скачках.

В этой деревенской компании он производил странное впечатление— и широкополая шляпа, и борода клинышком; видно было, что здешние люди считают его чудачком; однако нрав у него был такой веселый, способность увлекаться такой заразной, что он располагал к себе все сердца. Беседа шла оживленно. Приятели обменивались шутками, кругом слышался медлительный грубоватый говор уроженцев острова Танет; забавные выходки местного остряка встречались оглушительным хохотом. Веселое сборище! Надо было иметь черствое сердце, чтобы в эту минуту не радоваться за своих ближних. Взгляд Филипа упал на окно, за которым еще ярко сияло солнце: белые занавески были по-деревенски перевязаны красными

лентами, на подоконнике стояли горшки с геранью. Постепенно, один за другим, посетители стали расходиться по своим хижинам, где готовился ужин.

— Подозреваю, что вы не прочь залечь в постель, — сказала миссис Ательни Филипу. — Вы ведь не привыкли вставать в пять часов и весь день проводить на свежем воздухе.

— Но вы же пойдете с нами купаться, дядя Фил, правда? — закричали мальчишки.

— Конечно.

Он чувствовал себя усталым, но счастливым. После ужина, покачиваясь на придвинутой к стене табуретке, он выкурил трубку. Была уже ночь. Салли не переставала хлопотать. Она то и дело проходила мимо него в хижину и обратно, и Филип лениво следил за ее проворными движениями. Он обратил внимание на ее походку: в ней не было особенной грации, зато она была легкой и уверенной; ступала Салли свободно, всей ногой, опираясь на землю твердо и решительно. Ательни ушел посплетничать с соседом, и Филип услышал, как жена его говорит самой себе:

— Эх, а чаю-то у меня больше нет, ведь собиралась послать Ательни к миссис Блэк... — Она помолчала, а потом сказала уже громче: — Салли, сбегай-ка к миссис Блэк и возьми полфунта чаю. У меня весь кончился.

— Сейчас, мама.

Миссис Блэк жила в полумиле отсюда и выполняла обязанности как почтмейстерши, так и поставщицы всякой всячины. Салли вышла из хижины, опуская засученные рукава.

— Хотите, я пойду с вами? — спросил Филип.

— Не беспокойтесь. Я не боюсь ходить одна.

— Я и не думал, что вы боитесь; но мне скоро пора спать, и я хотел немножко размяться.

Салли ничего не сказала, и они пустились в путь. Дорога белела в темноте; кругом было тихо. Летняя ночь казалась беззвучной. Они тоже молчали.

— Еще и сейчас жарко, правда? — спросил Филип.

— Погода удивительная для этого времени года.

Но молчание их не стесняло. Им было приятно идти рядом, и слова казались лишними. Вдруг у мостков через живую изгородь послышался тихий шепот и в темноте показались очертания двух фигур. Они близко прижались друг к другу и замерли, когда Филип и Салли проходили мимо.

— Интересно, кто это? — сказала Салли.

— Им, видно, неплохо, а?

— Они, наверно, и нас приняли за влюбленных.

Впереди показался свет в окне, и они вошли в маленькую лавчонку. Лампа на мгновение их ослепила.

— Поздновато,— сказала миссис Блэк.— Я уж совсем собралась закрывать.— Она взглянула на часы.— Скоро девять.

Салли спросила полфунта чаю (миссис Ательни никак не могла решиться купить больше полуфунта сразу). И они снова вышли на дорогу. Время от времени в тишине слышался короткий, резкий звук, издаваемый каким-нибудь животным, но от этого ночное безмолвие казалось еще более глубоким.

— Если постоять совсем тихо, можно, наверно, услышать море,— сказала Салли.

Они напрягли слух и вообразили, что до них доносится далекий плеск волн, набегающих на гальку. Когда они проходили мимо той же изгороди, влюбленные были еще там, но уже больше не разговаривали; они сидели обнявшись, и его губы были прижаты к ее губам.

— Эти времени не теряют,— сказала Салли.

Они завернули за угол; в лицо им ударил порыв теплого ветра. Земля отдавала ночи свою прохладу. В трепетной тьме было что-то таинственное, неведомое, словно подстерегавшее вас; безмолвие вдруг наполнилось каким-то глубоким смыслом. У Филипа было чудно на сердце, оно было полно до краев, таяло в груди (эти истертые фразы как нельзя более точно выражали его странные ощущения), он почувствовал себя счастливым, взволнованным, нетерпеливым. В памяти его возникли звучные слова, которые шептали друг другу Джессика и Лоренцо, подхватывая запев: «В такую ночь»¹; сквозь затейливую шутку ослепительно сверкала владеющая ими страсть. Он не понимал, чем дышит эта ночь, отчего все его чувства так обострены; ему чудилось, что весь он — душа, которая впитывает звуки, запахи и вкус земли. Он еще никогда так утонченно не воспринимал красоту. Он боялся, что Салли заговорит и нарушит очарование, но она не произносила ни слова, и ему захотелось услышать звук ее голоса — глубокие, грудные ноты, казалось, были голосом самой деревенской ночи.

Они дошли до поля, которое надо было перейти, чтобы вернуться к хижинам. Филип прошел первый, чтобы придержать калитку.

¹ Джессика и Лоренца — персонажи трагедии У. Шекспира «Венецианский кунец».

— Ну вот, тут я с вами, пожалуй, прошусь.

— Спасибо, что проводили меня до самого дома.

Она подала ему руку, и, пожимая ее, он попросил:

— Если бы вы были добрая, вы бы поцеловали меня на прощание, как все дети.

— Пожалуйста,— сказала она.

Филип шутил. Ему захотелось поцеловать ее просто потому, что у него было легко на сердце и она ему нравилась, а ночь была так прекрасна.

— Спокойной ночи,— сказал он, чуть слышно смеясь и притягивая ее к себе.

Она подставила ему губы: они были теплые, нежные, мягкие; он не отнял своего рта — ее губы были как цветок; потом, сам не зная как, не понимая, что делает, он обнял ее. Она молча ему покорилась. Тело у нее было крепкое, сильное. Он почувствовал, как у его груди бьется ее сердце. Тогда он потерял голову. Чувство хлынуло, словно прорвав плотину. Он увлек ее в густую тень изгороди.

ГЛАВА 120

Филип спал как убитый и с испугом вздрогнул, почувствовав, что Гарольд перышком щекочет его лицо. Когда он открыл глаза, раздался восторженный крик. Но Филип никак не мог проснуться.

— А ну-ка, лежебока, вставайте,— сказала Джейн.— Салли говорит, что, если вы не поторопитесь, она не будет вас ждать.

Тогда он припомнил все, что случилось. Сердце у него упало, и, приподнявшись на постели, он замер: он не знал, как посмотрит ей в глаза; его мучило раскаяние, и он горько, горько каялся в том, что наделал. Что она ему скажет сегодня утром? Он страшился встречи с ней и спрашивал себя, как он мог совершить такую глупость. Но дети не дали ему раздумывать: Эдуард схватил его купальные трусы и полотенце, Ательстан стащил с него одеяло, и через три минуты все они скатились по лестнице на дорогу. Салли ему улыбнулась. И улыбка была такой же нежной и невинной, как и прежде.

— Ну и долго же вы одевались,— сказала она.— Я уж думала, вы никогда не придете.

В ее тоне не было и капли смущения. Филип ждал, что она изменится, резко или хотя бы едва заметно; ему казалось, что в ее словах он почувствует стыд, злобу, а может,

и какую-то новую фамильярность, но ничего этого не произошло. Она была совершенно такой, как прежде. Болтая и смеясь, они все вместе пошли к морю. Салли была тиха (но она ведь и всегда была сдержанна, немногословна — он никогда ее другой не видел) и мила. Она не пыталась завести с ним разговор, но и не избегала его. Филип был поражен. Он думал, что ночное происшествие произведет в ней переворот, но у нее был такой вид, словно ничего не случилось; вчерашнее могло быть сном; он шел (за одну его руку цеплялась маленькая девочка, за другую — мальчик), разговаривал, делая вид, будто его ничто не тревожит, и все время старался объяснить себе ее поведение. Может быть, Салли хотела, чтобы этот эпизод был забыт? Может быть, чувства взяли над ней верх, как и над ним, и она относилась к тому, что произошло, как к несчастной случайности, о которой лучше забыть? Но мог ли он приписывать ей ту ясность мысли и зрелую мудрость, которые не соответствовали ни ее возрасту, ни ее натуре? Однако что он знает о ее натуре? В ней всегда было что-то загадочное.

В воде они играли в лапту, и купание было таким же веселым, как и накануне. Салли пеклась о них всех, не спускала с них заботливых глаз, звала, когда они заплывали слишком далеко. Она степенно плавала, пока остальные дурачились, и время от времени переворачивалась на спину, чтобы полежать на воде. Потом она вышла на берег и стала вытираться; она потребовала, чтобы вылезли и остальные; наконец в море остался один Филип. Он воспользовался случаем, чтобы поплавать всласть. Сегодня, во второй раз, он уже лучше чувствовал себя в холодной воде и наслаждался ее соленой свежестью; его радовало, что он может свободно владеть всем телом, и он плыл, широко и сильно взмахивая руками. Но Салли, завернувшись в полотенце, подошла к воде.

— А ну-ка, Филип, сию же минуту выходите! — закричала она, словно он был мальчишкой на ее попечении.

И, когда он подплыл поближе, смеясь над ее повелительным тоном, она его пробрала:

— Разве можно так долго купаться? Губы совсем синие — поглядите, у вас зуб на зуб не попадает!

— Ладно, выхожу.

Она никогда еще так с ним не разговаривала. Казалось, то, что между ними произошло, давало ей какую-то власть над ним, она стала относиться к нему как к ребенку, о котором надо заботиться. Через несколько минут они оделись и пошли домой. Салли посмотрела на его руки.

— Глядите, они у вас совсем синие.

— Ерунда. Просто кровообращение чуть-чуть нарушено. Через минуту все будет в порядке.

— Дайте-ка их мне.

Она взяла его руки в свои и стала их тереть, сначала одну, а потом другую, пока они не порозовели. Растроганный Филип, недоумевая, наблюдал за ней. Из-за детей он не мог ей ничего сказать, а поймать ее взгляд ему никак не удавалось; он был уверен, что она и не думает прятать от него глаза, просто так получалось. И в течение всего дня она ничем не показала, что ощущает новизну их отношений. Разве что была чуть-чуть разговорчивее обычного. Когда они пришли работать на хмельник, Салли пожаловалась матери, какой Филип непослушный: он не хотел вылезать из воды, пока не посинел от холода. Невероятно, но эта ночь ее ничуть не изменила; в ней появилось только какое-то покровительственное чувство к нему, родилась потребность его опекать, совсем как маленьких сестер и братьев.

Они остались наедине только вечером. Она готовила ужин, а Филип сидел на траве возле костра. Миссис Ательни ушла в деревню за покупками; дети побежали играть. Филип никак не решался заговорить. Он очень нервничал. Салли ловко хозяйничала с самым безмятежным видом, ее ничуть не смущало тяготившее его молчание. Он не знал, с чего начать. Салли редко разговаривала, разве что если к ней обращались или ей самой надо было сообщить что-нибудь особенное. Наконец Филип не выдержал.

— Салли, вы на меня не сердитесь? — выпалил он.

Она спокойно подняла глаза и поглядела на него.

— Я? Нет. А за что мне на вас сердиться?

Он опешил и не смог ничего ответить. Она сняла крышку с горшка, помешала его содержимое и снова накрыла крышкой. В воздухе вкусно запахло. Салли посмотрела на Филипа с чуть приметной улыбкой в уголках рта: улыбка была у нее больше в глазах.

— Вы мне всегда нравились, — сказала она.

Сердце у него вдруг бешено забилося, и кровь прилила к щекам. Он неестественно ухмыльнулся.

— Вот не знал...

— Потому что глупый.

— Не пойму, что вам во мне нравится.

— Да я и сама не пойму. — Она подбросила щепок в огонь. — А вот сразу почувствовала, что вы мне нравитесь, в тот день, когда вы пришли, — помните, вы ночевали на улице и вам нечего было есть? Мы еще с мамой приготовили вам постель Торпа...

Филип покраснел снова — он не знал, что этот случай ей известен. Сам он о нем вспоминал с ужасом и глубочайшим стыдом.

— Вот почему никто другой мне не был нужен. Помните того молодого человека — мама думала, что я за него выйду замуж? Я разрешила ему зайти к нам выпить чаю, потому что он так ко мне приставал, но я ведь заранее знала, что откажу ему.

Филип был так поражен, что просто онемел. У него было какое-то странное чувство, он не понимал, какое именно, но, может быть, это и было счастье. Салли снова помешала в горшке.

— Хоть бы дети поскорей пришли. Куда они девались? Ужин совсем готов.

— Сходить мне их поискать? — спросил Филип.

Говорить о повседневных делах было большим облегчением.

— Пожалуй, сходите... Вот и мама идет.

И, когда он поднялся, она спросила без всякого смущения:

— Пойти мне сегодня с вами погулять, когда я уложу детей?

— Да.

— Тогда обождите меня возле мостков, я приду, когда освобожусь.

Он сидел на мостках под звездным небом и ждал ее; по бокам возвышалась живая изгородь с почти уже спелой черной смородиной на кустах. От земли поднимались дурманящие запахи ночи, а воздух был ласков и недвижим. Сердце его бешено билось. Он не мог понять, что с ним происходит. Страсть в его представлении была связана со стонами, слезами и одержимостью, но ничего подобного у Салли не было; и тем не менее что же, кроме страсти, могло заставить ее отдаться ему? Но можно ли питать к нему страсть? Его нисколько не удивило бы, если бы она увлеклась своим двоюродным братом Питером Гэнном — высоким, сухощавым, стройным парнем с загорелым лицом и смелой, уверенной походкой. Филип не понимал, что Салли могла в нем найти. Да он и не знал, любит ли она его так, как умел любить он. Но что же тогда? Он ведь был уверен в ее чистоте. У него было подозрение, что тут сыграло роль многое, чего она, может быть, и не признавала, — хмельной воздух летней ночи, здоровый, естественный инстинкт женщины, нежность, переполнявшая сердце, привязанность, в которой было что-то материнское или

сестринское; она отдала все, что имела, потому что душа ее была щедрa и милосердна.

Он услышал шаги на дороге; из тьмы появилась ее фигура.

— Салли! — прошептал он.

Она остановилась, а потом подошла к мосткам и принесла с собой чистые, благоуханные запахи природы. Казалось, что от нее исходит аромат только что скошенного сена, душистого зрелого хмеля, свежесть молодой травы. Губы ее были такими мягкими, когда они прикоснулись к его губам, а сильное, красивое тело — упругим под его ладонями.

— Мед и молоко, — прошептал он. — Ты как мед и молоко.

Он закрыл ей своими губами глаза и целовал ее веки — сначала одно, а потом другое. Ее сильная, мускулистая рука была обнажена до локтя; он провел по ней пальцами, поражаясь ее красоте — она словно светилась; кожа была такая, какую любил писать Рубенс, — поразительно белая, прозрачная, а сверху золотился пушок. Это была рука саксонской богини, но у небожителей не бывает такой чарующей и такой земной естественности; Филипу она напоминала деревенский сад, где растут милые каждому сердцу цветы: мальвы, белые и красные розы, чернушки и турецкие гвоздики, жимолость, дельфиниумы и камнеломка.

— Как ты можешь меня любить? — спросил он. — Жалкого калеку, ничтожного уroda...

Она взяла его лицо руками и поцеловала в губы.

— Ты ужасно глупый, вот ты кто, — сказала она.

ГЛАВА 121

Когда сбор хмеля кончился, Филип вместе со всеми Ательни вернулся в Лондон; в кармане у него лежало извещение о том, что он принят ординатором терапевтического отделения в больницу св. Луки. Он снял скромную квартиру в Вестминстере и в начале октября приступил к своим обязанностям. Работа была интересная и разнообразная, он каждый день узнавал что-то новое и чувствовал, что понемногу начинает приносить пользу; к тому же он часто виделся с Салли. Такая жизнь ему казалась необычайно приятной. К шести часам он уже был совершенно свободен — кроме тех дней, когда вел амбулаторный прием, — и отправлялся в мастерскую, где училась Салли, чтобы встре-

тить ее после работы. Против «служебного входа» или чуть подальше, на углу, всегда дежурило несколько молодых людей, и девушки, выходявшие из мастерской попарно или маленькими группами, подталкивали друг друга локтями и хихикали, узнавая своих ухажеров. Салли в гладком черном платье была совсем не похожа на ту деревенскую девчонку, которая собирала с ним хмель. Она быстро выходила из мастерской, но замедляла шаг, как только он ее нагонял, и улыбалась ему своей спокойной улыбкой. Они шли рядом по людной улице. Он рассказывал ей о своей работе в больнице, а она — о том, что делали сегодня в мастерской. Филип знал по именам девушек, с которыми она работала. Оказалось, что Салли обладает острым, хотя и сдержанным, чувством юмора: ее замечания по поводу товаров или их молодых людей были полны неожиданного комизма. У нее была способность подметить характерную деталь и рассказать о ней с самым серьезным видом, словно тут не было ничего смешного, но с такой убийственной точностью, что Филип покатывался со смеху. Тогда она поглядывала на него краешком глаза, который лучился от смеха — видно, она понимала комизм того, что рассказывает. Здоровались они за руку и прощались так же официально. Однажды Филип предложил ей зайти к нему выпить чаю, но она отказалась.

— Нет, не хочу. Это будет странно выглядеть.

Они никогда не заговаривали о любви. Ей, по-видимому, вполне хватало его общества во время этих прогулок. Однако Филип был убежден, что она рада с ним бывать. Она оставалась для него такой же загадкой, как и в начале их отношений. Ее поведение было ему непонятно, но, чем больше он ее знал, тем больше к ней привязывался: она была расторопна и сдержанна, в ней было какое-то удивительное прямотушие; чувствовалось, что можно на нее положиться во всем.

— Ты необыкновенно хороший человек, — сказал он как-то ей ни с того ни с сего.

— Да небось ничуть не лучше других, — ответила она.

Филип знал, что не любит ее. Он чувствовал к ней огромную симпатию; ему с ней было хорошо — удивительно, до чего ему с ней было покойно, — к тому же, как ни смешно это звучит, он питал уважение к этой девятнадцатилетней швейке. И его восхищало ее завидное здоровье. Она была великолепным образцом человеческой породы, без всякого изъяна, а физическое совершенство всегда вызывало у него благоговение. Он чувствовал себя недостойным ее.

Но вот однажды, недели через три после их возвращения в Лондон, они шли рядом, и он заметил, что она как-то особенно молчалива. На ее всегда таком ясном лбу пролегла тонкая черточка; казалось, она вот-вот нахмурится.

— Что случилось? — спросил он ее.

Она смотрела не на него, а прямо перед собой; щеки ее густо зарумянились.

— Не знаю.

Он мгновенно понял, что она хотела сказать. Сердце его вздрогнуло, и он почувствовал, что от лица отхлынула кровь.

— Ты думаешь? Ты боишься, что ты...

Он осекся. Слова застряли у него в горле. Такая возможность никогда не приходила ему в голову. Тут он увидел, что губы ее задрожали и она изо всех сил старается не заплакать.

— Я еще не уверена. Может, все и обойдется.

Они молча дошли до угла Чансери-лейн, где он всегда с ней прощался. Она протянула ему руку и улыбнулась.

— Рано еще беспокоиться. Будем надеяться, что все обойдется.

Он расстался с ней в полном смятении; в голове его беспорядочно теснились мысли. Ну и дурак! Безмозглый, непроходимый дурак! Он злобно ругал себя, твердя одно и то же десятки раз. Как он себя презирал! Нужно же было попасть в такую петлю! Мысли его безудержно неслись, обгоняя друг друга, пугаясь, словно части головоломки, в каком-то ужасном кошмаре, и он с отчаянием спрашивал себя, что же он будет делать. Будущее, казалось, было так ясно; все, о чем он долго мечтал, стало наконец осуществимым, а вот теперь его невообразимая глупость воздвигла это новое препятствие. Филипу никогда не удавалось побороть в себе то, что, как он знал, мешало ему спокойно существовать, — своей страсти жить завтрашним днем; едва только успел он устроиться на работу в больнице, как все его помыслы уже были обращены на будущие странствия. Раньше он часто принуждал себя не думать о будущем — ведь от этих мыслей он только впадал в отчаяние; но теперь, когда цель была так близка, он не видел вреда в том, чтобы уступить непреодолимому влечению. Прежде всего он поедет в Испанию. Это была страна его мечты; он проникся ее духом, ее романтикой и величием ее истории; он чувствовал, что в ней он отыщет то, чего ему не может дать никакая другая страна. Он знал ее прекрасные старинные города так, словно с детства бродил по их кривым улочкам, —

Кордову, Севилью, Толедо, Леон, Таррагону, Бургос. Самыми близкими ему художниками были великие испанские мастера; у него замирала душа, когда он представлял себе свой восторг перед теми творениями, которые столько говорили его наболевшему, беспокойному сердцу. Он прочел ее великих поэтов, куда лучше выразивших душу своего народа, чем поэты других стран, ибо вдохновение свое они черпали не из источников, общих для всей мировой литературы: их вдохновляли выжженные, напоенные горьким запахом равнины и суровые скалы родной земли. Еще несколько месяцев, и он услышит язык, который лучше всего выражает величие души и страсти. Природный вкус подсказывал ему, что Андалузия, быть может, слишком податлива, чувственна и даже вульгарна, чтобы утолить его пыл; Филипа больше влекли открытые ветрам просторы Кастилии и каменистые громады Арагона и Леона. Он сам еще толком не знал, что он там встретит, но чувствовал: в Испании он обретет силу, которая поможет ему легче воспринять все чудеса еще более далеких и чуждых ему стран.

Ведь это будет только начало. Он связался с различными пароходными компаниями, которые нанимали на свои суда врачей; он знал пути этих судов, выяснил у плававших на них людей все преимущества и недостатки каждой линии. Он заранее отказался от службы на судах компании «Ориент» и «П. и О.», зная, как трудно получить на них место; к тому же на этих пассажирских линиях и у судового врача мало оставалось досуга; но были и другие компании — их большие торговые суда неторопливо плыли на Восток, заходя в самые различные порты и простаивая там от одного дня до двух недель, — вам хватало времени, чтобы все осмотреть, а часто удавалось даже съездить в глубь страны. Жалованье было маленькое и питание разве что сносное — вот почему на эти должности находилось немного желающих; врач с лондонским дипломом мог наверняка рассчитывать, что его возьмут. И, так как на этих судах не бывало пассажиров, кроме какого-нибудь случайного попутчика, плившего по своим делам из одного богом забытого места в другое, жизнь на борту шла мирно и привольно. Филип повторял наизусть список портов, куда они заходили, и перед ним вставали видения, озаренные тропическим солнцем, сверкающие волшебными красками и полные кипучей, таинственной, напряженной жизни. Жизнь — вот чего он жаждал! Наконец-то он столкнется с жизнью лицом к лицу. И, быть может, в Токио или Шанхае он поступит на другое судно и попадет на южные острова Тихого океана.

Врачи нужны повсюду. А вдруг ему удастся пройти в глубь лесов Бирмы, побывать в густых джунглях Суматры или Борнео? Он ведь еще молод, и времени у него сколько угодно. К Англии его ничто не привязывает, у него нет друзей; он может годами бродить по миру, познавая красоту, чудеса и щедрость жизни.

И вот — новая напасть. Он не верил, что Салли ошиблась; у него было какое-то странное убеждение, что она права; в конце концов тут не было ничего удивительного, слепому видно, что природа создала ее для материнства. Он знал, что ему делать. Он не может позволить глупой случайности сбить его хоть на шаг с избранного пути. Он вспомнил Гриффитса; легко себе представить, с каким безразличием этот молодой человек принял бы подобную весть: он сказал бы: «Какая досада!» — и тут же как человек разумный сбежал; он предоставил бы девушке самой выпутываться из неприятностей. Филип утешал себя, что, раз беда случилась, значит, ее нельзя было избежать. Он виноват не больше, чем Салли: она взрослая девушка и знала, что ей грозит, понимала, чем рискует. Нельзя позволить какой-то случайности разрушить все его жизненные планы. Он один из тех, кому дано остро ощущать скоротечность бытия; как же ему не пользоваться каждым мгновением! Он сделает для Салли все, что возможно; он сейчас в силах дать ей приличную сумму. Волевой человек ни за что не позволит, чтобы ему помешали достигнуть цели.

Филип убеждал себя, понимая, что не сможет так поступить. Ни за что. Он себя знал.

— Нет у меня воли, — бормотал он с отчаянием.

Она доверилась ему и была к нему так добра. Разве он мог совершить поступок, который, как бы он его ни оправдывал, все равно был подлым! Мысль о том, что Салли несчастна, не даст ему во время путешествия ни минуты покоя. А ее отец и мать! Они всегда относились к нему душевно, нельзя же платить им черной неблагодарностью! Единственное, что ему оставалось, — это как можно скорее жениться на Салли. Он напишет доктору Сауту, сообщит, что женится, и, если тот еще не раздумал, примет его предложение. Лечить бедноту — самое подходящее для него дело; там не будут обращать внимания на его хромоту и насмехаться над тем, что у него такая простенькая жена. Странно было думать о Салли как о жене — у него сразу просыпалось какое-то непривычное чувство нежности; к сердцу прилиwała горячая волна, когда он вспоминал о том, что у него скоро родится ребенок. Он не сомневался,

что доктор Саут обрадуется его приезду, и представлял себе, как они с Салли заживут в рыбацкой деревушке. У них будет маленький домик у самого моря; сев у окна, он сможет смотреть на проходящие корабли — они поплывут в те страны, куда ему уже никогда не попасть. А вдруг в этом-то и есть высшая мудрость? Кроншоу говорил, что счастлив тот, кто силой воображения подчиняет своей власти державных близнецов — пространство и время. И он прав. «Навек твоя любовь, навек ее краса».

Свадебным подарком жене будут все его возвышенные мечты. Да, он принесет себя в жертву. Филип был упоен красотой своего подвига и думал о нем весь вечер. Он так разволновался, что не смог читать. Его потянуло из дома на улицу, и он зашагал по Бэрдкейдж-уок; на сердце у него было радостно, он был вне себя от нетерпения. Ему хотелось поскорее увидеть, какое счастливое лицо будет у Салли, когда она услышит предложение; если бы не было так поздно, он побежал бы к ней не мешкая. Он рисовал себе долгие вечера, которые они будут просиживать с ней в уютной гостиной — шторы они не опустят, чтобы можно было видеть море, — он с книгой, она с шитьем в руках; тень от абажура сделает ее милое лицо еще красивее. Они вместе будут растить своего ребенка, а когда ее глаза встретятся с его глазами, он увидит в них сияние любви. Рыбаки с их женами, которых он будет лечить, очень к ним привяжутся, а они с Салли в свою очередь разделят с этими простыми людьми их радости и горести. Но мысли его все время возвращались к сыну — его ребенку и ее. Он уже чувствовал к этому ребенку страстную привязанность. Мысленно он гладил его стройные ножки; он знал, что ребенок будет красивым; он передаст ему по наследству все свои мечты о богатой, бурной жизни. И, вспоминая долгий иску своей юности, он принимал его без сожаления. Он принимал свое уродство, которое так калечило его жизнь; он знал, что оно ожесточило его душу, но именно благодаря ему он приобрел благотворную способность к самопознанию. Без нее он не мог бы так остро ощущать красоту, страстно любить искусство и литературу, взволнованно следить за сложной драмой жизни. Издевки и презрение, которым он подвергался, заставили его углубиться в себя и вырастили цветы — теперь уже они никогда не утратят своего аромата. Он понял, что гармония, совершенство — редчайшее явление на свете. У каждого — свой недостаток, телесный или духовный; он перебрал в памяти всех, кого знал (весь мир — это больница, тщетно искать в нем гармонии): перед его мысленным

взором прошла вереница изуродованных тел, искалеченных душ, больных физически — сердцем или легкими, больных психически — с атрофией воли, со страстью к алкоголю. Его охватило глубочайшее сострадание к ним всем. Они ведь были беспомощными орудиями слепого случая. Он прощал Гриффитсу его предательство и Милдред — муки, которые она ему причинила. Что они могли с собой поделаться? Мудрость в том, чтобы брать от людей хорошее и быть терпимым к дурному. В памяти его возникли слова умирающего бога:

«Прости им, ибо не ведают, что творят».

ГЛАВА 122

Филип договорился с Салли встретиться в субботу в Национальной галерее. Она должна была прийти сразу же, как освободится в мастерской, и пообедать с ним. Филип не видел ее уже два дня, но состояние душевного подъема не оставляло его ни на минуту. Его так радовало это чувство, что он и не пытался увидеть Салли пораньше. Он сотни раз твердил себе, что он ей скажет и как он ей это скажет. Теперь его нетерпение достигло апогея. Он написал доктору Сауту, и в кармане у него лежала полученная утром телеграмма: «Выгоняю инфантильного идиота. Когда придете?» Филип шел по Парламент-стрит. День был ясный; морозное, яркое солнце бросало пляшущие блики на тротуар. Улица кишела людьми. Вдали висела нежная дымка, смягчавшая величественные контуры зданий. Филип пересек Трафальгар-сквер. Вдруг его словно что-то ударило: впереди шла женщина, которую он принял за Милдред. У нее была такая же фигура, и она так же чуть-чуть волочила ноги. Не рассуждая, задыхаясь, он кинулся ее догонять, пошел рядом, а когда женщина повернулась, увидел, что это не она. У этой лицо было куда старше, с морщинистой желтой кожей. Филип замедлил шаги. У него отлегло от сердца, но он тут же поймал себя на том, что почувствовал разочарование, и ужаснулся. Неужели он так и не избавится от своей страсти? Несмотря ни на что, где-то в глубине души навсегда притаилась непонятная, проклятая тяга к этой подлой женщине. Любовь к ней причинила ему столько страданий, что он уже никогда не избавится от этой любви. Только смерть наконец утолит его желание.

Но он сразу же взял себя в руки. Он вспомнил о Салли, о ее милых синих глазах, и его губы сами собой заулыбались. Он поднялся по ступеням Национальной галереи и сел

в первом зале, чтобы увидеть ее, как только она войдет. У него всегда становилось покойно на душе, когда его окружали картины. Даже не разглядывая их в отдельности, он словно окунался во все это великолепие красок и линий. Но мысли его были поглощены Салли. Как приятно будет увезти ее из Лондона, где ей совсем не место, словно васильку в цветочном магазине среди орхидей и азалий; он понял это в Кенте, на хмельнике, и был уверен, что она расцветет под ласковым небом Дорсета. Но вот она вошла, и он встал ей навстречу. На ней было черное платье с белыми манжетами и круглым батистовым воротничком. Он поздоровался с ней за руку.

— Давно меня ждешь?

— Нет. Минут десять. Ты голодна?

— Не очень.

— Тогда давай немножко посидим, хорошо?

— Как хочешь.

Они сели рядышком и помолчали. Филипу было хорошо возле нее. Его согревала ее сияющая юность. Она словно излучала жизненную силу.

— Ну как твои дела? — спросил он наконец, чуть-чуть улыбаясь.

— О, все в порядке. Это была ложная тревога.

— Правда?

— Ты рад?

Филипом вдруг овладело странное чувство. Он был уверен, что опасения Салли не напрасны, ему даже и в голову не приходило, что тут может быть ошибка. Все его планы сразу рухнули, и будущая жизнь, которую он так ясно себе представлял, оказалась всего лишь несбыточным сном. Он опять был свободен. Свободен! Ему не нужно отказываться от своих планов, и он снова может распоряжаться своей жизнью, как ему заблагорассудится. Но он почему-то чувствовал не радость, а уныние. У него защемило сердце. Будущее мерещилось ему бесцельным и одиноким, словно он много лет носился по бурным морям, терпя опасности и лишения, и вот наконец вдали показалась тихая гавань, но стоило ему к ней подойти, как поднялся встречный ветер и снова погнал его в безбрежное море. И, так как все его помыслы были уже полны жизнью на суше, среди бархатных лугов и тенистых роцц, пустынные воды океана вызывали в нем только отчаяние. Салли поглядела на него своими ясными глазами.

— Неужели ты не рад? — повторила она. — А я думала, что ты ног под собой не будешь чувствовать от радости.

Лицо его вытянулось; он поглядел на нее жалобно.

— Как ни странно, нет,— пробормотал он.

— Смешной! Почти все мужчины бывают рады.

И тут он понял, что обманывал себя: брак для него не был самопожертвованием, мысль о нем внушила тоска по дому, по жене, по любви, а теперь, когда все это ускользало от него, ему стало очень горько. Ему хотелось этого больше чем чего бы то ни было на свете. Что ему Испания и все ее города — Кордова, Толедо, Леон; что ему пагоды Бирмы и лагуны южных морей? Обетованная земля была здесь, с ним рядом. Он вдруг подумал, что всю жизнь гонялся за тем, что внушали ему другие — устно и в книгах, — не понимая, чего жаждет его собственная душа. Всю жизнь он пытался поступать так, как велел ему рассудок, а не так, как требовало сердце. И вот теперь он с радостью отмахнулся бы от всех своих выдуманных идеалов. Он вечно жил будущим, завтрашним днем, а настоящее, сегодняшнее всегда уходило у него из-под рук. А чего стоят эти идеалы? Он подумал о своей мечте свести в стройный и прекрасный узор бессчетные и бессмысленные явления жизни; как же он не заметил, что самый простой узор человеческой жизни — человек рождается, трудится, женится, рождает детей и умирает — и есть самый совершенный? Отказаться от всего ради личного счастья — может быть, и означает поражение, но это поражение лучше всяких побед.

Он быстро взглянул на Салли, спрашивая себя, о чем она сейчас думает, и сразу же отвел глаза.

— Я хотел попросить тебя выйти за меня замуж.

— Я так и думала, что ты меня об этом попросишь, но боялась встать у тебя поперек дороги.

— Как ты можешь встать у меня поперек дороги?

— А твои путешествия в Испанию и в разные другие страны?

— Откуда ты об этом знаешь?

— Как же мне не знать? Разве я глухая и не слышу, о чем вы кричите с папой до хрипоты?

— Ну их к черту, эти путешествия! Ничего мне не нужно.— Он замолчал, а потом буркнул: — Я не могу без тебя жить! Я не хочу с тобой расставаться.

Она ничего не ответила. Трудно было понять, что она сейчас думает.

— Ну, скажи, ты выйдешь за меня замуж?

Она не шевельнулась, и на лице ее не отразилось ни тени волнения; но глаза ее были опущены.

— Если хочешь.

— А ты-то хочешь?

— Ну, конечно, мне пора иметь свой дом, свою семью.

Он сдержал улыбку. Теперь он ее уже знал, и ответ нисколько его не удивил.

— Но выйти замуж ты хочешь за меня?

— А я не выйду ни за кого другого.

— Ну, тогда все в порядке.

— Мама и папа даже не поверят, правда?

— Я ужасно счастлив.

— А я очень проголодалась.

— Милая...

Он улыбнулся, взял ее руку и сжал в своей. Они встали и вышли из галереи. Остановившись у балюстрады, они поглядели на Трафальгар-сквер. По площади сновали экипажи и omnibusы, спешили толпы людей. Светило солнце.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

Вчера мне исполнилось семьдесят лет. Начало каждого нового десятилетия мы все, естественно, считаем важным событием, хотя никакой логики тут, возможно, и не найти. Когда мне стукнуло тридцать, мой брат сказал: «Ты теперь не мальчик, а мужчина, и надо держать марку». «Молодость уже прошла», — сказал я сам себе в сорок лет. «Не обманывай себя и смирись — ты стал пожилым человеком», — решил я в пятидесятилетний юбилей. «Вот и порог старости», — сказал я себе в шестидесятую годовщину. — Пора приводить дела в порядок и отдавать долги». Бросив театр, я написал «Подводя итоги», где для собственного удовольствия сделал попытку разобраться в том, что узнал о жизни и литературе, что успел сделать сам и какое удовлетворение получил от своего труда. Но семидесятилетие — самая значительная из круглых дат. Этот возраст традиционно считается сроком жизни человеческой — «Дней лет наших семьдесят лет»¹, а оставшиеся до смерти годы вы можете рассматривать как случайный подарок Безносой, у которой на время затупилась коса. Нет, семь десятков лет — уже не порог старости. Это сама старость...

Мой день рождения прошел без всяких торжеств. С утра я, как обычно, работал, а во второй половине дня отправился погулять в безлюдную рощу за домом... Вернувшись, я приготовил себе чашку чаю и до обеда читал. Потом снова читал, раскладывал пасьянс, слушал по радио новости и наконец лег в постель с детективным романом. Кончив его, я заснул. Если не считать моих цветных служанок, за весь день мне не удалось ни с кем перекинуться и парой слов.

В общем я провел свой семидесятый юбилей так, как мне и хотелось. Я размышлял.

Несколько лет назад, во время прогулки, Лиза² ни с того ни с сего вдруг сказала, что мысль о старости приводит ее в ужас.

— Не забывай, — ответила я ей, — что в старости у тебя уже не будет тех желаний, которые скрашивают жизнь сегодня. У старости свои преимущества.

¹ Псалмы, 89,9.

² Дочь писателя.

— Какие? — спросила она.

— Ну, скажем, ты сможешь делать только то, что захочешь. Будешь наслаждаться музыкой, живописью, литературой; не так, конечно, как в молодые годы, но по-своему не менее сильно. И разве не радость — просто наблюдать за событиями, в которых уже не принимаешь участия? К тому же если удовольствия теряют свою остроту, то и огорчения становятся не такими болезненными.

Мне тогда сразу стало ясно, что все мои утешения довольно сомнительны, а нарисованная перспектива выглядит несколько мрачновато. И уже позже, когда я снова взялся размышлять над проблемой, мне пришло в голову, что самое большое преимущество старости — в духовной свободе, которой, как я полагаю, действительно спутствует безразличие ко многим вещам, казавшимся важными в расцвете лет. Есть у нее и еще одно преимущество — старость освобождает человека от зависти, недоброжелательства и ненависти. Уверен, что я никоому на свете не завидую. Природа наделила меня кое-какими способностями, и я ими не пренебрег — к тем же, у кого талантов больше, зависти я не чувствую. Не обходил меня стороной и успех — успехи же моих собратьев ни капли не мешают мне спать. Я без слова сойду с того невысокого пьедестала, который занимал столько лет, и уступлю место кому-то другому. Меня не волнует и то, что думают обо мне люди. Пусть думают что хотят. Приятно, конечно, если ты кому-то нравишься, но на нет и суда нет. Я давно знаю, что во мне есть что-то такое, что определенному типу людей не по душе — на всех не угодишь, но недоброжелательство скорее забавляет меня, чем огорчает. Разве вот любопытно, что их все-таки во мне раздражает? Равнодушен я и к оценкам моего творчества...

Лучшей моей книгой, по общему мнению, считается «Бремя страстей человеческих». Она была опубликована тридцать лет назад, но, судя по количеству проданных экземпляров, ее все еще читают. Для романа это долгая жизнь. Но молодежь не особенно склонна утруждать себя толстыми романами, и когда канет в Лету нынешнее поколение, по непонятным мне причинам полюбившее этот роман, его конечно же забудут, как забывали книги и позначительнее. Смеею надеяться, одной-двум из моих комедий еще какое-о время достанет сил выползть на сцену, поскольку они написаны в духе старой английской традиции, заложенной еще драматургами эпохи Реставрации. Подобные комедии до сих пор продолжают развлекать публику — вспомним хотя бы пьесы Ноэла Коуарда¹. Так что не исключено, что и моим повезет втиснуться в этот длинный ряд и тем самым обеспечить своему создателю пару строк в истории английского театра. Несколько лучших моих рассказов тоже, я думаю, займут свое место в антологиях — просто уже потому, что описанные в них места и события стечением времени и развитием цивилизации будут приобретать все более романтический ореол. Итак, две-три пьесы и десяток рассказов. Не особенно солидный багаж для путешествия в будущее, но все-таки лучше, чем ничего. Если же я ошибаюсь и меня забудут уже через месяц после похорон, то ведь знать я об этом не буду...

¹ Коуард Ноэл Пирс (1899—1973) — английский актер, композитор и драматург, писавший комедии нравов, фарсы, оперетты.

Я осуществил все, что когда-то задумал, и, выразив себя, с готовностью уйду теперь на покой.

Кое-что явно подтверждает мудрость принятого мною решения: я всегда жил больше будущим, чем настоящим, а в последнее время меня все сильнее влечет к себе прошлое. (Это естественно, раз позади тебя столько прожитых лет, а впереди почти ничего не осталось). И так, я неизменно составлял планы на будущее и обычно их выполнял, но ведь сейчас о подобных планах и речи быть не может. Кто скажет, что готовит нам следующий год или следующие годы и как изменятся условия нашего существования? Парусный шлюп, на котором я любил ходить по голубым просторам Средиземного моря, забрали немцы; моя машина досталась итальянцам; дом попеременно занимали то немцы, то итальянцы, а мебель, книги и картины разбросаны по всей Европе, если их вообще не украли. Правда, эти потери меня не тревожат. В свое время я пожил в роскоши, и теперь мне вполне достаточно пары комнат, трехразового питания и доступа к приличной библиотеке.

Мои мысли все чаще возвращаются к давно ушедшей юности. Я навстречу тогда немало такого, о чем сейчас приходится жалеть, но я стараюсь, чтобы прошлое поменьше отравляло мне жизнь: успокойся, говорю я себе, эти поступки совершил не теперешний «ты», а тот «ты», который жил в те далекие времена. Кое-кому, конечно, я причинил зло, но поскольку исправить его было нельзя, я пытался искупить вину, делая добро другим людям. Иногда я с горечью думаю и об упущенных в те годы любовных приключениях, плотских радостях, но я знаю, что из-за свойственной мне бесцельности я не мог их не упустить: когда доходило до дела, чисто физическое отвращение удерживало меня от того, что прежде страстно жгло сердце. Да, прожил жизнь я куда целомудреннее, чем хотелось бы.

Люди обычно слишком много болтают, а уж в старости и подавно. Я всегда предпочитал больше слушать, чем говорить, но в последнее время мне вдруг показалось, что и я стал чересчур словоохотливым. Правда, стоило мне заметить за собой этот грешок, как я попытался от него избавиться. Старика и без того трудно выносить, и надо быть осмотрительным, чтобы никому не докучать. Неразумно, скажем, навязывать свое общество молодым — они будут чувствовать себя скованно, не в своей тарелке, и с облегчением вздохнут при твоём уходе. А если старик добился в жизни успеха, то молодые люди от случая к случаю конечно же захотят с ним поговорить, но он должен понимать, что молодежь ищет его общества не ради него самого, а ради того, чтобы позже посплетничать о нем со сверстниками. Он вроде вершины, на которую взбираются не из-за удовольствия спускаться, не ради видов, а просто чтобы похвастаться внизу своими подвигами. Пусть уж старик довольствуется компанией своих ровесников, и если он получит от общения с ними радость, ему крупно повезло. По мне, так нет ничего тоскливее, чем сборище людей, стоящих одной ногой в могиле. Дураки в старости не становятся умнее, а старый дурак куда скучнее молодого. Я не знаю, кто более невыносим — тот, кто не хочет признать над собой власть времени и ведет себя с тошнотворной развязностью, или тот, кто крепко застрял в прошлом и теперь зол на весь мир за то, что этот мир не застрял там вместе с ним...

Иногда требуется до странности долгий срок, чтобы человек уразумел, сколькими благодеяниями осыпала его природа. Я только недавно

понял, как мне повезло, что я никогда не мучился от головной боли, зубной боли и желудочных колик. Кардано¹, вычитал я третьего дня, поздравляет себя в своей автобиографии с тем, что, перевалив за семьдесят, все еще сохранил пятнадцать зубов. У себя я только что насчитал двадцать шесть. За долгую жизнь мне пришлось переболеть многими серьезными болезнями — туберкулезом, дизентерией, малярией и бог знает чем еще, но я никогда много не пил, был умерен в еде, и до сих пор у меня крепкие мускулы и нет одышки. Понятно, что без хорошего здоровья удовольствий в старости не жди. Еще важны деньги, хотя и не особенно большие, потому что потребности у тебя невелики. Дорого обходиться лишь пороки, а в преклонном возрасте легко сохранять добродетель... Я признателен судьбе за то, что благодаря склонности читать у публики позволяет мне и комфортабельно существовать, и удовлетворять различные личные прихоти, и помогать тем, кому я должен помогать. Старикам свойственна скаредность. Деньги им требуются, чтобы сохранять власть над теми, кто от них зависит. В себе я этого порока не нахожу.

У меня сохранилась неплохая память; правда, я иногда забываю лица или имена, но то, что когда-либо читал, помню прекрасно. Тут есть и определенные неудобства — все лучшие романы в мировой литературе я успел перечитать по два-три раза, и они уже не доставляют мне прежнего удовольствия. Современным же писателям редко удастся меня заинтересовать; даже не знаю, что бы я делал без огромного количества детективов, которые развлекают, помогают скоротать время, но тут же вылетают из головы. К книгам о мало интересующих меня материях, местах и людях, пусть сколько угодно забавным или поучительным, меня никогда не тянуло. Я не желаю ничего знать ни про историю Сиама, ни про обычаи эскимосов. Я не хочу читать биографий Мандзони², а что касается отважного Кортеса³, то мне вполне достаточно помнить, что он стоял на вершине в Дарьене. Я до сих пор с удовольствием перелистываю поэтов, которых любил в молодости, и не без интереса слежу за современной поэзией. Я доволен, что благодаря долгой жизни мне удалось заставить поздние произведения Йейтса и Элиота. Еще я готов читать все, что имеет хоть какое-то отношение к Сэмюэлу Джонсону, и почти все о Колридже, Байроне и Шелли. В старости, правда, уже не чувствуешь того трепета, с которым впервые глотал великие мировые шедевры — что невозвратно, то невозвратно. А еще грустнее ничего не находить в тех произведениях, что когда-то вызывали у тебя чувства, похожие на восторги «Глядящего в небо» Китса. Однако остался предмет, в который я до сих пор погружаюсь с глубоким волнением. Это философия, но не холодная софистика,

¹ Кардано Джероламо (1501—1576) — итальянский философ, математик, врач и писатель.

² Мандзони Алессандро (1785—1873) — итальянский писатель, глава романтической школы.

³ Кортес Эрнан (1485—1547) — испанский конкистадор, завоеватель Мексики, пересекший Центральную Америку и, согласно легенде, которая оспаривается учеными, первым увидевший с вершины у Дарьенского залива в Панаме Тихий океан.

не терминологическая каша, а та философия, которая трактует жизненно важные для всех проблемы бытия: «Пусто слово философа, если оно не унимает людские страдания». Меня тешат и заставляют думать Платон и Аристотель (говорят, он суховат, но если у вас есть чувство юмора, вы найдете в нем много занимательного), Плотин, Спиноза и кое-кто из современных мыслителей, скажем, Брэдли¹ и Уайтхед². В конечном итоге, только они, да еще древнегреческие трагики, говорят по-настоящему о насущном. Именно они пробуждают мысль, воображение и одновременно успокаивают. Читать их — все равно что лавировать под тихим ветром по морю, усеянному тысячью островов...

Правы, по-моему, те философы, которые, усматривая сущность искусства в производимом эффекте, делают отсюда вывод, что его ценность заключается не в красоте, а в нужном воздействии. Ведь эффект не имеет смысла, если он не эффективен. Пока искусство только удовольствие, сколь угодно возвышенное, от него мало проку: оно не больше чем скульптурки на капителях колонн, держащих тяжелый свод; эти скульптурки радуют глаз изяществом и разнообразием, но не несут функциональных нагрузок. Если искусство не побуждает к действию — оно лишь опиум для интеллектуалов.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

В восьмидесятой годовщине конечно же нет ничего особенного. Люди живут ссйчас значительно дольше, чем в прежние годы, и мы постоянно слышим о стариках, которым перевалило за девяносто, а они тем не менее полностью сохраняют все свои способности. Так что оправдать мое сегодняшнее обращение к вам можно лишь тем, что человеку исполняется восемьдесят лет всего раз в жизни.

За свой долгий век я был свидетелем многих перемен в наших привычках, обычаях, образе мыслей, и, думается, вам будет интересно послушать о них. Человеческая память коротка; даже тот, кто вошел в возраст уже полвека назад, с трудом может вспомнить, насколько другим был тогда мир. А молодые люди вообще не имеют понятия о прежнем мире, им представляется, что современное положение вещей устоялось чуть ли с незапамятных времен.

Мир, который я застал, когда в восемнадцать лет пошел изучать медицину, не знал ни самолетов, ни машин, ни кино, ни радио, ни телефонов. В нашу школу в Кентербери приезжал лектор и демонстрировал новый, еще очень несовершенный аппарат, который глухо и с запинками воспроизводил человеческий голос. Это был первый граммофон. Мир, который я тогда застал, отапливался, и довольно скверно, углем, освещался газовыми или керосиновыми лампами и считал ванну роскошью, доступной лишь самым обеспеченным. Богатые люди — их даже называли «владельцами экипажей» — ездили в каретах или ландо, люди победнее — в пролетках и четырехколесных

¹ Брэдли Фрэнсис Герберт (1846—1924) — английский философ-идеалист, глава английского неогегельянства.

² Уайтхед Альфред Норт (1861—1947) — англо-американский философ, математик, логик, представитель неореализма.

повозках, известных как «грохоталки», а публика, что победнее,— в общественных дилижансах, запряженных тяжеловозами. По улицам Лондона бродили музыканты и шарманщики, и им приходилось давать деньги, чтобы они ушли подальше. В воскресные дни, уныло позванивая в колокольчик, дворы обходил продавец горячих булочек, и люди выскакивали из домов купить к чаю сдобу или лепешку.

Жизнь в этом мире была дешевой. Поступив в больницу св. Фомы, я снял на Синвент-сквер две комнаты с обстановкой всего за восемнадцать шиллингов в неделю. За двенадцать шиллингов в неделю моя хозяйка утром кормила меня сытным завтраком, а в половине седьмого, когда я возвращался домой,— ужином. А в самой больнице за четыре пенса можно было перекусить пшеничной лепешкой с маслом и стаканом молока.

Так что всего на четырнадцать фунтов в месяц мне удавалось не только вполне прилично жить, платить за учебу, покупать необходимые инструменты и одежду, но еще и развлекаться. А в трудную минуту всегда можно было за три фунта заложить микроскоп.

Хватало мне денег и на театры, которые я посещал, по крайней мере, раз в неделю. В задние ряды партера, куда я брал билеты, проходили совсем не так чинно, как сейчас. Очередность вообще не соблюдалась. Зрители тесной толпой скапливались у входа и, когда двери открывали, давясь, толкаясь и крича, бросались в зал к местам получше. Но это тоже считалось развлечением. Я видел Генри Ирвинга и Элен Терри. Я видел миссис Патрик Кэмпбелл в «Второй миссис Тенкерей»¹ и Джорджа Александра в «Как важно быть серьезным». Но самую большую радость мне доставлял по субботам Тиволи. Мюзик-холл, теперь, увы, забытый, находился тогда на вершине славы. В свои лучшие годы там выступали незабвенные Мари Ллойд, Бесси Белвуд, Веста Тилли, Альбер Шевалье, Дан Лено. Каждый из них мог в одиночку держать зрителей в полном напряжении двадцать минут кряду. Удивительно талантливые были люди! Из комедийных актеров последних лет с ними можно сравнить разве что повсеместно и горько оплаканного Сиды Филда.

Путешествия в те дни тоже обходились недорого. Когда мне было двадцать лет, я шесть недель на пасхальные каникулы провел в Италии. Я съездил в Пизу, целый месяц чудесно жил во Флоренции, сняв у одной вдовы (пожилой) очень милую комнатку с полным пансионом. Затем, посетив Венецию и Милан, я вернулся в Лондон. Вся поездка, включая железнодорожные билеты, встала мне в двадцать фунтов, а удовольствие я получил огромное.

В больнице св. Фомы я провел пять лет. Студент из меня получился, прямо скажем, нерадивый, так как к медицине моя душа не лежала. Мне с детства хотелось стать литератором, и по вечерам после ужина я читал и сочинял. Вскоре я написал роман «Лиза из Ламбета» и отослал его в издательство. Роман опубликовали, когда кончалась моя учеба при больнице, и он даже приобрел некоторую популярность. Случайное стечение обстоятельств, конечно же, но откуда мне

¹ Одна из самых удачных пьес английского драматурга Артура Уинга Пинеро (1855—1934). Поставлена в 1883 г.

было знать об этом. Я решил, что смогу теперь бросить врачебную практику и стать профессиональным писателем. И вот всего через три дня после последнего экзамена, дававшего мне право на диплом врача, я отправился в Испанию учить язык и писать следующую книгу. Оглядываясь после стольких лет назад на прожитые годы и прекрасно сознавая сейчас, сколь малы у писателя шансы на успех и как трудно ему зарабатывать на хлеб, я ясно понимаю, что чудовищно рисковал. Но в ту пору сомнения мне и в голову не приходили. Я оставил медицину со вздохом облегчения, хотя до сих пор не жалею о пяти годах, проведенных в больнице. Даже наоборот: эти годы научили меня почти всему, что я знаю о человеке — ведь в больнице человеческая природа видна в самом неприкрытом виде. Люди, терзаемые болью и страхом смерти, ничего не скрывают от своего врача, а если и пытаются что-то скрыть, то безуспешно.

Я, честно говоря, не намеревался рассказывать о себе, но, видимо, без автобиографического элемента сегодня не обойтись. Следующие десять лет дались мне очень тяжело. После первого успеха удача отвернулась. Я написал несколько романов (только один из них имел какие-то достоинства) и несколько пьес, которые директора театров тут же возвращали назад. Все это время я зарабатывал в среднем по сто фунтов в год. Потом счастье мне вдруг улыбнулось. У арендатора и директора «Корт Тиэтр» на Слоун-сквер провалилась пьеса, а поскольку следующая была еще не готова, он просто не знал, как быть. Он прочел мою «Леди Фредерик», и, хотя она ему не понравилась, он решил, что месяца полтора, пока суд да дело, она продержится. «Леди Фредерик» не сходила со сцены пятнадцать месяцев. Через некоторое время в Лондоне уже шли сразу четыре мои пьесы. Ничего подобного раньше не случилось, и газеты устроили большой трезвон. Без ложной скромности могу сказать, что обо мне заговорил весь город. Один из студентов больницы св. Фомы спросил как-то у известного хирурга, которому я ассистировал на операциях, помнит ли он меня. «Прекрасно помню,— ответил тот.— Печальная история. Очень печальная. Боюсь, это одна из наших неудач».

Со своей точки зрения он был, скорее всего, прав. Множество других людей — и, я думаю, тоже справедливо — считали мой успех незаслуженным. Как бы там ни было, этот успех выгнал меня из бедности и принес немало новых друзей. Мне уже не приходилось пробиваться с толпой в зрительный зал, борясь за место получше. Я сидел теперь в креслах.

Пора вернуться к моим баранам и рассказать наконец о переманах, которые произошли в стране за последние пятьдесят лет. Как известного драматурга, человека модного, меня стали приглашать на обеды, порой до чрезвычайности пышные. Мужчины надевали по такому случаю фраки и белые галстуки, женщины — богатые платья с большими шлейфами. Длинные волосы они укладывали на макушке высокой копной, не брезгуя накладками. Когда все приглашенные собирались в гостиной, каждому джентльмену сообщали, кого из дам ему следует вести к столу, и при словах «кушать подано» он предлагал ей руку. Впереди становился хозяин дома с вдовой самого высокого ранга, остальные гости спускались за ним в столовую торжественной процессией, которую замыкала хозяйка, опираясь на руку какого-нибудь герцога или посла. Вы мне не поверите, если я скажу, какое количество еды поглощалось на подобных трапезах. Начинали с супа

или бульона, на выбор, затем ели рыбу, а перед жарким подавали еще разные закуски. После жаркого гостей обносили шербетом — замороженным соком: считалось, что он помогает открыться второму дыханию. За шербетом следовала дичь (по сезону), а за ней — широкий выбор сладостей и фруктов. К супу полагался херес, к другим блюдам — разные вина, включая шампанское.

Нам, привыкшим к скромным современным обедам, остается только восхищаться тем, сколько тогда ели. Вот уж действительно умели покушать. За это, само собой, приходилось расплачиваться. Люди делались невообразимо толстыми и в конце лондонского сезона уезжали в Германию на воды, чтобы привести в порядок печень и сбросить вес. Я знал человека, который каждый год брал с собой в Карлсбад два комплекта одежды: в одном отправлялся на лечение, в другом, сбросив около десяти килограммов, приезжал назад.

После такого обеда полагалось в течение недели нанести хозяйке визит вежливости. Если ее не оказывалось дома, о чем вы горячо молились, вы оставляли две визитные карточки, одну — ей, другую — ее мужу. В противном случае в сюртуке и крапчатых штанах, в лакированных башмаках с серым матерчатým верхом на пуговицах и с цилиндром в руках вам приходилось подниматься за горничной в гостиную. Положив цилиндр, вы забавляли хозяйку минут десять каким-нибудь разговором и затем удалялись, вздыхая с огромным облегчением, когда дверь за вами захлопывалась.

Весь сезон то тут, то там давали балы, и при достаточной популярности вы могли получить два-три приглашения на один и тот же день. Балы эти совсем не походили на заурядные современные вечера. Мужчины приезжали во фраках, белых жилетах со стоячими воротничками и белых перчатках. У девушек были с собой карточки, куда вы записывали свое имя, если тот или иной танец оказывался незанятым. И их всегда сопровождали матери или тетки, которые мирно болтали друг с другом до четырех-пяти утра, не спуская глаз со своих подопечных, чтобы те, боже упаси, не скомпрометировали себя, танцуя слишком часто с одним кавалером. Да и танцы были тогда совсем другие. Мы танцевали польку и лансье, мы чинно вальсировали по зале, причем крутились в обратную сторону считалось верхом дурного вкуса.

Нередко нас приглашали в гости на весь конец недели. К тому времени, о котором я сейчас говорю, мне удалось купить небольшой домик в Мэйфэре, тогда еще жилым районе, и я нанял повара, горничную и дворецкого. В большие дома созывали, бывало, человек по двадцать, если не больше, а поскольку челядь не управлялась с таким количеством гостей, хозяйка дома в письме обращалась к вам с просьбой прихватить лакея, женщин же она просила взять с собой служанку. Лакея у меня не было, и я привозил дворецкого. Слуг обычно кормили в людской, рассаживая за столом соответственно положению хозяина или хозяйки. У писателей, разумеется, никаких чинов и в помине нет, и как-то после нескольких месяцев визитов в чужие дома мой дворецкий сказал мне: «Послушайте, сэр. Просто надоело сидеть каждый раз в самом конце стола. Вы бы не могли стать членом парламента или кем-то в этом роде?» Я ответил, что нет, к сожалению, не могу, и ему придется смириться с унижением. Гости,

кстати говоря, во время подобных визитов одевались к обеду так же тщательно, как и в Лондоне, но когда женщины удалялись на покой, мужчины переодевались в своих комнатах в новомодные тогда смокинги и собирались в курительной комнате — поболтать, выпить и, главное, покурить, что в гостинной им не разрешалось.

Жизнь в те дни была несомненно приятной, но... далеко не для всех. Бедный люд ютился в грязных, убогих трущобах, работал за жалкие гроши по многу часов, а в старости ему грозили рабочие дома. К тому же всю жизнь бедняков мучил страх остаться без работы.

Первая мировая война, насколько я понимаю, мало что изменила в этом порядке вещей. В двадцатые годы богатые не стали беднее, а бедные богаче. Только вторая мировая война с ее разорительными затратами и тяжелейшими налогами привела к важным, затрагивающим все слои переменам. Богатые сегодня уже не богаты. Особняки, где они так расточительно веселились, превращены в школы, учреждения или потихоньку ветшают. Их владельцы довольствуются теперь домиками привратников или вообще переехали в лондонские квартиры. Мэйфэр, этот некогда фешенебельный жилой район, стал модным торговым центром, и в его апартаментах расположены различные конторы.

Те, кто столь многое потерял, воспринимают перемены, надо сказать, к их чести, со стойкостью и достоинством. И бедняки теперь не так уж бедны: они живут в пристойных домах, лучше одеваются, в каждой семье есть приемники, телевизоры, проигрыватели. Наконец-то эти люди получили возможность жить вполне обеспеченно и без страха смотреть в будущее. Мы все должны благодарить за это судьбу. Как нация мы, несомненно, стали беднее, но зато приобрели больше личной свободы. Нам удалось избавиться от множества глупейших предрассудков. Куда естественнее теперь отношения между полами. Мы одеваемся проще и удобнее. У нас меньше классовых барьеров. Мы не так привередливы и не так чванливы. В целом мы стали, по-моему, симпатичнее, чем были пятьдесят лет назад, и, несмотря на все трудности, которые пришлось пережить: нехватки, ограничения, регламентации, — мы в целом живем значительно лучше, чем раньше. Основная черта английского народа — добродушие, а его, видимо, мы умеем сберечь при самых неблагоприятных обстоятельствах. В этом наша сила.

В ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Память у меня теперь хуже некуда, до могилы осталось брести считанные метры, а мои воспоминания о прожитых девяти десятках лет столь туманны, что даже обидно за собственное прошлое.

Яснее всего, пожалуй, я помню смерть матери — она мучает меня уже больше восьмидесяти лет. Мне было восемь, когда мать умерла в нашем доме в Париже, но горечь утраты до сих пор больно терзает сердце.

Есть у меня и другие воспоминания, но слишком уж они смутные — их проще вообще не трогать, чем пытаться восстановить. Не могу я думать и про будущее: когда человеку девяносто, его ждет впереди одна пустота.

Я бреду сейчас рука об руку со смертью, и ее ладонь теплее моей. Каждый вечер, желая спокойной ночи Алану Серлу, сопровождающе-

му меня по жизни почти сорок лет, я прошу его помолиться, чтобы я не проснулся. Мне не хочется больше копить небо.

Жизнь у меня была полная, интересная, но конца я дожидаясь спокойно. Смерть меня все еще не страшит. А не боюсь я ее потому, что не верю в загробное существование — если я грешил по людскому счету и не был наказан, то кто меня покарает, когда я уйду с этой земли?

Я не знаю, ссть ли Бог на свете или нет. Ни одно из доказательств его существования не кажется мне убедительным, да и вера, как давным-давно заметил Эпикур, должна строиться на непосредственном откровении. Такого откровения мне не было дано.

От смерти все равно никуда не уйдешь, и едва ли существенно, как она вас настигнет. Я думаю, не стоит упрекать человека, если он надеется, что ему повезет и он уйдет из жизни незаметно, без мучений.

Недавно я серьезно болел — в последнее время мне часто нездоровится, и в одно прекрасное утро я почувствовал такую слабость, что, казалось, еще немножко — и все. Если смерть так легка, сказал я себе, то я за нее всей душой. Меня, правда, взяла досада, что я не успел окончить новую книгу, но в конечном итоге это пустяки, решил я, — все равно через год-другой о ней никто и не вспомнит.

Я всегда жил грядущим, и сейчас, когда его осталось так мало, все еще не могу избавиться от этой привычки; я даже с явным предвкушением жду логического конца того образа жизни, который пытался сотворить.

Бывают минуты, когда я просто сгораю от желания умереть и готов броситься в объятия смерти, словно в объятия любви. Смерть волнует меня, волнует не меньше, чем когда-то волновала жизнь. При одной мысли о ней начинает кружиться голова. Она, я думаю, даст мне наконец полную неограниченную свободу. Конечно, будет жаль расставаться с друзьями. Не безразлична мне и судьба тех, кого я долго опекал, но с другой стороны, после стольких лет зависимости они обрадуются освобождению, куда бы оно их потом ни завело.

Если в прошлом я всегда думал о жизни, то сейчас меня заботит лишь смерть. Это одно из проявлений старческой немощи, но я ведь действительно очень стар.

После полудня я все еще неизменно гуляю по саду с Аланом и собаками — таксой и двумя самыми старыми китайскими мопсами во всей Европе, пятнадцатилетним Чингом и четырнадцатилетним Ли.

Ну и картину мы собой представляем, собаки и я! Совсем дряхлые, мы тихо бредем посмотреть, с чем возится садовник, хотя результаты его трудов нам скорее всего не придется уже увидеть.

Мне много чего удалось испытать и совершить за девяносто лет — любому человеку хватило бы с лихвой. Но старческое существование мне приелось. Слабость и тоска делают его просто невыносимым. Я всегда был гедонистом, а теперь на мою долю почти не выпадает удовольствий. Я лишен даже радости работать, чтобы как-то скоротать дни. Правда, я все еще наслаждаюсь хорошим обедом и каждое утро в одиннадцать пью неразбавленное виски. Но зато меня одолевает глухота, и я запинаясь, когда надо что-то сказать. Сильнее же всего мне, пожалуй, досаждают зрение. Стало невозможно читать. С большим трудом я перечитываю сейчас «Моби Дика». Третьего дня

я нашел на полке «Госпожу Бовари», которая столько лет была моей любимой книгой, и мне захотелось снова ее перелистать.

Свою библиотеку я уже отдал, что очень не понравилось покойному брату, когда он последний раз был у меня. Но ведь другим мои книги теперь нужнее, чем мне.

Кое-что я, конечно, оставил — хотелось закончить дни за приятным чтением. Поэтому чертовски обидно, что зрение меня подвело.

Как-то меня спросили, не согласился бы я прожить свою жизнь заново. Что ж, в целом у меня была хорошая жизнь, пожалуй, лучше, чем у многих. Но смысла повторять ее я не вижу. Это было бы так же скучно, как перечитывать уже читанный детектив. Однако давайте предположим, что на самом деле существует такая вещь, как перевоплощение, в которое верит три четверти мира, и у человека есть возможность выбрать себе другую жизнь. Раньше я думал, что готов на эксперимент; мне казалось интересным испробовать кое-что из того опыта, который был мне недоступен из-за нехватки времени и возможностей или из-за личных и общественных предубеждений.

Сейчас от подобного эксперимента я бы отказался. С меня довольно. Временами я чувствую, что жил чересчур насыщено: знал слишком много людей, читал слишком много книг, видел слишком много картин, скульптур, церквей, домов и слышал слишком много музыки. Я не верю в бессмертие и не стремлюсь к нему. Мне хочется лишь тихо, без боли умереть, и пусть с последним вздохом моя душа со всеми ее желаниями, достоинствами и недостатками растворится в небытии.

Десять лет назад я задумал попутествовать, когда брошу работать. Моя мечта осуществилась. Я снова побывал в тех местах, которые знал тридцать, пятьдесят лет тому назад. И конечно же посетил Гейдельберг, где учился в юности.

В те далекие годы я познакомился и подружился там с одним англичанином, который снабдил меня кучей сведений о литературе. Благодаря ему я начал и путешествовать, объездив с целью познания Жизни разные стороны света, что несомненно помогло мне как писателю, рассказчику историй. А недавно у вашего покорного слуги была радость — его избрали почетным доктором Гейдельбергского университета. Потешили стариковское тщеславие.

Путешествия мне теперь не по силам, но я их не брошу. Я собираюсь, например, съездить в Марракеш — городок в той части земного шара, которая была так по сердцу моему отцу. Именно там он увидел мавританский знак, предохраняющий от невзгод. Этот знак украшает теперь ворота при въезде в мой дом и красуется на обложках моих книг.

Иногда, оглядывая купленный сорок лет назад дом, я думаю, не пора ли заколотить его и отправиться странствовать по свету. Собственный дом по нынешним временам — это анахронизм, к тому же он съедает много денег. В странствиях же я провел всю свою жизнь: было бы совсем неплохо умереть во время сентиментального путешествия к тому единственному месту в мире, где я до сих пор ощущаю красоту и покой.

Я говорю сейчас об Ангкоре Вате в Камбодже. У меня осталось в жизни всего одно желание — как-нибудь, но вернуться в эту дере-

вущку, затерянную среди джунглей Юго-Восточной Азии. Около года назад я уже сзидл туда, намсреваясь пробуть всего пару днсй, а застрял на три недели.

Новая поездка скорее всего убьет меня, но умирать в такой бесподобной красоте — одно удовольствие.

Мой дом, как, впрочем, и я сам, принадлежит теперь прошлому. Во мне нет никакой особой нежности ни к нему, ни к другим материальным атрибутам благосостояния. Не столь уж сильно я привязан к имуществу; чтобы долго горевать об его утере. В мире распродано более 800 миллионов моих книг, но деньги можно сравнить разве что с шестым чувством, которое помогает пользоваться остальными пятью. Приятно, конечно, что я не кончу свои дни бедняком. Быть старым и бедным очень тяжело. Лучше вообще не родиться на свет, чем не иметь в старости хлеба и крыши над головой и зависеть от подаяний.

Долгие годы я покупал нравившиеся мне картины импрессионистов и модернистов. Но теперь, когда картин у меня больше нет, я даже не скучаю по ним. Знакомые говорят, что мой дом стал какой-то голый. Я этого не замечаю. Я избавился даже от разрисованной Гогеном стеклянной дверной панели, которую купил на Гаити. Теперь она находится в частной коллекции в Америке.

У меня остались дома только театральные эскизы, но и они уже принадлежат не мне. Я их отдал музею Виктории и Альберта, попечители которого любезно согласились не забирать их до моей смерти.

Меня никогда не волновало и до сих пор не волнует, если кто-то расходится со мной во взглядах. Конечно же, я считаю, что прав я, а не оппонент, иначе бы пересмотрел свои взгляды, но чужая неправота меня не раздражает.

Для самого себя я был всегда самым важным существом во всем мироздании... но если взглянуть на дело трезво, то я — всего лишь какая-то незначительная пылинка. Что изменилось бы на свете, не существуй меня совсем?

В давние годы — в каком точно возрасте, не помню — я решил, что раз жизнь у нас одна, надо взять от нее как можно больше. Я замыслил тогда прожить такую жизнь, в которой писательство, не исключая других форм деятельности, играло бы самую существенную роль и которую гармонично завершала бы смерть.

Гармония в моем случае уже достигнута. Я долго занимал в мире определенное место и рад, что скоро освобожу его для других. В конце концов, цель любого образа жизни, как и любого творения, состоит в том, чтобы все было завершено. Когда к картине трудно что-то добавить, не нарушая рисунка, художник должен устранииться.

Недавно мне предложили поехать в Швейцарию, в клинику доктора Ниханса, где я когда-то лечился. Но, поскольку воля к жизни во мне угасла, я не вижу смысла продлевать существование.

Писать мне больше не хочется. В голове нет ни замыслов, ни сюжетов, ни слов. Я давно уже перенес на бумагу все, что у меня было, и отложил перо в сторону.

И теперь, когда в «Таймс» появится мой некролог и кое-кто воскликнет: «Что? А я-то думал, он давно в могиле!» — мой дух эдак тихонечко хихикнет.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«ВРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»

На протяжении 1897 и 1898 годов Моэм писал большой автобиографический роман, который назвал «Художественный темперамент Стивена Кэри». Издательство, опубликовавшее до этого «Лизу из Ламбета», отклонило рукопись романа, и тот так и не увидел света. Много позже Моэм приступил к работе над «Бременем страстей человеческих», автобиографическим в широком смысле слова романом. В нем нашли отражения некоторые факты и характеры, фигурировавшие в «Стивене Кэри», а герой сохранил ту же фамилию, хотя и сменил имя. В название романа вынесено заглавие одной из частей сочинения Б. Спинозы «Этика» (1677).

«Время страстей человеческих» вышло одновременно в США (12.08.1915 г.) и Англии (13.08.1915 г.).

Русский перевод романа, принадлежащий Е. Гольшевой и Б. Изакову, впервые был опубликован Издательством иностранной литературы в 1959 г. и с тех пор неоднократно переиздавался. В Собрании сочинений текст перевода дается по первоизданию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тексты помещенных в Приложении автобиографических эссе Моэма (два последних опубликованы в периодике соответственно в январе 1954 и 1964 года) взяты для перевода по изданиям: «В семьдесят лет» — по «Записным книжкам писателя» (1949), «Оглядываясь на восемьдесят прожитых лет» и «В девяностолетний юбилей» — по книге «Путник в краю романтики: Публикации У.-С. Моэма 1901 — 1964 гг., не включавшиеся в сборники» (1984).

Переводы М. Зинде (эссе «В семьдесят лет» с сокращениями) опубликованы в книге: Моэм У.-С. Искусство слова: О себе и других; Литературные очерки и портреты. — М., Художественная литература, 1989. В Собрании сочинений тексты переводов печатаются по этому изданию («В семьдесят лет» — во фрагментах, два другие эссе — полностью).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Скороденко. Достигнутая гармония</i>	5
ВРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. Роман. Перевод <i>Е. Гольшевой, Б. Изакова</i>	29
Приложение. Перевод М. Зинде	
В семьдесят лет	658
Оглядываясь на восемьдесят прожитых лет	662
В девяностолетний юбилей	666
Библиографическая справка	670

Мозэм У.-С.

М 87 Собрание сочинений. В 5 т. Т. I. Бремя страстей человеческих: Роман: Пер. с англ./Редкол.: Н. Демурова и др.; Вступ. ст. В. Скороденко. — М.: Худож. лит., 1997. — 671 с.
ISBN 5-280-03203-4 (Т. I)

В первый том Собрания сочинений известного английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма (1874 — 1965) вошел роман «Бремя страстей человеческих», написанный в 1915 году, и автобиографические эссе последних лет.

ББК 84 (4 Вл)

Уильям Сомерсет Моэм

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том первый

Редакторы *Н. Будаев; С. Митюшина*
Художественный редактор *Л. Калитовская*
Технический редактор *Л. Платонова*
Корректор *О. Наренкова*

Изд. лиц. № 010153 от 14.02.97.

Подписано к печати с готовых диапозитивов 27.02.97. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага типогр. Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная. Усл. печ. л.
35,28. Усл. кр.-отг. 35,38. Уч.-изд. л. 40,74. Тираж 10 000 экз. Заказ № 839

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано в Венгрии при участии фирмы «ИНТЕРПРЕСС»
г. Будапешт